Н. П.
ОГАРЕВ

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

Н. П. ОГАРЕВ

Советский
писатель





БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

ЛЕНИНГРАД * 1956

Н. П. ОГАРЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
С. А. Рейсера

Н. П. ОГАРЕВ

Выдающийся деятель русского освободительного движения, замечательный мыслитель и публицист, ближайший соратник великого Герцена, Николай Платонович Огарев занимает большое и своеобразное место также и в истории русской поэзии. Творчество его было замечено и оценено современниками. Белинский и Чернышевский оставили проницательные суждения о его лирике, не потерявшие своего значения до сих пор. Но только научное изучение наследия Огарева, развернувшееся после Великой Октябрьской социалистической революции и еще доныне далеко не завершенное, помогло воссоздать подлинный облик Огарева-поэта. Обращение к архивным фондам, прежде недоступным для ученых, позволило советским исследователям нарисовать картину жизни и трудов Огарева, определить его место в истории русской общественной мысли и литературы. Однако даже самые последние архивные находки («Пражская» коллекция и др.) еще не позволяют сказать, что творческое наследие Огарева собрано полностью. Разработка наследия Огарева все время плодотворно продолжается, и можно с уверенностью сказать, что каждое новое издание его стихов делает этого поэта все более значительным в глазах современного читателя, все более близким ему по духу.

1

Николай Платонович Огарев родился 24 ноября (6 декабря) 1813 г. в Петербурге в семье крупного помещика. Его мать Елизавета Ивановна (рожд. Баскакова, 1784—1815) была причастна к литературе. [1]

---

[1] Двенадцати лет она перевела комедию Жанлис «Добрая мать» (М., 1796), а в 1796—1799 гг. ее переводы с немецкого и французского печатались в «Приятном и полезном препровождении времени» и в «Ипокрене».

Рано потеряв мать, хилый и болезненный мальчик воспитывался в деревне на попечении многочисленной дворни. Около 1820 г. Огарева привезли в Москву. Здесь воспитателем его был выбран описанный Герценом в «Былом и думах» Карл Иванович Зонненберг. Сентиментальному и безличному немцу было вверено, по словам Герцена, «физическое воспитание и германское произношение» юного Огарева. Воспитатель не преуспел ни в том, ни в другом, но с его помощью Огарев в феврале 1826 г. познакомился, а вскоре и подружился со своим дальним родственником Герценом.[1] С этого времени и до самой смерти Герцена (1870) они шли вместе. Житейские обстоятельства разделяли друзей иногда на несколько лет, но пути их были неизменно общими.

В позднейших автобиографических набросках Огарев с особой теплотой вспоминал о своих первых учителях — И. Ф. Волкове и В. И. Запольском. Наряду с обычной школьной премудростью они, по словам Огарева, «сообщали нам направление декабристов».[2] Знакомство с идеями декабристов, как видно из «Моей исповеди», шло и через некоторых других лиц, окружавших Огарева. Ко времени знакомства с Герценом он лучше своего будущего друга был уже посвящен в сущность освободительных идей русского передового дворянства. По его собственным словам, «в то время было движение ненависти крепостного человека к барству. Я на этом чувстве и рос».[3] Идеи свободы и революции вскоре целиком захватили Герцена и Огарева. Восстание декабристов и жестокий террор, последовавший после его подавления, навсегда остались в их памяти. Этот период отразился в автобиографической во многом поэме Огарева «Матвей Радаев» и во многих стихотворениях («Памяти Рылеева» и др.). Уже незадолго до смерти он вспоминал:

А тут пришел в торжественном движеньи
В России бунт известный Декабря,
И нас, детей, в задумчивом волненьи
Воздвигнул страстно противу царя...

(«Моя биография», 1873—1874)

Преданность идеям декабристов и идеалу свободы была закреплена в 1826 или, скорее, в 1827 г. в известной юношеской клятве Огарева и Герцена на Воробьевых горах, когда они обещали по-

---

[1] Огарев — внучатный племянник отца Герцена И. А. Яковлева.

[2] «Записки русского помещика» (1873). — «Былое», 1925, № 27—28, стр. 16.

[3] Там же, стр. 15

жертвовать жизнью в борьбе за свободу: «Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас; постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и вдруг, обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью за избранную нами борьбу».[1]

Огарев начал писать стихи очень рано, по его словам, в 1824—1825 г. По приказанию учителя словесности В. И. Запольского он в 1825 г. написал стихи на смерть Александра I; стихи эти его не удовлетворили. Пробудившаяся любовь к поэзии сразу определилась как склонность именно к запрещенным стихам — «струна философско-гражданского поэтического настроения зазвучала». Рукопись «Войнаровского» Рылеева, запрещенные стихи Пушкина, Шиллер — вот что питало настроения молодого поэта.[2]

В 1832 г. Огарев поступил на службу в московский архив Министерства иностранных дел. Еще раньше, вероятно с 1830 г., он посещал университетские лекции физико-математического и словесного факультетов. В начале 1832 г. он был зачислен на нравственно-политическое (впоследствии юридическое) отделение, но уже в 1833 г. университет оставил.[3] Тем не менее Огарев был ближайшим образом связан с передовыми кружками Московского университета в период их наиболее напряженной умственной жизни. «Университетские истории» следовали одна за другой. Начальство энергично боролось с «крамолой», но университет «устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана <...> в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев» (Герцен, «Былое и думы», гл. 6). В. Г. Белинский, М. Ю. Лермонтов, А. И. Герцен, Н. В. Станкевич, Н. М. Сатин учились в это время в университете. Кружок Герцена—Огарева особенно увлекался политическими учениями социалистов-утопистов. В средине 1860-х годов в «Исповеди лишнего человека» Огарев вспоминал:

. . . . . . мы — дети декабристов
И мира нового ученики,
Ученики Фурье и Сен-Симона —
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью...

---

[1] «Былое и думы», гл. 4. Ср. набросок Огарева «Три мгновенья». — «Русская мысль», 1902, № 11, стр. 146.

[2] «Моя исповедь». — «Литературное наследство», № 61, 1953, стр. 682, 686, 688.

[3] В. П. Гурьянов. К студенческой биографии Н. П. Огарева (по новым материалам). — «Вестник Московского государственного университета», 1953, № 4, стр. 165—167.

Уже в 1833 г. участие Огарева в противоправительственных кружках привело к тому, что за ним был учрежден секретный полицейский надзор, а в ночь с 9 на 10 июля 1834 г. он вместе с Герценом был арестован по делу «о лицах, певших в Москве пасквильные стихи». Поводом к аресту была вечеринка у провокаторов, братьев Скаретко. На этой вечеринке Огарев и его друзья «распевали вольные песни противоправительственного содержания». 12 июля Огарев был освобожден на поруки, но 31-го вновь арестован и помещен в Петровских казармах.[1] Лишь в марте 1835 г., после десятимесячного заключения, Огареву был объявлен приговор о ссылке в Пензенскую губернию под надзор отца. В обвинительном заключении было сказано, что Огарев «сознался в пении дерзких песен будучи в пьяном образе; был знаком с Соколовским и со всеми певшими стихи, вел с титулярным советником Герценом переписку, наполненную свободомыслием; в показаниях своих замечен упорным и скрытным фанатиком».[2]

В 1836 г. Огарев женился на племяннице пензенского губернатора Марии Львовне Рославлевой. Этот неудачный брак был источником многих тяжелых переживаний и через несколько лет завершился разрывом.

Летом 1838 г. Огареву удалось получить разрешение совершить поездку на Кавказ. В Пятигорске он встретился с некоторыми из ссыльных декабристов — А. И. Одоевским, А. Е. Розеном, Н. И. Лорером, В. Н. Лихаревым, М. А. Назимовым и другими. Сближение с ними (особенно с Одоевским) сыграло значительную роль в его жизни, наполнив внутренним содержанием романтический юношеский культ борьбы за свободу. Одоевский и его друзья в сознании Огарева были мучениками, пожертвовавшими всем в борьбе за идею. Для Огарева этих лет идеал борьбы тоже был связан с идеей страдания, подвига почти религиозного свойства. Поэзия Одоевского, его личное обаяние произвели на Огарева сильнейшее впечатление. Оно передано в отрывках из «Моей исповеди», «Кавказских вод» и в ряде стихотворений («Я видел вас, пришельцы дальних стран», 1838; «И если б мне пришлось прожить еще года», 1838; «Героическая симфония Бетговена», написанная за год до смерти, и др.).

Пребывание на Кавказе было прервано известием о тяжелой болезни отца Огарева. 2 ноября 1838 г. П. Б. Огарев скончался. Николай Платонович оказался владельцем огромных и доходных

---

[1] В поэме «Тюрьма» Огарев описал этот период своей жизни.

[2] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XII. Пг., 1919, стр. 335.

имений в несколько десятков тысяч десятин. Тотчас же было приступлено к давно задуманному плану переустройства земельных отношений с крепостными — организации крестьянской общины, основанной на равновесии личного и коллективного начала землепользования. Реформа эта окончилась полной неудачей. Крестьяне в селе Белоомут Рязанской губернии (около 2000 человек) делились на две резко дифференцированные группы — бедняков и богатых крестьян, которые считались крепостными, но владели большими состояниями, — вся реформа оказалась на руку только им. Выплачивая Огареву сравнительно небольшую выкупную сумму за себя и за бедняков, они быстро закабалили последних, обратив их, в сущности, в своих крепостных.[1]

В 1839 г. Огаревы переезжают в Москву. К этому времени относится начало разлада с женой на почве взаимного непонимания, разности интересов и ревности Марии Львовны к старым московским друзьям Огарева. Жизнь в Москве осложнялась еще и острыми разногласиями по социально-политическим вопросам между Огаревым и его другом Т. Н. Грановским, мучительно переживавшимися обоими. В то время как Огарев эволюционировал от гегельянства к материализму, Грановский продолжал придерживаться традиционных религиозных воззрений и оставался на идеалистических позициях, не идя далее умеренного либерализма и противопоставления европейской буржуазной культуры деспотизму николаевской России. События 1848 г. во Франции и террор, последовавший за подавлением революции, еще более отдалили его от социализма. Впоследствии он не одобрял и революционной печати, созданной Герценом за границей.

К 1840 г. относится первое выступление Огарева как поэта в печати (в «Отечественных записках»). Критика (Белинский, Боткин и др.) встретила его первые опыты сочувственно. В 1841 г. Огарев переехал в Петербург, а вскоре отправился за границу, где провел пять лет с небольшими перерывами. Вернувшись на родину в 1846 г., он поселился в деревне. В 1849 г. Огарев сблизился с Н. А. Тучковой и уехал с нею в Крым с намерением эмигрировать и соединиться с Герценом, выехавшим из России в 1846 г. Этот план осуществить не удалось. Между тем «незаконная связь» с Н. А. Тучковой и отказ первой жены от развода создали для Огарева очень тяжелое и, в условиях того времени, опасное общественное положение.

[1] См. М. О. Гершензон. История молодой России. М.—Пг., 1923, стр. 268—296, и Я. З. Черняк. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве. М.—Л., 1933.

К 1850 г. относится второй арест Огарева по обвинению в принадлежности к «коммунистической секте». Действительной причиной ареста был донос пензенского губернатора Панчулидзева в связи с отношениями Огарева и Тучковой. После недолгого заключения Огарев снова был отдан под полицейский надзор без права выезда за границу.

Только в 1853 г., после смерти первой жены, Огарев смог жениться на Н. А. Тучковой. 19 марта 1856 г. ему удалось покинуть Россию и поселиться в Лондоне вместе с Герценом. Осуществилась давняя мечта Огарева — начать борьбу за свободу своей родины.

Уйду, чтоб в каждое мгновенье
В стране чужой я мог казнить
Мою страну, где больно жить...

(«Деревня»)

В Англии Огарев становится профессиональным революционером. В течение пятнадцати лет он, как ближайший соратник Герцена, вместе с ним возглавляет издание «Полярной звезды», «Общего веча», «Голосов из России» и прежде всего «Колокола»; его энергии мы обязаны появлением в 1857 г. этой газеты.[1] Каждый ее номер в течение ряда лет доставлял серьезные неприятности царскому правительству. «Колокол», по словам В. И. Ленина, «встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено».[2] Значение «Колокола» в истории русского революционного движения так охарактеризовано В. И. Лениным: «Предшественницей рабочей (пролетарски-демократической или социал-демократической) печати была тогда общедемократическая бесцензурная печать с «Колоколом» Герцена во главе ее».[3]

Повидимому, еще с конца 1850-х годов Огарев принимал активное участие в разработке плана революционной организации, имевшей целью «всеобщее новое устройство России», путь к которому — вооруженное восстание войска в союзе с крестьянством.

В 1861—1862 годах Огарев участвовал в организации тайного общества «Земля и воля». К 1863 г. была продумана структура государственного устройства России. Будущее государство Огарев

---

[1] Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. Под ред. С. А. Переселенкова. Л., 1929. стр. 169—170. Ср. письмо Герцена к Тургеневу от 22 ноября 1862 г.: «„Колокол“ основал Огарев» (А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XII. Пг., 1919, стр. 549).

[2] В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 12.

[3] В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 223.

мыслил как федеративное народное самоуправление с центральным правительством и с самым широким осуществлением выборного начала — выборными должны стать все органы власти. Земля в свободной России должна принадлежать крестьянам, все сословия будут ликвидированы и все граждане равны перед законом. Свои политические взгляды Огарев изложил в письме к Елиз. В. Салиас-де-Турнемир 24 декабря 1863 г.: «Если у нас явится Пугачев, то я пойду к нему в адъютанты, потому что я сотой доли так не <не>навижу польское шляхетство, как ненавижу русское дворянство, которое пошло, подло и неразрывно связано с русским правительством».[1]

В 1856 г., уже после отъезда Огарева из России, в Москве вышел первый сборник его стихотворений. В Лондоне Огарев продолжал литературную деятельность, выступал как критик и издатель. В «Колоколе» и «Полярной звезде» печатались его статьи. В 1858 г. было осуществлено издание второго сборника стихотворений. К 1860 г. относится издание «Дум» Рылеева. В 1861 г. вышел подготовленный им сборник «Русская потаенная литература XIX столетия» с большой статьей о месте политической поэзии в истории русской литературы. В 1859 г. в связи со смертью художника А. А. Иванова Огарев выступил в «Полярной звезде» с программной статьей, направленной против реакционной теории «чистого искусства».

Личная жизнь Огарева за границей сложилась неблагоприятно. Н. А. Тучкова с 1858 г. стала женой Герцена. Дети Тучковой от Герцена номинально считались детьми Огарева; ранняя смерть двоих из них усугубляет внутреннюю трагедию; отношения Герцена с Тучковой очень осложняются, совместная жизнь становится трудной. В конце 1858 г. Огарев сближается с «англичанкой простого звания» Мери Сэтерленд, которая с этого времени неотлучно сопровождает его до смерти.

Во второй половине 1860-х годов, в новых исторических условиях, влияние «Колокола» и Герцена уменьшается. Центром эмиграции оказывается уже не Лондон, а Женева, куда и направляется весь поток революционеров-эмигрантов. В 1865 г., одновременно с переводом Вольной русской типографии в Женеву, туда же переезжает и Огарев. «Молодая эмиграция» (А. А. Серно-Соловьевич и др.) вступает в борьбу с Герценом и Огаревым, и победа остается на ее стороне. Новое поколение революционеров рассматривает Герцена и Огарева как дворянских революционеров, отставших от

---

[1] «Литературное наследство», № 61, 1953, стр. 824. Ср. Е. М. Филатова. Экономические взгляды Герцена и Огарева, 1953.

новых задач революционной борьбы. В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена» указывал, что, упрекая Герцена «за эти отступления от демократизма к либерализму», разночинцы «были тысячу раз правы».[1] Кроме этого столкновения, возникли серьезные разногласия с М. А. Бакуниным и С. Г. Нечаевым. Герцен занимал более непримиримую позицию и продолжал борьбу; Огарев искал примирения и точек соприкосновения.

К концу 1860-х годов относится ряд написанных для Нечаева и изданных в Женеве стихотворных прокламаций Огарева. Впрочем, сближение с Нечаевым не налаживается и вскоре наступает разрыв.

В 1870 г. умер Герцен.

Отошедший от политической жизни, существуя лишь на пенсию семьи Герцена, Огарев с Мери Сэтерленд переселяется обратно в Англию, в Гринвич. Там он и умер 31 мая (12 июня) 1877 г.

2

Для поэтической судьбы Огарева характерно, что он был признан вскоре же после первого выступления в печати.

В обзоре «Русская литература в 1841 году» Белинский писал:

«Вероятно, читатели «Отечественных записок» обратили внимание на стихотворения г. Огарева, отличающиеся особенною внутреннею меланхолическою музыкальностию; все эти пьесы почерпнуты из столь глубокого, хотя и тихого чувства, что часто, не обнаруживая в себе прямой и определенной мысли, они погружают душу именно в невыразимое ощущение того чувства, которого сами они только как бы невольные отзвуки, выброшенные переполнившимся волнением».[2]

Слова Белинского оказались определяющими для последующей критики на много лет вперед: внутренняя меланхоличность, тихое поэтическое чувство и грусть — без этих признаков не обходился уже ни один критик поэзии Огарева. Одни — как, например, В. П. Боткин или А. В. Дружинин, — подхватив эти слова, пытались истолковать Огарева как оторванного от жизни чистого ли-

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 12.

[2] «Отечественные записки», 1842, № 1, стр. 44—45 (Полное собрание сочинений, т. V. М., 1954, стр. 579—580). Ср. еще сочувственные отзывы о стихах Огарева в письмах к В. П. Боткину 1840—1842 гг. (Белинский. Письма. Под ред. Е. А. Ляцкого, т. II. СПб., 1914, стр. 127, 173, 282 и др.).

рика,[1] другие постарались понять и объяснить эти свойства поэзии Огарева, сопоставить их с условиями его развития, вскрыть подлинное содержание и смысл его поэзии.

Первое, после Белинского, правильное историческое объяснение принадлежит Аполлону Григорьеву.

Через несколько лет после смерти Белинского, в 1853 г., он четко и недвусмысленно назвал основную черту лирики Огарева тоскою и сумел объяснить происхождение этого качества. Не забудем при этом, что А. Григорьев мог судить лишь о не собранных еще воедино стихотворениях, разбросанных по различным журналам. Огарев для Григорьева «певец <...> с тою глубиною мотивов, которые сообщаются всякому читающему его <...>; его тоска, тоска сердца бесконечно нежного, бесконечно способного любить и верить и *разбитого противоречиями действительности, сердца, которое даже не порешило дела так, что оно одно — право, а действительность во всем виновна»*.[2]

Еще через три года имя Огарева будет поднято на щит и утверждено Чернышевским. Его отзыв (1856), едва ли не последний в подцензурной русской печати, занимает совершенно особое место — о нем речь будет дальше.

Называть имя Огарева в печати с конца 1850-х годов становится делом трудным и небезопасным, а затем и вовсе невозможным. Огарев оказался искусственно выключенным из хода развития русской поэзии.

8

«Гром пушек на Сенатской площади разбудил целое поколение», — писал о себе и о своих современниках Герцен. Эти слова в особенности должны быть отнесены к Огареву. Восстание декабристов было толчком, сыгравшим важнейшую роль в его духовной

---

[1] Отзыв В. П. Боткина в «Современнике», 1850, № 2, Смесь, стр. 158—175 (Сочинения, т. 2. СПб., 1891, стр. 335—351); А. В. Дружинина — в «Библиотеке для чтения», 1856, № 5, Критика, стр. 19—29 (Собрание сочинений, т. VII. СПб., 1865, стр. 131—140). Характерные образцы такого традиционного восприятия — в статье Н. М. Мендельсона в «Истории русской литературы XIX века» (М., 1909, изд. т-ва «Мир») и особенно в предисловии В. П. Полонского к «Архиву Огаревых», в котором находим характеристику Огарева как «тишайшего, нежнейшего элегического поэта» (М., 1930, стр. 11).

[2] «Москвитянин», 1853, № 1, стр. 38—41. Курсив мой. — *С. Р.* Тот же отзыв почти без изменений повторен А. Григорьевым в статье «Наши литературные направления после 1848 г.» — «Время», 1863, № 2, стр. 19—22 (Полное собрание сочинений и писем, т. I. Пг., 1918, стр. 177—181 и 327).

жизни. Эта начальная стадия поэтического развития Огарева, определившая весь его дальнейший путь, отмечена им в стихах, описывающих последекабрьский период — обстановку николаевского террора.

Везде шепталися. Тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети, с робостью во взгляде,
Звучащий стих свободы ради,
Таясь, твердили по ночам.

(«Памяти Рылеева», 1859)

«Мы, дети» — это Огарев и Герцен в 1825 г., тогда еще подростки.

Обстановка восстания и подавления движения декабристов на всю жизнь определила ход мыслей Огарева. Не забудем, что коекто из его близких и родных был непосредственно замешан в деле, а все окружавшие его с волнением переживали жуткие месяцы террора. Об этом говорят некоторые строки поэмы «Матвей Радаев».

Декабрист навсегда остался для Огарева синонимом героямученика; стихи, посвященные декабристам, в частности Рылееву и Одоевскому, с особенной ясностью показывают, что именно декабризм был и для Герцена и для Огарева тем толчком, который пробудил в них живой интерес к социальной действительности и предопределил на всю жизнь отношение к борцам за «благо людей», с одной стороны, и режиму Николая I — с другой.

В этой обстановке, обусловленной разгромом передового общественного движения, и нужно искать источник того чувства безнадежности, которым полон первый сборник стихов Огарева.

Последующие события политической и личной жизни — ссылка и арест в 1834 г., арест 1850 г., секретный и несекретный надзор, процесс Петрашевского, революция 1848 г. на Западе — все это в условиях не прекращавшегося в России удушения свободной мысли вызвало формирование той поэтической меланхолии, которая является одной из наиболее характерных черт лирики Огарева 1830—1850-х годов. Именно это отметил Аполлон Григорьев, говоря о тоске как следствии противоречий действительности. Под этой прикровенной формулировкой скрывалось правильное объяснение одной из основных черт поэзии Огарева — лирического созерцания с оттенком обреченности.

Но в теле дряблом и больном
Теперь живет душа больная:

Мы суждены желать, желать
И всё томиться и страдать.

(«Юмор»)

Первый сборник Огарева весь пронизан подобными мотивами

Но тщетно все! .. ответа нет желанью. . .

(«Еще любви безумно сердце просит»)

. . . . .не сходит
С души тоска ни на единый миг;
Меж тем и жизнь идет, и тяготеет
Над ней судьба, и страшной тайной веет.

(«В пирах безумно молодость проходит»)

И скука страшная лежит на дне души,
Меж тем как я внимаю с напряженьем,
Как тайный ход судьбы свершается в тиши,
И веет мне от жизни привиденьем.

(«Бываю часто я смущен внутри души»)

И мне грядущее замены не сулит:
Вся жизнь пройдет несносною ошибкой. . .
И слезы горькие, текущие с ланит,
Уста глотают с горькою улыбкой.

(«Ночь»)

Почти на каждой странице — сожаление о бесполезно прожитой жизни, о бренности бытия, об отсутствии гармонии и счастья, о тусклости и бессодержательности существования. Характерны и сами заглавия стихотворений: «Хандра», «Fatum», «Забыто», «Сплин», «Много грусти!», «За днями идут дни» и пр. Все это помогает представить себе ту обстановку, в которой развивалась поэзия Огарева.[1] Она была порождена гнетущим режимом николаевской эпохи, когда среди передовых людей распространилось чувство обреченности, неверие; отсюда и «преждевременная старость души» (Пушкин) или хорошо знакомый по поэзии Лермонтова безнадежный скептицизм.

Безнадежность, скорбь и тоска были выражением состояния русского общества, в котором, по словам Белинского, «кипят и рвутся

---

[1] Ср. в «Юморе»:

Чуть есть талант, уж с ранних лет —
Иль под надзор он полицейской
Попал, иль вовсе сослан он. . .

наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию» («Письмо к Гоголю»).

Аресты и ссылки, сложные семейные отношения, разрыв с друзьями, неудача экспериментов по переустройству земельных отношений с крестьянами, неудача в деятельности «помещика-индустриала», невозможность приложить к делу свою энергию — все это не могло не способствовать появлению поэтического образа глубоко разочарованного, но не сдающегося и не идущего на компромиссы поэта.

4

В конце 1846 г. Огарев послал в редакцию «Современника» свои «Монологи» — цикл стихотворений, на который впоследствии часто ссылались критики, когда хотели подтвердить мысль об Огареве как «певце безнадежной тоски». Стихотворения долго не появлялись в печати и были опубликованы лишь полгода спустя, да и то не все, — одно из них («Скорей, скорей топи средь диких волн разврата») в «Современнике» напечатано не было.

Появление в журнале трех стихотворений также явилось результатом внутренней редакционной борьбы. Белинский протестовал против печатания «Монологов», и первоначально было решено отказаться от них вообще. 15 февраля 1847 г. Некрасов писал Тургеневу: «За Огарева на днях с Белинским мы воевали, впрочем в дружелюбном тоне, — и победа осталась за ним — «Монологи» погибли для света». [1]

Позднее членам редакции «Современника» (т. е. Некрасову или Панаеву), очевидно, удалось уговорить Белинского, и три стихотворения все же увидели свет. Не желая посвящать Огарева в подробности внутриредакционных отношений, И. И. Панаев решил свалить вину на цензуру; [2] 6 октября 1847 г. он писал Огареву: «Из монологов твоих один не пропущен цензурой и потому не напечатан». [3]

О том, почему именно Белинский возражал против печатания «Монологов», мы узнаем из его письма к Боткину от 29 января

---

[1] Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X. М., 1952, стр. 62.

[2] Прием, кстати сказать, иногда применявшийся в редакционной практике этого времени и не всегда учитывающийся исследователями, принимающими ссылки на цензуру за чистую монету.

[3] «Новые пропилеи». Под ред. М. О. Гершензона. М., 1928, стр. 17.

1847 г.: «Насчет стихов Огарева ты меня не совсем понял:[1] кроме гамлетовского направления, давно сделавшегося пошлым, оно бесцветно и вяло в эстетическом отношении. Это набор общих мест и избитых слов, а главное — тут нет стиха, без которого поэзия есть навоз, а не искусство. Ты говоришь, что стихи не обязаны выражать дух журнала, а я говорю: в таком случае и журнал не обязан печатать стихов <...> Балласт — это гибель журнала. А что гамлетовское направление в стихах многим нравится, мне до этого дела нет».[2]

Смысл этого эпизода становится ясным: «Монологи» не удовлетворили Белинского, потому что диссонировали с направлением нового журнала. Белинский с самого начала старался удержать «Современник» на большой принципиальной высоте. Стихи же Огарева представляли ненавистное ему «гамлетовское» направление, то есть направление, лишенное волевых импульсов; журналу с ясной и определенной программой не подобало поднимать на щит стихи такого рода. Гамлетовец — это синоним лишнего человека, и Белинский, конечно, не мог прокламировать такие мотивы.

Белинский увидел в «Монологах» только одну их сторону — мученье внутренней борьбы, бессилие поэта, тщету желаний, скудость жизни, подавившей идеалы, рефлексию вместо живой деятельности:

Проклятие! опять ненужное мученье
Внутри души я где-то отыскал!
. . . .
И кажется, что жить — отчаянная смелость. . .

и т. д.

Для Белинского в 1847 г. «рефлективная» поэзия уже не была, как раньше, формой общественного протеста. Те мотивы, которые он мог приветствовать в начале 1840-х годов, к концу десятилетия были ему уже чужды и враждебны настолько, что его не удовлетворило даже последнее стихотворение цикла, в котором звучит уже не бессильная покорность судьбе, а апофеоз человека, рассчитавшегося с прошлым и выходящего на борьбу:

. . . . я с призраками смело
И искренно расчелся наконец;
Я отстоял себя от внутренней тревоги,
С терпением пустился в новый путь,

---

[1] Из этих слов видно, что было какое-то неизвестное письмо Белинского на ту же тему.

[2] «Письма», т. III. 1914, стр. 161—162.

И не собьюсь теперь с рассчитанной дороги —
Свободна мысль и силой дышит грудь...

Между тем именно эти чувства и мысли определили историческую судьбу «Монологов». Недаром они вошли в русскую революционную традицию. Н. И. Утин в 1863 г. в письме к Огареву свидетельствовал, что «Монологи» «знаются весьма многими наизусть и повторяются до сих пор».[1] Весьма важно указание М. И. Калинина о том, что его поколением «Монологи» воспринимались как стихи, выражающие тревогу «за смысл существующего» в условиях насилия господствующих классов».[2] Значит, Чернышевский был прав и проявил обычную для него историческую зоркость, полностью перепечатав весь цикл в своей рецензии 1856 г. Через десять лет после отзыва Белинского стихотворение воспринималось уже иначе. В новых исторических условиях по-новому зазвучали и другие строки:

Теперь товарищ мне иной дух отрицанья —
Не тот насмешник черствый и больной,
Но тот всесильный дух движенья и созданья,
Тот вечно юный, новый и живой.
В борьбе бесстрашен он, ему губить — отрада,
Из праха он все строит вновь и вновь,
И ненависть его к тому, что рушить надо,
Душе свята так, как свята любовь.

5

Эпизод с «Монологами» показывает, что поэзию Огарева, в частности сборник 1856 г., нельзя отнести к направлению «чистого искусства», как это делали некоторые критики.

Уже в первом программном стихотворении (оно открывало собою два сборника — московский 1856 г. и лондонский 1858 г.) обращала на себя внимание концовка, не позволявшая воспринимать его стихи только как выражение унылого и безнадежного взгляда на современную Огареву общественную жизнь:

Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем,
Мы в жизнь вошли с неробкою душой
. . . .

[1] «Литературное наследство», № 62, 1955, стр. 625. Ср. воспоминания Н. Я. Николадзе. «Каторга и ссылка», 1927, № 4(33), стр. 48.

[2] «Славный путь комсомола», 1938, № 10, стр. 7. Перепечатано в сб.: М. И. Калинин. Славный путь комсомола. М., 1946, стр. 8—9

И с жизнью рано мы в борьбу вступили,
И юных сил мы в битве не щадили
. . . .
И на кладбище стали мы похожи:
Мы много чувств, и образов, и дум
В душе глубоко погребли... И что же?
Упрек ли небу скажет дерзкий ум?
К чему упрек? .. Смиренье в душу вложим,
И в ней затворимся — без желчи, если можем.

(«Друзьям»)

Это «если можем» — одновременно и вопрос и ответ, убедительно раскрывающий социальные симпатии поэта. Концовка особенно резко подчеркивала взгляды и настроение автора.

Полузадушенный рукой Николая I поэт грустит, жизнь кажется ему мукой («Хандра»), но он все-таки не сдается:

. . . . судорожный смех
Не заглушает тайного мученья! ..

(«В пирах безумно молодость проходит. . .»)

В душе поэта

. . . . ключ живой
Трепещет сжато и тревожно.

(«Немногим»)

Или:

Не все в душе тоска сгубила
. . . .
На дне ее еще есть сила...

(«Юмор»)

Таков, в сущности, лейтмотив сборника. Внимательный анализ позволяет обнаружить в нем группу стихотворений, окончательно разрушающих представление о якобы нейтральном характере его. Об этих стихотворениях, не привлекавших внимания исследователей, легче всего дать представление, если охарактеризовать их как произведения некрасовского типа.[1] Назовем такие вещи, как «Деревенский сторож», «Кабак», «Дедушка», «Младенец», «Изба», «Дорога», «Арестант», «Из края бедных, битых и забитых. . .». Эти заглавия характерны уже сами по себе. Тут и пьющий

[1] Ср. в письме Огарева к Т. Н. Грановскому 17 января 1847 г.: «Тройка» Некрасова чудесная вещь. Я ее читал раз десять». — «Звенья», т. 1, М., 1932, стр. 116.

с горя крестьянин, и деревенский сторож-бедняк, и томящийся в заключении арестант, и сочувствующий ему тюремщик, и ямщик, и бедная крестьянская изба — круг тем, близких поэзии Некрасова и именно им полноправно утвержденных в русской поэзии.[1] Недаром даже в 1873 г., при переиздании давно известных некрасовских стихов, цензор счел нужным снова подчеркнуть: «Мотивы и содержание стихотворений Некрасова отличаются преимущественно *известным направлением:* стоны и скорбь о бедности и страдании русского крестьянина при крепостном праве и вообще простого русского человека, находящего, вследствие этих страданий и гнета, отраду и забвение в вине. Есть стихотворения <. . .>, производящие болезненное, отталкивающее впечатление по безотрадному взгляду на обстановку жизни, по совершенному отсутствию простого человеческого чувства. . .»[2] и т. д.

Если цензура в 1873 г. так резко относилась к давним (лишь переиздававшимся) произведениям Некрасова, нетрудно представить себе всю остроту восприятия «крестьянских» стихов Огарева почти за двадцать лет до того. Недаром в секретно изданном в 1865 г. «Собрании материалов о направлении различных отраслей русской словесности» (глава о «направлении русской лирической поэзии с 1854 по 1864 г. включительно») официозный историк литературы граф П. И. Капнист зачислил Огарева в группу «поэтов, развивавших сперва туманные приемы немецкого романтизма, а потом усвоившего себе теории французского социализма».[3]

Огарев сыграл свою роль в исторической подготовке некрасовского стиля. Нечего и говорить, что его стихи воспринимались как «тенденциозные»; они выделялись своей народной темой, сюжетностью и конкретностью. Более того: вкрапленные в общую массу лирических стихов сборника, они звучали особенно резко в этом окружении, не оставляя сомнений в социальных симпатиях их автора. «Сколько реализма в его поэзии и сколько поэзии в его реализме!» — восклицал Герцен в письме к Т. Н. Грановскому 24 сентября 1849 г.[4]

---

[1] «Деревенский сторож», «Старый дом», «Изба» и «Дорога» отмечены Некрасовым и Добролюбовым в качестве лучших произведений Огарева (Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. IX. М., 1950, стр. 199; отзыв о «Зимнем пути» — там же, стр. 386; Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. III. Л., 1937, стр. 501).

[2] «Звенья», т. 5. М., 1935, стр. 532. Курсив мой. — *С. Р.*

[3] Назв. книжка, стр. 52—55, или П. И. Капнист. Сочинения, т. II. М., 1901, стр. 343; ср. стр. 336 и 373—375.

[4] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. V. Пг., 1919, стр. 282.

Так уже в 1840-х годах Огарев преодолевал абстрактно-романтические тенденции, трансформировал, по его собственным словам, «непреклонность сознания» в «непреклонность воли» и переключался в круг близких реалистической поэзии тем. «Да, мне многое и многое хочется схватить из поэтической грусти и жизни России, — писал Огарев жене еще 15 декабря 1840 г. — Наша народность довольно оригинальна и содержит довольно глубокий поэтический элемент, чтоб трудиться представить ее в поэтических образах. И именно надо спуститься в низший слой общества».[1]

Огарев намечал ясную программу деятельности на благо народа:

...мир, который мне как гнусность ненавистен,
Мир угнетателей, обмана и рабов —
Его, пока я жив, подкапывать готов...

(«Совершеннолетие»)

Пессимистический тон стихов Огарева нельзя было расценить иначе, как «неприятие окружающего», а «некрасовские» мотивы подчеркивали «известное направление» автора. Сборник не был нейтральным. Критика действительности была еще очень абстрактна, но считать сборник стоящим вне борьбы было невозможно. Лирик по самой природе своего дарования, Огарев создал книгу, в которой с достаточной резкостью прозвучали ноты протеста. Этого было достаточно, чтобы книга была поднята на щит революционными демократами в лице Чернышевского.

6

Наиболее значительным из критических откликов на сборник стихотворений Огарева 1856 г., несомненно, была рецензия Н. Г. Чернышевского в сентябрьской книжке «Современника». По сравнению с статьями других критиков, единодушно провозглашавшими Огарева певцом тоски и безысходной грусти, выступление Чернышевского прозвучало резким диссонансом.

Чернышевский приветствовал Огарева: «Холодно будут тогда <через 20—30 лет> вспоминать или вовсе не будут вспоминать о многих из поэтов, кажущихся нам теперь достойными панегириков,

---

[1] М. О. Гершензон. Образы прошлого. М., 1912, стр. 444. Ср. еще сходные мысли в относящемся к 1833—1834 гг. наброске «Толпа». — «Звенья», т. 6. М., 1936, стр. 339—341. Отрывок ошибочно опубликован как принадлежащий Герцену.

но с любовью будет произноситься и часто будет произноситься имя г. Огарева, и позабыто оно будет разве тогда, когда забудется наш язык».[1]

Это ответственное утверждение, естественно, нуждалось в мотивировке и оправдании. Отрицать лирические ламентации и мотивы безысходности в лирике Огарева («гамлетовское направление», о котором писал еще Белинский) было невозможно и не нужно. «Быть может, многие из нас приготовлены теперь к тому, чтобы слышать другие речи, в которых слабее отзывалось бы мученье внутренней борьбы», — прямо заявлял Чернышевский. Он ждал «речи человека, который становится во главе исторического движения с свежими силами, но когда-то мы услышим такие речи? — да и в самом ли деле многие из нас приготовлены к тому, чтобы слышать и понять их? И те, которые действительно готовы, знают, что если они могут теперь сделать шаг вперед, то благодаря тому только, что дорога проложена и очищена для них борьбою их предшественников, и больше, нежели кто-нибудь, почтут деятельность своих учителей».[2]

Итак, не отрицая элементов пессимизма и «рефлексии» в поэзии Огарева («мученье внутренней борьбы»), Чернышевский считает его предшественником нового поколения, провозвестником новой эпохи, людей «бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительной речи, в которой слышалась бы не робость теории перед жизнью, а доказательство, что разум может владычествовать над жизнью и человек может свою жизнь согласить с своими убеждениями».[3] Таким образом, Чернышевский утверждает, что перед нами борец, человек, не чуждый революционным идеям.

Рецензия Чернышевского была не случайной заметкой, а обдуманным программным выступлением. Добролюбов счел нужным обратить на нее внимание своего приятеля Н. П. Турчанинова: «Заметь также, когда будешь иметь книжку «Современника», и разбор стихотворений Огарева».[4] Чернышевский выражал не только свою точку зрения, но и настроения большей части радикально-революционной интеллигенции. Напомним, что именно об Огареве и Герцене, непосредственно развивая взгляды Чернышевского, говорил и Добролюбов в статье «Литературные мелочи прошлого года», по-

---

[1] «Современник», 1856, № 9, Библиография, стр. 2 (Полное собрание сочинений, т. III. М., 1947, стр. 562).

[2] Там же, стр. 8. Полное собрание сочинений, стр. 567.

[3] Там же, стр. 567—568.

[4] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», т. I. М., 1890, стр. 320; письмо от 1 августа 1856 г.

явившейся за несколько месяцев до разрыва с Герценом в связи с его заметкой «Very dangerous».

В названной статье, имея в виду Герцена и Огарева, Добролюбов в 1858 г. писал:

«Разумеется, были и есть в этом поколении люди, которые вовсе не подходят под общую норму <...> Таков был Белинский; таковы были еще пять-шесть человек, умевшие довести в себе отвлеченный философский принцип до реальной жизненности и истинной, глубокой страстности. Это люди высшего разбора, пред которыми с изумлением преклонится всякое поколение. Кроме их, были и другие сильные люди, умевшие на всю жизнь сохранить «святое недовольство» и решившиеся продолжать свою борьбу с обстоятельствами до истощения последних сил. Эти люди почерпнули жизненный опыт в своей непрерывной борьбе и умели его переработать силою своей мысли; поэтому они всегда стояли в уровень с событиями, и как только явилась им опять возможность действовать, они радушно и вполне сознательно подали руку молодому поколению».[1]

Выступление Чернышевского, кроме политически важной для него в это время оценки Огарева, имело в виду еще одно обстоятельство. В той самой книжке «Современника», в которой была напечатана рецензия, появилась и шестая статья «Очерков гоголевского периода русской литературы». В статье идет речь о кружке Станкевича и Герцена. Но имя Герцена в 1856 г. уже нельзя было называть в печати, и на протяжении всех двенадцати страниц оно последовательно заменено формулой «Огарев и его друзья». Так, мы читаем о «развитии Огарева и его друзей», о «внимании Огарева и его друзей к новым вопросам», о «философском направлении Огарева и его друзей», о «спорах с друзьями Огарева» и т. д.

Эта статья и должна быть непосредственно сопоставлена с рецензией на сборник стихов Огарева. Весьма правдоподобно высказанное в литературе предположение»[2] о том, что рецензия Чернышевского есть заявление о политической солидарности с Герценом. Дело в том, что в вышедшей из печати 24 апреля 1856 г. н. ст.[3] второй книжке «Полярной звезды» был напечатан отрывок

---

[1] «Современник», 1859, № 1 (Полное собрание сочинений, т. IV. Л., 1937, стр. 59).

[2] Ж. Эльсберг. А. И. Герцен и «Былое и думы». М., 1930, стр. 44—47.

[3] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XXII Л., 1925, стр. 281.

из «Былого и дум» — «Н* и Воробьевы горы». Имя Огарева, который как раз в это время покидал Россию, нельзя было назвать, и его заменила буква «Н*» (т. е. «Ник.» — Н. П. Огарев). Отрывок, содержавший известный рассказ о клятве, объединяющей Герцена и «Н», давал Чернышевскому полную возможность говорить в печати о легальном ещё Огареве, подставляя его имя вместо уже запретного имени Герцена. Процитированное Чернышевским в его рецензии стихотворение «Старый дом» заключало и публикацию Герцена в «Полярной звезде».

Другим, еще более очевидным намеком было упоминание в рецензии Чернышевского о той самой восторженной дружбе, о которой идет речь и в отрывке из «Былого и дум». *«Патрокл — не Дафнис, созданный праздностью,* — писал Чернышевский, — <...> *да и Троя, если не им взята, то без него* <Патрокла> *не была бы взята».*[1] Итак, Огарев — Патрокл, а Герцен — Ахилл. Таким образом, шестая статья «Очерков гоголевского периода» и рецензия, оказывается, связаны между собой тонким политическим маневром Чернышевского. «Огарев и его друзья», «Патрокл» и «Н» образуют один ряд. Корреспондирование это давало в руки посвященных достаточный ключ для объединения и подстановки.

Вышедшую в апреле «Полярную звезду» Чернышевский к моменту писания рецензии на Огарева (июль—август) не мог не знать. С другой стороны, называть Огарева в связи с «Былым и думами» можно было вполне безопасно. Кроме сборника 1856 г., Чернышевскому, конечно, были известны и ненапечатанные поэмы и стихотворения Огарева, дававшие основания считать его союзником по борьбе («Дон», «Деревня», «Господин» и прежде всего «Юмор»). В пользу Огарева свидетельствовали и ореол человека, дважды пострадавшего за свои убеждения, и близость его к кругу Герцена, и, вероятно, личное знакомство, — все это создавало у Чернышевского уверенность, что протестантские мотивы лирики Огарева получат в будущем свое дальнейшее развитие, станут более четкими и действенными.

В этом Чернышевский не ошибся.[2]

---

[1] Курсив мой. — *С. Р.*

[2] Рецензия и шестая статья «Очерков гоголевского периода» вызвали протесты и недоумение среди либерально настроенных литераторов, не понявших сути выступлений Чернышевского. Е. Колбасин 29 сентября 1856 г. писал Тургеневу: «Чернышевский золотой человек <...>, но разбор его о стихотворениях Огарева не совсем понравился». 8 и 28 сентября И. И. Панаев сообщал В. П. Боткину: «Об Огареве Чернышевский сказал только с одной стороны»; «Ога-

7

Романтическая абстрактность ранней лирики Огарева оказалась сравнительно быстро преодоленной. Герцен называл эту «ложную монашескую пассивность» «злым духом» Огарева.[1] Впрочем, уже тогда эта «пассивность» сочеталась у Огарева с мотивами неприятия окружавшей его действительности. Гораздо более трезвый и энергичный Герцен хотел видеть Огарева активным деятелем; одни только поэтические декларации его не могли удовлетворить, казались ему выражением психологии «лишнего человека».

Поэт-провидец, отрешенный от суетного мира, философ-гуманист, занятый абстрактными проблемами бытия, уже в середине 1840-х годов уступает место борцу за революционный идеал, поэту, для которого трагический скепсис и пессимизм — одна из форм неприятия окружающего мира. 22 июня 1847 г. Огарев писал (по поводу «Кто виноват?» Герцена) Е. Ф. Коршу: «Зрелость взгляда отрицания ради — не полная зрелость, ибо невольно перебрасывает человека в романтическое отвращение от деятельности. Внутри нас должен совершиться еще переход в положительную деятельность при всех скорбных задатках отрицания. Это необходимый переход, помимо которого не добьешься светлой гармонической жизни, которая напоминает греческий мир».[2]

Огарев и сам признавал в себе «гамлетовские» черты.[3] Однако если в начале 1840-х годов он признавал их лишь как свои инди-

---

реву приписывается значение, которого он не имел, конечно, но объяснять это для тебя, я полагаю, излишне». 21 сентября Боткин отвечал: «А значение, которое придано Огареву, крайне преувеличено <...> В споре двух направлений он не принимал никогда никакого участия. Все это хорошо известно всем, кто помнит то время, а здесь помнят его некоторые, и их очень странно поразило небывалое значение, приданное Огареву. Это чистая неправда. Правда, ему придано такое же значение и другим автором <т. е. Герценом> — но там преувеличение произошло из чувства дружбы. В одном только прав Чернышевский, именно, что в поэзии Огарева отразился тот период русского развития, который можно назвать философским романтизмом» («Тургенев и круг „Современника"», 1930, стр. 272, 384, 386 и 389).

[1] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. II. Пг., 1919, стр. 415.

[2] Сборник «Помощь голодающим». М., 1892, стр. 522.

[3] В феврале 1842 г. Огарев писал жене: «Гамлетовский элемент мучит меня, не наполняя душу и ничему не помогая», через несколько месяцев — В. П. Боткину: «Я мучусь бессилием. Гамлетовская натура преобладает».

видуальные качества, то позднее он возвысился до их обобщающего социального толкования.

Все творчество Огарева тесно связано с Лермонтовым. Лермонтов всегда оставался одним из любимейших его поэтов. Огарев написал проникновенные стихи на смерть Лермонтова. В письмах 1840-х годов он неоднократно цитирует его произведения.[1] В начале поэмы «Юмор» (1841), оценивая современную русскую поэзию, он ставит Лермонтова непосредственно рядом с Пушкиным. Еще позже, в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия» (1861), он дает развернутую социологическую характеристику Лермонтова и его роли в русской поэзии. К концу жизни Огарев еще раз возвращается к Лермонтову: в черновом наброске «С утра до ночи» (1872—1873) есть главка, посвященная его поэзии. Здесь дана яркая характеристика социальных условий, губительно влиявших на поэта, причем все сказанное по этому поводу о Лермонтове во многом относится и к самому Огареву.

В наброске говорится: «Что-то губит его <Лермонтова> стихи даже в моем собственном сознании. А что такое их губит — это то, что сгубило его жизнь, сделав из нее постоянно бесполезное страдание, это та общественная среда, в которой он вырос. Это та среда, которая даже все человечески хорошее сводит на личность, а общий вопрос, какой бы он ни был, вопрос ли знания, вопрос ли общественного устройства, — теряется; если когда-нибудь случайно мысль касается его, то эта мысль лишена ясности, лишена понимания. Идеал один — это личность, поглощенная постоянным обращением на самое себя, замученная собственными неудавшимися страстями до того, что она жаждет отчуждения от всего, на все кругом смотрит как на виноватое перед собой и охотно умрет с проклятием на устах, а между тем жизнь проходит безо всякой цели».[2]

Лермонтов был близок Огареву тем, что выразил «напряженную трагичность» своего положения, поставил вопрос о судьбах и задачах целого поколения. Отрицание, протест, отчаяние характерны для обоих поэтов. Огарев стремился выразить те же мысли, разрешить тот же круг проблем, что и Лермонтов. Оба поэта изнемогали в обстановке так называемого «света», привилегированного

---

[1] См., например, М. О. Гершензон. Образы прошлого. М., 1912, стр. 462.

[2] «Литературная мысль», вып. 1. Пг., 1922, стр. 236. Перепечатано в изданиях: Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы, т. I. Л., 1937, стр. 355, и Н. П. Огарев. Избранные произведения, т. 2. М., 1956, стр. 504—505.

общества. Для характеристики этого общества Огарев находил сильные и злые слова:

Как эти люди скучны, глупы,
Как их бессмысленны слова...
. . . .
Как сердце их черство и вяло,
Как пышет холодом от них!
Какую желчь в меня вливала
Беседа сладостная их!
Подите прочь!..

(„Gute Gesellschaft")

Поэтов сближали не столько индивидуальные черты пессимизма, сколько социальные недуги, сходство мучительных противоречий, общая неудовлетворенность действительностью.

В рецензии Чернышевского было сделано важное замечание о сущности лирики Огарева: «В лирической поэзии личностью автора затмеваются обыкновенно все другие личности, о которых говорит он. У г. Огарева напротив: когда он говорит о себе, вы видите, что из-за его личности выступают личности тех, которых любил или любит он; вы чувствуете, что и собою дорожит он только ради чувства, которое питал он к другим. Даже любовь, под которою чаще всего скрывается себялюбие, у него чиста от эгоистического оттенка».[1]

В этих словах схвачена наиболее значительная и своеобразная черта творчества Огарева, отмечено то новое, что он внес в поэзию. Огарев действительно слил в своей лирике личное и общественное с необычайной полнотой, как никто до него в русской поэзии. Потому-то так трудна жанровая классификация его стихотворений. Лирические стихи пронизаны публицистической тенденцией, а в политических стихах явственно звучат мотивы интимной лирики. Стихотворения «Памяти Рылеева», «Михайлову», «На смерть Лермонтова», «Gute Gesellschaft», «Fashionable», «Совершеннолетие», «Искандеру», «К<В. А. Панаеву>», «Упование. Год 1848» и многие другие — стихотворения, в которых личные переживания возвышаются до своего исторически мыслимого предела — общественного идеала. Личное в устах поэта-патриота пронизано политическим пафосом:

---

[1] «Современник», 1856, № 9, Библиография, стр. 4 (Полное собрание сочинений, т. III. М., 1947, стр. 564).

Я в деле счастья горд и бескорыстен!
Но мир, который мне как гнусность ненавистен,
Мир угнетателей, обмана и рабов —
Его, пока я жив, подкапывать готов
С горячим чувством мести или права,
Не думая о том, что́ — гибель ждет иль слава.

(«Совершеннолетие»)

Или:

Еще дышу я, всею мыслью века
Я жизненно проникнут до ногтей,
И впереди довольно много дела,
Чтоб мысль о смерти силы не имела.

(«Упование. Год 1848»)

Продолжая тему пушкинского пророка, Огарев видит призвание поэта в том, чтобы

с уст твоих,
Непраздhословных и нелживых,
Звучал поток речей живых,
Как разум ясных и правдивых.

. . . .

Готов ли?.. Ну! теперь смотри,
Ступай по городам и селам
И о грядущем говори
Животрепещущим глаголом.

(«Напутствие»)

Излюбленная Огаревым форма стихотворных посланий («Другу Герцену», «Грановскому», «К <В. А. Панаеву>», «Коршу», «К друзьям», «К М. Л. Огаревой», «Е. Г. Л<евашевой>» и многие другие) была особенно удобна для сочетания мотивов личного и общественного, она позволяла в форме интимного признания, полного разговорных прозаизмов дружеского рассказа или исповеди, выражать затаенные помыслы и переживания. Огарев тонко чувствовал красоту природы, но описание пейзажа тоже постоянно обращалось у него в воспоминание о родине, противопоставление роскошных картин Италии грустным, но более дорогим для него картинам родной природы средней полосы России.

8

Полным голосом Огарев-поэт смог заговорить, только оказавшись за границей, став политическим эмигрантом. Все то, что в его поэзии до тех пор было подспудным и о чем догадывались лишь наиболее прозорливые критики, вырвалось наружу. Наступило то «воскресение от устали», о котором поэт писал в предисловии к «Русской потаенной литературе XIX столетия». Поэзия Огарева начала открыто служить делу революции. Его стихами открывается первый лист «Колокола» — нечто вроде программы революционной борьбы. Его же стихотворением («До свиданья») заключался и последний лист. Огарев пишет одно из сильнейших произведений русского революционного репертуара — стихотворение «Памяти Рылеева», выступает с гневным памфлетом по адресу Ростопчиной, отказавшейся от убеждений юности и отдавшей свое перо реакции. Огарев верит в «непочатую» силу народа и обращается с напутствием к ссылаемому в Сибирь Михайлову, воспевает подвиг крестьянина-революционера Антона Петрова («Михайлову»), приветствует возникшую в России подпольную организацию «Земля и воля» («Сим победиши») и т. д. Его стихи, обращенные к Искандеру-Герцену, — популярнейшие песни русской революционной молодежи. Особенно известным стало стихотворение «Свобода»:

Измученный рабством и духом унылый
Покинул я край мой родимый и милый,
Чтоб было мне можно, насколько есть силы,
С чужбины до самого края родного
Взывать громогласно заветное слово:
Свобода! Свобода!

(«Свобода»)

Пережитое в России навсегда определило поэтическую манеру Огарева. В его творчестве заграничного периода тесно переплетается прежняя созерцательная лирика монологического характера с лирикой новых мотивов и настроений:

Воскресла Русь! Народ свободен стал,
И новый мир возник — широкий, сильный,
Мысль выросла и труд твой не пропал...

Огарев сумел найти сильные слова для обличения лицемерия буржуазного Запада:

И вижу я иные племена —
Тут — за морем... Их жажда — кровь, война,
И, хвастая знаменами свободы,
Хоть завтра же они скуют народы.
Во имя равенства все станет под одно,
Во имя братства всем они наложат цепи,
Взамен лесов и нив — всё выжженные степи,
И просвещение штыками решено...

(«К <В. А. Панаеву>»)

Ко времени жизни за границей относятся также и политические памфлеты и эпиграммы, открывающие новые возможности поэта. Огарев клеймит в них крепостников-реакционеров, наймитов самодержавия и либералов, изменивших прошлому и ставших на сторону правительства. Перед нами мелькают имена М. Н. Каткова, М. Н. Муравьева-Вешателя, Я. И. Ростовцева, Н. В. Поггенполя, Б. Н. Чичерина, П. А. Вяземского, А. Н. Майкова и других. За небольшими исключениями, эти произведения при жизни Огарева не были напечатаны, оставшись достоянием дружеской переписки; причины этого не вполне ясны.

В 1857 г. в Лондоне вышла поэма «Юмор», известная до того лишь в узком кругу любителей запретной литературы. Впоследствии Огарев не раз к ней возвращался, но так и не закончил ее. В поэме, продолжающей и исторически переосмысляющей тему «Евгения Онегина», новое, молодое поколение выступает на смену старого дворянского общества. Написанная без оглядки на цензуру, поэма давала полное представление о политических взглядах автора.

Огарев мечтает повести за собой армию, чтобы

...прокричать отважный клик
Священного освобожденья.

Он верит народу и говорит о своей готовности к революционному подвигу:

Есть к массам у меня любовь,
Есть в сердце злоба Робеспьера.

Поэт надеется на грядущую революцию и, обращаясь к дворцу и столице, восклицает:

Бедой грозит народный стон,
Падешь ты, гордый Вавилон!

В нескольких автобиографических поэмах 1840—1850-х годов («Деревня», «Господин») Огарев отразил неудачу своих попыток реформы крепостного землевладения и крах проекта организации промышленности в своих имениях на основе вольнонаемного труда. Эти поэмы — два варианта одной и той же трагедии помещика-социалиста николаевских времен, «мученика-индустриала», как называл себя Огарев.

Я думал — барщины постыдной
Взамен введу я вольный труд,
И мужики легко поймут
Расчет условий безобидный.

. . . .

Привычкой связанный ленивой,
Раб предрассудков вековых,
В нововведениях моих
Следы затеи прихотливой
Мужик мой только увидал
И молча мне не доверял,
И долго я на убежденье
Напрасно тратил время и терпенье.

(«Деревня»)

Изверившись в возможности мирного переустройства, герой этой поэмы Юрий приходит к мысли о политической эмиграции и революции как единственном выходе:

Уйду, чтоб в каждое мгновенье
В стране чужой я мог казнить
Мою страну, где больно жить.

. . . .

И, может, дальний голос мой,
Прокравшись к стороне родной,
Гонимый вольности шпионом,
Накличет бунт под русским небосклоном!

Поэмы Огарева, и написанные до эмиграции и те, которые писались за границей, разоблачали самодержавно-крепостнический строй. Они расходились во многих рукописных копиях и были из-

вестны передовой молодежи 1860—1870-х годов. Таковы «С того берега», «Забытье», таков же автобиографический рассказ о своем заключении в 1834 г. — «Тюрьма», таков же «Матвей Радаев». В этой поэме ярко показано идейное развитие передового интеллигента 1840-х годов, воспитанного на декабристских традициях и верного им в последующей жизни. Трагедия его в том, что он не может примириться с николаевским режимом и не находит выхода из создавшегося тупика. Самое имя героя, повидимому, представляет собой контаминацию имен *Ра*дищева и Ча*адаева*. Изверившись, Радаев уезжает в деревню, но и там едва ли найдет решение мучающих его вопросов: поэма осталась неоконченной.

В поэме «Тюрьма» герой мечтает о том времени, когда

Мы свергнем рабской жизни муку —
И мне мужик протянет руку.

Вообще надо сказать, что Огареву, лирику по преимуществу, большая форма давалась с трудом — недаром пять основных поэм остались незавершенными, а о некоторых («Nocturno») можно спорить — поэмой или лирическим стихотворением они являются. Поэма нередко становится у Огарева группой лирических отрывков, перемежающихся с бытовой повестью. От поэм легко отрывались стихотворения, которые вошли в русский революционный репертуар, — песня казака из поэмы «Дон», заключительные строки поэмы «Забытье» («Из-за матушки за Волги»), «С того берега» («Моя песня — не просто сказание») и другие.

С конца 1850-х — начала 1860-х годов Огарев пытается теоретически осознать новые задачи литературы (предисловие к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия», предисловие к «Думам» Рылеева, статья о художнике А. А. Иванове) и в соответствии с этим перестроить свою поэтическую систему, приспособить ее к требованиям революционной пропаганды, сделать доступной и понятной широкому кругу читателей. «Я опять возвращаюсь к моему заветному вопросу: как нам дойти до слога, понятного вообще для простолюдина?» [1]

Как представлял себе Огарев эти новые задачи? Резюмируя его статьи на литературные темы, можно так формулировать взгляды Огарева:

Искусство не может и не должно быть оторванным от общественной жизни.

---

[1] Из письма к П. Л. Лаврову 1875 г. — «Звенья», т. 6. М., 1936, стр. 392.



Художник творчески полноценно существует лишь до тех пор, пока в нем жива связь с общественной жизнью своего времени.

Поэзия нового поколения потребует новых форм и нового содержания.

В попытках создания новой поэтической формы, более действенной и общедоступной, проходят годы работы Огарева за границей. Он начинает имитировать народные размеры, в частности раешник и речитатив, использует разнообразные формы фольклорной поэзии, опрощает лексику, старается выбирать не затрудняющие восприятия темы и образы и т. д. Огарев совершенно четко формулирует при этом свою позицию: «иначе нам в мире человеческом ни до чего добиться нельзя»,[1] то есть нельзя добиться изменения социального строя.

Этот процесс перестройки был для Огарева исключительно тяжел и даже мучителен. Лирик по устремлениям и по натуре, поэт, склонный к раздумьям и внутреннему самоанализу (отсюда любовь к монологу), он во имя высокого революционного идеала ломает свою давно определившуюся манеру, пытается выработать новый строй поэтической речи, создать новую систему образов.

Результатом этих попыток являются стихотворения «За столом сидел седой дедушка», «Песня русской няньки у постели барского ребенка», «Размышления русского унтер-офицера перед походом», «Гой, ребята, люди русские...», «Восточный вопрос» и другие.

Помимо работы над сборником «Русская потаенная литература...», впервые объединившим произведения «вольной» поэзии XIX века, Огарев принимает участие в подготовке сборников «Солдатские песни» (1862), «Вольный песенник» Нечаева (1870) и других. Помещенные в этих сборниках произведения самого Огарева представляют значительный интерес. Некоторые из них навсегда вошли в фонд классических произведений передовой русской поэзии (например, «Памяти Рылеева»), другие характеризуют усилия Огарева, но не всегда могут быть названы поэтической победой. Необычная, новая форма давалась с трудом. Столкновение старой системы с новым заданием нередко оказывалось искусственным. Иногда приходилось идти на приспособление старого материала. Огарев использует прежние, написанные совсем по другому поводу стихотворения («Студент», «Напутствие»); в качестве агитационных они были напечатаны отдельными листовками.

---

[1] Там же.

Чернышевский был прав, когда воспринимал стихи Огарева как поэтический резерв будущих битв. Огарев, в самом деле, принял активное участие в борьбе за освобождение народа и как политический поэт, развивавший традицию русской гражданской поэзии, и как революционный деятель. Его стихи сыграли немалую роль в истории русского революционного движения.

9

Последние годы творчества Огарева, в особенности семь лет после смерти Герцена, не ознаменованы какими-либо поэтическими достижениями и успехами.

Выключенный ходом развития событий из непосредственного участия в политической жизни, покинутый и забытый почти всеми, кроме семьи Герцена и верной ему Мери Сэтерленд, тяжело больной Огарев медленно умирает в далеком от центра политической борьбы Гринвиче. «Я не могу жаловаться на мою домашнюю жизнь, только что дела теперь никакого нет, а потому утомительно», — пишет Огарев в апреле 1873 г. племяннице, В. С. Плаутиной.[1]

Хотелось бы еще писать,
Да всё надежды как-то мало:
Напишешь — некуда послать, —

признается поэт в набросках, продолжающих поэму «Юмор». Роль Огарева в эти годы незначительна. Активно поддерживавший с ним связь П. Л. Лавров делает это из соображений тактических. Огарев для него — знамя, почетное прошлое, живая традиция.

Огарев продолжает и в эти годы много писать. Стихи для него, как для всякого подлинного поэта,— естественная форма мышления. Он полон ненависти к царизму («Начало конца моей биографии», «Петербургскому императорству», «По чигиринскому делу»), верит в народное восстание («Война», «Моя биография», «На Новый год», «Современное»), вспоминает свой жизненный и творческий путь («В прошедшее», «На старость лет себе не сотворю кумира», «Моя предсмертная биография»), откликается на значительные политические события и бытовые мелочи («Русский император», «Посланник

---

[1] «Звенья», т. 6. М., 1936, стр. 400.

русский и султан», «Английские журналы», «Вдова кормит детей») Однако в большей своей части стихи этих лет остаются незаконченными. Они технически слабы и маловыразительны. Далеко не всегда в них можно обнаружить ритм; ощущение размера на слух было отчасти уже утрачено автором. [1]

10

Огарев и Герцен — люди одного поколения, соратники по труду и борьбе. Имена их всегда будут стоять рядом в памяти потомков. На Огарева в основном распространяется та характеристика, какую дал Герцену Ленин. «Герцен принадлежал к поколению дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века». [2] Подчеркивая роль Герцена как одного из родоначальников народничества, [3] Ленин в то же время отмечал то обстоятельство, что «Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом». [4]

Герцен, а вместе с ним и Огарев, несмотря на временные колебания между либералами и революционерами, в решительный момент стали на сторону демократов против либералов.

Непосредственно об Огареве Ленин писал только однажды — о статье в «Колоколе» — «Надгробное слово» (1863, л. 162); статья была напечатана без подписи, и автора ее Ленин не знал, но отметил эту статью как одну из сильных и удачных статей против либералов. «Кавелин, — писал Ленин, — сразу узнал себя в этом портрете». [5]

Сложившийся как деятель и как поэт в тяжелых условиях последекабристской России, Огарев оказался одним из зачинателей русской революционной поэзии второй половины XIX века. Мы по праву можем назвать его продолжателем традиций декабристов. От этих традиций неизменно отправлялся Огарев, создавая вольную русскую прессу за границей, развертывая революционную агитацию и пропаганду.

---

[1] В полном противоречии с фактами, Я. З. Черняк почему-то писал о высоких достоинствах стихов Огарева последних лет. (См. его статью «Фонд Н. П. Огарева». — «Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина», вып. 12, 1951, стр. 63—64). Едва ли поэт нуждается в такой услуге.

[2] В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 9.

[3] Об этом см. В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 144, 490 и 12.

[4] В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 10.

[5] В. И. Ленин. Там же, стр. 13.

Самоуглубление и тоска были для Огарева формой политического протеста. Но на этом, как мы видели, Огарев не остановился, — вскоре он оказался в лагере борцов как профессиональный революционер. С учетом именно этого обстоятельства воспринимал его поэзию Чернышевский, потому-то он и зачислил Огарева в поэтический резерв революционной борьбы.

Предсказание Чернышевского звучит теперь как глубокое и верное понимание больших и не всегда реализованных возможностей поэта, творившего в тяжелых условиях николаевского террора.

С. А. Рейсер

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Они торжественны, минуты вдохновенья,
Как голос неба на земле,
Прекрасны, как любовь, — как радости мгновенья,
Так сердцу сладостны оне!

Заботы мелкие отходят,
Несносный голос их молчит,
И вдохновенье говорит
И небо на душу низводит.
Она божественным полна, —
Но стало тесно ей — она
Найти стремится выраженья,
Ей надо высказать себя,
И слово звучное ея —
Ее дитя, ее творенье!

До 1832 (?)

* * *

Огонь, огонь в душе горит
И грудь и давит и теснит,
И новый мир, мечта созданья,
Я б тем огнем одушевил,
Преград где б не было желаньям
И дух свободно бы парил —

Все будет ясно предо мною,
Сорву завесу с бытия;
И все с душевной полнотою,
Все обойму вокруг себя.
Мне не предел одно земное
Душе — от призрака пустой,
В ней чувство более святое,
Чем прах ничтожный и немой.
Кто скажет мне: конец стремленью?
Где тот, кто б дерзкою рукой
Границу начертал мышленью
Непреступимою чертой?
Черту отринув роковую,
Я смело сброшу цепь земную.
Согретый пламенной мечтой,
Я с обновленною душой
Помчусь — другого мира житель —
Предвечной мысли в светлую обитель!

1832, 9 сентября

* * *

В душе столпился ряд видений;
Мои все тайные мечты,
Все грезы пылких размышлений,
Душевной дети полноты,
Несутся ясно предо мною,
И резким светом мысль горит.
Все постигается душою,
И все ей внятно говорит.
Озарены леса, поляны
Роскошной утренней зарей,
Восходит пышно день румяный,
Приветно светит над землей.
Какой-то дух здесь обитает!
Внезапно мысль просветлена,
Вся тайной божества полна,
Вселенной душу постигает.

1833, 30 июля

* * *

Когда в часы святого размышленья
Мысль светлая в твой ум вдруг западет,
Чиста и пламенна, как вдохновенье,
Она тебя возвысит, вознесет;

Она недаром заронилась,
Как божество к тебе она,
Чудесной жизнию полна,
Из стран небесных ниспустилась.

Пусть говорят с улыбкою презренья:
Она есть плод обманутой мечты, —
Не верь словам холодного сужденья:
Они чужды душевной теплоты.

О! если с чувством мысль сроднилась,
Поверь, она не обольстит:
Она недаром заронилась
И святость истины хранит.

1833

* * *

Где вы, святые вдохновенья
Души возвышенной моей?
Погибли пылкие виденья
Среди ничтожества людей.
Досада, грусть во мне стеснились,
И ноет пламенная грудь,
Мечты мои, как сон, сокрылись,
Душой нельзя в них отдохнуть.
Не встретишь здесь, чего б хотелось,
Души не встретишь для себя,
Души, где б ясно небо рделось, —
Все загрубелая земля!

И люди на людей здесь не похожи:
Какие отвратительные рожи
Встречает всюду огорченный взор,

Какой нелепый слышен разговор!
О боже, боже! сжалься надо мною, —
Мученье жить мне с этою толпою, —
А пуще сжалься ты над ней самой
И над ее уродливой душой.

1833

ДРУГУ ГЕРЦЕНУ

Прими, товарищ добрый мой,
Души мечтающей признанья;
С тобой связал я жребий свой,
Мои — и радость и страданья.
Друг! Все мое найдешь здесь ты:
И к миру лучшему стремленья,
О небе сладкие мечты
И на земле — разуверенья.

1833(?)

РАЗМОЛВКА С МИРОМ

1

Я молод, и во мне горит
Огонь высоких вдохновений,
И тайный голос мне твердит:
Ты не погиб для наслаждений!
Но отчего ж в душе младой
Тоска и хлад ожесточенья
Уносят быстро за собой
Мечты прекрасное виденье?
Какой-то ад во мне кипит,
И мир мне скучен и проклятье
На всем вокруг меня лежит,
А люди — люди мне не братья.
Уже отвык я видеть в них
Высоких мыслей вдохновенье.
Я тайну сердца их постиг,
И приговор мой был — презренье!

2

Рожденный с пламенной душою,
Высокой доблести создал,
Одушевляемый мечтою,
Я величавый идеал;
Мечты моей изображенье,
Я думал, в людях встречу я,
И долго, долго в ослепленьи
Любил, холодный мир, тебя.
Мечтал: пожертвую для света
Трудами жизни молодой,
Но не нашел себе ответа
В толпе безумной и пустой.
Мне жертвовать? Но кто ж оценит
Ту жертву? кто ее поймет?
Здесь все ценой безумной ценит
Ничтожной выгоды расчет.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Какая ж <*нрзб.*> что живет...
Ничтожной жизнию машины,
Которой двигает пружины
Хозяин строгою рукой
По злобной прихоти одной?
Так эгоизм преступной силой
Толпы людей разъединил
И непробудным сном могилы
Души порывы усыпил.

3

Кто ж виноват, что в дух младой
Прокрался хлад ожесточенья,
И ненависть с моей душой
Сдружила горькое презренье?
Кто виноват? Иль свет, иль я?
Зачем не был я в ослепленьи,
И было чуждым для меня
Его порока униженье?

Я виноват, но прав ли ты,
Дитя бездушной суеты?!
Ужель милей порок ничтожный
Душе испорченной твоей,
Чем голос чести благородной!
Скажи, ужели он милей?
Как жалок ты, как низок ты,
Дитя бездушной суеты!
Я не люблю тебя, но мщенье
Не движет пылкою душой.
Мой приговор тебе — презренье,
Прощай, бреди своей тропой.

4

Но с юных дней моих мечтой
Расстаться ль мне в самозабвеньи?
Души безжизненный покой
Избрать — и то же усыпленье,
Везде встречаемое мной,
Поставить целью всех желаний,
Навек сокрыв перед собой
Прекрасный рой былых мечтаний?
Нет, нет, живи, душа моя,
И жажди сильного движенья,
И я прерву вокруг себя
Тяжелый сон успокоенья,
И с оживленною тоской
Поверю вновь мечте святой!
Я молод, и во мне горит
Огонь высоких вдохновений,
И тайный голос мне твердит —
Ты не погиб для наслаждений...

1833(?)

А. ГЕРЦЕНУ

Друг! весело летать мечтою
Высоко в небе голубом
Над освещенною землею
Луны таинственным лучом.

С какою бедною душою,
С каким уныньем на челе
Стоишь безродным сиротою
На нашей низменной земле.
Здесь все так скучно, скучны люди,
Их встрече будто бы не рад;
Страшись прижать их к пылкой груди, —
Отскочишь с ужасом назад.
Но только тихое сиянье
Луна по небу разольет
И сна тяжелое дыханье
Людей безмолвьем окует —
Гуляй по небу голубому
И вольной птичкою скорей
Несись к пределу неземному.
Ты волен стал в мечте своей;
Тебя холодным изреченьем
Не потревожит злой язык;
Ты оградился вдохновеньем,
Свою ты душу им проник.
О! дай по воле поноситься
В надземных ясных сторонах:
Там свет знакомый мне светится,
Мне все родное в небесах;
Прощусь с землей хоть на мгновенье,
С туманом скучным и седым,
И из-за туч, как из боренья
Между небесным и земным,
Я полечу в пределы света,
И там гармония миров
Обворожит весь ум поэта.
Там проблеснет любимых снов
Давно желанная разгадка.
В восторга полный, светлый час
Перестает нам быть загадкой —
Что было тайного для нас.

До 1834

I TEMPI[1]

Фантазия

I

Larghetto[2]

Как поток величавый в роскошных брегах
Спокойно течет в необъятное море
И небо то ясно глядится в волнах,
То смотрится тучею черной, как горе, —
Так звуки несутся покойной чредой,
В них ангелов чистая песнь раздается,
Таинственно небо владеет душой
И сердце любовью небесною бьется.
Но небо высоко над бедной землей
Безгранно раскинуло ткань голубую,
Что в небе невидимо праха детей,
И песнь его льется, уныло тоскуя.

II

Allegro[3]

Но на земле
Много часов,
Часов упоенья.
Они душе
Несут забвенье
Горестных снов.
Солнце погасает,
Серебром играет
Месяц над рекой;
Легкою волной
Ветерок колышет,
В звуках нега дышит
Трепетной игрой,
И дружит с душой
Тайное желанье; —
Миг очарованья!

---

[1] Темпы (итал.).
[2] Не скоро (итал., муз. термин).
[3] Живо, быстро (итал., муз. термин).

Сладострастья миг,
Внятен твой язык
В песнях упоенья,
Полный наслажденья!

Что ж?.. Не светит уж денница,
Ты спеши, краса-девица,
Ночь безмолвна, день угас,
Он пробил, свиданья час.

Здесь лампада
Пусть, мерцая,
Озарит
Твои красы
И отрада,
Ожидая,
Усладит
Для нас часы.

Ты черные кудри раскинь по плечам,
Стан мой лилейной рукой обвей,
Целуя, устами прижмися к устам,
С меня не своди полных страсти очей.
Средь ночной тишины, о друг мой прекрасный,
Слышишь ли песни напев сладострастный?

III

Andante[1]

Тише!.. звуки замирают,
Сны на душу низлетают,
И видения толпою,
Окрыленные мечтою,
Прилетают в чудных видах
И сияют в светлых ризах;
Сыплют нежною рукою
Чары с силой неземною,
Крепче сон глаза смыкает;
Тише.. звуки замирают.

---

[1] Умеренно (итал., муз. термин).

IV

Presto[1]

Но к пробужденью,
С дикою песнью,
Вдруг воззывают
Страсти земные,
И убегают
Сны золотые.
В груди пылает
Свирепый пламень,
И ниспадает
Тоска, как камень,
В сердце больное;
Бледны ланиты —
Черною мглою
Небо покрыто;
Ветр завывает,
Туча несется,
Гром раздается,
Молнья сверкает.

Звуки стонут, раздирают,
Диким роем пролетают
Злые духи; в мраке ночи
Страшно блещут грозных очи;
В звуках бурного волненья
Слышен голос разрушенья.

V

Adagio[2]

Но минута просветления
Благотворной тишиной
Успокоила смятения,
Волновавшие душой.
Улеглися страсти знойные,
И спокойною струей
Полилися звуки стройные
С неба радостью святой.

---

[1] Быстро (итал., муз. термин).
[2] Плавно, медленно (итал., муз. термин).

Чем слышней их ударения,
Тем сильней в душе горит
Огнь высокий вдохновения
И о небе говорит.
В ней земного нет желания,
В горний мир она летит,
С ней небесное призвание
Как один аккорд звучит.

1835

АЛХИМИК

В убогой келье в час ночной
Сидел один монах седой.
Свеча горела перед ним;
Он пальцем тощим и сухим
В фольянте лист, уж пожелтелый,
Ворочал тихо и несмело.

Потом реторту робко взял
И горн с усильем раздувал.
Кипела жидкость; смрад и дым
Носились в воздухе над ним.
Но труд, надеждою богатый,
Был тщетен вновь — не вышло злата.

Еще бледнее стал старик
И головой на грудь поник.
«Я целый век мой с юных лет
Жить для науки дал обет.
Я сердца сжал в себе движенья,
Отверг любовь и наслажденье.

Да судит бог! я не искал,
Когда я злато добывал,
Ни денег, ни людских похвал.
В природе лишь узнать желал
Я пульса каждое биенье
И тайный ход всего творенья.

Трудился днем, не спал ночей!
И черный лоск с моих кудрей

Уже давным-давно сбежал,
И ничего я не узнал!
К чему ж я был влеченью верен?
Надежды нет — мой труд потерян!»

Старик средь гнева и тоски
Разбил реторту на куски,
И книгу сжег, и на пол пал,
Закрыл глаза и не вставал...
И только смрадный дым из горна
Над ним носился клубом черным.

1830—1835

АЛЛЕЯ

Давно ли, жизнию полна,
Ты так шумела, зеленея,
А ныне стала так грустна,
Лип голых длинная аллея?

В замену листьев пал мороз
На ветви белыми иглами;
Глядят из-под седых волос
Печально липы стариками.

В ночи, как призраки, оне
Качают белой головою,
И будто кланяются мне
С какой-то дружбой и тоскою.

И самому мне тяжело!
И я стареть уж начинаю!
Я прожил вёсну и тепло,
И сердце на зиму склоняю!

Но что грустить? Весна придет —
Вновь зиму сплачем мы, аллея!
Вновь радость в сердце оживет,
Вновь зашумишь ты, зеленея.

1830—1835

ИИСУС

Среди могил языческого века
Мысль новая носилась над землей,
И меж людей искала человека
С высокою, божественной душой,
Который бы нелживыми устами
Мог обличить ее перед умами.

Родился он! Дряхлеющей рукою
Его приял состарившийся свет,
И над его священной головою
Засветлилась звезда грядущих лет,
И возвестило всем ее сиянье
Рожденного небесное призванье.

И веры новой образ величавый
Предстал его младенческим очам,
Он презрел мира дольнего забавы
И предался божественным мечтам;
Но долго он среди уединенья
Еще томился мыслию сомненья.

Уверился — он избран небесами,
Уверился — он духом бога сын,
Между земными воплощен сынами,
И возвестить ниспослан он один
Глагол любви корыстному народу,
Несчастным радость и рабам свободу.

И глас его пророческих взываний
Взмутил сердца властителей земных,
И он испил всю чашу истязаний,
В душе своей благословляя их.
Но над его могилою для света
Воскресла вера Нового завета.

1836, апрель

CRESCENDO AUS DER SYMPHONIE MEINES ICHS IM VERHÄLTNISSE ZU SEINEN FREUNDEN[1]

I

Ожидание

Tempo ad libitum[2]

Чего я ждал среди полей
В тиши родного крова,
Когда мечтал я вместе с ней,
Что за спасение людей
На жертву жизнь готова?

Чего я ждал, как думал я
В минуты вдохновенья,
Плоды небесного огня,
Узнать начало бытия
И путь и цель творенья?

Чего я ждал, как к цели той,
Из тьмы в обитель света,
Мечтал подвигнуть род людской
Бесстрашно — мощною рукой
И языком поэта?

Я ждал привета от друзей:
«Любовь жены с тобою,
Но знаем мы, в душе твоей
Есть место, чтоб любить людей
И жертвовать собою.

И слезы есть для слез чужих,
Есть также сила воли
Стереть с лица страдальца их,
Исторгнуть силой рук своих
Его из горькой доли...»

---

[1] Crescendo из симфонии моего Я в отношении к его друзьям (нем.).

[2] В любом темпе (итал., муз. термин).

II

Сомнение

Adagio doloroso

Дождался я... Но горестный привет
Свинцом упал на грудь, мне душно стало,
Я голос подал им, а их ответ
Вонзил в меня отравленное жало.
За что же? Что, скажите, сделал я?
Или я стал, с тех пор как провиденье
Дало подругу мне, отступник? Я?..
И вот закралось в душу мне сомненье...
Отступник я? Да! Жизнь моя
Не сонною ль течет волною,
Как жизнь ленивца? — Много ль я
Трудился? — Бурною толпою
Сбежались тучи, меркнет свет,
И будущность закрыта предо мною,
И, может, жизни лучший цвет
Измят моею же ногою.
Я мрачен был, а на меня
Она глядела — и сомненью
Укор во взоре встретил я,
И снова верил провиденью,
И снова верил, что оно
В иных душах недаром сеет
Плодоносящее зерно:
Цветок взойдет, и плод созреет.

III

Оправдание

Allegro

Быть может, я неправ! Без дел
Ничтожна вера!.. Но видали ль
Вы врозь их? Где, когда тот был,
Кто б много делал и не верил?
Иль тот, кто б твердою душой
Без задних мыслей, без условий,
Без колебаний веровал —
И оставался без стремленья

К предмету веры? — Нет, друзья,
Нет, каждый шаг того, [кто верит]
Есть действие, есть шаг вперед,
И каждый миг все ближе к цели.
Очи в даль устремлены,
С каждым днем она яснеет,
С каждым днем возрождены,
С каждым днем растут и зреют
Мысли новые толпой,
И я полон уверенья,
Что не призрак лишь пустой
В дымном виде сновиденья
Пролетает надо мной...
Да, верю я, толпа идей
Не есть обман в душе моей,
И верю я, что можно мне
Овеществить их на земле,
Мне вера жизнь, во мне она
Началом дел положена,
И кто над верою святой
Насмешке место даст пустой,
Безумен тот, исчезнет он
Без славных дел в ночи времен.

IV

Agitato forte fortissimo

Я думал, что мои друзья,
Любя орудье в бурях века,
Во мне — любили и меня,
Любили также человека.
Ошибся я, но я не знал,
Что удостоился сомненья
И что за то, что счастлив стал,
Сорвал улыбки подозренья.
Они мне гибель предрекли,
И то, что сладко душу греет,
Как эгоизм превознесли,
В котором преданность немеет.
Так вы не знаете любви,
Или у вас в воображеньи
Она минутный жар в крови,

Мечты нечистой заблужденье...
Нет! Плод душевной чистоты,
Она вмещает все святое,
Полна какой-то доброты,
Весь мир, как что-то ей родное,
Готова пламенно обнять,
И все и всё за то отдать,
Все, с бескорыстной простотою,
Чтоб средь людей воздвигнуть вновь
Себе подобную любовь.
За что ж укор? За счастье, что ли?
Оно влечет к добру меня.
За праздность! Други, я в неволе,
Здесь делать нечего, но я
Не празден мыслящей душою,
Звезда надежды из-за туч
Над отчужденного судьбою
Бросает свой приветный луч;
И, закален среди страданий,
Очищенный любовью к ней,
С запасом мысли и желаний
Я возвращусь в семью друзей.
Беда, когда грызет чью грудь
Тщеславья червь ненасытимый.
Я бескорыстен, и мой путь
Достоин истины любимой.
За что ж укор? За что сомненье?
Иль прежний огнь во мне угас
И нет к добру во мне стремленья?
Так знайте же, я больше вас,
Поставлен выше я судьбою
Вам жертвовать, а я,
Я буду жертвовать семьею,
Всем, что люблю, и для меня
Ужасны жертвы, но душою
Я тверд, и нету жертв таких,
Которых не отдам с собою
Я за спасение других.
Но дайте спасть моим затворам,
И не дерзнет же ваш язык
Звучать неправедным укором
Тому, кто прежде вас привык

Страдать за то, его мечтою
Одной что было с юных лет,
Чему он с верою слепою
Давно дал жертвовать обет.

А вы что сделали? Молчанье
На ваших вижу я устах,
Как прежде: теплится *желанье* —
И только — в избранных душах! . .

1836, осень

* * *

Проходит день, и ночь проходит;
Ни сна, ни грез в ночи немой,
И утро новый день приводит —
Такой же скучный и пустой.
И то же небо с облаками,
Бесцветное — как жизни путь,
Где упований нет пред нами,
Былое не волнует грудь.
И люди те ж — смешные люди!
Их встрече будешь ты не рад,
Не прижимай их к пылкой груди,
Отскочишь с ужасом назад.
Ты глас любви подашь собрату,
Ответа нет на голос твой,
И сердце каждый раз утрату
С слезой в дневник запишет свой.
Так полный жизнию цветок
И горд и пышен средь полей,
Но дунул ветер, и листок
Упал на землю — и на ней
Что день — то новою грозою
Лишен листка увялый цвет,
И обнаженной головою
Считает, скольких листьев нет.

1836, зима

НА СМЕРТЬ ПОЭТА

(По перечтении «Е<вгения> О<негина>»)

Зачем душа тоски полна,
Зачем опять грустить готова,
Какое облако волна
Печально отразила снова?
Мечтаний тяжких грустный рой
Поэта глас в душе поэта
Воззвал из дремоты немой.
Поэт погиб уже для света,
Но песнь его еще звучит,
Но лира громкими струнами
Звенит, еще с тех пор звенит,
Как вдохновенными перстами
Он всколебал их перед нами.

И трепет их в цепи времен
Дойдет до позднего потомства,
Ему напомнит скорбно он,
Как пал поэт от вероломства.
И будет страшный приговор
Неумолим. Врагов поэта
В могилах праведный укор
Отыщет в будущие лета,
И кости этих мертвецов,
Уж подточенные червями,
Вздрогнут на дне своих гробов
И под согнившими крестами
Истлеют, прокляты веками.

Но что ж! но что ж! поэта нет!
Его ж убийца — он на воле,
Красив и горд, во цвете лет,
Гуляет весел в сладкой доле.
И весь, весь этот черный хор
Клеветников большого света,
В себе носивший заговор
Против спокойствия поэта,
Все живы, все — а мести нет.

И с разъяренными очами
Им не гналась она вослед,
Неся укор за их стопами,
Не взгрызлась в совесть их зубами...

А тот, чья дерзкая рука,
Полмир цепями обвивая,
И несогбенна и крепка,
Как бы железом облитая,
Свободой дышащую грудь
Не устыдилась своевольно
В мундир лакейский затянуть, —
Он зло, и низостно, и больно
Поэта душу уязвил,
Когда коварными устами
Ему он милость подарил
И замешал между рабами
Поэта с вольными мечтами.

Из лавр и терния венец
Поэту дан в удел судьбою,
И пал он жертвой наконец
Неумолимою толпою
Ему расставленных сетей;
Земля, земля, зачем ты губишь
Прекрасных из твоих людей!
Одну траву растишь и любишь,
И вянет злак среди полей;
Или, враждуя с небесами
Враждой старинною твоей,
Ты имя избранных меж нами
Гнетешь страдальчества цепями.

Пускай теперь слеза моя,
И негодуя и тоскуя,
Как дар единый от меня
Падет на урну гробовую;
И если в форме неземной,
Перерожденный дух поэта
Еще витает над страной
Уж им покинутого света —

Мою слезу увидит он
И незаметными перстами
Мне здешней жизни краткий сон
Благословит, с его скорбями
И благородными мечтами.

1837, сентябрь

УДЕЛ ПОЭТА

«Страдай и верь, — сказало провиденье,
Когда на жизнь поэта воззвало, —
В твоей душе зажжется вдохновенье,
И дума рано омрачит чело.
И грустно ты пройдешь в земной юдоли,
Толпа все дни несносно отравит,
Но мысли светлой, благородной воли
В тебе никто ничем не укротит,
И ты с презреньем взглянешь на страданья,
Толпе грозящим словом прогремишь,
Погибнешь, тверд и полон упованья,
И песнь свою потомству завестишь».

1837, 4 октября

* * *

С моей измученной душою
Слился какой-то злобы яд,
И непрерывной чередою
В ней с своенравием кипят
Тоска и желчь негодованья;
В ней дух смирения истлел,
И ангел божий отлетел
От недостойного созданья.

Где ж вера в будущий удел,
В мое святое назначенье —
Свершить чредою смелых дел
Народов бедных искупленье?
Где мир любви, в котором я

Пил чашу наслаждений рая,
В котором жизнь была моя —
Как утро радостного мая?

О нет! еще в душе моей
И вера и любовь святая
Таятся, ввек не угасая,
Как звезды в сумраке ночей.
Но в ней тоска негодованья,
Но дух смиренья в ней истлел,
Но ангел божий отлетел
От недостойного созданья.

1837, конец октября

К ДРУЗЬЯМ

Я по дороге жизни этой
Скачу на черном скакуне,
В дали, густою мглой одетой,
Друзья, темно, не видно мне.
Со мною рядом что за лица?
Куда бегут? Зачем со мной?
Скучна их пестрая станица,
Несносен говор их пустой.
В моих руках моя подруга,
Одна отрада на пути,
Прижалась, полная испуга,
К моей трепещущей груди.
Куда нас мчит бегун суровый?
Где остановит он свой бег?
И где приют для нас готовый?
Нам в радость будет ли ночлег?

Я по дороге жизни этой
Скачу на черном скакуне,
В дали, густою мглой одетой,
Друзья, темно, не видно мне.
Когда ж, случится, взор усталый
Назад бросаю я порой,
Я вижу радости бывалой
Страну далеко за собой.

Там ясно утро молодое,
Там веет свежею весной,
Там берег взброшен над рекою
И шумен город за рекой,
Но ту страну, душе родную,
Уже давно оставил я.

Там пел я вольность удалую,
Там были вместе мы, друзья,
Там верил я в удел высокий,
Там было мне осьмнадцать лет,
Я лишь пускался в путь далекий —
Теперь былого нет как нет.
И по дороге жизни этой
Я мчусь на черном скакуне,
В дали, густою мглой одетой,
Друзья, темно, не видно мне.

1837, декабрь

МОЯ ЛАМПАДА

1

Я помню свет лампады томный
Перед иконою святой.
Он озарял мой угол скромный
И мой младенческий покой;
Тут няня старая крестилась
Перед грядущим тихим сном,
И в землю с шепотом молилась,
И спать ложилася потом.
Спокойны были наши ночи,
Спокойны были наши сны,
И не бывали наши очи
Тоской души растворены.
Тогда с младенчества порою
Сдружилась старость, и они
Шли беззаботною стопою,
В дороге жизни сведены.

Но няни нет. Давно зарыта
Она в могиле под крестом,
И детство мирное забыто,
И стало все неясным сном.

2

Другой я помню блеск лампады:
Он укоризною светил
Мне в отуманенные взгляды,
И мнилось, будто говорил:
«Мне дан среди предназначений
Удел — быть другом тайных дум,
Иль скорбей сердца, иль видений,
Мечтой навеянных на ум;
А ты, разврата сын ничтожный,
Удел прекрасный изменил,
И тихий луч рукой безбожной
В самозабвеньи засветил
Пред строем буйных безначалий,
Перед грозой страстей земных,
При звуках шумных вакханалий
Или лобзаний покупных. . .»
И часто видел луч денницы,
Как были раннею порой
Овлажены мои ресницы
Святой раскаянья слезой.

3

Когда же снова луч лампады
В ночи бессонной мне сиял,
Он, как страдалец, без отрады
Огнем тоскующим дрожал,
Или, как ангел сожаленья,
Горя участием живым,
Души несносного волненья
Бывал свидетелем немым.

Тогда таинственной тоскою
Сжималось сердце — я страдал —
И над усталой головою
Сомненья демон пролетал.

4

Теперь лампады луч заветный
Мне тихо светит в час ночной
И смотрит с радостью приветной
На поцелуй любви святой,
На взор, исполненный душою,
И на склоненную ко мне,
С улыбкой ясного покоя,
Головку в мирном полусне.
И душу радость наполняет,
Слеза дрожит в глазах моих,
И тихий ангел навевает
Рой сновидений неземных.

1838, февраль

А. С. Б . . . . Ъ

Я в храме был, и много там людей
Толпилися у божьих алтарей.
Я стал в углу, где некогда со мной
Молился друг, сочувствуя душой.
Мы горько плакали; тогда я был
Несчастлив: я терял, что я любил.
Но наших нет следов на месте том,
Где так тепло молились мы вдвоем.
И в этом храме много — думал я —
Молящихся стояло до меня,
И много светлых дум, и много слез
Иной из них пред господа принес,
Но их прекрасные, их чистые мечты
Забыты все рабами суеты,
Или, как нерассказанные сны,
Они прошли, никем не узнаны.

1838, 30 марта

СМУТНЫЕ МГНОВЕНЬЯ

Есть в жизни смутные, тяжелые мгновенья,
Когда душа полна тревожных дум,
И ноша трудная томящего сомненья
Свинцом ложится на печальный ум;
И будущность несется тучей издалека,
Мрачна, страшна, без меры, без конца;
Прошедшее встает со взорами упрека,
Как пред убийцей призрак мертвеца.
Откуда вы, минуты скорбных ощущений,
Пришельцы злобные, зачем с душой
Дружите вы, ряды мучительных видений
С их изнурительной тоской?
Но я не дам вам грозной власти над собою,
И бледное отчаянья чело
Я твердо отгоню бестрепетной рукою —
Мне веру провидение дало;
И малодушия ничтожные страданья
Падут пред верой сердца моего,
Священные в душе хранятся упованья,
Они мой клад — я сберегу его.

1838, март

ШЕКСПИР

«На землю ступай, — провиденье сказало, —
И пристально там посмотри на людей,
Дела их твоя чтоб душа замечала
И в памяти ясно хранила своей.
Ты вырви в них душу и в смелом созданьи
Ее передай им ты в звучных словах,
И эти слова не исчезнут в преданьи
И вечно в людских сохранятся умах.
Иди же, мой сын, безбоязненно, смело,
Иди же, иди ты, мой избранный, в мир,
Иди и свершай там великое дело»...
Сказало, решило — явился Шекспир.

1838, 3 апреля

НОЧЬ

Вот ночь. Огни погашены,
Везде в домах успокоенье,
В глухом безмолвьи усыпленья
Все суеты погребены.

Но я не сплю, и в поздней ночи
Мое окно
Растворено,
Мне тихо месяц светит в очи, —
И звезды в трепетных огнях
Горят на ясных небесах.
Долина дремлет под туманом,
И величаво возлегла
Гора над нею великаном
И тень далеко навела.
И в час величия ночного
Как много дум
Рождает ум,
И чувство ясное святого
Душе как живо предстоит,
И как свободно мысль летит
В пределы мира неземного!..

С бездушной массой этих тел
Кто сочетал величия идею
И их раздвинул без предел
По синей ткани эмпирея? —
Где между миром и тобой,
Душа незримая вселенной, —
Завязан узел вековой,
Нерасторжимый, неизменный?
Скажи: уму доступна ль будешь ты
Среди безмерности созданья?
Ты сменишь ли неясные мечты
На прочность светлого сознанья?
Или отдельные умы
Осуждены не знать о целом,
Жить в заблужденьи закоснелом
И тщетно рваться из тюрьмы
Взглянуть на божий свет из тьмы!

Ответа нет! Но в этот час успокоенья,
Среди безмолвия полуночной тиши,
Луны и звезд в мерцающем движеньи,
Земного мира в величавом усыпленьи
Я ясно чувствую присутствие души.
Недаром в ум теснятся помыслы святые.
Они не рождены мечтой;
Они суть плод высокой, тайной симпатѝи
Между вселенною и мной.
И верю в это я мгновенье:
Мы части одного творенья,
Одной оживлены душой.
И человеку есть призванье:
Все, все, что только есть,
Все в область ясную сознанья
Из жизни внешней перенесть.

Когда же взор найдет, блуждая,
На ряд белеющих домов
И в память вне́дриться готов
Весь жалкий шум людского края, —
Как станет грустно, тяжело!
Как будто все, что есть людское,
Как преступление какое
Внезапно на душу легло.
Вопрос встает передо мною:
Что, если эти люди спят, —
Какие сны теперь летят
Над их недвижной головою?
Быть может, память о былом,
О том, что думалося днем,
Им снится этою порою.
Иной, быть может, в вихре снов
Готовит другу страшный ков
И торжествует над могилой,
Иль деньги копит, и готов
Смеяться над слезами вдов,
Нажить и хитростью и силой.
Иль, может быть, коварный льстец,
Он зрит улыбку, наконец,
В устах вельможи пред собою.
А может быть, иные сны

Ему коварные видны
И тешат грешною мечтою;
Быть может, душу погубя,
Он видит с радостью себя
В объятьях жалкого разврата,
И грезит, как во тьме ночной,
Лаская дерзкою рукой,
Целует он невесту брата...
Как это грустно, тяжело! ..
Как будто все, что есть людское,
Как преступление какое
Внезапно на душу легло;
И мысль с невольным содроганьем
Опять стремится к небесам —
Там примириться с упованьем,
Там тиховвериться мольбам!

1838, июнь

ЭОЛОВА АРФА

Фантазия нескованной стихии,
Как твой печален стон,
Как жалобно терзания земные
Высказывает он!

Было тихо. Воздух ясный
В беспредельности дремал,
В неподвижности безгласной
Звук безжизненно молчал.
В это время усыпленья
Вещества мятежных сил
Мир духов в самозабвеньи
Душу робкую таил.

Вдруг на юге ветер знойный
Тяжко, жалобно вздохнул,
И, как ропот беспокойный,
По струнам пронесся гул.
В это время в мир сознанья
Из обители духов
Душу взяли на страданье,
Дали вид земных сынов.

Вот сильнее пролетает
Ветра буйного порыв,
И мучительно взывает
Струн трепещущих отзыв.
Вот на душу наложилось
Иго тяжкое страстей,
Все небесное затмилось,
Все земное дышит в ней.

Ветр сильнее набегает,
Вот рванулся по струнам,
И с разорванных взлетает
Стон печальный к небесам.
Вот душа в земном бореньи
Утомилась, — прах разбит,
И, как стон, она из тленья
В небеса свои летит.

Фантазия нескованной стихии,
Как твой печален стон,
Как жалобно терзания земные
Высказывает он.

1838, июль

ХРИСТИАНИН

1

Жизнь! много ты сулила мне,
Когда я на твое призванье
Твоей обманчивой волне
Вверялся, полон упованья.
Все было сладко для очей:
И небо светлоголубое,
И солнце в золоте лучей,
И звезды в темноте ночей
С обворожительной луною,
И в звучно льющихся водах
Струи змеистое волненье,
И на зеленых берегах
Цветов роскошных прозябенье.

Все слух пленяло той порой:
Напевы птички перелетной,
И шепот листьев в час ночной,
И под разбрызганной волной
Плесканье рыбки беззаботной.
Легко дышала грудь моя,
Как будто ангелы слетели
Рукой небрежною меня
Баюкать в детской колыбели,
И мне младенческие сны
Живою кистью рисовали
Картину радостной весны...
Но в безднах скрытой глубины
Дремали бури и печали.

2

И вот челнок мой занесен
Далеко в жизненное море;
Проснулась буря. Утлый, он
Не станет с грозной в смелом споре,
Погибнет, вихрями гоним,
Влеком ко дну пучины силой,
Погибнет он с пловцом своим,
И волны с ропотом над ним
Заплещут хладною могилой.
Смотрю: кругом густая мгла,
И небо тучами обвито,
Змеею молния прошла,
На миг все страшное раскрыто,
И снова ночь. Свиреп, могуч,
Во мраке ветер завывает,
И редко, редко из-за туч
Немногих звезд чуть видный луч
Отрадно с неба ниспадает.
Вы, звезды в дальней вышине,
Вы, спутники печальной жизни,
Во мраке зла вы мне одне
Моей заоблачной отчизны
Напоминаете края...

О, неземное упованье
Взлелею свято в сердце я,
И, душу светом озаря,
Пойду сквозь мглу без содроганья.

3

И свет души мне указал,
Что жизнь дана не в наслажденье,
Чтоб радость твердо я изгнал
И с верой избрал путь спасенья.
Вот я зажег в груди моей
Огонь любви неугасимый,
И с ним пройду среди морей
Житейских бедствий и скорбей,
Страдалец, ввек непобедимый.
Чтобы спасти в грозах земных
Бессильно гибнущего брата,
Не пожалею рук своих;
А если он уж без возврата,
Несчастный, робкою душой
Погиб среди житейской битвы —
Удел его почту слезой
И принесу за упокой
Смиренно к господу молитвы.
Как Иисус, я за людей
Хочу переносить гоненья,
Чтобы замолкнул звук цепей
И час ударил примиренья.
И все, что может бедный ум,
И все, что может сила воли,
Все, все плоды трудов и дум
Отдам, забыв веселий шум,
Чтоб братья были в лучшей доле.
А если сильный из людей
И братства враг себялюбивый
Захочет гибели моей —
Я грудь открою терпеливо,
И брызнет кровь... и, может быть,
Всю черноту его гонений
Успеет перед ним открыть,

Чтоб мог раскаяньем он смыть
Все пятна долгих преступлений.
И пусть мой утлый челн возьмет
Тогда назло пучина злая, —
Есть лучший мир! Душа живет
В нем, никогда не умирая.
Из горних стран, где все светлей,
Быть может, полон состраданья,
Еще не раз слезой моей
Я освежу среди страстей
Скорбящий дух в земном изгнаньи.

1838, июль

* * *

Я видел вас, пришельцы дальних стран,
Где жили вы под ношею страданья,
Где севера свирепый ураган
На вас кидал холодное дыханье,
Где сердце знало много тяжких ран,
А слух внимал печальному рыданью.

Скажите мне: как прожили вы там,
Что грустного в душе вы сохранили
И как тепло взывали к небесам?
Скажите: сколько горьких слез пролили,
Как прах жены вы предали снегам,
А ангела на небо возвратили?

Скажите мне: среди печальных дней,
Не правда ль, были светлые мгновенья?
И, вспоминая, как среди людей
Страдал Христос за подвиг искупленья,
Вы забывали ль гнет своих скорбей,
Вы плакали ль тогда от умиленья?

Я видел вас! Тогда клонился день,
Седая туча по горе ходила,
Бросая вниз причудливую тень,
И сквозь нее с улыбкою светила
Заря, сходя на крайнюю ступень,
Как ясный луч надежды за могилой.

А между тем кипели суетой
Беспечно жители земного мира,
Поклонники с заглохшею душой
Тщеславия бездушного кумира;
И только музыка звучала той порой,
Как бы с небес заброшенная лира.

Я видел вас! Прекрасная семья
Страдальцев, полных чудного смиренья,
Вы собрались смотреть на запад дня,
Природы тихое успокоенье,
Во взоре ясном радостно храня
Всепреданность святому провиденью.

Я видел вас в беседе ваших жен,
Я видел их! Страдалицы святые
Перенесли тяжелый жизни сон!..
Но им чужды проклятия земные,
Любовь, смиренье, веру только он
Им нашептал в минуты роковые.

Я видел вас, и думал: проблеск дня,
Исполненный святого упованья,
Поля в лучах вечернего огня
И музыки и гром и замиранье —
Не для детей земного бытия, —
Для вас одних, очищенных в страданьи.

И ты, поэт с прекрасною душой,
С душою светлою, как луч денницы,
Был тут, — и я на ваш союз святой,
Далеко от людей докучливой станицы,
Смотрел, не знал, что делалось со мной, —
И вот слеза пробилась на ресницы.

1838, лето

БОЛЬНОЙ ОТЕЦ

Лампада тускло освещала
Приют больного старика,
Где жизни чудная река

Из непонятного начала
В безвестный край перетекала.

Я, в мрачных погружен мечтах,
Сидел безмолвно у постели,
И слезы скорби на глазах
То высыхали, то блестели.
Я слушал, как старик вздыхал
И как его безумный лепет
Давно усопших призывал;
И у меня холодный трепет
Невольно в членах пробегал.

О мой отец! венец страданья
Судьбы рука как тяжело
Тебе надела на чело
Перед концом существованья!
За что? Ужель совершено,
Несчастный, столько зла тобою,
Что в наказанье роковое
Тебе безумье послано?
Прости ему, о провиденье,
Он человек, он слаб бывал,
Томим желаньем, и блуждал
В глухой ночи неразуменья.
Прости ему! Ведь часто ты
Прощаешь страшные деянья,
Людьми творимые в незнаньи
Среди греховной суеты.
Прости, пошли ему, мой боже,
Хотя единый светлый миг,
Чтоб жизни вечной он постиг
Чудесный смысл на смертном ложе.

О! успокойся, мой старик,
Ведь милосердо провиденье,
Ведь люди злы — оно ж спасенье
Дарует всем без исключенья,
Ведь бог в любви своей велик.
Давай молиться! О, я знаю,
Молитва — то не звук пустой,

Она разносит смысел свой
И, в внешний мир его вдыхая,
Имеет силу изменять
В нем много бедственных явлений.
Давай молиться! на колени,
Я стану бога умолять:
Прости, пошли ему, мой боже,
Хотя единый светлый миг,
Чтоб жизни вечной он постиг
Чудесный смысл на смертном ложе.

А ты, отец, из мглы скорбей
В небесный мир перелетая,
Скажи там матери моей,
Как я в стране земного края
Люблю ее, ее не зная.

1838, сентябрь

МОЯ МОЛИТВА

Молю тебя, святое бытие, —
Дай силу мне отвергнуть искушенья
Мирских сует; желание мое
Укрыть от бурь порочного волненья
И дух омыть волною очищенья.

Дай силу мне трепещущей рукой
Хоть край поднять немного покрывала,
На истину надетого тобой,
Чтобы душа, смиряясь, созерцала
Величие предвечного начала.

Дай силу мне задуть в душе моей
Огонь себялюбивого желанья,
Любить как братьев, как себя — людей,
Любить тебя и все твои созданья, —
Я буду тверд под ношею страданья.

1838, октябрь

* * *

Среди могил я в час ночной
Брожу один с моей тоской,
С вопросом тайным на устах
О том, чтó дух, о том, чтó прах,
О том, чтó жизнь и здесь и там,
О всем, что так безвестно нам.
Но безответен предо мной
Крестов надгробных темный строй,
Безмолвно кости мертвецов
Лежат на дне своих гробов,
И мой вопрос не разрешен,
Стоит загадкой грозно он.

Среди могил еще одна
Разрыта вновь — и вот она
Недавний труп в себя взяла.
Еще вчера в нем кровь текла,
Дышала грудь, душа жила;
Еще вчера моим отцом
Его я звал — сегодня в нем
Застыла кровь, жизнь замерла,
И где душа, куда ушла?
Боялась робкая рука
Коснуться трупа хоть слегка,
Так страшен холод мертвеца,
Так бледность мертвого лица,
Закрытый взор, сомкнутый рот
Наводят страх на ум. А вот
И гроб — и тело в нем
Закрыто крышкой и гвоздем
Три раза крепко по бокам
Заколочéно... Душно там,
В могиле душно под землей...
Ничтожество!.. О боже мой, —
Ничтожество! И вот конец,
И вот достойнейший венец
Тому, кто силен мыслью жил,
И кто желал, и кто любил,
Страдал и чувствовал в свой век
И гордо звался: Человек!

А я любил его. Меж мной
И им таинственной рукой
Любви завязан узел был.
Отец! о, — я тебя любил!
Скажи ж, мертвец, скажи же мне,
Чтó есть душа? И в той стране
Живешь ли ты? Нашел ли там
Ты мать мою? Пришлось ли вам
Обняться снова и любить?
И вечно ль будете вы жить?

Сомненье вечно! Знанья нет!
Всё сумерки... — Когда же свет?
Сомненье! Боже, как я мал,
Ничтожен! Тот, кто умирал
Когда-то на кресте, — страдал —
И верил. Я не верю, я —
Сомненья слабое дитя...
О нет, я верю, верю. Нет,
Я знаю. Для меня есть свет.
Я знаю — вечная душа,
Одною мыслию дыша,
Меняя формы, все живет,
Из века в век она идет
Все лучше, лучше и с тобой
В одно сольется, боже мой!

1838, 6 ноября

НОВЫЙ ГОД

Вот год еще прошел, как сновиденье,
Исчез, примкнулся к тьме годов,
Недавний труп нашел успокоенье
Среди истлевших мертвецов.
Остался жить среди воспоминаний,
С толпой утрат, с толпой скорбей,
С толпой возвышенных мечтаний,
С толпой обманов меж людей.
Всегда в борьбе, всегда против теченья
Мы правим нашею ладьей,
За годом год в стремительном движеньи

Бежит обратною волной.
Пусть так, пускай мы каждый год с борьбою
Против течения плывем.
Друзья, начало скрыто за рекою,
Начало жизни мы найдем.
Пусть много бед останется за нами,
Волна обратная пройдет,
А на конце пред нашими глазами
Завеса с истины спадет.

1839, 1 января

* * *

О, возвратись, любви прекрасное мгновенье,
О, исцели тоскующую грудь,
Дай тихо, свято, радостно дохнуть
Восторгом чистым неземного упоенья.

Минуты чудные живого наслажденья:
Влюбленных душ безмолвный разговор,
И поцелуй, и неги полный взор,
И мира дольнего прекрасное забвенье.

Я отвыкал от вас — и тьма на ум ложилась,
И сердце сохло в душной пустоте,
И замирала жизнь в бесцельной суете,
И скука надо мной тяжелая носилась.

Теперь опять ко мне, сдружись с моей душою,
Знакомый рай святой любви моей,
Я выплакал тебя бесцветных дней
Несносной, длинною и скучной чередою.

1839, январь

К НЕЙ

Ты заснула, мой друг, — ты забыла земное,
И, быть может, с прекрасною, тихой мечтою
К тебе сон прилетел, будто ангел с небес.
Я не сплю, полон мрачных, мучительных грез,
Полон грусти глубокой, тоски и сомненья. . .

Но когда я гляжу на твое усыпленье,
На душе у меня веселей и светлей,
И мне кажется, друг, что средь пасмурных дней
Как виденье явилась ты мне неземное,
Ты явилась как ангел любви и покоя.

1839, январь

К И. П. Г<АЛАХОВУ>

Я был один — и мысль во мне таилась,
Закована холодностью людей,
И гибла речь, когда едва родилась,
Зарытая на дне души моей.

Но ты пришел и протянул мне руку,
И я воскрес всей пламенной душой,
Я разогнал убийственную скуку,
Одушевлен любимою мечтой.

Итак, идем же дружною стопою,
Воспламененные добром,
Туда, туда, где с истиной святою
Живет любовь в союзе вековом.

1839, 5 февраля

ДОРОЖНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Бледно сквозь дымное облако светит луна,
Светит на белое поле;
Холоден воздух летучий, земля холодна,
Снег ее держит в неволе.

Жалко мне бедную землю! В ней жизни уж нет,
Все-то на ней леденеет,
Холодны люди на ней, ах! и в них жизни нет,
Сердце у них леденеет.

К бедствиям ближних, к несчастьям, страданьям людей
Сердце у них леденеет.
К правде божественной, к голосу чистых страстей
Сердце у них леденеет.

Лишь себялюбье живет в нем, и гложет его
Червь среди страшной могилы.
Сердце холодное! Ах, отогреть мне его
Вовсе нет, вовсе нет силы.

Вырвать червя ядовитого силы мне нет,
Воля ничтожна без силы.
Жив я, однако! Спокойно гляжу я на свет —
И умереть нету силы.

1839, февраль

СТАНЦИЯ

Я вспомнил, как ты здесь страдала,
Как сердце билось и чело
Болезни муки выражало, —
И как мне было тяжело!
Как каждый стон подруги милой
Мне скорбно душу волновал,
Я то молился, то, унылый,
Себя отчаяньем терзал.
Но все тогда мне легче было,
Всё были вместе мы с тобой,
И все, что сердце так любило,
Не разлучалося со мной.
Теперь я на дороге снова,
Но я один, и грустен путь,
И не с кем нежно молвить слова,
С любовью не на что взглянуть.
Кругом зима, да ночь, да тучи,
Да вьюга снег метет с земли,
И завывает ветр могучий,
Да лес чернеется вдали;
А в сердце тайная тревога,
Душа печальна и мрачна!..
О одинокая дорога,
Как ты мучительно скучна!
И ты одна, моя подруга,
И ты грустишь, и в тяжком сне,

Быть может, горестного друга
Ты видишь в дальней стороне.
О! Тяжело нам разлученье,
Ведь нас навек в пути земном
Соединило провиденье
Любви негаснущей узлом.

1839, февраль

МАРИИ, АЛЕКСАНДРУ И НАТАШЕ

Благодарю тебя, о провиденье,
Благодарю, благодарю тебя,
Ты мне дало чудесное мгновенье,
Я дожил до чудеснейшего дня.
Как я желал его! В душе глубоко
Я, как мечту, как сон, его ласкал, —
Сбылась мечта, и этот миг высокой
Я не во сне, я наяву узнал.
Любовь и дружба! вы теперь со мною,
Теперь вы вместе, вместе у меня —
О боже мой, я радостной слезою
Благодарю, благодарю тебя,
Благодарю! О, с самого рожденья
Ты два зерна мне в душу посадил,
И вот я два прекрасные растенья
Из них, мой боже, свято возрастил.
Одно — то дуб с зелеными листами,
Высокий, твердый, гордою главой
Он съединился дивно с небесами
И тень отрадно бросил над землей.
Другое — то роскошное явленье,
То южных стран душистое дитя,
Магнолия — венец всего творенья...
О боже мой, благодарю тебя!
Любовь и дружба! вы теперь со мною!
Друзья! так обнимите же меня!
Вот вам слеза, — пусть этою слезою
Вам скажется, что ощущаю я...

1839, 15—19 марта

* * *

Когда творец в себе к творению
Любовь безмерную сознал,
Его с собой в соединении
Он ею свято сочетал,
И мир в негаснущем стремлении
К нему любовью задышал.

Их было двое в том слиянии,
В безмерной их любви самой
Их жизни было основание,
И захотел творец святой,
Чтоб все отдельные создания
Сплелись любовью меж собой.

И вот в гармонии пленительной
Любви напевы понеслись,
Волна с волной в цепи стремительной,
И люди братски обнялись,
И с полнотою упоительной
Все песни в песнь одну слились.

Но бог создал одну вселенную,
Себе подобную создал,
И из нее к себе нетленную
Любовь любовию воззвал,
И ту ж любовь он, неизменную,
В размере новом начертал.

Отдельным в мире двум созданиям,
Чтобы — глубоко оживлен
Их дух сочувствия сознанием —
Друг к другу был бы увлечен
Любви негаснущим желанием,
Как мир к нему и к миру он.

И деве юноша глубокую
Любовь от сердца посвятил,

И ту же в ней любовь высокую
    Своей любовью пробудил... —
Так с неба на землю далекую
    Творец свой образ заронил.

1839, 21 марта

Е. Г. Л<ЕВАШЕВОЙ>

Я с юных лет знал тяжкие гоненья,
И, истины в душе смиренный жрец,
Из рук ее, в залог благословенья,
Я получил страдальческий венец.
Я отчужден был от моих собратий
В глухих стенах безжалостной тюрьмы;
Но от молвы и от ее проклятий
Уже тогда меня спасали вы.
Уже тогда вы, юному страданью
Сочувствуя прекрасною душой,
Смягчали скорбь и горечь испытанья
Таинственно, неведомой рукой.
И с той поры всегда, как добрый гений,
Носились вы над жизнию моей
И длили жар высоких вдохновений,
Вводя меня в семью моих друзей.
Благодарю! Вы много мне послали
Минут святых в моем пути земном,
И вы не раз свевали мне печали,
Мой скорбный дух давившие свинцом.
Теперь вас нет. Мне не было судьбою
Вас знать дано, — а я мечтал не раз,
Как хорошо мы братственной толпою
Когда-нибудь стеснились бы вкруг вас.
Теперь вас нет! Вас ждал удел высокой,
Теперь вы там — вы ангел в небесах;
И, может быть, из области далекой
Вы видите меня в земных краях.
Смотрите! Вам душа моя открыта,
Теперь печаль живет уныло в ней,
По вас она вся трауром покрыта,
Грустит, как сын о матери своей.

О, вы меня с небес своих призрите,
Пошлите мир душе в тяжелый час
И тихо вы меня благословите,
Как я теперь благословляю вас.

1839, 23 марта

* * *

Итак, с тобой я буду снова.
Мне уступить на этот раз
Судьба суровая готова
Еще один блаженный час.
Еще прекрасное мгновенье
Я в жизни скучной и пустой,
Как дар святого провиденья,
Отмечу резкою чертой;
И на страницах дней печальных,
Где много горестей святых,
Где много песен погребальных,
Где много про́белов пустых,
Где много пятен, сожалений,
Которых выскоблить нельзя,
И где так мало наслаждений
Еще успел отметить я, —
Я припишу, с душою ясной,
С благодареньем к небесам,
Еще строку любви прекрасной
К немногим радости строкам.
Скорей, ямщик, до назначенья!
Скорей гони своих коней,
Я весь горю от нетерпенья,
Мне миг свиданья дорог с ней.
Скажи: с тобой случалось, верно —
Ну, вот когда ты молод был, —
Расстаться с той, что ты безмерно
Душой и сердцем полюбил?
Ты помнишь, что тогда бывало
В груди истерзанной твоей?..
Итак, спеши ж во что б ни стало,
Гони, гони своих коней.
Вот хлопнул бич — и снег мятется,

И в брызгах пал на стороне —
Вот близко, близко — сердце бьется,
Мой друг, спеши навстречу мне...
О! с умиленною слезою,
Я на коленях пред тобой
За миг свиданья всей душою
Благодарю, создатель мой!..

1839, 29 марта

ПЕСНЯ

«Ты откуда, туча, туча,
Пролетаешь над горой?
Не встречался ли могучий
Воин где-нибудь с тобой?

Свеж, как утро молодое,
Прям, как тополь средь полей,
Смел, как лев в отваге боя,
Конь его тебя быстрей
Пролетает средь степей?»

Туча мрачно отвечала:
«Нет, его я не видала».

Плачет дева над рекой:
«Ах, ему я говорила,
Не ходи, мой милый, в бой,
Не бросай своей ты милой.
Иль милей тебе война
Тайных в полночи свиданий,
С девой сладостного сна,
С девой пламенных лобзаний?
Но коня он оседлал
И на битву ускакал».

«Ты отколь летишь, орлица?
Не видала ли порой —
В блеске утренней денницы
Скачет воин молодой?

Гордо смотрит под чалмою,
Нет усов его черней,
Брови высятся дугою,
И еще твоих очей
Очи воина ярчей?»

И орлица отвечала:
«Нет, его я не видала».

Плачет дева над рекой:
«Ах, ему я говорила,
Не ходи, мой милый, в бой,
Не бросай своей ты милой,
И когда взойдет луна,
Сон мы стражи околдуем,
Ты придешь на ложе сна,
Ты придешь за поцелуем.
Но коня он оседлал
И на битву ускакал».

«Ты отколь в пути летучем,
Буря, мчишься надо мной?
Буря! с витязем могучим
Не встречалась ли порой?

Пылко сердце молодое,
Нет любви его жарчей,
Он спешит на праздник боя,
Конь его тебя быстрей
Пролетает средь степей».

Буря с свистом отвечала:
«В поле мертвого видала».

Плачет дева над рекой:
«Ах! ему я говорила,
Не ходи, мой милый, в бой,
Не бросай своей ты милой.
Унесла его война!
Не дождусь его лобзанья!
Так умчи ж меня, волна,

К другу, к другу на свиданье».
И над трупом злобный вал
Белой пеной заплескал.

1839, март

* * *

Скрылося солнце, и небо темнело,
Ночь расстилала угрюмый навес.
Все замолчало и все замертвело,
Ночь, будто тайна, легла вдоль небес.
Песен не слышно, и люди заснули;
Страшно на мглу им бы было взглянуть,
К сердцу б невольно печали прильнули —
Лучше же им безмятежно уснуть.
Но постепенно на сумрачном своде
Начали звезды одна за другой
Ярко сбираться в златом хороводе, —
Месяц пришел ликовать с их толпой.
Радостно ожило небо без меры!
Песни раздались по нем в этот миг:
Гимны то пели небесные сферы
Солнцу, которое светит на них.

Радости скрылись, в душе потемнело,
Ночь разостлалась угрюмо по ней;
Все в ней замолкло, все замертвело,
Тайной зарылась в ней тяжесть скорбей.
Ясное даже исчезло сознанье:
Страшно ей было б в себя заглянуть,
В мраке, на дне все лежали страданья —
Счастливо если б им можно уснуть.
Но постепенно одна за другою
Новые мысли, как звезды светлы,
Дружной в душе зарождались толпою
И выходили сверх гибельной мглы;
Радостно стало в душе обновленной!
Песнью она стала дивной полна:
Гимн то прекрасный, то гимн вдохновенный
Пела любви беспредельной она.

1839, 5 апреля

* * *

Ну, лейся ж, вино, огнёвой струей
Ты в душу мою. Хочу, чтоб она
Полна бы была волшебной мечтой,
Светла, будто день, свежа, как весна,
Жарка, как огонь; безмерна б была,
Как только одна безмерна любовь;
Хочу, чтобы мысль быстрей, чем стрела,
Неслась к небесам. Хочу, чтобы кровь
По жилам моим пожаром текла,
Чтоб чувствовал я, что жизнь во мне есть,
Что эта душа сильна и светла,
Готова любовь такую принять,
Что может она мир целый обнять;
Хочу, чтоб восторг во мне возрастал,
Как может лишь он в душе возрастать,
Пред небом, чтоб я на колени упал:
О боже, к тебе с признанием я
Явился теперь! Любим, как хотел
Любимым я быть: молитва моя
Дошла до тебя, и ты повелел,
Чтоб истины глас узнала она! —
Прекрасной душой воскресла бы вновь,
Поверила б вновь, что в мире одна
Лишь истина есть, и это — любовь!
Ну, лейся ж, вино, огнёвой струей
Ты в душу мою. Хочу, чтоб она
Любовью святой, волшебной мечтой
Была бы полна!

1839, 11 апреля

GELSEMINUM
(ЦВЕТОК)

Люблю тебя, ты мой цветок чудесный!
И ты, как я, ты — божие дитя,
И над тобой звучал глагол небесный,
Как ты, вставал из мглы небытия.
В твое зерно веленьем мощным слова

Вложилась мысль, и тихо в нем она
Земную жизнь раскрыть была готова,
Предчувствием небесного полна, —
И корень стал в земле искать питанья...
Но солнце вышло — ясно и тепло
На божие взглянуло достоянье,
Зерно в земле с любовию нашло,
Светило, грело, жизнь к себе манило,
И вот зерно из-под коры земной
Зеленый лист на божий свет явило,
С любовью цвет возник к нему главой.
Цветок забился в сладком трепетаньи,
И сам не знал, чем богу угодить,
И наконец свое благоуханье
Как дар любви ему стал возносить.
Люблю тебя, ты мой цветок чудесный,
И я, как ты, я — божие дитя,
И надо мной звучал глагол небесный,
Как я, вставал из мглы небытия;
И я возрос, пробил кору земную,
И истину лелеять стал в тиши,
Не знал я, чем воздам я за святую,
И богу гимн раздался из души.
Цветок, цветок! Ведь нам одна дорога,
Товарищ мой! Я чувствую — с тобой
Служители единого мы бога,
Любовию к нему исполнены одной.
Так жребий наш сплетем одним желаньем:
Как друг, займусь я жизнию твоей,
И пусть с твоим святым благоуханьем
Сольется песнь души моей.

1839, июнь

ОТЦУ

Отец! вот несколько уж дней
Воспоминанье все рисует
Твои черты душе моей
И по тебе она тоскует.
Все помню: как ты здесь сидел,
С каким, бывало, наслажденьем

На дом, на сад, на пруд глядел,
Какую к ним любовь имел,
Про них твердил нам с умиленьем.
«Все это, — ты тогда мечтал, —
Оставлю сыну в достоянье. . .»
Но равнодушно я внимал
И не туда несло желанье.
Я виноват перед тобой;
Я с стариком скучал, бывало,
Подчас роптал на жребий свой. . .
Прости меня! На ропот мой
Набрось забвенья покрывало.

Скажи, отец, где ты теперь?
Не правда ль, ты воскрес душою?
Не правда ль, гробовая дверь
Не все замкнула за собою?
Скажи: ты чувствуешь, что я
Здесь, на земле, грущу, тоскую,
Все помню, все люблю тебя;
Что падала слеза моя
Не раз на урну гробовую?
О! если все то знаешь ты,
То будь и там мой добрый гений,
Храни меня средь суеты,
Храни для чистых вдохновений —
Молись! . . Но, может, в той стране
Ты сам, раскаяньем гонимый,
Страдаешь. ... О, скажи же мне —
Я б стал молиться в тишине,
Чтоб бог дал мир душе томимой.
Но нет! Ты все же лучше стал,
Чем я, среди греха и тленья,
Ведь ты в раскаяньи страдал,
И смыл все пятна заблужденья; —
Так ты молись за жребий мой,
А я святыни не нарушу
Моею грешною мольбой. . .
Молись, отец, и успокой
Мою тоскующую душу.

1839, июль

* * *

С полуночи ветер холодный подул,
И лист пожелтелый на землю свалился,
И с ропотом грустно по ней пропорхнул,
От ветки родной далеко укатился.

С родимой сторонки уносит меня
Безвестной судьбы приговор неизменный,
И грустно, что край оставляю тот я,
Где жил и любил я в тиши отдаленной.

1839, август

НА МОГИЛЕ ДРУГА

(Посвящено иерею Михаилу)

Я посетил твою могилу,
Твой юный прах благословил,
И вспомнил: некогда таила
Твоя душа в избытке сил
Зерно высоких помышлений,
И, полный сильных убеждений,
Его ты в колос возрастил.
Но, бурей вдруг перенесенный
В страну бесплодную степей,
Как злак на почве раскаленной
Сгорает, — так в огне скорбей,
Так в пламени негодованья
Сгорел и ты в твоем изгнаньи
Меж чуждых для тебя людей.

И вот, когда служитель бога
Среди разбросанных могил
К твоей мне указал дорогу, —
Твой прах слезой я оросил
И дал в твое воспоминанье
Меня приведшему лобзанье:
Как я, и он тебя любил. . .
И верил в это я мгновенье,
Что ты нас свыше увидал,

И неземное утешенье
В любви друзей твоих узнал.
И мы домой пошли угрюмо
И каждый, молча, грустной думой
Твой лик забытый воскрешал.

Твой черный крест — симво́л страданья
И примирения симво́л —
Навек в моем воспоминаньи
Черту глубокую провел.
Теперь уже из недр могилы
Тебя спасительною силой
К духовной жизни он возвел.

1839, август

ОСЕННЕЕ ЧУВСТВО

Ты пришло уже, небо туманное,
Ты рассыпалось мелким дождем,
Ты повеяло холодом, сыростью
В опечаленном крае моем.

Улетели куда-то все пташечки;
Лишь ворона на голом суку
Сидя жалобно каркает, каркает
И наводит на сердце тоску.

Как же сердцу-то грустно и холодно!
Как же сжалось, бедняжка, в груди!
А ему бы все вдаль, словно ласточке,
В теплый край бы хотелось идти. . .

Не бывать тебе, сердце печальное,
В этих светлых и теплых краях,
Тебя сгубят под серыми тучами
И схоронят в холодных снегах.

1839, август

* * *

В тюрьму я был брошен, отослан в изгнанье,
Изведал я горе, изведал страданье,
Но все же я звал из печальной глуши
Свободу, владычицу твердой души.
Пришла наконец, будто свет среди тьмы,
Как воздух прохладный средь душной тюрьмы,
И голос мне вдруг пробежал близ ушей:
«Вот ключ от затворов тюремных дверей,
Я дам его женщине, тебе их она
Отворит, — я буду тебе отдана».
Растворены двери, и что ж вижу я?
О боже! Она, то подруга моя,
Она растворила тюремную дверь,
И весел я с нею и волен теперь.
За волю, за волю тебе, провиденье,
Подругой мне данною — благодаренье.
Но есть еще воля! .. То воля моя
Стремиться к добру — неизменен ей я.

1839, 7 сентября

* * *

Тяжела голова моя,
Мои очи заплаканы,
Тяжело на душе моей,
Тяжело, моя милая.

Дай склонюсь головою я
К тебе, друг мой, на плечико,
Тебе к сердцу прижмуся я
Моим сердцем измученным.

Сердце сердцем излечится,
Грусть любовью изгонится,
И забудуся сладким сном
У тебя я на плечике;

И во сне стану видеть я
Светлых ангелов божиих,
И увижу в средине их
Я тебя, моя милая...

1839, 3 ноября

НОЧЬ

Тихо в моей комнатке
И кругом все спит,
Свечка одинокая
Предо мной горит.

Посмотрю ль в окошечко —
Все темно кругом,
Не видать и улицы
В сумраке ночном.

Звездочки попрятались,
На небе темно,
Тучами подернулось
Черными оно.

Ветер воет жалобно
Под моим окном,
И метель суровая
Все стучит по нем.

Страшно мне смотреть туда,
В сумрачную даль,
И ложится на душу
Тайная печаль.

Тихо в моей комнатке
И кругом все спит,
Свечка одинокая
Предо мной горит.

1839

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Когда еще дитей я был
И рос я в тишине, —
Как праздник божий я любил!
Как было сладко мне!

С тех пор прошло так много лет,
Я не дитя давно,
Но прежней радости уж нет
И на душе темно.

И скучен праздник для меня,
Грущу о прежних днях,
И сердцем мало верю я,
И слезы на глазах.

1839

МГНОВЕНИЕ

Нет, право, эта жизнь скучна,
Как небо серое бесцветна,
Тоской сжимает грудь она
И желчь вливает неприметно;
И как-то смотрится кругом
На все сердитей понемногу;
И что-то ничему потом
Уже не верится, ей-богу!

1839

ЖЕЛАНИЕ ПОКОЯ

Опять они, мои мечты,
О тишине уединенья,
Где в сердце столько теплоты,
И столько грусти и стремленья.

О, хороши мои поля,
Лежат спокойны и безбрежны...
Там протекала жизнь моя,
Как вечер ясный, безмятежный...

Хорош мой тихий, светлый пруд.
В него глядится месяц бледный,
И соловьи кругом поют,
И робко шепчет куст прибрежный.

Хорош мой скромный белый дом!
О, сколько сладостных мгновений,
Минут любви я прожил в нем,
Минут прекрасных вдохновений.

Опять туда манят мечты,
Всё прочь от этой жизни шумной,
От этой пошлой суеты,
От этой праздности безумной.

Опять душа тоски полна
И просит прежнего покоя;
Привыкла там любить она,
Там гроб отца, там все родное.

Опять они, мои мечты,
О тишине уединенья,
Где в сердце столько теплоты,
И столько грусти и стремленья.

1839

<А. А.> ТУЧКОВУ

(2 июля)

Я знаю, друг, что значит слово мать,
Я знаю — в нем есть мир любви чудесный,
Я знаю — мать прискорбно потерять
И сиротой докончить путь безвестный.
Я матери лишился с детских лет,
И нет ее в моем воспоминаньи,
Но сколько раз, забыв земной наш свет,
Носился к ней я в пламенном желаньи!
И знаешь, друг, — душе в ее скорбях
Есть тайное, святое утешенье
Знать, что душа родная в небесах
Ее хранит и в горе и в смятеньи.

И вот, когда вечернею порой
Ты взглянешь вдруг на небо голубое, —
Подумаешь: вот матери родной
С любовью тень несется надо мною.
И вот, когда толпу людей пустых
Вдруг оскорбил в порыве благородном
Ты правды чистой голосом свободным, —
Тебе не страшны будут козни их:
Ведь на тебя из горнего селенья
Взирает мать с улыбкой одобренья.

1839

МОЛДАВАНЫ [1]

Ночь луною озарило,
Под снегами спит земля,
И белеются уныло
Бесконечные поля.
Едем. . . тройка удалая
Снег копытами метет,
И ямщик, кнутом махая,
Песню грустную поет.
У дороги, средь поляны,
Разложе́нные костры;
Кочевые молдаваны
Здесь раскинули шатры.
Собрался перед огнями
Отвратительной толпой
С распуще́нными власами
Ряд старух полунагой;
И, на палку опираясь,
В хитрых замыслах, старик,
Молча, злобно улыбаясь,
Головой на грудь поник;
Дети в рваном одеяньи
И с запачканным лицом
С криком просят подаянья,
Обступив меня кругом.

---

[1] Кочуют около Москвы по Рязанской дороге. — *Прим. Огарева.*

Стала тройка удалая
И, испугана, храпит:
Молдаванка молодая,
Смуглоликая стоит,
Освещенная огнями,
Освещенная луной,
С яркочерными глазами
И разметанной косой.
Хочет смуглою рукою
Руку взять мою она
И сказать, какой судьбою
Жизнь моя наделена.
Прочь, коварная смуглянка!
Ну, ямщик, пошел живей!
Страшно очи молдаванки
Блещут в сумраке ночей.

1839

СТАРЫЙ ДОМ

Старый дом, старый друг, посетил я
Наконец в запустеньи тебя,
И былое опять воскресил я,
И печально смотрел на тебя.

Двор лежал предо мной неметенный,
Да колодец валился гнилой,
И в саду не шумел лист зеленый,
Желтый — тлел он на почве сырой.

Дом стоял обветшалый уныло,
Штукатурка обилась кругом,
Туча серая сверху ходила
И все плакала, глядя на дом.

Я вошел. Те же комнаты были;
Здесь ворчал недовольный старик;
Мы беседы его не любили,
Нас страшил его черствый язык.

Вот и комнатка — с другом, бывало,
Здесь мы жили умом и душой;
Много дум золотых возникало
В этой комнатке прежней порой.

В нее звездочка тихо светила,
В ней остались слова на стенах;
Их в то время рука начертила,
Когда юность кипела в душах.

В этой комнатке счастье былое,
Дружба светлая выросла там,
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.

И мне страшно вдруг стало. Дрожал я,
На кладбище я будто стоял,
И родных мертвецов вызывал я,
Но из мертвых никто не восстал.

1839

GUTE GESELLSCHAFT[1]

Как эти люди скучны, глупы,
Как их бессмысленны слова,
Как шутки их несносно тупы,
И как пуста их голова!
Как сердце их черство и вяло,
Как пышет холодом от них!
Какую желчь в меня вливала
Беседа сладостная их!
Подите прочь! .. Вот вам дорога —
Большая, — можете идти!
Меня ж забудьте, ради бога,
Вы на проселочном пути!

1839

[1] Хорошее общество (нем.).

* * *

Что ты вдали готовишь предо мною,
Грядущее, в туманной мгле твоей?
Не туч ли вьешься черной пеленою,
Иль радость шлешь в среду печальных дней?

Но ты молчишь в безвестном отдаленьи,
И, что несешь, сокрыто предо мной;
Что б ни было — тебе, о провиденье,
Вверяю я смиренно жребий мой! . .

1839(?)

* * *

В прогулке поздней видел я
Сквозь окны — в пышной зале
Толпу людей и блеск огня,
И гости пировали.

А снег валился, в стеклы бил,
И веял ветер смелый,
И кровлю темную покрыл
Печально саван белый.

Сквозь дымных облаков луна,
Туманная, смотрела,
И все, казалося, она
Как будто что жалела.

И я глядел ей в бледный лик
С участием, уныло:
Нам так обоим в этот миг
На сердце грустно было.

1830-е

* * *

Я в гости поеду, мне весело будет,
А милая станет скучать,
Смеяться я буду с толпой молодежи,
А будет она тосковать.

Нет, милая, больше уж я не поеду:
Как тратить минуты любви?
Ведь так хорошо мне тобой любоваться,
Глядеться в глазенки твои.

1830-е

СЛАВА

Так! называйте люди бренным
Горящий огнь в моей груди,
Мне жалки вы, как червь презренный,
Безмолвно гибнущий в пыли.

Тот славы звук, для вас ужасный,
Отраден пламенным сердцам,
Он вам пустой, но он прекрасный
Одним возвышенным душам!

Его вы вечно не поймете,
Он вечно будет вам постыл,
Как жили вы, так вы сойдете
Безвестно в тишину могил.

Но славы сын не встретит тленья
Под мраком урны гробовой,
Он вызван будет из забвенья
Своей великою судьбой.

Блести ж, луч славы, надо мною,
Понятны мне твои слова,
Пусть передаст дела героя
Потомству поздняя молва!

1830-е

ПУТЬ СОЛНЦА

На небе точка показалась,
Но светом точка та блестит,
И вот зарею разостлалась,
И небо все в заре горит.
Вот точка все блестит яснее,

Вот первый луч нисшел от ней,
Вот он горит сильней, сильнее,
Дробится в тысячи лучей,
И все вокруг заликовало,
Все полно дивной красоты, —
То жизнь в вселенной пробежала
Струею света, теплоты.

И солнце греет прах немой,
И самый прах одушевился,
Проникнут светлою душой,
Он ей живет, он с нею слился.

Но вот уж вечер... Небо рдеет,
Сверкая длинной полосой,
Роскошно солнце пламенеет,
Гордяся пышною красой;
Вот полным светом вдруг блистает
И вот бежит земных очей,
И долго — новою зарей
В краях безвестных рассветает.

1830-е

* * *

Улыбкой — уст моих не осквернил я,
Заметив на груди твоей
И крест большой и образ; их почтил я
Во глубине души моей.
Быть может, в час душевного страданья
Безмолвно ты целуешь их, —
Родную тень зовет воспоминанье,
И жизни лучший, светлый миг...

1830-е

ГОРОД

Смеркаться начинает,
Уж звезды надо мной, —
И вот мы подъезжаем
К заставе городской.

Дома стоят рядами,
Огонь мелькает в них, —
И стук от экипажей
Несется с мостовых.

Вся скука городская
Приходит мне на ум,
И как гнетет здесь душу
Забот вседневных шум.

Скорей! насквозь чрез город,
Ямщик, скачи же ты:
Там — снова бесконечность
И вольный мир мечты.

1830-е

РАЗЛАД

Есть много горестных минут!
Томится ум, и сердцу больно,
Недоумения растут,
И грудь стесняется невольно.
В душе вопросов длинный ряд,
Все тайна — нету разрешенья,
С людьми, с самим собой разлад,
И душат горькие сомненья.

Но все ж на дне души больной
Есть вера с силою могучей...
Так солнце бурною порой
Спокойно светит из-за тучи.

1840, 17 апреля

* * *

Мне было скучно в разговоре
Натягивать мой бедный ум,
Чтоб толковать о всяком вздоре,
Как ни попало, наобум...

И я урвался одинокой
К зеленым рощам и полям,
И там бродил в тиши глубокой,
Печальным преданный мечтам.
Мне было грустно — вспоминал я
Другие рощи и поля,
Где, милый друг, с тобой блуждал я
И сладко так любил тебя.
О! тяжело забыть душою
Любви пленительный привет,
И день и ночь с одной тоскою
Себе твердить: ее здесь нет;
И отвыкать от женской ласки,
И ночью тихо не лобзать
Полузатворенные глазки,
Лобзаньем утра не встречать,
Проститься с тем, что было мило,
Грустить безмолвно каждый час...
О! тяжело... слеза уныло
Рукой стирается не раз.

1840, 3 июня

* * *

Туман над тусклою рекой,
Туман над дальними полями,
В тумане лес береговой
Качает голыми ветвями.
А было время — этот лес
Шумел зелеными ветвями,
И солнце с голубых небес
Блестело ярко над волнами;
И бесконечна и ясна
Долина тихая лежала...
О! помню я — в те времена
Душа для жизни расцветала.

1840, 20 октября

<К М. Л. ОГАРЕВОЙ>

18 декабря, вечером

Хочу еще письмо писать
От делать нечего и скуки
И время длинное разлуки
Стихом причудливым занять.
Я здесь один и словно в пытке:
Тоска, и на сердце темно;
Сижу на месте, а давно
Мне быть хотелося в кибитке.
Как все живут, и я живу:
Все недоволен всем на свете;
Зимой скучаю я об лете,
А летом зиму я зову;
В Москве разладил я с Москвою,
В деревне грустно по Москве,
Кататься буду по Неве —
И стану рваться в степь душою.
Что делать? — так устроен свет!
У всех неясное стремленье,
Все ищут с жизнью примиренья,
И я ищу, — да, видно, нет.
Порою люди надоели,
Там недоволен сам собой;
Тоскуешь часто день-деньской,
И ночь не спится на постеле.
Грустить, желать! — к чему желанья?
Что надо, то устроит бог,
Желал же Фауст — да не мог
Объехать с солнцем мирозданья!..
Но все мне на груди твоей
Бывает сладко так, Мария,
О, есть мгновения святые,
Где я далек тоски моей!
Есть сладость — сладость поцелуя,
Есть в мире счастие — любовь,
И в этом жизнь для сердца вновь
И веру юную найду я.

1840, 18 декабря

<К М. Л. ОГАРЕВОЙ>

Дай расскажу тебе, мой друг,
Всю жизнь мою. «Зачем? — ты скажешь, —
Ты нового мне не расскажешь,
Я знаю все. К тому же вдруг
Сказать всю жизнь — как это много!»
Да так хочу — что ж делать с тем?
Потребность не уймешь ничем, —
Итак, послушай, ради бога,
Я не могу не говорить,
Здесь много так воспоминаний,
Здесь осужден былых преданий
Я в память много приводить.
Здесь был ребенком я. Тогда
Я молчалив, как ныне, был,
Бродить я по саду любил;
Сидеть на берегу пруда,
Когда на запад день склонялся,
По лону вод как жар горел,
А я все на воду смотрел,
Где тихо поплавок качался, —
Смотрел и ждал, когда придет,
Крючок обманчивый лаская,
Играть им рыбка золотая,
И быстро с ним ко дну мелькнет.

1840, 18 декабря

* * *

Когда в тебе встает воспоминанье
    О том, кого уж больше нет,
И не звучит на скорбное призванье
    Тебе любви его привет,
И сердца раны вновь горят так больно,
    И давит грудь тебе печаль, —
К тебе влечет меня, мой друг, невольно
    И от души тебя мне жаль.

Я думаю: вот прах из чужи дальной
Вновь привезется в край родной...
О! как же ты придешь печально
К нему на камень гробовой!
Как чувство вечной с ним разлуки
Вновь будет тяжело тебе!
Но ты не говори, средь тяжкой муки,
Укора мрачного судьбе.

Еще ты над могилою заветной
Найдешь раскрывшийся цветок,
В его листах и сладко и приветно
Тебе зашепчет ветерок.
Ты примешь ветра этого дыханье
За слово дружбы от него,
И примешь ты цветка благоуханье
За сладостный привет его.

И отзовется на твое призванье
Его незримая любовь;
Смягчится сердца жгучее страданье,
И грусть тиха в нем будет вновь...
О! в этот миг с ним тайного свиданья,
Прошу — меня ты помяни,
Чтобы и мне послал он упованье
И свет сквозь пасмурные дни.

1840

ДЕРЕВЕНСКИЙ СТОРОЖ

Ночь темна, на небе тучи,
Белый снег кругом,
И разлит мороз трескучий
В воздухе ночном.

Вдоль по улице широкой
Избы мужиков.
Ходит сторож одинокой,
Слышен скрип шагов.

Зябнет сторож; вьюга смело
Злится вкруг него;

На морозе побелела
Борода его.

Скучно! радость изменила,
Скучно одному;
Песнь его звучит уныло
Сквозь метель и тьму.

Ходит он в ночи безлунной,
Бела утра ждет
И в края доски чугунной
С тайной грустью бьет.

И, качаясь, завывает
Звонкая доска...
Пуще сердце замирает,
Тяжелей тоска.

1840

* * *

Старик

Постой! не рви цветка, дитя, —
Он украшение могилы;
Здесь схоронил когда-то я
Все, что душе так близко было.
Я испугал тебя, — прости!
Вот ты и плакать уж готова...

Девочка

Нет! ты сердит — пусти, пусти!

Старик

Ну полно! улыбнись же снова.
Дай ручку мне.

Девочка

А дашь цветок?

Старик

Он дорог мне.

Девочка

Ты скуп.

Старик

Малютка!
Не скуп, а грустен, одинок...
Тебе пока еще все шутка, —
Отраден блеск твоих очей
И щечки с краскою живою,
И русый шелк твоих кудрей
Не заплетен еще косою.
Я стар и сед, мой взгляд угрюм,
Наморщен лоб от горьких дум.
Ты — утро с свежими лучами,
Как этот грустный вечер — я...
Мой свет угас, мое дитя.
Кругом всё насыпи с крестами,
Да ветхий храм; там степь, — ручей
Шумит у ног струей печальной,
Уныло свищет соловей,
Тоскует отголосок дальной,
И на душе у старика
Все бесконечная тоска...

Девочка

Что ж это, дедушка, с тобою?
Вот у отца родная мать —
Стара, как ты, больна порою,
А грусти в ней и не видать.
Когда смеркаться начинает —
Перед избой, по вечерам,
Всё сказки сказывает нам
И, как дитя, с детьми играет.

Старик

Да у нее есть ты, есть сын —
Все есть, дитя, что сердцу мило;
Но в целом мире я один,
Что я любил — взяла могила.
Цветок — мне друг. Одно и то же
Мы оба любим; я, как он,
Прирос к могиле... Но, мой боже!

Я этой жизнью утомлен;
На отдых, к ним, душа желает —
Страдальца бог не прибирает.

Старик умолк, поник главой;
Дитя цветка просить не смеет,
Уходит тихо и душой
О старике еще жалеет;
И сердце детское полно
Тревогой тайною впервые,
И смутно чувствует оно
Страданья, им не понятые...
Погас последний блеск лучей,
Ночная тьма над степью дальной,
Уныло свищет соловей,
Шумит ручей струей печальной —
И на душе у старика
Все бесконечная тоска.

1840

ПОХОРОНЫ

Уж тело в церкви. Я взошел
Рассеянно. Толпа народа!
Покойник зрителей навел,
Как падаль воронов. — У входа
Дерутся нищие; тайком
Попы о деньгах в жарком споре.
Один вопрос у всех кругом:
«Кто это умер?» — В каждом взоре
Смешное любопытство. Я
Досадовал; мне гадко стало,
И злоба тайная меня
В душе взбешенной волновала...
О! люди, люди! .. Мне на ум
Пришли покойного пороки
И про себя, средь тяжких дум,
Я вымышлял ему упреки.
Взглянул на гроб его потом...
Мне стало грустно... Тощий, бледный,

Лежал покойник тихо в нем
С улыбкой горькой. Бедный, бедный!
Мне стало жаль его, и я
Ему сказал: «Спи, мертвый, с богом!
Тревожить не хочу тебя
Ни в помыслах, ни в слове строгом».
И долго, долго на него
Смотрел я с тихим сожаленьем...
Когда ж в могилу гроб его
Мы опустили с грустным пеньем —
Я бросил горсть земли туда:
«Прощай, — шепнул ему уныло, —
Ступай же с миром». — Но куда?..
Не знаю — глухо за могилой.

1840

* * *

Там на улице холодом веет,
Завывает метель под окном;
Еще ночь над землей тяготеет,
И все спит безмятежно кругом.

Я один до рассвета проснулся
И безмолвно камин затопил;
И трескучий огонь встрепенулся
И блуждающий отблеск разлил.

Тяжело мне и грустно мне стало,
И невольно на память пришло,
Как мне в детские годы бывало
У камина тепло и светло.

1840

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Ночь темна, ветер в улице дует широкой,
Тускло светит фонарь, снег мешает идти.
Я устал! а до дому еще так далеко...
Дай к столбу прислонюсь, отдохну на пути.

Что за домик печально стоит предо мною!
Полуночники люди в нем, видно, не спят;
Есть огонь, заболтались, знать, поздней порою!
Вон две свечки на столике дружно горят.

А за столиком сидя, старушка гадает...
И об чем бы гадать ей на старости дней?..
Возле женщина тихо младенца качает;
Видно, мать! Сколько нежности в взоре у ней!

И как мил этот ангел, малютка прелестный!
Он с улыбкой заснул у нее на руках;
Может, сон ему снится веселый, чудесный,
Может, любо ему в его детских мечтах.

Но старушка встает, на часы заглянула,
С удивленьем потом потрясла головой,
Вот целуется, крестит и будто вздохнула...
И пошла шаг за шагом дрожащей стопой.

Свечки гасят, и в доме темно уже стало,
И фонарь на столбе догорел и погас...
Видно, в путь уж пора, ночь глухая настала.
Как на улице страшно в полуночный час!

А старушка недолго побудет на свете!
И для матери будет седин череда,
Развернется младенец в пленительном свете,—
Ах, бог весть, я и сам жив ли буду тогда.

1840

ПРОЩАНЬЕ С КРАЕМ, ОТКУДА Я НЕ УЕЗЖАЛ

Прощай, прощай, моя Россия!
Еще недолго — и уж я
Перелечу в страны чужие,
В иные, светлые края.
Благодарю за день рожденья,
За ширь степей и за зиму,
За сердцу сладкие мгновенья,

За горький опыт, за тюрьму,
За благородные желанья,
За равнодушие людей,
За грусть души, за жажду знанья,
И за любовь, и за друзей —
За все блаженство, все страданья;
Я все люблю, все святы мне
Твои, мой край, воспоминанья
В далекой будут стороне.
И о тебе не раз вздохну я,
Вернусь — и с теплою слезой
На небо серое взгляну я,
На степь под снежной пеленой...

1840

ПУТНИК

Дол туманен, воздух сыр,
  Туча небо кроет,
Грустно смотрит тусклый мир,
  Грустно ветер воет.

Не страшися, путник мой,
  На земле все битва;
Но в тебе живет покой,
  Сила да молитва.

1840

NOCTURNO

Как пуст мой деревенский дом,
  Угрюмый и высокий!
Какую ночь провел я в нем
  Бессонно, одинокий!
Уж были сумраком давно
  Окрестности одеты,
Луна светила сквозь окно
  На старые портреты;

А я задумчивой стопой
    Ходил по звонкой зале,
Да тень еще моя со мной —
    Мы двое лишь не спали.
Деревья темные в саду
    Качали всё ветвями,
Впросонках гуси на пруду
    Кричали над волнами,

И мельница, грозя, крылом
    Мне издали махала,
И церковь белая с крестом
    Как призрак восставала.
Я ждал — знакомых мертвецов
    Не встанут ли вдруг кости,
С портретных рам, из тьмы углов
    Не явятся ли в гости?

И страшен был пустой мне дом,
    Где шаг мой раздавался,
И робко я внимал кругом,
    И робко озирался.
Тоска и страх сжимали грудь
    Среди бессонной ночи,
И вовсе я не мог сомкнуть
    Встревоженные очи.

<1840>

NOCTURNO

Волна течет, волна шумит,
    И лодка при луне,
Махая веслами, бежит
    И плещет по волне.
И в каждой брызге от весла
    Мерцает свет луны,
И по реке, где лодка шла,
    Еще следы видны.

Кругом все тихо, берег спит...
    Но кто же в лодке той

В плаще задумчиво стоит
 С открытой головой?
Развиты кудри, бледен вид
 Печального лица,
Весь сам в себе — и не глядит
 На старого гребца.

Он все глядит туда, туда,
 На дальний небосклон,
И если падает звезда —
 Тогда в раздумьи он
Качает грустно головой,
 Вздыхает тяжело,
Как будто бы ему с собой
 Сравненье в мысль пришло.

Ах! видно, много он страдал,
 И много он любил,
И много горя в жизни знал
 И счастья схоронил...
Волна течет, волна шумит,
 И лодка при луне,
Махая веслами, бежит
 И плещет по волне.

1840(?)

КРЕМЛЬ

За тучами чуть видима луна,
Белеет снег в туманном освещеньи,
Безмолвны стогны, всюду тишина,
Исчезло дня бродящее движенье.
Старинный Кремль угрюмо задремал
Над берегом реки оледенелой,
И колокол гудящий замолчал,
Затворен храм и терем опустелый.
Как старый Кремль в полночной тишине
Является и призрачен и страшен,
В своей зубчатой затворясь стене
И вея холодом угрюмых башен!

Лежит повсюду мертвенный покой —
Его кругом ничто не возмущает,
Лишь каждый час часов унылый бой
О ходе времени напоминает.

1840 (?)

* * *

Я много плакал. Тяжкое страданье
Легло на грудь. И как пришло оно?..
Не знаю я... То есть ли наказанье
За грех какой, свершенный уж давно?..
Да! Мне нельзя взглянуть без содроганья
На прошлое... Нехорошо оно,
Нечисто... Но там было наказанье,
То с горем новым не сопряжено.
А тяжко! Все во мне разъединилось,
И вера детская и в счастье и в людей
Пропала... Душно!.. Грудь моя стеснилась!..
Чего-то нет уже в душе моей...
Постой, постой, все, чем душа живилась!..
Постой на миг, блаженство прежних дней!..
О боже мой! Опять слеза скатилась...

1840(?)

ОСЕНЬ

Когда осеннею порою
Холодным воздухом пахнет,
И тучи серой пеленою
Угрюмо в небе разовьет,
И тускло станет днем печальным,
И стелется туман кругом, —
Люблю я ехать лесом дальним,
Шаг зá шаг, на коне верхом, —
А конь шумит, по листьям сбитым
Ступая кованым копытом.

Люблю я слушать ветра свист,
Следить его опустошенья,

Смотреть, как рвется желтый лист,
И слушать шум его паденья.
Тогда лишь ворон средь лесов
Живет в безмолвьи одиноком;
Услыша с дуба звук шагов,
Глядит кругом он зорким оком,
Махает крыльями, и вдруг
В глуши скрывает свой испуг.

Все так печально, так уныло,
Все так прощается со мной
И говорит, что уж отжило...
Воспоминанье той порой
Весну мне прежнюю рисует,
Мечта несется к старине,
И сердце любит и тоскует,
И грустно так бывает мне,
И воскресают из забвенья
Былые люди и виденья.

1840(?)

* * *

Ночь туманная темна,
  Снег на стогнах тает,
Вкруг немая тишина
  Робость навевает.

Не пугай, зловещий мрак!
  Без того — смущенья
Не сгоню с души никак.

Ты, что волею своей
  Жизнь даешь в отраду,
Дай же мир душе моей,
  Если жить уж надо.

1839—1840(?)

СЕДАЯ ГОЛОВА

В метели голова моя
Покрылась белизною, —
Вот я и стар, подумал я,
И рад был всей душою.
Но вдруг слилася седина,
Вновь кудри чернть покрыла,
И стала юность мне страшна...
Как далека могила!..
До утра с вечера не раз
В ночь головы седели,
А я, в пути моем томясь,
Не поседел доселе.

1839—1840

<Т. Н. ГРАНОВСКОМУ>

Как жадно слушал я признанья
Любви глубокой и святой!
О, как ты полон упованья!
О, как ты бодр еще душой!
Ты счастлив, друг мой, дай мне руку...
Но, брат, пока ты говорил —
Какую тягостную муку
Я про себя в душе таил!..
И не скажу, о чем тоскую...
Я затворен в себе самом;
Я сердца ран не уврачую,
С участьем буду незнаком.
К чему пишу? И сам не знаю;
Но хочется кому-нибудь
Сказать, что втайне я страдаю
И что тяжел мне жизни путь;
Тебе же внутренних движений
Оттенки так понятны, друг...
Но мне не надо сожалений,
Лекарств не требует недуг.
Не спрашивай, о чем страданье
Души моей и отчего;
Но на меня ты, при свиданьи,

Не говоривши ничего,
Взгляни печально, и, быть может,
Руки пожатье мне поможет.

1841, весна

* * *

Я молод был, была весна,
И я любил, и птички пели,
Долина жизнию полна,
Деревья шумно зеленели.

Прошла любовь, прошла весна,
И птички замолчали,
Долина снегом устлана,
С деревьев мерзлых листья пали.

И сам уж я седой старик,
Мне кровь не согревает тела;
Я головой на грудь поник,
И жизнь мне надоела...

1841, лето

НА СМЕРТЬ Л<ЕРМОНТОВ>А

Еще дуэль! Еще поэт
С свинцом в груди сошел с ристанья.
Уста сомкнулись, песен нет,
Все смолкло... Страшное молчанье!
Тут тщетен дружеский привет...
Все смолкло: грусть, вражда, страданье,
Любовь — все, чем душа жила...
И где душа? куда ушла?

Но я тревожить в этот миг
Вопроса вечного не стану;
Давно я головой поник,
Давно пробило в сердце рану
Сомненье тяжкое, — и крик
В груди таится... Но обману

Жить не дает холодный ум,
И веры нет, и взор угрюм.

И тайный страх берет меня,
Когда в стране я вижу дальной,
Как очи, полные огня,
Закрылись тихо в миг прощальный,
Как пал он, голову склоня,
И грустно замер стих печальный
С улыбкой скорбной на устах,
И он лежал, бездушный прах.

Бездушней праха перед ним
Глупец ничтожный с пистолетом
Стоял здоров и невредим,
Не содрогаясь пред поэтом,
Укором тайным не томим;
И, может, рад был, что пред светом
Хвалиться станет он подчас,
Что верны так рука и глаз.

А между тем над мертвецом
Сияло небо, и лежала
Степь безглагольная кругом,
И в отдалении дремала
Цепь синих гор — и все в таком
Успокоеньи пребывало,
Как будто б миру жизнь его
Не составляла ничего.

А жизнь его была пышна,
Была роскошных впечатлений,
Огня душевного полна,
Полна покоя и волнений;
Все, все изведала она —
Значенье всех ее мгновений
Он слухом трепетным внимал
И в звонкий стих переливал.

Но, века своего герой,
Вокруг себя печальным взором
Смотрел он часто — и порой
Себя и век клеймил укором,

И желчный стих, дыша враждой,
Звучал нещадным приговором...
Любил ли он, или желал,
Иль ненавидел — он страдал.

Сюда, судьба! ко мне на суд!
Зачем всю жизнь одно мученье
Поэты тягостно несут?
Ко мне на суд — о провиденье!
Века в страданиях идут, —
Или без всякого значенья
И провиденье и судьба —
Пустые звуки и слова?

А как бы он широко мог
Блаженствовать! В душе поэта
Был счастья светлого залог:
И жар сердечного привета,
И поэтический восторг,
И рай видений, полных света,
Любовью полный взгляд на мир,
Раздолье жизни, вечный пир...

Мой бедный брат! дай руку мне,
Оледенелую дай руку,
И спи в могильной тишине.
Ни мой привет, ни сердца муку
Ты не услышишь в вечном сне,
И слов моих печальных звуку
Не разбудить тебя вовек...
Ты глух стал, мертвый человек!

Развеется среди степей
Мой плач надгробный над тобою,
И высохнет слеза очей
На камне хладном... И порою,
Когда сойду я в мир теней,
Раздастся плач и надо мною,
И будет он безвестен мне...
Спи, мой товарищ, в тишине!

1841, сентябрь(?)

ХАРАКТЕР

Ребенком он упрям был и резов,
И гордо так его смотрели глазки;
Лишь матери его смиряли ласки,
Но не внимал он звуку грозных слов.
Про витязей бесстрашных слушать сказки
Любил в тиши он зимних вечеров,
Любил безбрежие степи раздольной,
Следил полет далекий птицы вольной.

Провел он буйно юные года:
Его везде пустым повесой звали,
Но жажды дел они в нем не узнали,
Да воли сильной, в мире никогда
Простора не имевшей... Дни бежали,
Жизнь тратилась без цели, без труда;
Кипела кровь бесплодно... Он был молод,
А в душу стал закрадываться холод.

Влюблен он был, и разлюбил; потом
Любил, бросал, но — слабых душ мученья —
Не знал раскаянья и сожаленья.
Он рано поседел. В лице худом
Явилась бледность. Дерзкое презренье
Одно осталось в взоре огневом,
И речь его, сквозь уст едва раскрытых,
Была полна насмешек ядовитых.

1841, август—ноябрь(?)

* * *

Когда тревогою бесплодной
Моя душа утомлена,
И я брожу в тоске холодной,
И жизнь мне кажется скучна,
И мне случится ненарочно
Увидеть, как в беспечном сне
Лежит младенец непорочный,

Как ангел божий, — легче мне.
Гляжу я долго на ребенка:
Как хорошо, невинно он
Раскинул ножки и ручонки!
Какой он грезит светлый сон!
Легко улыбка сохранилась
На чуть растворенных устах,
И тихо мать над ним склонилась
С такою нежностью в очах...
Мне легче, да! и в умиленьи
Я так глубоко верю вновь,
Что на земле есть наслажденье,
Есть чистота и есть любовь.

1841, 3 декабря

* * *

Тебе я счастья не давал довольно,
Во многом я тебя не понимал,
И мучил я тебя и сам страдал...
Теперь я еду, друг мой! сердцу больно:
И я с слезой скажу тебе — прощай!
Никто тебя так не любил глубоко...
И я молю тебя: ты вспоминай
Меня, мой друг, без желчи, без упрека,
Минутам скорбным ты забвенье дай,
И помни лишь, что я любил глубоко,
И с грустию сказал тебе — прощай!
Теперь блуждать в стране я стану дальной..
Мне тяжело. Еще лета мои
Так молоды; но в жизни я печальной
Растратил много веры и любви.
Живу я большей частью одиноко,
Все сам в себе. Но ты не забывай,
Что я, мой друг, тебя любил глубоко,
И с грустию сказал тебе — прощай!..

1841, 5 декабря

LE CAUCHEMAR[1]

Мой друг! меня уж несколько ночей
Преследует какой-то сон тревожный;
Встает пред взором внутренним очей
Насмешливо и злобно призрак ложный,
И смутно так все в голове моей,
Душа болит, едва дышать мне можно,
И стынет кровь во мне... Хочу я встать,
И головы не в силах приподнять.

То Фауст вдруг, бессменною тоской,
Желаньем и сомнением убитой,
Идет ко мне задумчивой стопой
С погубленной, безумной Маргаритой;
И Мефистофель тут; на них рукой
Он кажет мне с улыбкой ядовитой,
Другую руку мне кладет на грудь,
Я трепещу и не могу дохнуть.

Потом я вдруг Манфредом увлечен;
Тащит меня, твердя о преступленьи,
Которому давно напрасно он
У бога и чертей просил забвенья...
Уж вот на край я бездны приведен,
Стремглав мы вниз летим — и нет спасенья...
Я замираю, и по телу лед
С губительным стремлением идет.

Но вдруг стоит принц Гамлет предо мной,
Стоит и хохотом смеется диким...
Безумный, нерешительный герой
Не мог любить, ни мстить, ни быть великим, —
И говорит, что точно я такой,
С характером таким же бледноликим...
И я мечтой в прошедших днях ношусь,
И сам себе так гадок становлюсь...

Насилу сон слетел с тяжелых век!..
Я Байрона и Гете начитался,
И мне дался Шекспиров человек —

---

[1] Кошмар (франц.)

И только! .. В жизни ж я и не сближался
С их лицами, да и не сближусь ввек. ..
Но холод долго в теле разливался,
И долго я еще не мог вздохнуть,
И в темные углы не смел взглянуть. . .

1841, 6 декабря

ПОЭЗИЯ

Когда сижу я ночью одиноко
И образы святые в тишине
Так из души я вывожу глубоко,
И звонкий стих звучит чудесно мне, —

Я счастлив! Мне уж никого не надо.
Весь мир во мне! Создание души
Самой душе есть лучшая отрада.
И так его лелею я в тиши...

И вижу я тогда, как дерзновенно,
Исполнен мыслью, дивный Прометей
Унес с небес богов огонь священный
И в тишине творит своих людей...

1841, 14 декабря

ТОСКА

Дайте же звуки мне, звуки тревожные,
Сделайте так, чтоб расплакался я!
Разве не видите, люди холодные, —
Жаркие слезы нужны для меня.

Слезы ль те будут — мольбы, умиления,
Страсти тоскующей, полной огня,
Или страдания, или стремления, —
Сделайте так, чтоб расплакался я!

Если вы видите, люди холодные,
Если действительно вы мне друзья, —
Дайте же звуки мне, звуки тревожные,
Сделайте так, чтоб расплакался я!

1841, 14 декабря

ДОРОГА

Тускло месяц дальной
Светит сквозь тумана,
И лежит печально
Снежная поляна.

Белые с морозу
Вдоль пути рядами
Тянутся березы
С голыми сучками.

Тройка мчится лихо,
Колокольчик звонок;
Напевает тихо
Мой ямщик спросонок.

Я в кибитке валкой
Еду да тоскую:
Скучно мне да жалко
Сторону родную.

1841, 15 декабря

КАБАК

Выпьем, что ли, Ваня,
С холода да с горя;
Говорят, что пьяным
По колено море.
У Антона дочь-то —
Девка молодая:
Очи голубые,
Славная такая!
Да богат он, Ваня!
Наотрез откажет.
Ведь сгоришь с стыда, брат,
Как на дверь укажет.
Что я ей за пара? —
Скверная избушка! . .
А оброк-то, Ваня?
А кормить старушку?

Выпьем, что ли, с горя!
Эх, брат! да едва ли
Бедному за чаркой
Позабыть печали!

1841, 15 декабря

GASTHAUS ZUR STADT ROM[1]

Луна печально мне в окно
Сквозь серых туч едва сияла,
Уж было в городе темно,
Пустая улица молчала —
Как будто вымерли давно
Все люди... Церковь лишь стояла
В средине площади одна,
Столетней жизнию полна.

Свеча горела предо мной.
Исполнен внутренним страданьем,
Без сна сидел я в час ночной,
Сидел, томим воспоминаньем
И беспредметною тоской,
И безотчетливым желаньем,
И сердце ныло, а слеза
Не выступала на глаза.

Но вот коснулись до меня
Из комнаты соседней звуки:
Как вихрь по клавишам, звеня,
Тревожно пронеслися руки;
Потом аккорды слышал я,
И женский голос, полный муки,
Любви тоскующей души,
Мне зазвучал в ночной тиши.

«Qual cuor tradisti!»[2] Кто же мог
Встревожить женщину обманом?

---

[1] Гостиница «Рим» (нем.).
[2] «Какое сердце ты предал!» (итал.)

Кто душу светлую облек
Тоски безвыходной туманом?
Любовь проснулась на упрек,
И совесть встала великаном,
Но слишком поздно он узнал,
Какое сердце разорвал.

Любовь проходит — и темно
Становится в душе безродной;
Былое будишь — спит оно,
Как вялый труп в земле холодной,
И сожаленье нам одно
Дано с небес, как дар бесплодный...
Но смолкла песнь; они потом
Иную песнь поют вдвоем.

И в этой песне дышит вновь
Души невинной умиленье,
И сердца юного любовь,
И сердца юного стремленье;
Не бурно в жилах бьется кровь,
Но только тихое томленье
От полноты вздымает грудь,
И сладко хочется вздохнуть.

Я им внимаю в тишине —
Они поют, а сердцу больно;
Они поют мне о весне,
Как птички в небе — звучно, вольно, —
И хорошо их слушать мне,
А все ж страдаю я невольно;
Их песнь светла, в ней вера есть, —
Мне сердца ран не перечесть.

Они счастливы, боже мой!
Кто вы, мои певцы, — не знаю,
Но с наслажденьем и тоской
Я, странник грустный, вам внимаю.
Блаженствуйте! Я со слезой
Вас в тишине благословляю!
Любите вечно! Жизнь в любви —
Блаженный сон, друзья мои.

Живите мало! Странно вам?
Ромео умер, с ним Джульетта;
Шекспир знал жизнь, как бог, — мы снам
Роскошно верим в юны лета,
Но сухость жизнь наводит нам.
Да мимо йдет чаша эта,
Где сожаленье и тоска,
И грустный холод старика!

Блаженны те, что в утре дней
В последнем замерли лобзаньи,
В тени развесистых ветвей,
Под вечер майский, при журчаньи
Бегущих вод, — и соловей
Им пел надгробное рыданье,
А ворон тронуть их не смел
И робко мимо пролетел.

1841, 15—16 декабря

* * *

Туман упал на снег полей,
И утро дышит холодно,
И в небе солнце без лучей
Стоит, как бледное пятно.

И горе страннику, чей взор
Не видит дале — близорук! —
И чьи уста твердят укор,
Кто духом пал под ношей мук.

Но верю я, что там лежит
Безбрежно-тихий, теплый край,
Где солнце яркое блестит,
Цветет и дышит вечный май.

Сквозь мглу унылую смотрю, —
Душе ясна иная даль,
И бога я благодарю
И за туман и за печаль.

1841, 21 декабря

* * *

Как звук, замолкнувший бесследно,
Как пробежавшая струя,
Огонь, потухший, вспыхнув бледно,
Исчезнет жизнь моя.

Но звук исполнен был стремленья,
Кипела волею струя,
В огне мелькнуло вдохновенье, —
И вот что жизнь моя!..

1841, 22 декабря

ВСТРЕЧА

Друзья они смолоду были,
Но рано расстались они,
И встретились после случайно
Чрез долгие годы и дни.

И как же они удивились!
Уж лицы наморщены их,
И головы были седые,
И сгорблены спины у них.

Старик старику подал руку
И молча смотрел — и никто
Из них не сказал, сколько было
Им внутренних бурь прожито.

1841

МЛАДЕНЕЦ

Сидела мать у колыбели;
Дитя спало, но в странном сне:
Его уста уж не алели,
А будто улыбались мне.
Свеча бросала отблеск бледный,
Ребенок бледен был лицом.

Я думал: спи, малютка бедный,
Пока ты с горем незнаком.

Придет пора — и вспыхнут страсти,
В сомненьях истомится ум,
И станет рваться грудь на части,
И лоб наморщится от дум;
И, может быть, среди обмана,
Надежд напрасных и сует
Ты пожалеешь слишком рано
О том, что был рожден на свет.

И я на мать взглянул уныло —
Увидел слезы на глазах,
Лицо ее так грустно было,
Так много скорби на устах.
Я подошел: передо мною
Лежало мертвое дитя,
А мать качала головою —
И в холод бросило меня...

1841

МНОГО ГРУСТИ!

Природа зноем дня утомлена
И просит вечера скорей у бога,
И вечер встретит с радостью она,
Но в этой радости как грусти много!

И тот, кому уж жизнь давно скучна,
Он просит старости скорей у бога,
И смерть ему на радость суждена,
Но в этой радости так грусти много!

А я и молод, жизнь моя полна,
На радость мне любовь дана от бога,
И песнь моя на радость мне дана,
Но в этой радости как грусти много!

<1841>

ПОЛДЕНЬ

Полуднем жарким ухожу я
На отдых праздный в темный лес
И там ложусь, и все гляжу я
Между вершин на даль небес.
И бесконечно тонут взоры
В их отдаленьи голубом;
А лес шумит себе кругом,
И в нем ведутся разговоры:
Щебечет птица, жук жужжит,
И лист засохший шелестит,
На хворост падая случайно, —
И звуки все так полны тайной...
В то время странным чувством мне
Всю душу сладостно объемлет;
Теряясь в синей вышине,
Она лесному гулу внемлет
И в забытьи каком-то дремлет.

<1841>

ЗВУКИ

Как дорожу я прекрасным мгновеньем!
Музыкой вдруг наполняется слух,
Звуки несутся с каким-то стремленьем,
Звуки откуда-то льются вокруг.
Сердце за ними стремится тревожно,
Хочет за ними куда-то лететь...
В эти минуты растаять бы можно,
В эти минуты легко умереть.

<1841>

ВЕЧЕР

Когда настанет вечер ясный,
Люблю на берегу пруда
Смотреть, как гаснет день прекрасный
И загорается звезда,

Как ласточка, неуловимо
По лону вод скользя крылом,
Несется быстро, быстро мимо —
И исчезает... Смутным сном
Тогда душа полна бывает —
Ей как-то грустно и легко,
Воспоминанье увлекает
Ее куда-то далеко.
Мне грезятся иные годы,
Такой же вечер у пруда,
И тихо дремлющие воды,
И одинокая звезда,
И ласточка — и все, что было,
Что сладко сердце разбудило
И промелькнуло навсегда.

<1841>

ПРОМЕТЕЙ

Прочь, коршун! больно! Подлый раб,
Палач Зевеса!.. О, когда б
Мне эти цепи не мешали,
Как беспощадно б руки сжали
Тебя за горло! Но без сил,
К скале прикованный, без воли,
Я грудь мою тебе открыл
И каждый миг кричу от боли,
И замираю каждый миг...
На мой безумно-жалкий крик
Проснулся отголосок дальний,
И ветер жалобно завыл
И прочь рванулся что есть сил,
И закачался лес печальный;
Испуга барс не превозмог —
Сверкая желтыми глазами,
Он в чащу кинулся прыжками;
Туман седой на горы лег,
И море дальнее, о скалы
Дробяся, глухо застонало...
Один спокоен царь небес —
Ничем не тронулся Зевес!

Завистник! он забыть не может,
Что я творец, что он моих
Созданий ввек не уничтожит;
Что я с небес его для них
Унес огонь неугасимый...
Ну что же, бог неумолимый,
Ну, мучь меня! Еще ко мне
Пошли хоть двадцать птиц голодных,
Неутомимых, безотходных,
Чтоб рвали сердце мне оне, —
А все ж людей я создал! — Твердый,
Смеясь над злобою твоей,
Смотрю я, непокорный, гордый,
На красоту моих людей.
О, хорошо их сотворил я,
Во всем подобными себе:
Огонь небесный в них вселил я
С враждою вечною к тебе,
С гордыней вольною Титана
И непокорностью судьбе.

Рви, коршун, глубже в сердце рану,
Она Зевесу лишь позор!
Мой крик пронзительный — укор
Родит в душах моих созданий;
За дар томительный страданий
Дойдут проклятья до небес —
К тебе, завистливый Зевес!
А я, на вечное мученье
Тобой прикованный к скале,
Найду повсюду сожаленье,
Найду любовь по всей земле,
И в людях, гордый сам собою,
Я наругаюсь над тобою!

<1841>

ТАНТАЛ

Вокруг меня журчит струя,
Но до воды хочу лишь я
Коснуться жаркими устами —

Она уж льется прочь волнами;
С дерев прибережных ко мне
С плодами ветви гнутся, гнутся,
Но лишь хочу сорвать — оне
Вдруг зашумят и разогнутся,
И, насмехаясь в вышине,
Плоды далеко остаются.
И страшным голодом томим,
И страшной жаждою палим,
Дышу тревожно я, дыханье
Мое — огонь, внутри горит,
Гортань суха, тоска томит,
И даже слез нет на страданье!

О! если бы когда-нибудь
С своих высот взглянули боги —
Как у меня ввалилась грудь,
Как исхудали руки, ноги,
Наруже ребры, желчина
Покрыла впалые ланиты,
Глаза безумные открыты,
Ни день, ни ночь не зная сна, —
Им стало б жаль... Но, без вниманья
К моей страдальческой судьбе,
Они едят и пьют себе,
Всегда довольны, без желанья.

А я томлюся день и ночь
И мук не в силах превозмочь,
И в ваш Олимп недостижимый
Проклятье, боги, вам я шлю
За голод мой неутолимый,
За жажду вечную мою!
За то, что вы всегда в покое,
И что мученье — жизнь моя,
И, наконец, проклятье вдвое
За то, что все ж бессмертен я!

1841(?)

ФАНТАЗИЯ

Свеча горит. Печальным полусветом
Лучи блуждают по стене пустой
Иль бродят по задумчивым портретам.
Закрыл я книгу. С буквою немой
Расстался наконец. Что толку в этом?
Душа бежит учености сухой.
Теперь хочу роскошных наслаждений,
И наяву я жажду сновидений.

Какой-то звук, то робкий, то мятежный,
В ночи звучит; я музыкою полн,
Я весь в мелодии теряюсь нежной...
Мне грезится: качаясь, легкий челн
Меня влечет, шумит тростник прибрежный,
И звучен плеск в реке бегущих волн,
Мне с берегов цветы благоухают,
Сквозь тонкий пар с небес луна сияет.

Вот предо мной во мгле лежит Верона...
Чуть дышит воздух теплый, ночь пышна,
Джульетты голос слышен мне с балкона...
Ребенок страстный — вся любовь она.
Но кто поет? Ты ль это, Дездемона?
Как песнь твоя мечтательно-грустна!
Душа полна любви, полна желаний,
И с уст невинных жажду я лобзаний.

Я забываюсь в сладком усыпленьи,
И тени милые передо мной
В причудливом несутся сновиденьи.
Я счастлив, я блаженствую душой...
Но будит вдруг внезапное волненье, —
Еще ловлю я сон прекрасный мой,
Душа грустит, стремяся и желая,
Трещит свеча, печально догорая...

<1841>

К <Е. В. САЛИАС>

Вы были девочкой, а я
Уж юношей. Так мы расстались;
С тех пор и молодость моя
И ваше детство миновались.
И вот опять я встретил вас...
Ну, что ж вы делали? как жили?
Не скроете — из ваших глаз
Я узнаю, что вы любили,
Что с сердцем страсть была дружна
И познакомилось страданье,
И жизнь, быть может, лишена
Давно для вас очарованья...
Не правда ль, страшно схоронить
Любовь, которой сердце жило,
И пошло, холодно забыть
И страсть, и грусть, и все, что мило?
Еще страшней сказать себе,
Что все проходит непременно,
Что в человеческой судьбе
Так надо, так обыкновенно...
Но вы, признайтесь, — вам ведь жаль
Души прошедшую печаль?

1839—1841(?)

ДРУЗЬЯМ

Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем,
Мы в жизнь вошли с неробкою душой,
С желаньем истины, добра желаньем,
С любовью, с поэтической мечтой,
И с жизнью рано мы в борьбу вступили,
И юных сил мы в битве не щадили.

Но мы вокруг не встретили участья,
И лучшие надежды и мечты,
Как листья средь осеннего ненастья,
Попадали и сухи и желты, —
И грустно мы остались между нами,
Сплетяся дружно голыми ветвями.

И на кладбище стали мы похожи:
Мы много чувств, и образов, и дум
В душе глубоко погребли... И что же?
Упрек ли небу скажет дерзкий ум?
К чему упрек?.. Смиренье в душу вложим
И в ней затворимся — без желчи, если можем.

Начало 1840-х

* * *

Что мне в сей жизни скучной?
Я лучше же уйду,
У лошади подручной
Взяв тонкую узду.
Не хуже подседельной
Она меня домчит
Туда, где неподдельно
Сияет жар ланит;
Где дева — coeli lumen [1] —
Невинностью дыша,
Точь-в-точь святой игумен,
Не любит антраша;
Бежит от шума света,
Одну любовь любя,
Огнем души согрета,
Живет внутри себя,
И чувствует оттуда,
Что пуст залог небес,
И путь укажет чуда
В безвестный край чудес.

Начало 1840-х (?)

НА СОН ГРЯДУЩИЙ

Ночная тьма безмолвие приносит
И к отдыху зовет меня.
Пора, пора! покоя тело просит,
Душа устала в вихре дня.

[1] Небесное светило (лат.).

Молю тебя пред сном грядущим, боже:
Дай людям мир; благослови
Младенца сон, и нищенское ложе,
И слезы тихие любви!
Прости греху, на жгучее страданье
Успокоительно дохни,
И все твои печальные созданья
Хоть сновиденьем обмани!

Начало 1840-х (?)

ХАНДРА

Бывают дни, когда душа пуста:
Ни мыслей нет, ни чувств, молчат уста,
Равно печаль и радости постылы,
И в теле лень, и двигаться нет силы.
Напрасно ищешь, чем бы ум занять, —
Противно видеть, слышать, понимать,
И только бесконечно давит скука,
И кажется, что жить — такая мука!
Куда бежать? чем облегчить бы грудь?
Вот ночи ждешь — в постель! скорей заснуть!
И хорошо, что стало все беззвучно...
А сон нейдет, а тьма томит докучно!

Начало 1840-х

* * *

Вечер. Улица близ дома Маргариты.
Мефистофель и Фауст.

Фауст

Да, я люблю! О, дивное созданье! —
Ты обещался мне ее достать, —
Держи же слово... и без отлаганья.
Ступай!.. Постой!.. Еще забыл сказать:
Хочу, чтобы она меня любила,
Душой любила б, поняла б меня,
Чтоб сердцу девушки доступно было
Все, чем страдаю, наслаждаюсь я.

Я думал: все равно, во что б ни стало,
Пусть будь она глупа, была б моя...
Ошибся! Этого теперь мне мало,
К союзу душ теперь стремлюся я.

Мефистофель

И прав Мефисто! Кто сказал тогда же,
Что невозможно девочке простой
Дать наслажденье Фаусту?— Все я же,
Твой верный друг, слуга покорный твой.
Я говорил: ей надо воспитанье;
Глупа — что делать — поискать другой.
А ты в ответ мне, будто в посмеянье,
Сказал: «Годится так!» Нет, доктор мой,
Я прав! Возьми ее на испытанье.

Фауст

Да, да! Родную душу надо мне.
В ее глазах есть ум, я это видел;
Ее возвышу я — и в тишине,
Отбросив все, что в жизни ненавидел,
Всю прозу мелкой, пошлой суеты
И черствый сор всех докторских занятий,
Я с ней войду в прекрасный мир мечты,
Забудусь в роскоши ее объятий.

Мефистофель

Пора! Ее пойду я поучать,
Как две души живут в соединеньи.

Фауст

Как! Ты ее мне хочешь воспитать?
Да разве черту дам я позволенье?
Ты — женщину учить! Чему же ты
Ее научишь, гнусное созданье!
Ты черств и жестк. Весь мир твоей мечты
Есть формула сухая, без желанья
Прекрасного. Не надо тут тебя,
Ты математик славный, и не боле...
Лишь я ее возвышу до себя.

Мефистофель

Ученый друг мой, это в вашей воле.
Вот она.

Гретхен

(тихо проходит и поет)

Увидала, полюбила,
Полюбила всей душой;
Глаз с него я не сводила
И все шепотом твердила:
Как хорош ты, милый мой!

Как хорош ты, я сказала,
Не рассталась бы с тобой,
Все тебя бы я ласкала,
Для тебя бы потеряла
Сердца юного покой...

Фауст

Он здесь, твой друг!

Гретхен

Ах! это вы...

Фауст

Дитя!
Звала меня, пришел я — испугалась.

Гретхен

О нет!

Фауст

Мой милый друг, люблю тебя!
С тех пор как ты со мною не видалась,
Я думал о тебе; хотел взглянуть
На милый стан, на глазки голубые,
На плечике главою отдохнуть,
Лобзать тихонько кудри шелковые.

Гретхен

Ты сладко говоришь. Но вы, друг мой,
Мужчины — вы всегда так говорите, —

Соскучились — и ищете другой
Любви, а ту и знать уж не хотите.

Фауст

Тебя ль любить мне перестать!
Да я дышу тобой,
И целый мир готов отдать
За поцелуй я твой!

Гретхен

О! Если б так и в самом деле было,
Тебе я верю, Гейнрих, как дитя.

Мефистофель

Я жду. Что ж, ваше докторство, забыли,
Что вы учить хотели не шутя.
Вы целоваться, нежничать готовы,
Вводить же в мир возвышенной мечты
В помине нет, о нем уж и ни слова.
О! Поцелуй земной, как силен ты!

Фауст

Сейчас, сейчас, сопутник мой докучный,
Я не забыл. Всего нельзя же вдруг.

(Маргарите)

Мне тесен город стал пустой и скучный,
Куда-нибудь мы удалимся, друг.
Пойдем туда, на берег синя моря,
На солнце взглянем там в вечерний час
И взором погуляем на просторе,
И говор волн пусть услаждает нас.
Душа в мечтах далеко унесется,
И на высокое стремленье нам
Торжественно природа отзовется.
Я брошу книги. Вагнеру я сдам
Занятье скучное — перед толпою
Учеников понятий строгий ряд
Вытягивать с бездушной пустотою,
Рядить их в схоластический наряд.
Лазурь небес да очи голубые,
Живую жизнь в природе и любви —
Вот я чего хочу. Часы такие —
Пусть будут лучшие часы мои.

Гретхен

Уехать, Гейнрих, хочешь ты со мною?
Изволь... да разве здесь не хорошо для нас?
У дома сядем вечерком с тобою,
Я стану прясть, и то-то в поздний час
Наговоримся мы, о друг мой милый,
Так просто и доверчиво, — а там
Придет соседка Марта. Все, что было
Поутру в городе, расскажет нам.
Здесь славно! Здесь по праздникам гулянье:
Народу сколько! Мы туда пойдем с тобой.

Мефистофель

Ученье плохо, доктор.

Фауст

(Маргарите)

Но желанье
Обнять прекрасный мир живой душой, —
Ужели ты его не понимаешь?

Гретхен

Конечно, друг мой, хорошо оно.
Учился много ты и много знаешь,
Как богом в мире все сотворено,
Как все живет и с целью создавалось
Какой — все знаешь ты. А мне где знать!
Я в простоте родилась, воспиталась...
Любить я знаю, знаю целовать.

Фауст

Целуй меня, ребенок мой прелестный!
К чему высокопарная мечта,
Когда нашел я этот взор небесный,
Младые перси, свежие уста?
К твоей груди усталой головою
Прижмуся я, и весь я буду твой,
И скажет только тихий вздох порою
Тебе, что сталося с моей душой.
Твой близок дом. Веди меня скорее;
Там мирный уголок готов для нас...

Шепчи ты мне — люблю, целуй жарчее,
И я весь мир забуду в этот час.

(Уходит с Маргаритой)

Мефистофель
(один)

Влюблен! — Она его не понимает.
Ах, бедный доктор! а помочь нельзя.
Но поздно! уж смеркаться начинает,
Пойду за ведьмой волочиться я.

Начало 1840-х

* * *

Когда среди людей стою я одинок
И взор нечаянно встречает в их собраньи
Красавицу — едва раскрывшийся цветок,
Грацьозно-легкое, роскошное созданье, —

Мне вдруг становится так страшно за нее!
Я думаю — как локон русый поседеет,
Чело наморщится, согнется стан ее,
Померкнет ясный взор и жизнь оцепенеет...

И мало ли с чего нам можно постареть!
Есть тайная тоска, с нее стареют рано;
И мало ли с чего нам можно умереть,
Есть скорби тайные, с них умирают рано.

1842, 8—9 января

АМЕРИКА

Среди океана
Лежала страна,
И были спокойны
Ее племена.
Под небом лазурным
Там пальмы росли
На почве обильной,
Прекрасной земли.

Беспечны и вольны
Там были отцы,
И жены, и дети,
И мужи-бойцы.
Пришли европейцы:
Земля им нужна —
И стали туземные
Гнать племена.
И всех истребили, —
Последний бежал,
В лесах проскитался,
Без вести пропал.
Нет даже преданий!
Прошло время то,
И как оно жило —
Не знает никто.
И знаем мы только:
Теперь его нет!
Зачем оно было?
Кто даст мне ответ?

1842, 14—15 января

* * *

Я помню хорошо, как ты была мила,
В платочке красненьком и темносинем платье;
Ты улыбалась мне, к себе меня звала —
От жизни отдохнуть средь теплого объятья.
И, на плечо к тебе склоняся головой,
Я взял и жарко целовал твой локон темный,
От счастья грудь теснилася; — а ты, друг мой,
Смотрела долго на меня с любовью томной.

1842, 14—15 января

СОСЕДКЕ

В деревне, в мирном уголке,
Я помню, в детстве мы играли
В саду весною на песке,
По вечерам осенним — в зале.

Меня в столицу увезли;
Я вырос — вы большие тоже,
Но вы в деревне расцвели
На бледный цвет полей похоже.
Я не забочусь о себе —
Нет нужды, что б со мной ни сталось;
Но в вашей будущей судьбе
Прочесть страницу бы желалось.
Что? Влюблены вы или нет?
Мечтаете ли ночью звездной?
Иль без любви, не зная свет,
Взросли вы барышней уездной,
И просто надо наконец
Вам замуж — и без нежной страсти
Вы побредете под венец,
Покорны папенькиной власти?
Гадали ль вы про женихов?
Кто ж вышел? Тот ли, сердцу близкий,
Или сосед, что любит псов,
Плечами дюжий, ростом низкий?
Да в нашей грустной стороне —
Скажите — что ж и делать боле,
Как не хозяйничать жене,
А мужу с псами ездить в поле!

1842, 12 февраля

* * *

Я помню робкое желанье,
Тоску, сжигающую кровь,
Я помню ласки и признанье,
Я помню слезы и любовь.

Шло время — ласки были реже,
И высох слез поток живой,
И только оставались те же
Желанья с прежнею тоской.

Просило сердце впечатлений,
И теплых слез просило вновь,

И новых ласк, и вдохновений,
Просило новую любовь.

Пришла пора — прошло желанье,
И в сердце стало холодно,
И на одно воспоминанье
Трепещет горестно оно.

1842, 24 февраля

* * *

Небо да море. Волна за волной
Плещет в разгульном стремленьи
Звучно и вольно, и чужд им покой, —
Вечно немолчно движенье.
Кажется, море бездонно глубоко.
Взоры над морем уходят далеко.

Быстро корабль мой несется стрелой,
Парус вздувается белый;
Вот и навстречу корабль нам другой
Ветру противится смело.
Добрый же путь вам к родимому краю!
Кланяйтесь дома, а я уезжаю.

1842, июнь(?)

НА МОРЕ

Бутылка выпита до дна —
    Ее я брошу в море,
И долго будет плыть она
    С волной в бессильном споре.
А может быть, когда-нибудь
    Попутный вал повалит,
Она, свершая дальний путь,
    К родным брегам причалит;
К ней склонится знакомый лик
    И взор знакомый взглянет,
И сердце близкое в тот миг
    О страннике вспомянет.

1842, июнь(?)

ИСПОВЕДЬ

Мой друг, тебе хотел бы я
Сказать, что душу мучит;
Я знаю, исповедь моя
Тебе ведь не наскучит.
Да только лишь сказать хочу,
Как вдруг в лице я вспыхну,
Займется дух, и я молчу
И головой поникну.
А все бы я сказал тебе:
Люблю иль ненавижу,
Как я не верую судьбе,
Как мало в жизни вижу;
Да стыдно жаловаться мне;
А в том, что как-то чудно
Живет в душевной глубине,
Мне высказаться трудно.

1842, июнь

* * *

Гуляю я в великом божьем мире
И жадно впечатления ловлю,
И все они волнуют грудь мою,
И струны откликаются на лире.
Взойдет ли день, засветит ли луна,
Иль птица в роще темной встрепенется,
Или промчится с ропотом волна, —
Мне весело и хорошо поется.

Я слушаю, уходят взоры вдаль,
И вдруг в душе встает воспоминанье,
И воскресает прежняя печаль,
И ноет сердце, полное страданья.
Взойдет ли день, засветит ли луна,
Иль птица в роще темной встрепенется,
Или промчится с ропотом волна, —
И грустно мне и хорошо поется.

1842, 10 июля

РЕЙН

Рейна широкого воды зеленые
Блещут в ночной тишине,
Светом задумчивым луны золоченные,
Льются и плещут оне.

Замков развалины, скалы пустынные
Дремлют в тумане ночном;
Веют таинственно саги старинные
В их запустеньи глухом.

Люди могучие, латы железные,
Копья, щиты и мечи,
Песни влюбленные, страстные, нежные
Тихо воскресли в ночи.

Слушаю, слушаю с тайным волнением...
Песнь Лорелеи слышна!
Вот на верху скалы светлым видением,
Вижу, явилась она.

Очи лазурные, русые волосы,
Лик, озаренный луной,
Звуки волшебные звонкого голоса
Страстно владеют душой.

Хочется броситься в волны мне шумные,
К ней я плыву и тону,
Гибну — и сладко мне, с негой безумною
Пью студеную волну.

1842, август

ЭМС

Горы спят под дымкой
Легкого тумана,
И волной ленивой
Звучно льется Лана.
Месяц лучезарный
Светит на вершины;

Тянутся безмолвно
    Темные долины.
В синеве небесной
    Звезды блещут ясно;
Ветер притаился,
    Ночь лежит безгласно.
Думы возникают,
    Да мольбы, да грезы;
На душе так полно,
    Что катятся слезы.

1842

ПУСТОЙ ДОМ

Стоит опустелый
Большой белый дом;
Давно жить не хочет
Никто уже в нем.
Все в доме безмолвно,
Пока длится день,
Но бродит там ночью
Тревожная тень.
Все темные залы
Обходит она,
И белая в мраке
Одежда видна.
В старинную спальню
Проходит потом:
Пред стертой иконой
Мгновенным огнем
Вспыхает лампада,
И видно, как там
Клочками обои
Висят по стенам.
Там брачное ложе
Осталось одно,
Над ним занавеска
Слиняла давно.
Садится на ложе
Под ветхую сень,

Садится и плачет
Печальная тень,
И русой косою
В безмолвьи ночей
Слезу утирает
С потухших очей.

Слыхал я о мертвой
От старых людей, —
С чего на том свете
Покоя нет ей;
Слыхал, кто жестоко
Ей жизнь отравил,
Кто даже поминок
По ней не творил.

1842

* * *

Он уж был испытан
    Жизнью да сомненьем,
Речь его дышала
    Злобой и презреньем.
Дева взор невинный,
    Светлая душою,
К небу устремила
    С тихою мольбою.
Он, скрестивши руки,
    Стал пред ней угрюмый
И глядел ей в очи,
    Полный горькой думой.

1842

ОЖИДАНИЕ

Открылась даль, заря зажглась,
    И море засверкало;
Свежа, как утро в ранний час,
    Она у вод стояла:

«Сегодня срок, сегодня срок!
Корабль уж, верно, недалек!»

А в полночь тучи нанеслись
  При вопле ветра диком,
И чайки серые взвились
  Над бурным морем с криком.
Волна кипит, волна шумит...
«О, да господь его хранит!»

Но снова буря улеглась,
  Затихло море снова,
И вечер ясный мирно гас
  На ткани бирюзовой.
Белелся парус рыбарей...
«Мой милый друг! скорей! скорей!»

Но вот звезда уже видна
  И море темно стало;
Как ночь безлунная грустна,
  Она у вод стояла.
Не видно вдаль, волна растет...
«Корабль сегодня не придет!..»

1842

ОБЫКНОВЕННАЯ ПОВЕСТЬ

Была чудесная весна!
Они на берегу сидели —
Река была тиха, ясна,
Вставало солнце, птички пели;
Тянулся за рекою дол,
Спокойно, пышно зеленея;
Вблизи шиповник алый цвел,
Стояла темных лип аллея.

Была чудесная весна!
Они на берегу сидели —
Во цвете лет была она,
Его усы едва чернели.
О, если б кто увидел их
Тогда, при утренней их встрече,

И лица б высмотрел у них
Или подслушал бы их речи —
Как был бы мил ему язык,
Язык любви первоначальной!
Он верно б сам, на этот миг,
Расцвел на дне души печальной!..
Я в свете встретил их потом:
Она была женой другого,
Он был женат, и о былом
В помине не было ни слова;
На лицах виден был покой,
Их жизнь текла светло и ровно,
Они, встречаясь меж собой,
Могли смеяться хладнокровно...
А там, по берегу реки,
Где цвел тогда шиповник алый,
Одни простые рыбаки
Ходили к лодке обветшалой
И пели песни — и темно
Осталось, для людей закрыто,
Что было там говорено,
И сколько было позабыто.

<1842>

* * *

Она никогда его не любила,
А он ее втайне любил;
Но он о любви не выронил слова:
В себе ее свято хранил.

И в церкви с другим она обвенчалась;
Попрежнему вхож он был в дом,
И молча в лицо глядел ей украдкой,
И долго томился потом.

Она умерла. И днем он и ночью
Все к ней на могилу ходил;
Она никогда его не любила,
А он о ней память любил.

<1842>

ИЗБА

Небо в час дозора
    Обходя, луна
Светит сквозь узора
    Мерзлого окна.

Вечер зимний длится;
    Дедушка в избе
На печи ложится,
    И уж спит себе.

Помоляся богу,
    Улеглася мать;
Дети понемногу
    Стали засыпать.

Только за работой
    Молодая дочь
Борется с дремотой
    Во всю долгу ночь,

И лучина бледно
    Перед ней горит.
Все в избушке бедной
    Тишиной томит;

Лишь звучит докучно
    Болтовня одна
Прялки однозвучной
    Да веретена.

<1842>

ДИЛИЖАНС

Уж смерклося почти, когда мы сели,
И различить моих соседей я
Совсем не мог. Они еще шумели,
Беседою несносною меня
Терзали. Все мне так ужасно были
Противны. Треск колес и глупый звук
Бича мне слух докучливо томили.

Печально в угол я прилег. Но вдруг
Из хижин к нам на миг блеснули свечи —
Я женщину увидел близ меня:
Мантильей черной покрывая плечи,
Она сидела, голову склоня;
Глаза ее горели грустью томной,
И бледен был печальный лик ея,
И из-под шляпки вился локон темный...
Какое сходство, боже! Грудь моя
Стеснилась, холод обдал тайный...
Опять оно, виденье давних дней,
Передо мной воскресло так случайно!
И я с нее не мог свести очей;
Сквозь тьму глядя на лик едва заметный,
Тревожно жизнь мою я повторял,
И снова был я молод, и приветно
Кругом с улыбкой божий мир взирал,
И я любил так полно и глубоко...
О, как же я был счастлив в этот раз!
И я желал, чтоб нам еще далеко,
Далеко было ехать; чтобы нас
Без отдыха везла, везла карета,
И не имел бы этот путь конца,
И лучшие я пережил бы лета,
Смотря на очерк этого лица!

<1842>

* * *

К подъезду! — Сильно за звонок рванул я —
Что, дома? — Быстро я взбежал наверх.
Уже ее я не видал лет десять;
Как хороша она была тогда!
Вхожу. Но в комнате все дышит скукой,
И плющ завял, и сторы спущены.
Вот у окна, безмолвно за газетой,
Сидит какой-то толстый господин.
Мы поклонились. Это муж. Как дурен!
Широкое и глупое лицо.

В углу сидит на креслах длинных кто-то,
В подушки утонув. Смотрю — не верю!
Она — вот эта тень полуживая?
А есть еще прекрасные черты!
Она мне тихо машет: «Подойдите!
Садитесь! рада я вам, старый друг!»
Рука как желтый воск, чуть внятен голос,
Взор мутен. Сердце сжалось у меня.
«Меня теперь вы, верно, не узнали...
Да — я больна; но это все пройдет:
Весной поеду непременно в Ниццу».
Что отвечать? Нельзя же показать,
Что слезы хлынули к глазам от сердца,
А слово так и мрет на языке.
Муж улыбнулся, что я так неловок.
Какую-то я пошлость ей сказал
И вышел. Трудно было оставаться —
Поехал. Мокрый снег мне бил в лицо,
И небо было тускло...

<1842>

* * *

Когда встречаются со мной
Под парчевою пеленой
И с упряжью печальной дроги,
А мне нельзя свернуть с дороги, —
Мне мысль о смерти тяжела.
Не то чтоб жизнь была мила;
Жить скучно — горе да сомненье,
Беда извне, внутри мученье, —
Да вот, когда воображу,
Что мертвый я в гробу лежу,
Что крышкою его накрыли
И в крышку гвозди вколотили,
И в землю гроб спустили мой,
Да и засыпали землей, —
Душе обидно так и больно,
И тело дрожь берет невольно.

<1842>

* * *

На севере туманном и печальном
Стремлюся я к роскошным берегам
Иной страны — она на юге дальном.
Лечу чрез степь к знакомым мне горам —
На них заря блестит лучом прощальным;
Я дале к югу — наконец я там,
И, нежась, взор гуляет на просторе,
И Средиземное шумит и плещет море.

Италия! опять твой полдень жаркий,
Опять твой темносиний небосклон,
И ропот волн немолчный, блеск их яркий,
При лунной ночи пахнущий лимон,
Рыбак на море тихом с утлой баркой,
И черный локон смуглолицых жен.
И всё там страсть, да песни, да картины,
Да Рима старого роскошные руины.

В Италии брожу и вновь тоскую:
Мне хочется опять к моим снегам,
Послушать песню грустную, родную,
Лететь на тройке вихрем по степям,
С друзьями выпить чашу круговую,
Да поболтать по длинным вечерам,
Увидеть взор спокойный, русый локон,
Да небо серое сквозь полумерзлых окон.

<1842>

ВЕСНА

Еще лежит, белеясь средь полей,
Последний снег и постепенно тает,
И в полдень яркий солнце вызывает
Понежиться в тепле своих лучей.
Весною пахнет. Тело лень объемлет,
И голова и кружится и дремлет.
Люблю я этот переход: живешь
Как накануне праздника и ждешь,
Как колокол пробудит гул далекой,

Народ пойдет по улице широкой,
И будет радость общая — и крик,
И песни не умолкнут ни на миг.

И жду я праздника: вот снег сольется,
Проглянет травка нежным стебельком,
И ласточка, щебеча, принесется
В гнездо, свитое над моим окном
Давным-давно... Я птичку каждый год
Встречаю; спрашиваю: где летала?
Кто любовался ей? какой народ?
Не в стороне ль прекрасной побывала,
Где небо ясно, вечная весна,
Где море плещет, искрясь и синея,
И лавров гордых тянется аллея?
Далекая, волшебная страна!

И жду я праздника. На ветке гибкой
Лист задрожит, и будет шумен лес,
Запахнет ландыш у корней древес;
И будет утро с светлою улыбкой
Вставать прохладно, будет жарок день
И ясен вечер; и ночная тень
Когда наляжет, — будет месяц томный
Гулять спокойно по лазури темной;
Над озером прозрачный пар взойдет,
И соловей до утра пропоет.

И я пойду на берег одиноко,
Сквозь говора кочующей волны
Рыбачью песнь услышу издалека,
И время вспомню я другой весны...
Наполнит душу смутное томленье,
И встанут вновь забытые виденья.

<1842>

В АЛЬБОМ

Хотя живу я и давно,
Душа привычке непослушна
С людьми встречаться холодно́
И расставаться равнодушно.

Я имя темное в альбом
И грустный стих вам на прощанье
Пишу, чтобы оставить в нем
Вам о себе воспоминанье.

В часы надменной суеты,
В часы тщеславного веселья
Альбома этого листы
Вы не тревожьте от безделья.

И не ищите строк моих —
Они покажутся вам скучны;
Вы взор уроните на них
И отведете равнодушно.

Но если будет грустно вам,
Тогда альбом вы разверните,
Рукой тревожною вы там
Страницу эту отыщите,

И на печальный ваш призыв,
На голос тайного недуга
Найдете вы себе отзыв
И теплое участье друга.

<1842>

РАЗОРВАННОСТЬ

Я много думал — и постиг,
Что божий мир спокоен, ясен,
Что в жизни каждый миг прекрасен,
Что в жизни каждый миг велик;
Но тихо шепчет возраженье
Души невольное мученье!
И тщетно примиряет ум
Противуречия без счету.
Тяжел вседневной жизни шум,
Сухая, мелкая забота;
Душа не знает, что просить,
И вся она полна желаньем,

И разума с своим страданьем
Ей никогда не примирить.
Спокоен ум, а сердцу больно,
В груди огонь и кровь кипит,
И слезы катятся невольно —
Тоска томит, тоска томит!..
Ты рвешься ль к небу пламенея,
Земных ли благ желать готов —
Все злобный коршун Прометея
Вонзает в сердце жадный клёв.

1841—1842(?)

<Т. Н. ГРАНОВСКОМУ>

Твое печальное посланье
Я принял к сердцу, и опять
В святую даль воспоминанья
Я взором начал проникать, —
И стало грустно! Сквозь тумана
Безмолвно прошлое встает;
Больней и глубже сердце жжет
Незатворяемая рана!..
Зачем же скорбь, когда в былом
Так много счастливых мгновений,
И светлых лиц так много в нем,
И задушевных впечатлений,
И свежей жизнь блестит красой —
Цветок под утренней росой?

Иль только знаем в горькой думе
О прошлом мы, что нет его,
Что жизнь все гаже и угрюмей,
И впредь не видим ничего?
Иль всё теперь иначе мерим,
И в прежнем счастьи, горе тож,
Обидную мы видим ложь
И даже прошлому не верим? —
Мечтаний тщетных грустный ряд,
Надежды, полные измены,
Да скорбных несколько утрат,
Которым больше нет замены, —

Ужель из странствия сего
И все тут — больше ничего?

Ужель и вправду нам осталось
Одно лишь только, чтоб душа
Im Allgemeinen[1] затерялась,
Для жизни личной не дыша?
Чтоб мы бежали ежедневно
От наших чувств, от наших грез,
Воспоминаний или слез,
Ото всего, что задушевно, —
Затем, что стали мы стары
В том, что нам лично, жить устали,
И нас болезненной хандры
Волнуют смутные печали?
Да уж и самый общий мир
Не есть ли с жизнью ложный мир?

Не может быть, — мы юны вечно,
И о былом твоя тоска
Не есть нисколько знак предтечный
Увядшей жизни старика.
Нет! скорбь над тяжкою утратой,
О прошлом чувстве, прежних днях, —
Она любовь у нас в душах
К тому, что в жизни было свято.
Когда же значила любовь
Не юность сердца? Из страданий
Для нас спокойно встанет вновь
Чреда надежд и упований!
Мой друг, поверь, они не лгут, —
Нас много светлых ждет минут.

Но ты, в столице философской
Учившись с молодых годов,
Отрекся, может быть, Грановский,
От дидактических стихов.
Прости мне их! Я в поученьи
Хотел утешить лишь тебя,

[1] Во всеобщем (нем.).

Как утешаю сам себя
Среди тяжелого волненья.
Я, может, прав, — да дело в том,
Что жизнь-то мучит, и жалеешь
Невольно пуще о былом,
Его болезненно лелеешь,
Как мать безумная в слезах
С младенцем мертвым на руках.

Но мне-то что ж тужить так много
О прежнем? Светлого найти
Что я, скажи мне, ради бога,
Могу на пройденном пути?
Что? Дружбу?.. Но она есть вечность;
Она была, она и есть,
И не пройдет. Мы вместе несть
Должны всю жизни бесконечность.
Еще я тихим был дитей,
Когда она меня сыскала,
Взяла доверчивой рукой
И приютила, приласкала,
И первый симпатии миг
Навек всю жизнь мою проник.

Из всех же тех, что смертью взяты,
Я только матери моей
Глубоко чувствую утрату,
Хотя не знал ее. Но в ней
Привык я видеть, будто свыше
Мне кто-то смотрит в жизни путь,
И как-то легче дышит грудь,
И скорби делаются тише.
Привык я с мыслию о ней
Соединять еще мечтанье,
Что за пределом жизни сей
Нам будет новое свиданье...
Оно, быть может, неумно,
Да так мне чувствовать дано.

Воспоминанье жизни дальной
Не о любви ль мне шлет печаль,

И стало череды печальной
Ошибок глупых сердцу жаль?
Но укорять себя в забвеньи,
Будить отжившую мечту
И видеть прошлых чувств тщету —
Все это, друг мой, оскорбленье.
Кто виноват? Я ль не обрел
Того, чего искал так нежно?
Иль ветрен был и только шел
За ложью прихоти мятежной?
Ужель во мне лишь пышет кровь
И недоступна мне любовь?

О нет! Ошибки, увлеченье —
Во мне не легкий пыл в крови,
Но задушевное стремленье,
Потребность истинной любви.
Что ж делать?.. Жаль! Случайно рану
То в жизни сердцу нанесло,
Что жизни быть венцом могло...
Но верить я не перестану!
То было суждено судьбой,
Смешно роптанье и бесплодно!
А все же к двери гробовой
Я не приду с душой холодной,
Сомненьям уха не склоню
И веру гордо сохраню.

Но пусть случайных оскорблений
Молчит болезненный язык, —
Уж наших светлых отношений
Им не один отравлен миг.
Мне в жизни жаль святых мгновений,
Когда проснулись все мечты,
Так простодушны, так чисты,
Полны надежд и убеждений!
Мне жалко радости былой
И даже прошлых жаль страданий,
Знакомых мест, любимых мной,
И наших кунцевских скитаний,
Да жаль еще мне новых грез
Под склоном трепетных берез.

Все это, друг мой, продолжая,
Хоть ad absurdum, [1] — наконец,
Я пожалею, умирая,
Что нашей жизни есть конец.
Пусть я брожу как бы усталый,
Пусть мучусь вечною тоской,
Пусть для забвения, друг мой,
Я упиваюся марсалой;
Но я теперь попал на след
И то скажу, что уж уныло
Сказал любимый наш поэт:
Все, что пройдет, то будет мило!
Я в этом тайны, наконец,
Иной не вижу, мой мудрец!

С благоговейною слезою
Благословим мы, что прошло,
И перед урной гробовою
Преклоним скорбное чело;
Но нам не надо падать духом,
Не надо веры в жизнь терять,
И глас грядущего внимать
Доверчивым должны мы слухом.
Пускай печали иль порок
Нам душу ржавчиной покрыли,
Пусть сожаленье иль упрек
Нас долго внутренно томили;
Но, духа вечного сыны,
Всегда воскреснуть мы властны.

Еще на счастье в жизни личной
Надежд я светлых не терял
И на него в хандре привычной
Я прав моих не отдавал.
Придет ли с свежею улыбкой
Оно когда навстречу мне,
Иль я признаюсь в тишине,
Что только был знаком с ошибкой?
Все это случай мне решит.

---

[1] До абсурда (лат.).

Быть может, жизнь мою тревожа,
Судьба мне бедствие сулит;
Но будет смерть моя похожа
На ясный вечер после гроз,
Улыбку мирную сквозь слез.

За стихотворное посланье
Меня, Грановский, не брани
И рифм плохое сочетанье
Ты терпеливо извини.
Мне нужен стих, когда тревожно
Пишу я робкие листы
Туда, куда меня мечты
Влекут мучительно и ложно.
Мне также нужен стих к тебе:
Душевный мир и сердца муки
В твоей душе нашли себе
Так странно родственные звуки,
Как будто свыше нам одна
Обоим жизнь была дана.

Мы одинаково здоровы
И одинаково больны,
И оба жребием сурово
Одной хандрой наделены.
Я радостно в твоем посланьи
Прочел, что говорить со мной
Ты можешь только, да с женой,
О тайном внутреннем страданьи.
Одно, что я в себе ценю,
Основу дружбы вашей вижу
(Хоть слабость глупую мою
Всегда бесплодно ненавижу):
То женски-тихий, нежный нрав.
Не знаю, прав я иль неправ?

Одно пристрастье я с тобою
Питаю к Пушкину. И что ж?
С его больною стороною
Мы, может, дружны? Он похож
На нас болезненно. А может,
К нему у нас пристрастья нет,

А просто ни один поэт
Души так верно не тревожит.
Ведь не болезнь его печаль,
И порицать мы станем ныне —
Из современности — едва ль,
Что находили в нем святыней,
Чем наслаждались мы в тиши —
И грусть и свет его души!

А Таня! Милое созданье,
Поэта лучший идеал,
Не раз ему в пустом блужданьи
Я воплощения искал, —
Так он мне близок! Но, признаться,
Я идеалов всех моих —
Хоть не могу отстать от них —
А стал ужасно как бояться.
Дано в числе мне божьих кар
То, что я вместе стар и молод,
Что сохранил я юный жар,
А жизнь навеяла мне холод...
Еще довольно скорби даст
Мне сей безвыходный контраст!

Как я живой бы речи снова
Хотел из уст твоих внимать
(Которые, чтоб молвить слово,
Ты странно любишь раскрывать)!
При этом я желал бы кстати
Созвучьем усладить хандру,
Тебя за чаем поутру
Заставши в ваточном халате.
Твоих волос увидеть тож
Хочу я грустное спаданье
(В чем на меня ты не похож,
И, несмотря на все старанье,
И сколько ты ни берегись,
Как Боткин, скоро будешь лыс).

Однако вижу — ямб усталый
Уж начинает, боже мой!

В строфе натянутой и вялой
Хромать измученной ногой.
Но я желаю на прощанье
Еще размеренной строкой
Тебя прижать к груди, друг мой,
И скорбно молвить: до свиданья!
Прощай! Ну! Кланяйся жене,
Будь здрав, не пьянствуй слишком много
И, вспоминая обо мне,
Суди меня не слишком строго,
Но, полный мира и любви,
Мой трудный путь благослови.

1843, 6 апреля

КРЕЙЦНАХ. 8 АВГУСТА

(Брату Сатину)

Вчера на горе мы два друга блуждали,
Блуждали в полуночный час;
Зеленые дубы уныло шептали,
Качая ветвями вкруг нас.

Внизу под туманом, ложася широко,
Долина при бледной луне
Дремала спокойно, а волны потока
Шумели в ночной тишине.

Вчера на горе мы два друга блуждали,
Блуждали в полуночный час,
И сердца надежды и сердца печали
Таилися в каждом из нас.

Под дуб одинокий тревожно мы сели
И долго молчали в тиши,
И долго промолвить уста не хотели
Святыню и скорби души.

Друг друга невольно к груди мы прижали,
И канули слезы из глаз,

И стало нам легче, и все мы сказали,
Что на сердце было у нас.

Какие нас в жизни ни встретили б грозы,
Мы врозь или вместе пойдем, —
Слова задушевные, теплые слезы
Мы вспомним и легче вздохнем.

И было так тихо душе и глубоко,
Как шли мы домой при луне...
А дуб все шептал, и волны потока
Шумели в ночной тишине.

1843, 9 августа

БАРОНУ

Глядит на Рейн сквозь облака луна,
Акации вкруг нас трепещут дико...
У нас вино из замка Меттерниха,
Огня струя янтарная полна,
И от нее чудесный запах веет.
Мой друг, она нам душу отогреет,

С ней легче нам. Средь поздней тишины
По Рейну в даль безбрежный тонут взоры,
К устам живей теснятся разговоры.
Что на сердце? Грядущего ли сны?
Блаженства ль нас тревожит ожиданье?
Или кого зовет воспоминанье?

Да! Сердце жадно просится к друзьям.
Барон! тебя зовет воспоминанье,
С тобой делить желали б ликованье...
Ты как-то так явился живо нам
С твоею желчью благородно-гневной
И нежностью во глубине душевной.

Почти стакан последний поглощен,
Еще три капли в нем на дне блистали:

Мы с ними слезы дружние смешали,
Тебе во здравье выпили, барон!
Барон! Нам счастья мало, много муки,
И крепко мы друг другу сжали руки.

1843, 12 августа

ПАУК

Я проснулся, а солнце в окно мне давно уж светило,
Ярким лучом на тепло изменив холод трепетной ночи.
А окно мне искусный паук затянул паутиной:
Начал с того, что крест-накрест он нитки провел из углов;
После провел между ними другие он нитки вкруг центра;
После дальше и дальше от центра меж ними все плел он,
Правильный сплел наконец он в окне моем
многоугольник.
В угол сам притаился, мохнатые высунув лапки,
Мухи неопытной с жадностью дикой и злой поджидая.
Блестками солнце играло по тонкой его паутине;
Я же смотрел, удивляяся силе таинственной жизни.

1843

* * *

Длинный день проходит вяло,
Скучны люди, жизнь узка,
И живет в душе усталой
Беспокойная тоска.

Но опять полно стремленья
Сердце в поздней тишине,
И желанное виденье
Предстает в блаженном сне.

А наутро все пропало,
Скучны люди, жизнь узка,
И опять в душе усталой
Беспокойная тоска.

1843

МИННЕЗИНГЕР

Нет у певца страны родной,
Из края в край далекой
Он с арфой звонкой за спиной
Блуждает одиноко.
Нет встреч отрадных для него
И горькой нет разлуки;
Но в глубине души его
Всё сны, да сны, да звуки.

Но в сердце, как святыню, он
Чудесный образ носит,
И тщетно и безумно он
Любви и счастья просит.
Из глубины души его
Встают и сны и звуки,
И песня звонкая его
Полна любви и муки.

1843

* * *

Тускло сквозь сереньких тучек
Месяц глядит с небес,
Тянется возле дороги
Длинный еловый лес.

Снег навалился на ветви,
Мрак в глубине лесной;
Кони мои приустали,
Дремлет ямщик седой.

Помню, давно я здесь ехал
В светлой ночной тиши,
Ехал я к близким мне людям,
Пел соловей в глуши.

1843

* * *

Стучу — мне двери отпер ключник старый.
Я знал, что нет хозяйки, что давно
Она уже уехала далеко
И странствует теперь под небом чуждым;
Но мне на дом хотелось посмотреть.
Как все знакомо! Зала длинная,
Где поздним вечером, при слабом свете,
Какие-то таинственные тени
Уныло бродят; кабинет безмолвный,
Где часто мы вдвоем сидели близко...
Я молча темным локоном играл
Иль говорил, что было на душе,
А на душе тогда так было полно!
И всё на том же месте, как и было:
Диван в углу, перед камином кресло,
Цветы на окнах, на стенах портреты,
А на столе развернутая книга.
Я взял и пыль с нее обтер рукой,
Скамейку шитую толкнул к дивану
И у окна гардину белую
Расправил. Солнце зимнее светило
Печально... Уходя, спросил я: есть ли
Оттуда письма? — Нет-с, не получаем. —
Она меня теперь забыла, верно;
А я? — и у меня любви нет в сердце,
Одно воспоминанье!

<1843>

AURORA-WALZER[1]

В моей глуши однообразной,
С незримых струн легко звеня,
Напев знакомый безотвязно
Весь день преследует меня.

Не будит он в воспоминаньи
Ни томный блеск лазурных глаз,

---

[1] Вальс «Аврора» (нем.).

Ни час блаженного свиданья,
Или разлуки скорбный час.

Под звук его, главой усталой
Склоняся, снов я не видал,
И, мчась безумно в вихре бала,
Я ручки беленькой не жал;

Но странным полон он томленьем,
Но им душа увлечена,
И вдаль с мучительным стремленьем
За ним уносится она.

<1843>

ПРОЩАНИЕ С ИТАЛИЕЙ

На море тихое ложится мрак ночной,
И небо синее усеялось звездами;
Шумит колесами и пену под собой
Взбивает пароход, качаясь над водами;
За ним волна, кипя, бежит двумя браздами
И вьется черный дым густою полосой,
И чайка поздняя вкруг мачты с криком вьется,
А море звучное чуть плещется и льется.

На палубе умолк докучный разговор,
Товарищей моих в каютах сон объемлет;
У борта я один. Печально ищет взор
Знакомой стороны, где дальний берег дремлет;
Но песен рыбака уже мой слух не внемлет.
Едва чернеется цепь отдаленных гор,
Как смутная черта... она исчезнет вскоре,
И только небеса останутся да море.

Италия, мне жаль твоих роскошных стран!
Картины дальние еще воспоминанье
Рисует тихо мне. То, сквозь ночной туман,
В Сорренто веет мне садов благоуханье,
То Рима предо мной унылая Кампанья
И лица строгие надменных поселян;

То слышен весел плеск, и дожей дом угрюмый
Наводит на душу таинственные думы.

Но я бегу от вас, волшебные места!
Еще в ушах моих все звуки южных песен,
Но жизнь людей твоих, Италия, пуста!
В них дух состарелся, и мир твой стал мне тесен:
Везде развалина немая, смерть да плесень!
Лепечут о былом бессмысленно уста,
А головы людей в тяжелом сне повисли...
Теперь бегу искать движенья новой мысли.

И примет странника иная сторона,
Где жизнью все кипит и в людях дышит сила,
И труд приносит плод, и нива их пышна,
И ясно разум их наука озарила,
И жажда в каждом есть, чтоб всем им лучше было.
Туда, мой пароход! Но вот уже луна
Взошла над влажною пустынею печально —
Прощай, Италия! исчез твой берег дальной...

И все ж мне жаль тебя! Любил я созерцать
Тебя, как мертвую красавицу влюбленный:
И взор уже потух, и краски не видать,
А роскошь веет с уст в улыбке сохраненной,
И будто то не смерть, а час покоя сонный,
И негу, кажется, объятья могут дать
Еще так сладостно, томительно, тревожно,
Что, миг проживши в них, и умереть бы можно.

Италия! не раз хотеться будет мне
Вновь видеть яркость дня и синей ночи тени,
Забыться и забыть в прозрачной тишине
И старость детскую заглохших поколений,
И скорбь моей души, усталой от волнений.
Прощай! да берег твой почиет в мирном сне,
Меж тем как ухожу я в путь мой бесконечный
Среди бродячих волн и дум, не спящих вечно!

1843(?)

* * *

Печальный мученик сомненья,
Печальный мученик страстей,
Томимый жаждой наслажденья
И тщетным сном любви моей,
Уеду я — но в миг прощальный,
Колено робко преклоня,
Молю тебя — ты в час печальный,
Мой друг, не проклинай меня:

Как ветр удушливый пустыни,
Твою я душу охватил,
И, может быть, надолго ныне
И много в ней я умертвил.
Но я молю — в часы страданья,
Вражды печальной не храня,
Не проклинай в воспоминаньи,
Но со слезой прости меня...

Ведь я страдаю... — Но, быть может,
К тебе придут блаженства дни,
Воскреснув, сердце горе сложит, —
Меня с любовью помяни.
И если я в изнеможеньи
Приду, уныние храня,
Всё те ж в душе тая мученья,
Молю — не оттолкни меня!..

Но, будто ангел безмятежный,
На миг подай душе покой
И освежи участьем нежным...
И снова в путь помчусь я мой.

<Не окончено>

1843(?)

К <М. Л. ОГАРЕВОЙ>

Расстались мы — то, может, нужно,
То, может, должно было нам, —
Уж мы давно не делим дружно
Единой жизни пополам;

И, может, врозь нам будет можно
Еще с годами как-нибудь
Устроиться не так тревожно
И даже сердцем отдохнуть.

Я несть готов твои упреки,
Хотя и жгут они, как яд.
Конечно, я имел пороки,
Конечно, в многом виноват;

Но было время — ведь я верил,
Ведь я любил, быть счастлив мог,
Я будущность широко мерил,
Мой мир был полон и глубок!

Но замер он среди печали;
И кто из нас виновен в том,
Какое дело — ты ли, я ли, —
Его назад мы не вернем.

Еще слезу зовет с ресницы,
И холодом сжимает грудь
О прошлом мысль, как у гробницы,
Где в муках детский век потух.

Закрыта книга — наша повесть
Прочлась до крайнего листа;
Но не смутят укором совесть
Тебе отнюдь мои уста.

Благодарю за те мгновенья,
Когда я верил и любил;
Я не дал только б им забвенья,
А горечь радостно б забыл.

О, я не враг тебе... Дай руку!
Прощай! Не дай тебе знать бог
Ни пустоты душевной муку,
Ни заблуждения тревог...

Прощай! на жизнь, быть может, взглянем
Еще с улыбкой мы не раз,
И с миром оба да помянем
Друг друга мы в последний час.

Конец 1844

BUCH DER LIEBE[1]

«Du Tohr, du Tohr! du prahlender Tohr!
Du kummergequälter!»

Heine[2]

ОТРЫВКИ ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

I

Как все чудесно, стройно в вас —
Ваш русый локон, лик ваш нежный,
Покой и томность серых глаз
И роскошь поступи небрежной!
Увидя вас, конечно б мог
Любить вас тот, чья мысль далеко
От страсти знойной и тревог,
Кто любит тихо и глубоко.
Он, в созерцанье погружась,
От вас отвесть не мог бы взора...
Но страшно мне глядеть на вас!
Завесть не смею разговора:
Боюсь узнать, что вы пусты,
Что вы ничтожной суетою
В холодном сердце заняты;
Боюсь я в памяти с собою
Унесть прекрасные черты
С сухой и мелкою душою.

1841, зима

---

[1] Книга любви (нем.).
[2] Ты глупец, ты глупец, ты хвастливый глупец!
Горем замученный! *Гейне* (нем.).

II

Прощайте! В сердце это слово
Теперь мне врезано одно,
Едва ли не приучит снова
Мои глаза к слезам оно.

Я вашу беленькую руку
Тревожно вам сожму рукой,
Но все ж вы не поймете муку,
Знакомую с моей душой.

И дай бог, чтоб всегда печали
Шли мимо вас бы далеко,
Чтоб всех вы весело встречали
И провожали бы легко.

Благодарю вас за участье,
Хотя и малое, ко мне,
При виде вашем знал я счастье
И наслаждался в тишине.

Я вас люблю! но не скажу вам
Ни слова про любовь мою,
И этих строк не покажу вам
И всё в себе я затаю.

К чему слова? Люблю я тщетно,
Любовь моя вам не нужна,
И лучше, если незаметна
Для вас останется она.

Вы будете моей мечтою...
И заплачу я в жизни сей
Моей безвыходной тоскою
За тщетный сон любви моей.

1841, март

III

Я поздно лег, усталый и больной,
Тревожимый моей печальной жизнью;
Но тихо сон сомкнул мои глаза...

И вот внезапно я себя увидел
Среди ее семьи. Кругом стола
Мы все в большой сидели зале,
Она сидела близ меня. Невольно
Встречались наши взоры; трепетно
Касалися друг друга наши руки.
Семья ее смотрела на меня
С учтивостью какою-то холодной.
Потом все уходили понемногу,
Я наконец остался с ней один.
И нежно мы глядели друг на друга.
Склонясь ко мне головкою, она
Сказала, что давно меня уж любит...
Я чувствовал, как по щеке моей
Скользит ее развитый мягкий локон,
Уста коснулись уст, мы обнялись
И плакали, блаженствуя в лобзаньи.
Потом опять мы оба чинно сели,
Пришли ее родные и на нас
Смотрели косо. Но что мог значить нам
Их скрытый гнев? Мы так глубоко жили
Всей бесконечной полнотой любви...
Проснулся я, и верить сну хотелось,
И рад я был, как глупое дитя,
И знал, что это невозможно...

1841

IV

По тряской мостовой я ехал молча,
Усталый от дневных забот и шума.
Мне день, утраченный в пустом чаду,
Холодным падал на душу упреком,
И ночь мне не была отрадна...
На месяц бледный облако нашло —
Он сквозь него просвечивал печально;
Пустые улицы безмолвны были,
И только пес с досадою впросонках
Навстречу мне сквозь зубы проворчал;
При повороте белый дом угрюмо
Ряд окон темных на меня уставил.

Знакомый дом! .. Но вот свеча блеснула
И в комнатах задвигалася тихо...
Я встрепенулся. Сердце билось сильно —
Я видел платье белое
И чей-то медленно идущий образ.
Свеча исчезла — я проехал мимо,
И тяжело мне было на душе.

1842, март

V

Уж было поздно. Надо было мне
Пускаться в дальний путь. А мы сидели
Еще вдвоем. Я с ней не мог расстаться;
Мне был еще так дорог каждый миг,
В который на нее глядеть я мог.
Ночное небо было в темных тучах,
И соловей в саду уныло пел.
Мне было грустно, и она печальна
Казалася. А я не смел сказать,
Как я люблю, как мне страшна разлука;
Не смел я верить, что меня ей жаль.
Но отчего ж тревожна и печальна
Она была? .. Уж не любовь ли это? ..
Не верю. Может быть, участье, дружба,
И только...

1842

VI

Вдали от вас я только тем живу,
Что брежу вами в снах и наяву.
Что вкруг меня — того как будто нет,
Всё призраки; действительность — мой бред,
И у меня всё вы перед глазами,
И долго, долго я любуюсь вами.

Мне кажется: наедине со мной
Сидите тихо вы, рука с рукой,
И так глубоко любите меня;
И русый локон ваш целую я,

И нежно ваши сладостные взоры
Ведут со мной немые разговоры.

Улыбка ваша, ваш спокойный лик!
Я забываюсь, созерцая их.
Тут мир блаженства, и я в нем
Тону душой, как в небе голубом,
Живу и гасну в этом сновиденьи,
И думать страшно мне о пробужденьи.

1842

VII

А вы меня забыли!.. Что вам я?
Вы не любили никогда меня...
Любили, может быть, как всех других,
За то, что я учтив, неглуп и тих,
Что с детства знали вы меня такого,
Что зла я вам не сделал никакого.

Быть может, вы теперь, в стране родной,
Окружены поклонников толпой;
Вам с ними весело, и вы, шутя,
Смеетесь с ними, резвы, как дитя...
Вам мил один из них, быть может...
И ревность робкая меня тревожит.

Я вечера того забыть не мог,
Когда, прижавшись молча в уголок,
Смотрел я, как, не отходя от вас,
Занятый разговором длинный час,
Стоял прекрасный юноша пред вами
С блестящими, орлиными очами.

Как в этот раз вы были хороши!
А я, бессмысленный, внутри души
Я ревность дикую едва таил,
И сам себе тогда смешон я был!
Я ревновал, меж тем как не дерзаю
Сказать вам, как люблю и как страдаю!

1842

VIII

А помните, как амазонкою вы смелой
Летели на коне... Я ехал возле вас...
Зеленый ваш вуаль порхал вкруг шляпки белой...
Но вот испуганный ваш конь, остановясь,
Вдруг кинулся назад. За вами поскакал я,
И бледен был как смерть, и в страхе весь дрожал я.

Вы тут любовь мою невольно увидали,
И в этот вечер стали вы со мной нежней,
И как-то ласковей вы на меня взирали.
Да! вы меня жалели!.. В комнате моей
Сырой был холод по ночам: вы это знали —
И вы укрыться мне свою мантилью дали.

О, как же я, нарядом странным облаченный,
Был счастлив и смешон! Как жарко целовал
Мантилью вашу я! Как я в ночи бессонной
Ее к груди моей безумно прижимал!
А к утру я заснул так сладко, так раздольно,
Как будто б ангел сон напел мне песней вольной.

1842

IX

Как часто я, измученный страданьем,
Любовь мою вам высказать хотел;
Но ваш покой смутить моим признаньем,
Благоговея, никогда не смел.

Не потому, чтобы оно невольно
Могло любовь вам в сердце заронить;
Но вы жалели б, вам бы стало больно,
Что вы меня не можете любить.

А втайне я желал, чтоб вы узнали,
Чего-то ждал, чему-то верил я;
И тешила надежда сквозь печали
Обманчивой улыбкою меня.

1842

X

А часто не хотел себе я верить,
Хотел не верить, что я вас люблю.
Я думал: если искренно проверить
Всю жизнь прошедшую мою —

Ведь я уже не раз любил, — и что же?
Горела, гасла, длилась, гасла вновь,
На сны в ночи бродячие похоже,
Моя тревожная любовь.

И к вам любовь, быть может, так же точно
Фантазии недолговечный плод,
В душе возникнув как-то ненарочно,
Меня помучит и пройдет.

Так я, глупец, напрасным утешеньем
Хочу добыть обманчивый покой,
Но сердце не знакомится с забвеньем
И не расходится с тоской.

Бывало, я, в ребяческой отваге,
Мечты любви стихам вверять желал,
Но был ленив, — теперь же от бумаги
Пера бы я не оторвал.

Теперь же, только лишь тогда дышу я,
Тогда лишь я могу существовать,
Когда страницы эти к вам пишу я,
Хотя вам ввек их не видать.

И не любил еще я так глубоко,
Как вот когда, с капризною враждой,
Томя меня любовью одинокой,
Судьба хохочет надо мной!

1842

XI

Я сóрвал ветку кипариса
С могилы женщины святой,
И слезы теплые лилися,
И дух исполнился мольбой.

И тень ее на помощь звал я,
И, изнывая в скорби, ей
Тревожно тайну поверял я
Любви тоскующей моей.

И, преклоняясь над могилой,
Молил, чтоб из страны иной
Мою любовь благословила
Она невидимой рукой.

И скорби сердца улеглися;
Я веры тайной полон был,
И тихо ветку кипариса
Я в книгу эту положил.

1842

XII

Пиза

Заснула Пиза в тишине ночной,
Но Арно в берег плещет, не смолкая;
Сквозь туч, едва озарена луной,
Стоит уныло башня городская,
Протяжным звоном каждый час считая...
Вдали гуляка позднею стопой,
Стуча о плиты в ходе торопливом,
Тревожит воздух оперным мотивом.

Как пусто, страшно в полуночный час...
О! если б знали вы — в минуты эти
Как я страдаю, думая о вас!
Как чувствую, что я один на свете!
Что отказала мне любовь в привете!
Что в жизни тщетной ни единый раз
Ошибкой не сойдет ко мне отрада
И мне отречься от блаженства надо!

А если бы меня любили вы —
Что мне тогда условий светских цепи,

Людей насмешки, глупый суд молвы,
Гнилой закон, что с каждым днем нелепей!
С собой я вас в мои увлек бы степи,
Которым, кроме неба синевы,
Иных границ еще не положили,
И беспредельно мы бы там любили.

1842, октябрь

XIII

Вы выросли, любя отца и мать,
Сестер и братьев, тихо и спокойно,
Без тяжких дум, без горя, без страстей;
Взошли вы в круг, где все условно, плоско,
Живому чувству проблеснуть нельзя.
Вам молодежь, за вами увиваясь,
Открыла тайну вашей красоты,
И зеркало вам рассказало то же —
И вы довольны были. Иногда
Казалось вам, что будто тот иль этот
Вам нравится. Но их любви язык —
Бездушный или детский лепет —
Не мог вам ни на миг дойти до сердца.
Так ваша жизнь все шла обыкновенно,
Привычной колеей, которая
Убита так, что ехать вечно гладко,
А я был вечный мученик всю жизнь.
Внутри себя безмолвно и угрюмо
Я думу каждую и каждую мечту
Тревожил день и ночь. В моем семействе
Мне было скучно. Дом мне был тюрьмой,
Где двери на замке держал обычай,
Приличие стояло на часах,
И был закон надсмотрщик престарелый.
И жил всегда я только сам в себе,
Как узники живут обыкновенно.
И вот во мне мучительно тогда
Возникла жажда знанья и блаженства,
И вместе с ней, как неразлучный друг,
Возникло бесконечное страданье.

Дало мне знанье силу отрицать,
Тревожную, мучительную силу;
Искание блаженства мне дало
Уверенность, что я его не знаю.
А между тем я в самом деле тих
И ясен, будто создан для блаженства;
Могу в себе носить святую жизнь,
Могу любить глубокою любовью.
Когда впервые я увидел вас,
Остановился я, и сердце билось,
И впал в раздумье я безмолвное:
Я чувствовал, что вы мое блаженство!
Ведь вы самих себя не знаете,
Вы с жизнью света свыклись поневоле;
Вам кажется, что роль красавицы
Играть вам надобно самолюбивой.
А между тем я видел вас тогда,
Когда прямое чувство пробуждалось
У вас в душе, иль рифма звонкая
Касалась вам до трепетного слуха;
И видел ваше я лицо, когда
Оно души глубокость выражало...
О! если бы меня любили вы,
Как мы могли бы счастливы быть оба!..
А вот вся жизнь моя разорвана...
За что? Зачем? За что вся эта кара?
Весь божий гнев на мне отяготел
И жизнь моя осуждена на муку?
Но я настолько понимаю жизнь,
Что эта мука есть мое блаженство.

1842

XIV

Залог блаженства в жизни скучной,
Залог спасения от мук,
Ношу с собой я безотлучно
Ваш дар, работу ваших рук.

Еще с собой ношу всегда я
Все те страницы, что ко мне

Шутя писали вы, не зная,
Как драгоценны мне оне.

Еще ношу я как святыню
Ваш образ в памяти моей
И оживляю им пустыню
Моих бесплодно-длинных дней.

1842, октябрь

XV

Флоренция

Я по Флоренции бродил печально,
По лестницам высоким я входил
В большие залы мраморных палаццов,
Где по стенам висели в ярких рамах
Картины вдохновенных мастеров.
И я смотрел и втайне все искал
Я вашего лица среди созданий,
Которые живут на полотне
Своей глубокой неподвижной жизнью.
Искал его средь ангелов святых,
Молящихся мадоннам Рафаэля;
Искал его я в нежных образах
Correggio и Andrea del Sarto, [1]
Искал в спокойных ликах Перуджини
И грустно вышел из старинных зал,
Не встретя вас среди толпы созданий.
И вот пошел бродить из храма в храм,
Искал везде с тоскою беспокойной,
Предчувствуя, что должен вас найти.
Взошел я в церковь dell'Annunziata. [2]
Налево вижу памятник надгробный:
Две женщины из мрамора сидят,
И их святой, молясь, благословляет.
Я побледнел и вспыхнул. Да! Одна
Из них на вас похожа. Та же тихость
Во всей ее прекрасной форме. Та же

---

[1] Корреджо и Андреа дель Сарто (итал.).
[2] Благовещения (итал.).

Безоблачность в ее лице спокойном
И та же нежность взора. Даже так
Она склонила голову, как вы.
Ее художник неизвестный создал!
Быть может, в мире я, как он, пройду —
Художник неизвестный — и, как он,
В душе я проношу чудесный образ,
И с ним умру и встану в жизни новой.
На женщину из мрамора глядел
Я долго в умилении безмолвном.
С тех пор я в церковь dell'Annunziata
Хожу, как на молитву, каждый день,
И там сажусь пред ликом мраморным,
И молча созерцаю в обожаньи.

1842, октябрь

XVI

Вчера я в церковь dell'Annunziata
Пришел. Была вечерняя молитва.
Монахи пели и гремел орган;
Под темным сводом звуки сотрясались
Таинственно. Толпились люди, тихо
И набожно колени преклоняя.
Я стал у ног знакомой статуи
И очи поднял к ней с любовью грустной.
Свет падал на нее задумчиво
Сквозь окон купола. Над ней носился
Дух божий в виде голубином.
И мне казалося, что кто-то свыше
Меня благословляет. Что хотел
В ней выразить художник неизвестный?
Не знаю. Ключ у ней в руке, у ног
Ее собачка с умным, добрым взглядом.
Казалось мне, собачка на меня
Смотрела будто с ласкою печальной.
Быть может, что она внутри меня
Любви читала повесть и жалела.
А статуя взирала только к небу.
Звала ль меня? Сулила ли блаженство,
Или меня заметить не хотела?..

Так вашей жизнью я одушевлял,
В безумии, немое изваянье;
Искал любви и знать судьбу хотел,
И горько насмехался над собою!
В то время девочка, ребенок милый,
Взошла и стала возле на ступени
И глазками невинными смотрела
На статую. А я благодарил
Внутри души прекрасного ребенка
За симпатию. После стал я долго,
Внимательно рассматривать лицо
И находить все, что на вас похоже
И что не так. И вы так живо, полно
В моем воображеньи создались,
Что я забылся, не хотел уйти...
Мне хорошо на этом месте было.
Но смолк орган, народ стал расходиться,
Действительность разрушила мой сон,
И медленно пошел я, скорбным взором
Со статуей прощаяся до завтра.

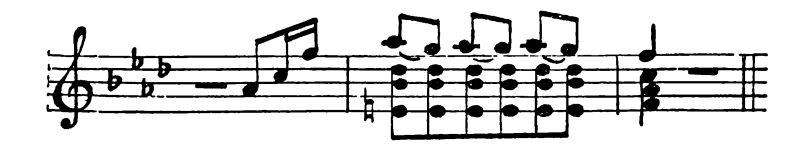
1842, октябрь

XVII

Любовь моя мне стала тайным светом
Души. Уж не враждую я ни с кем,
Людей встречаю с ласковым приветом,
Хотя мне их не надобно совсем;
На все смотрю я, все благословляя...
Две жизни разных я ношу в себе,
Моей любовью обе просветляя:
В одной я пошлину плачу́ судьбе
И людям жертвую самим собою
С участием... хоть тяжело оно;
Но, как ребенок, стал я добр душою
С тех пор, как в ней любовью все полно...
Зато в другой я жизни полон вами,
Зато в другой я вам принадлежу,
И счастлив, что духовными очами
На вас безмолвно, долго я гляжу.

1842, октябрь

XVIII



В тиши ночной аккорд печальный
Тревожит мир души моей,
Как будто отголосок дальный
Былого счастья, лучших дней.

Опять тоска, опять стремленье,
И страсть, и скорбь проснулась вновь,
Опять нет веры в сновиденья,
Опять мучительна любовь.

О, если б вам в отчизне дальной
Случайно как-нибудь, во сне,
Раздался мой аккорд печальный —
Вы вспомянули б обо мне.

И не любя, но сострадая,
Подумали б, как в поздний час,
Под скорбный звук изнемогая,
Я втайне думаю об вас.

1842, октябрь

XIX

Мне говорили, будто в сердце вы
Любви питать не можете нисколько,
Тщеславны, злы, кокетливы — и только.
Не спорил я. Что значит крик молвы?
Художник легкомысленный, холодный
Безумно пред картиною стоит
И вкривь и вкось порочит и бранит;
Но как ничтожен суд его бесплодный!

За то, что въ другой я сильнѣе плѣненъ вами,
За то, въ другой я вамъ принадлежу
И счастлива, что духовными очами
Не вору безмолвно долгу я желаю.

Въ тиши ночной аккордъ печальный
Тревожитъ миръ души моей,
Какъ будто отголосокъ дальній
Былого счастья, лучшихъ дней.

Опять тоска, опять стремленье,
И страсть, и скорбь проснулись вновь,
Опять поютъ восторги въ сновидѣнья,
Опять мучительна любовь.

О! если вамъ въ отчизнѣ дальней
Случайно какъ нибудь въ садъ
Раздастся мой аккордъ печальный —
Вы вспомните ль обо мнѣ.

И не любя, но сострадая
Подумайте, какъ въ поздній часъ,
Подъ скорбный звукъ изнемогая,
Я втайнѣ думаю о васъ.

Мнѣ говорили: будто въ сердцѣ вы
Любви питать не можете нисколько,
Тщеславны, злы, насмѣшливы и только
Не спорю я. Что значитъ крика молва?
Художникъ легкомысленный, холодный
Бездушно предъ картиною стоитъ
И вкривь вкось порочитъ и бранитъ;
Но какъ ничтоженъ судъ его безплодный!
А тотъ, кто взоромъ внутреннимъ души
Проникнулъ въ ней умомъ до сокровенной тайны,
Тотъ знаетъ вѣрно, знаетъ не случайно
Какъ всѣ черты въ созданьи хороши.
А я, хотя бъ сто голосовъ твердили
И въ уши мнѣ кричали судъ молвы,
Я знаю то, чѣмъ кажетесь вы
И знаю то, что вы на самомъ дѣлѣ.

А тот, кто взором внутренним души
Проникнуть в ней умел до жизни тайной,
Тот знает верно, знает не случайно,
Как все черты в созданьи хороши.
А я, хотя б сто голосов шумели
И в уши мне кричали суд молвы, —
Я знаю то, чем кажетеся вы,
И знаю то, что вы на самом деле.

1842, октябрь

XX

Я одарен способностью ужасной:
В то время как я жизнью поглощен,
В движеньи страстном ею увлечен,
Могу я видеть вещи холодно и ясно.
Я вижу, что любовь моя есть бред,
Который молодость мою погубит,
Что носит смерть в себе, кто тщетно любит,
Что в самом деле для меня блаженства нет.
Я вижу ход судьбы бесстрастной, ровной,
Причины, следствия — всё вижу я,
Как будто человек другой в меня
Взошел и судит безучастно, хладнокровно.
Он строг всегда и незнаком с ошибкой;
Страдаю ль я, иль счастлив, иль люблю —
Он в гордом знании на жизнь мою
Взирает с равнодушно-горькою улыбкой.
Когда блаженствую — он без участья,
С насмешкой говорит, что это бред;
Когда я чувствую, что счастья нет,
Он злобно мне твердит, что есть на свете счастье.

1842, октябрь

XXI

Мне говорят, что никогда вы не любили,
Но это ведь меня не может оскорбить.
Я про себя, когда мне это говорили,
Подумал: если б вы могли меня любить!

И мне сказали б ваше первое признанье,
И то была бы ваша первая любовь,
И мне б вы дали ваше первое лобзанье,
И жизнь мою, весну мою мне дали б вновь!..
А ведь во мне еще так юной жизни много...
Но делать нечего! пришлося тратить мне
Всю эту жизнь, бродя пустынною дорогой,
В бесплодных грезах и гнетущей тишине.

1842, октябрь

XXII

В моей комнатке тихо...
Сквозь решетки окна
Светом бледно-тревожным
Проникает луна.

В моей комнатке тихо...
Потухает камин,
Скорбно теплится свечка,
И сижу я один.

В моей комнатке тихо...
Но среди тайных грез,
Оживив, милый образ
Я в нее перенес.

1842, октябрь

XXIII

Вы дружбу мне хранить глубоко
Клялися, век не изменя.
О! если так — в стране далекой,
Молю вас, вспомните меня!

В часы унынья и страданья,
Печально голову склоня,
Как друга, полного вниманья,
Молю вас, вспомните меня!

В часы молитв и умиленья
Вы как заступница моя,
Как ангел, полный сожаленья,
Молю вас, вспомните меня.

1842, октябрь—ноябрь

XXIV

Два дня я не видал моей стату́и.
Флоренция уныла в эти два́ дня
Была. Над ней висели тучи. Арно,
Как желчный человек, все время злился,
И дождь все лил, и было холодно́.
Но вот опять настало воскресенье,
И солнце проглянуло. Стало сухо
На улицах. Привычною дорогой
Пошел я в церковь dell'Annunziata.
Опять орга́н играл. Моя стату́я
Казалася на вас еще похожей,
Глядела на меня точь-в-точь как вы.
О! этих у меня минут блаженных,
Минут безмолвного воспоминанья,
Никто отнять не может. Я украл их
У жизни, и с тех пор сносить мне легче
Мучения, которые она
Мне щедро расточает. — Но, должно быть,
Ужасно странно старику монаху
Меня всегда на том же месте видеть!
Он, верно, взор мой выследил уже
И рассердился, что хожу я в церковь
Не для молитвы, или — может быть,
Жалея, помолился за меня;
А может быть, он улыбнулся только,
Как человек, давно привыкший к жизни...
О! если б знали вы, как я могу
Любить и нежно и глубоко, — сами
Вы рады были бы любить меня.
Но я не смею высказать любви!
Я несколько могу украсть у жизни
Минут безмолвного воспоминанья —
И только...

1842, ноябрь

XXV

Сегодня колоколен звон печальный
Воспоминанье разбудил во мне
О близких сердцу, об отчизне дальной,
Ее великопостной тишине;
О людях мрачных, будто жить им мýка,
Об улицах, где тает желтый снег,
И всюду пустота, унынье, скука,
Туман и сырость — томен человек.
Я вспомнил, как мы с вами у камина
Сидели вечером... уже давно!
Но памяти не свеяла чужбина.
Чтó было в сердце — и теперь оно.
Еще я ночь храню в воспоминаньи
Христова воскресенья. В церкви вы
Тогда стояли в белом одеяньи,
С свечой в руке, средь набожной толпы;
Ваш ясный взор исполнен был покоя...
Вы как-то улыбнулися мне раз;
А я тогда, поодаль грустно стоя, —
Я вас любил и мог глядеть на вас.

1842, декабрь

XXVI

И год прошел, прошло и больше года...
Я вновь был с вами летнею порой;
Кругом цвела зеленая природа,
И вы дружней казалися со мной.

Да, дружбу вашу, может быть, в награду
Вы за любовь мне дали. Может быть,
Недаром вам старинную балладу
О рыцаре вдруг вздумалось твердить.
Тот рыцарь был в далекой Палестине,
Искал забвения сердечных ран;

Но сердце, верное своей святыне,
Von seinem Grame nicht genesen kann. [1]

---

[1] «Не может излечиться от своей тоски» (нем.).

И он оставил бой и Палестину
И, возвратяся, ждал, когда она
Окно растворит, взглянет на долину,
Как светлый ангел тишины полна!

Как рыцарь тот, и я теперь, блуждая,
Ищу забвения сердечных ран,
Но сердце, всё тоскуя и желая,
Von seinem Grame nicht genesen kann.

1842, декабрь

XXVII

Я новому искусству предался,
Исполненный надежды и отваги;
С благоговением чертить взялся
Карандашом я лица на бумаге.

Не знаю я, успею или нет.
Быть может, нет способности нимало;
А может, есть она! Но ваш портрет
Мне сделать надобно во что б ни стало.

А если мастером мне быть дано
И бросить кистью, свыше вдохновленной,
Живые образы на полотно —
Вы будете моей святой мадонной.

1842, декабрь

XXVIII

Труд не пропал, учился я не тщетно.
Ходил я в церковь dell'Annunziata
С моим maestro.[1] Там в благоговеньи
Я очерк написал моей статуи.
И он похож. Теперь я стану ночи
Просиживать перед моим рисунком
Или чертить с него другие лица,

[1] Учитель (итал.).

Все больше приближаясь к сходству с вами,
И наконец я воссоздам ваш образ.
Его поставлю я перед собою,
И поселится в комнате моей
Он как святыня. В ней тогда, как в храме,
Все тайною небесною задышит,
А я садиться стану перед ликом,
Безмолвно созерцая в обожаньи.

1842, декабрь

XXIX

Livorno

Livorno спит, озарено луною,
А я стою печально у окна;
Верхушки мачт мелькают за стеною,
Маяк горит. Там море! Там волна
Кочует вслед за дружнею волною...
Туда пущусь я завтра, и луна
Осветит бледно зыблемое лоно
С конца в конец далекий небосклона.

Но страх и скорбь в ночи меня тревожат.
Что, если вы не любите меня?
Что, если вы действительно, быть может,
Смеетесь надо мной, тогда как я
Любовью мучусь?..
И между тем как мчится жизнь моя
Мучительно в волнении бесплодном —
Гордитесь вы в тщеславии холодном.

А я, как Пигмальон, стою пред вами
И тщетно вас хочу одушевить...
Но нет! и тут я тешуся мечтами!
Но вы горды, я горд. Чтó может быть
Для вас с своими муками и снами
Моя ненужная любовь? Хранить
Ее я стану про себя, и только,
А вы и не заметите нисколько.

1842, конец декабря.

XXX

Рим

Я ночью подъезжал к святому граду,
О вас воспоминанием томим:
Так вот где жизнь давала вам отраду,
Вот он, любимый вами, старый Рим!
Я видел в полукруге колоннаду,
И храм и купол, скругленный над ним,
При свете лунном, в синей мгле тумана,
И слышал плеск я звучного фонтана.

Какими-то несбыточными снами
Душа исполнилась; казалось мне,
Что здесь могу бродить я вместе с вами
В тиши колонн, безмолвных при луне;
Фонтан журчит и искрится пред нами,
Темнеет купол в синей вышине;
А я гляжу при блеске лунной ночи
Вам в светлые, задумчивые очи.

Мне странным веет Рим воспоминаньем
О днях безвестных мне; душа моя
Так с вашим сблизилась существованьем,
Что вашу жизнь переживаю я.
В особый мир, как бы очарованьем,
От лиц окружных я унес себя;
Ничьими не проникнутый очами,
В прошедшем вашем все я вместе с вами.

Мы молимся мадоннам Ватикана,
Мы в Колизей идем, когда луна
Над ним восходит. Дома утром рано
Иль вечером стоим мы у окна;
Глядим на Тибр; за ним лежит поляна
И горы синие; его волна
У берега колышет челн забытой;
Пол-Рима в отблеске зари открыто.

Уста немы. В дали теряясь взором,
Мы чувствуем, что происходит в нас,
И говорим безмолвным разговором...

В моей душе то, что в душе у вас,
Родится разом; мысль в движеньи скором
Летит за вашей мыслью каждый раз,
И я люблю, блаженствую и плачу,
И жизнь в несбыточном мечтаньи трачу.

1843, январь

XXXI

Я взял коня и поскакал в Albano.
Там жили вы еще не так давно.
День ясен был, но злобный tramontano [1]
Мне дул в лицо, и было холоднó.
Вдали лежало море за поляной,
И в блеске дня сребрилося оно.
Нетерпеливо путь свершал я длинный...
Кругом задумчиво стояли пинны.

В Albano вы меня свезти просили
Знакомцу, другу вашему, поклон;
Он рад был, что его вы не забыли,
И встретился как друг со мною он,
И с ним об вас мы много говорили.
Он знает вас, как я; с любовью он
Ваш лик чудесный вспоминал со мною
И как вы нежны и светлы душою.

Давно я дня не проводил такого,
Давно мне не было кому сказать
Об вас из сердца вынутого слова...
Тут имя ваше мог я повторять
И слышать, как оно из уст другого
С участием произносилося опять...
О! верно вам откликнулися речи,
Об вас веденные при этой встрече.

Прощаясь, мы друг другу обещали
Не раз видаться. Тихо ехал я
В Castel-Gandolfo, где и вы бывали,
Быть может, часто: медленно бродя,

[1] Северный ветер (итал.).

Быть может, вы на озеро взирали,
На замок и на дальние поля,
И по дороге шли, где, зеленея,
Шумит дубов тенистая аллея.

Я в Рим вернулся поздно. Тёмно было.
Тянулись стогны в грустной тишине;
Свет фонарей по ним бродил уныло,
Но хорошо на сердце было мне;
Оно воспоминало и любило...
Я думал, что увижу вас во сне;
Но лег усталый; сон мне не приснился,
И я поутру грустно пробудился.

1843

XXXII

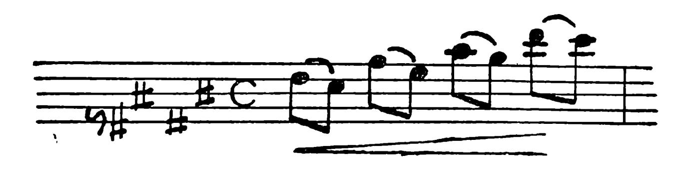
Я так давно не видел вас во сне,
Что это даже стало страшно мне.
Мы так давно расстались... может быть,
Вам удалось совсем меня забыть,
И вы не стали посещать меня;
А может, сам я, голову склоня
Под гнетом жизни, силу потерял,
Которой образ ваш я вызывал
В безмолвии ночей, пред каждым сном,
И был уверен видеть вас потом.
Смиренно стал тревожить я мольбой
Все силы тайные, что мы судьбой
Привыкли в смутной думе называть;
Но в них давно умел я разгадать
Жизнь мира, связь между людьми. Оне
Живут в нас и таинственно во сне
Людей выводят дальних, с жизнью чей
Сплелись мы сильно жизнию своей.
Мольбы остались тщетны — и не раз
Я думал, что с ума схожу подчас.
Вчера я слушать оперу ходил,
И весь я музыкой исполнен был.
А музыка — любовь, и в этот раз
Уверен был опять я видеть вас...

И снова посетили вы меня —
Хотя на миг и смутно... Помню я
Улыбку, полную любви... потом
Исчезли вы, как тень. Теперь в моем
Воспоминаньи этот сон живет,
Улыбка ваша из ума нейдет.
Вчера вы, верно, вспомнили меня,
Или ко мне писали... или я
Сегодня получу письмо от вас;
Я так давно его жду каждый час!
И, может быть, оно придет ко мне,
Как та улыбка светлая во сне.

Но я письма от вас не получил,
Но вы меня не вспомнили, быть может, —
И сон мой только бред горячки был,
Которая бесплодно дух тревожит.
О! если б знали вы, как жизнь моя
Проходит скорбно!.. Если бы вы знали,
Что чувство, мысль, любовь — все для меня
Источник нескончаемой печали!
Увидя, как мне трудно жизнь сносить,
Взглянув во мне на внутреннюю битву, —
Вы небу прошептали б, может быть,
Укор мятежный или робкую молитву.

1843

XXXIII



Вчера она пела, Клара Новелло,
И песнь ее звонко неслась.
За песней куда-то сердце летело,
И вздох прорывался не раз.

Влюбленные звуки, страстные звуки
  Так живо встревожили вновь
Желания сердца, полные муки,
  Стремленье, тоску и любовь.
Она улыбалась мило и нежно.
  Как поступь мила у нее!
Откинутый локон вьется небрежно
  Вкруг беленькой шейки ее.
Смотрел я и слушал, грудь изомлела,
  С ресницы слеза пролилась...
Мучительно сладко Клара Новелло
  Вчера мне напомнила вас.

1843, январь—февраль

XXXIV

Теперь один бежал бы я
Туда, в Альбано, где вы жили;
Там поселился б, и меня
Уж люди больше б не томили.

Я заперся б! перед собой
Поля я видел бы да море,
Да небо с ясной синевой, —
И взор гулял бы на просторе.

Мне дом мой не был бы тюрьма,
О вас я думал бы по воле,
И там бы я сошел с ума
И умер бы в блаженной доле.

1843

XXXV

Не знаю почему, певица эта
Мне вас напоминает каждый раз...
Да! общее есть что-то между вами,
Хотя она не столько хороша.

Не знаю, взгляд ли то, иль русый локон,
С виска слегка откинутый назад?
Иль профиль весь, иль тихая походка?
Но на нее могу глядеть я долго
И видеть не ее, а видеть вас.
Ее черты в моем воображеньи
Так изменяются, что я могу
Себе представить вас. А звонкий голос
Поет мне песнь любви, и я так счастлив,
Когда смотрю и слушаю безмолвно,
И забываю, что сижу в театре
И вкруг меня толпа людей, мне чуждых. . .
А после, возвратясь домой, — один
Сижу я долго; тяжело на сердце
Становится. Я начинаю вновь
Так понимать глубоко, что все это
Мечта напрасная, и я для вас
Почти чужой. Чужим остаться должно!
Все эти дни я как-то болен был,
Мне как-то было на душе тревожно,
И сны меня пугали по ночам;
Вы мне являлись горды, равнодушны,
Почти насмешливы. А между тем —
Не правда ль? . . никогда вы надо мною
Не насмехались? Вы со мною были
Добры — не правда ль? То был сон пустой,
Навеянный моей враждебной жизнью,
И при свиданьи дружелюбно вы
Попрежнему протянете мне руку. . .
Но ночь бежит, а на душе все грустно! . .

1843, январь—февраль

XXXVI

Вчера был теплый день, и веяло весной,
И солнце ярко грело и светило,
Бродил вкруг Рима я ленивою стопой.
Воспоминанье живо мне чертило
Весну такую же в моей родной стране,
И как-то хорошо и грустно было мне.

Таким же воздухом дышал я над рекой,
Где вместе мы на берегу сидели,
Березы белые, склоняся над водой,
Купали лист зеленый и шумели.
Тепло и радостно встречало утро нас,
И резво птички пели... я глядел на вас,

Я в упоении, дыханье притая,
Глядел на вас, и сердце сильно билось...
И первый ландыш вам в то утро сóрвал я —
И что с тех пор с моим цветком случилось?
Увядший ли давно, заброшен вами он?
Иль тихо в книгу он на память положон?

Не знаю! Может, вы забыли этот миг,
И я один храню в воспоминаньи
И утро тихое, и ваш спокойный лик,
И светлое, как в праздник, одеянье,
И то, что с ваших уст, как веянье весны,
Сдыхались Шиллера мечтательные сны.

О! дорого б я дал, чтоб снова в тишине,
Там, у берез, где робко льются волны,
Весной я с вами мог сидеть наедине
И слушать бы, очарованья полный,
И листьев легкий шум и звуки ваших слов,
И жить, и замирать в чаду волшебных снов!..

1843, март

XXXVII

Albano. Апрель

Уже давно я в книге этой
Стихов в раздумье не писал;
Молчала рифма; дух поэта
В заботе праздной изнывал.
Я тратил жизнь в порочной лени
При буйном звуке пьяных чаш,
И реже средь моих видений
Являлся светлый образ ваш.

Но здесь, в тиши уединенной,
При сладком веяньи весны,
Как звуки песни отдаленной,
Несутся вновь былые сны;
И я затерян в смутной дали
Воспоминания и грез,
Блаженства полный и печали,
Надежд обманчивых и слез.
Заря ль мои растворит очи,
Иль в море дальнем гаснет день,
Иль южной ночи, теплой ночи
В полях ложится блеск и тень —
Передо мной, как сновиденье,
Ваш светлый взор, спокойный лик
И тихой поступи движенье...
И страстно шепчет мой язык...
Все звуки вашего названья,
И эти звуки сладки мне,
Как песни юга, как лобзанье,
Как вод плесканье при луне...

1843, апрель

XXXVIII

Неаполь. Май

Опять уже прошло так много дней,
С тех пор как не писал я в этой книге!
Опять молчал печально стих ленивый!
Поэта ль дар уже во мне исчез,
Или любовь моя охолодела?
О нет! Любовь моя осталась та ж...
Попрежнему она тревожит душу
То светлых грез отрадной чередой,
То скорбным чувством настоящей жизни,
И я живу, переходя от снов
К сознанью, от сознанья к сновиденьям.
Вчера один без цели я блуждал
В аллеях трепетных Villa reale, —
Сквозь быстрых облак падал луч луны
На берег дальний Байи и на море;

Кругом меня шумел оливы лист,
И звучные у ног плескались волны...
Я вспомнил — год тому назад иль боле —
Я жил в Неаполе — и мне тогда
Под шум валов приснился сон блаженный:
Я видел, будто я в Villa reale, —
Блуждаю по аллеям одиноко,
И вот внезапно вы навстречу мне,
И тихо протянули вы мне руку —
И мне сказали, чтобы верил я,
Что вашим буду я во что б ни стало...
Я вспомнил — и в душе опять на миг
Тревожная надежда промелькнула...
К чему она?.. Прекрасную мечту
Развеет холодно докучный опыт,
И, вероятно, мне придется в жизни
Увидеть, как состаримся мы оба,
И стану я с насмешкой разбирать
Морщины желтые на том лице,
Пред чьей красой благоговел я долго...
А вы — вы точно так же равнодушно
На старика седого взглянете,
Как прежде вы на юношу смотрели,
Иль, может, с той же дружбой благосклонной,
Которая не растревожит сердца.
Быть может, вам тогда признаюсь я,
Как я любил вас втайне — долго, трудно;
Вы посмеетесь надо мной — и сам
Я улыбнусь холодно и горько...
А если вдруг тогда в обоих нас
Проснется мысль, что оба мы напрасно
Растратили и жизнь и сердца жар,
Меж тем как, может быть, одно бы слово
Могло заставить нас жить полной жизнью?
Ну! если вдруг с испугом мы назад
Оглянемся на то, что безвозвратно,
И об ошибке целой жизни мы
С раскаяньем бесплодным пожалеем?..
Как мне все эти думы тяжелы,
А отогнать их не имею силы!..
Но нет! Старик вам никогда не скажет,
Как юноша умел любить вас сильно,

С насмешкою холодною и горькой
Он не вспомянет о прошедшем чувстве,
Но при закате мирном тусклых дней
Он сохранит о нем воспоминанье
Глубоко и безмолвно, как святыню...

1843, май

XXXIX

Saline Theodorshalle

Я проезжал печальные края,
Все капал дождь и реяли туманы,
И много смут в дни эти прожил я,
Мучительно болели сердца раны.
Когда бы знали вы, вам было б жаль,
Что в жизни мне так многое постыло,
Что старая досадна мне печаль,
И то смешно, что прежде было мило!
Но в эти дни унынья и скорбей
Душе еще один приют имелся,
Как страннику в морозы зимних дней
Огонь, где б он оттаял и пригрелся.
Приют души, мой светлый огонек —
Любовь моя! И с нею те мгновенья,
Когда о вас я втайне думать мог
И наяву теряться в сновиденьи.
О! сколько сердце знало чудных грез,
Надежд, где все ласкает иль тревожит,
Стремлений жарких, задушевных слез, —
Того язык пересказать не может.
И пусть мои обманчивы мечты,
И пусть пройду я одиноко в мире,
И сладкий звук душевной полноты
Замолкнет робко, пробежав по лире.
Довольно! Я любил вас в тишине...
И, может быть, когда меня не станет,
На эти строки, отзываясь мне,
Слеза любви с ресницы вашей канет!..

1843, август

XL

Schwalbach.
29 августа

Я возле вас сидел во сне:
Моей любви прочли вы муку
В дрожащем голосе — и мне
Вы крепко, крепко сжали руку
И говорили мне: люблю!
Так близко вы ко мне дышали
И шею обняли мою,
Меня в уста вы целовали.
И вот, когда проснулся я,
Так сердце было полно вами.
Все, что от вас есть у меня,
Я облил жаркими слезами.
Безумно я весь день бродил,
И на устах, душой ликуя,
Еще я мнимое носил
Напечатленье поцелуя.

1843

XLI

Франкфурт

Довольно! Мне уж город надоел!
Наскучили людей бродящих лицы,
И шум карет, и пестрота одежд. . .
Бегу опять в безмолвную пустыню!
И чувство, что на миг в шуму людском
Могло заснуть, проснется с новой силой,
И образ ваш воскреснет предо мной,
И вновь душа исполнится любовью.
Я знаю: чем любовь моя сильней —
Тем на сердце становится тяжеле. . .
Но что за нужды? . . Будет тяжело,
Но полно! удручительно, но свято!
Когда в толпе, скитаясь будто тень,
Хочу я жить пустой, но шумной жизнью, —
Я чувствую, что там, на дне души,
Ничто не спит! и втайне мучит совесть

За глупую растрату слов и дней,
И пусто мне становится и душно.
Ищу опять я прежних чувств и дум,
Бегу опять в безмолвную пустыню —
Где волен дух хранить свою святыню.

1843, октябрь

XLII

Ганау. Октябрь

Я изнывал в глуши печальной,
И мне казалось, что давно
Забыт уж вами странник дальной,
И сердцу было холодно́.

Но ваше милое посланье
Мне отогрело сердце вновь;
Опять живее упованье,
Опять доверчивей любовь!

Так вы меня не позабыли?
Так вы меня в родной стране
Хотя немного, да любили
И вспоминали обо мне?

Я скоро вновь сожму вам руку,
Я скоро вновь увижу вас.
Слезу очей и сердца муку
Поймете ль вы на этот раз?

Иль благосклонны — без участья —
Ни рукожатья, ни слезы,
Ни сердца мук, ни сердца счастья
Понять не захотите вы?

Я верю! .. мне не верить больно!
Не верю! .. верить мне смешно!
Я не состарился довольно
И уж не молод <я> давно.

Еще ли жизнь меня обманет?
Еще ли светлый сон пройдет?
И жить еще страшней мне станет,
И холод пуще обоймет?..

Но ваше милое посланье
Мне отогрело сердце вновь;
Опять живее упованье,
Опять доверчивей любовь!..

1843, октябрь

XLIII

Пиза. Май

И вот уже прошло еще полгода!
Мне стих был чужд. В чаду пустом
Сгорала жизнь. Безумная свобода
Была мне диким божеством.
Покорствуя бесстыдно произволу,
Я был как мальчик, что вчера
На волю вырвался, оставя школу...
Прошла брожения пора:
Опять душа бежит пустых волнений,
К ней плесень лжи не привилась,
И вновь ищу я чистых вдохновений,
И вновь мой стих звучит для вас.
Пускай жестоко жизнь играет мною,
Иль детски я играю ей:
Любовь меня возвысит над бедою,
Спасет из хаоса страстей,
Очистит дух святынею страданья,
И жизнь я вытерплю мою
И горечь слез и тяжесть испытанья
В ней за любовь благословлю,
За несколько внутри души прожитых
Святых минут, блаженных снов, —
Цветка больного хладом не убитых
Кой-где трепещущих листов.

1844, май

XLIV

Берлин. Июнь

Я вам хотел сказать бы много.
Все то, что на сердце лежит,
Что тайной, внутренней тревогой
Все эти дни меня томит.
Пусть никогда не донесется
До вас пустынный голос мой,
Пусть только мне в мечте одной
Вниманье ваше отзовется, —
Довольно! Я воображу,
Что вы со мной, что в вас пробудит
Участье то, что я скажу,
И мне, быть может, легче будет.
В себя печально заглянуть
Пришлося мне в уединеньи,
И тяжело вздохнула грудь!
В душе нашел я опустенье,
Нашел, что смертный холод жмет
Мне сердце — и оно остыло. . .
Ужели время все сгубило
Уже тем самым, что идет,
Идет так долго, пусто, вяло,
Что просто жить душа устала?
То, чем она была полна,
Ее не греет, не тревожит,
И уж бесчувственна она,
И уж любить она не может. . .
И показалось мне, что я
Вас не люблю — а то, что было,
Напрасно душу шевелило,
Что вся любовь была моя
Одним болезненным движеньем
Последней юности, огня
Последней вспышкою, — и я
Проститься должен с сновиденьем,
Душой погасшею истлеть,
Состарясь сердцем, замереть.
И что ж я делал в самом деле?
Умел ли вам сказать доселе,
Как я страдаю, как люблю,

Как вам бы отдал жизнь мою?
Пред вами пал ли на колени?
Рыдал ли я у ваших ног?
Или себя я превозмог?
Блаженство внутренних мучений,
Как тайну неба затая,
Там где-то свято и глубоко
Умел ли с этой тайной я
Гореть и гаснуть одиноко?
Нет, нет! Любовь моя есть ряд
Полунадежд, полупризнаний,
Полунесказанных страданий,
Полусказавшихся отрад.
О! Так ли любят? Боже, боже!
И что ж осталось от всего?
Тетрадь стихов, где вечно то же
Сказалось — больше ничего?
И те, когда я их читаю,
Так жалки кажутся, смешны,
Натянуты и холодны,
Что я себя в них презираю.
И что ж я сделал для любви?
Брался за кисть — и бросил снова...
Тоска сухая вновь готова
Снедать бесплодно дни мои.
Скажите мне! Ужель душою
Я опустел и вас забыл?
Иль никогда вас не любил
И только жил я сам с собою,
Чтоб жизнь пустую как-нибудь
Занять и время обмануть?
Так я пишу в ночи безгласной
И так томлюсь... и много дум
Испуганный тревожат ум,
И сердцу больно, сердцу страшно.
Зачем я жил? Зачем живу?
Я жил, желал, страдал, стремился,
Терялся в грезах наяву...
И что ж нашел? Чего ж добился?
Где вера? истина? любовь?
И нет любви, ничтожно знанье,

И веры нет — и скучно вновь
Всё те же повторять страданья;
И скучно жить, и страшно жить,
Жить и не верить, не любить!
    Давно хотелось мне стихами
Путь человека описать,
Который с первыми лучами
Оставил дом. Ему дышать
В прохладе утренней раздольно.
Проснулась птичка с песней вольной;
Она летит, она поет,
И жить и петь ей наслажденье,
И вдаль следить ее полет,
Ее заслушиваться пенья
Так хорошо, что можно в том
Душою вовсе погрузиться
И будто в чудном сне забыться.
И вот развеялись кругом
Тумана утреннего тени,
И зелен лес, и робко в нем
Заводит шепот лист с листом,
И пахнут свежие сирени.
Поток серебряной струей
Звенит о камень, злак поляны
Сверкает трепетной росой,
И юн и ясен день румяный.
И жизнь свежа и жизнь ясна,
И сердце бьется жизнью новой,
Душа тепла, душа полна,
Молитва с уст звучать готова.
Но дале в путь! Уж смолк поток,
Дол шире, солнце пышет ярко;
Поник головкою цветок,
Дышать безмолвной птичке жарко.
И путник, будто утомлен,
Ступает медленно и вяло,
И вдаль печально смотрит он,
Душа сгрустнулась и устала.
Как дальний сон, как смолкший звук,
Воспоминание тревожит
Картиной утра; но уж дух
Знать прежней радости не может.

И дале в путь! и степь кругом,
И взор конца не различает,
И знойно день палит лучом,
Трава желтеет и сгорает,
Уж пеплом стал степной ковыль,
Уже земля калится в пыль,
И с диким свистом ветер жгучий,
Беснуясь, носит прах летучий.
И путник дале хочет в путь,
Но все усилья тщетны стали;
Уста засохли, щеки впали,
Трепещет, задыхаясь, грудь,
И в нем, как в выжженной равнине,
Сгорела жизнь; проклятья стон
Извлечь чуть внятно может он
И мертвый падает в пустыне.
Про этот путь уж я давно
Хотел писать; но ныне муки
Не просят рифмы; мимо звуки
Проносятся; затворено
Уже для них тупое ухо;
Я стар; ушли мечты мои,
И жар стихов и жар любви,
И только сердце ноет глухо.
Так я удушливой тоской
Томился трудно в час ночной, —
И вот светать уж начинало...
Иной рассвет в родной стране
Тогда пришел на память мне,
И сердце вдруг затрепетало,
И слезы брызнули из глаз...
О! много, много значат слезы
В часы, когда волнуют нас
Души убийственные грозы!
Я плакать та́к давно не мог,
И сладки мне те слезы были;
Они мне душу освежили,
Как летний дождь больной цветок.
О нет! скажите — ведь не может
Душа забыть любви своей?
Минутно жизнь ее тревожит,

Но тяжкий гнет сухих скорбей
Еще в ней жизни не задушит,
Ее святыни не нарушит,
И в тайной глубине своей
Источник слез она откроет
И след унынья ими смоет,
Воскреснет чище и светлей,
Полна любви, полна желаний,
Полна молитв, и теплоты,
И грусти, и святых страданий,
Рожденных ей от полноты.
Возьмите эти слезы ныне!
Их память вызвала о вас;
Она в душе отозвалась,
Как жизни дух в немой пустыне...
И снова веет мне весной,
И снова небо безмятежно,
И снова в сад зеленый мой
Слетела птичка с песней нежной.
Возьмите вы в слезах моих
Моей любви и свет и муку...
Когда б я выплакать мог их
На вашу беленькую руку,
Быть может, вы могли б понять —
Как хорошо, любя, страдать,
Слезами сладко упиваться,
Как сладко сердцу верить в сон,
Что для души так вечен он,
Как вечно чувство... О! не ложно
То чувство чистое любви,
Оно не легкий пыл в крови,
И потушить его не можно.
Возьмите! Ваши слезы эти!
И заплатите мне слезой,
Слезой участья... Боже мой!
Ведь только надо мне <на> свете,
Чтоб в жизни миг отрады знать!
От вас иного чувства ждать
И грезить смею я едва ли...
И дай бог вам всю жизнь не знать
Душевной бури иль печали...
Но дайте мне слезу одну

Обыкновенного участья:
Я в смертный час вас вспомяну
За этот миг живого счастья!..
Недавно видел я во сне,
Что вы цветов прислали мне,
Их память живо сохранила...
Скажите! Что бы это было?
Что этот сон?.. Так просто сон?
Иль что-нибудь да значит он?
Но вы далеко! Голос мой
Один звучит и замирает,
Мечта уходит за мечтой,
И грусть восторги заменяет...
О! замолчу! смирю печаль,
Покоя сердца не нарушу;
Боюсь взглянуть на жизни даль,
Боюсь взглянуть себе я в душу!

1844, июнь

XLV

Учусь! Учусь! и жажда знанья мучит!
Я истины хочу и не боюсь
Сомнений долгих, трудных отрицаний;
Все призраки разрушить я готов,
Хотя б они и близки были сердцу.
Я часто ныне чувствую в себе,
Что становлюсь я духом чище, крепче;
Ясней смотрю на вещи, и мой взгляд
Широко мир безгранный обнимает,
И все родней становится душа
С таинственной глубокой жизнью духа.
Тружусь я днем, над книгой ночь сижу
И в черных буквах на бумаге белой
Ищу я мысль и ясный, верный óбраз,
И жизнь моя идет полна, ровна...
Но иногда внезапно дрогнет сердце,
В груди внезапный трепет пробежит,
Не вижу букв, не понимаю мысли;
Иное чувство душу повернет,
И в памяти иной проснется образ.

И снова вы, всё вы передо мною!
Не отвожу от призрака я взора
И чувствую глубоко, что люблю,
И что люблю я бесконечно трудно!
Но и расстаться с чувством не могу,
И на душе так чудно — грустно, грустно. . .

1844, июнь

НОЧЬ

Когда во тьме ночной, в мучительной тиши,
    Мои глаза дремотой не сомкнуты —
Я в безотвязчивом томлении души
    Переживаю трудные минуты.
Всё лица прежние, картины прежних лет
    Передо мной проносятся, как тени;
Но чувства прежнего во мне уж больше нет:
    Я холодно гляжу на ряд видений.
Напрасно силюсь я будить в душе моей,
    Что жило в ней так сладко иль тревожно;
Любовь, страдание, блаженство прежних дней
    Мне кажется или смешно, иль ложно.
И мне грядущее замены не сулит:
    Вся жизнь пройдет несносною ошибкой. . .
И слезы горькие, текущие с ланит,
    Уста глотают с горькою улыбкой.

<1844>

ПРАЗДНИК

Что год, то меньше шлет мне праздник ликований;
    Что год, то жизнь становится скучней.
Как много вымерло прекрасных упований,
    Как близких много вымерло людей!
Христос воскрес! а те на вечную разлуку
    Ушли куда-то и не при́дут вновь,
    Не вспыхнет в сердце прежняя любовь,
И дружба молча, грустно мне протянет руку.

<1844>

* * *

Еще любви безумно сердце просит,
Любви взаимной, вечной и святой,
Которую ни время не уносит,
Ни губит свет мертвящей суетой;
Безумно сердце просит женской ласки,
И чудная мечта нашептывает сказки.

Но тщетно все!.. ответа нет желанью;
В испуге мысль опять назад бежит
И бродит трепетно в воспоминаньи...
Но прошлого ничто не воскресит!
Замолкший звук опять звучать не может,
И память только он гнетет или тревожит.

И страх берет, что чувство схоронилось;
По нем в душе печально, холодно́,
Как в доме, где утрата совершилась:
Хозяин умер — пусто и темно;
Лепечет поп надгробные страницы
И бродят в комнатах всё пасмурные лицы.

<1844>

САТИНУ

Какая-то тоска на душу пала —
Вчера, когда я возвращался с бала.
Всех этих дев наряд, огонь очей,
И жар их щек, и холод их речей,
И холод сердца — сердце мне смутили
И в нем и скорбь и жалость возбудили;
Да выпитый за ужином бокал
Среди глупцов на грудь мне тяжко пал.
Сегодня встал сердитый и угрюмый,
Все не по мне, мои печальны думы,
Горька сигара, все не так сижу,
И стих не звонок, рифм не нахожу
И глупо утро провожу.

Ну ты? Что, голове получше ль стало?
И нет ли горечи во рту твоем?
Что зеркало твое тебе сказало,
Как в нем себя дразнил ты языком?

Первая половина 1840-х

ИСКАНДЕРУ

Я ехал по полю пустому;
И свеж и сыр был воздух, и луна,
Скучая, шла по небу голубому,
И плоская синелась сторона.
В моей душе менялись скорбь и сила,
И мысль моя с тобою говорила.

Все степь да степь! Нет ни души, ни звука;
И еду вдаль я горд и одинок —
Моя судьба во мне. Ни скорбь, ни скука
Не утомят меня. Всему свой срок.
Я правды речь вел строго в дружнем круге —
Ушли друзья в младенческом испуге.

И он ушел — которого как брата
Иль как сестру так нежно я любил!
Мне тяжела, как смерть, его утрата;
Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное, как ласка,
И дружба с ним мне памятна, как сказка.

Ты мне один остался неизменный,
Я жду тебя. Мы в жизнь вошли вдвоем;
Таков остался наш союз надменный!
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,
И пусть мечты и люди идут мимо.

1846, осень

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

Спокойно вижу я годов минувших даль,
Грядущее встречаю без волненья,
И нет раскаянья, и прошлого не жаль,
Нет перед тем, что будет, — опасенья.
На грезы юности смотрю я без презренья;
Пусть было многое в них жалко и смешно,
Но подлости на них не брошено пятно;
Разврат, любовь иль труд — пусть все бесплодно
В душе кипело, но все было благородно.

С ошибкой детскою разделаться я рад
И веселей встречаю горечь истин,
Чем малодушие мечтательных отрад;
Я в деле счастья горд и бескорыстен!
Но мир, который мне как гнусность ненавистен,
Мир угнетателей, обмана и рабов —
Его, пока я жив, подкапывать готов
С горячим чувством мести или права,
Не думая о том, что — гибель ждет иль слава.

Пусть иногда тоска теснит мне жизнь мою,
И я шепчу проклятья или пени,
Но сердцем молод я, еще я жизнь люблю,
Люблю я видеть синей ночи тени
И мирный проблеск дня; люблю внимать средь лени
Волны плескание, лесов зеленых шум,
С восторгом предаюсь работе ясной дум,
И все, что живо полюбил когда-то, —
Осталось мне навек и сладостно и свято.

1846

* * *

Бываю часто я смущен внутри души
И трепетом исполнен и волненьем;
Какой-то ход судьбы свершается в тиши,
И веет мне от жизни привиденьем.
В движеньи шумном дня, в молчаньи тьмы ночной,
В толпе ль, один ли, средь забав иль скуки —

Везде болезненно я слышу за собой
Из жизни прежней схваченные звуки.
Мне чувство каждое, и каждый новый лик,
И каждой страсти новое волненье,
Все кажется — уже давно прожитый миг,
Все старого пустое повторенье.
И скука страшная лежит на дне души,
Меж тем как я внимаю с напряженьем,
Как тайный ход судьбы свершается в тиши,
И веет мне от жизни привиденьем.

<1846>

ОТЪЕЗД

Ну, прощай же, брат! я поеду в даль,
Не сидится на месте, ей-богу!
Ведь не то чтоб мне было вас не жаль,
Да уж так — собрался я в дорогу.

И не то чтоб здесь было худо мне,
Нет! мне все как-то близко, знакомо,
Ну, и дом, и сад, и привык к стране:
Хорошо, знаешь, нравится дома.

И такое есть, о чем вспомнить мне
Тяжело, а забыть невозможно;
Да не все ж твердить о вчерашнем дне —
Неразумно, а может, и ложно!

И вот видишь, брат, так и тянет в путь,
Погулять надо мне на просторе,
Широко пожить, на людей взглянуть,
Да послушать гульливое море.

Много светлых стран, много чудных встреч,
Много сладких слов, много песен. . .
Не хочу жалеть! не хочу беречь!
Ну, прощай! мир авось ли не тесен.

<1846>

* * *

Тучи серые бродят в поднéбесье,
Дождь стучит в мостовую широкую,
В сердце что-то темно, неприязненно,
Едет друг на чужбину далекую.

И придет весна, весна теплая,
Небо взглянет к нам голубоокое,
Лес зашепчет вновь свежими листьями,
Будет зелено поле широкое.

А ему будет больно и тягостно,
Потоскует душа одинокая,
Что весна-то пришла не в родных горах,
Что без друга чужбина далекая.

Тучи серые бродят в поднéбесье,
Дождь стучит в мостовую широкую,
В сердце что-то темно, неприязненно,
Едет друг на чужбину далекую.

Конец 1846—начало 1847

МОНОЛОГИ

I

И ночь и мрак! Как все томительно-пустынно!
Бессонный дождь стучит в мое окно,
Блуждает луч свечи, меняясь с тенью длинной,
И на сердце печально и темно.
Былые сны! душе расстаться с вами больно;
Еще ловлю я призраки вдали,
Еще желание в груди кипит невольно;
Но жизнь и мысль убили сны мои.
Мысль, мысль! как страшно мне теперь твое движенье,
Страшна твоя тяжелая борьба!
Грозней небесных бурь несешь ты разрушенье,
Неумолима, как сама судьба.

Ты мир невинности давно во мне сломила,
Меня навек в броженье вовлекла,
За верой веру ты в моей душе сгубила,
Вчерашний свет мне тьмою назвала.
От прежних истин я отрекся правды ради,
Для светлых снов на ключ я запер дверь,
Лист за листом я рвал заветные тетради,
И все, и все изорвано теперь.
Я должен над своим бессилием смеяться,
И видеть вкруг бессилие людей,
И трудно в правде мне внутри себя признаться,
А правду высказать еще трудней.
Пред истиной нагой исчез и призрак бога,
И гордость личная, и сны любви,
И впереди лежит пустынная дорога,
Да тщетный жар еще горит в крови.

II

Скорей, скорей топи средь диких волн разврата
И мысль и сердце, ношу чувств и дум;
Насмейся надо всем, что так казалось свято,
И смело жизнь растрать на пир и шум!
Сюда, сюда бокал с играющею влагой!
Сюда, вакханка! слух мне очаруй
Ты песней, полною разгульною отвагой!
На — золото, продай мне поцелуй...
Вино кипит во мне и жжет меня лобзанье...
Ты хороша! о, слишком хороша!..
Зачем опять в груди проснулося страданье
И будто вздрогнула моя душа?
Зачем ты хороша? забытое мной чувство,
Красавица, зачем волнуешь вновь?
Твоих томящих ласк постыдное искусство
Ужель во мне встревожило любовь?
Любовь, любовь!.. о нет, я только сожаленье,
Погибший ангел, чувствую к тебе...
Поди, ты мне гадка! я чувствую презренье
К тебе, продажной, купленной рабе!
Ты плачешь? Нет, не плачь. Как? я тебя обидел?
Прости, прости мне — это пар вина;
Когда б я не любил, ведь я б не ненавидел.

Постой, душа к тебе привлечена.—
Ты боле с уст моих не будешь знать укора.
Забудь всю жизнь, прожитую тобой,
Забудь весь грязный путь порока и позора,
Склонись ко мне прекрасной головой,—
Страдалица страстей, страдалица желанья,
Я на душу тебе навею сны,
Ее вновь оживит любви моей дыханье,
Как бабочку дыхание весны.
Что ж ты молчишь, дитя, и смотришь в удивленьи,
А я не пью мой налитой бокал?
Проклятие! опять ненужное мученье
Внутри души я где-то отыскал!
Но на плечо ко мне она, склоняся, дремлет,
И что во мне — ей непонятно то;
Недвижно я гляжу, как сон ей грудь подъемлет,
И глупо трачу сердце за ничто!

III

Чего хочу? .. Чего? .. О! так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что кажется порой — их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь.
Чего хочу? Всего со всею полнотою!
Я жажду знать, я подвигов хочу,
Еще хочу любить с безумною тоскою,
Весь трепет жизни чувствовать хочу!
А втайне чувствую, что все желанья тщетны,
И жизнь скупа, и внутренно я хил,
Мои стремления замолкнут безответны,
В попытках я запас растрачу сил.
Я сам себе кажусь, подавленный страданьем,
Каким-то жалким, маленьким глупцом,
Среди безбрежности затерянным созданьем,
Томящимся в брожении пустом...
Дух вечности обнять за раз не в нашей доле,
А чашу жизни пьем мы по глоткам,
О том, что выпито, мы все жалеем боле,
Пустое дно все больше видно нам;
И с каждым днем душе тяжеле устарелость,
Больнее помнить и страшней желать,

И кажется, что жить — отчаянная смелость;
Но биться пульс не может перестать,
И дальше я живу в стремленьи безотрадном,
И жизни крест беру я на себя,
И весь душевный жар несу в движеньи жадном,
За мигом миг хватая и губя.
И все хочу!.. чего?.. О! так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что кажется порой — их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь.

IV

Как школьник на скамье, опять сижу я в школе
И с жадностью внимаю и молчу;
Пусть длинен знанья путь, но дух мой крепок волей,
Не страшен труд — я верю и хочу.
Вокруг всё юноши: учительское слово,
Как я, они все слушают в тиши;
Для них все истина, им все еще так ново,
В них судит пыл неопытной души.
Но я уже сюда явился с мыслью зрелой,
Сомнением испытанный боец,
Но не убитый им... Я с призраками смело
И искренно расчелся наконец;
Я отстоял себя от внутренней тревоги,
С терпением пустился в новый путь,
И не собьюсь теперь с рассчитанной дороги —
Свободна мысль и силой дышит грудь.
Что, Мефистофель мой, завистник закоснелый?
Отныне власть твою разрушил я,
Болезненную власть насмешки устарелой;
Я скорбью многой выкупил себя.
Теперь товарищ мне иной дух отрицанья —
Не тот насмешник черствый и больной,
Но тот всесильный дух движенья и созданья,
Тот вечно юный, новый и живой.
В борьбе бесстрашен он, ему губить — отрада,
Из праха он все строит вновь и вновь,
И ненависть его к тому, что рушить надо,
Душе свята так, как свята любовь.

1844—1847

УПОВАНИЕ. ГОД 1848

Anno cholerae morbi[1]

Все говорят, что ныне страшно жить,
Что воздух заражен и смертью веет;
На улицу боятся выходить.
Кто встретит гроб — трепещет и бледнеет.
Я не боюсь. Я не умру. Я дней
Так не отдам. Всей жизнью человека
Еще дышу я, всею мыслью века
Я жизненно проникнут до ногтей,
И впереди довольно много дела,
Чтоб мысль о смерти силы не имела.

Что мне чума? — Я слышу чутким слухом
Со всех сторон знакомые слова:
Вблизи, вдали — одним все полно духом, —
Все воли ищут! Тихо голова
Приподнялась; проходит сон упрямый,
И человек на вещи смотрит прямо.
Встревожен он. На нем так много лет
Рука преданья дряхлого лежала,
Что страшно страшен новый свет сначала.
Но свыкнись, узник! Из тюрьмы на свет
Когда выходят — взору трудно, больно,
А после станет ясно и раздольно!

О! из глуши моих родных степей
Я слышу вас, далекие народы, —
И что-то бьется тут, в груди моей,
На каждый звук торжественный свободы.
Мне с юга моря синяя волна
Лелеет слух внезапным колыханьем...
Роскошных снов ленивая страна —
И ты полна вновь юным ожиданьем!
Еще уныл «Ave Maria»[2] глас
И дремлет вкруг семи холмов поляна,
Но втайне Цезарю в последний раз
Готовится проклятье Ватикана.

---

[1] В холерный год (лат.).
[2] Радуйся, Мария (лат., католическая молитва).

Что ж? Начинай! Уж гордый Рейн восстал,
От долгих грез очнулся тих, но страшен,
Упрямо воли жаждущий вассал
Грозит остаткам феодальных башен.
На Западе каким-то новым днем,
Из хаоса корыстей величаво,
Как разум светлое, восходит право,
И нет застав, земля всем общий дом.
Как волхв, хочу с Востока в путь суровый
Идти и я, дабы вещать о том,
Что видел я, как мир родился новый!

И ты, о Русь! моя страна родная,
Которую люблю за то, что тут
Знал сердцу светлых несколько минут,
Еще за то, что, вместе изнывая,
С тобою я и плакал и страдал,
И цепью нас одною рок связал, —
И ты под свод дряхлеющего зданья,
В глуши трудясь, подкапываешь взрыв?
Что скажешь миру ты? Какой призыв?
Не знаю я! Но все твои страданья
И весь твой труд готов делить с тобой,
И верю, что пробьюсь — как наш народ родной —
В терпении и с твердостию многой
На новый свет неведомой дорогой!

1848, апрель

СОВРЕМЕННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Друзья! уныние грешно, —
Ему не надо предаваться:
В душе рождается оно,
Когда перестаем мужаться.
Творец невидимой рукой
Нас тяжкой язвой поражает.
Смиримся: гнев его святой
Нас к покаянью призывает.
Путем страданий, горя, слез
Кто вечности достиг порога,

Кто с умилением донес
До гроба крест свой — ради бога —
Смерть для того как летня ночь:
Едва успеет тьма разлиться,
Как солнце гонит сумрак прочь,
Восток отрадно золотится!
Друзья! уныние грешно!
Творите господу моленья,
Чтоб в душу заронил смиренья,
Надежды, бодрости зерно.
Любовью чистою и верой
Мы заглушим в своих сердцах
Дух гордости закоренелый,
Сомненья голос, ропот, страх.
Для благости творца безмерной
Довольно лишь любви слепой,
Молитвы теплой, задушевной,
Слезы раскаянья одной.

1848, 25 июня

* * *

В пирах безумно молодость проходит;
Стаканов звон да шутки, смех да крик
Не умолкают. А меж тем не сходит
С души тоска ни на единый миг;
Меж тем и жизнь идет, и тяготеет
Над ней судьба, и страшной тайной веет.
Мне пир наскучил — он не шлет забвенья
Душевной скорби; судорожный смех
Не заглушает тайного мученья!..

1848—1849(?)

FATUM[1]

Вхожу я в церковь — там стоят два гроба,
Окружены молящимися оба.
Один был длинный гроб, и видел в нем
Я мертвеца с измученным лицом,

[1] Рок (лат.).

С улыбкою отчаянья глухого,
И кости лишь да кожа — так худого.
Казался он не стар, но был уж сед,
Как будто бы погиб под ношей бед.
Бледна, как он, и столько же худая
Стояла возле женщина, рыдая;
И дети-нищие на мертвеца
Смотрели с детской глупостью лица.

А гроб другой был мал, и в нем лежало
Дитя — так тихо, будто задремало.
Отец и мать у гроба, а вокруг,
Одетых в траур, было много слуг.
Печально мать-красавица молчала,
То плакала, то тяжело вздыхала.
Отец в себя казался углублен
И все шептал: «Зачем он был рожден?»
И я тоски не в силах был сносить;
Я вышел вон, и в лес ушел бродить —
И ветер выл, и тучи тяготели,
И на корнях, треща, качались ели.

<1849>

ЗАБЫТО

Я ему сказала:
«Возвратился, милый!
Дни прошли и годы —
Я не позабыла;
Я все так же, так же,
Как в ту ночь — что знаешь,
Все люблю, как прежде,
Так, как ты желаешь».
Он пожал плечами,
Не сказал ни слова,
И хотел он тут же
Удалиться снова.
Я его схватила,
Я его держала
За руки, за платье —

Все не отпускала.
Пала на колени,
Целовала руки,
Ноги целовала,
Плакала от муки.
Он взглянул мне в очи...
Тут мне показалось,
Что меня он любит,
Что в нем сердце сжалось.
Он взглянул мне в очи —
Отвернулся снова,
И прошел он мимо —
Не сказал ни слова.

<1849>

1849 ГОД

Вы знаете: победа дряхлой власти
Свершилася. Погибло, как мятеж,
Свободы дело, рушилось на части,
И деспотизм помолодел и свеж.
Безропотно, как маленькие дети,
Они свободу отдали тотчас,
В смущении боясь отцовской плети,
И весь восторг, как шалость, в них погас.

Вы знаете: в Европе уже ныне
Не сыщется ни одного угла,
Где б наша жизнь, верна своей святыне,
Светло и мирно кончиться могла.
Вы не зарезались? Еще, быть может,
Жить хочется? Так что ж? Скорей, скорей!
Бегите в степь, где разве вихрь тревожит,
В Америку — туда, где нет людей!
И, до седин бесплодно доживая,
С отчаяньем в груди умрите там,
Забыть стараясь и не забывая,
Что все, что в жизни было свято вам,

Мечты свободы, ваши убежденья
Не нужны никому — и все замрут,
Как всякие безумные мученья,
Как всякий мозга бесполезный труд!

<1849>

АРЕСТАНТ

Ночь темна. Лови минуты!
Но стена тюрьмы крепка,
У ворот ее замкнуты
Два железные замка.
Чуть дрожит вдоль коридора
Огонек сторожевой,
И звенит о шпору шпорой,
Жить скучая, часовой.

«Часовой!» — «Что, барин, надо?» —
«Притворись, что ты заснул:
Мимо б я, да за ограду
Тенью быстрою мелькнул!
Край родной повидеть нужно,
Да жену поцеловать,
И пойду под шелест дружный
В лес зеленый умирать!..» —

«Рад помочь! Куда ни шло бы!
Божья тварь, чай, тож и я!
Пуля, барин, ничего бы,
Да боюся батожья!
Поседел под шум военный...
А сквозь полк как проведут,
Только ком окровавленный
На тележке увезут!»

Шепот смолк... Все тихо снова...
Где-то бог подаст приют?
То ль схоронят здесь живого?
То ль на каторгу ушлют?

Будет вечно цепь надета,
Да начальство станет бить...
Ни ножа! ни пистолета!..
И конца нет сколько жить!

1850, 24 февраля — 20 марта

К Н. <А. ТУЧКОВОЙ>

На наш союз святой и вольный —
Я знаю — с злобою тупой
Взирает свет самодовольный,
Бродя обычной колеей.

Грозой нам веет с небосклона!
Уже не раз терпела ты
И кару дряхлого закона
И кару пошлой клеветы.

С улыбкой грустного презренья
Мы вступим в долгую борьбу,
И твердо вытерпим гоненья,
И отстоим свою судьбу.

Еще не раз весну мы встретим
Под говор дружных нам лесов
И жадно в жизни вновь отметим
Счастливых несколько часов.

И день придет: морские волны
Опять привет заплещут нам,
И мы умчимся, волей полны,
Туда — к свободным берегам.

1850—1852

ДРУГУ

Мы с давних пор делили пополам
И сердца жар и мысли тайный трепет,
Но, знать, не впрок пошло былое нам,
И смолкло все, как глупый детский лепет.

Пожалуй, жаль! Но дружба не спасла.
И друга друг с младенческой улыбкой
Оклеветал!.. И скорбно жизнь прошла,
Прошла и вера к этой дружбе зыбкой.

Ну что ж? Ведь гнет ошибок и утрат
Нас не привел еще ко двери гроба?
Так не тужи, мой преждебывший брат,
Мы проживем, хоть врозь, но долго оба.

Начало 1850-х

* * *

Я виноват, быть может, в многом,
И жил я, сам себя губя,
Но по разборе жестко-строгом
Еще могу сказать и я,
Что, как и прежде, так и ныне,
Не менее, чем кто-нибудь,
Остался верен я святыне,
Которой век дышала грудь.
И, несмотря на скорбь и скуку,
На дне осевшую от лет,
Ты беззапятнанной мне руку
В час расставанья дашь вослед.
И дашь в твоей душе, как прежде,
Мне тот же мирный уголок,
Где каждой мысли и надежде
Всегда приют найти я мог.
Но если, вняв мольбе суровой,
Ты отказался от меня,
Тогда прости, мой Каин новый,
И позабудь скорей меня.

Начало 1850-х (?)

* * *

Труп ребенка, весь разбитый,
В ночь был брошен. Ночь темна,
Но злодейство плохо скрыто,
И убийца найдена.

Бледнолицая малютка
С перепуганным лицом,
Как-то вздрагивая жутко,
Появилась пред судом.

Ветхо рубище худое,
В дырьях обувь на ногах,
Грязно тело молодое
И мозоли на руках.

Выраженье взглядов мутных
Полно дикости. В речах,
Неразборчивых и смутных,
Слышен только детский страх.

Кто она? — она не знает;
Кто отец ей, кто ей мать:
Всякий сброд в вертеп подвала
Приходил к ним ночевать.

Кто сгубил ее? Давно ли?
Неизвестно ей: царил
Ночью мрак у них, и с воли
Разный люд к ним приходил.

Как на грех она решилась? —
Ночью плохо стало ей,
А поутру приходилось
На завод идти скорей...

Еле слышные ответы
Разобрать подчас нельзя,
И не верится, что это —
Мать, убившая дитя!

А отец? Забитый рано
Горем, фабрикой, вином —
Разве знает он, что спьяна
Стал кому-то он отцом?

Начало 1850-х (?)

Старик, как прежде, в час привычный
Сидел за книгою обычной,
Но не тревожила слегка
Страниц бессильная рука;
Взор устремлен был, но без цели;
Уста как бы шептать хотели,
Но мысль не находила слов... —
Старушка, глядя сквозь очков,
В оцепененьи отупелом
С чулком сидела у окна —
И не вязала... В доме целом
Была немая тишина.

Меж тем давно ли здесь, бывало,
Все свежей жизнию дышало,
И девушка в осьмнадцать лет
Вносила мирно в дом старинный
Дар звонких песен, смех невинный
И милый, ласковый привет?
И что ж? так просто, так ничтожно!
Мороз дохнул неосторожно,
И вот горячка; ей вослед
Томящий жар, тяжелый бред,
Потом и кровь чуть бьется в жилах,
Потом и грудь дышать не в силах,
Потом и блеск в глазах потух,
И бледный труп и нем и глух.

И старики остались оба,
Как будто тяжкой жизни нить
Пресечена, а их сложить
Забыли в мирный холод гроба.
И в доме царствует одна
Теперь немая тишина;
И если есть хоть что живое,
Так разве солнце золотое,
Когда играет здесь и там,
И на полу, и по стенам,
Да бродят мерно, как живые,
По кругу стрелки часовые.

1853

КУПАНЬЕ

Чьей легкой ножки при реке
Следы остались на песке?
Зачем раздвинут куст прибрежный?
Чья шаловливая рука
Листки цветов его слегка
Щипала в резвости мятежной?
Чу! Спрячься — брызнула струя —
И стой, дыханье притая.
Смотри, как, воды рассекая,
Встает головка молодая
С улыбкой детской на устах
И негой южною в очах.
А солнце утреннее блещет
На черный лоск ее волос;
Плечо из вод приподнялось
И грудь роскошная трепещет.
Вот косу белою рукой
Она сжимает над водой,
И влага — медленно стекая —
Звенит, по капле упадая.
Вот повернулась и плывет,
С змеиной ловкостию вьется,
То прячется в прохладу вод,
То, чуть касаясь их, несется.
Остановилась и, шутя,
Волною плещет, как дитя.
Потом задумалась, и, видно,
Пора оставить ей поток;
Выходит робко на песок,
Как будто ей кого-то стыдно.
Уже одну из резвых ног
Сжимает узкий башмачок,
Уже и ткань рубашки белой
Легла на трепетное тело...
Не подходи теперь ты к ней —
Она дика и боязлива
И, серны ветреной быстрей,
От нас умчится торопливо.
Но знаю я, пред кем она
Всегда покорна и смирна;

Я знаю, кто рукой небрежной
Ласкает стан красотки нежной,
Кому на грудь во тьме ночей
Рассыпан шелк ее кудрей.

До 1854, 9 февраля

СПЛИН

(Посвящено Н. <А. Тучковой>)

Да, к осени сворачивает лето...
Уж ночью был серебряный мороз;
И воздух свеж, и — грустная примета —
Желтеет лист сквозь зелени берез,
Как волосок седой сквозь локон темный
Красавицы кокетливой и томной;
Уже и ветр брюзгливый и сырой
Колеблет лес и свищет день-деньской,
И облаков отряд сгоняет серый;
И вечера становятся без меры.

Уже пришла печальная пора:
Туманами окрестности покрыты,
И мелкий дождь с утра и до утра
Сырою пылью сыплет, как сквозь ситы,
Чернеясь, грязь по улицам видна,
День холоден, глухая ночь темна.
Затопим мы камин. Средь поздних бдений
Люблю, когда причудливые тени
Враждебным мраком дышат по углам,
А красный блеск трепещет по стенам.

Но в этот час я не люблю беседы
И многих лиц шумливый разговор:
Меня томит, как длинные обеды,
Хоть умный, но всегда бесплодный спор.
Иное дело — заниматься делом,
Или хотеть, в тщеславьи закоснелом,
Сомнительной ученостью блеснуть
И времени теченье обмануть,
Праздноглагольствуя литературно
О том, что в мире хорошо иль дурно.

У стариков есть детская черта —
Рассказывать отлично анекдоты,
Где на конце всегда есть острота;
Но этот род погиб среди зевоты.
Что ж делать, друг, нам в эти вечера?
Болтать о том, что делалось вчера?
Наш statu quo [1] так глуп, что лучше мимо.
Уж не заняться ль нам делами Крыма?
Но ведь ни вы, ни я не офицер —
Изгнать врагов не сыщем новых мер.

Не вдаться ль в жар сердечных излияний?
Но ведь оно покажется смешно —
К лицу ли нам искание страданий
И радостей, замолкнувших давно? . .
Не вынуть ли бутылку из подвала?
Не принести ль два розовых бокала?
За здравье, что ль, не то за упокой
Нам чокнуться? . . А лучше нам, друг мой,
Безмолвствовать и думать. Грустно это,
Но, кажется, прилично в наши лета.

И ветр и дождь всю ночь в окно стучат,
Колеблются таинственные тени,
Дрова, горя, бледнеют и трещат,
И вновь встает забытый ряд видений.
Вот детство глупое — как и всегда,
Бывают глупы детские года,
Но многое в них мирно улыбалось,
И сохранить иное бы желалось. . .
Вот юность — вот играет кровь,
И сердце жжет ненужная любовь.

А там идут подряд всё гроб за гробом:
Вот мрет старик, сердяся и кряхтя,
Вот друг погиб с чахоточным ознобом,
В волнах морских умолкнуло дитя,
И милое и светлое созданье
Туда ж пошло на вечное молчанье!

---

[1] Существующий порядок (лат.).

Но вы, мой друг, ни слова ни о чем;
Вы знаете — ведь лучше нам вдвоем
Безмолвствовать и думать. Грустно это,
Но, кажется, прилично в наши лета.

1854, осень (?)

AURORA MUSAE AMICA[1]

Зимой люблю я встать поутру рано,
Когда еще все тихо, как в ночи;
Деревня спит, и снежная поляна
Морозом дышит; звездные лучи
Горят и гаснут в ранней мгле тумана.
Один, при дружнем трепете свечи,
Любимый труд уже свершать готовый —
Я бодр и свеж, и жажду мысли новой.

Передо мной знакомые преданья,
Где собран опыт трудный долгих лет
И разума пытливые гаданья...
Спокойно шлю им утренний привет
И в тишине, исполненный вниманья,
Я слушаю, ловя летучий след,
Биенье жизни от начала века,
И новый мир творю для человека.

Но гонит день туманы ночи сонной,
Проснулся гул — подобие волне,
Зовет звонок к работе обыденной,
И все, что мог создать я в тишине,
Развеет дико день неугомонный...
И в жизни вновь звучит уныло мне
Одно и то же непрерывной цепью,
Как ветра шум над бесконечной степью.

А ввечеру, всех дел окончив смету,
Засядем мы, мой друг, пред камельком:
Нам принесут печальную газету,
И грустно мы все новости прочтем

[1] Заря — подруга муз (лат. поговорка).

И ничего по целу белу свету
Отрадного ни капли не найдем,
И молча мы пожмем друг другу руку,
Чтоб выразить любовь, и скорбь, и скуку.

1854, осень (?)

СОН

Когда сменился день молчаньем темной ночи,
Дремота смутная мне налегла на очи,
И вижу я: на площади народ,
И слышен звон с высоких колоколен,
И юный царь торжественно грядет
В порфире и венце, сияющ и доволен;
За ним попы, бояре и полки,
Хвалебный гимн гремит, блестят штыки...
Но мною обуял внезапно гнев священный,
Я бросился к царю и дланью дерзновенной
С его главы сорвал златой венец
И бросил в прах, и растоптал на части —
«Довольно! — я вскричал, — погибни наконец
Вся эта ветошь ненавистной власти!»
Пророческая мощь мою вздымала грудь,
А царь бледнел, испуганный и злобный;
В народе гул прошел громоподобный,
И, как морская зыбь, грозы почуя путь,
Растет из тишины, в которой ей дремалось, —
Тысячеглавая толпа заколебалась...

1854

* * *

Полно, братцы, не смотрите
На красавицу мою,
Лучше сердце сберегите,
С ним и волюшку свою.
Она вовсе не кокетка;
Доброму всему верна,
Но хоть нехотя, да метко
Взглядом губит всех она.

А как запоет она —
Трепетом душа полна,
И тогда покой
Ты схоронишь свой.
Полно, братцы, не смотрите
На красавицу мою,
Лучше сердце сберегите,
С ним и волюшку свою.

<1854>

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В вечернем сумраке долина
Синела тихо за ручьем,
И запах розы и ясмина
Благоухал в саду твоем;
В кустах прибережных влюбленно
Перекликались соловьи.
Я близ тебя стоял смущенный,
Томимый трепетом любви.
Уста от полноты дыханья
Остались немы и робки́,
А сердце жаждало признанья,
Рука — пожатия руки.

Пусть этот сон мне жизнь сменила
Тревогой шумной пестроты;
Но память верно сохранила
И образ тихой красоты,
И сад, и вечер, и свиданье,
И негу смутную в крови,
И сердца жар и замиранье —
Всю эту музыку любви.

До 1855, 3 июня

* * *

Тот жалок, кто под молотом судьбы
Поник — испуганный — без боя:
Достойный муж выходит из борьбы
В сияньи гордого покоя,

И вновь живет — главы не преклоня —
Исполнен вдохновенной пищей;
Так золото выходит из огня
И полновеснее и чище.

До 1855, 24 июня

КОКЕТКЕ

Зачем томишь ты друга моего?
Дитя! его ты ни за что погубишь!
Прошу тебя: ты пощади его!
Решись сказать: ты любишь иль не любишь.
Ты знаешь ли? он сердцем прост и смел,
И ум его широк и благороден,
Но страсти яд им страшно овладел,
И век его печален и бесплоден.
Еще вчера — когда перед тобой
Стоял, красуясь, юноша другой
И, на тебя глядя орлиным взором,
Смешил тебя беспечным разговором —
В углу сидел он мрачен и угрюм,
Убитый горечью ревнивых дум,
Желая и не слышать и не видеть,
И все ж любил, стараясь ненавидеть...
Ты поняла ль, безумное дитя,
Как ты его замучила, шутя?
Ты помнишь ли, как он на пышном бале
Бродил в толпе, не видя никого,
И трепетно тебя искал по зале,
А ты, резвясь, скрывалась от него?
Как он тогда был бледен и расстроен!
А лик твой был сияющ и спокоен!
Ты знаешь ли? когда ты на него
Приветно взор уронишь одобренья,
Иль за руку, как друг, возьмешь его,
Иль с лаской бросишь слово без значенья —
Он целый день проходит как в чаду,
И рад и весел, как ребенок малый,
И ночью ждет, от счастия усталый,
Твоей любви в обманчивом бреду.
Ужель тебе его не жаль нисколько?

Неужто шутишь ты, дитя, — и только?
Но тщетно! Ты не слушаешь меня
И, тихо к ручке беленькой и гибкой
Задумчиво головку наклоня,
Ты блещешь вся тщеславною улыбкой.

1855, 15 ноября

* * *

Домой я воротился очень поздно;
С друзьями я весь день пропировал,
А не было мне весело нисколько:
Тоска мне тяжко угнетала душу.
Я воротился — ночь была безгласна
И обдавала черной тьмой меня
Враждебно, так что было страшно.
Одна свеча горела предо мной —
Единый друг среди пустынной ночи,
Единый друг, но безотрадный!..

<1855>

БЕГСТВО

«Ступай, — сказал он, — под венец!»
А я: «Не принуждай, отец!
Мне рано замуж; дай подолей
Потешиться девичьей волей!»
Отец сдержал привычный гнев
И, злобы дрожь преодолев,
Сказал, что я сама не знаю,
Как глупо счастие теряю.
Я все свое; но наконец
Личину сбросил мой отец
И закричал, что вовсе мненья
Он моего не хочет знать,
Что долг мой есть повиновенье,
Что он привык повелевать.
Я в страхе на колени стала,
И плакала, и умоляла,

Чтобы меня он пощадил,
Уж лучше б в монастырь пустил.
Он топнул... А ему я снова:
«Отец! ведь я люблю другого!»
А он меня ударил... Как,
Что после — помню как сквозь мрак.
Вскочив, отца не видя боле,
Тайком ушла я садом в поле.
Забыла холод, голод, труд —
Ушла искать себе приют.

<1855>

И<СКАНДЕ>РУ

О! если б ты подумать только мог,
Что пробудил во мне твой голос издалека,
Как вызвал тьму заглохнувших тревог,
Как рану старую разбередил глубоко!
В испуге ты и с воплем бы ко мне
На шею кинулся, любя меня как прежде;
Но, свидясь вновь, мы в скорбной тишине
Уже не вверимся ребяческой надежде.
Нет! проклят будет этот век,
Где торжествует все, что низко и лукаво,
И где себе хороший человек
Страданья приобрел убийственное право.
Но все ж вперед! Быть может, нам дано
Прожить еще года в бесплодном этом споре,
И — как святыня глупая — одно
Для нас останется — безвыходное горе!

1855(?)

НЕМНОГИМ

Я покидал вас, но без слез —
Лета навеяли мне стужу,
И тайный взрыв сердечных гроз
Уже не просится наружу.

А сердце ныло в тишине
В час расставанья, час печали,
И в сокровенной глубине
Немые скорби оседали.

Так под корою ледяной
Зимою скрытый — осторожно,
Никем не слышим — ключ живой
Трепещет сжато и тревожно.

1856, 14 марта

FASHIONABLE[1]

Я люблю, мой fashionable,
Ваши речи и ухватки;
Ваши речи уж конечно
И остры и очень сладки.

Как вы мило говорите,
Сидя близ аристократки, —
Каламбуры, анекдотцы,
Комплименты и загадки.

Если вы в лорнет глядите,
То вдруг смело, то украдкой —
Я любуюсь вашей ручкой,
Вашей лайковой перчаткой.

Но нельзя ли издали́ мне
Наслаждаться речью сладкой,
И не жмите вы руки́ мне
Вашей лайковой перчаткой!

<1856>

СТАРИК

Еще я бодр! Еще, тоскуя,
Желанье разжигает кровь,
Еще я жажду поцелуя,
Еще я грежу про любовь!

---

[1] Светский человек (англ.).

Но девы от моих нападок
Бегут, исполнены стыда,
И старый вид мой стал им гадок,
Страшна седая борода.

Подчас ищу попасться в сети
Иной красавицы лихой,
Но вижу — юноши и дети
Тишком смеются надо мной;

И, опустив безмолвно руки,
Воспоминанием томим,
Средь тайной злобы или скуки
Я мыслю, тих и нелюдим:

«Постой, красавица! увянешь
И поседеешь наконец,
И если страстным взором взглянешь —
Ответит смехом молодец».

<1856>

ВЕСНОЮ

Брожу я пó лесу тропою каменистой:
Трепещут и блестят в ветвистой вышине
Зеленые листы под влагою росистой,
И сосен молодых дух свежий и смолистый
В весеннем воздухе отрадно веет мне;
Пчела жужжит, и ранний луч денницы
Встречают песнями ликующие птицы.

Схожу я к берегу на мшистый край стремнины,
Смотрю — внизу река клокочет и шумит,
За нею озимей спокойные равнины
С их юной зеленью... Всё нежные картины!
И столько счастливый и столько ясный вид,
Что, весело смотря на все живое,
Я чувствую в себе раздолье молодое.

<1856>

* * *

Ты сетуешь, что после долгих лет
Ты встретился с своим старинным другом,
И общего меж вами вовсе нет...
Не мучь себя ребяческим недугом!
Люби прошедшее! Его очарований
Не осуждай! Под старость грустных дней
Придется жить на дне души своей
Весенней свежестью воспоминаний.

<1856>

К ЛИДИИ

Когда ты, грустная, слезу стерев с ресницы,
Задумчиво глядишь на прошлый путь,
Не видишь в будущем ни проблеска зарницы
И ищешь день убить бы как-нибудь, —
Ведь я сочувствую тебе, и мне обидно,
Что жить тебе так страшно тяжело,
А между тем, мой друг, и самому мне стыдно,
Насколько жить мне вольно и светло!
Печален я теперь; но вдруг шипучей влагой
Иль улицы движеньем увлечен,
Я полон становлюсь разгульною отвагой
И в эту жизнь младенчески влюблен.

<1856>

БАРЫШНЯ

В деревне барышня стыдливо,
Как ландыш майский, расцвела,
Свежа, застенчива, красива,
Душой младенчески мила.
Она за чтением романа
Чего-то в будущем ждала,
Играла вальс на фортепьяно
И даже с чувством петь могла.
Привычки жизни, барству сродной,
Невольно как-то отклонив,

Она имела благородный,
Хоть бессознательный порыв,
И плакала, когда, бывало,
На слуг сердясь, шипела мать,
И иногда отцу мешала
Сурово власть употреблять;
Любила летом вод паденье
И сада трепетную тень,
Катанья зимнего движенье
И вечеров тоску и лень.
И где она? и что с ней сталось?
В ней сохранился ль сердца жар?
Иль замуж вышла как попалось?
Заезжий ли пленил гусар,
Или чиновник вороватый —
Смиренно-гаденький чудак?
Иль барин буйный и богатый —
Любитель водки и собак?
Иль, может, по сердцу героя
В степной глуши не находя,
Себя к хозяйству не пристроя,
Свой мир заоблачный щадя,
Она осталась девой чинной
Все с тем же вальсом и умом,
С душой младенчески невинной,
Но с увядающим лицом;
И вечно входит в умиленье
И романтическую лень,
Встречая летом вод паденье
И сада трепетную тень?

<1856>

НА МОСТУ

Я на мосту стоял. Река
В ночи, недвижно-широка,
Под ледяным своим покровом
Светилась пологом свинцовым.
Далеко трепетным огнем
В тумане фонари мерцали;

Высоко в воздухе ночном
Дома угрюмые стояли,
И редко в тишине звучал
По жестким плитам шаг пустынный,
Иль стук кареты дребезжал,
Спешащей путь покончить длинный.
Рождало чувство пустоты
Вопрос — подобие мечты,
И не могла мне до рассвета
Пустая ночь подать ответа.

<1856>

* * *

Проклясть бы мог свою судьбу,
Кто весь свой век, как жалкий нищий,
Вел бесконечную борьбу
Из-за куска вседневной пищи;

Кто в ветхом рубище встречал
Зимы суровые морозы,
Кто в отупеньи забывал
Пролить над милым прахом слезы.

Не слушал томно при луне
Ни шум ручья, ни звук свирели,
А ждал в печальной тишине
Пустого дня под свист метели;

Кто ликований и пиров
Не знал на жизненном просторе,
Не ведал сладкой грусти снов,
А знал одно сухое горе.

Но много сносит человек
Средь жажды жить неутолимой,
И как бы жалок ни был век —
Страшит конец неотразимый!..

<1856>

DIE GESCHICHTE[1]

За днями йдут дни, идет за годом год —
С вопросом на устах, в сомнении печальном
Слежу я робко их однообразный ход.
И будто где-то я затерян в море дальнем —
Все тот же гул, все тот же плеск валов
Без смысла, без конца, не видно берегов;
Иль будто грежу я во сне без пробужденья,
И длинный ряд бесов мятется предо мной:
Фигуры дикие, тяжелого томленья
И злобы полные, враждуя меж собой,
В безвыходной и бесконечной схватке
Волнуются, кричат и гибнут в беспорядке.
И так за годом год идет, за веком век,
И дышит произвол, и гибнет человек.

<1856>

ПОРТРЕТЫ

Печально я смотрю на дружние портреты —
Черты знакомые и полные тоски!
Такие ль были мы, друзья, в былые леты,
Когда, еще унынья далеки,
Мы бодро верили в надежде благородной,
Что близок новый мир, широкий и свободный?
И вот теперь рассеялися мы...
Иные в гроб сошли, окончив подвиг трудный
Жить в этом мире хаоса и тьмы.
Мы проводили их. В пустыне многолюдной
Немногие осталися в живых:
Они должны свершить остаток дней своих,
Томясь в труде безвестном и бесплодном,
В уединении бесцветном и холодном.

<1856>

---

[1] История (нем.).

* * *

Опять знакомый дом, опять знакомый сад
И счастья детские воспоминанья!
Я отвыкал от них... и снова грустно рад
Подслушивать неясный звук преданья!
Люблю ли я людей, которых больше нет,
Чья жизнь истлела здесь, в тиши досужной?
Но в памяти моей давно остыл их след,
Как след любви случайной и ненужной!
А все же здесь меня преследует тоска, —
Припадок безыменного недуга,
Все будто предо мной могильная доска
Какого-то отвергнутого друга...

<1856>

* * *

Я наконец оставил город шумный,
Из душных стен я вырвался на миг;
За мною смолкнул улиц треск безумный
И вдалеке докучный говор стих,
И вот поля равниною безбрежной
В вечернем блеске дремлют безмятежно.

Люблю я вас, вечерние отливы
И с далью неба слитый край земли,
Цветок лазурный между желтой нивы
И птички песню звонкую вдали.
О, как давно уже в тиши раздольной
Я не дышал беспечно и привольно!

Мне хорошо... но отчего ж так грустно?
Душа мягка и вместе больно ей,
И сельский быт невинный, безыскусный
Меня томит, как память детских дней.
Утратилось невинности значенье,
Тоскует грудь в тяжелом умиленьи.

О, по душе прошло с тех пор так много —
Гнет истины, ошибок суета,
Порок, страстей безумная тревога,

И сладкой жажды чувствовать тщета,
Рассудка власть и грозная работа,
И мелкой жизни мелкая забота.

Поля, поля! ваш мир меня объемлет,
Но кротких чувств он не приносит мне;
Как прежде, сердце в тихом сне не дремлет...
Вы мне теперь, в вечерней тишине,
Растроганность болезненную дали,
Слезу души и внутренней печали.

<1856>

<Е. Ф.> КОРШУ

Из края бедных, битых и забитых
Я переехал в край иной —
Голодных, рубищем едва покрытых
На стуже осени сырой.
И то, что помню я, и то, что вижу ныне,
Не веет отдыхом недремлющей кручине.
Я помню смрад курной избы,
Нечистой, крошечной и темной,
И жили там мои рабы.
Стоял мужик пугливо-томный,
Возилась баба у печи
И ставила пустые щи,
Ребенок в масляной шубенке,
Крича, жевал ломо́ть сухой,
Спала свинья близ коровенки,
Окружена своей семьей.
Стуча в окно порой обычной,
На барщину десятский звал,
Спине послушной и привычной —
Без нужды розгой угрожал.
Я помню, как квартальный надзиратель,
Порядка русского блюститель и создатель,
Допрашивал о чем-то бедняка,
И кровь лилась под силой кулака,
И человек, весь в жалком беспорядке,
Испуганный, дрожал, как в лихорадке.
Я годы, годы не забыл,
Как этот вид противе́н был...

И после мы — друзей в беседе пылкой —
О родине скорбели за бутылкой.
И вижу я: у двери кабака,
Единого приюта бедняка,
Пред мужем пьяным совершенно
Полуодетая жена
В слезах, бледна, изнурена,
Стоит коленопреклоненна
И молит, чтобы шел домой,
Чтоб ради всей щедроты неба
Сберег бы грош последний свой,
Голодным детям дал бы хлеба.
А мимо их спешит народ,
Трещат без умолку коляски,
И чувствуешь — водоворот,
Кружение бесовской пляски...
О ты, который упрекал
Мой стих за мрачность настроенья,
За байронизм, и порицал
Меня с серьезной точки зренья,
Поди сюда, серьезный человек,
Отнюдь не верующий в бедство
И уважающий наш век!
Взгляни на лик, состарившийся с детства;
На хаос жизни пристально взгляни,
И лгать не смей, а прокляни
Весь этот род болезненный и злобный
И к лучшему нисколько не способный.

1856

И<СКАНДЕ>РУ

Die Rotweine regen die Kreislaufsorgane stark auf.[1]

(Фармакология Курта Шпренгеля)

В уныньи медленном недуга и леченья
Скучает ум, молчат уста,
И жду я с жадностью минуты исцеленья,
Конца тяжелого поста.

---

[1] Красное вино сильно возбуждает органы кровообращения (нем.).

Удастся ль помянуть нам доблестное время
    Упругих мышц и свежих сил,
Когда без устали ночей бессонных бремя
    Наш бодрый возраст выносил?
До уст, взлелеянных вакхической отвагой,
    Коснется ль снова, жар тая,
И мягким запахом и бархатною влагой
    Вина пурпурная струя?
Садись! Достану я из-под седого слоя
    Бутылку мшистую мою
И, набок наклоня, — с падучего отстоя
    В стаканы бережно солью.
Но годы уж не те! И, кровь напитком жгучим
    Бесплодно в жилах разогрев,
Уже мы не пойдем в волнении могучем
    На праздник сладострастных дев.
Ни плечи белые, ни косы развитые,
    Ни взор полуприподнято́й —
Уже не пробудят в нас страсти прожитые
    И тела трепет молодой.
От фавна старого таятся робко девы
    В зелено-свежей мгле дубров
И внемлют юношей влюбленные напевы
    Сквозь шум колеблемых листов.

Боюсь, не вызвать бы, средь наших возлияний,
    Перебирая жизни даль,
И горечь едкую иных воспоминаний
    И современную печаль!
Не вспомнить бы людей враждующие лицы,
    Их злобы грубые черты,
И их любовь, дряблей изношенной тряпицы, —
    Прикрытье жалкой клеветы;
Не встретить бы в веках насилий и стяжанья
    Неисцелимую болезнь,
Не вспомнить бы утрат могильные преданья
    И счастья смолкнувшую песнь.
Скорей — давай шутить! Пусть шутки дар
                                                  нескромный
    Даст волю блесткам острых слов,
Ярко мелькающих — как искры ночью темной
    Над пеплом тлеющих костров.

Да! шутка нас спасет. Ее мы за послугу
Сравним с красавицей больной,
В предсмертный час еще дарящей другу
Привет улыбки молодой.

Конец 1856

SEHNSUCHT[1]

О, если бы я мог хотя на миг один
Отстать от мелкого брожения людского;
Я радостно б ушел, туда, за даль равнин,
На выси горные, где свежая дуброва

Зеленые листы колышет и шумит,
Между кустов ручей серебряный журчит;
Жужжит пчела, садясь на стебель гибкий,
И луч дневной дрожит сквозь чащи зыбкий.

Там соловей споет мне песню про весну;
Забуду прошлое и, впредь не видя цели,
Я лягу на траву душистую и сну
Предамся сладостно, как будто в колыбели.

1855—1856

ВОРЦЕЛЬ

У гроба твоего в торжественной печали
Безмолвно я стоял и думал в тишине...
Вид тела мертвого давно не новость мне,
А слезы на глаза невольно выступали.
Все та же комнатка знакомая, где ты
Свой отжил век среди лишений и мечты.
Одна свеча горит; печален угол бедный,
И труп передо мной лежит худой и бледный.

А как твой мертвый лик спокоен и прекрасен!
Седые волосы; а умное чело
Застыло, словно воск, и бело, и светло,
И взор хотя закрыт, а кажется, что ясен.

---

[1] Томление (нем.).

Улыбка скорбная прошла не без следа,
На грудь раскинулась седая борода,
Рубашка белая, потом худые руки...
Да! знаем: умер ты от затаенной муки!

1857, февраль

ПРЕДИСЛОВИЕ К „КОЛОКОЛУ"

Россия тягостно молчала,
Как изумленное дитя,
Когда, неистово гнетя,
Одна рука ее сжимала;
Но тот, который что есть сил
Ребенка мощного давил, —
Он с тупоумием капрала
Не знал, что перед ним лежало,
И мысль его не поняла,
Какая есть в ребенке сила:
Рука ее не задушила —
Сама с натуги замерла.

В годину мрака и печали,
Как люди русские молчали,
Глас вопиющего в пустыне
Один раздался на чужбине;
Звучал на почве не родной —
Не ради прихоти пустой,
Не потому, что из боязни
Он укрывался бы от казни;
А потому, что здесь язык
К свободномыслию привык —
И не касалася окова
До человеческого слова.

Привета с родины далекой
Дождался голос одинокой,
Теперь юней, сильнее он...
Звучит, раскачиваясь, звон,
И он гудеть не перестанет,
Пока — спугнув ночные сны —
Из колыбельной тишины

Россия бодро не воспрянет
И крепко на ноги не станет,
И, непорывисто смела,
Начнет торжественно и стройно,
С сознаньем доблести спокойной,
Звонить во все колокола.

1857, май—июнь

СУШЬ И ДОЖДЬ

1

Нет ни тучки, солнце пышет,
Ярко блещет синева,
Воздух душный знойно дышит,
Блекнет бедная трава;
Нива рано пожелтела,
Сохнет колос, цвет убит;
Наша речка обмелела,
Наша мельница молчит.
Роща листья опустила,
Птице дышится с трудом,
Стадо тощее уныло
Дремлет в сне полуживом.
Людям жутко в эту пору,
Будет голод, жизнь тяжка;
По блестящему простору
Всюду мертвая тоска.

2

Сияло звездное мерцанье,
А ветра влажного дыханье
Из-за морей, издалека
Сгоняло в тучу облака.
И туча тихо подступала,
И звезды мраком застилала,
Сверкнула молния, и гром
Пронесся в трепете глухом.

И ближе грозное движенье,
И, видя тучи приближенье,
Все наше бедное село
В отрадном ужасе ждало.
Пришла и небо обложила,
И дождь обильный пролила,
И землю влагой напоила,
И в путь торжественно ушла.

3

Воздух мягок, утро блещет
И прозрачна синева,
В каплях радужных трепещет
Окропленная трава.
Снова речка зашумела,
В роще свежесть, лист пахуч,
Птица весело запела,
Стадо за ночь поюнело,
Вышло встретить ранний луч....
Но пропала наша нива,
Наша мельница пуста;
Не сойдет миролюбиво
К нам улыбка на уста.
След тяжелый жизни скудной
Ляжет усталью на нас...
Хоть детей бы рок наш трудный
Миновал, не повторясь,
Чтоб у них был плодотворен
Вешний дождь и летний зной,
Нивы колос многозерен,
Днем веселым труд проворен,
Мирен сон в тиши ночной.

1857, 31 августа

НРАВОУЧЕНИЕ

Окрестность вся молчит. Один стопой бездомной
Блуждает в вышине, светяся, месяц томный.
Безумный человек! Земной свершая путь,

Ты хочешь вразумить из них кого-нибудь...
Иди своей стезей пустынной и безгласной,
Как месяц в вышине — бесчувственный и ясный.

1857

ОТСТУПНИЦЕ

(Посвящено гр. Р<остопчино>й)

Теперь идет существованье
С однообразием волны...
Но миг случайный, намеканье —
И будит вновь воспоминанье
Давно утраченные сны.
Так звук внезапный воскрешает
Всю песнь забытую — и вот
Знакомый голос оживает,
Знакомый образ восстает;
Из-за туманов ночи мрачной
Восходит жизнь прошедших лет,
Облечена в полупрозрачный,
Полузадумчивый рассвет.

Все это только род вступленья,
Чтобы сказать, что как-то раз,
Тревожа тени из забвенья,
Случайно вспомнил я о вас.
Воскресло в памяти унылой
То время светлое, когда
Вы жили барышнею милой
В Москве, у Чистого пруда.
Мы были в той поре счастливой,
Где юность началась едва,
И жизнь нова, и сердце живо,
И вера в будущность жива.
Двором широким проезжая,
К крыльцу невольно торопясь,
Скакал, бывало, я — мечтая —
Увижу ль вас, увижу ль вас!

Я помню... (годы миновали!)...
Вы были чудно хороши;

Черты лица у вас дышали
Всей юной прелестью души.
В те дни, когда неугомонно
Искало сердце жарких слов,
Вы мне вручили благосклонно
Тетрадь заветную стихов.
Не помню — слог стихотворений
Хорош ли, нехорош ли был,
Но их свободы гордый гений
Своим наитьем освятил.
С порывом страстного участья
Вы пели вольность, и слезой
Почтили жертвы самовластья,
Их прах казненный, но святой.
Листы тетради той заветной
Я перечитывал не раз,
И снился мне ваш лик приветный,
И блеск и живость черных глаз.

Промчалась, полная невзгоды,
От вас далеко жизнь моя;
Ваш милый образ в эти годы
Как бы в тумане помнил я.
И как-то случай свел нас снова
В поре печальной зрелых лет...
Уже хотел я молвить слово,
Сказать вам дружеский привет;
Но вы какому-то французу
Свободу поносили вслух,
И русскую хвалили музу
За подлый склад, за рабский дух.
Меня тогда вы не узнали,
И я был рад: я увидал,
Как низко вы душою пали,
И вас глубоко презирал.
Скажите — в этот вечер скучный,
Когда вернулись вы домой,
Ужель могли вы равнодушно
На ложе сна найти покой?
В тиши угрюмой ночь глухая,
Тоску и ужас навевая,
Вам не шептала ли укор,

Что вы отступница святыни,
Что вы с корыстию рабыни
Свой голос продали за вздор?

Мне жалко вас. С иною дамой
Я расквитался б эпиграммой;
Но перед вами смех молчит,
И грозно речь моя звучит:
Покайтесь грешными устами,
Покайтесь искренно, тепло,
Покайтесь с горькими слезами,
Покуда время не ушло!
Просите доблестно прощенья
В измене ветреной своей —
У молодого поколенья,
У всех порядочных людей.
Давно расстроенную лиру
Наладьте вновь на чистый строй;
Покайтесь, — вам, быть может, миру
Сказать удастся стих иной, —
Не тот напыщенный, жеманный,
Где дышит холод, веет тьма,
Где все для сердца чужестранно
И нестерпимо для ума;
Но тот, который, слух лаская,
Звучал вам в трепетной тиши
В те дни, когда вы, расцветая,
Так были чудно хороши.
Не бойтесь снять с себя личину
И обвинить себя самих:
Христос Марию Магдалину
Поставил выше всех святых!
И нет стыда просить прощенья,
И сердцу сладостно прощать...
И даже я на примиренье
Готов, по правде вам сказать, —
И слов моих тем не ослаблю:
Я б и Клейнмихелю простил,
Когда б он девственную саблю
За бескорыстность обнажил.

1857

КАВКАЗСКОМУ ОФИЦЕРУ

Огни, и музыка, и бал!
Красавиц рой, кружась, сиял.
Среди толпы, кавказский воин,
Ты мне казался одинок!
Твой взгляд был грустен и глубок,
От тайного движенья неспокоен.

Тупой ли долг, любви ль печаль
Тебя когда-то гнали вдаль?
Или безвыходное горе?
Иль жажда молодой мечты —
Увидеть горные хребты
И посмотреть на юг и сине море?

И, возвратясь из тех сторон,
Ты, может, мыслью удручен,
Что — раб безумия и века —
Ты на войне был палачом,
И стало жаль тебе потом,
Что ни с чего зарезал человека?

А впрочем, может быть, что ты —
Питомец праздной пустоты —
Сидел усталый и бездушный,
А я сочувствие к тебе
Смешно натягивал в себе —
Попрежнему мечтатель простодушный.

<1857>

БУДУЩНОСТЬ

Я видел девочку с кудрями золотыми
И личком беленьким, и глазками живыми;
Она, в движениях беспечна и мила,
Вся детской резвостью проникнута была,
Дрожал по плечикам, волнуясь, локон зыбкой

И ротик маленький был озарен улыбкой;
А гости не могли восторга превозмочь,
Твердя родителям, как хороша их дочь.
    Я на нее глядел, волнуем думой вещей,
Как некогда в толпе, предвидя день тревог,
На шумном празднике стоял пророк зловещий
И победить в себе уныния не мог.
Я думал, что дитя роскошно разовьется,
Как роза пышная, — а из подземной тьмы
И страсть подкрадется, и горе принесется;
Умрут отец и мать, как все умрем и мы,
И дева робкая взойдет в семью чужую,
И жизнь ее пройдет средь перемежных ссор, —
Как в длинном сне порой, сжимая грудь больную,
С каким-то призраком ведется глупый спор;
Потом, от старости сердяся и хилея,
Умрет она сама, о чем-то пожалея,
И только на стене останется портрет,
Написанный давно, когда-то, в цвете лет. . .
Быть может, внук тупой на лик случайно взглянет
И имя бабушки рассеянно помянет;
А там пройдут еще безвестные года —
И имени ее не будет и в помине,
И в мире от нее не сыщется следа,
Как после голоса, замолкшего в пустыне. . .

<1857>

СОВРЕМЕННОЕ

Вот Семен Авдеич
Крикнул, зло немножко:
«Филька! . . ерофеич! . .
Все сосет под ложкой.
Ты, дурак, скажи-ка —
Врал там кто с тобою —
Даст-де царь великой
Волю да с землею?
Что ж? поверил сдуру?

А? холопья морда!
Ты свою фигуру
Держишь больно гордо.
Эдак мне умыться
От тебя, крамольный,
Скоро не добиться;
Скажешь — я-де вольный!
Ну! вы что от воли
Ждете за послугу?
Излениться, что ли,
Да и спиться с кругу?
Чай, мой дед недаром
Вас купил с землями
И причислен к барам:
Нажил всё трудами;
Долго службу правил,
Исполнял веленья
И себе составил
Важное именье.
Ну! с твоей ли рожей
Станешь ты вдруг волен?
Спи себе в прихожей
Да и будь доволен».
«Эх, Семен Авдеич!
Успокойтесь, барин,
Пейте ерофеич,
Век у нас бездарен.
Те, к царю кто ближе,
Наши лиходеи,
Думают как вы же,
Тупы и злодеи.
Неизвестно, что ли, —
Там всё разговоры:
Не дадут нам воли
Панины да воры;
Так восторжествуют,
Так подпустят шпильку,
Что кругом надуют
И царя и Фильку».

1858, август

К <В. А. ПАНАЕВУ>

Когда в цепи карет, готовых для движенья,
Нашли вы место наконец,
И приютились, как мудрец,
Меж девственных старух избегнув искушенья,
И взвизгнул роковой свисток
И в дальний путь вас пар увлек;
Смущен, как человек пред диким приговором,
За быстрым поездом следил я долгим взором,
Пока он скрылся — и за ним,
Помедлив, разлетелся дым;
Пустынно две бразды железные лежали,
И я пошел домой, исполненный печали...

Так вы уехали! .. А длинный разговор
Еще звучит в ушах, как дружелюбный спор;
Но обоюдные запросы и сомненья
Уныло на душе остались без решенья.
Что эти сумерки — пророчат ли рассвет?
Иль это вечер наш, и ночь идет вослед?
Что миру — жизнь иль смерть готова?
Возникнет ли живое слово?
Немое множество откликнется ль на зов?
Иль веру сохранит в ношение оков?
Как это знать! .. Так сеятель усталый
Над пашнею, окончив труд немалый,
Безмолвствуя в раздумии стоит
И нá небо и нá землю глядит:
Прольется ль свежий дождь над почвой оживленной,
Или погибнет сев, засухою спаленный? ..

Я знаю: с родины попутный ветр пошел,
Заря проснулася над тишиною сёл;
Как древний Ной — корабль причалил к Арарату,
И в море тихое мы пролагаем путь,
Как мирный мост, как связь востоку и закату,
И плавно хочет Русь все силы развернуть.
Я знаю — с берега Британии туманной
Живою жилою под морем нить прошла
До мира нового... И вот союз желанный!

И так и кажется, что расступилась мгла —
И наши племена, с победной властью пара,
Дорогу проведут вокруг земного шара.
Оно торжественно! И воздух свежих сил
Так дышит верою в громадность человека...
А тут сомнение и веянье могил
Невольно чуется при замираньи века.
И вижу я иные племена —
Тут — за морем... Их жажда — кровь, война,
И, хвастая знаменами свободы,
Хоть завтра же они скуют народы.
Во имя равенства все станет под одно,
Во имя братства всем они наложат цепи,
Взамен лесов и нив — всё выжженные степи,
И просвещение штыками решено,
И будет управлять с разбойничьей отвагой
Нахальный генерал бессмысленною шпагой.

Чем это кончится? Возьмет ли верх палач
И рабства уровень по нас промчится вскачь?
Иль мир поднимется из хаоса и муки
При свете разума, при ясности науки?
Как это знать? Над пашнею стою,
Как сеятель, и голову мою
Готов сложить без сожаленья;
Но что же мой последний миг —
Он будет ли тяжелый крик,
Иль мир спокойного прозренья?..

Вас проводя, так думал я, друг мой,
В безмолвии, когда я шел домой;
Но обоюдные запросы и сомненья
Уныло на душе остались без решенья.

1858, после августа

* * *

Я помню — в тиши яснолунных ночей
С утеса катился ручей,
Серебряной нитью, чиста, холодна,
Сверкала, сверкала волна,

Серебряной нитью, чиста, холодна,
Шумела, шумела она.
И, видя падения трепетный блеск
И слушая трепетный плеск,
На сердце безвыходно, странно тяжка,
Ложилась немая тоска.

Внизу от утеса, широко-ровна,
Шла степь — и по ней тишина,
И сколько бы гул от ручья ни звучал,
Но в этой дали пропадал.
И глядя сквозь мглу и мерцанье окрест
В пустынную тишь этих мест,
И глядя все выше и выше от них
В пустыню небес голубых, —
На сердце безвыходно, странно тяжка,
Ложилась немая тоска.

1858

ЛЕТОМ

Мой друг, не вижу я средь английских полей
Станицы сто́рожкой высоких журавлей,
И посвистом тройным в траве, всегда скошенной,
Не свищет перепел, отрадно затаенной,
Не стонет коростель в вечерней тишине;
Один — космополит — трепещет в вышине,
Как точка малая, веселый жаворо́нок,
И здесь его напев все так же чист и звонок;
Да воробей еще — другой космополит —
По кровлям и в садах и скачет и пищит.
На Темзе не видать, чтоб диких уток стая
Садилась на воду, кругами налетая;
Ручные лебеди над грязью тусклых вод
Одни белеются, минуя пароход.
Сурово осудил невинные созданья
Жестокий человек на дальние изгнанья,
Пугая злобно их и силой, и враждой,
И смертью дикою — зане он царь земной.
Зато промышленность развита у народа,
И рабство тайное, и для иных свобода;

Все это хорошо, я скоро в прозе сам
Развитию хвалу торжественно воздам.

Но сердцем я дикарь! Мне хочется на лоно
Раздольной роскоши моих родных степей,
Где взору нет конца до края небосклона,
Где дремлет в знойный день станица журавлей, —
Один настороже́ стоит, поднявши ногу,
И в миг опасности готов поднять тревогу;
Где слышен дергача протяжный, грустный стон,
Когда уходит день за дальний небосклон;
Где перепел свистит, таясь в зеленом море
Некошеной травы; где жить им на просторе
Привольно и легко, при ясном, теплом дне,
В благоухающей, безбрежной стороне.

Иль наш дремучий лес, и шум, и колыханье,
И в чаще пенье птиц, и пчел и мух жужжанье. . .
И вновь мне хочется, чтоб мирно, без тревог,
В тенистой зелени я заплутаться мог,
Дождаться вечера. . . Закат в мерцаньи дальнем
По листьям золотым блестит лучом прощальным,
За птицей птица вслед смолкает в тишине,
И лес таинственный почиет в свежем сне;
Одни кузнечики, по ветреной привычке,
Трепещут у корней в болтливой перекличке.
Да где-то явственней становится слышна
Ручья журчащего бессонная волна.
И жду я месяца. . . Он встал над лесом мглистым,
Прокрался сквозь вершин отливом серебристым.
И призрачно встают, как бы из мира грез,
Все белые, стволы развесистых берез,
Задумчиво в тиши понурились ветвями
И робко шепчутся па̀хучими листами. . .
Но месяц клонится, светлей лесная мгла,
Проснулась иволга, жужжа, летит пчела,
И вновь, разбуженный алеющей зарею,
Заколебался лес под влажною росою.

1858

РАЗЛУКА

Ночь была прозрачна:
Мирный блеск луны,
Синей мглы мерцанье,
Кротость тишины...
Нашей старой ивы
Не качался лист
И висел безмолвно —
Свеж и серебрист.
Думала я долго:
Жив ли милый мой?
Что-то он не пишет
С стороны чужой!
Видно, все не время,
Много все забот...
А вот мне до утра
Сон на ум нейдет.

Утро проглянуло
Золотым лучом,
Мне в окно пахнуло
Ранним ветерком.
Нашей старой ивы
Встрепенулся лист
Шорохом дрожащим —
Зелен и росист.
Встала я с постели...
Что-то милый мой?
Скоро ли напишет
С стороны чужой?

1858

СВОБОДА

(1858 года)

Когда я был отроком тихим и нежным,
Когда я был юношей страстно-мятежным,
И в возрасте зрелом, со старостью смежном,

Всю жизнь мне все снова, и снова, и снова
Звучало одно неизменное слово:
Свобода! Свобода!

Измученный рабством и духом унылый
Покинул я край мой родимый и милый,
Чтоб было мне можно, насколько есть силы,
С чужбины до самого края родного
Взывать громогласно заветное слово:
Свобода! Свобода!

И вот на чужбине, в тиши полунощной,
Мне издали голос послышался мощный...
Сквозь вьюгу сырую, сквозь мрак беспомóщный,
Сквозь все завывания ветра ночного
Мне слышится с родины юное слово:
Свобода! Свобода!

И сердце, так дружное с горьким сомненьем,
Как птица из клетки, простясь с заточеньем,
Взыграло впервые отрадным биеньем,
И как-то торжественно, весело, ново
Звучит теперь с детства знакомое слово:
Свобода! Свобода!

И все-то мне грезится — снег и равнина,
Знакомое вижу лицо селянина,
Лицо бородатое, мощь исполина,
И он говорит мне, снимая оковы,
Мое неизменное, вечное слово:
Свобода! Свобода!

Но если б грозила беда и невзгода,
И рук для бóрьбы захотела свобода, —
Сейчас полечу на защиту народа,
И если паду я средь битвы суровой,
Скажу, умирая, могучее слово:
Свобода! Свобода!

А если б пришлось умереть на чужбине,
Умру я с надеждой и верою ныне;
Но в миг передсмертный — в спокойной кручине

Не дай мне остынуть без звука святого,
Товарищ! шепни мне последнее слово:
Свобода! Свобода!

1858

* * *

«Дитятко! милость господня с тобою!
Что ты не спишь до полночи глухой?
Дай я тебя хоть шубенкой прикрою,
Весь ты дрожишь, а горячий какой. . .» —

«Мама! гляди-ка — отец-то, ей-богу,
С розгой стоит и стучится в окно. . .» —
«Полно! отец твой уехал в дорогу,
Полно! отец твой нас бросил давно». —

«Мама! а видишь — вон черная кошка
Злыми глазами косится на нас. . .» —
«Полно же ты, моя милая крошка,
Кошка издохла — вот месяц как раз». —

«Мама! а видишь — вон бабушка злая
Пальцем грозит на тебя из угла. . .» —
«Полно же — с нами будь сила святая!
Бабушка с год уж у нас умерла». —

«Мама! гляди-ка — всё свечи да свечи,
Так вот в глазах и блестит и блестит. . .» —
«Полно, родимый, какие тут свечи,
Сальный огарок последний горит». —

«Мама! .. темнеет! .. мне душно, мне душно! ..
Мама!» — «Тс! .. спит. А огарок погас. . .
До свету долго, и страшно и скучно! ..
Крестная сила, помилуй ты нас!»

1858

МОРЕ

Симфония

Сцена на корабле, который плывет. Вдали виден берег и город, постепенно исчезающий. Вечерний свет постепенно переходит в сумерки.

Introductio [1], во время которой поднимается занавес.

ADAGIO [2]

Гонсальво (tenore) [3]

В сияньи вечера на крае небосклона
Еще мой город виден мне,
За далью синею колеблемого лона
Почивший в светлой тишине;
Тот город, где звучал у детской колыбели
Мне голос матери моей,
Где годы юности безумно пролетели
В броженьи мыслей и страстей;
Где все, чтó я любил, томяся и страдая,
Погибло волею судеб,
И дышит старый мир, бесплодно отживая,
И лицемерен и свиреп.
Плыву в безвестный путь, заветной думы полный,
Исчез за морем город мой,
И только небеса осталися да волны...
Прощай, прощай, мой край родной!

1858

ФРАНЦИЯ

Мне живо памятно, как умирал отец,
Как пульс его слабел и упадали силы,
Как мозг унылый был расстроен под конец,
И страшно чуялось дыхание могилы;
И то, что думал он в передпоследний миг,
И то, что говорил блуждающий язык, —

[1] Интродукция, вступление (итал., муз. термин).
[2] Часть симфонии, спокойного, медленного темпа (итал., муз. термин).
[3] Тенор (итал.).

То был печальный бред, какой-то детский лепет,
И обдавал меня всего холодный трепет.

Теперь присутствую я при судьбе иной,
При умирании великого народа;
Он разлагается. Шатаясь, как больной,
По прежней памяти он все твердит: свобода...
Но что он думает в передпоследний миг,
Что говорит его блуждающий язык? —
Опять печальный бред, какой-то детский лепет,
И снова обдает меня холодный трепет.

1858

* * *

Сторона моя родимая,
Велики твои страдания,
Но есть мощь неодолимая,
И мы полны упования:

Не сгубят указы царские
Руси силы молодецкие, —
Ни помещики татарские,
Ни чиновники немецкие!

Не пойдет волной обратною
Волга-матушка раздольная,
И стезею благодатною
Русь вперед помчится вольная!

1858

DIDAKTISCH[1]

У вас законы есть, и казнь в порядке строгом
У каждого своя: у нас — Сибирь, рудник.
А здесь, в чужих землях, — так петля, да и с богом,
Но всё, чтоб в казни был другим пример велик.

---

[1] Поучительно, наставительно (нем.).

За что казнят? украл? убил? И как ехидно
Все рвутся на него со злостью... Это стыдно!
Что он злодеем стал — в том виноваты вы,
Своекорыстием на безучастном пире,
А вдруг теперь его хотите головы
За то, что зверем жил он в бесприютном мире.
Мысль эта не нова, быть может и стара.
Зачем же нам искать насильно мыслей новых?
Довольно тяжела и старая хандра,
Довольно горечи от помыслов готовых...

Но все ж, когда вот я по улице брожу
И в грязном рубище мальчишку нахожу
С таким лицом, что я, от ужаса бледнея,
Тотчас предчувствую грядущего злодея, —
Я не свирепствую, квартальных не кричу,
Обычный грош ему безмолвно я плачу,
И что б ни сделал он — вперед ему прощаю,
Но мир, в котором он стал зверем, — проклинаю.

1858

СТАНСЫ ПУШКИНА. 1826

(Анненкову)

Ich riss sie blutend aus dem wunden Herzen
Und weinte laut und gab sie hin...

Schiller [1]

Мой друг, я стансы прочитал,
Но все же с ними несогласен,
Их тайный смысл не только мал,
Но даже гадок и опасен.

Как ни отличен стих и слог,
Как ни прекрасны выраженья, —
Я все же их прочесть не мог
Без глубочайшего презренья.

---

[1] «И, обливаясь кровью, я вырвал ее <Лауру> из раненого сердца и с громким плачем отдал ее...» *Шиллер.*

Да будет проклят тот певец,
Кому страдания не чужды, —
А он становится подлец
Без поощренья и без нужды.

О! не хвали печальных строк,
Не называй их заблужденьем,
И перед нравственным паденьем
Останься холоден и строг.

1857—1858

ОСЕНЬЮ

Как были хороши порой весенней неги —
И свежесть мягкая зазеленевших трав,
И листьев молодых душистые побеги
По ветвям трепетным проснувшихся дубрав,
И дня роскошное и теплое сиянье,
И ярких красок нежное слиянье!

Но сердцу ближе вы, осенние отливы,
Когда усталый лес на почву сжатой нивы
Свевает с шепотом пожелклые листы,
А солнце позднее с пустынной высоты,
Унынья светлого исполнено, взирает...
Так память мирная безмолвно озаряет
И счастье прошлое и прошлые мечты.

1857—1858

У МОРЯ

Дождь и холод! А ты все сидишь на скале,
Посмотри на себя — ты босая!
Что на море глядишь? В этой пасмурной мгле
Не видать, словно ночью, родная!
Шла домой бы, ей-богу!

«О! я знаю, зачем я сижу на скале;
Что за ну́жда, что сыро и скверно, —

А его различить я сумею во мгле,
Он сегодня вернется, наверно.
В бурю ловля чудесна!

Он когда уезжал, ветер страшно свистал,
Чайка серая с криком летала;
Он мне руку пожал и, смеяся, сказал:
«Ты не бойся знакомого шквала,
В бурю ловля чудесна!»

Отвязал он и лодку и парус поднял,
Чайка серая с криком летала;
Издалека еще он платком мне махал,
Буря лодку свирепо качала...
В бурю ловля чудесна!

Ветер парус его на клочки изорвал,
Чайка серая с криком летала;
И поднялся такой нескончаемый вал,
Что я лодку за ним не видала.
В бурю ловля чудесна!

Я поутру, и днем, и в полночь на скале;
Что за нужда, что сыро и скверно, —
А его различить я сумею во мгле,
Он сегодня вернется, наверно.
В бурю ловля чудесна!»

1857—1858

ИЗАБЕЛЛА

(Отрывок из комедии без конца)

Ты вовсе сам еще не знаешь,
Как я довольна, милый мой,
Что ты со мною не скучаешь
И не смеешься надо мной.
Я так проста и боязлива,
Не учена я ничему, —
А все же внемлешь терпеливо
Ты разговору моему.

Порою мне стыдиться надо
Моей невольной простоты...
Зато как я бываю рада
В душе понять, что скажешь ты!
Но что́ я знаю, что́ умею, —
Так это, друг, тебя ласкать,
Обвить тебе руками шею,
Тебя к груди моей прижать,
К твоим устам прильнуть устами,
К тебе примкнуть всю жизнь мою
И, чуть дыша, полусловами
Тебе шептать: люблю, люблю!..

1857—1858

* * *

Мне снилося, что я в гробу лежу,
А сам стою у собственного гроба
И на себя на мертвого гляжу,
Сам от себя поставленный особо.
В тиши ночной, как стражи на часах,
Горели две свечи в паникадилах —
Одна у ног, другая в головах —
И таяли в мерцаниях унылых.
Их бледный луч, колеблясь, упадал
На мертвый лик, на флер, на покрывалы,
А далее туманно исчезал,
Теряяся в холодном мраке залы.
И думал я: какая тишина!
Как счастлив я, что умер на чужбине,
А то б дьячок, бормочущий со сна,
Тревожил смерть и мир ее святыни.
И думал я: у гроба никого,
Все близкие теперь пошли на отдых,
Усталые, и не найдут его:
Покоя жизнь не ведает, как воздух...
Спокоен я: я более не жив!
Но, милые, зачем с таким терзаньем
Глядеть на смерть и, голову склонив,
Себя томить беспомощным страданьем?

Вы знаете так ясно, наизусть,
Что умереть для всех необходимо,
Как звуку замолчать... К чему же грусть?
Простясь со мной, светло грядите мимо.
Бессильными не будьте пред судьбой;
Ты — женщина! вы — дети-малолетки!
И ты, о друг, товарищ верный мой!
Не бейтесь горестно, как птицы в клетке;
В постелях, где теперь не спится вам,
Не лейте слез в подушки, не рыдайте,
И сердца мне не рвите пополам,
И мертвым быть, молю вас, не мешайте!
Я рад, что нет у гроба никого,
И наблюдать могу я без волненья
Мое лицо, покуда от него
Не веет смрад обычного гниенья.
Мое лицо бело́ и холодно,
Живой воде, застывшей в лед, подобно;
Что было мне иль горько иль смешно —
Все стерлося бесчувственно, беззлобно.
И с проседью густая борода,
И волосы расчесаны пристойно,
Морщин едва два легкие следа,
Улыбки нет и все лицо спокойно;
Лишь тень ресниц опущенных — чуть-чуть
От этих свеч, их глупого мерцанья
Колеблется и хочет обмануть
Немую смерть подобьем трепетанья...

Ну что ж, мертвец? Все обошлось легко:
Ты миновал горячку и заразу,
С удушием не кашлял глубоко,
А так — упал, да взял и умер сразу.
И думал я: мне близкий человек,
Старик поляк, муж чистый, благородный,
В страданиях недавно кончил век
И жизни труд великий, но бесплодный.
Почил, скорбя о родине своей,
Болезненно, в безвыходной кручине,
Обманутый в надеждах жизни всей,
В друзьях, в жене, и в дочери, и в сыне...
Да! эта смерть, конечно, тяжела!

А мертвый лик, худой и изнуренный,
Был так же тих; спокойствие чела
Дружилось в нем с улыбкой благосклонной...
А я — застыл с надеждой на успех
И с верой в жизнь грядущих поколений, —
Чего ж тут страшного?.. Но тайный смех
Смутил во мне разумность помышлений:
Ну — как, мертвец, в твоей земле сырой,
Какая весть дойдет тебе до слуха?
Могильный червь иль сторож твой ночной
Тебе шепнут в твое глухое ухо:
«Воскресла Русь! народ свободен стал,
И новый мир возник — широкий, сильный,
Мысль выросла, и труд твой не пропал...»
Тебе-то что? Ты только остов пыльный!
И стало вдруг так дико-холодно́,
И страшно мне, и труп мой ужаснулся,
И будто с ним слилися мы в одно,
И он из гроба встал, — и я проснулся.
Ощупался: я жив и невредим!
Взглянуть в окно вскочил с моей постели:
Туманы по полю, как желтый дым,
Носилися и медленно редели.

1857—1858

НАПУТСТВИЕ

Научите немудрых.

Забудь уныния язык!
Хочу — помимо произвола, —
Чтоб ты благоговеть привык
Перед святынею глагола.

Мне надо, чтобы с уст твоих,
Непразднословных и нелживых,
Звучал поток речей живых,
Как разум ясных и правдивых.

Отбрось рабов обычных школ —
И книжника и фарисея:
Пред ними истины глагол
Проходит, власти не имея.

Учи того, кто не успел
С ума сойти в их жизни ложной,
Кто жаждет, искренен и смел,
Рассудка простоты несложной.

Глагол — орудие свободы,
Живая жизнь, которой днесь
И вечно движутся народы...
Проникнись этой мыслью весь!

Готов ли?.. Ну! Теперь смотри,
Ступай по городам и селам
И о грядущем говори
Животрепещущим глаголом.

<1858>

МЕРТВОМУ ДРУГУ

То было осенью унылой...
Средь урн надгробных и камней
Свежа была твоя могила
Недавней насыпью своей.
Дары любви, дары печали —
Рукой твоих учеников
На ней рассыпаны, лежали
Венки из листьев и цветов.
Над ней, суровым дням послушна,
Кладбища сторож вековой, —
Сосна качала равнодушно
Зелено-грустною главой,
И речка, берег омывая,
Волной бесследною вблизи
Лилась, лилась, не отдыхая,
Вдоль нескончаемой стези.

Твоею дружбой не согрета,
Вдали шла долго жизнь моя,
И слов последнего привета
Из уст твоих не слышал я.
Размолвкой нашей недовольный,
Ты, может, глубоко скорбел;

Обиды горькой, но невольной
Тебе простить я не успел.
Никто из нас не мог быть злобен,
Никто, тая строптивый нрав,
Был повиниться неспособен,
Но каждый думал, что он прав.
И ехал я на примиренье,
Я жаждал искренно сказать
Тебе сердечное прощенье
И от тебя его принять...
Но было поздно!..
                                        В день унылый,
В глухую осень, одинок, —
Стоял я у твоей могилы
И все опомниться не мог.
Я, стало, не увижу друга?
Твой взор потух, и навсегда?
Твой голос смолк среди недуга?
Меня отныне никогда
Ты в час свиданья не обнимешь?
Не молвишь в провод ничего?
Ты сердцем любящим не примешь
Признаний сердца моего?
Все кончено, все невозвратно,
Как правды ужас ни таи!
Шептали что-то непонятно
Уста холодные мои;
И дрожь по телу пробегала,
Мне кто-то говорил укор,
К груди рыданье подступало,
Мешался ум, мутился взор,
И кровь по жилам стыла, стыла...
Скорей на воздух! дайте свет!
О! это страшно, страшно было,
Как сон гнетущий или бред...

Я пережил — и вновь блуждает
Жизнь между дела и утех,
Но в сердце скорбь не заживает
И слезы чуются сквозь смех.
В наследье мне дала утрата
Портрет с умершего чела;

Гляжу — и будто образ брата
У сердца смерть не отняла;
И вдруг мечта на ум приходит,
Что это только мирный сон,
Он это спит, улыбка бродит,
И завтра вновь проснется он;
Раздастся голос благородный,
И юношам в заветный дар
Он принесет и дух свободный,
И мысли свет, и сердца жар...
Но снова в памяти унылой —
Ряд урн надгробных и камней,
И насыпь свежая могилы
В цветах и листьях, и над ней,
Дыханью осени послушна,
Кладбища сторож вековой, —
Сосна качает равнодушно
Зелено-грустною главой,
И волны, берег омывая,
Бегут, спешат, не отдыхая.

<1858(?)>

ВЕСНОЮ

Весною и зеленью пахнет в саду,
    Брожу я в каком-то чаду...
Что делать... Я попросту лягу в траву,
    Я грезить хочу наяву,
Чтоб было дышать хорошо и раздольно
    И на сердце ясно и вольно.

Но вот что беда — если вспомнишь, как жил,
    Напрасно страдал и любил,
Да вздумаешь нехотя, так — невзначай,
    Отбросив мечтаемый рай,
Что род человеческий — дик и бесплоден,
    Не будет, не будет свободен, —
Так лучше б уж в этой траве задремать —
    Да так, чтоб потом не вставать.

<1858 (?)>

* * *

И я тебя сегодня не видал!
Не проходил я шагом торопливым
По улицам и длинным и шумливым,
И в дверь твою тихонько не стучал,
Не зная, как от тайного волненья
На миг в груди смирить сердцебиенья.

Не встрепенулась ты на дружний глас,
Не кинулась ко мне, не обнимала,
Ласкаяся, в уста не целовала
Так радостно, как будто час за час —
С тех пор как мы друг с другом не видались —
Не день прошел, а годы миновались.

Нет! нынче я рассеян и уныл,
Хандрил с утра; душа моя томилась,
Скучала мысль, работа не спорилась...
И круг гостей меня не оживил:
Мои уста ленивые молчали,
Как смутный шум, мне речи докучали.

Теперь стою один я у окна:
В ночную тьму облекся луг наш длинный,
За ним вдали блестит фонарь пустынный,
На улице немая тишина;
Я радуюсь безмолвному покою,
И мысль моя беседует с тобою.

Сидела ль ты в раздумьи вечерком
Перед огнем чуть трепетным камина?
О друге сердца не было ль помина?
Невольно ты не думала ль о том,
Чего я жду от твоего участья
И как ты жизнь устроишь мне для счастья?..

Чего хочу — оно в душе твоей.
Хочу, чтоб ты хранила сердца нежность
И кротости святую безмятежность,
Хочу, чтобы из пройденных скорбей
Ты вынесла и дух благоволенья
И дар впивать живые дуновенья...

Но вот уже часов далекий бой
Два раза бьет среди туманной ночи;
Пора ко сну, дремотой полны очи...
Да будет тих и мирен отдых твой,
И пусть тебя до часа пробужденья
Баюкают отрадные виденья.

1858(?)

БАБУШКА

Я помню как сквозь сон — когда являлась в зале
Старуха длинная в огромной черной шали
И белом чепчике, и локонах седых,
То каждый, кто тут был, вдруг становился тих,
И дети малые, резвившиеся внучки,
Шли робко к бабушке прикладываться к ручке.
Отец их — сын ее — уже почтенных лет,
Стоял в смирении, как будто на ответ
За шалость позван был и знал, что он виновен
И прах перед судьей, а вовсе с ним не ровен!
А хитрая жена и бойкая сестра,
Потупясь, как рабы средь царского двора,
Украдкой лишь могли язвить друг друга взглядом,
Пропитанным насквозь лукаво-желчным ядом.
Старуха свысока их с головы до ног
Оглядывала всех, и взор ее был строг...
И так и чуялось: умри она, старуха, —
Все завтра ж врозь пойдут, и дом замолкнет глухо.
Да это и сама, чай, ведала она,
И оттого была жестка и холодна,
И строгий взор ее был полон сожаленья,
Пожалуй, что любви, а более презренья.

1858(?)

* * *

Твое письмо меня нашло
В хандре, унылого, больного,
Так что в весеннее тепло
Боюся ветра я сквозного;
Мне вреден дождь, несносна пыль,

С стола не сходит склянка с бурой
Непроглотимою микстурой
И мазь, вонючая, как гниль;
Дышу с трудом, в глазах все мутно,
И кашель мучит поминутно.
Но на меня письмо твое
Пахнуло жизнью благодатной,
Сердечной песни голос внятный
Смягчил страдание мое.
Я даже — а со мною это
Так не случалося давно —
Решился отворить окно,
Опять взглянуть на божье лето.
Все к настроенью духа шло:
И мягкий воздух, и тепло,
И солнце, к вечеру склоняясь,
Не зная, медлить иль уйти,
Казалось, стало на пути:
Дай, говорит, еще, прощаясь,
Минуту лишнюю одну
На землю мирную взгляну.
Соседний сад передо мною
Сиял зеленою листвою,
Соседней кровли скат крутой
Желтел, светясь, как золотой;
Соседних окон томный глянец,
<Зари> мерцающий румянец, —
Безмолвный праздник шел по ней,
По бедной улице моей...

1857—1858 (?)

* * *

По краям дороги
В тишине глубокой
Темные деревья
Поднялись высоко;
С неба светят звезды
Мирно сверх тумана...
Сердце?.. Сердце просит
Нового обмана.

В памяти тревожной
Всё былые встречи,
Ласковые лицы,
Ласковые речи;
Но они подобны
Призракам могилы,
Не вернут былого
Никакие силы.

О! Когда б пришлося
По дороге темной
Снова для ночлега
Встретить домик скромный,
И в объятьях жарких
Пробудиться рано...
Сердце?.. Сердце просит
Нового обмана.

1857—1858(?)

ЖЕНЩИНЕ-МЕДИКУ

На новом поприще, в полезных изученьях
Умейте к жизни подходить
С вопросом внутренним, — в причудливых явленьях
Подсматривать простую нить.

Умейте вдуматься; внимайте чутким ухом
И, звук мгновенный уловив,
В громадной музыке поймите верным слухом
Простой виющийся мотив.

1859, март—апрель

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

I

Рассвет

Мне детство предстает, как в утреннем тумане
Долина мирная. Под дымчатый покров,
Сливаясь, прячутся среди прохлады ранней
Леса зеленые и линии холмов,

А утро юное бросает в ликованьи
Сквозь клубы сизые румяное сиянье.

Все образы светлы и все неуловимы.
Знакомого куста тревожно ищет взор,
Подслушать хочется, как шепчет лист незримый,
Студеный ключ ведет знакомый разговор;
Но смутно все... Душа безгрешный сон лелеет,
Отвсюду свежесть ей благоуханно веет.

1854—1855

II

Лес

На горной крутизне я помню шумный лес,
Веками взрощенный в торжественности дикой,
И там был темный грот между корней древес,
Поросший влажным мхом и свежей повиликой.

Его тенистый свод незримо пробивая,
Студеный падал ключ лепечущей струей...
Ребенком, помнится, здесь летнею порой
В безмолвной праздности я сиживал, внимая.

Тонули шелесты и каждый звук иль шум
В широком ропоте лесного колыханья,
И смутным помыслом объят был детский ум
Средь грез таинственных и робкого желанья.

1857, 2 мая — 14 октября

III

Кривая береза

У нас в большом лесу глубокий был овраг
С зеленым дном из трав, а кверху в свежих силах
Рос густолиственно орешник и дубняк,
Приют певучих птиц и мух прозрачнокрылых.

А через весь овраг, начав с кривых корней,
Береза белая, клонясь дугою гибкой,
Шептала листьями повиснувших ветвей
И гнулась на тот край к земле вершиной зыбкой.

О, как же я любил вдоль по ее спине,
Цепляяся, всползать до самой середины,
И там, качаяся в воздушной вышине,
Смотреть на свет и тень в сырую глубь стремнины!

1859, июль—август

IV

Две любви

Я помню барышню в семействе нам родном —
То было юное и стройное созданье
С весенним голосом, приветливым лицом,
Радушно отроку дарившее вниманье.

С благоговением я на нее смотрел,
Блаженствуя в мечтах стыдливых и спокойных;
Но образ мною всем иной тогда владел —
То женщина была в поре томлений знойных.

Прикосновенье к ней, привет ее любви,
И ласка мягкая, и долгое лобзанье
Рождали тайный жар в ребяческой крови,
На млеющих устах стеснялося дыханье...

1859, июль—август

V

Первая дружба

Я помню отрока с кудрявой головой,
С большими серыми и грустными глазами...
Тропой росистою мы шли с горы крутой,
В тумане за рекой был город перед нами.

И дальний колокол кого-то звал к мольбе;
А мы, обнявшися, при утренней деннице,
Мы дружбы таинство поведали себе,
И чистая слеза блеснула на реснице.

Расстались мы детьми... Не знаю, жив ли он...
Но дружбы первый миг храню я и доныне

В воспоминаний — как мой весенний сон,
Как песнь сердечную, подобную святыне.

1859, июль—август

VI

Новый год

То было за́ полночь на самый Новый год,
А я один без сна лежал в моей постели
И слушал тишины дыхание и ход...
Лучи лампадные в бродячей тьме блестели.

В окно виднелся двор; он был и пуст и тих,
По снегу белому с небес луна мерцала...
И мне пришел на ум мой первый, робкий стих,
И рифма, как струи падение, звучала.

Я сердце посвящал задумчивой тоске,
В моем едва былом ловил напев унылый,
А мысль какой-то свет искала вдалеке,
И звали к подвигам неведомые силы.

1859(?)

VII

Дувр

У моря шумного, на склоне белых скал,
Где слышны вечных волн таинственные пени,
В унылой памяти я тихо вызывал
Моих прошедших дней исчезнувшие тени.

Из отдаленных мест, из смолкнувших времен
Они передо мной, ласкаясь, возникали,
И я, забывшися, поник в блаженный сон
Про счастье детское и детские печали.

О! погодите же, вживитесь в жизнь мою,
Давно минувшего приветливые тени!..
Но вы уноситесь... и я один стою,
И слышу вечных волн тоскующие пени.

1859, июль—август

ЮНОШЕ

(Подражание Полонию) [1]

Ступай, мой сын! Постранствуй! Погляди!
Мне, старику, оно уже не лестно!..
Как сонный кот, забившись в угол тесный,
Я не ищу отрады впереди;
А молодежь, с своим орлиным взором,
Летит вперед за волей и простором.

Учись! Пойми, что знание есть власть;
Умей страдать вопросом и сомненьем,
Умей людей любить с благоговеньем,
И претворяй бунтующую страсть
В смысл красоты и веры благородной:
Живи умно, как человек свободный.

Пора любви придет своей чредой:
Умей любовь проникнуть светом дружбы;
Но избегай, как гнета рабской службы,
Тяжелой свычки, праздной и тупой,
Где женщина, весь день дыша разладом,
Тревожит жизнь докучно-мелким ядом.

За истину сноси обидный гнет —
Без хвастовства, но гордо и достойно;
Будь тверд в борьбе и смерть встречай спокойно,
Не злобствуя и зная наперед:
Народы все, помимо всех уроков,
Сперва казнят, а после чтут пророков.

Итак, ступай! Мужайся и расти!
На все кругом смотри пытливым взглядом.
И, действуя наперекор преградам,
Не уходи с заветного пути...
Забудь в труде и страх и утомленье —
И вот тебе мое благословенье.

1859

---

[1] Вероятно, читатель помнит в «Гамлете» — наставление Полония Лаэрту. — *Прим. Огарева.*

* * *

Осенний день был сер и сыр,
И мелкий дождь ежеминутно
На землю капал; мокрый мир
Смотрел уныло, бесприютно.
Казалось пусто. Сад притих,
Замолк деревьев гул протяжный,
И желтый лист, срываясь с них,
Печально мок на почве влажной,
И только утки, как всегда,
Плескались глупо у пруда.

1859

* * *

Все превосходное,
Все благородное —
Стало бесплодное;
Все, что ничтожное,
Пошлое, ложное, —
В жизни всплывает
И отнимает
В виду могилы
Последние силы.
Тут-то и знай —
Сил не теряй!
Как жить ни жутко, —
Все сохраняй,
Все вызывай:
Свежесть рассудка,
Сердца движение,
Жаркое рвение,
Чувство святое
Любви и покоя,
Стойкость борьбы
Против судьбы, —
Чтобы ничтожное,
Пошлое, ложное,
Как ни томя, ни губя, —
Не раздавило тебя.

Без ожидания,
Без уставания,
Без содрогания —
Где б ни застиг
Последний миг —
Скажи себе,
Назло судьбе,
Что сохранил,
Покуда жил, —
Все превосходное,
Все благородное.

1859

* * *

Свисти ты, о ветер, с бессонною силой
Во всю одинокую ночь,
Тоску твоей песни пустынно-унылой
Еще я берусь превозмочь.

Я стану мечтать величаво и стройно
Про будущность нашей страны, —
В доверчивой мысли светло и спокойно,
Мне делом покажутся сны.

Я вспомню о прошлом, о жизни сердечной,
Таинственном шепоте дев,
И детской дремотой забудусь беспечно
Под твой похоронный напев.

1859

ПАМЯТИ РЫЛЕЕВА

В святой тиши воспоминаний
Храню я бережно года
Горячих первых упований,
Начальной жажды дел и знаний,
Попыток первого труда.
Мы были отроки. В то время
Шло стройной поступью бойцов —
Могучих деятелей племя,

И сеяло благое семя
На почву юную умов.

Везде шепталися. Тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети, с робостью во взгляде,
Звучащий стих свободы ради,
Таясь, твердили по ночам.
Бунт, вспыхнув, замер. Казнь проснулась.
Вот пять повешенных людей...
В нас сердце молча содрогнулось,
Но мысль живая встрепенулась,
И путь означен жизни всей.

Рылеев мне был первым светом...
Отец! по духу мне родной —
Твое названье в мире этом
Мне стало доблестным заветом
И путеводною звездой.
Мы стих твой вырвем из забвенья,
И в первый русский вольный день,
В виду младого поколенья,
Восстановим для поклоненья
Твою страдальческую тень.

Взойдет гроза на небосклоне,
И волны на берег с утра
Нахлынут с бешенством погони,
И слягут бронзовые кони
И Николая и Петра.
Но образ смерти благородный
Не смоет грозная вода,
И будет подвиг твой свободный
Святыней в памяти народной
На все грядущие года.

1859

ДЕДУШКА

Ах, изба ты моя невысокая!
Посижу, погляжу из окна,
Только степь-то под снегом широкая,

Только степь впереди и видна.
Погляжу я вовнутрь: полно ль, пусто ли? ..
Спит старуха моя, как в ночи;
Сиротинка-внучонок, знать с устали,
Под тулупом залег на печи,
Взял с собой и кота полосатого...
Только я словно жду-то чего, —
А чего? .. разве гроба дощатого,
Да недолго, дождусь и его.
Жаль старуху мою одинокую!
А внучонок подсядет к окну —
Только степь-то под снегом широкую,
Только степь и увидит одну.

1859

НОЧЬЮ

Опять я видел вас во сне...
Давно объят сердечной ленью —
Я и не ждал, чтоб кроткой тенью,
Мелькнув, явилися вы мне.
Зачем я вызвал образ милый?
Зачем с мучительною силой
Опять бужу в душе моей
Печаль и счастье прошлых дней?
Они теперь мне не отрада,
Они прошли, мне их не надо...
Но слышен, в памяти скользя,
Напев замолкший мне невольно;
Ему внимая, сердцу больно,
А позабыть его нельзя.

1858—1859

КЛАДБИЩЕ

При свете вечера унылы
Кладбища томные могилы.
В средине их с своим крестом,
Могилам остальным подобно,
Высоко церковь — божий дом —

Стоит, как памятник надгробный
Погибшей веры... Жизни дух
Здесь вовсе замер и потух.
Еще заката луч трепещет
По окнам яркою игрой,
И крест позолоченный блещет
Меж небесами и землей;
Но нет толпы тысячеустой,
И все кругом мертво и пусто.

И только женщина одна
В тиши бездомной тенью бродит...
Вот к церкви трепетно подходит,
Вся в черное облечена,
И, на холодные ступени
Склоняя медленно колени,
В слезах, с молитвой и тоской
Поникла грешной головой.

Да, да! Я знаю эту повесть.
В твоей душе не дремлет совесть.
Он был хороший человек,
Тебя любил он откровенно,
Но с детства отдал неизменно
Служенью истины свой век.
Его недолгой жизни дело
Ему испортить ты сумела
Твоей строптивостью сухой
И мелочною суетой;
Ты ревновала беспредметно,
Ты жизни каждый лучший час
Встречать умела неприветно...
И он болезненно угас.

Скажи, о чем же? о прощеньи
Теперь ты молишься в тиши,
Иль о его успокоеньи
И о спасении души?
Души спасенью ты не веришь,
Сама с собой ты лицемеришь, —
А жизни прошлой — как ни жаль —
Не изменит твоя печаль...

Но, не найдя в мольбе отрады,
С холодных плит встает она
И в путь идет из-за ограды,
Вся в черное облечена.
Заря на небе побледнела,
Окрестность робко потемнела,
И тише стала тишина,
И в тусклом сумраке унылы
Кладбища томные могилы...
В средине их с своим крестом,
Могилам остальным подобно,
Огромный призрак — божий дом —
Стоит, как памятник надгробный
Погибшей веры... Жизни дух
Здесь вовсе замер и потух.

<1859>

* * *

Вырос город на болоте,
Блеском суетным горя...
Пусть то было по охоте
Самовластного царя.

Но я чту в Петре Великом
То, что он — умен и смел —
В своевольи самом диком
Правду высмотреть успел,

И казнил родного сына
Оттого, что в нем нашел
Он не доблесть гражданина,
А тупейший произвол!

И я знаю — деспот пьяный,
Пьяных слуг своих собрат,
Был ума служитель рьяный
И великий демократ.

<1859>

ТАЙНА

...That you, at such time seeing me, never shall
With arms encumber'd thus, or this headshake...
...Or such ambiguous giving out to note
That you know aught of me: this do you swear...

Shakespeare (Hamlet)[1]

Тебя ищу я целый день:
Я задыхаюся от счастья...
Садись сюда, вот в эту тень —
И слушай! Я хочу участья.
Когда б я волю дал мечтам —
В бреду, как школьник, побежал бы
И хоть бы рощам и полям
Или небесным облакам
Я тайну сердца рассказал бы.
Да! я любим. Живу я, брат,
В каком-то веянии мая,
И на душе весна такая,
Всё песни нежные звучат...
Но, друг, — все это между нами,
Не проболтнися сгоряча
Ни полусловом, ни глазами,
Нижé движением плеча.

Вчера мы с ней в саду сидели,
А муж был дома... Из окна
Две свéчи трепетно блестели
И брань его была слышна.
Весь век свой без нужды корыстен,
За полночь старый лиходей
Все счет сводил, ругал людей,
Все зол, как зверь, и ненавистен.
А ночь безлунная была
И многозвездна и тепла,
И темных листьев веял ропот
И охранял наш тихий шепот, —
И ночь промчалась как стрела.

---

[1] ...Вы никогда при виде этих штук
Вот эдак рук не скрестите, вот эдак...
...Того не делать и не намекать,
Что обо мне разведали вы что-то...
Клянитесь в этом...

Шекспир. «Гамлет».

Еще от жаркого лобзанья
Уста остыть могли едва,
От одного воспоминанья
О неге близкого дыханья
Еще кружится голова...

Но к делу! Знаешь — я беззлобен,
Но жить во лжи я неспособен,
Да неспособна и она;
Так участь наша решена:
Сегодня ночью наши кони
Ждут у моста — и птиц быстрей
На волю вольную мы с ней
Умчимся, не боясь погони.
Напрасно в помощь станет звать
Тупой закон старик сердитый, —
Ему следов не отыскать,
Где отпечатались копыты.

А завтра — завтра в поздней мгле,
Коней погладив на прощанье,
Отчалим мы на корабле —
И вдаль, в безвестное скитанье!..
Весь люд заснет; угрюм и нем,
На стрелку кормчий склонит очи, —
И вот, невидимы никем,
Как разве лишь звездами ночи,
На палубе мы сядем с ней;
Подруга ко груди моей
Прижмется милой головою,
И я плащом ее прикрою,
Чтобы от влаги уберечь
Красу и роскошь нежных плеч,
Чтобы ко мне она прильнула,
В моих объятиях заснула
И тихо грезила бы сны
Под колыхание волны.

Но, друг, — все это между нами,
Не проболтнися сгоряча
Ни полусловом, ни глазами,
Ниже́ движением плеча.
<1859>

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Что навстречу ветер стонет
Полуночною порой?
Прочь ли с неба тучи гонит,
Иль сбирает надо мной?
Мне беды бы ждать не надо,
Жизнь раздольна и вольна;
Есть жена — моя отрада,
Есть богатая казна.

В лес дорога повернула,
Шумно ропщут дерева,
Встрепенулась, промелькнула
С криком жалобным сова.
Что за странную тревогу
Сердце бьет в моей груди? . .
Лес к концу! Ну — слава богу!
Дом уж виден впереди.

Ветер стихнул. В небе чистом
Месяц катится светло;
Спит в тумане серебристом
Наше длинное село.
Тени стелются неровно
Сбоку улиц, в тишине,
Из-за кровель крест церковный
Блещет в ясной вышине.

Вот он, вот у поворота
Мой просторный новый дом
И тесовые ворота
С крепко ввинченным кольцом.
Что могло бы значить это —
Словно пусто все в дому?
Я стучу, и нет ответа
Нетерпенью моему.

Что не лает с гневной силой
Верный пес перед крыльцом —
Длинношерстый, тонкорылый
И с размашистым хвостом?

Что нейдет бобыль-работник
Через мой широкий двор —
Отодвинуть подворотник,
Снять увесистый затвор?

Что хозяйка молодая,
Встрепенувшися от сна,
Зову дружнему внимая,
Не посмотрит из окна?
Я стучу кольцом чугунным, —
Все как будто замерло,
Безотрадно в блеске лунном
Дремлет длинное село.

Чу! в избе соседней глухо
Чья-то поступь мне слышна:
Одинокая старуха
Показалась у окна.
Седина дрожит и вьется
Из-под белого платка,
Протянулась и трясется
Худощавая рука:

«Ты в тесовые ворота
Понапрасну не стучи,
И казны с скупой заботой
За замками не ищи;
Воле рад, хвостом махая,
Глупый пес покинул дом,
И хозяйка молодая
Убежала с бобылем».

1859(?)

ЛИЗЕ

Дитя мое, тебя увозят вдаль...
Куда? Зачем? Что сделалось такое?
Зачем еще тяжелую печаль
Мне вносит в жизнь безумие людское?
Я так был рад, когда родилась ты!..

Чуть брезжил день... И детские черты,
И эта ночь, и это рассветанье —
Все врезалось в мое воспоминанье.

Вот скоро год слежу я за тобой, —
Как ты растешь, как стала улыбаться,
Как ищет слов неясный лепет твой
И стала мысль неясно пробиваться...
И есть чутье в сердечной глубине:
Ручонками ты тянешься ко мне
И узнаешь по силе сокровенной,
Что я твой друг радушный, неизменный.

И страшно мне: ну, будешь ты больна, —
Не я тебя утешу в час недуга...
Ну! ты умрешь?.. Нет! это призрак сна,
Безумный бред ненужного испуга...
Ты вырастешь! — Но нежный возраст твой,
Дитя мое, взлелеется не мной,
Не я вдохну тебе, целуя руки,
Ни первых слов, ни первых песен звуки.

Не я возьмусь при раннем блеске дня
Иль в лунный час спокойного мерцанья
Тебя учить, безмолвие храня,
Глубокому восторгу созерцанья.
Не я скажу, из букв как мысль сама
Выходит в книгу — летопись ума,
И вызову не я порыв свободной
К святой любви и жертве благородной.

И страшно мне: в мой передсмертный час
Не явится ко мне твой образ милый;
Улыбка уст и ясность детских глаз
Мелькнут, как скорбь, по памяти унылой...
Но решено: тебя увозят вдаль...
Дитя мое, я утаю печаль
И детское спокойствие незнанья
Не возмущу тревогою страданья.

1860, май

МУЗЫКАНТУ

За совершенство исполненья
Глубокозвучного творенья
Вам в похвалу я мог едва
Сказать обычных слова два;
Но если б вы подозревали,
Как эти звуки взволновали
Всю память сердца моего,
То вы... Ну, что ж бы?.. Ничего!..
Пришельцы оба издалече,
Что нам в минутной нашей встрече?..

Так двух прохожих, на мгновенье
Сходясь при проблеске луны, —
Две тени тихо вдоль стены
Расходятся в два направленья,
И в мгле окружной навсегда
Вдруг исчезают без следа.

1860

* * *

Среди сухого повторенья
Ночи за днем, за ночью дня —
Замолкших звуков пробужденье
Волнует <сладостно> меня.

Знакомый голос, милый лепет
И шелест <тени> дорогой
В груди рождают прежний трепет
И проблеск страсти прожитой.

Подобно молодой надежде,
Встает забытая любовь,
И то, что чувствовалось прежде,
Все так же чувствуется вновь.

И, странной негой упоенный,
Я узнаю забытый рай...

О, погоди, мой сон блаженный,
Не улетай, не улетай!

В тоске обычного броженья
Смолкает сна минутный бред,
Но долго ласки и томленья
Лежит на сердце мягкий след.

Так, замирая постепенно,
Исполнен счастия и мук, —
Струны внезапно потрясенной
Трепещет долго тихий звук.

1859—1860

* * *

Она со мною так добра
И простодушна, как сестра.
Пусть это дружба! Пусть ответа
Я не найду любви моей,
Но в звуке дружнего привета,
Во взгляде дружеском у ней —
Я вижу больше ласки нежной,
Чем взгляд и речи у другой
Сказать способны в миг иной,
Любви и страсти миг мятежный.

1860(?)

РУДОЛЬФОВ-ТРАПП

(Л. Н. Толстому)

Воскрешают эти звуки
Целый мир передо мной —
Странной неги, странной муки,
Шелест счастья, плач разлуки
И полячки молодой
Образ светлый и простой.

Что таить! .. Тогда в б.....и
С пьяным старцем до утра
Проводил я вечера.
Он играл; мы с ней сидели
В уголку, вдвоем, одни...
Звуки мчались — быстры, сладки —
И, как звуки, без оглядки
Мчались ночи, мчались дни.
Да! Она меня любила
(Дело прошлое — не лгу —
Память сердца берегу);
Но тогда меня кружила
Необузданная сила:
Вскоре бросил я ее
И под Вакховым покровом
Подкатил к блудницам новым
Своеволие мое...

После случай свел нас вместе,
Невзначай, в подобном месте.
Приняла меня она
Грустно-тихо, но беззлобно,
Как-то матери подобно,
Как-то сестрински нежна.
Странно сердце повернулось,
И любовь моя проснулась;
Я хотел ее спасти,
Выкуп дать хозяйке жирной,
И с собою в дом мой мирной,
Деревенский увезти.
— Нет! Теперь уж это поздно!
Ты не тот, и я не та,
Нас судьба уносит розно,
Счастье было бы мечта... —
И, задумавшись, молчала,
Точно что-то вспоминала;
Вдруг платок схватила свой —
Мне на шею повязала,
Обняла, поцеловала,
Потихоньку зарыдала
И простилася со мной.

Я поехал, сердце ныло,
Я сжимал ее платок,
И тоска меня томила,
И терзал меня упрек.
Дайте звуков — Христа ради,
Дайте прошлые мечты,
Дайте вспомнить бедной б. . .и
Простодушные черты! . .

1861

* * *

И если б мне пришлось прожить еще года,
До сгорблой старости, венчанной сединою,
С восторгом юноши я вспомню и тогда
Те дни, где разом все явилось предо мною,
О чем мне грезилось в безмолвии труда,
В бесцветной тишине унылого изгнанья,
К чему душа рвалась в годину испытанья:
И степь широкая, и горные хребты —
Величья вольного громадные размеры,
И дружбы молодой надежды и мечты,
Союз незыблемый во имя тайной веры;
И лица тихие, спокойные черты
Изгнанников иных, тех первенцев свободы,
Создавших нашу мысль в младенческие годы.
С благоговением взирали мы на них,
Пришельцев с каторги, несокрушимых духом,
Их серую шинель — одежду рядовых. . .
С благоговением внимали жадным слухом
Рассказам про Сибирь, про узников святых
И преданность их жен, про светлые мгновенья
Под скорбный звук цепей, под гнетом заточенья.
И тот из них, кого я глубоко любил,
Тот — муж по твердости и нежный, как ребенок,
Чей взор был милосерд и полон кротких сил,
Чей стих мне был, как песнь серебряная, звонок, —
В свои объятия меня он заключил,
И память мне хранит сердечное лобзанье,
Как брата старшего святое завещанье.

<1861>

МИХАЙЛОВУ

Сон был нарушен. Здесь и там
Молва бродила по устам,
Вспыхала мысль, шепталась речь —
Грядущих подвигов предтечь;
Но, робко зыблясь, подлый страх
Привычно жил еще в сердцах,
И надо было жертвы вновь —
Разжечь их немощную кровь.
Так, цепенея, ратный строй
Стоит и не вступает в бой;
Но вражий выстрел просвистал —
В рядах один из наших пал!..
И гнева трепет боевой
Объемлет вдохновенный строй.
Вперед, вперед! разрушен страх —
И гордый враг падет во прах.

Ты эта жертва. За тобой
Сомкнется грозно юный строй.
Не побоится палачей,
Ни тюрьм, ни ссылок, ни смертей.
Твой подвиг даром не пропал —
Он чары страха разорвал;
Иди ж на каторгу бодрей,
Ты дело сделал — не жалей!

Царь не посмел тебя казнить...
Ведь ты из фрачных... Может быть,
В среде господ себе отпор
Нашел бы смертный приговор...
Вот если бы тебя нашли
В поддевке, в трудовой пыли —
Тебя велел бы он схватить
И, как собаку, пристрелить.
Он слово: казнь — не произнес,
Но до пощады не дорос.
Мозг узок и душа мелка —
Мысль милосердья далека.

Но ты пройдешь чрез те места,
Где без могилы и креста
Недавно брошен свежий труп
Бойца, носившего тулуп.
Наш старший брат из мужиков,
Он первый встал против врагов,
И волей царскою был он
За волю русскую казнен.
Ты тихо голову склони
И имя брата помяни.

Закован в железы с тяжелою цепью
Идешь ты, изгнанник, в холодную даль,
Идешь бесконечною снежною степью,
Идешь в рудокопы на труд и печаль.
Иди без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен и святы страданья.

И верь неослабно, мой мученик ссыльный,
Иной рудокоп не исчез, не потух —
Незримый, но слышный, повсюдный, всесильный
Народной свободы таинственный дух.
Иди ж без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен и святы страданья.

Он роется мыслью, работает словом,
Он юношей будит в безмолвьи ночей,
Пророчит о племени сильном и новом,
Хоронит безжалостно ветхих людей.
Иди ж без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен и святы страданья.

Он создал тебя и в плену не покинет,
Он стражу разгонит и цепь раскует,
Он камень от входа темницы отдвинет,
На праздник народный тебя призовет.
Иди ж без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен и святы страданья.

<1861>

ОТРЫВКИ

День за день — робко — шаг за шаг,
Как тени скользкие во мрак,
Иль как неверные преданья,
Теряются воспоминанья,
Бледнеют прошлого черты...
Всю жизнь все кажется, что ты —
Напрасный мученик движенья,
Скиталец в даль без возвращенья,
Выходишь из дому, где жил,
И кто-то там тебя любил,
Ты тоже сам любил кого-то,
И ты ль кого — тебя ли кто-то
С бездушьем детским оскорбил.
Тая любовь, скрывая муку,
Пожал ты грустно чью-то руку
И вышел медленной стопой...
Дверь затворилась за тобой.
Ты проходил по длинной зале —
Лежал в печальной полумгле
Мертвец знакомый на столе,
И ты шаги направил дале,
В последний раз с немой тоской
Ему кивнувши головой.
И шел ты длинным коридором,
Глядя на выход робким взором,
И, с длинной лестницы спустясь,
Внутри дрожа, рукой тревожной
Последней двери ключ надежной
Ты повернул в последний раз,
И дверь, отхлынув, заперлась.
Один стоял ты середь ночи,
Светил фонарь надстолбный в очи,
И долго тень твоей спины
Не отрывалась от стены.
Когда ж последние ступени
Того заветного крыльца
Сошел ты тихо до конца —
Дрожали слабые колени.
Вдоль улицы в безлюдный час
Ты шел уныло, бесприютно,

Глядел назад ежеминутно,
Глядел назад, и каждый раз
Фонарь бледнел, потом погас,
Еще виднелся ночью томной
Высокий дом, как призрак темной,
И он исчез в далекой мгле,
Как гроб в наваленной земле.
И новый день с иной страною. . .
Другие люди, новый дом, —
Опять любовь и горе в нем,
И снова в путь, и за собою
Ты видишь, как, едва горя,
Бледнеет пламя фонаря.
И что ж осталось от скитанья,
Где, повторяясь шаг за шаг,
Уходят вспять воспоминанья,
Как тени скользкие во мрак?
Глухая боль сердечной раны,
Да жизни сказочные планы. . .

1861(?)

* * *

С какой тревогой ожиданья,
Биеньем сердца, час за час,
Я жаждал, не смыкая глаз,
Минуты раннего свиданья.

Чу! брезжит. Свежею струей
В дремотном воздухе пахнуло,
Лист шепчет; в чаще кустовой,
Чирикнув, пташка пропорхнула,
И галок кочевой народ
Пустился в утренний полет.

1860—1861 (?)

* * *

Блеснуло утро мне в окно
Зари осенней бледным светом,
От сна меня зовет оно
Печально-дружеским приветом.

Ищу последнюю звезду
По небу в поиске бесплодном;
Недвижен лист в моем саду,
И тихо в воздухе холодном;
Вдоль по траве провел мороз
Следы серебряных полос.

Начало 1860-х(?)

БАЛ

I

Introductione. Adagio non troppo[1]

Пышный зал блестит огнями,
Одиноко я стою
И в толпе ищу глазами
Ненаглядную мою.
Жду тревожно появленья
Блеска томного очей,
Легкой поступи движенья,
Белой дымки облаченья —
Все, что так похоже в ней
На воздушное виденье
В мгле серебряных ночей.
Чу! вдруг сердце встрепенулось,
Точно чуткая струна...
Многолюдье разомкнулось —
И идет она, она!

II

[Tempo del galoppo[2]

Легкий стан уже стремится
На объятие мое,
На плечо ко мне ложится
Ручка тонкая ее.

[1] Вступление. Не очень медленно (итал., муз. термин).
[2] В темпе галопа (итал., муз. термин).

Близко русая головка,
Наши волосы сплелись,
Ножки маленькие ловко
Мерным вихрем понеслись;
Разгораются ланиты,
Счастьем детским блещет взор,
И уста полураскрыты,
Грудь вздымает свой убор;
Слышу жаркое дыханье
И в восторге пью его,
Слышу сердца трепетанье
Возле сердца моего].

III

Trio[1]

Мчимся, мчимся без оглядки,
Забывая целый свет,
Звуки льются быстры, сладки,
И блаженству меры нет!

IV

Galoppo da capo[2]

Тише, тише, грудь устала,
Опустись и отдохни —
Наше счастье после бала
В раннем сне воспомяни.

V

Finale. Tempo primo[3]

Руку дай мне в час разлуки,
Ночь прошла полетом грез,
Завтра день блаженной муки,
Одиноких сладких слез.

Начало 1860-х (?)

---

[1] Трио (итал., часть музыкального произведения).
[2] Снова галоп (итал., муз. термин).
[3] Финал. Начальный темп (итал., муз. термин).

У МОРЯ

Ночь и буря с черной мглою,
Море страшно и темно,
Только пеною седою
По взволнованному слою
Чуть белеется оно.
Кто ж там плачет, кто там стонет,
Рвется, мечется, зовет,
Воплем жалобным поет,
Точно гибнет иль хоронит,
Но глухой судьбы не тронет
И покоя не найдет?
Буря волны гонит, гонит,
Море темное ревет,
Сердце ноет, сердце стонет,
Сердце гибнет и хоронит
И нигде не отдохнет.

1862, 8 июня

ВИХРЬ

Мчится вихрь издалека́,
Ветер гонит облака;
Облака как одурели —
Мчатся по небу без цели.
Вдоль дороги пыль, как дым,
Мчится облаком сухим.
Рожь, как волны, бьется, гнется,
С поля прочь куда-то рвется.
Замахал ветвями сад,
Листья дико говорят;
Лист оторванный кружится,
И уносится, и мчится.
И смотрю я, сам не свой,
С беспокойною тоской —
Мир безумный мчится мимо...
Устою ль я невредимо,
Иль уж взял меня разгром
Вслед за пылью и листом?

1862, осень

ТАТЕ Г<ЕРЦЕН>

В дорогу дальнюю тебя я провожаю —
С благословением, и страхом, и тоской,
И сердце близкое от сердца отрываю;
Но в мирной памяти глубоко сохраняю
Твой смех серебряный и добрый голос твой,
И те мгновения, где родственной чертой
Твой лик напоминал мне образ безмятежной
Той чудной женщины, задумчивой и нежной.

Ты едешь в светлый край, где умерла она...
Невольно думаю с любовию унылой —
Как сини небеса над тихою могилой,
Какая вкруг нее зеленая весна,
Благоуханная, живая тишина.
И снится мне, как сон, вослед за тенью милой,
И мягкий очерк гор сквозь голубую мглу
И дальний плеск волны о желтую скалу.

Подобно матери, средь чистых помышлений
Сосредоточенно живи, дитя мое;
Сердечных слез и дум, труда и вдохновений
Не отдавай шутя, за блеск людских волнений —
Тщеславной праздности безумное житье.
В искусстве ты найдешь спасение свое;
Ты юное чело пред ним склони отныне
И в гордой кротости служи твоей святыне.

1862, 11 декабря

РАЗВРАТНЫЕ МЫСЛИ

Когда идет по стогнам града,
Полустыдясь, полушутя,
Красавица — почти дитя —
С святой безоблачностью взгляда, —
На свежесть уст, на блеск лица,
На образ девственный и стройный
Гляжу с любовию отца,
Благоговейно и спокойно.

Когда ж случится увидать
Черты поблеклые вдовицы,
Полупониклые ресницы
И взор, где крадется, как тать,
Сквозь усталь жизни, жар томлений,
Неутомимых вожделений, —
Мутятся помыслы мои,
Глава горит, и сердце бьется,
И страсть несытая в крови
Огнем и холодом мятется.

1861—1862(?)

O, LACRYMARUM FONS!..[1]

Когда пред тупостью людской
Рассудка власть, бессильная, немеет,
Язык, вотще глаголивший, коснеет,
И тайный гнев, как вор ночной,
Подкравшись чуждою стопой,
Душой незлобивой владеет, —
Как тяжело! как слезы бы нужны!..
А тут-то их и нет! Для них в борьбе
Нет влагою обильной глубины,
Подземного ключа хранительницы мирной;
Иной исток им надобен в тиши —
Печаль любви, печаль воспоминаний,
Да умиление души.
И как подумаешь, что в сердце много, много
И умиления и звуков дорогих,
Торжественных, вздыхающих, живых, —
Как жизнь становится гнусна с ее тревогой,
С скрипением раздоров мелочных,
Где гибнут сладостные звуки
В сухом жару неплодоносной муки!

1861—1862(?)

[1] О, источник слез! (лат.).

НАСТОЯЩЕЕ И ДУМЫ

(Письма к Герцену)

Предисловие

Отвыкли мы от философских тем,
В поэзии бракуют их совсем —
И Анненков, и Гегель, и другие
Философы, помельче, небольшие.
В поэзии им образы нужны —
А вот поставь, хоть ради новизны,
Леонтьева с Катковым на картину,
Все ж образ их пойдет за образину.

Пишу к тебе — зачем, не знаю сам,
Не знаю, что в стихах я передам —
Раздумие и мысли, взгляд и нечто,
Иль образы... Ну!.. Да о чем бишь речь-то?
О критиках... Бог с ними, милый мой!
Пишу к тебе, чтоб тайную тревогу
Исканьем рифм рассеять понемногу
И как-нибудь над рифмою тугой
Слегка вздремнуть, поникнув головой.

Письмо первое

Ночь. Город спит, насилу удосужась...
Все тихо, так — что даже без причин
Таинственный охватывал бы ужас...
Но в сердце нет мистических пружин,
Мой ужас прост: мое дитя больное
В соседней комнате. Малейший звук
Я слушаю сквозь веянье ночное
И жду беды и чувствую испуг.
Жизнь или смерть?.. Поди решай загадку —
Куда природа выпрет лихорадку.

Природа — мать!.. пожалуй, что и мать,
Но с сердцем мачехи... засмейся сразу,
И у меня наткнувшися на фразу!..
Но я хотел совсем не то сказать:
Природа (иль по-древнему — натура) —
Ни мать, ни мачеха, а просто дура.

Родит себе и рушит наповал,
И все равно ей — смерть или родины,
А человек в ней цели отыскал
И умные последствия причины.
Увы, в ней все ни глупо, ни умно,
А просто так у ней заведено.

Сижу и слушаю... вот два пробило...
Чу! кашляет... Иду я в тишине
На цыпочках, чтобы не слышно было...
Дитя мое! Все тело как в огне,
И мечется, и тяжело дыханье...
Еще вчера она приснилась мне —
Обнять меня хотела на прощанье,
А губы у нее — смотрю — черны
И кровию запекшейся полны...
Меня так разом обдал пот холодный,
И сон с тех пор пугает безотходно.

Воды тебе? Испей, дитя мое!
Приляг опять, дай я тебя прикрою.
А завтра будь здоровою такою,
Я расскажу про прежнее житье...
Она глядит, но, видно, не узнала,
Заплакала в бреду и закричала,
И снова спит и дышит тяжело.
А голос был так раздирающ, тонок,
Что жалостью всю душу мне свело,
Как будто всем хотел сказать ребенок:
«Простите мне! Не виновата я!
За что же вы так душите меня!»

Беспомощно стою я у кроватки...
Беспомощно!.. Гляди себе и жди,
Хоть разорвись с усилий на догадки —
Не будешь знать, что выйдет впереди,
И не найдешь ты средства на спасенье.
Сам медик мне сказал свое решенье:
«Болезнь должна иметь благой исход,
Но может взять и скверный поворот»...
И истиной, наукою добытой,
Был горд сей муж, в науке знаменитый.

Беспомощно! .. Как в этом слове, друг,
Вся жизнь сама сказалась неподдельно!
Как ясен мне весь заповедный круг
Ненужности, бессильной и бесцельной.
Стою, молчу и мыслю про себя:
Вчера глядел, любуясь и любя,
На глазки светлые, на ясный лобик!
А завтра вот пойду готовить гробик.

И снова жизнь потянется пуста,
В напеве недостанет звука,
Внутри тоска, кругом тупая скука...
Не в первый раз развеется мечта,
Не в первый раз переживать утраты,
Шесть тысяч лет всё люди мрут да мрут,
А с похорон — поплачут и живут.
Переживу и я... На благо общее отдам
мой труд,
Да, сверх того, и умиранье больно...
Тушу свечу! На этот раз довольно.

Письмо второе

Сегодня ей заметно лучше стало...
А я, мой друг, сегодня плакал. Да!
Меня сегодня хуже, чем когда,
Беспомощность другая добивала —
Отчаянье безвыходной борьбы,
Ношенье кар заслуженной судьбы,
Сухая боль бесплодного томленья
Без ласки внутренней, без умиленья.

Когда взошел я к дочери больной,
Вдруг вижу — мать в порыве раздраженья
На нянюшку. Неловкою рукой
Давала пить ребенку и водой
Позалила (случайно, без сомненья)...
Забыто все — и как беде помочь,
И что нельзя пугать больную дочь,
Забыта скорбь и, может, близость гроба,
Над всем всплыла одна сухая злоба.

Я был объят каким-то духом тьмы,
Мне дикий вид и речи были гадки,
Я вышел вон безумно, без оглядки,
Как будто б я спасался от чумы.
Бежал, бежал, забыл мою больную,
Мой тайный страх, мою печаль иную...
О! отчего я не имею сил,
Ни сил на власть, ни сил на убежденье,
На вкрадчивость сердечного моленья.
Я много бед еще бы отвратил,
Я, страстно эту женщину спасая,
Сказал бы ей, из глубины взывая:

«О! ради наших прошлых дней
Погибшего, погубленного счастья,
Не разрушай в душе моей
К прошедшему последнего участья!
Прости меня! Я виноват,
Я погубил твой возраст юный,
Я по́рвал все святые струны,
На ум навеял праздный чад.
Я развил волей иль неволей
Дух неразумных своеволий,
Я допустил в душе твоей
Тревогу мелких нетерпений,
И сухость мстительных волнений,
И необузданность страстей!
Прости меня! Перед тобою
Клонюсь преступной головою,
Но я любил, но я был слаб,
Я был не старший брат, а раб.

О! ради наших прошлых дней
Погибшего, погубленного счастья,
Не разрушай в душе моей
К прошедшему последнего участья!
Твой слух на голос мой склони,
Пойми всю ширь сердечного прощенья
И тихой грустию благоволенья
Порывы злобы замени.
Чтоб ты пришла к уразуменью,

Как много я наделал зла
Моей потворственною ленью
И мне простить ее могла, —
Сойди в себя! отвергни оправданья,
Очисти жизнь слезою покаянья...
Вчера — ты помнишь ли — вчера...
Еще ты ночью говорила,
Что, знать, за то, что ты забыла
Понятье правды и добра,
Тебе дочернее страданье
Дано судьбою в наказанье?
Ужель опять — ни страх перед судьбой,
Ни мягкая надежда исцеленья
Не взяли верх над мелкой и сухой
Презренною тревогой озлобленья?
Подумай, оглянись назад —
Безумный вихрь, ревнивый чад...
Сердечной лаской не пригреты —
Две девочки забудут кров родной,
Нарушены пред урной гробовой
Тобою данные обеты.
Ужель и в жизнь своих детей
Навеешь ты все то же роковое
Дыханье злобы и страстей,
Туманный вихрь, съедающий живое,
Ума лишающий людей?
Пойми, что злоба на все лицы,
Что праздно бешеная кровь,
Тревога дикая волчицы —
Еще не женская любовь.
О! слух на голос мой склони,
Пойми всю ширь любви и умиленья
И тихой грустию благоволенья
Порывы злобы замени.
О! сделай, сделай, ради бога,
Чтоб я, когда иду к больной,
Я не стоял бы у порога
Терзаем думою одной,
Что вот войду — и вновь тревога,
И вкруг пойдет рассудок мой,
И я, встречая сердца малость,
Забуду и любовь и жалость.

О! дай же плакать мне над ней,
Над бедной Лизою моей,
Любить ее и целовать ей руки
Без задних дум проклятия и муки...
У ног твоих, еще любя,
Рыдаю и молю тебя —
Сойди в себя. Отвергни оправданья,
Очисти жизнь слезою покаянья.

О! ради наших прошлых дней
Погибшего, погубленного счастья,
Не разрушай в душе моей
К прошедшему последнего участья...»

Но тщетно все... Я знаю, голос мой —
Пустынный бред моей души больной,
И я слова мои напрасно трачу —
Склоняю голову и плачу.

Письмо третье

Она останется жива!
Уже сегодня говорила
Она веселые слова
И сказки сказывать просила.
Уже сквозь усталь и недуг
Смеются умненькие глазки...
Какие ж я тебе, мой друг,
Сказать могу сегодня сказки?
Я помню только лишь одну —
Как рыцарь с синей бородою
Хотел привычною рукою
Убить девятую жену.
Прослушала четыре раза,
Но просит все конца рассказа,
Все говорит, не кончен он:
Скажи про прежних восемь жен.

Она останется жива!
Дай этой мыслью насладиться!
Хотя на миг один иль два
Дай в чувстве радости забыться,

Куда-нибудь, хоть за забор,
Отбросив жизни грязь и сор.
Так доживу ж я, вероятно,
Чтобы взглянуть хоть на расцвет
Весенних отроческих лет,
И будет ей не непонятно
Благословенье и завет
И ласка слов моих прощальных,
Спокойных, тихих и печальных.
Да! я увижу возраст тот,
Откуда времени полет
Мои черты сквозь сумрак бледный
С сердечной памяти бесследно
Крылом холодным не сотрет.

1863, январь

* * *

Береза в моем стародавнем саду
Зеленые ветви склоняла к пруду.
Свежо с переливчатой зыби пруда
На старые корни плескала вода.
Под веянье листьев, под говор волны
Когда-то мне грезились детские сны.
С тех пор протянулося множество лет
В волнении праздном и счастья и бед,
И сад мой заглох, и береза давно
Сломилась, свалилась на мокрое дно.
И сам я дряхлею в чужой стороне,
На отдых холодный пора, знать, и мне,
А все не забыл я про детские сны
Под веянье листьев, под говор волны.

1863, май(?)

КАРТИНЫ ИЗ СТРАНСТВИЯ ПО АНГЛИИ

(Подражание Гейне)

Отравляясь никотином,
Отравляясь алкоголем,
С неизвестным господином
Ехал я ричмондским полем.

На вершине омнибу́са
Мы молчали — не по ссоре,
А затем, что оба — вкуса
Не нашли мы в разговоре.

Мы молчали всю дорогу,
Все, что в мыслях, — было скрыто,
И лошадки понемногу
Доплелись до Гаммерсмита.

Тут мы слезли. Он лукаво
Улыбнулся, но без гнева, —
И пошел себе направо,
Я пошел себе налево.

1863, лето

СИМ ПОБЕДИШИ

(Ответ писавшему «Братское слово». Колокол, № 171)

Мой друг, твой голос молодой
Отводит душу, сердце греет,
И призрак пал передо мной,
И дух уныния слабеет.
А есть с чего сойти с ума,
Или утратить силу веры —
Так зверств и подлостей чума
Россией властвует без меры.

И вот пришло на память мне —
Как в старину, никем не знаем,
Бывал, спасаясь в тишине,
Отшельник адом искушаем:
Из тьмы углов, из черной мглы,
Из-за полуночной завесы —
И отвратительны и злы —
Его смущать являлись бесы,
А он крепился и мужал,
И призрак верой побеждал.

Мой друг, твой голос молодой
Отводит душу, сердце греет,
И призрак пал передо мной,
И дух уныния слабеет,
И верю, верю я в исход
И в наше светлое спасенье,
В землевладеющий народ
И в молодое поколенье.
И верю я — невдалеке
Грядет, грядет иная доля,
И крепко держится в руке
Одна хоругвь — «Земля и Воля».

1863, сентябрь—октябрь

МЫСЛИ РОССИЯНИНА
ПРИ ЧТЕНИИ УКАЗА О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КРЕСТЬЯН К ПОМЕЩИКАМ В ЗАПАДНЫХ ЧЕТЫРЕХ ГУБЕРНИЯХ И ЧЕТЫРЕХ УЕЗДАХ

1

Эх ты, царь наш батюшка,
Александр Второй!
Знать, и правду бубны-то
Славны за горой.
Знать, покуда в Питере
Тешили слова,
Думал ты, пируючи:
«Все, мол, трын-трава!
И в освободители
Попаду, мол, я,
И с моими барами —
Будем мы друзья.
Мужику помажу я
Медом по усам,
А другой-де воли я
Все ж ему не дам.
В некой постепенности
Отыщу матéрью
Удоблетворить зараз
Всю мою имперью. . .»

2

Эх ты, царь наш батюшка,
Я простой мужик —
И к словам заморскиим
Вовсе не привык.
Мне бы как попроще-то:
Посулил — подай,
Хочешь *да* — скажи, а *нет* —
Рта не разевай.
В промежутке пустошном
Между *да* и *нетом*
Смыслу не найти тебе
С всем твоим Советом.
Был бы ты, царь-батюшка,
Сам себе не враг —
Верно не втесался бы
В постепенный мрак,
А с начала с самого
Нам бы землю дал,
Без оброков-выкупов
Всех бы развязал.

3

Ты пойми, царь-батюшка,
Испужавшись ляха,
Ты ведь за развязку-то
Вдруг взялся со страха.
Страх — советник плохонькой,
Не волён в мысля́х,
И, глаза зажмуривши,
Бродит все впотьмах.
Страх в российском воинстве
Уничтожил строй
И пустил солдатушек
На простой разбой.
Так что победятся-то
Ляхи не войсками,
А сдадутся — будут в том
Виноваты сами.
С страху ты, царь-батюшка,

Русским на проклятье
Бросился украдкою
В прусские объятья;
С поганью немецкою
Заключил союз,
Хныча, словно махонькой:
«Дяденька, боюсь!»

4

И теперь, со страху же,
Хочешь ты, чтоб пан
Лапою казенною
Брал оброк с крестьян.
Да смотри, не поздно ли
Ты взялся за ум?
Да и ум не выйдет ли
Только *наобум?*
Кто к уставной грамоте
Руку приложил —
По указу надобно,
Чтобы рубль платил;
Кто же не подписывал,
Был тебе противен —
Тот заплатит с скидкою
Только восемь гривен:
Стало быть, царь-батюшка,
Уж такой уряд —
Кто тебя послушался,
Тот и виноват.
Племена литовские
Идут бунтовать —
Ты крестьян от панщины
Хочешь развязать.
А как между русскими
Бунта еще нет —
Ну так переходностью
Сжать их на сто лет,
Чтобы царской милости
Век был русский барин —
За неразвязание —
Очень благодарен.

6

Ну, с Литвой как рядышком
   Если наш народ
В неповиновении
   Выгоду поймет?
Если Псков да Новгород
   Да смоленский люд,
А потом московские
   К ним же подойдут,
Да по всей империи
   Русский весь народ —
На неправосудие
   Вдруг возопиет:
«Ну-тка, царь, развязывай!»
   Нет уж, тут с рубля
Двадцатью копейками
   Отлынять нельзя.
Видишь ли, царь-батюшка,
   В страхе нет добра,
С ним — чего мудреного —
   Побежишь с двора.
Знамо, тучу божию
   Не сшвырнешь на вилах —
Ты сознайся попросту,
   Что владать не в силах.
Обратись-ка к земщине,
   Созови собор,
Да народных выборных
   Слушай приговор;
Слушай во смирении,
   Головой склонись,
Разуму народному
   Сам-то поучись.
Да спеши, царь-батюшка,
   Чтоб не запоздать,
Не пришлось бы земщину
   Без тебя сзывать.

6

Если я, царь-батюшка,
   Что сказал не в лад —
Ты уж не взыщи на мне,
   Я не виноват.
Твой покойный тятенька
   Человек был строг,
Всех, кто был пограмотней,
   Гнул в бараний рог.
Мы учились без толку,
   Как-то на авось...
Впрочем, свет царь-батюшка,
   Ты меня не бось,
Человек я маленький,
   Смирный, не буян,
Чином не запятнанный
   И не из дворян.
Я не вор, не взяточник,
   Не шпион какой,
Купленный и проданный,
   А мужик простой...
Пока верноподданный.

Фирс[1] Холмогоров

1863

EXIL[2]

Я том моих стихотворений
Вчера случайно развернул,
И, весь исполненный волнений,
Я до рассвета не заснул.
Вся жизнь моя передо мною
Из мертвых грустной чередою
Вставала тихо день за днем,
С ее сердечной теплотою,
С ее сомненьем и тоскою,
С ее безумством и стыдом.

---

[1] Я, люди добрые, именинник бываю 14 декабря; милости просим закусить. — *Прим. Огарева.*

[2] Изгнание (франц.).

И я нашел такие строки,
В то время писанные мной,
Когда не раз бледнели щеки
Под безотрадною слезой:
«Прощай! На жизнь, быть может, взглянем
Еще с улыбкой мы не раз,
И с миром оба да помянем
Друг друга мы в последний час».

Мне сердце ужасом сковало:
Как все прошло! Как все пропало!
Как все так выдохлось давно!
И стало ясно мне одно,
Что без любви иль горькой пени,
Как промелькнувшую волну,
Я просто вовсе бедной тени
В последний час не помяну.

1863

ПРИЗРАК

В одну из тех ночей весеннего тепла,
Когда покоится серебряная мгла,
А месяц трепетный наводит освещенье, —
В одну из тех ночей явилось мне виденье.
Под дубом вековым недвижно я лежал,
Раскрыть глаза едва-едва имея силу,
Как будто был уже готов сойти в могилу,
И для меня мой час последний наставал.
Не поднималися беспомощные руки,
Но слух еще ловил каких-то голосов
Блаженства полные, знакомые мне звуки
В движеньи воздуха и трепете листов.

И вдруг пришла она — все тот же образ стройный,
Все так же хороша, все так же молода,
С улыбкой тихою и поступью спокойной,
И взором ласковым, как в прежние года, —
И близ меня она колена преклонила...
«Зачем, — я ей сказал, — зачем приходишь ты?

Я знаю — никогда меня ты не любила...
А я? А я всю жизнь не знал иной мечты.

Любил ли я еще когда-нибудь — не знаю —
Ни прежде, ни потом... Но жизнь пережита,
Теперь уже я стар, теперь я умираю...»
Тут уст моих ее коснулися уста...
В последний раз во мне сердечное биение
Мгновенно вздрогнуло и замерло совсем...
Тогда исчезло все — и звуки и видение,
Глаза закрылися, и был я глух и нем,
И только бледная луна еще глядела
На мертвое, хладеющее тело.

1863

* *

Мчатся кони вороные
По шоссе в задоре глупом;
Мчатся кони — не пустые,
А с хорошим, свежим трупом.

Кони мчатся в черных шорах,
Люди в черном, шляпы с флёром;
С боку на бок на рессорах
Гроб дрожит в движеньи скором.

Позади его карета,
Дамы в черном (всё родные),
Берегут глаза от света
Всё платочки носовые.

То ли плачут в самом деле,
То ли так лишь, для показа,
Чтобы люди поглядели
И вздохнули два-три раза?..

А работник полупьяный
Вслед кричит им что есть силы:
«Ну! Куда спешить так рьяно?
Не уйдет он от могилы!»

А ему в ответ сказали:
«Ты — дурак! Не можешь ведать.
До кладбища доскакали —
Стало, можно пообедать».

А покойника знавал я,
Он кабак держал в соседстве,
С ним за пивом толковал я
О политике и детстве.

В детстве был он малый кроткой,
Даже скаредно обедал,
Крал, торгуя с старой теткой,
И раскаянья не ведал.

Так и вырос понемногу;
Совесть вдруг проснулась круто,
И он стал молиться богу
И кабак снял у банкрута.

Ясен прок в молитве строгой:
Торг пошел ужасно живо,
Пили много, очень много
Всяких водок, вин и пива.

Он женился. Наслажденье!
Мал-мала меньше дети были,
Муж с женою в воскресенье
В церковь божию ходили. . .

<Не окончено?>

1863

* * *

На голос:
Ездил русский белый царь
Православный государь
Из своей страны далеко
Лавры пожинать.

Жил на свете русский царь,
Разнемецкий государь,
Он крестьянскому народу
Волю обещал! *(дважды)*

Чтобы каждый селянин.
Как теперя дворянин,
От работы подневольной
Век не горевал!

Чтоб его ни бить, ни сечь,
Обдирая шкуру с плеч,
Ни помещик, ни чиновник
Более не мог.

Чтобы он землей владел,
И пошли б ему в надел
Те поля, за что платил он
Барину оброк.

Обещал-то царь легко.
Но уехать далеко
На посуле, как на стуле,
Видно, захотел.

Думал: «Глуп мужик, всё съест!»
И составил манифест,
Что ни в толк взять, ни понять
Никто не сумел.

Ну, чиновники читать,
Да крестьянам толковать,
Что та новая неволя —
Волюшка и есть.

Воля-вольная нищать,
Да под розгами пищать,
Да начальству грош последний
Со слезами несть.

Призадумался народ,
Чует — кто-нибудь да врет:
Иль начальство надувает,
Или самый царь.

Что за воля без земли.
Чтобы барщину несли

И оброк крестьяне так же,
Как водилось встарь?

Это что-нибудь не так —
И попалися впросак
Те крестьяне, что судили
О делах своих.

По селам, без дальних слов,
Как прямых бунтовщиков,
Стала сечь их и тиранить
Стая становых.

Ну сзывать на них полки
Да водить солдат в штыки,
Чтоб по старому порядку
Все водилось вновь.

Напроказил царь-отец!
На Руси с конца в конец
Из-за царского обмана
Пролилася кровь.

Надо, значит, для крестьян,
Чтоб народ за волю сам
Дружно — миром, волостями
В одно время встал!

Надо, значит, чтоб солдат
Помогал ему как брат
И, не слушая приказа,
В него не стрелял.

1863

* * *

Выпьем, что ли, Ваня,
С холоду да с горя,
Говорят, что пьяным
По колено море.

Стар теперь я, Ваня,
Борода седая,
А судьба все та же —
Злая и лихая.

Дочь Антона вышла
Замуж за другого,
Ну! и я женился —
Живо да здорово.

Деток целых трое,
Схоронил старушку,
А поправить нечем
Скверную избушку.

Говорят, мы вольны,
Только царь нам дядька.
А оброк все тот же —
Что ни поп, то батька!

Выпьем, что ли, Ваня,
Эх, брат, да едва ли
Пьяному за чаркой
Позабыть печали.

1863(?)

* * *

Бедный князь наследник,
Бабст твой проповедник!
Вошел во дворец —
Вовсе не певец
(Может быть, подлец),
Даже не пьянист —
И не горд, как Лист
(Разве банный лист —
Но экономист), —
И, напружив выю,
Тащит он Россию —

Зря — не зря ни зги.
Сквозь твои мозги.
Впереди нет прока
От его урока.

1864

* * *

Мой русский стих, живое слово
Святыни сердца моего,
Как звуки языка родного,
Не тронет сердца твоего.
На буквы чуждые взирая
С улыбкой ясною, — умей,
Их странных форм не понимая,
Понять в них мысль любви моей.
Их звук пройдет в тиши глубокой,
Но я пишу их потому,
Что этот голос одинокой —
Он нужен чувству моему.
И я так рад уединенью:
Мне нужно самому себе
Сказать в словах, подобных пенью,
Как благодарен я тебе —
За мягкость ласки бесконечной;
За то, что с тихой простотой
Почтила ты слезой сердечной,
Твоей сочувственной слезой —
Мое страданье о народе,
Мою любовь к моей стране
И к человеческой свободе. . .
За все доверие ко мне,
За дружелюбные названья,
За чувство светлой тишины,
За сердце, полное вниманья
И тайной, кроткой глубины.
За то, что нет сокрытых терний
В любви доверчивой твоей,
За то, что мир зари вечерней
Блестит над жизнию моей.

<1862—1864>

РАЗДУМЬЕ

Дикие страсти, звериная доля,
Мозга людского тупая неволя,
Долго ль я стану под вашей тревогой
Праздно томиться печалию многой?
Иль не дана безмятежность исхода —
Жизни разумной святая свобода?
Или бесплодное это страданье
Только могилы покончит молчанье?
Глупый конец безотчетных волнений
Прошлых и будущих всех поколений.

1864(?)

SCHERZO[1]

Зорька где-то догорела,
Глушь лесная потемнела,
Ночь таинственно нисходит...
Леший путника заводит.
Ау, ау, ау!

Сквозь деревья месяц блещет,
Лист серебряный трепещет,
Свет и тень по лесу бродит...
Леший путника заводит.
Ау, ау, ау!

1864(?)

IL GIORNO DI DANTE[2]

Суровый Дант не презирал сонета...
Пушкин

Италия! земного мира цвет,
Страна надежд великих и преданий,
Твоих морей плескание и свет
И синий трепет горных очертаний

[1] Скерцо (итал., муз. термин)
[2] День Данте (итал.)

Живут в тиши моих воспоминаний,
Подобно снам роскошных юных лет.
Италия! я шлю тебе привет
В великий день народных ликований!

Но в этот день поэта «вечной муки»
Готовь умы к концу твоих невзгод,
Чтоб вольности услышал твой народ

Заветные, торжественные звуки,
И пусть славян многоветвистый род
Свободные тебе протянет руки.

1865, 12—15 мая

МОЦАРТ

Толпа на улице и слушает, как диво,
Артистов-побродяг. Звучит кларнет пискливо;
Играющий на нем, качая головой,
Бьет оземь мерный такт широкою ногой;
Треща, визжит труба; тромбон самодовольный
Гудит безжалостно и как-то невпопад,
И громко все они играют на разлад,
Так что становится ушам до смерти больно.

Так что ж? Вся наша жизнь проходит точно так!
В семье ль, в народах ли — весь люд земного шара,
Все это сборище артистов-побродяг
Играет на разлад под действием угара...
Иные, все почти, уверены, что хор
Так слажен хорошо, как будто на подбор,
И ловят дикий звук довольными ушами,
И удивляются, когда страдают сами.
А те немногие, которых тонкий слух
Не может вынести напор фальшивой ноты,
Болезненно спешат, всё учащая дух,
Уйти куда-нибудь от пытки и зевоты,
Проклятьем наградя играющих и их
Всех капельмейстеров, небесных и земных.

Люблю я Моцарта; умел он забавляться,
Дурного скрипача и слушать и смеяться;

Он даже сочинил чудеснейший квартет,
Где все — фальшивый звук и ладу вовсе нет;
Над этим, как дитя, он хохотал безмерно,
Художник и мудрец! О, Моцарт беспримерный!
Скажи мне, где мне взять тот добродушный смех,
Который в хаосе встречает ряд утех,
Затем, что на сердце — дорогою привольной —
Так просто весело и внутренно не больно!

Середина 1860-х

ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕИЗДАННОМУ И НЕДОКОНЧЕННОМУ

Не унывай среди томящей скуки
Движенья мелкого минут,
Не унывай от ежедневной муки
Скрипящих звуков, пошлых смут.
Не унывай, не находя исхода
Среди пустынной ширины
Праздношатания людского рода,
Праздношатания волны.
Не унывай и думай без испуга,
Что рвутся жизненные швы,
И не склоняй под тяжестью недуга
Полустолетней головы.
Спеши в строках последнего сказанья,
Где завершится жизнь сама,
Отметить всю работу пониманья,
Весь опыт явственный ума.
А там умри, с спокойным чувством меры,
Вперив на мир последний взгляд,
Без помыслов отчаянья иль веры,
Без сожалений и отрад.

1866, 25 июня

ОСУЖДЕННОМУ

Ну! выстрелил ты дерзновенно в царя,
Который ошибкою добрым зовется? . .
Поступок нелеп — не в упрек говоря, —
Но в нем побуждений дурных не найдется.

Незрелая мысль да горячая кровь...
А сердцем всё ж надо быть чисту и смелу,
Да надо к народу прямую любовь,
Да сильную преданность общему делу.

Ну! выстрелил ты во благого царя,
Который ввел смертные казни в обычай...
Не спустит он, пошлою местью горя,
Что раз был испуган вне должных приличий.

Замученный в пытках, поруган молвой,
Погибнешь ты твердо за юное дело,
И будет, повиснув на петле тугой,
Качаться твое бездыханное тело.

А царь пустодушный, за пышным столом,
Где лилися вин драгоценные реки,
С улыбкою детской поникнув челом,
В дремоте опустит тяжелые веки.

1866, август

НАДГРОБНОЕ

Что тебя прихлопнуло,
Старый генерал?
Совесть ли проснулася,
Царь ли обругал?

Видишь, как бы ни было,
Будь хотя подлец,
А кондрашка все-таки
Хватит наконец.

И хватил насмешливо,
Не уважив чин,
Накануне именно
Царских именин.

И равно ни холодно
И не горячо,
Есть Андрей с брильянтами
Иль через плечо.

Вот мораль из этого:
Будь ты хоть палач,
А издохнешь все-таки,
Злобствуй или плачь.

1866, сентябрь

НАТАЛИ

Она была больна, а я не знал об этом!..
Ужель ни к ней любовь глубокая моя,
Ни память прошлого с его потухшим светом —
Ничто не вызвало, чтобы рука твоя
Мне написала весть о страхе и печали,
Иль радость, что уже недуги миновали?

Ужель в твоем уме одно осталось — злоба?
За что? Не знаю я. Но вижу я, что ты
Не пощадишь во мне ни даже близость гроба,
Последних дней моих последние мечты.
Как это тяжело, когда б ты это знала!..
Как глухо мозг болит, от горя мысль устала...

1867, 8—9 февраля

ДО СВИДАНЬЯ

Смолкает *«Колокол»* на время,
Пока в России старый слух
К свободной правде снова глух,
Пока помещичее племя
Царю испуганному в лад
Стремится все вести назад,
И вновь касается окова
До человеческого слова.
Но вспять бегущая волна
Не сгубит дерзостным наплывом
Раз насажденные по нивам
Свободы юной семена.

Смолкает *«Колокол»* на время,
Но быстро тягостное бремя
Промчится, как ненужный сон,

И снова наш раздастся звон,
И снова с родины далекой
Привет услышится широкой,
И, может, в наш последний час
Еще светло дойдет до нас —
Как Русь торжественно и стройно,
И непорывисто смела,
С сознаньем доблести спокойной
Звонит во все колокола.

1867, июнь

* * *

Возвышенный дом на верху крутизны,
В раскрытые окны все залы видны,
Из окон огонь многосвечный блестит,
И музыка дружно и громко звучит.
И в залах танцует народ молодой,
И старый любуется резвой толпой.
И там, между юношей, виден один —
Красивый и ловкий, лихой господин.
Без устали в пляске до бела утра,
Он знает, что юности мчится пора,
И так ему нужно веселым пробыть —
Как будто б искал он о чем-то забыть.
Внизу под горою, шумна и бойка,
Волна за волною катится река,
И звезд отдаленных средь темной ночи́
По во́лнам скользят золотые лучи.
Волна́ми уносится труп молодой,
В одежде убогой, с размытой косой.
Погибла ты, женщина, в юности дней —
Под гнетом его мимоходных любвей.
Плыви, бездыханная, быстрым путем
С зародышем мертвым во чреве твоем —
Пока не разбилась о груды камней,
Пока не исчезла в пучине морей.
Обоим на все будет тот же ответ:
Забвенье людское, исчезнувший след.

1867, 2 сентября

* * *

Надежды падают и рушатся мечты,
Как волны скользкие колеблемого моря.
Дитя любимое, зачем родилось ты —
Для сильной жизни ли, иль для тупого горя?
Пристрастья матери задушат ли в тебе
Движенье сил живых любви и пониманья,
Иль все ж ты вынырнешь в настойчивой борьбе
Из-под ревнивого и злобного влиянья?
И сохранишь весь век (как жить ни тяжело,
И как бы жизнь твоя ни длилась бесконечно)
Спокойный, светлый взор и ясное чело —
Как выражение всего, что человечно?
Не знаю, право, я — и жизнь моя жалка,
Как будто облака свинцовые нависли,
И все безвыходно, и скорбная тоска
Теснит дыхание, смущает свежесть мысли.

1867, 10 ноября

НАТАШЕ

И день и ночь, дитя мое,
Я занят мысленно тобою;
Ищу уныние твое
Рассеять любящей рукою.
Невольно взгляда твоего
Я вспоминаю выраженье,
И голос слов твоих, его
Неуловимое значенье:
Я узнавать в тебе привык
И каждой мысли след летучий,
И каждый затаенный крик
Немых скорбей и страсти жгучей.
О! дай уныние твое
Рассеять любящей рукою;
Молю тебя, дитя мое,
Не мучься ложною тоскою;
Святыни сердца своего
Не трать в порывах малодушно;
Люби меня, люби *его*,

Люби светло и простодушно,
Без притязаний, без обид,
Без подозрительности ложной,
Без жала мелких Немезид,
Без яда ревности тревожной.
О! жизнь нам тяжело далась,
Довольно было огорчений,
Довольно рушилось у нас
Надежд, и чувств, и убеждений...
Ты наш союз благослови
Любви безоблачным приветом,
Наш вечер мирно оживи
Неугасимо-кротким светом,
И пусть остаток наших дней —
Союза нашего достоин —
В живых лучах любви твоей
Пройдет торжественно-спокоен!

Так, смысл торжественный храня,
Развалины твердыней Рима
В вечернем озареньи дня
Еще живут невозмутимо.

1867, ноябрь

DE MORTUIS AUT NIHIL, AUT BENE[1]

Мы в дружбе с ним давно не жили,
Разлад взошел меж мной и им,
Едва, встречаясь, говорили,
Почти не кланялися с ним.

Но мелочь ссор молчит мгновенно
Пред бледным телом мертвеца,
И остаются незабвенно
Черты знакомого лица.

1867, декабрь

---

[1] О мертвых или ничего, или хорошо (лат. поговорка).

ПРЕДИСЛОВИЕ

Обычной жизни сор мятежный
Похоронив в прожитом дне,
Свершаю мысли труд прилежный
В уединенной тишине.

Но мерных строк язык [привольный]
И рифм созвучная чреда
Опять теснятся в слух [невольно],
Как прежде, в юные года.

Объят их сладостною мукой,
Склоняя на руки чело,
Хочу стихи связать с наукой
Немецким критикам назло.

Писал Георгики Вергилий —
Хоть скучно; школьником еще
Я их читал не без усилий,
Но всё ж их хвалят вообще.

И скажешь правду, без фантазий,
Про их латинские красы —
Творцы классических гимназий
Тотчас накинутся, как псы.

Быть может, выйдет меньше звучен
Мой русский стих, [мой стих родной],
Но так же вычурен и скучен —
[Пусть то решит читатель мой].

Но если б мне хватило сил созданья,
Чтобы сказать моей строфой,
Что в деле мысли, в жажде знанья
Есть мощь поэзии живой, —

Я был бы счастлив бесконечно
Преданий [ложных] рушить тьму...
<Чтоб стало> все, что человечно,
Понятно юному уму.

<1866—1867>

* * *

Пора, пора детей других
Нам не считать людьми чужими.
Тогда сумеем мы для них
Руками бодрыми, родными
Создать ряды тех школ святых,
Где цель и связь одна меж нами
И где они, как с братом брат,
Поймут, что жизнь есть общий склад.

1868, 1 июля

СТУДЕНТ

(Посвящается памяти моего друга Сергея Астракова)

Он родился в бедной доле,
Он учился в бедной школе,
Но в живом труде науки
Юных лет он вынес муки.
В жизни стала год от году
Крепче преданность народу,
Жарче жажда общей воли,
Жажда общей, лучшей доли.

И, гонимый местью царской
И боязнию боярской,
Он пустился на скитанье,
На народное воззванье,
Кликнуть клич по всем крестьянам —
От Востока до Заката:
«Собирайтесь дружным станом.
Станьте смело брат за брата —
Отстоять всему народу
Свою землю и свободу».

Жизнь он кончил в этом мире —
В снежных каторгах Сибири.
Но, весь век нелицемерен,
Он борьбе остался верен.

До последнего дыханья
Говорил среди изгнанья:
«Отстоять всему народу
Свою землю и свободу».

1868

ГРАНОВСКОМУ

Вспомнил я, товарищ,
Ты сошел в могилу,
Миру лучшей доли
Было ждать не в силу.

Я схожу в могилу
Полный утомленья,
Не дождусь я тоже
Миру обновленья.

А настанет время,
Время жизни новой,
В мире отзовется
Истинное слово.

Истинное слово
В мире повторится,
Истинное дело
В мире совершится.

Но не встрепенутся
На глухом погосте
Нами вековечно
Сложенные кости.

1868(?)

МОЛИТВА РУССКОГО ЧИНОВНИКА БОГОРОДИЦЕ

(На голос: «Здравст<вуй>, милая, хорошая моя»)

Дева чистая и с платьем,
Со бессеменным зачатьем,
Богородица, заступница моя,
Помолися и вступися за меня!

У почтенного супруга
Попроси мне дом с прислугой,
У возлюбленного сына —
Генеральского мне чина,

А у голубя свят-духа —
Фунтик золота с осьмухой,
Чтоб я, золотом громазден,
Вышел сыт и пьян и празден;

И тогда я обещаю,
Что тебя возвеличаю!

1869, 17 марта

МУЖИЧКАМ

Люди мои милые, люди мои бедные,
Когда ж это вы начнете голоса-то победные?

Поразберите сами — что вы теперь справляете —
Плотите, плотите, голодаете, голодаете...

Разве это в самом деле жизнь для человека?
И чем же это лучше какого крепостного века?

Старшин выбираете будто вы, а выбирает начальство, —
От этого и идет только грабеж и нахальство.

А всё беда, что вы еще верите в дело царское,
А оно тоже дело чиновничье и дело барское.

Когда ж это вы перестанете во вздоры-то верить
Да станете все дела на свой аршин мерить?

Пора, братцы, пора! Время-то уходит.
Не станете за себя сами — так они вас уходят.

Надо самим силу в руки взять для лучшей-то доли,
Чтобы добиться в самом деле и земли и воли.

А там уж меж себя поделитесь и разверстаете,
Не то что по указу царскому, а как сами знаете.

1869, июль—август

ВСТРЕЧА

(Посвящено духовенству)

Идет мужичок с сенокоса домой, на плече несет косу вострую. А косил он траву полумертвую, от весенних дождей полусгнившую, от июньских жаров пожелтелую. А навстречу ему косматый поп — в синей рясе степенно идет, широкополою шляпой прикрывается, от солнца от знойного защищается. И несет косматый поп святые дары — отпустить во иные, благие миры бабу старую, неумытую, горькой долей разбитую.

И, завидя попа, мужичок отплевывается, от попа, говорит, беда наклевывается. От попа, говорит, дни беды полны — отплеваться надо на три стороны. На одну на сторону, чтоб он грех не взыскал; на другую на сторону, чтобы денег не взял; а на третью на сторону не быть бедствию, от поповских враньев не прийти к сумасшествию.

От плевка мужика поп обиделся.
Ты из старой сказки, говорит, не выбился.
Чем же я не друг тебе, мужичок?
А пойдем-ка мы лучше с тобой в кабачок,
Зеленáго вина выпьем чару дружную,
Потолкуем речь, обоим нужную.
А старуха святых даров без хлопот подождет,
И приду ли я поздно, все равно помрет.

И пошел с попом мужичок в кабачок,
Чару выпили зеленáго вина,
И поп говорит: «Моя жизнь не красна
И не лучше мужицкой, ты мне просто поверь,
Мы живем, как холоп, как замученный зверь.
А теперь нам еще хуже приходится,
Наше племя больше на шатанье расходится».

А мужик говорит: «Дурень ты, поп,
Присылай к нам детей и в жар и в зноб,
Мы им работу дадим на месте,
Землю пахать станем вместе,

Мы только примем их как родных.
Мы только вскормим их как своих.
А не то надоело косить траву блеклую,
Я возьму косу, косу вострую,
Да смету вас всех, моих начальников,
Моих предателей, моих нахальников,
И поверь, тогда, без вашей подготовщины,
Проживем и проверуем безо всякой поповщины».

1869, сентябрь

РАЗМЫШЛЕНИЯ РУССКОГО УНТЕР-ОФИЦЕРА ПЕРЕД ПОХОДОМ

Решено, чтобы шли мы под турку
Для спасения братьев славян, —
Пусть же царь наш сдирает с них шкурку,
А не то что турецкий султан.
Царь забыл, знать, про крымское дело,
Где их тятенька выступил смело,
Да и слег, проклиная судьбу...
Ах! ... ... !

Ну куда посылать нам солдата,
Чтоб спасать незнакомый народ?
Своего понужнее нам брата —
Мужика-то спасать от господ,
От попов, от судей-лиходеев,
От царя и от всяких злодеев,
Ну! потом уж и можно идти,
А теперича ....!

Всем нам голодно, холодно, тупо,
Все мы жалкие люди-рабы,
А, казалося, племя неглупо,
Не того нам ждалось от судьбы.
Душит нас генеральчик с полчишком,
Душит нас и чиновник с крестишком,
Душит нас что ни есть господин —
С<укин> с<ын>, с<укин> с<ын>,
<сукин> с<ы>н!

Душит царь подавляющей лапой.
Забирая налог да рекрут,
Всё его, что мужик ни состряпай, —
До войны ли, любезные, тут?
Не пойти ль со степей да с Урала
Их прогнать от велика до мала,
Да уж им на прощанье сказать:
Вон! . . . . !

1869, сентябрь(?)

ЦАРСКИЕ УКАЗЫ

(Подражание Лермонтову)

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но их без волненья
Сносить невозможно.

Как полны их звуки
Безумством стяжаний,
В них все наши муки,
Обман обещаний.

Дождется отпора
От схода мирского —
Из гнета и вздора
Сотканное слово.

В селе или в поле,
Мы — где б ни случилось —
Проклясть поневоле
Его мы решились.

Не кончивши жнитвы,
Для воли все разом
Мы бросились в битвы
На гибель указам.

1869

С УТРА ДО НОЧИ

(Посвящено Тате)

I

«Светает. — Ах! Как скоро ночь минула...»
(Лиза в «Горе от ума»)

Лениво я смотрю на пробужденье,
И мысль ко дню еще не повернула,
Совсем вжилась в ночное сновиденье.

Толпились в нем враждующие лицы,
Мешаяся друг с другом заодно,
Знакомые недавно и давно, —
И жизни прошлой путались страницы.

Еще хочу — сказать: в спокойной встрече,
Наедине или в толпе их шумной,
Что с каждым днем мы были всё далече
И разошлись вконец — совсем разумно.

Иных ищу — сказать: я виноват,
Я сделал зло, я оскорбил неправо;
Других ищу, кому простить бы рад
Порывы легкомысленного нрава,

Но все ушло... Я помню в сновиденьи —
Все на меня как на врага глядели,
С улыбкою, возможной в озлобленьи...
Дыханье сперлось, и уста немели.

Пора, пора. Рассей тревожный бред —
Не надо ни безумия, ни лени...
Скорее на́ ноги. На труд, на свет...
С чего ж мне жаль покинуть тени?

II

Вы скажете, что я в тиши досужной
Моралью христианскою проникся
Со всею саможертвою ненужной,
Приятной только для большого Икса.

Но вы поймите, что моя мечта —
Уравновесие отдельных жизней,
Где сила всех была бы развита
И сила каждая не в тяжесть ближней.

Поймите: только с этою основой
Для мира óбщины, для жизни новой
Наступит век, понятья изменяя,
И нравственность становится живая.

III

Серые облаки по небу тянутся,
Зимняя сырость по улицам стелется,
Серыми кажутся стены домовые...
Окна — свинцовые, лужи — свинцовые.
Тополь безлистная, почва прогнившая,
Внутренно дума — седая, отжившая.

Дай — я окно отворю подышать!
В воздухе мягком — тепло, благодать;
Зимние виды, а веет весной...
Ты рассуди, что весна — рай земной.
Ведь не одно все и то же сказание —
Розы да бабочки, страсть да лобзание;
Также весна — и паханье полей,
Также пора удобренья и сеянья.
Всходы пойдут... Все живей и живей
Чувство работы и преуспéянья.
Серые облаки! Вот тут есть дело!
Что-то во мне помолодело...

IV

Мой стих от прошлых дней откажется едва ль.
Смотрю на выси гор, покрытые снегами,
А вспоминаю лес с пушистыми иглами,
Или родную степь и снеговую даль,
При блеске солнечном их яркой белизны,
Или в лиловой мгле сияния луны,
И все минувшее на ум приходит вновь:

И образы родных, сошедших с переклички,
Любимых вследствие ребяческой привычки,
И дружба прежняя, и прежняя любовь,
И как живая мысль тайком росла из детства,
И как я не сберег отцовское наследство.

Не много в памяти храню я светлых точек,
И жизнь подернута враждебной дикой тьмой,
Где недоволен я другими и собой,
И не могу вписать прощенья тихих строчек..
Но все ж я сохранил — и веру толков знанье
И мира нового заветное исканье.

1869

СОВРЕМЕННОЕ

Вот и войны наступила невзгода:
Йдут, несметные йдут полки,
Пушки и бомбы палят без отхода,
Блещут на солнце штыки.

Продал весь край император проклятый,
Продал его он тупому врагу,
Продал весь край торгашонок богатый.
«Я, говорит, свой карман берегу,

Ты, говорит, голодай, как и прежде,
Чернорабочий, беспомощный люд,
Да и живи в бестолковой надежде,
Вот, мол, свобода да общинный труд».

Ну! И поднялся народ безоружный,
Вывел свои молодые полки;
Принял торгаш их испуганный дружно,
Да и хватил их в штыки.

Пушки и бомбы палят без отхода,
«Я, говорит, свой карман берегу...»
Продали, продали волю народа
В руки тупому врагу.

1870

ПАМЯТИ ДРУГА

Друг детства, юности и старческих годов,
Ты умер вдалеке, уныло, на чужбине!
Не я тебе сказал последних, верных слов,
Не я пожал руки в безвыходной кручине.
Да! Сердце замерло! .. Быть может, даже нам
Иначе кончить бы почти что невозможно, —
Так многое прошло по тощим суетам...
Успех был невелик, а жизнь прошла тревожно.
Но я не сетую за строгие дела,
Мне только силы жаль, где не достигли цели.
Иначе бы борьба победою была
И мы бы преданно надолго уцелели.

1870(?)

КАРТИНКА ОЧЕВИДЦА

Гроб несут двое нищих французских солдата.
Схоронить им пришлося, покончив войну,
На женевском кладбище товарища-брата:
Бедный умер на днях в неутральном плену.
И швейцарский солдат, вслед за гробом шагая,
И ружье и тесак на ремнях через грудь,
С грозным видом идет, во весь путь наблюдая,
Чтобы мертвый не вздумал сбежать как-нибудь.

1871, март(?)

ПЕСНЯ РУССКОЙ НЯНЬКИ У ПОСТЕЛИ БАРСКОГО РЕБЕНКА

(Подражание Лермонтову)

Спи, потомок благородья,
Баюшки-баю,
Я, дитя простонародья,
Песенку спою.
Мать на бале пляшет стройно —
Барыня она...
Ты же спи себе спокойно —
Я с тобой одна.

Наш народ хотел бы воли,
    Воли да с землей,
Но не даст хорошей доли
    Царский наш разбой.
И отец твой, русский барин,
    Знает роль свою,
Он хоть ловок, но бездарен,
    Баюшки-баю.
Он учен всему на свете,
    Вышло — ничего.
У него одно в предмете —
    Денежки его.
Но и с ними он не сладит,
    Разорит семью,
Праздной жизнью все изгадит,
    Баюшки-баю.
Он служил в полку на диво
    И солдат бивал,
В Отделеньи третьем живо
    Вышел генерал.
А потом был губернатор,
    Грабил всех гуртом,
Его русский император
    Наградил крестом.
Но не верь ты в штуку эту —
    Все не впрок пойдет...
Ты с сумой пойдешь по свету,
    Няня, знай, помрет.
Да ты будь слугой народа,
    Помни цель свою,
Чтоб была ему свобода,
    Баюшки-баю.

1871

ДВОРЯНИН

Боярская доля
Меня совратила,
Боярская воля
Меня утомила.

И быть дворянином
Мне больше не надо,
Ни барством, ни чином
Владеть не отрада...

1871(?)

ПАМЯТИ Л. ЧЕРНЕЦКОГО

Мы с ним работали: то были годы
Во имя общей будущей свободы...
Но умер он еще в всей силе лет:
Не выдержало сердце лжи и гнета,
И вот еще, Искандеру вослед,
Сгиб честный труженик переворота.

1872

ИЗДАТЕЛЮ „СВОБОДЫ“ В САН-ФРАНЦИСКО

Товарищ, верь — взойдет она,
Звезда общественного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Возникнут наши племена.

Хотя я стих переменил немного,
Но смысл теперь, пожалуй что, ясней,
Союз племен для нас одна дорога,
Свободы путь и проще и верней.
Да будет же твоя *«Свобода»,* друг,
Еще раз кличем русского движенья
И, указав общественный недуг,
Укажет путь племен к соединенью.

1872

РАЗДУМЬЕ

Тихая могила
От начала века
Схоронила много
Жизней человека.

Сгнили все до кости,
Иль с водой умчались,
Кой-где, скаля зубы,
Остовы остались.

Цели жизней новых
Видны в тусклой дали,
Мудрецы людские
Их не разгадали.

Начало 1873

МОЯ БИОГРАФИЯ
(ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

Напиваясь брагой кроткой,
Напиваяся вином,
Напиваясь просто водкой,
Шел я жизненным путем.

И сломал себе я ногу,
И, хромающий поэт,
Все же дожил понемногу
До шестидесяти лет.

1

Эпиграф странен, жизнь еще страннее,
С улыбкою гляжу я <на> добро
Бессильное — и зло, хоть посильнее,
Но пошлое и, в сущности, старо,
Толкая криво от начала века
Пустую жизнь пустого человека.

2

Добро есть в азбуке, а зло повсюду,
Мы видим жизнь больших и малых стран
В руках царей, ласкающих Иуду,
Или республик, строящих обман,
И видим мы, как годы, годы, годы —
Народам нет действительной свободы.

3

Пора бы взяться за другое дело
И выступить на новую борьбу,
Где можно бы и высказать нам смело
Безверие и в бога и в судьбу,
И, с ведома добыв освобожденье,
Провозгласить племен соединенье.

4

Вот основания. Теперь же снова
Начну рассказ я о себе самом;
Я думаю, что мысль моя готова
И что могу я совладать с стихом,
Хотя бы все, что в прошлой жизни было,
Явилося смешно или уныло.

5

Родился я — как водится обычно —
От матери и тож отца.
Отец мой русский барин был отличной,
Мать умерла — не помню и лица,
Но мысль о ней была мой бред любимый,
Отец же сгиб, параличом хватимый.

6

Да, впрочем, вообще наш барин русский,
Добившися до лент иль до крестов,
Так скукою замучен жизни узкой,
Что сгибнуть рано чем-нибудь готов
Или, как братец мой в движеньи вялом,
Становится жандармским генералом.[1]

7

Я в детстве рос на бабьем попеченьи,
С любовию и к церкви и к попам;
Потом я был в заботливом раченьи

[1] Гр. Дм. Колокольцов. — *Прим. Огарева.*

Сдан на руки бездарнейшим глупцам,
Но вскоре сам я стал читать Вольтера
И верить бесконечно в Робеспьера.

8

Тут, видно, просто я переменился,
И в жизни цель мелькнула, стало быть,
Совсем иная... Я еще молился
По приказанию, но позабыть
Уже не мог безверья в доблесть барства,
В святыню церкви или государства.

9

А тут пришел в торжественном движеньи
В России бунт известный Декабря,
И нас, детей, в задумчивом волненьи
Воздвигнул страстно противу царя;
Тем более, что Николай чудесил
И пятерых, испуганный, повесил.

10

Я не сказал, не то чтоб по забвенью,
Как я любил и как любим бывал,
Все к Третьему поступит отделенью;
Теперь же я об этом не сказал,
Все кажется: мне сердце что задело —
До этого кому какое дело?

1871—1873

УЛИЦА
(ЖЕНЕВА)

Детский визг и лай собачий,
Стук колес и болтовня,
Говор праздности бродячей
День преследуют меня.
В небо я гляжу пустое,
Но не вижу, где сыскать —

Кто бы помощь мог послать
В утешительном покое,
И бесплодно тонет взор
В голубой небес простор.
Не минует мир ночлега
Дребезжащая телега,
Дребезжащий разговор.

1874

ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ БЕТГОВЕНА

(Памяти Ал. Одоевского)

Я вспомнил вас, торжественные звуки,
Но применил не к витязю войны,
А к людям доблестным, погибшим среди муки,
За дело вольное народа и страны;

Я вспомнил петлей пять голов казненных
И их спокойное умершее чело,
И их друзей, на каторге сраженных,
Умерших твердо и светло.

Мне слышатся торжественные звуки
Конца, который грозно трепетал,
И жалко мне, что я умру без муки
За дело вольное, которого искал.

1874(?)

СВИДАНИЕ

Два императора
Съезжались ныне
Поцеловаться
В городе Берлине.

Мы, говорят, друг с другом
Войны не поднимем,
Мы, говорят, друг друга
Приятельски обнимем;

Друг другу, говорят, поможем
Надуть свои народы,
Не только во имя рабства,
Но и во имя свободы.

Главное ж дело —
Сохранность власти,
И чтоб самим не вышло
Какой напасти.

Ах! окаянные!
Скоро ли ж это
Люди очнутся
От ветхого завета?

Да так уж очнутся,
Чтоб не пришлось вам
Больше ни драться,
Ни целоваться.

1875, апрель—май

ПО ЧИГИРИНСКОМУ ДЕЛУ

А! Вы теперь поймете, господа,
Как ни толкуйте вещи сладко,
Что путь — ведете вы людей куда,
Есть окончательная схватка.
А чья возьмет? Кто? Вы или народ?
Ответ один — тот, кто живее,
А не живет состарившийся род,
Живет, что в силах посвежее.

1875, август—сентябрь

ЛИШАЙ

(Молитва)

Не лишай в час яства аппетита,
Не лишай нас зелени лесов,
Дай прожить без скорби Гераклита —
Не лишай доверия и снов.

Не лишай богатых разоренья,
Не лишай ты бедных торжества,
И сживутся мирно, без смятенья,
Все, разъединенные сперва.
Если ж ты останешься лишаем,
Люди мы, подобные рабу,
Никогда вовеки не узнаем,
Как устроить нам свою судьбу.
Боже, сам исчезни ты из мира,
Где давно не нужен никому,
Так, чтоб нового кумира
Мы не создали уму.

1875

МОЕЙ СТАРУХЕ

Будущее глухо,
Счастья нет следа...
Что, моя старуха?
В жизни все беда!

Дело неба тщетно,
Дух святой не с нами,
Люди незаметно
Стали нам врагами.

Сил не хватит много,
Цель же все одна —
Жиденькой дорогой
Доплестись до дна.

1875

К МОЕЙ БИОГРАФИИ
(МОЕ НАДГРОБИЕ)

Несмотря на все пороки,
Несмотря на все грехи,
Был я добрым человеком
И писал свои стихи.

И писал их в духе бунта —
Из стремленья люд менять,
Находя в стихах отраду,
В бунте видя благодать.

Никогда переворота
Не нашел среди людей,
Умираю утомленный
Злом общественных скорбей.

Середина 1870-х

<П. Л. ЛАВРОВУ>

Поздравляю с Новым годом,
Будь успех вам дни и годы,
Пусть «Вперед» идет с народом
К делу братства и свободы...

Середина 1870-х

ИЗ ЗАПИСОК СУМАСШЕДШЕГО

В пышном городе вскормили
Жизнь мою с младого дня,
Уму-разуму учили
Люди важные меня.

Я не верил в их науку,
Только алчность видел в них,
И растил я в сердце муку
О страданиях людских.

Скорбью лютою неволи
Утомлен, пустился я —
Не добьюсь ли лучшей доли —
В чужеземные края.

Не достиг путем суровым
Правды так, как ждал в мечте,
Не погиб пророком новым
На вновь избранном кресте.

Проскитался и пробрелся
То ребенок, то мудрец,
До беззубых лет доплелся
Да и умер наконец.

Лягут над могилой душной
Грязь иль пыль, венки ль из роз —
Остов примет равнодушно
Без улыбки и без слез.

1876, 9 июня

НА НОВЫЙ ГОД

(Лаврову)

Мне звуки слышатся с утра до поздней ночи,
И многочисленны и полны торжества —
Отверзты или сном уже сомкнулись очи, —
И голоса звучат свежо, без ханжества:
Vive la patrie! Vive la patrie! [1]

Мне слышатся они на чуждом языке,
И скорбию томят мой слух изнеможенный.
Но как тут быть! В родном краю иль вдалеке,
Везде один конец для жизни утомленной, —
А все же слышно: Vive la patrie!

Еще я не погиб и звать готов еще,
И, бодро отзвонив весь звон наш колокольный,
Не падши духом, я взываю не вотще,
Взываю к родине с моей чужбины вольной:
Вперед! вперед! вперед!

1876, 29—30 ноября

МОЯ УЛИЦА В ГРИНВИЧЕ

Старик, параличом хватённый,
Идет походкой удрученной,
И, взоры скорбные воздев,

[1] Да здравствует родина! (франц.).

К жильцам шлет крик или напев:
Umbrellas to mend, umbrellas to mend![1]

Не хватит скудная работа,
Чтоб в жизни легче шла забота,
Но без нее под старость лет
Ни съесть, ни выпить средства нет:
Umbrellas to mend, umbrellas to mend!

Жена и дети по могилам —
Жить долго было не по силам,
А он все жив в параличе,
Несет котомку на плече:
Umbrellas to mend, umbrellas to mend!

Напевы сколько б ни взывались,
Без чинки зонтики остались,
Ненужен труд, бесплоден клик,
А он все тот же тянет крик:
Umbrellas to mend, umbrellas to mend!

1877, 22 апреля

---

[1] Чинить зонтики (англ.).

* * *

Длинный Панин повалился,
Муравьев не угодил,
Голохвастов сокрушился —
Хоть не Лже-Димитрий был;

И Зиновьев лопнул тоже,
Прочь пошли, не видя зги,
С попечительского ложа
Просвещения враги.

Кто ж на место сих Омаров
К должности назначен сей? —
Это просто граф Уваров,
Граф Уваров Алексей.

1858

КН. ЧЕРКАССКОМУ

Нет! Чужда тебе Россия
И славянам ты не свой —
Розгоблудия вития,
Дел заплечных цеховой.

Прочь, сиятельнейший барин,
Спрячься в собственную грязь!..
Ну какой ты русский князь? —
Немцем пахнущий татарин!

1858

* * *

Я не люблю попов ни наших, ни чужих —
Не в них нуждаются народы.
Попы ли церкви, иль попы свободы —
Все подлецы! Всех к черту! Что нам в них?
На место этих иноков бесплодных
Давайте просто нам — людей свободных.

1858

РОСТОВЦЕВСКАЯ КОМИССИЯ

Там, во школе во Фламандской,
Заседает Фирс Ламанской,
А ему же для советов
Дан бугорный Арапетов.
Для гармоньи, вместо лютен,
К ним прибавлен сам Милютин,
Для рассеяния мраков
Взят из библии Иаков,
В мужиках же только барин,
Юрий Федорыч Самарин.

1859, апрель

ЭПИТАФИЯ

Меж тем как в решете везде встречая чудо,
Не ведал таракан, как вылезти оттуда, —
Вчера покушав, в Сити замер
Российский консул — некто Крамер.

1859

* * *

Что за год бесчеловечий!
Жатва сгибла в смраде слов,
И взошли от корня Гречей
Всё Чичерин да Катков.

1862, ноябрь

Ростовцевская комиссія.

Тамъ во школѣ во фламандской
Заседаютъ Гирсъ Ламанскій,
А ему же для совѣтовъ
Данъ Григорій Арапетовъ,
Для гармоніи, вестимо,
Къ нимъ прибавленъ самъ Милютинъ,
Для разсѣянья шпрековъ
Вдругъ изъ Кіева Галаганъ,
Къ шутникамъ же только баринъ
Юрій Федорычъ Самаринъ

* * *

Палач свободы по призванью,
Палач науки по уму,
Прилгавший к ясному преданью
Теоретическую тьму:
Как ты ни гордо лицемерен,
А все же знай, Видок Тетерин,
Что ты, в глазах честны́х людей,
Доносописец и злодей,
Холоп и шут самодержавья,
Достойный тяжкого бесславья
Иль смерти немца Коцебу...
Итак — свершай свою судьбу.

1862

ОТВЕТ КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
НА ЕГО ЗАМЕТКИ, ПОМЕЩЕННЫЕ В СЕНТЯБРЬСКОЙ КНИЖКЕ „РУССКОГО ВЕСТНИКА“

О! Не великий князь (когда-то либерал),
От ссыльных сверстников далеко ты удрал
В жандармскую любовь — к престолу, не
                                        к народу,
Продажностью писак втесняемую в моду, —
Твой неуклюжий стих теперь, когда попал
В потаповский, то бишь в катковский сей
                                        журнал,
Совсем не бабочка, сидящая на розе,
А муха старая, почившая в навозе.

1863, октябрь—ноябрь(?)

<М. Н. КАТКОВУ>

Михайло Никифорыч старый,
Варвары Акимовны сын,
Теперь вы полезли в бояре,
Теперь вы большой дворянин.

Недавно вы были неважный
Пропавший профессор-пошлец —
Теперь же вы просто продажный
И в гору идущий подлец.

1863

* * *

Историк будущий, ценя
Былых племен мучительное бремя,
Запишет, голову склоня,
Припоминая «Наше время»:
«Все изменялося под русским зодиаком,
Леонтьев пах козлом,
Катков равнялся с раком».

1863

ПРИМЕР НЕПРАВИЛЬНЫХ, НО СПРАВЕДЛИВЫХ УДАРЕНИЙ

Голос влажный, голос невский,
Головни́нский, Валу́евский
(Издает Андрей Краевский,
Наш Краевский, наш Андрей) —
Ты с болот своих петровских
Не достигнешь до московских,
До московских, до катковских,
Полицейских, муравье́вских
Доносны́х Ведомостей.

1863

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Но уж кто — хоть и не внятен,
Но правительству приятен
И весь сшит из грязных пятен —
Без сомнения — Скарятин.

1863

<Н. В. ПОГГЕНПОЛЮ>

В Nord'е сквозь все прелести
Языка французского
Так вот, так и чувствуешь
Погань поля русского.

Я хвалю за оное
Царскую полицию:
Третье отделение
Нужно за границею.

1863

* * *

И бранную повесил лиру
меж верной сабли и седла...

Бранной лиры, бранной славы
Ненавижу я права,
Ими жив орел двуглавый,
Черт возьми их пир кровавый!
Лучше бранные слова.

1863(?)

НОВАЯ ПОЛУРЫБИЦА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Жил на свете рыцарь модный,
Литератор не простой,
С виду милый, благородный,
Духом робкий и пустой.

Он имел одно виденье,
Ум смутившее ему,
Что к свободе направленье
Поведет его в тюрьму.

Но таланта дар отличный
Да Белинского слова
От паденья нрав тряпичный
Охраняли в нем сперва.

И в пустыне скверноплодной
Он сберег сердечный жар,
Он возвысил лик народный,
Заклеймил позором бар.

Но в минуту раздраженья
Самолюбьицем пустым
Молодого поколенья
Стал врагом он мелочным.

И, тревожась о пощаде,
Сам к царю он написал,
Что он преданности ради
Связи дружбы разорвал.

И, холопам подражая,
Он представился царю;
Царь сказал ему, кивая:
«Очень вас благодарю».

И прием хоть был отраден,
Но художник со стыда
Скрылся тотчас в Баден-Баден,
Словно призрак, без следа.

1864

СВЕРХУ ВНИЗ

Да, тяжел и жесток этот год
Для честного народа,
Как подумаешь — где же исход —
И не видно исхода.

. . . .

В Мекленбурге ж, где нету датчан,
Узаконилась розга.
И страдает Тургенев Иван
Размягчением мозга.

1864(?), 1867(?)

Т<УРГЕНЕ>ВУ

Я прочел ваш вялый «Дым»
И скажу вам не в обиду —
Я скучал за чтеньем сим
И пропел вам панихиду.

1867, май

* * *

Я сижу в раздумии —
Вот какой предмет:
Д<олгоруки>й сказывал —
Умер Филарет.
Кто же будет нонече
Наш митрополит?
Кто на нас туманное
Слово повалит?
Он пошел ли к господу
За души молить?
Или, по-природному,
В сыру-землю гнить?
Я сижу в раздумии —
Так — что руки врозь:
Нет ему преемника!
Всякий помысл брось.
Ухожу в раздумии —
Умер Филарет!
Светопреставление —
Тут сомненья нет!

1867

* * *

Отцы отечества в мундирах красных!
Как это нет у вас понятий ясных,
И не вперед вас из апелляцьонных
Подвинуло название кассацьонных?

Недаром в вас народ, назло призра́кам,
Обычное находит сходство с раком.

1867

А. МАЙКОВУ

(ПО ПРОЧТЕНИИ ЕГО СТИХОВ В № «РУССКОГО ВЕСТНИКА»)

Аполлон, ты Аполлон,
Аполлон не бельведерский!
Ты опять впадаешь в тон
Просто низкий, вовсе мерзкий.

Знать, забыл ты страшный год —
Хныкал <?> ты вслед за коляской,
А теперь туда же гнет
Стих твой дряблый, стих твой тряской.

Да скажи же наконец,
Ты д — ъ или п — ъ. [1]
Вижу — по твоим проказам,
Что ты то и это разом.

1868

ТЕЛЕГР<АММА> РЕЙТЕРА

Воскресенье, 19 сент<ября>. Одесса

Русский император
Приезжал в Одессу
Помолиться богу
Во соборной церкви.
Смотр держал полкам всем
Конным и пехотным,
И уехал в Ялту
На казенном судне
В праздник, а не в будни.

1875, сентябрь

---

[1] Читай: делец или певец. — *Прим. Огарева.*

НОВОСТЬ ИЗ «ГОЛОСА»

Русский и японский властелины
Островами обменялись...
Островам ни блага, ни кручины —
Так унылы и остались.
И народам оных государей
Пользы вовсе мало:
Но чтоб впрок пошло, кому двух барей
Царство русское послало.

1875, ноябрь—декабрь

ПОЭМЫ

ДОН

(Demi-fantaisie, demi-souvenir) [1]

1

Широко между берегами
Катится величавый Дон,
И солнце поздними лучами
Блестит над ясными водами,
Клонясь за дальний небосклон.

Мой путь чрез Дон. Передо мною
Челнок, привязанный с веслом.
Вблизи казак перед рекою,
Склонясь на руку головою,
Сидит с задумчивым челом.

«Казак, отчаливай живее,
Вези меня». И молча он,
Рукой привычною владея,
Снял привязь и веслом скорее
Толкнул челнок в широкий Дон.

2

Плывем безмолвно. Вот кругом
Взлетают брызги под веслом,
И две бразды взмущенных волн
Вслед за собой рисует челн.

---

[1] Полуфантазия, полувоспоминание (франц.).

Вдали станицы казаков
Вокруг нагорных берегов
При блеске солнечном видны,
Румянцем нежным обданы.
Один лишь мой казак угрюм,
Не разгоняет мрачных дум;
Как радостно на мирный сон
Земля спешит — не видит он.
Так туча черная одна
Средь неба ясного видна.

3

Зачем ты впалыми очами
Так дико смотришь, мой казак,
Когда все весело пред нами?
То, может быть, болезни знак?
Или тебе кручина злая
На лбу морщины навела?
Не смерть ли, жертвы избирая,
Родную жертву избрала?
Тебя в кровавой битве брата
Внезапно, может быть, лишил
Удар черкесского булата?
Или отца ты схоронил?
Иль страсти юности мятежной
Твоей главе полуседой
С мечтой любви и девы нежной
Доступны стали, кормчий мой?
Иль, может, совести укоры,
При взгляде на пройденный путь,
Мрачат тоскующие взоры,
Гнетут тоскующую грудь?

4

Казак

Нет, нет! меня не мучит совесть.
Не о былом моя тоска, —
Но, друг, однообразна повесть
Безвестной жизни казака.

Робенком стал я сиротою,
Так о родных не плачу я —
Я их не знал! Чужой семьею
Взрастилась молодость моя.
Любви и прелесть и мученье
Уже давно забыты мной.
В осьмнадцать лет я в ополченьи
Знал шум тревоги боевой;
Любил воинственные клики
Моих собратий казаков.
Я, русский, вашему владыке
Против его служил врагов.
Но я казак — и жажду воли!
Когда ж домой вернулся я —
Что я нашел? В какой же доле
Томилась родина моя?
За угнетеньем угнетенье
На нашу сыпалось страну,
Как божий гнев, — а мы терпенье
В защиту избрали одну.
Что год, то новые наборы, —
Семьями шлют на гибель нас
В опасные для русских горы,
На злой разбойничий Кавказ.
А наши дети сиротеют,
А жены плачут средь забот,
Поля не вспаханы, пустеют,
И бедность крадется в народ.
То взвалят новые расходы,
Мундиры новые полкам,
То наши прежние доходы
Причтут к казенным барышам.
И, русский, жалость! С каждым годом,
Корысти вашей отдана,
Землею, деньгами, народом
Беднеет наша сторона.
Дворяне наши уж не с нами:
Они враги для казаков,
Гнут только спины перед вами,
Да пьют вино, да бьют хохлов.
Исчезла прежняя свобода,
И прежних прав простыл и след;

Давно для бедного народа
Ни от кого защиты нет.
Вот отчего душа тоскует,
Вот отчего мой взор угрюм
И радость сладко не волнует
В душе глубоко скрытых дум...
Но скоро минет угнетенье —
Терпенье лопнет. Слышал я,
Поверье есть, что всем спасенье
Донская принесет земля.
Пускай казак теперь страдает,
Пусть дня восход и дня закат
Теперь печально он встречает
И молча точит свой булат;
Близка пора: мы бурной тучей
За вольность встанем, за права,
Дадим врагам отпор могучий,
Их пошатнется голова...
И снова станем мы по воле
Спокойно жить в семье своей,
Пахать отеческое поле
И гарцевать среди степей.
Но дó тех пор душа тоскует,
Но дó тех пор мой взор угрюм,
И радость сладко не волнует
В душе глубоко скрытых дум.

5

Сказал, умолк. Я изумленный
Сидел пред этим казаком;
А он, как будто вдохновенный,
Смотрел на берег отдаленный
И пенил воду под веслом.

Любви к отчизне и свободе,
Высоких чувств простой язык,
Среди степей, в простом народе,
При этой дремлющей природе,
Глубоко в душу мне проник.

Но вот безмолвно над рекою
Луна всходила в вышине,
И мы приплыли той порою.
Я руку сжал ему рукою
И удалился в тишине.

И долго с берега крутого
Я все глядел, как в челноке
Назад казак мой поплыл снова,
И средь безмолвия ночного
Неслася песня по реке:

6

«Что, казачка черноокая,
Душу в горесть облекла?
В косу русую, широкую,
Ленту черную вплела?

Иль борьба неумолимая
Мила друга унесла?
Иль тебе, моя родимая,
С ним разлука тяжела?

Не печалься — он воротится,
Может, скоро он придет,
Быстро сердцем к сердцу бросится,
Душу в душу перельет.

С саблей, в битвах притупленною,
С переломленным копьем,
С грудью в ранах, утомленною,
Без коня придет пешком.

Дай ему ты саблю новую,
Дай и крепкое копье,
Пулей меткою свинцовою
Заряди его ружье.

И ударит на губителей
С казаками смело он,

И избавит от гонителей
Наш родимый, славный Дон.

И казачки черноокие
Перестанут изнывать,
В косы русые, широкие,
Ленты черные вплетать».

1839(?)

ЦАРИЦА МОРЯ

(Литовское предание)

1

Простерто небо темносиним сводом,
Ночь тишины и роскоши полна,
Гуляют звезды ярким хороводом
И между них, задумчиво-ясна,
Идет торжественно, спокойным ходом
Краса ночей, волшебница луна;
А море, вдаль безгранно простираясь,
Лежит и светится, не колыхаясь.

Все предалось полночному покою. . .
Но слышится, таинственно, порой
Какой-то вздох, исполненный тоскою,
Рождается под сонною водой;
И часто он поверхность над собою
Тревожит робко легкою струей,
И вот — волною звонкою плескаяя,
Всплывает тихо дева молодая.

Слегка над пробужденными волнами
Качается ее жемчужный челн,
И гибкий стан, и с длинными власами
Печальный лик, красы и неги полн;
Она взирает влажными очами,
Склонясь главой, на бездну синих волн,
И с кудрей русых, каплями стекая,
Шумит вода, на воду упадая.

И долго так сидела и молчала
Царица вод, печальна и бледна,
На руку белую главу склоняла
И долго горько плакала она;
А море челн с любовью колыхало,
Бросала луч с любовию луна.
Но вдруг, откинув волосы руками,
Царица встала с гневными очами.

И раздалося громкое воззванье:
«Сюда, сюда! наперсницы мои,
Мои подруги в счастьи и в страданьи,
Жилицы вод, питомицы струи,
Сюда, ко мне! о! я полна негодованья,
Месть, месть сынам безжалостным земли!»
Так дева горделивая сказала,
И бездна с робостью затрепетала.

Волна мутится, гонится волною,
Кипит, дробится с пеною — и вот,
Восстав над изумленною водою,
Головок нежных дивный ряд плывет,
И руки белые, согласной чередою
Плеская, бьют по лону синих вод,
И косы русые, распав кудрями,
Плывут вослед, мешаяся с волнами.

Плывут, поют пленительные девы,
И будто ропот льющейся волны
Над синим морем сладкие напевы
Средь ночи ясной далеко слышны:

«Мы над морем в поздней ночи
Наши косы расплели,
И лазоревые очи
На царицу возвели.
Ты скажи, царица моря,
Ты скажи нам поскорей,
Ты скажи нам, что за горе
Залегло в душе твоей?
Не печалься, мы готовы,
Сестры верные пришли

За тебя карать сурово
Обитателей земли».

Так пели стройно водяные девы
Среди наставшей снова тишины
И грудью белой, белыми плечами
Качалися над сонными водами.

Любуется царица молодая
Прекрасных дев подвластною толпой
И, руки к ним с любовью простирая,
Им говорит с волненьем и тоской,
Слезу на гнев, гнев на слезу меняя,
И взор ее, то томный, то живой,
Вдруг вспыхнет пламенем негодованья
И никнет вновь от грусти и страданья:

«Вы знаете, жилицы синя моря,
Как хорошо среди бегущих вод
Гуляет вольно рыбка на просторе,
То жадно дышит, то хвостом мелькнет,
И просто любит жизнь, не зная горя...
И кто из вас чешуйчатый народ
Обидеть может словом или делом
Когда-нибудь в жестокосердьи смелом?

Вы знаете, какое наслажденье
Стада сельдей вокруг себя сбирать,
Смотреть на их проворное движенье
И пищу им своей рукой бросать,
Или среди шумящего волненья
На ход леща задумчивый взирать.
И плачьте! ловит, неводом владея,
Их человек с жестокостью злодея.

Но месть, но месть! мы не снесем позора,
Злодея мы на берегу найдем,
И силой рук иль хитрой лаской взора
На лоно вод со смехом привлечем,
Накажем строго дерзостного вора,
Ко дну его мы цепью прикуем,
Чтоб, жадный, видел рыб над головою
И заливался горькою волною».

Тут в путь янтарным скиптром указала
Царица, взором гневным повела,
И бездна челн сердито всколыхала,
И на хребте его стрелою понесла.
«В путь! в путь!» — толпа за ним кричала
И с хохотом и с воплем поплыла
И, заклубясь, сребристой пеной полны,
Ей вслед лились рассерженные волны.

О! сколько тут голов прекрасных было,
И свежих уст, и голубых очей,
И сколько русых кос по волнам плыло,
И белых плеч под сению кудрей!
Кого бы их краса не погубила?..
Но, как луна меж звезд, в тиши ночей,
Так меж подругами, красой блистая,
Являлась вод царица молодая.

2

Встает заря на небе отдаленном,
Румяный блеск по морю пробежал,
И ранний ветр на бреге пробужденном
Траву и лист слегка заколыхал,
И юный цвет, росой посеребренный,
И с шумом куст ветвями закачал;
Орел взлетел над ближнею скалою,
Взвилася чайка с криком над водою.

На берегу из хижины убогой
Рыбак выходит тихо молодой
И вдаль идет прибережной дорогой...
Лицо полно отвагой и красой,
Блистает взор и пламенный и строгой,
И вьется змейкой локон смоляной,
И губу пух, чернеясь, оттеняет,
И крепость мышц движеньем управляет.

Идет. Его одежды ткань сурова,
Но гибкий стан себя в ней очертил.
Рыбак взял сети с берега крутого,

Где бережно их на ночь разложил,
И удочку, забаву рыболова,
И к морю вниз потом поворотил,
И с берега, цепляяся руками,
Спустился тихо скользкими стезями.

Он сел у моря. Сильною рукою
Закинул лесу с гибельным крючком,
И закачало поплавок волною...
И с жадностью, в внимании немом,
Рыбак следил его, склонясь главою
К груди и взор остановив на нем.
Но поплавок все на воде качался
И вслед за рыбкой в глубь не опускался.

«Что за несчастный лов! уж солнце встало
И волны блещут, что смотреть нельзя,
А рыба в море будто задремала
И не клюет... Я разбужу тебя,
Постой! Наловишься во что б ни стало;
Дай сети взять, и будешь ты моя».
Он сети взял, но вдруг в оцепененьи
Остановился, полон удивленья.

Озарены младого дня лучами,
Плывут толпой и брызжут по волнам
Младые девы с русыми косами,
Развитыми по белым их плечам;
На рыбака лазурными очами
Глядят так нежно; робко по устам
Улыбка бродит; с резвостью, небрежно
Его манят рукою белоснежной.

А впереди, в пленительном движеньи
Жемчужный челн с царицею плывет.
Надменная, она таит волненье;
Знак одобренья скиптром подает,
Чтоб приступали, чтоб свершалось мщенье,
Чтоб духом не упали девы вод;
Сама же, притворясь угрюмей ночи,
На рыбака поднять не смеет очи.

А он недвижен, весь в очарованьи,
Остановился взор перед толпой,
Стеснилося тревожное дыханье,
Упала сеть из рук... Как неживой
Стоял он... Только локон в трепетаньи
Качался по ветру над головой;
Виденья душу робкую смутили...
А девы все к себе его манили:

«На лоно вод, рыбак младой,
Ты к нам приди скорей,
Мы увлечем тебя с собой
Далеко в глубь морей.
Покажем рыбок в глубине,
Каких ты не видал,
Покажем на широком дне
И жемчуг и коралл;
И погуляем мы в водах,
Беспечные, с тобой,
И убаюкаем в волнах
Ласкающей рукой.
Приди! мы все равны красой,
Люби одну из нас,
Она тебя своей рукой
Обнимет в поздний час.
Лобзая сладостно, к устам
Она твоим прильнет,
И косу по твоим плечам,
Накинув, разовьет,
И не расстанется с тобой,
Тебя, рыбак, любя,
И зацелует в тьме ночной,
Младой рыбак, тебя».

И девы хитрые, резвящейся толпою,
Его манят к себе на лоно вод,
Он рвется к ним влюбленною душою,
Он с них и глаз влюбленных не сведет...
Вот робко ногу поднял над водою,
Трепещет, хочет броситься... Но вот —
Царица тихо на него взглянула,
И гнев исчез, и, робкая, вздрогнула.

«Стой, стой! — она вскричала с сожаленьем: —
Несчастный! смерти ищешь ты своей.
Умерь восторг, противься искушеньям,
Я не хочу погибели твоей.
Как ты хорош! Я, право, с умиленьем
Гляжу на юный блеск твоих очей.
Живи, люби меня. Зови своею
В тиши ночей. И я любить умею!»

Глядит рыбак, и сладкими речами
И красотой невольно поражен,
И на коленях робкими устами
Ее любить клянется вечно он.
«Так жди меня: я выйду над волнами,
Когда луна взойдет на небосклон,
И приплыву к тебе», — она сказала
И скиптром в путь обратный показала.

И девы вновь обратною толпою
Плывут; качается жемчужный челн,
И тихо все виденье неземное
Уходит вдаль по лону синих волн.
Рыбак стоит с поникшей головою
И смотрит, грустью и любовью полн,
И уж они исчезли за волнами,
А долго он все их искал очами.

И вот, когда они давно сокрылись,
Он вновь поднялся на берег крутой,
Виденья в памяти его носились,
Он думал о царице молодой;
В душе мечты неясные толпились,
Любил, томился, плакал он порой
И целый день бродил все, молчаливый,
И тихой ночи ждал нетерпеливо.

3

Луна взошла и звезды засветились,
И ночь опять величия полна,
И снова волны шумные смирились,

И, как стекло, поверхность вод ясна,
И в них опять спокойно отразились
И синий свод, и звезды, и луна...
И вновь, волною звонкою плеская,
Всплывает тихо дева молодая, —

И море челн жемчужный закачало...
Но уж она печальна не была
И косу влажную не опускала
Над морем; слез горючих не лила;
Своих подруг к борьбе не призывала,
Но с ясным взором в тишине плыла
И все на небо, где луна блестела,
В мечтательном раздумии глядела.

Беспечно челн плывет и за собою
Рисует след блестящий при луне,
И берега с зеленою травою
Уже видны в безмолвной тишине,
И все кругом полуночной порою
Почиет в безмятежном сне;
Один рыбак влюбленный, сна не зная,
Сидит у моря, деву ожидая.

Сидит, томим надеждою, безмолвный,
И смотрит вдаль и слушает порой,
Не встрепенутся ль дремлющие волны...
Когда ж он челн завидел над водой,
В лице весь вспыхнул и, восторгом полный,
Простер объятья к деве молодой
И ждал, и сильно грудь его вздымалась,
А между тем царица приближалась.

Шумит вода, на сонный брег плеская,
Качает челн прибрежная волна,
И вот выходит дева молодая...
Все ново ей; как будто смущена
Она, головкой влажною качая,
Остановилась, робости полна;
Ей страшно: как решилася впервые
Из вод идти на берега земные!

И сам рыбак стоял в недоуменьи
И к деве вод приблизиться не смел,
И только лишь в безмолвном удивленьи
На прелесть юного лица глядел;
Но наконец тревожное смущенье
В своей душе преодолеть успел
И тихо стан ее обвил рукою;
Звучали речи сладко той порою.

Царица

Ты счастлив, любишь?

Рыбак

О!.. я сам не знаю,
Что я? я наяву или во сне?..
Отныне я привычки изменяю:
Не стану рыб тревожить в глубине;
Сеть изорву и удочку сломаю,
Лишь только б ты принадлежала мне...

Царица

О! я твоя. И для тебя средь ночи
Растворены лазоревые очи,
Уста лобзаний ищут...

Рыбак

Я скитался
День целый. Ловля мне не шла на ум.
Все образ твой в мечтах моих являлся,
Не покидал моих тревожных дум.
Я ждал тебя, мне длинен день казался,
Несносен стал мне моря вечный шум,
И звал я ночь с отрадной тишиною...
Она пришла — я наконец с тобою!

Царица

Сладка любовь твоя, дитя земное!
И, я сама, я все бы отдала —
И милых рыб, и царство водяное,
Навек бы от подруг своих ушла,
Чтоб ты любил меня, чтобы с тобою
Всегда и днем и ночью я была

И все бы черным локоном играла
И в очи черные тебя лобзала...

Но ночь меж тем приметно холодеет,
И легкий ветер шевелит волной,
Туман ложится, светлое тускнеет
Море, влажен воздух стал ночной,
И деву с берега, где холод веет,
Рыбак зовет в приют убогий свой,
Там так тепло... Она ж смутилась,
Потом подумала и согласилась.

Влечет ее с собой рыбак влюбленный,
На берег взводит медленно крутой,
Подводит тихо к хижине смиренной...
Дверь скрипнула, все дышит простотой,
Все мирно в комнате уединенной,
Сквозь окны месяц светит золотой...
Рыбак огонь проворно раздувает,
Трещит очаг радушный и пылает.

Глядела дева, все ей было ново,
Все нравилося ей в быту земном,
Прохладу вод была забыть готова
И ярким любовалася огнем,
И тихо села на скамье дубовой,
И греться стала перед очагом;
Потом головку набок наклонила
И, отряхая, волосы сушила.

И было странно так ее явленье
Средь хижины, в обители людской...
С испугом кот в внезапном пробужденьи
Ушел под лавку и глядел порой,
Сверкая взором в диком изумленьи;
Два голубя на полке угловой
Впросонках робко крыльями махали
И про себя невнятно ворковали.
Потом утихло все... Рыбак склоняет
К царице голову под сень кудрей
И страстно руки белые лобзает,

Иль неподвижно пламенных очей
С ее очей лазурных не спускает
И стан рукою обвивает ей,
И тихо сладкие дает названья,
И так у них летят часы свиданья.

Очаг тускнеет. Только что порою
Мелькают угли синим огоньком;
Устало тело, просится к покою,
Живительным на очи веет сном;
Готово ложе, постлано, простое,
Из трав душистых на полу простом;
Склонилась дева тихо к изголовью,
И с ней рыбак, волнуемый любовью...

О! сколько тут лобзаний страстных было,
Как хороша царица вод была!
Как к другу кудри русые склонила
И черным локоном перевила!
Луна в окно отрадно им светила...
Но между тем ночь быстрая все шла.
Земля простилась с бледною луною,
И небо осветилося зарею.

Проснулась дева вод, слегка краснея,
И робостью была душа полна:
Как? свой высокий род забыть умея,
Делила ложе смертного она?
Что скажут боги? Гнева их сильнее
Что может быть? И тут, устрашена,
Потупя грустный взор, она вздыхала
И к рыбаку на грудь в слезах упала.

И он не спит, и в горестном смущеньи
Он видит деву милую в слезах,
Утешить хочет, полон сожаленья,
И слезы ей целует на глазах...
Но тщетно все! он скорбного волненья
Унять не может; на ее устах
Улыбки снова вызвать не умеет,
И только сам все плачет и жалеет.

Она ж его тревожить не желала,
Не показала страха своего,
И плачет только потому, сказала,
Что тяжко ей оставить вновь его,
Сама ж, как лист осенний, трепетала
И к морю все просилась от него,
И плакали лазоревые очи
Так горько после столь блаженной ночи.

И вот пришла минута расставанья,
И милым с берега царица сведена,
Уже дано последнее лобзанье
И до ночи прощается она...
Жемчужный челн трепещет в ожиданьи,
И вот его с царицей мчит волна,
И, взором в синеве теряясь дальней,
Рыбак стоит безмолвный и печальный.

4

Проходит день. Ночь снова наступила,
И дева снова тихо приплыла,
И ночь прошла, как прежде проходила,
И снова день и снова ночь прошла.
Но в третью ночь на небе темно было,
И туча черная над морем налегла,
И с воем ветр носился, злобы полный,
И пенились рассерженные волны.

Дождь крупно капал, и потом сильнее
Все становился он с часу на час,
Шумело море, туча шла чернее,
И ничего кругом не видел глаз;
Лишь часто молнья, ярко пламенея,
Тьму озаряла, змейкою виясь,
И отголоски грома разносили...
Казалось, боги недовольны были!..

Рыбак, звериной кожей прикрываясь,
На берегу сидел и деву ждал
И, взором в мглу безмолвно погружаясь,
Все слушал и невольно трепетал;

А дождь шумел, и молнья, извиваясь,
Сверкала, море ветер воздымал —
Пустое! .. ей не страшны непогоды,
Она царица, ей покорны воды...

Клубится вал, и скорбно буря стонет,
Сверкнула молния — и виден челн
Жемчужный... он то вынырнет, то тонет,
Несомый по хребтам сердитых волн,
И голову рыбак на руки клонит,
Глаза закрыв, трепещет, страха полн.
Царица ж скиптр янтарный простирала,
Но море, все упрямясь, бушевало.

Все чаще молнья светит над водою,
Удары грома все сильней, сильней,
Несется челн над бездной роковою
Все ближе к берегу, и все страшней
Играет море девой молодою;
Рыбак уж руки простирает к ней...
Она чуть слышно средь грозы взывает,
По ветру кудри русые летают.

«Рыбак! я гибну, надо мной
Свершится наказанье,
За то, что, мой рыбак, с тобой
Делила я лобзанья.
Рыбак! я гибну, с жизнью мне,
Ах! страшно расставаться;
Рыбак, я скроюсь в глубине,
Нам больше не видаться.
Рыбак! я гибну — но молить
Не стану, погибая,
И про любовь еще твердить
Все буду, умирая!»

Сверкнула молнья яркою стрелою —
И девы нет — и только тяжкий стон
Промчался грустно, грустно над водою;
Казалось, выходил из моря он —
То девы вод взрыдали над сестрою...

Рыбак не знал — то правда или сон,
На берегу стоял остолбенелый;
Кругом гроза все злилась и шумела.

И слышно было в бурном завываньи —
Какой-то голос тайный говорил,
Что за любовь земную наказанье
Царице бог верховный присудил.
Но голос смолк — и моря волнованье
Стихало, ветер буйный уж не выл,
С небес дождем не так уж крупно лило,
И туча черная все дале уходила.

Наутро небо вовсе чисто стало;
Заря была румяная ясна,
На все кругом приветный луч бросала;
А на море лежала тишина,
Как будто б после бури отдыхала
Его таинственная глубина.
Орел взвился над ближнею скалою,
Кружилась чайка с криком над водою.

Царицы тело с русою косою
Носилося без жизни по водам;
Взор сомкнут был дремотой вековою;
Блуждала будто грустно по устам
Улыбка. Тихо к рыбаку волною
Принесся труп и лег к его ногам,
Как будто в нем еще душа любила,
Рвалася к другу, без него грустила.

И пал рыбак пред трупом на колени
И кудри русые в тоске лобзал,
И в тщетном деву милую моленьи
Опять к любви и жизни призывал,
И тщетно руку белую, в волненьи,
Слезами горько, долго обливал. . .
И было суждено ему богами
Всю жизнь провесть над трупом пред волнами.

Но век его недлинен был, и вскоре
Рыбак тоску и жизнь свою забыл,

И в час кончины обнял труп и в море
С ним вместе навсегда похоронил
Свою любовь, и молодость, и горе,
И все, о чем скорбел и что любил...
И оба трупа девы вод сокрыли
На дне морском и много слез пролили...

С тех пор уже царица молодая
Не выходила из-под синих волн,
Рыбак, ее на бреге ожидая,
Средь ночи не стоял, любовью полн;
И только много лет спустя, играя,
Жемчужный дети отыскали челн
И скиптр янтарный, матерям казали
И долго ими, резвые, играли.

Конец 1830-х — начало 1840-х(?)

ЮМОР

Du, Geist des Widerspruchs, nur zu!
Du magst mich führen.

Goethe «Faust»[1]

Часть первая

...Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Пушкин

1

Подчас, не знаю почему,
Меня страшит моя Россия;
Мы, к сожаленью моему,
Не справимся с времен Батыя;
У нас простора нет уму,
В своем углу, как проклятые,
Мы неподвижны и гнием,
Не помышляя ни о чем.

Куда ни взглянешь — все тоска,
На улицах все снег да холод,
К тому ж и жизнь нам нелегка:

[1] Ты, дух противоречия! Готов я покориться! *(Гете, Фауст)*.

Везде безденежье да голод —
Министром Вронченко пока;
Канкрин уж слишком был немолод,
На лаж ужасно что-то скуп,
А рубль-целковый очень глуп.

В литературе, о друзья,
(Хоть сам пишу, о том ни слова)
Не много проку вижу я.
В Москве все проза Шевырева —
Весьма фразистая статья,
Дают Парашу Полевого,
И плачет публика моя;
Певцы замолкли, Пушкин стих,
Хромает тяжко вялый стих.

Нет, виноват! — есть, есть поэт,
Хоть он и офицер армейской;
Что делать, так наш создан свет, —
У нас, в стране Гиперборейской,
Чуть есть талант, уж с ранних лет —
Иль под надзор он полицейской
Попал, иль вовсе сослан он.
О нем писал и Виссарьон.

Но перервемте эту речь,
Литература надоела;
Пусть пишет Нестор, пишет Греч,
Что нам до этого за дело?
Позвольте на диван мне лечь;
Закурим трубку — вот в чем смело
Могу уверить вас: сей дым
Уж нынче дамам невредим.

Да, в этом есть успех у нас,
Уж вовсе время исчезает
Олигархических проказ;
Нас спесь уже не забавляет,
В гостиных скучно нам подчас,
На балах молодежь зевает,
Гулять не ходит на бульвар, —
У ней в чести Швалье да Яр.

Порой и я — известно вам —
Люблю одну, две, три бутылки
Хоть с вами выпить пополам:
Умы становятся так пылки,
Дается воля языкам,
А там ложись хоть на носилки...
Но я боюся за одно:
Ну надоест нам и вино?..

Тогда что делать? Час избрав,
Ступай в деревню, мой приятель,
Агрономических забав
Усердный сделайся искатель,
Паши три дня — и будешь прав.
Я о крестьянах, как писатель,
Сказал бы много — но молчу;
Не то чтоб... просто не хочу.

Но мне в деревне не живать;
Как запереться в юных летах!
Я в полк сбираюсь, щеголять
Хочу в усах и эполетах,
Скакать верхом и рассуждать
О разных воинских предметах;
Наверно, быть могу я, друг,
Монтекукулли иль Мальбруг.

А может быть, и сей удел
Пройдет сквозь пальцы — и на свете
Останусь я без всяких дел,
Подумаю о пистолете,
Скажу, что свет мне надоел,
Что ничего уж нет в предмете,
Взведу курок... о человек!
Минута — и твой кончен век!

Скажу, и брошу пистолет,
Спрошу печально чашку чая,
Торговли нашей лучший цвет;
А жалок мне удел Китая.
У Альбиона чести нет,

Святую совесть забывая,
Имея очень жадный нрав,
Не знает он народных прав.

Хотел еще о том о сем,
О Франции сказать два слова
И с вами разойтись потом,
Но мы до времени другого
Отложим это, — да, о чем
Я начал, бишь? А! Вспомнил снова:
О родине. О, край родной!
Но спать пора нам, милый мой.

2

А! Вы опять пришли ко мне.
Давайте ж говорить мы с вами
О Франции. Наедине
Оно позволено с друзьями
И даже в здешней стороне,
Но с затворенными дверями;
Не то без церемоний вас
Попросят к Цынскому как раз.

Я сам был взят, и потому
Кой-что могу сказать об этом.
Сперва я заперт был в тюрьму,
Где находился под секретом,
То есть в подвале жил зиму
И возле кухни грелся летом,
Потом решил наш приговор,
Чтоб был я сослан под надзор.

Но satis, sufficit, [1] мой друг,
То есть об этом перестану.
Мне грустно нынче. Все вокруг
Так вяло — сам я духом вяну;
Сам растравляю свой недуг,
Тревожу в сердце где-то рану.
Занятье глупое! Оно
И больно очень и смешно.

---

[1] Достаточно (лат.).

Да как же быть? И если б вам
В себя всмотреться откровенно,
Вы грусть и с желчью пополам
В душе нашли бы непременно.
В халате, дома, по коврам
Ходили б молча совершенно,
Иль напевали б — и в такой
Прогулке шел бы день-другой.

Сказать вам правду — это мы
Давно привыкли звать хандрою:
Недуг, рожденный духом тьмы
И века странной пустотою,
Охотой к лету средь зимы,
Разладом с миром и с собою,
Стремленьем, наконец, к тому,
Что не дается никому.

Возьмите факты: древний мир
Весь только жил для наслажденья;
Но этот свержен был кумир,
И стали жить для размышленья —
Там с миром, здесь с собою мир;
У нас же глупое смешенье:
Всегда, одно другим губя,
Мы только мучим лишь себя.

Не правда ль, сказано умно,
Хотя поэзии тут мало?
Да что? Признаться вам, давно
Все как-то в жизни прозой стало,
Как отшипевшее вино
В стекле непитого бокала;
Отвыкли мы от сладких слез,
От юных шалостей и грез.

Как вспомнишь радость и печаль,
Что в прежни годы волновали,
Как нам становится их жаль!
Как возвратить бы их желали!
Свята для нас былого даль. . .

И вот еще грустней мы стали!
Где сердца жар? Где пыл в крови?
Где мир мечтательной любви?

Быть влюблену в то время мне,
Быть может, раза два случилось,
Тогда я плакал в тишине,
При встрече с нею сердце билось,
Бледнели щеки, — в каждом сне
Передо мной она носилась,
Я просыпался, а мой сон
И наяву был продолжён.

Но к делу, не теряя слов.
Великий прах из заточенья
Прибыл в Париж — и Хомяков
На этот счет стихотворенье
(Прескверных несколько стихов)
В журнале тиснул, к сожаленью.
И потому позвольте дать
Совет — стихов вам не читать,

Да вообще журналов сих
Вы — много дел других имея —
И не читайте. Что вам в них?
Сенковский все не любит Сея,
Хотя и эконом an sich, [1]
И деньги любит, не краснея
(Что быть посажену в тюрьму
Преград не сделало ему).

Потом об укрепленьях толк
В Париже очень долго длился.
Их строят, чтобы русский полк
В столицу мира не пробился.
Я патриот, свой знаю долг,
Но взять Парижа б не решился.
Я думаю, довольно с нас,
Когда мы усмирим Кавказ.

---

[1] В себе (нем.).

Я на Кавказ сбираюсь сам,
Быть может, нынешним же летом,
Взглянуть на горы и к водам
(Больным считаясь и поэтом).
Что ж? Вместе не угодно ль вам?
Со мною согласитесь в этом,
Что с вами время там вдвоем
Мы тихо, свято проведем.

Там снежных гор... Но, боже мой,
Об этом сказано так много!
Замечу только — труд большой
Пускаться в длинную дорогу,
Вы там на станции иной
Умрете с голоду, ей-богу!
— В Париже больше ничего
Нет для разбора моего.

3

Снег желтый тает здесь и там;
Уж в марте нам не страшны стужи,
Весною веет воздух нам,
Нам ясный день сулит весну же,
И безбоязненно ушам
Торчать позволено наруже.
Хочу я вас просить, друг мой,
Пешком гулять идти со мной.

Пойдемте прямо на бульвар,
В среду толпы надменно-праздной
Давнишних барышень и бар,
Гуляющих в одежде разной:
Б<артенев>, Szafi, Jean Sbogar [1]
И рыцарь все однообразный,
Все верный прежних лет любви —
И все они друзья мои.

Не правда ль? Как кажусь я вам?
Годился б я в аристократы?

---

[1] Сафи, Жан Сбогар (франц.).

Но мне неловко быть средь дам:
Я, primo,[1] человек женатый,
Secondo,[2] мне не по чинам
(Хоть всем знаком я как богатый);
О tertio[3] я умолчу,
Его сказать я не хочу.

К тому ж во мне другая кровь,
В душе совсем другая вера:
Есть к массам у меня любовь,
И в сердце злоба Робеспьера.
Я гильотину ввел бы вновь...
Вот исправительная мера!
Но нет ее, и только в них
Могу я бросить желчный стих.

Признайтесь, горек наш удел:
Здесь никого не занимает
Ход права и гражданских дел,
Иной лишь деньги наживает,
Другой чины, а тот несмел;
Один о выборах болтает
(Quoique, à vrai dire, on en rit)[4]
Дворянства секретарь <Убри>.

Я с теми враг, кому знаком
Рассудок черствый, и не боле;
Кто даже мертвым языком
Толкует о широкой воле,
Кто только всех своим умом
Занять стремится поневоле,
Кому природы заперт храм,
Кто чужд поэзии мечтам.

Пойдемте же! Вот здесь, друг мой,
Увидим дом, где я жил прежде,
Любил любовь, был юн душой
И верил жизни и надежде;

---

[1] Во-первых (лат.).
[2] Во-вторых (итал.).
[3] О третьем (лат.).
[4] Хотя, по правде говоря, над ним смеются (франц.).

Сперва (обычай уж такой)
Был немцу отдан я невежде,
Потом один, и в двадцать лет
Уже философ и поэт.

О! годы светлых вольных дум
И беспредельных упований!
Где смех без желчи? пира шум?
Где труд, столь полный ожиданий?
Ужель совсем зачерствел ум?
Ужели в сердце нет желаний?
Друзья! Ужели в тридцать лет
От нас остался лишь скелет?

Прошу не слушать, милый друг,
Когда я сетую, тоскую,
Что все безжизненно вокруг,
Что сам веду я жизнь пустую.
Минутен, право, мой недуг,
Его я твердостью врачую,
И, снова прежней веры полн,
Плыву против житейских волн.

К чему грустить, когда с небес
Нам блещет солнца луч так ясно?
Вот запоют «Христос воскрес»,
И мы обнимемся прекрасно,
А там и луг и шумный лес
Зазеленеют ежечасно,
И птиц веселый караван
К нам прилетит из южных стран.

К чему грустить? Опять весна
Восторгов светлых, упованья
И вдохновения полна,
И сердца скорбного страданья
Развеет так тепло она...
Но мы оставимте гулянье —
Имея в мысли ширь полей,
Смотреть мне скучно на людей.

4

Уж полночь. Дома я один
Сижу и рад уединенью.
Смотрю, как гаснет мой камин,
И думаю — все дня движенье,
Весь быстрый ряд его картин
В душе рождают утомленье.
Блажен, кто может хоть на миг
Урваться наконец от них.

Я езжу и хожу. Зачем?
Кого ищу? Кому я нужен?
С людьми всегда я глуп и нем
(Не говорю о тех, с кем дружен),
Свет не влечет меня ничем —
В нем блеск ничтожен и наружен.
Не знаю, право, о друзья,
К чему весь день таскаюсь я!

Уж не душевный ли недуг,
Не сердца ль тайная тревога
Меня толкают? Шум и стук
Не усыпляют ли немного
Волненья наших странных мук
И скуку жизни? Нет, ей-богу,
Во внешности смешно искать,
Чем дух развлечь бы и занять.

Камин погас. В окно луна
Мне смотрит бледно. В отдаленьи
Собака лает — тишина.
Потом забытые виденья
Встают в душе — она полна
Давно угасшего стремленья,
И тихо воскресают в ней
Все ощущенья прежних дней.

В такую ж ночь я при луне
Впервые жизнь сознал душою,
И пробудилась мысль во мне,
Проснулось чувство молодое,

И робкий стих я в тишине
Чертил тревожною рукою.
О боже! в этот дивный миг
Что есть святого я постиг.

Проснулся звук в ночи немой —
То звон заутрени несется,
То с детства слуху звук святой.
О! как отрадно в душу льется
Опять торжественный покой,
Слеза дрожит, колено гнется,
И я молюся, мне легко,
И грудь вздыхает широко.

Не все, не все, о боже, нет!
Не все в душе тоска сгубила.
На дне ее есть тихий свет,
На дне ее еще есть сила;
Я тайной верою согрет,
И, что бы жизнь мне ни сулила,
Спокойно я взгляну вокруг —
И ясен взор, и светел дух!

5

Меня вы станете бранить,
Что патетические строки
Сюда я вставил, — я шутить
Готов опять и за уроки
Благодарю вас. Может быть,
В моих стихах и есть пороки,
Но где ж их нет? А в светлый час —
Как чувству не предаться раз?!

Ведь нужен же душе покой,
Ведь сердцу нужно наслажденье,
Не все же шляться день-деньской
От апатии и к волненью,
Из клуба да на бал большой,
От скуки важной да к мученью,
От <Чаадаева к Убри!>, —
Ведь сил нет, что ни говори.

По четвергам иль в день другой
Вы не являлися ни разу?
С ученой женщиной иной
Выдумывать несносно фразу;
Ее бегите вы, друг мой,
Как ядовитую заразу...
Я лучше между всех сих лиц
Люблю хорошеньких девиц.

Они так молоды; их взор
Так простодушно мил и нежен,
Их шаловливый разговор
Скользит шутя, всегда небрежен,
Люблю их слушать легкий вздор,
Я с ними весел, безмятежен,
И как-то молодею я,
Иль даже становлюсь дитя.

И, право, счастлив каждый раз,
Когда средь жизни обветшалой
Ребенком делаюсь подчас;
Забыв тоску и нрав мой вялый,
От задних мыслей отступясь,
Я вспоминаю миг бывалый
Моих младенческих забав;
А в летах человек лукав.

Я помню дом, пруды и сад,
И няню... толстого соседа
С гурьбой его румяных чад,
К нам приезжавших в час обеда.
О, как тогда я жить был рад!
Но тех детей не знаю следа,
Мой сад заглох, уж няни нет
И умер толстый наш сосед.

Проходит все, всему свой век,
Бород не брили наши деды,
И глуп был русский человек;
Его тогда бивали шведы,

Палач пытал его и сек;
Теперь же мы вожди победы,
И, предков Петр пересоздав,
Пожаловал им много прав.

Не режет кнут дворянских спин,
Налоги платит только масса,
Служить мы можем до седин,
Начав с четырнадцата класса
(Ведь надо же иметь нам чин!),
А если служба не далася,
Мы регистратором всегда
В отставку выйдем, господа.

И выйдемте! что нам служить?
И где? помилуйте, в сенате?
Черно! Да что и говорить:
Без службы дома я в халате
Могу с утра сидеть, ходить,
Иль, тщетно времени не тратя,
Могу читать — хоть «Пантеон»,
В нем есть... но, впрочем, плох и он.

Со временем наверно книг
Я никаких читать не стану.
Что? Скучно! Не найдете в них
Ни мысли свежей; нет романа,
Который занял бы на миг
Хоть ночью вас, хоть утром рано,
И, право, лучше стану я
Сидеть и думать про себя.

Я иногда лежать привык
И так мечтать в припадке лени:
Я прелесть этого постиг;
Знакомые мелькают тени —
То ножка, то прекрасный лик,
То улиц шум, то мир селений...
В сем духе я теперь точь-в-точь.
Итак, мой друг, подите прочь.

6

Простите, что расстался я
Отчасти неучтиво с вами;
Но церемониться нельзя
Между короткими друзьями,
И, откровенно говоря, —
Могу ль я словом иль делами
Вас оскорбить, когда меж нас
Прямая дружба завелась?

Мне милы дружеских бесед
Простор, и воля, и оргйя;
Вино струится, тайны нет
И торжествует симпатйя.
Но горек праздничный обед,
Где гости по душе чужие,
Где вечно на застежке ум,
Вино першит и скучен шум.

Что, если, друг мой. с пиром нам
Сравнить теченье жизни шумной?
Не рады часто мы гостям,
Тяжел сосед благоразумный,
Несносна сердцу и ушам
Длина его беседы умной.
Пир все становится скучней
И ждешь десерта поскорей.

Советов слушайте моих:
Бегите, друг, людей отличных,
Известных, гордых, но пустых,
Блестящих умников столичных;
Любите добрых и прямых,
Немножко глупых, непривычных
Блистать ни домом, ни умом
В простосердечии святом.

Я в жизни опытный старик —
Все перечел ее страницы,

Ко всем вещам давно привык
И пригляделися все лицы.
Блажен, кто хоть в единый миг
Мог утереть слезу с ресницы,
Когда любил или жалел,
Иль просто на небо смотрел.

А иногда так станешь сух,
Что невозможно умиленье;
Все нам досадно так вокруг;
Смешно философа сомненье,
К восторгам неспособен дух,
В них видишь только напряженье.
Нам глуп влюбленный в двадцать лет;
Мы всё клянем, чего в нас нет.

Вам скучно! я опять хандрю,
Я закоснел в привычке старой
И про тоску все говорю;
Люблю лежать в зубах с сигарой,
Печально в потолок смотрю,
Аккомпанируюсь гитарой,
И напеваю Casta div', [1]
От Пасты как-то затвердив.

Вы музыкант в душе, как я,
Бетговен вам всего дороже,
Но, южный край боготворя,
Люблю я и Беллини тоже.
Слыхали ль вы «Жизнь за царя»?
Нет? — Ну и впредь спаси вас боже,
И русских опер вообще
Не нужно б нам иметь еще.

В концерт любителей я вас
Прошу не ездить. Очень скверно
Поют любители у нас,
Совсем без такту и неверно,
Писклив дишкант и хрипел бас;

[1] Чистое божество (итал., популярная ария).

Но помогать в них страсть безмерна,
Любовь прямая к ближним есть —
Что, впрочем, делает им честь.

Ах, если б можно было мне
Поездить наконец по воле,
В любимой южной стороне!
В Венеции, катясь в гондоле
При плеске волн и при луне,
Внимать беспечно баркароле
И видеть в сумраке ночей
Огонь полуденных очей.

Но я в России, милый друг,
Как жук, привязанный за ножку,
Могу летать себе вокруг
И недалеко и немножко;
А нить не вытащишь из рук...
Что значит жук — простая мошка
В сравненьи с толстым пауком
В мундире светлоголубом?

Но рассказать могу я вам,
Как путешествовал приятель.
Всю жизнь его вам передам;
Увидите, как мой мечтатель,
Безумно предаваясь снам,
Чего-то вечный был искатель,
И как из странствия его
Не вышло после ничего.

7

Но нет! зачем мне мучить вас
Историей длинной и бессвязной?
Не лучше ль будет мой рассказ
Мне написать вам сообразно
Порядку тайному, что в нас
Не болтовней безумно-праздной,
Но смыслом внутренним души
Определяется в тиши?

Хочу, чтоб список с наших дней,
Избыток чувств, живые лицы
Нашли вы в повести моей;
Но будут многие страницы
Написаны слезой очей
И кровью сердца... Луч денницы —
Как быть — не в радужном огне
Рисует наше время мне.

Не думайте, чтоб я отвык
На будущность иметь надежды,
Мне чужд отчаянья язык,
Достойный дикого невежды.
Но тяжек в веке этот миг,
От частых слез распухли вежды,
В грядущем, верю я, светло,
Но нам ужасно тяжело.

Мы с жизнью встретились тепло,
К прекрасному простерли руки,
Участье к людям нас вело,
Любовь к искусству, свет науки...
И что ж нас затереть могло
В тиски непроходимой скуки?
Не вы тоскуете, не я,
А все, друзья и не-друзья.

Друзья, невинны мы в ином,
Во многом виноваты сами.
Мир ждет чего-то; спорить в том
Отнюдь я не намерен с вами,
Пророки сильным языком
Уже вещали между нами,
И Charles Fourier и St.-Simon [1]
Чертили план иных времен.

Видали ль вы, как средь небес
Проходит туча над землею?
Удушлив воздух, черный лес
Недвижен, все покрыто мглою,
И птиц веселый рой исчез,

[1] Шарль Фурье и Сен-Симон (франц.).

Чуть дышат звери пред грозою
И в трепете чего-то ждут, —
Вот наше время вам все тут.

Минует бури череда,
И жизнь светлее разольется;
Но скучно ждать нам, господа,
Пока вся туча пронесется.
Мы славы жаждем иногда
Без всяких прав на то; дух рвется
К самолюбивейшим мечтам...
Что б ни было, не легче нам.

Вот видите, уж кроме сих
В сем веке общих всем мучений,
Есть много мук у нас иных,
С людьми обидных столкновений,
Несносный холод к нам одних,
Других любовь — все ряд волнений;
С иным сойдешься, а потом
Не согласишься с ним ни в чем;

Все это грустно! Счастлив, друг,
Кто запирается беспечно
В свой узенький домашний круг,
Спокоен, весел, жирен вечно,
И дети прыгают вокруг,
Жена, отличная, конечно,
Хозяйка, верно сводит счет,
А муж по службе вверх идет.

Скажу вам просто — дом такой
Благословен, мой друг, от бога;
Всегда в нем каждому покой,
Обед в нем сытен, денег много.
Ну что — нам с вами прок какой
Дала душевная тревога?
Зачем нам тот удел дать бог
Не захотел или не мог?

Не мог, не мог! Вот дело в чем.
Натура в нас совсем другая.

В нас в веке, может быть, ином
Была бы тишина святая;
Но в теле дряблом и больном
Теперь живет душа больная;
Мы суждены желать, желать
И всё томиться и страдать.

Давайте же страдать, друг мой!
Есть, право, в грусти наслажденье,
И за бессмысленный покой
Не отдадим души мученье;
В нем много есть любви святой,
Возьмем страданье и стремленье
Себе в удел — он чист и свят;
Ему как счастию я рад.

8

В венце из роз была она,
Стояла опустивши руки,
Но песнь ее была полна
Какой-то бесконечной муки,
И долго мне была слышна,
И вслед за мной гналися звуки —
«Ich bin ein Fremdling überall» — [1]
И на сердце легла печаль.

И мне казалось, что, как тот
Безродный странник в край из края,
И мы весь век идем вперед —
Вы, я, певица молодая...
Какая цель? и что нас ждет?
И где для нас страна родная?
И все звучит один ответ:
Блаженство там лишь, где нас нет.

Но мы уж так и быть, друг мой;
Певицу жалко мне; из платы
Ей надо звонкий голос свой,

[1] Я всюду чужестранец (нем.).

Из глубины душевной взятый,
Напрасно тратить пред толпой,
Пред чернью, деньгами богатой,
И думать, что от жизни сей
Совсем не то ждалося ей.

Но уж концертов будет с нас,
Дошли мы до страстной недели.
Говеют люди; ночью, в час,
Встают, не выспавшись, с постели:
Их будит колокола глас.
Салопы, шубы иль шинели
Надев — уже они пешком
Идут молиться в божий дом.

Там тускл огонь свечей. В алтарь
Сердито входит поп косматый,
Угрюмо бродит пономарь,
Дьячок бормочет бородатый
И дьякон ищет свой стихарь;
Просвирня зябнет, сном объята,
Кадило рой детей несет
И веет ладан на народ.

Но, признаюсь, не вижу я
Особенной отрады в этом.
Говейте вы себе, друзья,
Я разве после стану — летом.
Попы, дьячки и эктенья
Не могут быть любви предметом.
Весь этот пародьяльный тон
Меня вгоняет в гнев иль сон.

Но если б жил я в веке том,
Когда Христос учил народы, —
Его б я был учеником
Во имя духа и свободы;
Оставил бы семью и дом,
Не побоялся бы невзгоды
И радостно б за веру пал
И свой удел благословлял.

Бывало, часто в час ночной
Перед распятьем на колени
Я падал с теплою мольбой,
Чтобы он дал среди мучений
Мне тот безоблачный покой,
С которым он без злобы, пени,
С любовью крест тяжелый нес
И всем прощенье произнес.

О друг мой! как бы нам дойти,
Чтоб духом выше стать страданья
И ровно жизнь свою вести,
Как светлое души созданье,
Встречаться с каждым на пути
С любовью, полной упованья,
Привлечь его, не дать коснеть
И сердце сердцем отогреть.

Но мы влиянье на других
В тоске растратили невольно;
Мы слишком любим нас самих,
Людей же любим не довольно;
Мы нашей скорбью мучим их,
Что многим скучно, близким больно,
А жизни лучшей идеал
Для нас невыполнимым стал.

Но, впрочем, что же? На кого
Прикажете иметь влиянье?
Собрать людей вокруг чего?
К чему им указать призванье?
Какая мысль скорей всего
Их расшатать бы в состояньи?
Как, эгоизм изгнав из них,
Направить к высшей цели их?

Не знаю, право. Целый век
Из этого я крепко бился,
На поиск направлял свой бег,
Везде знакомился, дружился;
Но современный человек
Был глух на крик мой. Я смирился,

И только малый круг друзей
Я затворил в любви моей.

В науке весь наш мир идей;
Но Гегель, Штраус не успели
Внедриться в жизнь толпы людей,
И лишь на тех успех имели,
Которые для жизни всей
Науку целью взять умели.
А если б понял их народ,
Наверно б был переворот.

Итак, мой друг, когда пять-шесть
Друзей к нам вышло на дорогу,
То, право, мы должны принесть
Большую благодарность богу,
И в этом много счастья есть;
Он дал нам много, очень много,
И грех великий нам хандрить
И дара неба не ценить.

С немногими свершим наш путь,
Но не погибнет наше слово;
Оно отыщет где-нибудь
Средь поколенья молодого
Способных далее шагнуть;
Они пусть идут в бой суровый,
А мы умрем среди тоски, —
Страданья с верою легки.

9

Вдоль улиц фонари горят,
Еще безмолвна мостовая,
И лужи кое-где блестят,
Огонь печально отражая;
Но фонарей огнистых ряд
В ночи горит, не озаряя,
И звезды ярко смотрят в ночь,
Но тьмы не могут превозмочь.

Раздался ровно в полночь звон,
В церквах «Христос воскрес» запели,
Бежит народ со всех сторон,
Кареты дружно зашумели.
Вы спите, друг мой? Сладкий сон
Дай бог на мягкой вам постели,
А я пойду... Но грустно мне.
Я лучше б плакал в тишине.

Но нету слез и веры нет
Младенческой в душе усталой,
На ней сомнений грустный след,
На ней печали покрывало,
И радость прежних детских лет
Давно ей незнакома стала.
На звон без цели я иду,
Подарков от родных не жду.

И где родные все мои?
В тиши могил, отсель далече,
Заснули вечным сном одни;
С другими мне не нужно встречи;
Меж нами вовсе нет любви,
Докучны мне их вид и речи;
Конечно, есть еще друзья,
Но и они грустят, как я.

Смотрю с кремлевских теремов
Куда-то вдаль. Воспоминанье
Живит черты былых годов,
Назад влечет меня желанье;
Там мир любви и светлых снов
И молодого упованья...
Но как кругом — в душе моей
Ночь, ночь и бледен свет огней.

С чего грущу? Не знаю сам.
Пойду домой. Как грудь изныла!
Как сердце рвется пополам!
О, если бы имел я силу
На ложе волю дать слезам, —

Быть может, мне бы легче было;
Но, боже мой! как стар я стал,
Уж я и плакать перестал!

10

Я еду завтра. Может быть,
Меня отпустят за границу,
И в жизни новую раскрыть
Тогда придется мне страницу.
Но не могу я позабыть
Ни вас, ни древнюю столицу;
Пожалуйста, мой друг, вдвоем
Последний день мы проведем.

Садитесь! Много кой о чем
Поговорить нам с вами можно.
Есть тайный страх в уме моем,
От думы на сердце тревожно...
Как знать? Вдали, в краю чужом
(Хотя я езжу осторожно)
Умру, быть может. Жалко вам?
Да не желал бы я и сам.

Вот воля вам моя одна:
Скажите тем, кого любил я,
Что в смертный час, их имена
Произнося, благословил я,
Что смерть моя была ясна,
Что помнить обо мне просил я,
Смирясь, покорствовал судьбе
И скоро жду их всех к себе.

А может быть, из дальних стран
Я возвращусь здоро́вей втрое,
Очищен от сердечных ран
И вылечен от геморроя,
И довезет мой чемодан
Мне фрак последнего покроя;
А на прощание вдвоем
Бутылки две мы разопьем.

Сперва в бокал зеленый лью
Струю янтарную рейнвейна;
Во славу рыцарства я пью
И берегов цветущих Рейна.
Отвагу прежних лет люблю
От Карла и до Валленштейна,
И песнь любви средь жарких сеч,
Где в латы бил тяжелый меч.

Пристрастен к средним я векам,
Люблю их замки и ограды,
Балкон высокий, нежных дам,
И под балконом серенады...
Луна плывет по небесам,
А звуки так полны отрады,
И ропот Рейна вторит им...
С зарей поход в Иерусалим.

Но что мечтать о старине —
Аи уж в розовом бокале,
Звездясь, мечты другие мне
Несет игриво... Что ж вы стали
И уст не мочите в вине?
Раз в раз бокалы застучали...
На юг, на юг хочу, друзья!
Да здравствует Италия!

Цветет лимон, и золотой
Меж листьев померанец рдеет,
И воздух теплою струей
С небес лазурных тихо веет;
Лавр гордый поднялся главой,
И скромно мирта зеленеет.
Туда, туда! Среди друид
Там голос Нормы мне звучит.

Но прежде чем увижу юг,
Услышу музыку Беллини,
Заеду в Питер я, мой друг,
Где не бывал еще доныне.

Аристократов рабский круг
Там жаждет царской благостыни,
И, ползая у царских ног,
Рад облизать на них сапог.

Скорей оставлю скучный град,
Пущусь на пароходе в море.
О, как впервые буду рад
Я на морском дышать просторе!
Далеко оттолкну назад
Хандру и истинное горе,
И буду, вдохновенья полн,
Внимать немолчный говор волн.

И буду взором я тонуть
В безбрежьи неба голубого...
Но, боже! вдруг стеснилась грудь,
И грустно сердце бьется снова.
Мне жаль пускаться в дальний путь,
И жалко края мне родного...
Ведь я люблю его, мой друг,
Одно я тело с ним и дух.

Я много покидаю в нем,
Расставшись с ним, теряю много.
Едва ль, я не уверен в том,
Мне чужеземная дорога
Его заменит... А потом,
Как разбирать все вещи строго —
Чего бы, кажется, искать?..
Я, впрочем, буду к вам писать.

Куда б ни ехать — все равно:
Везде с собою сами в споре,
Мученье мы найдем одно,
Будь то на суше иль на море;
Как прежде, как давным-давно,
За нами вслед помчится горе,
Аккорд нам полный, господа,
Звучать не станет никогда.

Часть вторая

Farewell!

Byron[1]

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит.

Пушкин

We see and read,
Admire and sigh and then
Succumb and bleed.

Byron[2]

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

3 апреля. Станция

1

Я начинаю к вам писать,
Мой друг, уже с полудороги.
Мне на шоссе нельзя пенять,
Он гладок, горы все отлоги,
Но в дилижансе плохо спать
И протянуть неловко ноги.
Я этим начал, чтоб потом
Не говорить уж мне о том.

Когда Москву оставил я,
В последний раз пожал вам руку,
Невольно сжалась грудь моя
И сердце ощутило муку.
О, с вами горько для меня,
Невыносимо несть разлуку.
Как ни крепился я — слеза
Мне навернулась на глаза.

Я ехал. Над моей Москвой
Ночное небо ясно было,

[1] Прощайте. *Байрон* (англ.).

[2] Мы видим и читаем, восхищаемся и вздыхаем, потом падаем и истекаем кровью. *Байрон* (англ.).

И тихо так на город мой
Звездами яркими светило.
А впереди, передо мной,
Все небо тучей обложило,
Меня встречал зловещий мрак;
Я думал: то недобрый знак!

Так, не довольные ничем,
Бог весть куда стремимся всё мы,
Толкаемы, не знаю кем,
И вдаль, не знаю чем, влекомы,
Безумно расстаемся с тем,
Что мило нам; друзей и домы
Бросаем — сколько их ни жаль...
И ищем новую печаль.

Уж, право, не вернуться ль мне?
А вы, мой друг! Теперь, чай, сели
Перед камином, в тишине;
К вам думы грустные слетели;
Не раз, гадая на огне,
Мою судьбу вы знать хотели...
Что ж? вспыхнет синий огонек?
Да! нет! И гаснет уголек.

А предо мной во тьме ночной
Равнина тянется печально,
И ветви сосны молодой
Чернеют грустно в роще дальной.
Плетется дилижанс рысцой,
Как пол лощеный в зале бальной,
Гладка дорога, скатов нет...
В степи печален и рассвет.

Рассвет! С улыбкой на устах,
Земной печали ввек не зная,
Восходит солнце; на полях
Кой-где белеет снег, блистая,
И листьев нет еще в лесах,
Не вышла травка молодая;
А жаворонок средь небес
Уж с вольной песнию исчез.

И грустно мне певцу весны
Внимать в раздумьи и печали
Среди пустынной стороны;
Передо мною смутно встали
Все недоконченные сны,
Которыми полны бывали
Мои мечты в родной стране...
Опять вздохнуть пришлося мне!

Но полно. Перейти должны
Мы вновь к практическим предметам.
Мы разъезжать приучены
В России и зимой и летом;
Но все ж, подчас поражены,
Должны критическим заметам
Отвесть мы место хоть слегка
Средь путевого дневника.

Во-первых, я замечу вам,
По непривычке ли к свободе,
По непривычке ли к правам,
Везде у нас в простом народе
Пристрастье к площадным словам:
Ругаться — в чрезвычайной моде...
Неделикатно и смешно,
И оскорбительно оно.

Люблю, когда перед избой
В кафтане, шапка набекрени,
Ямщик с широкой бородой
Сидит в припадке русской лени,
Склонясь на руки головой,
Поставив локти на колени,
И про себя поет в тиши
Про очи девицы-души.

И смотрит вдаль... и ждет и ждет,
Вот колокольчик раздается,
И по мосту, стуча, вперед
Телега тройкою несется
К нему — и стала у ворот,

И пар от коней клубом вьется.
И вот ямщик уж ямщиком
Встречаем бранью иль толчком.

Характер русский на пути
Мне стал предметом изученья,
И в нем я должен был найти —
Лень, удальство и грусть в смешеньи
С лукавством (боже нас прости!).
К обманам гнусным угнетенье
Нас приучило, также кнут...
Мудреного не вижу тут...

Всегда мы, встретясь с кем-нибудь,
Врага в нем видя иль Иуду,
Его же ищем обмануть.
Я это порицать не буду,
Весьма естествен этот путь;
А лень хвалить я просто буду:
Как мужику любить свой труд?
Богат он — больше оберут.

Я это говорю смеясь;
Но, друг мой, если бы вы знали,
Как желчь бунтует каждый раз,
Как вся душа полна печали,
Когда я думаю о нас!
Надежды все почти пропали,
Свое бессилье я сознал,
И нрав мой зол и мрачен стал.

Но, виноват! зовут меня —
Уж пристегнули торопливо
К постромкам пятого коня;
Кондуктор ждет меня учтиво,
Сурово нищих прочь гоня;
Уж сел ямщик нетерпеливый.
Мой друг, пора, пора! Спешу!
Из Петербурга напишу.

2

Петербург

Я прибыл вечером, друг мой.
Шел дождик мелкий, понемногу
Дома скрывались в тьме ночной...
Свершив трехдневную дорогу,
Хотел скорей я на покой;
Но сердца странную тревогу
Преодолеть никак не мог
И долго спать еще не лег.

Хотел я тут же к вам писать,
Но как-то глуп был; стал уныло
По комнате моей шагать,
И что меня тогда томило,
Не в силах я пересказать:
Утраты ли того, что было,
Иль недоверчивость к судьбе —
Не мог отчета дать себе.

Но было на душе темно.
Я поздно лег, проснулся рано;
Мне ветр сырой пахнул в окно,
Седое небо сверх тумана
На мир смотрело холоднó,
И будто призрак великана,
В сырую мглу погружена,
Мне каланча была видна.

Вы согласитесь, что плохой
Прием мне сделала погода;
Я если б не страдал хандрой,
Ее туманная природа
На ум навеяла бы мой...
Здесь говорят, что середь года
Выходит солнце только раз...
Блеснет и спрячется тотчас.

Я думал: житель здешних стран
Быть должен мрачен, даже злобен,

Всегда недуг сердечных ран
В себе самом таить способен,
Угрюм, задумчив, как туман,
Во всем стране своей подобен,
И даже песнь его должна
Быть однозвучна и грустна.

Хотелось город видеть мне.
Я на проспект пошел, зевая, —
И изумился! Нам во сне
Толпа не грезилась такая
В Москве, где мы по старине
Все по домам сидим, скучая;
А здесь, напротив, круглый год
Как бы на ярмарке народ.

Без стуку по торцам катясь,
Стремятся дрожки и кареты;
Заботой праздною томясь,
Толпы людей, с утра одеты,
Спешат, толкаясь и бранясь.
Мелькают перья, эполеты,
Бурнусы дам, пальто мужчин;
В одеждах всех покрой один.

Чем эти люди заняты?
Какая цель? К чему стремленье?
Какая мысль средь суеты,
Среди всеобщего движенья,
Средь этой шумной пестроты?
Уж не народное ль волненье?
И! что вы? право, никакой
Тут мысли вовсе нет, друг мой.

Толпа стремится просто так,
Поесть иль пробежать глазами,
Как Магомет, султана враг,
Гоним союзными дворами, —
И день убит уж кое-как.
С косой в руке, на лбу с часами,
Седой Сатурн на них на всех
Глядит сквозь ядовитый смех.

Мне стало страшно... Предо мной
Явилась вдруг жизнь миллионов
Людей, объятых пустотой,
К стыду всех божеских законов...
В толпе один приятель мой
Мне указал двух-трех шпионов,
И царь проехал мимо нас,
И сняли шляпы мы тотчас.

Потом пошли, и время шло,
И длинный день тянулся вяло,
И все мне было тяжело.
Толпа шуметь не преставала.
Обед; вино лилось светло,
Но уж меня не забавляло;
Так я, являяся на бал,
Всегда угрюм и дик бывал.

Мне странен смех казался их
В огромной освещенной зале;
Я был среди людей чужих,
И сам чужой был всем на бале,
И мысли далеко от них
Меня печально увлекали
Туда, куда-то в мирный дол,
Где годы детства я провел.

Но я кладу письмо в пакет,
Его с оказией вам шлю я.
Для вас ведь нового в том нет.
Писать по почте не люблю я;
Случиться может и секрет,
А уж никак не потерплю я,
Чтоб мне Коko [1] какой-нибудь
Смел в жизнь и душу заглянуть.

8

Ложилась ночь, росла волна,
И льдины проносились с треском;
Седою пеною полна,

[1] Коко (франц.).

Подернута свинцовым блеском,
Нева казалася страшна,
Стуча в гранит сердитым плеском.
В тумане тусклом ряд домов
Смотрел печально с берегов.

Уже огни погашены,
Беспечно люди сном объяты;
Под ропот плещущей волны
Поденщики, аристократы,
Свои все люди грезят сны.
Безмолвны стогны и палаты...
Один, недвижен, на коне
Огромный всадник виден мне.

Чернея сквозь ночной туман,
С подъятой гордо головою,
Надменно выпрямив свой стан,
Куда-то кажет вдаль рукою
С коня могучий великан;
А конь, притянутый уздою,
Поднялся вверх с передних ног,
Чтоб всадник дальше видеть мог.

Куда рукою кажет он?
Куда сквозь тьму вперил он очи?
Какою мыслью вдохновлен
Не знает сна он середь ночи?
С чего он горд? Чем увлечен?
Из всей он будто конской мочи
Вскакал бесстрашно на гранит
И неподвижен тут стоит?

Он тут стоит затем, что тут
Построил он свой город славный;
С рассветом корабли придут —
Он кажет вдаль рукой державной;
Они с собою привезут
Европы ум в наш край дубравный,
Чтоб в наши дебри свет проник;
Он горд затем, что он велик!

Благоговел я в поздний час,
И трепет пробегал по телу;
Я сам был горд на этот раз,
Как будто б был причастен к делу,
Которым он велик для нас.
Надменно вместе и несмело
Пред ним колено я склонил
И чувствовал, что русский был.

Подняв я голову, потом
В лицо взглянул ему — и было
Как будто грустное что в нем;
Он на меня смотрел уныло
И все мне вдаль казал перстом.
Какая скорбь его томила?
Куда казал он мне с коня?
Чего хотел он от меня?

И я невольно был смущен;
Печально, робкими шагами
Я отошел, но долго он
Был у меня перед глазами;
Я от него был отделен
Адмиралтейскими стенами,
А он за мною все следил,
И вид его так мрачен был.

И вот дворец передо мной
Стоял угрюмо и высоко;
В полудремоте часовой
Шагал у двери одиноко,
И страхом веял мне покой,
В котором спал дворец глубоко.
У ног моих Нева одна
Шумела, ярости полна.

А там, далеко за Невой,
Еще страшней чернелось зданье
С зубчатой мрачною стеной
И рядом башен. Вопль, рыданья

И жертв напрасных стон глухой,
Проклятий полный и страданья,
Мне ветер нес с тех берегов
Сквозь стуки льдин и плеск валов.

Дворец! Тюрьма! Зачем сквозь тьму
Глядите вы здесь друг на друга?
Ужель навек она ему
Рабыня, злобная подруга?
Ужель, взирая на тюрьму,
Дворец свободен от испуга?
Ужель тюрьмою силен он
И слышать рад печальный стон?

О! сройте, сройте поскорей
Вы эти стены, эти своды,
Замки отбейте у дверей,
Зовите всех на пир свободы!
Тогда, тогда толпы людей,
Тогда из века в век народы
Благословят вас и почтут
И вас святыми назовут.

Но глух дворец, глуха тюрьма,
И голос мой звучит в пустыне,
Кругом туман да ночи тьма,
И с шумом вал бежит по льдине...
Тоска души, тоска ума
Еще сильнее, чем доныне,
И тяжелее жизни крест...
И я бежал от этих мест.

И снова он, все тот же он,
Явился всадник предо мною,
Все так же горд и вдохновлен,
Все вдаль с простертою рукою.
И мне казалось, как сквозь сон,
С подъятой гордо головою,
Надменно выпрямив свой стан,
Смеялся горько великан.

4

Что я писал вам в этот раз?
Письмо ли это или ода,
Или элегия? У нас
Последнего не терпят рода...
А было время — развелась
На вздохи, слезы, стоны мода;
Все вспоминали юны дни
И лезли в Пушкины они.

Да я и сам... но, боже мой!
Кого я на́звал? Плач надгробный
Ужели смолк в стране родной?
Где наш певец, душой незлобный?
Где дивных песен дар святой
И голос, шуму вод подобный?
Где слава наших тусклых дней?
Внимайте повести моей.

О! там... в тиши родной Москвы,
От бурь мирских задвинув ставень,
И не предчувствуете вы,
Как душу здесь сжигает пламень;
Но будьте вы как лед Невы,
Или бесчувственны, как камень,
Все ж вас растопит мой рассказ
И выжмет слез ручей из вас.

Когда молву, что нет его,
В столице древней услыхали,
Всем было грустно от того;
Все посердились, покричали,
Но через день, как ничего,
Опять спокойно замолчали;
Так шумный рой спугнутых мух,
Взлетев на миг, садится вдруг.

Вчера я встретил невзначай —
Два мальчика прошли с лотками
Статуек. Тут был попугай,

Качали кошки головами,
Наполеон и Николай
Стояли, обратясь спинами,
И Пушкин, голову склоня,
Скрестивши руки, близ коня.

И равнодушною толпой
Шли люди мимо без вниманья,
И каждый занят был собой,
Не замечая изваянья.
Да хоть взгляните, боже мой!
На лик, исполненный страданья
И дум и грез... Ведь он поэт!
Да дайте ж лепт свой за портрет!

Поэт не надобен для них,
Ему внимать им даже скучно,
И звонкий, грустный, яркий стих
Они услышат равнодушно,
Как скрип телег на мостовых,
Песнь аматера в зале душной.
Они согласны быть скорей
Час целый у резных дверей,

Пока лакей им в галунах
Отворит вход жилищ священных,
Где можно ползать им в ногах
Временщиков и бар надменных
И целовать ничтожный прах
Людей ничтожных и презренных,
Которых кознями поэт
Погиб в всей силе лучших лет.

Ему досадой сердце жгли,
И дело быстро шло к дуэли;
Предотвратить ее могли,
Но не хотели, не хотели.
К нему на похороны шли
Лишь люди в фризовой шинели,
И тех обманом отвели,
И гроб тихонько увезли.

Поэта мучить и терзать,
Губить со злобою холодной,
На тело мертвое не дать
Пролить слезу любви народной, —
Что ж можно вам еще сказать,
Что б было хуже? Благородный,
Священный гнев в душе моей
Кипит — чем скрытей, тем сильней.

Но только втайне пару слов
Могу сказать в кругу собратий,
Боясь тюрьмы, боясь оков,
Боясь предательских объятий.
А как бы на его врагов
Я, сколько есть в душе проклятий,
Собрать был рад в единый миг,
Чтобы в лицо им плюнуть их!

И ваш еще спокоен дух,
И не дрожите вы с досады,
Что так бессильны мы, мой друг,
И что нам правду прятать надо,
И мненью высказаться вслух
Везде поставлены преграды?
Да если б кто чужой узнал,
Он нас бы трусами назвал.

5

Но мы оставим мрачный тон,
Задернем скорбную картину;
Ваш дух тоскою удручен,
Я вижу, вы уж близки к сплину;
Я вам кажуся Цицерон,
Который мещет в Катилину
Неумолимый приговор
И гневный, беспощадный взор.

А я скажу вам между тем,
Что Цицерона я, бывало,
И не читал почти совсем,

По крайней мере — очень мало;
За длинный слог его дилемм
Я с жаром принялся сначала,
Потом за чтеньем сон клонил,
А нынче все я позабыл.

Вот здесь, ораторов венец,
Блистает Греч, скажу без лести;
Булгарин выше как мудрец
Всех стоиков, хоть взятых вместе,
Сознав презренье наконец
Не только к смерти, даже к чести;
Но полно, друг мой: Греч, Фаддей —
Вне всякой критики, ей-ей!

Пожалуйста, на этот миг
Забудем дюжину журналов,
В форматах малых и больших,
Забудем кучу генералов,
Темнозеленых, голубых,
И всех начальников кварталов,
И всех шпионов записных —
Элькана, Фабра и других.

Меня влечет иной предмет,
Но все ж замечу непременно —
Шпионами чрез десять лет
Все будут на Руси священной;
Ну, в целой Руси, может, нет,
А в Петербурге несомненно.
Князь Меттерних, забудьте спесь. . .
И царствовать учитесь здесь.

В углу театра я сидел
В расположении угрюмом,
На ложи холодно глядел,
Где дамы пышные костюмом
Блистали, — и скорей хотел,
Чтоб занавесь взвилася с шумом;
Зачем — не знаю, право, сам,
Хотел я волю дать слезам.

Вы согласитеся, друг мой,
Есть в жизни странные мгновенья:
Желчь не кипит в груди больной,
Стихает жгучее мученье,
Но грусть глубокая с душой
Дружится тихо... Без сомненья,
Благословен, кто в этот час
До слез растрогать может нас.

Душа так живо сознает
Любви неопытной страданья,
И внешней жизни тяжкий гнет,
И сладость первого признанья,
И нечувствительно встает
Неясное воспоминанье...
Пред вами драма, а за ней
Мелькает даль минувших дней.

M-me Allan...[1] О, как она
Постигла жизнь глубоко, верно!
Как ею роль вся создана!
И любит как она безмерно
И как страдает! как полна
Тоски она нелицемерно!
Движенье, поступь, взгляд очей —
Все сильно поражает в ней.

Я плакал, как дитя, друг мой;
Тревожно грудь моя дышала.
За мной сидел старик седой
И плакал, и рука дрожала,
И жил он старою душой,
А публика рукоплескала;
Лишь двое чувствами души
Мы увлекалися в тиши.

И я взглянул на старика
Так симпатически... готова
Была руки искать рука;
Но я не смел, но ни полслова
Не сорвалося с языка,

---

[1] Мадам Аллан (франц.).

Я недвижим остался снова;
Расставшись молча с стариком,
Я не встречался с ним потом.

Но в этот вечер я унес
С собой толпу воспоминаний,
Следы душевных теплых слез
И много сладостных мечтаний;
И ночью, средь неясных грез,
Я чье-то сердце от страданий
Спасал — и смутно предо мной
В слезах носился лик седой.

6

Была уж майская пора,
И солнце жаркими лучами
Палило пышный град Петра;
По улицам народ толпами
Стремился с самого утра,
Ходили стройными рядами
Отряды длинные солдат:
В тот день назначен был парад.

Направил любопытный шаг
И я туда ж, хоть в самом деле
Я был непримиримый враг
Забавам воинским доселе,
И не умел понять никак,
Как человек, в ком уцелели
Две мысли здравых как-нибудь,
На них мог с радостью взглянуть.

Но увлекаюсь часто я...
Леса и степь, весна и роза,
И ропот при луне ручья,
И яркий иней в день мороза —
Все тотчас радует меня.
Теперь Allegro maestoso, [1]

---

[1] Быстро, торжественно (итал., муз. термин)

Обняв торжественно мой слух,
Душою завладело вдруг.

Толпы несчетные полков
Стоят на площади широкой,
Густая масса их рядов
Недвижна в тишине глубокой,
На солнце блещет сталь штыков,
Так что смотреть не может око,
И кажет кирасиров ряд
На белом фоне чёрнеть лат.

Между улан и казаков
Гусары с грудью золотою;
Лишь оторвавшись от полков,
Гремя железной чешуею,
Летит черкес между рядов,
На месте быстрою рукою
Вертит коня, и конь, заржав,
Назад несет его стремглав.

Все в ожидании немом.
Вот скачет царь с блестящей свитой,
Играет ветр его пером,
Он горд и пасмурен. Сердито
Он озирается кругом
И едет в ряд. В едино слито,
«Ура» полков и трубный звук
Навстречу раздаются вдруг.

Марш заиграл. Пошла раз в раз
Пехота массою спокойной;
За нею конница вилась
Колонной пестрою и стройной.
Я сам был воин в этот час!
В душе проснулась беспокойно
Потребность крови и войны. . .
Как люди странно созданы!

Что, если б я на этот миг,
Прямого полный вдохновенья,
Мог прокричать отважный клик
Священного освобожденья?

За мной! Точите меч и штык!
Я поведу вас в направленьи,
В котором эти господа
Не поведут вас никогда.

Но мы об этом помолчим,
Мечтой не увлечемся даром;
Солдат наш глуп еще — бог с ним, —
Привычен к палочным ударам,
И вольность не любима им,
Живущим в предрассудке старом.
Да, вольность, друг мой, вообще
Народу рано дать еще.

По крайней мере все пока
У нас еще такого мненья:
Пускай нам будет жизнь легка,
Народу отдадим мученье,
На чернь взирая свысока,
В залог мы ей пошлем терпенье.
А почему все это так —
Я не могу понять никак.

Печально глядя на полки,
Я думал: боже, боже правый!
Страданья наши велики!
И долго деспотизм лукавый,
Опершись злобно на штыки
И развращая наши нравы,
Ругаться будет над людьми;
Проклятье войску, черт возьми!

7

Сия огромные сфинксы привезены и поставлены здесь.

Ну виноват! Не мог в стихах
Я передать вам фразы странной,
В академических умах
Мелькнувшей как-то в день туманный;
Глупа она, конечно, страх,

И поражает вас нежданно,
И пахнет пудрой, париком
И семинарии пером.

Что ж делать? глупость с давних дней
Всех академий достоянье,
Времен новейших фарисей
Имеет в оных заседанье;
Но хуже не найти, ей-ей,
Людей духовного нам званья:
Из всех апостолов святых
Иуда лишь в чести у них.

Здесь, кстати, я сказал бы вам,
Законы разбирая строго,
О том, что всем у нас к чинам
Открыта быстрая дорога;
Но о чиновничестве нам
Говорено, мой друг, так много,
Что признаюся — мне оно
Уже наскучило давно.

К тому ж, скажу без дальних слов,
Я рад, что нет аристократов,
И если б не было рабов,
Я всех бы счел за демократов;
Но этот вечный Хлестаков
С гурьбой военных наших хватов
Невольно желчь вливают в кровь.
Но к сфинксам возвратимся вновь.

Забавно видеть, как уста,
Лицо, глаза уродов Нила
Какой-то нежности черта
Роскошно, страстно озарила.
Востока жизнь моя мечта
В душе внезапно воскресила;
Передо мной лежала степь
И пирамид огромных цепь.

Воскресла, мыслию полна,
Страна, где воплощался Брама,

И с богом мстительным страна
Сынов лукавых Авраама;
Потом другие времена...
Люблю мечтать про рай ислама,
Смотреть, как скачет бедуин,
Песок взметая средь равнин.

Люблю я пальмы и цветы,
Безбрежность, полную покоя,
Олив зеленые листы
И час полуденного зноя,
И прелесть смуглой красоты,
И запах мирры и алоя,
И жизни лень, и пыл в крови,
И негу жгучую любви.

Я не скрывал, мой друг, от вас —
Происхожденьем я татарин.
Во время оно окрестясь,
Мой прадед вышел русский барин.
С тех пор уж много было нас;
Я богу очень благодарен,
Что наконец рожден на свет
Такой же барин, как мой дед.

Дворянство наше все почти —
Татар крестившихся потомки,
Но можно изредка найти
Фамилий княжеских обломки,
Да как-то мало в них пути;
Их имена, конечно, громки,
Но представители имен
Глупеют в быстроте времен.

Как я досадовать привык,
Волненью тайному послушный,
Я позабыл любви язык,
Нет в мысли шутки простодушной,
Пропало все!.. Лишь боли крик
Живет в груди неравнодушной,
Негодование растет,
И все внутри палит и жжет.

Вы помните, что нравом я
Был тихий, кроткий, даже нежный,
Любил зеленые поля,
И темный лес, и скат прибрежный,
Друзей беседу, шум ручья,
В тиши ночной напев мятежный,
И Теклу Шиллера, и сны,
И луч задумчивой луны.

Здесь все пропало! Целый день
Ношусь я в сердце с злобой скрытой,
Не сплю ночей. То будто тень
Блуждаю с думой ядовитой,
То в апатическую лень
Впадаю вдруг, тоской убитый,
И политический наш быт
Меня без отдыха томит.

8

Есть домик старый. Он стоит
Давно один на бреге плоском.
У двери ходит инвалид.
Две комнаты. С златистым лоском
Налево образ, и горит
Пред ним свеча и каплет воском;
Направо стул простой с столом,
Нева течет перед окном.

Тут он сидел и создавал...
Велик и прост. Сюда порою
Послов заморских принимал;
А здесь он, оскорблен борьбою
С людьми, пред образом стоял
И дух крепил себе мольбою,
И грудь широкая не раз
Вздыхала тяжко в поздний час.

Теперь все пусто. Этот дом
На вас могильным хладом веет,

И, будто в склепе гробовом,
Душа тоскует и немеет,
Ей тяжело и страшно в нем,
И так она благоговеет,
Как будто что-то тут давно
Великое схоронено.

Есть замок на горе крутой,
Он дышит роскоши отрадой,
Тенистых лип дряхлеет строй
Пред ним зеленою оградой;
Сверкая шумною струей,
Фонтаны вниз бегут каскадой,
И море синее легло
У ног горы и вдаль пошло.

Была блестящая пора...
Здесь прежде женщина живала
И блеском пышного двора
Себя тщеславно окружала,
И с полуночи до утра
На ложе мягком отдыхала,
Несытой негою полна,
В руках любовников она.

Но все прошло — и простота
Царя великого России,
Царицы умной красота,
Обоих замыслы большие,
Цивилизации мечта,
И нынче времена другие —
Разврат запачканный и лесть,
Вражда с свободой, мелкость, месть...

Падешь ты, гордый Вавилон!
Уж божий гнев тебе пророки
Давно сулят со всех сторон.
Ты глух пока на их упреки,
Надменной злобой напыщен, —
Но кары божии жестоки!
Бедой грозит народный стон,
Падешь ты, гордый Вавилон!

Томим глубокою тоской,
Сошел я к морю. Ветер злился,
Свистя над мрачной глубиной;
За валом вал седой клубился
И злобно прыгал, и порой
О берег каменный дробился,
И брызги дико вверх кидал,
И с тяжким стоном упадал.

Я был доволен. Я внимал
Так жадно реву непогоды,
Лицо на брызги выставлял;
Борьба души с борьбой природы
Так были дружны... И я знал,
Что, весь мой век прося свободы,
Как вал морской я промечусь
И после с стоном расшибусь.

9

Ну, радуйтесь! Я отпущен!
Я отпущен в страны чужие!
Я этой мыслью оживлен;
Но были хлопоты большие...
Да это, полно ли, не сон?
Нет! Завтра ж кони почтовые —
И я скачу von Ort zu Ort, [1]
Отдавши деньги за паспо́рт.

Конечно, и в краю чужом —
В Париже, в Риме, в Вене, в Праге —
(Хоть смысла много нет и в том)
Берут налог с листа бумаги;
Тут ценность дел — вот дело в чем;
Но нет нигде такой отваги,
Чтоб на людей начесть налог
С движенья рук их или ног.

Но что ж? Привычка и нужда.
Я заплатил без возраженья.
Не так ли все мы, господа?
Иной воскликнет — угнетенье!

[1] Из края в край (нем.).

Другой ему ответит — да!
И общее то будет мненье,
Все покричат себе, потом
Так и останется на том.

Но вам признаться должен я,
Что мне в пути хотя не малом
Быть много времени нельзя:
Когда представлен генералом
Царю доклад был про меня,
Чтоб я не вышел либералом,
Царь подписал: быть по сему,
Гулять шесть месяцев ему.

Полгода! только! о друг мой,
Как это мало! И за что же
Предел поставлен мне такой?
Что воли может быть дороже?
Но благодарною душой
Я одарен тобой, мой боже!
И потому насчет сего
Я не скажу уж ничего.

Поеду. Что-то будет там?
Воскресну ли я к жизни новой,
Всегда предаться новым снам
И новым мнениям готовый?
Иль, странствуя по тем местам,
С душой печальной и суровой
Останусь я, как здесь бывал,
Где столько скорбного встречал?

На ум приходят часто мне
Мои младенческие годы,
Село в вечерней тишине,
В саду светящиеся воды
И жизнь в каком-то полусне,
В кругу семьи, среди природы,
И в этой сладостной тиши
Порывы первые души.

Когда мы в памяти своей
Проходим прежнюю дорогу,
В душе все чувства прежних дней
Вновь оживают понемногу:
И грусть и радость те же в ней,
И знает ту ж она тревогу,
И так же вновь теснится грудь,
И так же хочется вздохнуть.

И вот теперь в вечерний час
Заря блестит стезею длинной,
Я вспоминаю, как у нас
Давно обычай был старинный:
Пред воскресеньем каждый раз
Ходил к нам поп седой и чинный
И перед образом святым
Молился с причетом своим.

Старушка бабушка моя
На кресло опершись стояла,
Молитву шепотом творя,
И четки всё перебирала;
В дверях знакомая семья
Дворовых лиц мольбе внимала,
И в землю кланялись они,
Прося у бога долги дни.

А блеск вечерний по окнам
Меж тем горел. Деревья сада
Стояли тихо. По холмам
Тянулась сельская ограда,
И расходилось по домам
Уныло медленное стадо.
По зале из кадила дым
Носился клубом голубым.

И все такою тишиной
Кругом дышало, только чтенье
Дьячков звучало, а с душой
Дружилось тайное стремленье,
И смутно с детскою мечтой

Уж грусти тихой ощущенье
Я бессознательно сближал
И все чего-то так желал.

К чему все это вспомнил я?
Мой друг, я сам не знаю, право;
Припадки это у меня
Меланхолического нрава.
Быть может, важность всю храня,
Вы улыбнетеся лукаво,
А может быть, мечтой своей
Забудетесь средь детских дней.

10

Всходило утро. Небеса
Румянцем розовым сияли,
Как первой юности краса;
Но улицы еще дремали
С домами белыми. Роса
Кой-где блистала. Люди спали,
И только белый голубок
Кружился в небе одинок.

Ворча сквозь зуб, попался мне
Один туляка запоздалый,
Рукой цепляясь по стене;
Да дворник, с вечера усталый,
С глазами, слипшими во сне,
Держа метлу рукою вялой,
Зевая громко во весь рот,
Стоял, крестяся, у ворот.

Нева спокойною струей
Лилась в течении ленивом,
И утро ярко над водой
Сверкало радужным отливом;
Я в лодку сел, и след за мной
Пошел в волнении игривом,
И брызги искрились кругом,
Взлетая звонко под веслом.

Я выплыл в море, и оно
Безбрежно синее лежало,
Сияньем дня озарено,
И тихо воды колыхало,
Спокойной думою полно,
И лодку медленно качало...
Но с берегов ко мне в тот миг
Звук ни единый не достиг.

И было море все кругом...
Лишь у меня над головою
Носился радужным крылом
Жужжащий шмель, и той порою
Мы были только с ним вдвоем
Затеряны над глубиною.
Волну, жужжание его
Я слышал, больше ничего.

И хорошо так было мне,
И я забыл про все печали,
Беспечно вверяся волне;
Терялись взоры в синей дали,
Иль утопали в глубине,
Иль в небе ясном исчезали.
И чувствовал в раздольи я
Лишь бесконечность да себя.

Я в этот дивный, светлый час
Благословил Неву и море;
Душа покою предалась
На голубом его просторе,
И я, в столицу возвратясь,
Забыл и ненависть и горе,
Ее без злобы увидал
И в этот раз не проклинал.

11

Варшава

Так я от невских берегов
Поехал мирно, рысью ровной;
Пять-шесть уездных городов

Еще попались мне до Ковно,
Потом пошли корчмы жидов,
Хлевы свиней вонючих словно;
Всех монополий вечный враг,
Я под полой провез табак.

И вот я в новой стороне,
И вот уж я середь Варшавы;
Дома твердят о старине,
Но мрачен город величавый,
Как витязь, падший на войне.
Везде сидит орел двуглавый,
Над жертвой крылья распустив
И когти хищные вонзив.

Мне жалко жертву. Не легка
Ей тяжесть этой зверской длани!
И если трону поляка
Когда-нибудь я словом брани,
Пусть высохнет моя рука
И пусть прильнет язык к гортани;
Во мне вражды народной нет,
Дай руку, бедный мой сосед!

Твои права подавлены,
Трофеи древние отъяты
И дерзко прочь увезены;
Твоих царей сады, палаты
Сатрапам жалким отданы,
Тебе не счесть твои утраты!..
Бессильный стон один тебе
Остался в горестной судьбе.

Нет, я не враг тебе, сосед!
Как ты, и я люблю свободу
И дал ей жертвовать обет.
Я пострадавшему народу
Теперь шлю братственный привет,
Твою жестокую невзгоду
С слезою вижу, Польши сын,
Как человек и славянин.

Виядся темной полосой,
У ног Варшавы вьется Висла
И ропщет быстрою волной,
И этот ропот, полный смысла,
Звучит мучительной тоской;
И туча черная нависла
Над городом, как мрачный свод
Над гробом. Спи, мертвец народ!

На берегу поляк сидит;
Поляк задумчив, головою
Склонясь кудрявой, вдаль глядит,
И взор безвыходной тоскою
Так полон. Бледен цвет ланит.
Поляк, поляк! С твоей страною
Что сталось, бедный человек?
Что Польша? Умерла навек?

Так в Вавилоне при реках
Они печальные сидели
С молчаньем грустным на устах
И песни вольные не пели,
Повеся арфы на ветвях,
И всё о родине скорбели,
И ждали — выведет пока
Из плена божия рука.

Жди, Польша, молча, и поверь,
Все это было в божьей воле;
Спроси попов своих теперь,
Они научат, как в неволе
Смиряться должно; рая дверь
Тебе покажут. Что же боле?
А в жизни этой ты страдай,
Носи ярмо и умирай.

Все это, видно, надо так!
Несите крест с благоговеньем,
Любви достоин каждый враг,
Вооружайтеся терпеньем;

Но к Висле не ходи, поляк,
Сидеть с печальным размышленьем,
Вода заманчива — и в ней
Легко укрыться от скорбей.

12

Есть близ Варшавы дивный сад.
Каштанов темная аллея
И тополей высоких ряд
К нему ведут; там, зеленея,
Сирени пахнут и шумят,
И роза юная, краснея,
В тени листов цветет пышна,
Душистой жизнию полна.

Лазёнки! Мне вы навсегда
В воспоминаньи сохранились,
Мы там на берегу пруда
С весной друг другу поклонились.
Светла, как зеркало, вода,
И к ней деревья наклонились,
Фонтан журчит, и меж ветвей
Не умолкает соловей.

Не знает птичка наших бед,
Для песен ей везде свобода;
Спокоен розы пышный цвет,
И от заката до восхода,
И до конца с начала лет
Себялюбивая природа
Блистает дивною красой
Средь жизни вечно молодой.

И без участия глядит,
Как мимо, с вечною тоскою,
Венцом страдальческим покрыт,
Дыша сердитою враждою,
Не выпуская меч и щит,

Окровавленною стопою
Идет угрюм из века в век
Себялюбивый человек.

В саду стоит высокий дом:
Король живал в нем для забавы,
Теперь живет враждебно в нем
Вождь подозрительный, лукавый,
Чужим поставленный царем, —
Но в дни бесславья, как в дни славы,
Журчит фонтан, и меж ветвей
Не умолкает соловей.

13

Калиш

Граница. Через полчаса
Я в Шлезии. И вот смущенье
Теснит мне грудь. Поля, леса,
И запах роз, и птичек пенье,
И голубые небеса —
Чужое все! Еще мгновенье —
И закричу невольно я:
Уж вот нерусская земля!

Как это чувство странно, друг!
Конечно, разницы ни малой
Нет в двух шагах; но как-то вдруг
Я отдохнул душой усталой,
Как будто цепь свалилась с рук,
И так легко, легко мне стало,
И с верой я на жизнь взглянул
И вольно, широко вздохнул!

В столице Севера, потом
В столице Польши я душою
Был просто мученик. Огнем
Мне сердце жгло; уж не хандрою
То, что меня томило днем
И ночью мучило тоскою,

Я назову — а было, друг,
Отчаянье мой злой недуг.

Уж в будущность страны моей
Никак не мог я верить боле,
И думал: видно, вечно ей
Судил господь страдать в неволе...
И начинал я видеть в ней
Одно заброшенное поле,
Бесплодную глухую степь,
И жизнь звучала мне как цепь.

Но, друг, едва ли я был прав:
Когда б, с холодным рассужденьем
Все вещи строго разобрав,
На все я мог взглянуть с терпеньем —
Не то б нашел. Но слабый нрав
Увлекся внутренним мученьем,
И, как растоптанный цветок,
Я только грустно вянуть мог.

Что ж, с жизнью сладит ли мой ум
И заживет ли сердца рана,
Когда предстанут мне — средь дум:
Германия? Средь океана
Смышленый Лондон? Вечный шум
Парижа? Снежный верх Монблана,
И с небом вечно голубым
Над старым Тибром старый Рим?

Не знаю! верю! но темно
Грядущее перед очами;
Бог весть, что мне сулит оно!
Стою со страхом пред дверями
Европы. Сердце так полно
Надеждой, смутными мечтами —
Но я в сомнении, друг мой,
Качаю грустно головой.

И вот я вспомнил, как подчас
Мы с вами вечером сидели
Перед камином, и у нас

Под вопль пронзительной метели
Беседа мирная велась.
Признаться вам, часы летели
И даже дело к утру шло,
А было на сердце светло.

Я стану верить. Много есть
Чудесных в жизни сей мгновений,
И если б нам их перечесть!
Вот хоть теперь — ночные тени
Исчезли; радостную весть
С залогом новых наслаждений
Несет мне радужный восток,
Светя на бедный городок.

Addio! [1] Мне пора, друг мой!
Длинна, длинна моя дорога!
С слезою я, мой край родной,
Стою у твоего порога.
Да будет свято над тобой
Вовек благословенье бога!
Гляжу полупечально вдаль,
И, право, — как мне всех вас жаль!

1840—1841

Часть третья

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

(Через двадцать семь лет)

1

С чего проснулось дней былых
Душе знакомое волненье,
И все мне слышен мерный стих
И рифм созвучное паденье?
Я так давно чуждался их,
Их звуков страстное плетенье

---

[1] Прощай! (итал.).

Казалось праздностью уму,
Да и не нужным никому.

Что ж обновило бодрость сил?
Ужель весенних песен звуки
До этих пор не схоронил
Ни опыт лет, ни труд науки,
Ни ряд ошибок и могил,
Ни холод обыденной скуки?
Ужель я так остался цел,
Что просто я помолодел?

О нет! Я понимаю вас,
Мои предсмертные сказанья,
В вас не взойдут на этот раз
Любви стремленья и страданья,
Не отзовется тихий час
Спокойно-грустного мечтанья.
Возникли вы не для утех
В последний стон, в предсмертный смех.

2

С тех пор как я начальных строф
Слагал задумчивые строки,
Прошло десятка три годов,
И жизни жесткие уроки
Не проскользнули без следов,
Казня в размеренные сроки
Бедой и злом, — и борода
Давно становится седа.

Гляжу, усталый от всего,
Гляжу с тяжелым напряженьем
На то, что вовсе не ново,
На мир, исполненный волненьем,
И на себя на самого,
И полон внутренним сомненьем, —
Что ж я?.. споткнувшийся пророк,
Иль так... распутный старичок?

И жалок мне мой прошлый путь!
Я много ль истине дал ходу?
Свершил ли я хоть что-нибудь?
Одну принес ли жертву сроду?
Иль жизнь умел я повернуть
Страстишкам маленьким в угоду,
И сил не поднял с той поры,
А просто все схожу с горы?

Быть может, что под старость лет
Мысль эта всякому пригодна —
Ни счастья, ни покоя нет,
И жизнь мелка и несвободна;
А может быть, постичь секрет,
Как жить с своим понятьем сходно, —
Безумно только я не смог
И гибну средь пустых тревог?..

Когда же, внутренней тоской
И покаяньем утомленный,
Гонясь за мыслию живой,
Гляжу на мир, мне современный, —
Мне так же жалок круг людской,
Весь этот круг заговоренный,
Где каждый доблестный народ —
Еще полнейший идиот.

Наш нескончаемый прогресс,
И потому недостижимый,
Похож на путь чрез длинный лес,
Безвыходный, неизмеримый,
Разбоя полный и чудес,
Где зверь большой, несокрушимый
Под песню старых, глупых слов
На бойню шлет простых скотов.

Война и кровь!.. Так вот предел,
Где стали мы с образованьем,
Где даже сохранился цел
Дух революций с их преданьем

Единства нацьональных дел
И всех языц размежеваньем,
Которых цели так дики,
Что царским жадностям с руки.

Война и кровь!.. Вот наш привал,
Где, как в чаду былых столетий,
Опять народ рукоплескал
С избытком чувств и междометий,
Где старый прусский генерал
И император, счетом третий,
Все оттого так и сильны,
Что люди глупы и скверны.

Война и кровь!.. И много лет
Или веков в резне безумной
Еще пройдут... Надежды нет!
В потемках смрадных дракой шумной
Заменят люди мир и свет,
Не нужен им исход разумный —
И человек рожден холоп,
Любовь к свободе есть поклеп.

Все это выражаю я,
Быть может, очень прозаично, —
Лишь было ясно бы, друзья,
А там будь плохо, будь отлично...
Да и не ищет речь моя,
Чтоб муза пела в ней антично,
А сердца боль так велика,
Что к слову просится тоска.

Всемирный шум, всемирный шум,
Германо-римский люд великий,
Многоболтливый Аввакум,
Снаружи гладкий, в сердце дикий, —
Не ты моих властитель дум!
Твои затверженные крики
Нейдут твоим пророкам вслед,
И мира нового в них нет.

8

«Что ж сладко вашему уму?» —
Меня вы спросите. — «Россия?
Мы, к сожаленью моему,
Не справились с времен Батыя», —
Скажу я также в *эту* тьму,
Как говорил во тьмы былые.
«Да! Но тогда жил царь-отец,
А этот добр и молодец».

Да будет жирен ваш обед
И крепок храп на сон грядущий,
Вы верите? .. Так вам и след,
Спасаем верой муж имущий,
Но не спасут народ от бед
Ни пошлый лоб, назад идущий,
Ни пара истуканных глаз,
Где мысли луч давно погас.

Вы верите, что *юный* царь
Есть, так сказать, освободитель?
Мужик, который раб был встарь,
Закабаленный стал платитель
И нищ, как был во время бар,
А царь, отечества спаситель,
Крестьянскую понюхав кровь,
Сам на дворян оперся вновь.

Вы дворянин, вам в жизни пир
Всегда был нужен и приятен,
Холопствуйте! Чиновный жир
Не тяготит, не кажет пятен,
Да и за вас есть целый клир —
Вам друг Катков, вам друг Скарятин,
Вы так подлы, что царь вперед
Опоры лучшей не найдет.

Теперь же столько есть манер
Холопствовать с усердьем новым,
Позвать обедать, например,

Фон Комиссарова с Трепо́вым,
Соцьяльных и иных химер
Быть палачом всегда готовым,
Да обругать казенный прах
В туманных тостах и статьях.

Пожалуй, вторить станет вам
Народ во мраке всех незнаний,
Народ — стихия в рост векам,
Основа лучших сочетаний.
Его я, верно, не предам
Позору горьких порицаний;
Он тот — как Слово говорит —
Кто сам не знает, что творит.

Я верю, что народ один —
Ячейка общей лучшей доли,
Но даст ли рост ей господин —
Определить не в нашей воле...
А с вами, истый дворянин,
Позвольте не встречаться боле:
В вас так холоп с злодеем сшит,
Что ненавистен мне ваш вид.

4

Покинул я мою страну,
Где все любил — леса и нивы,
Снегов немую белизну,
И вод весенние разливы,
И детства мирную весну...
Но ненавидел строй фальшивый —
Господский гнет, чиновный круг,
Весь «царства темного» недуг.

Покинул я родной народ,
Где я любил село родное,
Где скорбь великая живет
Века в беспомощном застое,

Где гибнет мысли юный всход,
Томи́т насилие тупое,
И свежим силам так давно
В жизнь развернуться не дано.

Тайком работа шла у нас,
Я ждал, я верил в перемену,
Как узник верит каждый час,
Что вот конец настанет плену...
Была ли вера — правды глас,
Иль призрак счастию в замену?
Но этой веры не иметь —
Пришлось бы просто умереть.

Покинул я моих друзей,
Но и они мне изменили;
Они мне в гордости своей
Моих ошибок не простили,
Они от истины моей
Давно, слабея, отступили,
И вот мне с робкой мыслью их
Связе́й нет больше никаких.

Один мне друг остался цел;
К нему влекли меня желанья,
И мощь любви, и жажда дел,
Одни стремленья и страданья;
Им труд начатый чист и смел,
Его рука, в стране изгнанья,
Закроет мне, не изменясь,
Мои глаза в урочный час.

5

Какая ночь! Чего в ней нет!
И тень и блеск! Душе печальной
Ее дрожащий полусвет
Повеял негой музыкальной
Знакомых звуков — давних лет,
Из дальних стран, из жизни дальней,

Из дальней жизни ранних снов —
Под напеванье мерных слов.

Сквозь серебряного дыма
Светит круглая луна,
Горной речки льется мимо
Неумолчная волна.
Помнишь сказку — все там сила —
Про Илью-богатыря?
Няня, где твоя могила
У стены монастыря?

Помнишь комнаты большие
И больного старика?
И стучат часы стенные,
И безвыходна тоска?
Помнишь юное томленье,
Согревающее кровь,
И ненужное стремленье,
И ненужную любовь?

Ряд смертей и погребений —
Все бесследно в мгле пустой,
Только призраки и тени
Мчатся в памяти больной...
Сквозь серебряного дыма
Светит круглая луна,
Горной речки льется мимо
Неумолчная волна.

Простите этот старый склад,
Он подвернулся неизбежно,
Я даже к стансам был бы рад
Напев придумать очень нежный,
Настроить слух на чуткий лад,
Чтоб чувство меры безмятежно
Вновь до гармонии дошло —
Иначе в жизни тяжело.

Но музыкальная струя —
Увы! во мне не уцелела,

И паром выдохлась, друзья,
Иль скучным льдом заледенела;
Ее разбила ль жизнь моя,
Тщета ль общественного дела,
Иль просто так, под старость лет,
Изящных звуков жажды нет?

На этот раз, признаюсь вам,
Я не хочу судить об этом;
Быть может, строем звучных гамм
Мне заниматься не по летам,
И потому намерен сам
Я перейти к другим предметам,
Где много желчи иль любви,
Иль скорбной горечи в крови.

6

Я у окна стою один,
Уныло вдаль вперяя взоры
На зелень мягкую равнин,
На белый снег, покрывший горы,
И слышу с низменных долин
Лягушек трепетные хоры...
А в мыслях все двойной предмет —
Прогресс и память прежних лет.

В былой поре недавних лет,
Где мало света, много чада,
Где «в праздномыслии» поэт
Нашел, что есть своя отрада, —
Я не хочу сказать, что нет
Живой струи, живого склада;
Но, признаюсь, я сам отстал
От этих барственных начал.

Нельзя идти, стремясь к добру,
На труд общественного дела,
Поэтизируя хандру
И усталь сердца, усталь тела,

Жалея томно поутру,
Зачем луна не уцелела, —
А в годы прежние не раз
В том доля жизни шла у нас.

Унылый плач по юным дням,
Стремленье ввысь, к тому, что вечно,
Тоска по пройденным любвям
И вера в то, что бесконечно,
С глухим сомненьем пополам —
Все это, может, человечно...
Тогда я тоже создавал
Весьма забавный идеал.

Я по коврам блуждал в тиши
И думал грустно: «Он был молод», —
И наслаждался от души,
«Что в душу вкрадывался холод».
Но ведь и те нехороши,
Кто взвел свой полубарский голод
На степень правды... Больше груб
Он вышел, но не меньше туп.

Не отзовется ум живой
На звук напыщенных томлений;
Не вступит праздною стопой
Отсед шляхетских поколений
В движенье жизни трудовой,
Ее страданий и стремлений,
Чтоб стать с народом — как должно́ —
В едином строе заодно.

Но я пророчу, не боясь,
Исполненный надежды смелой,
Что новый кряж взойдет у нас —
С стремленьем чистым, мыслью зрелой.
И пусть посердит вас и вас,
Но жизни будущего целой
Блеснет в нем яркая звезда —
Затем и гнев ваш не беда...

1867

<ИЗ НАБРОСКОВ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОЭМЫ „ЮМОР“>

⟨*Из третьей части*⟩

7

Нельзя сказать чего ясней
О людях нового деянья;
Блажен, кто мог рукой своей
Оставить им кирпич для зданья;
Но все ж в герои повестей
Из лиц знакомых иль преданья
Берут поэты всех времен:
Гомер — и Майков Аполлон.

Смотреть покойников ходил
Когда-то с Дантом сам Виргилий;
Для отысканья жизни сил
На пляску ведьм, не без усилий,
Сам Гете Фауста водил,
И черт поэта нё<с> без крылий:
Но человек грядущих лет
Стихами не бывал воспет.

Вопрос мудрен: кто ж мой герой?
Людей грядущих поколенья,
Столь силы полные живой,
Мне незнакомы. Скукой тленья
Объят мир древности немой,
И не дарует наслажденья
Знакомый, но несвежий свет, —
Так, стало быть, героя нет?

<*Не окончено*>

1867

‹*Наброски из третьей части*›

Эпиграф из «Манфреда»

...and yet I live, and bear
The aspect and the form of breathing men.

Byron[1]

1873 года, января 1-го

1

Чрез тридцать лет на старый лад
Хочу я продолжать поэму, —
Пусть будет в этом старый склад,
На новую хотя бы тему.
Хоть темы новой мне навряд
Создать придется теорему,
Но как-нибудь дойдем до них —
Вопросов важно-вековых.

До них дойти же нелегко;
Все спутано иль плоховато;
Иной хватает широко,
На деле же выходит сжато,
Другой все метит высоко,
Выходит времени утрата...
Как тут подметить верный звук —
Сквозь тощий лепет, смутный стук?

Выходит так, что жизнь дана
На человеческие *сплетни,*
Дерутся люди издавна —
За власть, за деньги, за обедни...
Я знаю — рифма неверна,
Но хуже то, что жизнь вся бредни
И что из них всю бездну лет
Надежды выпутаться нет.

---

[1] . . . . . . .и я глаза смыкаю
Лишь для того, чтоб внутрь души смотреть.
Не странно ли, что я еще имею
Подобие и облик <живого> человека.

Байрон (Пер. И. А. Бунина)

Хотелось бы еще писать,
Да всё надежды как-то мало:
Напишешь — некуда послать,
А про себя писать — пропало.
И что ж тут делать, что начать, —
Побьешься даром — и застряло.
А все ж я кончить бы не мог,
Пока я жив сквозь всех тревог.

Давно наскучил шум людской
И мелких завистей попытки,
Весь треск и лепет городской —
Звук оглушительнее пытки;
Уйти — куда ж? Какой тропой?
И нет особенной калитки,
А крик, и свист, и болтовня —
Гнет обыденный для меня.

Подчас, признаться, даже мне
Хотелось бы в родные степи,
К раздольной вольной тишине...
Да там всё ссылки или цепи.
И в беспредельной ширине
Мне места не сыскать нелепей,
Где бы я жизнь закончить мог
Без оскорблений и тревог.

Как ни туманна наша мгла,
Я все же зверь людского стада,
Куда б дорога ни вела,
А все же груз тащить мне надо;
Легка ль стезя иль тяжела,
Путь гладок иль везде преграда,
А нужно мне покончить труд
До окончательных минут.

Ведь я привык же, например,
В дни мелких иль больших печалей
Без всяких богословских вер
Искать каких-то грустных далей.

<Строфа не дописана>

Итак, пущусь, благословясь.
Хотя давно не верю в бога,
Но все же можно нам подчас
Привычку вспомнить хоть немного —
Так создана природа в нас, —
И жизни длинная дорога,
Что было умным в оны дни,
Считает делом болтовни.

<1873>

Исповедь

К концу, к концу моя дорога!
Мне остается жить немного,
Часы бегут, часы бегут,
А не свершен заветный труд...

I

Все больше лет на самом деле,
Все ближе к гробу жизнь ведет,
И память прошлого тяжеле
И неотступнее гнетет...
Но я давно не верю в бога,
Идти к попу мне не дорога,
Мой страшный суд лежит во мне.
Его свершу наедине.

Хочу один проверить снова
Все, что я думал и любил,
Где был жрецом живого слова,
Где праздно тратил свежесть сил;
Как самолюбья страстью дикой
Губил я сердца мир великой,
И как бывал я духом слаб
И мелкой жизни мелкий раб.

Еще теперь я помню свято —
Был чист и ясен мой рассвет,
Но от рассвета до заката
Прошло бесплодно много лет...

Без лицемерья, в тщетном плаче
Скажу — я мог бы жить иначе;
Но гаснет мой последний луч
В тумане душном длинных туч.

II

Дай оглянуться мне назад,
Перед концом вздохнуть свободно
И тихо вспомнить детский сад
И возраст, где так благородно
Слагалась жизнь, что сам порок
В ней не заслуживал упрек...
А дальше жизнь в обычной связи
С собой все тащит больше грязи...

С чего же я начну теперь
Всю эту летопись волнений,
Ошибок горьких и потерь,
Где всё — наследство заблуждений,
Где человек — герой и зверь,
Всю повесть страстных, смутных мнений,
Злодейств, и жертв, и мертвых тел,
Великих и кровавых дел?

И песнь мою закончу ль я —
Как бы последнее сказанье,
Где прозвучит одна струя,
Одно надгробное рыданье?
Иль сыщет летопись моя
Живую мощь на прорицанье
Иных судеб, иных времен,
Грядущих после похорон?

Начну ab ovo[1] — все равно
На зарубежье, на востоке
Есть царство темное. Оно
Там, где леса и степь широки
И снега глубина за <*нрзб*> но

[1] С самого начала (лат.).

Его страданья и пороки,
И сколько в нем здоровых сил
Еще никто не обсудил.

<Не окончено>

1863—1864 — половина 1870-х(?)

Старческая песня
(Старый юмор на новый лад)

Мудрено мне поверить в прогресс,
В улучшение рода людского,
В каждом веке и смысл постоянно исчез
И безумие царствует снова и снова.
Между тем не могу я оставить забот
О возможном успехе людских поколений.
Все мечтается, будто бы строится род
Постоянных людских улучшений.

Но что же делать? Верить вздору
Мне все ж не хочется никак,
Не то чтоб был я слеп по взору,
Не то чтоб умник иль дурак,
А дело все выходит так:
Поверишь и в тебя, о боже,
Пожалуй, в сны поверишь тоже;
Не зная в жизни никогда,
Что завтра — счастье иль беда.

Хоть тешьте королями публику —
Уж лучше всем иметь республику,
Она, быть может, и дрянна,
Да и не менее сложна.
Но лучше же, чем монархи́я,
И не тягаешься в Батыя,
А будто б остается век
Почти свободен человек.

Вот хоть в Испании есть новый
Король Альфонс — и юн и свеж,
С пеленок в короли готовый,
И в церковь ездит и в манеж. . .

Уж лучше встретить Мак-Магона
И, без пальбы да и без звона
И обсудивши кое-что,
Переменить и се и то.

А лучше б было перемену
Нам учредить уже совсем,
Всем старым каверзням на смену,
И ликовать бы нам затем!
Но сил не хватит у народа
Иль человеческого рода.
А протолкуем мы года.
Что же тут делать, господа?

Что делать? Ничего иль мало?
Иль в то же время кое-что?
Плюс с минусом всегда, бывало,
Приходят вместе во ничто.
Уж если делать — делать много,
Чтоб не тщетна была тревога, —
Иль новый род произвести,
Самих в отставку отнести.

Но как прийти к породе новой?
Возможно ли оно иль нет?
Науки много неготовой,
А новых сил не создал свет.
Куда ж подвинуться с вопросом —
Будь ты хоть англом, будь хоть россом,
А все же видно, господа,
Что не дойдем мы никуда.

Останутся всё те же драки,
И короли, и нищета,
Все те же гробовые мраки
И жертв напрасная тщета.
Как это скучно все и сложно,
Как оскорбительно и ложно,
Но каждый пусть вперед идет,
Самоубийство не спасет.

<Не окончено>

Начало 1875

Глава предсмертная

Давно совсем было я стих,
Теперь же за тебя я снова
Берусь, четырехстопный стих,
Хоть старость рушить жизнь готова.
И скука между жизней сих
Томит унынием дар слова,
А смолкнуть даже под конец
Нельзя, изношенный певец!

И не хотелось бы никак
Последние закончить годы,
Еще не подавая знак
Желанья старого — свободы.
И с рифмой жизнь покончить так,
Привычно снесть ее невзгоды, —
«Привычка свыше нам дана,
Замена счастию она».

Стих Пушкина, известный всем,
И верен, как нельзя вернее,
В насмешку неба дан затем.
Молиться б перестать нужнее,
Да, не измученно ничем,
Пожить приняться безгрешнее,
И наконец бы род людской
До правды век замучил свой.

То лицемерье, то измена,
Попы, жандармы и стихи,
Празднoглагольствие без смены,
Немудры власти, но лихи.
Пора б дойти до перемены,
А где ее, откуда взять —
Вот в чем вопрос? Но как узнать?

Еще на деле ничего,
А толкам и конца нет хода,
И не дойдешь до одного,
Как ни пощадна будь порода.
Чтоб выйти просто из того,

Что всем безумно, без исхода,
И не спасешь себя ничем,
Как не спасти себя кой-чем.

И чтоб не вырвалась вперед
Так жизни вещи всей докучной,
Что мозг поправить не найдет
Того, что грустно и не скучно,
А вечный бред и вечный гнет
Всё остаются безотлучно,
И как спастись — понять оно
Или нельзя, иль мудрено.

Да как наринуть <?> просто смело,
На что ворочает по дну

<Не окончено>

<1877>

НЕАПОЛЬ

1

В час полуденный, на склоне
Раскаленных берегов,
Дремлет смуглый lazzarone, [1]
Враг заботы и трудов.
В шапке красной набекрени,
Грудь широко распахнув,
И от зноя и от лени
Разметался он, заснув;
Брови черные нависли,
Пышет жар от желтых щек,
Руки жилистые свисли
На рассыпчатый песок.
Нищ и бос и грез не зная,
Век беспечен он лежит,
И над сонным, пролетая,
Чайка серая кричит.
С неба луч палит и блещет,
И, на скат береговой
Набегая, море плещет
Вечно шумною волной.
Strada Nuova, сад и Chiaia, [2]
И Везувий, думы полн, —
Растянулись, облегая
Ширь серебряную волн.
С лона вод в немом покое

---

[1] Бездельник (итал.).
[2] Страда нова — улица в Неаполе. Киайа — набережная в Неаполе (итал.).

Капри синий тихо встал...
Ясно небо голубое,
Жарок воздух, звучен вал:
Хорошо, мой lazzarone,
Спать, не ведая трудов,
В зной полуденный на склоне
Итальянских берегов!

2

За утесами Puzziole[1]
Солнце клонится светло
И лучи свои оттоле
В небе синем разнесло.
Запад красный жарко пышет,
Чист широкий небосклон,
Теплый воздух робко дышит,
Пахнет роза и лимон.
В блеске позднем длинной лентой —
Сквозь туман прозрачный — мне
Виден берег, где Сорренто
Дремлет в светлой тишине.
По лиловому играет
Морю золото лучей,
Море тихо гладь вздымает
Переливчатых зыбей.
Взоры тонут в отдаленьи,
Внемлет слух волне морской
И последнему движенью
Опустелой мостовой.
Челн качается лениво,
У прибережья забыт;
Вечер пышный молчаливо
В небе гаснет и горит.

3

Середь улицы Толедо —
Не для драки или ссор,
Не для дружеской беседы,
Не на грозный приговор

[1] Пуцьоле — местность в окрестностях Неаполя (итал.).

Собралась, полна вниманья,
Любопытная толпа,
Но стеклася на вещанье
Черноризого попа.
Lazzarone босоногий,
И зевак прохожих ряд,
И старуха, и убогий,
Дети, женщины, солдат —
Взор недвижен, рты раскрыты
Все уставились кругом
И глядят на иезуита
В ожидании немом.
Из-под черной длинной шляпы
Школ духовных ученик,
Верный раб святого папы,
Кажет бледно-смуглый лик.
В вдохновеньи заучённом
Он, беснуясь пред толпой,
Машет с жестом затверженным
Угрожающей рукой:
«Jesus Christus! Dio Santo! [1]
Гадок наш подлунный мир;
Слово, полное таланта,
Разобьет людской кумир.
Люди! вами путь спасенья
Средь земных утех забыт;
В жизни вечной вам мученья
Церковь кроткая сулит!
Дух упал среди разврата,
Гневен бог на небесах!..»
И латинская цитата
На толпу наводит страх.
Но я видел — это верно —
Итальянке молодой,
Иезуит мой лицемерный,
Бросил взор ты огневой.
И не знаю — после речи,
Как, куда, святой отец,
Для какой нежданной встречи
Забредешь ты наконец...

---

[1] Иисус Христос! Святой боже! (итал.).

4

В мгле вечерней дремлет Chiaia,
И расходится народ;
Итальянка молодая
Одинокая идет.
Стан роскошный стройно-тонок,
Грудь высокая пышна;
А давно ль была ребенок
Беззаботная она?
Нынче ж страсть во взорах ярких,
Щеки смуглые горят,
И уста лобзаний жарких,
Может быть, уже хотят:
Уж неспросту завит смело
Локон черный по вискам,
И с косы платочек белый
Спущен в складках по плечам;
Платьем длинным чуть прикрыта
Пара маленькая ног,
И легко стучит о плиты
Деревянный башмачок.
Вот она, стопой смущенной,
Робко входит в божий храм;
Помолилась пред мадонной,
Поклонилась образам,
Тихо стала у решетки,
За которой в мгле сидит,
Разбирая молча четки,
Престарелый кармелит.
«Padre mio![1] Я не знаю
Прегрешенья за собой,
Но я стражду и сгораю
Безотходною тоской.
Кровь, как пламень, льется в теле,
День несносен, ночь длинна —
Я не знаю на постели
Освежающего сна.
Сердце просит все чего-то,
И о чем-то я грущу,

[1] Отец мой! (итал.)

И во тьме ночной кого-то
Тщетно, страстно я ищу!» —
«Часто ль ты творишь молитву?» —
«Я молюсь, отец святой». —
«Знал, дитя, я эту битву;
Тож я молод был, друг мой,
Так же кровь огнем горела,
Я ловил мечту и тень,
И покоя не имела
Грудь моя ни ночь, ни день.
Но я стал поститься строго,
И, пострижен и разут,
Отдал я на службу бога
Каждый миг и каждый труд». —
«Что ж мне делать?» — «Сделай то же:
Монастырь — приют святой;
Да пошлет тебе в нем боже
Силу, святость и покой!»
Стар ты стал, служитель бога,
Смутно помнишь век былой!..
Но пред девой у порога
Итальянец молодой.
Оба вздрогнули и стали —
Уж скорей бы ей бежать!
Ведь о ней теперь едва ли
Не встревожилася мать...
Тьмою улицы покрыты —
Слышен шаг двух крепких ног,
И за ним стучит о плиты
Деревянный башмачок.

5

Над Везувием восходит,
И спокойна и пышна,
И на море блеск наводит
Лучезарная луна.
По лазури неба темной
Звезды ярко зажжены,
Тихо дышит в неге томной
Ночь полуденной страны.

Тих Везувий. Груды лавы
Вкруг себя он набросал
И, дымяся величаво,
Середь ночи задремал.
Я смотрю с Villa Reale [1]
Вдаль по искристым водам:
Тени легкой дымкой пали
По далеким берегам;
Море, в сладком усыпленьи,
Звучно зыблет лоно вод,
И в туманном отдаленьи
Смутно Капри предстает;
В думе мрачной и суровой,
Как преступник в час ночной,
Одинок Castel del Ovo, [2]
Омываемый волной.
Спит Неаполь, негой света
Лунной ночи озарен;
Я гляжу — и мне все это
Предстает, как пышный сон.

1841, ноябрь—декабрь

---

[1] Вилла Реале (итал.).
[2] Кастель (дворец) дель Ово (итал.).

ГОСПОДИН

(Повесть)

Глава первая

В то время таяли снега,
Весной дышало. С дикой силой
Взрывая лед, на берега
Река волнами находила.
Сквозь грязь мелькала зелень трав,
И с юга прилетели птицы,
Но все ж упорно вид столицы
Хранил враждебно-зимний нрав.

Андрей Потапыч, малый славный,
Лелеять стал в мечте своей
Ручья журчанье, шум дубравный
И зелень яркую полей;
Являлся реже на обеды,
Чуждался поздних вечеров,
Литературные беседы
Его томили. «Много слов, —
Он думал, — только мало дела...»
И даже критика сама,
Сей плод немецкого ума,
Ему до смерти надоела.
Он начал думать о себе,
О том, что молодость проходит,
А он одно в своей судьбе
Праздношатание находит.

Печально в угол из угла
Бродя один в своей квартире,
Решил он, что пора пришла,
Чтоб дело делать в этом мире:
Начать воспитывать крестьян,
В их нравах сделать улучшенья,
Зерно ума и просвещенья
Посеять в глушь далеких стран.
Решил — и в путь пустился дальной,
В свою деревню — край печальной.

Тащился тряский тарантас,
Иван дремал на козлах шатких;
Андрей Потапыч, утомясь,
Качался в сновиденьях сладких.
Широкой лентой мягкий путь
Лежал без грязи и без пыли,
Два следа, лоснистых чуть-чуть,
Колесы дружные чертили.
Ямщик коней не погонял,
Лениво двигались их ноги,
И колокольчик замирал...
Весенней почкой вдоль дороги
Березы пахли, и вдали
По лону ровному земли —
Зеленое и молодое —
Тянулось поле озимóе.
Садилось солнце, и тепло
На землю мирную лило
Румяное мерцанье света,
И в небе жаворонок где-то,
Колеблясь трепетным крылом,
Прощался звонко с ясным днем.
Андрей Потапыч, в качке мерной
Вздремнув, очнулся от толчка,
Спросил, как смена далека
И почему так едут скверно?
Потом, взглянув вокруг себя
На тихий мир, весной согретый,
Природу искренно любя,
Он молвил: «Хорошо все это...»
И погрузил свой томный ум

В туман блаженно-грустных дум.
Он размышлял, что неизбежно
Он сгубит молодости цвет,
Что слишком трудно, безнадежно
Он любит вот уже пять лет;
Но, несмотря на все страданье,
На жизнь мучений и тоски,
Он о любви воспоминанье,
Как животворное мечтанье,
Хранит до гробовой доски.
Он думал: как она прекрасна,
Как простодушна, как мила,
Что за душа в улыбке ясной,
Как ручка у нее бела,
Как нежен взор ее и томен,
Весь вид как страстен и как скромен,
Как в мягком голосе слышна
Сердечной ласки глубина!
Конечно, — он любил безгласно,
Да он и не захочет ей
Беспечной жизни, жизни ясной
Тревожить страстию своей.
О! если б верною сестрою
Она весь век ему была,
Ему бы жизнь была мила,
Он был доволен бы судьбою...
Баллады увлечен стихом,
Он вспомнил, как они вдвоем
На даче, в августе, мечтая,
Читали вместе после чая.
Конечно, — он не пара ей:
Помещик он не многодушный,
Ее ж отец старик бездушный
И метит высоко, злодей!
И голос у него протяжен,
И круг знакомых слишком важен!..
Андрей Потапыч обвинял
И сам себя; он отвергал
В своих приемах лоск столичный
И замечал уже не раз,
Бывало, в зеркало смотрясь,

Что платье, сшитое отлично, —
Бог знает, право, почему —
Все как-то не к лицу ему.
Застенчивость его погубит!
Одна надежда у него,
Что, может быть, еще его
За нежность женщина полюбит.
О! сердцем он почти герой
И благороден по природе,
Стремится к правде и свободе,
Неглуп, не неуч — и порой
В науках подвизался смело...
Но ей что до того за дело?
Он вспомнил, как он ревновал,
Безмолвствуя в тоске безмерной,
Как чаще всех его смущал
Один полковник инженерный,
Всегда находчивый в речах,
Высокий, статный и в усах.
Андрей Потапыч с страстью нежной
Тут принялся было опять
Любить так трудно, безнадежно,
Как и назад тому лет пять.
Он также вспомнил: после бала...
Но тройка̀ вихрем вдруг помчала
И, с шляпой наискось на лбу,
Махнув кнутом, ямщик удалый
Подвез к станцьонному столбу.

Дней несколько, а может, больше
(Как Чацкий дерзко отвечал)
Дорога длилася, не дольше;
Андрей Потапыч поскучал.
Уже neза́долго до дому,
Подъехав к берегу крутому,
Он увидал — внизу река
Была, как море, широка.
Над нею солнце вкось сверкало,
По ней, крутясь, волна бежала,
Кой-где уныло паруса
Как точки белые виднелись,

И где-то там вдали синелись,
Теряясь из виду, леса.
В раздольно-сладостной истоме
Андрей Потапыч тут вздохнул
И переехал на пароме.
Ямщик постромки пристегнул,
И барин, погодя немного,
Своей проселочной дорогой,
По кочкам шеи не сломив,
Домой доехал здрав и жив.

Андрей Потапыч был доволен:
Знакомый пруд, знакомый сад!
Здесь детский возраст был так волен!
Здесь все, чему бывал он рад,
Вновь на глаза его предстало
И чуть до слез не взволновало.
Все тот же на дворе стоял
Уныло домик деревянный,
И мезонин довольно странный
Его вершину замыкал.
У полусгнившего забора
Сторожка пса была видна,
Пса — охранителя от вора...
Теперь пуста была она:
Соскучась жизнию пустынной,
Знать, околел он, друг старинный!
Немного подгнило крыльцо,
Но в доме комнаты в порядке,
На мебели чехлы и складки
И все, как было, налицо;
Конечно — так давно не жили,
Что все покрыто слоем пыли.
Вот комната: старуха мать
Любила здесь чулок вязать;
А вот и небольшая зала:
Здесь чай соседям разливала.
Вот здесь отцовский кабинет,
Где Павла Первого портрет —
Курносый, с палкой, в треуголке.
Старик, бывало, здесь ходил,
В халате пестром и в ермолке.

И трубку исподволь курил.
Покойники! .. У них порою
Не обходилося без ссор,
Но большей частью все за вздор,
И жили дружною четою.
Вон виден памятник в окно...
Теперь они уже давно
Гниют себе рядком как надо,
У старой церкви за оградой.

Андрей Потапыч в эту ночь
Томился. То ли был с дороги
Взволнован и разбит невмочь,
То ль, полный грусти и тревоги,
Былое время выкликал...
Что б ни было, но он не спал.
Скребнет ли мышь, щелей жилица,
Или где скрипнет половица,
Или бродячей пустотой
Повеет в тишине ночной,
А у него и дух спирало
И тело в зноб и жар бросало.

Чуть, алым трепетом горя,
Проснулась ранняя заря,
Андрей Потапыч встал с постели,
Оделся, растворил окно:
Село едва озарено
Виднелось. Петухи пропели.
За садом светлый пруд лежал,
В зеленой чаще крылись тени,
Росой дрожащей лист блистал,
И воздух утренний дышал
Благоуханием сирени.
Андрей Потапыч в этот миг
Блаженство тишины постиг;
Но тут он вспомнил, что, однако,
В деревне жить себя обрек
Он не без цели, как гуляка,
Живущий никому не впрок,
Что пользы общей мысль хотела,
И, стало, надо делать дело.

Он вынул привезенных книг
Запас, суливший много толку,
И в шкап расставил их на полку:
Творенья Тэйра и других
Новейших лет индустриалов,
Еще народных школ обзор
И ряд практических журналов.
Он не любил до этих пор
Агрономической науки;
Охотнее в цепи веков
Следил деяния отцов
И повести читал без скуки,
И, как дитя, насчет того,
Что создает нужду людскую,
Что прямо входит в жизнь живую,
Не знал он ровно ничего.
Вот это-то его и мучит!
Но, впрочем, дело не уйдет:
Займется, кое-что прочтет,
И сам поймет и всех научит.

Была суббота в этот день:
Осилив старческую лень,
К обедне старики ходили
Своих усопших помянуть
И тихо господа молили,
Чтоб дал душáм их отдохнуть;
Взамен покойников просили,
Чтобы и в свой черед они
Живым послали долги дни.
Спеша на пашню, поп с досадой
Пролепетал мужей и жен
Чуть не до тысячи имен;
Носился ладан в виде смрада,
И сарачинское пшено,
Молитвою осѐнено,
Побыв на маленьком налое
И чуть не сделавшись святое,
Прошло чрез грешные уста
Во славу господа Христа.
По окончании обедни
Толпою старики пошли

И мирно хлеб и соль несли,
И в барской собрались передней;
Чины дворовые вперед,
А позади простой народ.
Андрей Потапыч рад без меры
Был прежних увидать друзей:
Вот дядька старый, детских дней
Ворчливый друг; но фрак свой серый,
Господской службы ветеран,
Сменил на будничный кафтан,
И сгорбился, и весь в морщинах,
И белой бородой оброс,
И тело у него тряслось.
А вот в подобных же сединах
И повар допотопных дней;
А вот и маменькин лакей,
Который человек был кроткой,
Вязал чулок и пахнул водкой.
А как же сделалась стара
Покойной нянюшки сестра!
И целый мир вставал из тленья...
Помещик полон был смущенья;
Но не нашлося никого
Крестьян знакомых у него.
Все друг за другом подходили
И ручку барскую просили
Облобызать наперерыв;
Но, ручку как-то отклонив,
Андрей Потапыч, весь сконфужен,
Шептал, что сей обряд не нужен.
Потом приказчику велел
Ужо подать себе отчеты,
Затем, что ход конторских дел —
Предмет особенной заботы,
И завтра утром у ворот
Велел собрать крестьянский сход.

Сход собрался, и с умиленьем
Помещик вышел на крыльцо.
Раскланялся. Его лицо
Сияло чуть не вдохновеньем.
В его уме теснилось вдруг,

Что он своим крестьянам друг,
Что патриарх он благородный,
А может, и трибун народный! ..
Без шляп стоял пред ним народ
(К чему обычай не понудит!),
Вперив глаза, разинув рот,
Все ждали молча: что же будет?
Андрей Потапыч речь держал
(И очень был собой доволен);
Андрей Потапыч им сказал,
Что человек родился волен,
И потому он даже б мог
Свести их с пашни на оброк.
Хотел их мненье знать заране.
Затылки почесав, крестьяне
С единогласием в ответ
Сказали: «Почему же нет?»
Потом он развил мысль благую,
Что надо школу бы завесть:
В ученьи видел вещь святую
И путь довольство приобресть.
Науки с точки зренья строгой
О земледелии начав,
Замялся как-то он немного —
И, слова два еще сказав
Об истинном вреде засухи,
Велел им поднести сивухи
И воротился в барский дом.
И долго мужики потом
Смекали в болтовне досужей:
«Что? .. Лучше будет или хуже? ..
А бог весть! .. Правду говорить,
Приказчика пора б сменить. . .»
Сначала шибко толковали,
А там как будто б и устали
Терять слова по пустякам
И разошлися по домам.

По размышлении недолгом
Соседей навестить своих
Почел Андрей Потапыч долгом;
Раз, чтобы не обидеть их, —

С отцом и матерью иные
Друзьями были; во-вторых,
Как скучны б ни были другие,
Он не простил себе бы ввек,
Он — просвещенный человек, —
Когда б оставил без вниманья
Удобный случай для влиянья.
И тотчас начал он с того,
Что съездил к набожной соседке,
Подруге матери его,
Старухе, жирной домоседке,
Хозяйке истинной. Она
Уже и тем была славна,
Что секла раз середь недели
Дворовых девок, чтоб в шесть дней
Избаловаться не успели:
Нельзя не остеречь детей!
Потом он к старому соседу
Поехал и поспел к обеду.
Старик отлично ел и пил;
Учтивостью известен был:
Когда подчас лакею в рыло
Совал размашистый кулак,
Не изменял себе никак
И приговаривал: «Мой милый!»
Скупясь на время вообще,
Андрей Потапыч и еще
К соседу поспешил другому,
Коннозаводчику лихому;
Потом к любителю собак,
Потом к сутяге записному,
Который был с судьею враг;
И к господину пожилому,
Которого признал весь свет
Одним из милых вертопрахов,
И к старой деве, с юных лет
Охотнице до иермонахов,
И под наследственную сень
Андрей Потапыч утомленный
Явился на четвертый день.
Но вид имел весьма смущенный
И чувство скорбное таил,

Что никого не удивил
И был неловок в разговорах,
И не довольно ясен в спорах,
И из влияния его
Не выйдет ровно ничего.

Его исправник мимоездом
Поздравить заезжал с приездом
И звал на выборы зимой.
К нему стал ездить становой,
Короткий, толстенький, вертлявый,
Низкопоклонный и лукавый.
Андрей Потапыч, сколько мог,
Чуждаясь близости постыдной,
Держал себя как мелкий бог;
Сперва он слушать безобидно
Не мог чиновничий язык,
Язык грабительства позорный
И нищенства язык притворный,
В котором слышен грязно-дик
Разврат, неловко затаенный;
Но после ко всему привык,
Смотрел на вещи благосклонно,
Иное извинял слегка
Несчастной долей бедняка,
И принимать стал без боязни
Подобострастный знак приязни.

Страшась минуту потерять
В труде, исполненном значенья,
Он ради школ и просвещенья
Решился что-нибудь начать.
И на базаре до́был книжку,
Не новую для наших дней,
И начал азбуке по ней
Учить дворового мальчишку;
Сперва день каждый, не ленясь,
Потом в неделю по два раза,
Потом учил в неделю раз.
Его усердие от аза
Тихонько под гору все шло
И скромно вовсе прилегло,

И он, не жертвуя химере,
Ученье прекратил на хере.

Хозяйству посвящая день,
Андрей Потапыч был намерен
Изгнать обычной жизни лень
И плану был сначала верен;
Но скоро убедил его
Кузьма Терентьев, что напрасно
Вводить оброк, и для чего?
Что мужики народ опасный
И не заплатят ничего;
Что, если с добротой всегдашней
Помещик быт крестьян своих
(Отнюдь не допуская шашней)
Улучшить хочет, — должно их
Попрежнему держать на пашне.
В отчетах верность увидав
И цифры всё встречая те же,
Андрей Потапыч вышел прав,
Что стал заглядывать в них реже.
Кузьма Терентьев управлял,
А барин, позабыв заботу,
Иль просто по лесу гулял,
Иль, страсть почувствовав к болоту,
С утра сбирался на охоту
И поздно приходил домой, —
Когда уже и солнце село
Давно далеко за рекой,
И поле тихое темнело,
Светились звезды в синеве,
Шел пар душистый по траве,
Коро́стеля в тиши глубокой
Томился голос одинокой...
Андрей Потапыч той порой
Касался к заживавшей ране
Своей любви непонято́й;
Но и любовь уже в тумане
Тонула зыбко день за днем,
И он обычным шел путем
И расплывался в грустной лени,
Неясной, как ночные тени.

Глава вторая

В июле жарок летний день.
Андрей Потапыч, друг покоя,
В лесу от тягостного зноя
Искал спасительную тень.
Деревья колыхались хором,
И лес был занят разговором
Зеленых листьев и ветвей,
И в нем был слышен робкий шепот
Каких-то ласковых речей
Или глухой, далекий ропот
Народной смуты иль зыбей
Вдоль по безбрежию морей;
Над лесом небеса сияли,
Лучи сквозь чащу проникали,
Теней и света мельком взор
Следил трепещущий узор;
По ветвям птиц народ болтливый
Порхал и прыгал суетливо,
И насекомых пестрый рой
Жужжал в траве и над травой;
А воздух в медленном движеньи
Дышал и мягко и тепло,
И человек, склонив чело,
Дремал и слушал в упоеньи.
Андрей Потапыч на траву
Под дубом лег в тени прохладной
И тихо грезил наяву...
О чем?.. бог весть! Но так отрадно,
Так чувством жизни поглощен,
Как грезит дней весною ранней
Дитя, баюканное няней,
Под песню, внятную сквозь сон.

Но вдруг он слышит: голос женской
В раздолье груди деревенской
Далеко по лесу поет —
То звонко льется, то замрет,
Потом все ближе, все звучнее...
Андрей Потапыч поскорее
Вскочил, вздрогну́в, и еле жив
Стоял, дыханье притаив.

Вот птичка ближняя вспорхнула,
Пугаясь шелеста шагов...
Из-за встревоженных кустов
Головка смуглая мелькнула.
По щечкам смуглым, разгорясь,
Бродил румянец, и дорогой
Коса роскошная немного
Из-под гребенки развилась
И колебалась непокорно
Вкруг смуглой шейки прядью черной:
В дыханьи частом утомясь,
Уста раскрылись и алели,
И очи черные блестели...
Вот, на две стороны клонясь,
Дрожит орешник, расступясь,
И образ девушки красивой
Остановился боязливо.
Она гибка, она стройна;
Хоть дурно платьице простое,
Но прелесть юная видна,
Назло шитву, в плохом покрое;
Едва ли ей осьмнадцать лет
Начел бы деревенский свет.
Она за спелою малиной
Блуждала по лесу с корзиной;
Взглянула, закричала: «ах!»
Бежать хотела второпях,
Но свой порыв остановила
И только глазки опустила.
Андрей Потапыч на нее
Глядел безмолвно, как на чудо;
Но, ободрясь, спросил ее —
И кто она и шла откуда?
Она — «из вашего села, —
Сказала, — Катя, дочь лакея».
А он, любуясь и робея,
Шепнул невольно: «Как мила!»
И покраснел, и Катя тоже,
И оба, вдруг потупя взор,
Стояли на детей похоже,
За шалость внемлющих укор...
И разошлись...

Но с этих пор
Андрей Потапыч, весь расстроен,
На дне души был неспокоен,
Боролся он с самим собой,
Не верил сердца страсти новой,
Считал ее за бред пустой,
Хотел за труд приняться снова,
Чтоб пыл души угомонить
И чувство глупое забыть.
А как-то все его тянуло —
Пройти случайно близ дверей
Избы, где жил старик лакей...
Дверь, может, ветром распахнуло б,
И личко смуглое мелькнуло б,
И сердце вздрогнуло б сильней;
Пройти случайно мимо окон —
Не встрепенется ль черный локон...
Уже подметив ранний час,
Когда росистою тропою
Ходила Катя за водою, —
Он до зари вставал не раз,
Чтоб повстречаться ненарочно
И поклониться непорочно.
Он даже (скользок жизни путь!),
Хоть презирал святые бредни,
В воскресный день ходил к обедне,
Чтоб только на нее взглянуть!

Иван, как человек бывалый,
Подметил все. Расчел, что мог
При этом выиграть немало,
Что барский выгоден порок,
И — как столичный психолóг —
Решился как-нибудь случайно
Заставить вспыхнуть пламень тайный.
И вот поутру, той порой,
Как, в силу звания и чина,
Он руки барские невинно
Студеной орошал струей
Из разноцветного кувшина,
А барин фыркал и плескал,

С ланит господских грязь смывая, —
Он вдруг нечаянно сказал,
Как будто что-то вспоминая:
«Вы Катю знаете? Она
В вас просто сильно влюблена!»
Все было кончено! Мгновенно
Андрей Потапыч обомлел,
И задрожал, и побледнел,
Сказал Ивану раздраженно,
Чтоб вздору говорить не смел;
А сам поверил откровенно,
И страсть губительным огнем
Тревожно разгорелась в нем,
И самолюбьице пустое
Задето было за живое.
Но, боже мой! Ужели он
Любви недавнее страданье
Забыл, как мимолетный сон?
Ужель о ней воспоминанье
Он сменит на пустую связь
И окунется в эту грязь
Дворовых сплетен, барской власти —
Родного края злой напасти,
Которую до этих пор
Он ненавидел, как позор!
О, как он слаб! Как сердце шатко,
Как жизнь идет смешно и гадко!

В аллее дальней, темной сада,
Где в полдень веяла прохлада,
Сливались с шепотом листов
Слова двух тихих голосов:
«Нет, нет! не так меня ты любишь!» —
«Да как же вас еще любить?» —
«Нет! ты дитя. Меня ты сгубишь
И не заметишь, может быть!
Ну — поцелуй! . .» — «Ах, страшно стало!
Ну, вдруг увидит кто-нибудь? . .»
И вот, припав к нему на грудь,
Она его поцеловала.
«Ты приходи ужо ко мне!

Все в доме будут спать глубоко.
Ты только свечки одинокой
Увидишь свет в моем окне. . .
Придешь? . .» — «Боюсь — отец узнает!» —
«Он не узнает ничего!
И что бояться нам его? . .» —
«Ах, кто-нибудь да разболтает!» —
«Придешь?» — «Не знаю! . . Ну, приду. . .»
И мерно слышен был в саду
Самодовольный шаг мужчины,
И видно было — за куртины,
Пугливо удаляясь, шли
И торопилися две ножки,
И платье белое вдали
Еще мелькало вдоль дорожки.

Андрей Потапыч в этот день,
Сказав, что отдых что-то нужен,
Что голова болит и лень, —
Себе спросил пораньше ужин.
Потом сердился, что Иван
Так долго роется в буфете,
Подумал даже, что он пьян,
И побранить имел в предмете. . .
Но тише! . . Замер глупый стук,
И в доме смолк за звуком звук,
И в окны, звездами мерцая,
Глядела молча ночь глухая.
Ни зги не видно! Чу! . . постой!
Как будто шорох ухо слышит. . .
То праздный ветер в тьме колышет
Деревья сада. . . боже мой!
Как сердце бьется! грудь чуть дышит,
И крови трепетный приток
В виски стучит, как молоток.
Вот сторож в колокол докучный
Спросонок троекратно бьет.
И робко гул в ночи идет
И замирает в мгле беззвучной.
Ужель обманет — не придет?
Но что-то движется вперед
К крыльцу — подобно черной тени,

И тихо скрипнули ступени,
И ручка медная замка
Пошевельнулася слегка.

Поутру дворня вся узнала,
Где Катя ночку ночевала.
Кто первый слух пустил в народ?
Бог знает! Кто их разберет?
Сама, знать, Катя разболтала,
Скорей похвастаться желала.
И быть иначе не могло:
Помещик — не простой любовник,
Как кучер иль какой садовник;
От них ни жутко, ни тепло,
А быть наложницею барской —
Тут тотчас превосходство есть,
Какой-то призрак власти царской,
И сам разврат идет за честь;
Пойдут поклоны с приношеньем,
Все девки с зависти себе
Обгложут ногти, и к тебе
Приказчик сам придет с почтеньем.
В селе пропала тишина,
Страстишек рой проснулся гадок, —
Как ила грязного со дна
Внезапно взболтанный осадок.
Неугомонный толк пошел
Дворовой кучки в мелком мире;
Иной был рад, другой был зол,
Кто речь на улице повел,
Кто совещался на квартире.
Иной приказчика хвалил,
Ему пророча награжденье;
Другой приказчику сулил
Отставку, розги, поселенье.
Решили мужики спроста,
Чтоб Кате поднести холста;
Ее отец, на все готовый,
Душой не римлянин суровый,
Уже ласкал в мечте своей
Тулуп дубленый, вовсе новый

И то, что в год на старость дней
Положат двадцать пять рублей;
И даже тетка при разгроме
Мечтала ключницей быть в доме,
И даже тетки мужа брат
Себе богатый ждал оклад.

И только дядька престарелый
Ни в чем участия не брал
И что-то хмурился день целый,
И в одиночестве молчал.
Давно в однообразном ходе
Тянулась старой жизни нить:
С закатом дня и на восходе
Привык он с удочкой ходить
На берег пру́да и прилежно
Безмолвно долгие часы
Глядел на поплавок мятежный
И на движение лесы.
Но с недовольною заботой
Под вечер памятного дня,
Угрюмо голову склоня,
Сидел он за своей охотой.
А между тем кругом его
Не изменилось ничего:
Все так же вечер был прекрасен,
Все так же пруд был тих и ясен,
Все так же резво кое-где
Круги мелькали по воде;
Все так же вековой березы
Листы, висевшие над ним,
Шептали шепотом глухим
Про юных дней былые грозы;
Но что-то в нем не улеглось,
Как будто сердце порвалось,
И рыба как-то не клевала
Или срывалася с крючка,
И чувство скорби выражало
Лицо седого старика.

А Катя? .. Катя своенравно
Гордилася сама собой,

Своим значеньем и красой,
С дня на день более тщеславна.
Уже ее наряд простой
Сменили платья городские
И ярко-шелковый платок
На плечи кругленькие лег,
Блеснули серьги золотые,
И ленту алую в косе,
Завидуя, хвалили все.
Уже она невольно стала
Смотреть на дворню свысока
И совершенно презирала
Привет простого мужика.
Уже и кушанье ей слуги
Носили с барского стола,
Ей робко кланялись подруги,
На чай приказчица звала.
Когда она по воскресеньям
Входила в церковь, — перед ней
Толпа склонялась с уваженьем
И расступалась у дверей.
Что грезилось в ее головке?
Какою бес дразнил мечтой?
Уж не казалось ли плутовке,
Что будет барскою женой?
Нет, Катя так не шла далеко,
Но власти вожделенный миг
Ловила жадно, и глубоко
Ей лести внятен был язык.
И начинала понемногу
Она сердиться на людей,
Когда кто поперечил ей
Иль не дал вовремя дорогу.
И даже к барину она
Ходила с жалобой кичливой.
Андрей Потапыч боязливо,
Пугаясь, что нарушена́
Домашней жизни тишина,
Пугаясь ссоры иль угрозы,
Сперва ей лаской гнев смягчал,
Потом уныло тосковал,
Услыша пени, видя слезы,

И, внемля вкрадчивым словам,
На слуг сердиться начал сам.
И как же быть? Не для него ли
Она своих невинных дней
Пренебрегла беспечной долей
И жизнью мирною своей?
Подверглась завистям, упрекам,
Вражде, двусмысленным намекам?
Он хочет, чтоб и каплей слёз
Ей день единый не затмился,
Хоть самому б страдать пришлось;
Да и на что б он не решился
За взгляд, улыбку, звук речей,
За сладость жаркого лобзанья,
За негу медленных ночей,
За эту странность обаянья,
Что к милой женщине манит
Неотразимо, как магнит?

Шло время. Наступала осень.
Уныло мокрый лист в саду
Желтел и падал. Только сосен
Осталась зелень на виду;
И та, почуя дни сырые,
Уже без запаха смолы
Качала капли дождевые
С печально вымокшей иглы.
Андрей Потапыч у камина
Сидел один и размышлял;
Осенний ли припадок сплина
Его томил, — но он скучал.
У ног его широкоглавый
Его товарищ, пес лягавый,
Свернувшись в праздной тишине,
Дремал и вздрагивал во сне.
Впорхнула Катя птичкой вольной...
Но заворчал спросонок пес,
Ее приходом недовольный, —
И Катя вспыхнула... Сквозь слёз
Пошла роптать, что «не похоже
Уж это вовсе ни на что:

Добро уж люди за ничто
Грызут, — а и собака тоже! . .
А он, из нежности к кому
Позором век ее покрылся,
Молчит, и ничего ему! . .»
Андрей Потапыч рассердился
И, сняв арапник со стены,
Хватил собаку вдоль спины.
Пес вспрянул и прилег пугливо,
Пополз на лапах и визжал,
И с видом скорби терпеливой
Стопы хозяина лизал.
Андрей Потапыч чуть не вскрикнул;
Стоял подавленный стыдом,
Арапник выпал, взор поникнул,
И грудь вздохнуть могла с трудом.
Собаку поласкав рукою,
На Катю он взглянул с тоскою
И, сам себя внутри кляня,
Велел скорей седлать коня
И ускакал... Езды тревога,
Быть может, заглушит немного
Весь этот внутренний укор!
Положим, что поступок вздор;
Но пес, который им наказан,
К нему был истинно привязан.

Усталый конь лесной тропой
Вез тихо всадника домой,
Ступая медленным копытом
По сучьям и листам размытым.
Осенним ветром вкось гоним,
Навстречу дождь хлестал, и с ним,
В один докучный гул сливаясь,
Нагие ветви, колыхаясь,
Шумели, наводя тоску;
И мокрый ворон на суку
Враждебно каркал, и сорока
В кустах болтала род упрека,
И тяжко было для души
Средь увядающей глуши.

Глава третья

Перед шипящим самоваром
Сидел приказчик за столом,
Где были пряники и ром.
Приказчик угощал недаром,
Недаром, доблести полна,
Его дородная жена
Чай разливала и пыхтела:
На первом месте, где висела
Икона в ризе золотой,
Перед которой день-деньской
Лампада скромная горела,
Сидела Катя и была
Невыразимо весела.
Ее веселости причиной
Был тот прием, с каким в гостях
Ее встречали во дверях
И величали Катериной
Ильинишной (почет большой!)
И угощали на убой.
Кузьма Терентьев ловко, тихо,
Со всем искусством Меттерниха,
О счáстливой ее судьбе
Ей говорил, и о себе,
О том, что он хозяин строгой,
Именьем барским дорожит;
Затем врагов имеет много,
Но полагается на бога
И совести не изменит.
А ей легко в его защиту
(Ему ж с ней надо быть открыту,
Как есть душа вся налицо)
Против клевет и наговоров
Между сердечных разговоров
Замолвить барину словцо.
И тут же был навек священно,
Ненарушимо, откровенно,
Прочнее всяких кровных уз,
Меж ними заключен союз.
С тех пор уже без опасенья
Кузьма Терентьев — редкий раз

По воле барской, с разрешенья,
А больше вовсе не спросясь, —
Расчеты будь крупны иль мелки,
В торговые пускался сделки;
Взимал поборы или сек
И жил как важный человек.

Уже и дождь не капал боле,
В лесу все в иней облеклось,
Подобие седых волос;
Застыла грязь в пустынном поле,
И в воздухе пахнул мороз.
Два раза, тая, снег ложился
И наконец, презрев тепло,
На землю вихрем навалился,
И стало все кругом бело.
В сарай поставили телегу,
Полозья скрипнули по снегу;
Мужик в тулупе зяб и дрог
Средь заметаемых дорог;
Крестьянка, встретясь узким следом,
Болтать не думала с соседом,
И пар дышал из уст ее,
И веял холод от нее.
Явились в доме — зим предтечи —
Двойные рамы по окнам;
Метая уголь, стали печи
Трещать до свету по утрам;
По томно-длинным вечерам
С обеда зажигались свечи,
И чувством тягостным тюрьмы
Откликнулся приход зимы.

Хоть Катя уже месяц целый
Переселилась в барский дом
Хозяйкой полною и смелой,
Распоряжалася бельем,
На слуг кричала спозаранку,
Имела при себе служанку,
Бранилась с ней, и с ней потом
Любила сплетничать тайком, —
Но как-то был угрюм и мрачен

Андрей Потапыч. Сам собой
Он был печально-озадачен,
Бранил весь образ жизни свой;
Бранил себя за слабость нрава
И чувствовал свою вину,
Не извиняяся лукаво,
И видел, что идет ко дну,
И сознавал свое паденье,
И пробуждалось угрызенье,
И накип горечи в тиши
Все рос и рос на дне души.
Ужель он втуне жизнь растратит? . .
Оставить Катю? . . Сил не хватит!
Теперь осталося одно
Спасенье жалкое — вино!
Вино кипит и тело греет,
Спадает с сердца тяжкий гнет,
Вновь ожил ум и мысль светлеет,
И снова к подвигам зовет;
Андрей Потапыч снова верит
И сам себя широко мерит;
В чаду вакхических химер —
Он Минин или Робеспьер,
Законодатель, зла губитель,
Отчизны доблестный спаситель;
Опять он завтра же готов
Завесть оброк для мужиков;
А там, оставив всем по полю,
Совсем отпустит их на волю.
А между тем как барин пьет —
Кузьма Терентьев все сечет!
И невтерпеж пришлося, видно;
Хоть на подъем и не легки,
А к барину на гнет обидный
Ходили с просьбой мужики;
Но доказательства все ясны,
Что были жалобы напрасны,
И вышло только, что потом
Им было хуже с каждым днем.

Взведенный винными парами,
Андрей Потапыч как в чаду —

То занят смутными мечтами
И расплывается в бреду,
То Катю бешено ласкает,
То, будто сам в себя взойдя,
С досадой на нее глядя,
Ее сердито упрекает
За жизнь свою... К чему упрек
И все тяжелые волненья?
Оставить он ее не мог,
И после сам просил прощенья.
А Катя?.. Как сказать?.. Она
Его по-своему любила,
Прощала много, как жена,
С утра его чесала, мыла,
Порой сидела с ним полдня,
К плечу головку прислоня;
Белье чинила, песни пела
И спать укладывала в срок,
Подать заботливо умела
К обеду лакомый кусок,
И если дворня замечала,
Что барин пьет не в добрый прок,
Она ворчливо отвечала:
«Уж и напиться-то ему
Нельзя, родному моему!»

Не скрылось это поведенье,
И, изъявляя всей душой
Сочувствие и уваженье,
Стал часто ездить становой.
Андрей Потапыч раз печально
Сказал, по сердцу говоря
Сам о себе, что непохвально
Проходит жизнь его и зря;
Но становой спешил заметить,
Что он печалится вотще,
Что, рассуждая вообще —
По-человечески, — то встретить
Примеры здесь весьма легко,
Что есть сосед недалеко,
Годами вовсе не моложе,
А крепостную девку тоже

Содержит, а еще женат
И много маленьких ребят.
Андрей Потапыч рад был тайно —
Потачкам он не доверял,
Но ждал, чтобы его случайно
Хоть кто-нибудь да оправдал,
И дружба крепла понемногу,
И каждый вечер становой
Катил к крыльцу через дорогу
Гуськом на тройке вороной.
И вот затеялися балы:
Сбиралась дворня середь залы;
Как парень ловкий и лихой,
Иван трудился на гитаре,
Гремели в ревностном разгаре
Раскаты песни плясовой.
Плясала Катя танец дикой
Задорно, с ловкостью великой
Махала беленьким платком,
Стучать умела каблучком,
И барин сам назло порядку
Пускался с присвистом вприсядку,
Слегка подергивал плечом,
Ногами семенил и топал,
А становой в ладоши хлопал
Из всех приказных сил своих,
И ел и пил за четверых.

Зима тянулась. После святок
Случилось раз, что у крыльца,
С тревожной гневностью лица,
Старуху тетку за остаток
Какой-то пряжи грошевой
Бранила Катя нестерпимо.
Кузнец Василий шел тут мимо
И проворчал, махнув рукой:
«Вот нынче век у нас какой,
И даже старые старушки
Под властью всякой потаскушки! . .»
А Катя с теткой на него,
Да как пиявицы пристали,
Ну всячески ругать его!

Пошли — и барину сказали.
А барин, выпив через край,
Обиделся и встрепенулся;
А тут приказчик подвернулся,
Сказал, что Васька негодяй,
С ним ладить — слов пустые траты. . .
И Ваську отдали в солдаты.
Пошел бедняк мой одинок!
Лет на двадцать попался в сети,
Под палку, никому не впрок!
Жена осталась, тоже дети.
Поплакали. Да что — жена?
Пожалуй, рада, что одна,
Без мужа, может потаскаться!
Солдаткам сродно баловаться!
Эх, жизнь! Как поглядишь — куда
Скверна бывает иногда!

Но Катя и сама струхнула:
Ей человека было жаль,
И в сердце совесть промелькнула. . .
Он за нее понес печаль!
Но богу так хотелось, видно,
Да и в грехе сознаться стыдно,
Да показать не худо власть,
Да уж случилася напасть —
Так не вернешь! И, слез не тратя,
Поуспокоилася Катя.
А говорил ей и отец:
«Послушай, девка, наконец!
Ты парня согнала со света,
Сгубила ни за что его;
Умру, — не дам тебе за это
Благословенья моего!»
И Катя чуть не зарыдала,
Но ободрилась и сказала:
«Вот вы какие! Вот для вас —
Поди ты — делай все в угоду,
А вы готовы дочь как раз
Загрызть на смех всему народу! . .»
И думала (как ум лукав!),
Что был отец ее неправ.

Уже пришла недели шумной
Неугомонная пора,
Где объедается безумно
Вся Русь с утра и до утра;
Пеклись блины, варилась брага,
И мужики с прямой отвагой,
Чтоб погулять перед постом,
Копейку ставили ребром.
И вот иная наступила
Пора: великий пост пришел —
С своею важностью унылой
И пищей хуже всяких зол,
С печальным колокольным звоном,
С убийственным земным поклоном,
С ворчливо-грустною мольбой
И подавляющей тоской.

Андрей Потапыч мало верил
И, мненья гордого закал
Еще храня, не лицемерил,
Своих привычек не менял.
Поутру раз — в раздумьи сладком
Сидел он празден и ленив,
Еще немного закусив,
То есть уж выпивши порядком. . .
Как мутен взор его теперь!
Весь вид расстроенный и жалкой. . .
Вдруг тихо отворилась дверь
И, подпираясь верной палкой,
Вошел дрожащею стопой
Согбенный дядька, друг седой.
«А! . . ты зачем?» — «Я порывался
К вам, барин мой, уже давно,
Да как-то с духом не собрался;
Но жить недолго мне дано,
И старые спокоить кости,
Я чай, пора бы на погосте. . .
Так я решился и пришел». —
«Ну, что же надо?» — «В память, что ли,
Вам будет? . . Кажется — давно ли? . .
На то был барский произвол:
Велели мне ходить за вами. . .

А няня ваша умерла,
Да уж и то сказать — годами
Старей меня тогда была.
Ты, сударь, был ребенок хилый,
Тебя я холил и берег,
И надышаться-то не мог!..
Бывало, лето подходило —
Готовлю удочки скорей;
Есть ветерок — спускаю змей.
Семь лет с тобой был без отлучки,
Так было мало ли проказ!
А ты был добренький у нас!
Бывало, всем протянешь ручки,
Не обижаешь никого...
И вот я дожил до чего!
На старости чтó должен видеть!
Чтó должен слышать от людей!
Должно быть, бог хотел обидеть, —
Уж умереть бы поскорей!» —
«Что ж ты? Учить пришёл ты, что ли!» —
«Сердиться, сударь, в вашей воле,
А лгать пред вами не должнó,
Да и на старости грéшно...
Опомнись, барин! Худо, стыдно!
Зачем же Васька-то солдат?
Зачем народу жить обидно?
А что соседи говорят?
Что ты связался с девкой вздорной
И что проводишь жизнь позорно...»
Андрей Потапыч, сам не свой,
Себе подумать не дал сроку,
Вскочил весь бешеный и злой
И старика ударил в щеку.
Старик ни слова не сказал
И только старой головою,
Взглянув печально, покачал —
И вышел... И своей тропою
Домой побрел себе, кряхтя,
Да и заплакал, как дитя.

Но как ушел он оскорбленный,
Андрей Потапыч протрезвел;

Стоял, как бы оцепенел,
Как будто к полу пригвожденный;
Мгновенным страхом с той поры
Отшибло винные пары.
Когда же взрыв угомонился,
Он тихо в креслы опустился
И головой поник на грудь
И молча в думу погрузился.
Не в силах тела повернуть,
Он долго, внутренно встревожен,
Сидел глубоко уничтожен.
Потом рукой по лбу провел,
Как будто ум его закружен,
И, чувствуя, что воздух нужен,
Пройтись по улице пошел.
Встречались люди, — он с испугом
Вдруг поворачивал назад,
Как будто все его корят
За обращенье с старым другом.
Завидел он издалека
На жалких дровнях мужика —
И будто слышит возглас рьяный:
«Вот барин пьяный! барин пьяный!»
Домой вернулся — тут Иван. . .
А он Ивану вдруг со злобой:
«Что смотришь? Думаешь, я пьян? . .»
И странно удивились оба.
К себе приходит в кабинет, —
Тут Павла Первого портрет,
Точь-в-точь живой, глядит, хохочет
И будто палкой стукнуть хочет,
Пыхтит как будто на мороз
И дерзко вздергивает нос,
И говорит самодержавец:
«Пошел ты, пьяница, мерзавец!»
Везде встречает слух и взор
Или насмешку, иль укор;
Он слушать, он глядеть не смеет,
И тайный ужас им владеет,
И Катя думала сама,
Что он совсем сошел с ума.

Хотел в порывах сокрушенья
Андрей Потапыч иногда
У старика просить прощенья,
Но не решался от стыда.
Пить перестал; почти не видел
Он никого, сидел один,
Как будто мир возненавидел.
Чтоб разогнать печальный сплин,
Велик был труд для бедной Кати.
Но как-то было все некстати:
Затянет песню — он рукой
Махнет, нахмурясь, как больной.
С ума, конечно, он не спятил,
Но жизни мощь уже утратил;
Вино ли выжгло силы в нем,
Или раздумье подточило
Всеразъедающим огнем,
И тело грустно истомила
Неодолимая борьба
Поступков явных с тайным мненьем,
Казня бесплодным сожаленьем?
Или вмешалася судьба,
Случайных недугов порука?
Как это знать? Скупа наука!
С вина ль, с простуды, иль с тревог
Андрей Потапыч занемог, —
А все ж болезнь своей дорогой
Пошла с законностию строгой.
А тут повеяло весной,
Пошли от оттепели лужи,
И воздух вкрадчиво-сырой
Все тело обдавал тоской...
И вот больному стало хуже.
Еще бродил он кое-как,
Но было все ему не так,
Он тосковал, глаза блестели,
И щеки впалые горели.
Вся кровь казалась горяча...
Он слег и таял, как свеча...
То видел он в бреду жестоком —
Отец и мать пришли с упреком;
То Катю с нежностию звал

И как-то грустно целовал;
То делался тревожней вдвое
И имя называл другое,
Ей незнакомое. . . И вдруг
Он улыбался сквозь недуг
И, слабые поднявши руки,
Шептал в припадке тайной муки:
«Отдайте молодые сны,
Когда все были впечатленья,
Как детство мирное, ясны,
Свежи, как утром дуновенья
Благоухающей весны. . .»
И голос слабого взыванья
Смолкал от слез, среди рыданья.
Приехал доктор, поглядел,
Пощупал пульс и грудь послушал,
И за попом послать велел;
Спросил позавтракать, покушал
И поспешил домой как мог,
Боясь испорченных дорог.
Склонив колени у постели,
Стояла Катя, вся дрожа,
Больного за руки держа;
Но тихо руки холодели,
Остановился мутный взор,
В лице застыл тупой укор. . .
И жизнь окончила тревогу.
Ну! плачьте и молитесь богу!

Что станешь делать? Мужики
Между собой потолковали,
Что дни их были нелегки,
А лучше будет им едва ли;
Что был он добрый человек,
Хотя приказчик их и сек.
«И кто теперь в наследство вступит?
Быть может, дальняя сестра? . .
Ну, говорят, она добра!
Ну! а как с торгу кто нас купит?
Вот это уж неловко нам!
Военный, что ль, какой полковник,
Да станет сам бить по зубам:

Или нажившийся чиновник,
Пожалуй, с виду и не строг,
А выжмет весь последний сок!»

Тепла боясь, положили
Покойника скорее в гроб
И в церкви гроб постановили
(А дома тело загнило б).
Кругом зажгли большие свечи,
Всю ночь псалтырь читал дьячок,
Да две старухи, в уголок
Забившись, причитали речи.
У гроба, трепетно бледна,
Стояла Катя середь ночи.
Ланит румяная весна
Исчезла, потускнели очи,
Беспечной резвости черда
С лица сбежала без следа.
Она одна! и что-то будет?
Наследник, кто бы ни был он,
Ее забросит и забудет...
Все это точно страшный сон!
Она, быть может, виновата
Перед покойником! Ему
Была не пара, глуповата,
Не обучалась ничему...
И Катя сильно упрекала
Себя, а в чем — не понимала.
«И вот лежит, голубчик мой,
Так тих, как будто восковой!»
По церкви мрак бродил уныло,
И сырость пахла и томила,
И чтенья равномерный звук
Трещал, как дальний, мелкий стук;
Ей было страшно, было больно,
И слезы капали невольно.

Кузьма Терентьев с становым
Все шкапы — времени не тратя —
И двери заперли, и к ним
Тотчас привесили печати,

Конечно, прежде разделив
Все, что могли, чего желали,
Как был еще покойник жив;
А Катю из дому согнали,
На память не хотели дать
Ни перышка и стали звать
Так просто Катькой — Катерину
Ильинишну. . .

Вот про кончину
Узнала барышня, предмет
Любви в теченье пяти лет.
Сгрустнулось ей, она жалела. . .
То было вечером, она
Сбиралась лечь, желая сна,
И перед зеркалом сидела
И любовалася собой,
И русый локон завивала
Своею беленькой рукой,
И на ночь шпилькой укрепляла,
И думала: «Так умер друг! . .»
Но как-то вспомнилось ей вдруг,
Мечтая над покойным другом,
Что был Потап его отец;
Могло б случиться наконец —
Потапыч стал бы ей супругом! . .
И тут она полушутя
Расхохоталась, как дитя;
Надела кофточку тревожно,
Покрыла волосы платком
И завязала узелком
У самой шейки осторожно;
Потом в постель легла она,
Закуталась, свечу задула,
Да потихоньку и заснула,
Дыша спокойно середь сна;
И мертвый друг, и сожаленье,
Все прошлое пришло в забвенье,
И жизни пустозвучный ход
Своим путем пошел вперед.

<Середина или конец 1840-х (?)>

ДЕРЕВНЯ

(Повесть)

Глава первая

ПРИЕЗД

1

У нас нейдет воспоминанье
До предков дальних. Редко дед —
Как судия иль муж побед —
Оставил громкое названье.
Зато, когда деревня есть,
В ней дом большой, — от внука весть
Неведомому деду, ибо
Невольно скажешь дедушке спасибо.

В деревне внук (он друг природы)
На внуке скачет жеребца,
Чей сын был конь его отца,
Краса наследственной породы, —
И объезжает злато нив,
Иль ездит так, когда ленив
Хозяйственной заняться частью,
Столь выгодной, но скучною, к несчастью.

В деревне прежде деды наши
Живали долго, круглый год,
Дрались иль тешили народ
И пир вели из полной чаши,
Держали дворню и собак, —
А нынче уж совсем не так!
Хлеб дешев, дорог рубль — и внука
Нужда в деревню гонит или скука.

Иным, конечно, в мысль припало
В деревне просвещать людей;
Живут, хлопочут, но, ей-ей,
Таких немного, даже мало,
И те (я признаюсь, к стыду),
Имея благо всех в виду,
Имеют и довольно лени,
Сей язвы всех славянских поколений.

Подобно им, еще мечтатель —
Хотя уж тридцати годов —
В поместье древнее отцов
Приехал Юрий, мой приятель.
Давно скитаяся один,
Своей свободы господин,
Помещик душ... (я знаю только,
Что было много их, не помню сколько).

Он захотел нелицемерно
Познанья, ум и жажду дел,
Которой цели не умел
Определить доселе верно,
К тому направить, чтоб село
Его трудилось и цвело,
Чтоб грамоте учились дети
И мужики умнели бы без плети.

Я чту подобные задачи,
Предмет достойный средь веков
Всех государственных умов;
Но я боюсь за неудачи:

Преград нежданных грустный ряд
Весь наш порыв теснит назад
И вдруг подрезывает крылья,
Какие б мы ни делали усилья.

Но Юрий, ехавши в селенье,
Где в детстве он гулял и рос,
Надежд, свежей весенних роз,
В себе заметил пробужденье.
Хоть жизнью он испытан был,
Но всю упругость сохранил
Души несдавленного пыла
(Что часто детскость, иногда и сила).

К тому ж теперь в полезном деле
От смут душевных отдохнуть
Он думал, ибо жизни путь
Довольно странно вел доселе.
Прельщенный блеском эполет,
Герой мой съюну был корнет.
Страсть к киверу питали все мы!
(Тогда носили кивер, а не шлемы.)

Но кивер разлюбил он вскоре;
И круг товарищей лихих,
И ласки граций покупных,
И вин и водок чуть не море —
Все показалося ему
Противным вкусу и уму,
И, видя в службе только скуку,
Он взял отставку и вдался в науку.

Филологи́и, медицине,
Всему учась во всех странах,
Он слушал Ганса о правах,
Он слушал логику в Берлине;
Потом финансы изучал
И в Альбионе наблюдал
Устройство быстрых паровозов,
Столь выгодных в сравнении обозов.

В Париже посещал он залы
Сорбонны и растений сад,

И слушал прения палат
Прилежно, и читал журналы.
Искусство, древность и досуг
Его влекли на теплый юг,
Душ поэтических к святыне,
Где небо сине, море тоже сине.

Тогда дремал там дух народа,
Как дремлет стая кораблей
Среди затихнувших зыбей:
Светло вокруг и нет исхода!
Но ветер дунул, якорь снят,
И мачты парусом шумят,
И все ликует на эскадре...
Вперед! вперед! Coraggio, santo padre! [1]

Но при возникнувшем движеньи
Мой Юрий не был. Средь руин,
Садов, палаццо и картин
Блуждал он будто в сновиденьи;
Благоухающий восход
В Альбани, близ спокойных вод,
Ходил встречать он пышным летом...
Я сам когда-то... ну! да что об этом!..

Элладу Юрий видел тоже,
В Афинах прежнего искал,
Но окончательно узнал,
Что с прежним новое не схоже,
Что умер влюбчивый Зевес,
Перикла пышный век исчез,
И древнеэллинского тона
Следа нет даже при дворе Оттона.

Из края в край переносимый,
Чего он ждал, учась всему?
Какой запрос его уму
Предстал, ничем не отразимый?

---

[1] Мужайся, святой отец! (итал., обращение к папе, вероятно вызванное борьбой с папской властью).

Начало ль мира, цель и ход
Искал, иль из иных забот
Он рылся в книгах иностранных, —
На этот счет я не имею данных.

Молва лукавая носилась,
Что вдаль тоска гнала его —
Затем, что как-то не в него
Одна красавица влюбилась.
Оно быть может. Случай сей
Бывает часто у людей;
Его и сами фаланстеры
Устроить нам не представляют меры.

Молве не верю я отчасти.
Век плакать Юрий бы не мог;
Тоску б он верно превозмог:
Имел он слишком много страсти
И слишком жар большой в крови
Для платонической любви,
И скоро б стал для новой встречи
Искать роскошные и грудь и плечи.

Я в Генуе у ног певицы
Его нашел. Она была
С косою черной, но бела,
И если, длинные ресницы
Подняв, она порой на вас
И блеск и негу южных глаз
Роняла в прихоти случайной,
В вас пробегал по телу трепет тайный.

Когда на берегу залива
Маяк вспыхал во тьме ночной
И шум сменялся городской
Далеким гулом перелива,
Она для звуков вся жила,
И песня вольная была
Звучней волны и жарче юга, —
Душа рвалась от счастья и недуга.

Но я, пустившись снова в море,
Не знаю, долго ли они

Плели любви златые дни,
Или, остыв, расстались вскоре;
Не знаю, мирно ли пришла
К концу любовь, иль замерла
В упорных ссорах, желчной муке,
И кто из них заплакал о разлуке...

2

В степях России необъятной
Желтел печально снег сырой,
Когда в деревню мой герой
Решился ехать в путь обратный.
Шла тройка робко; по шиблям
Ныряли сани вкось и впрямь,
И колокольчик заунывный
Побрякивал в пустыне безотзывной,

И взору после многих суток
Открылся дом в тиши полей,
Средь низких изб и флигелей,
Как лебедь белый между уток.
Храня прямолинейный тип,
За ним был сад из голых лип,
Там купол церкви деревянной,
Не очень ветхой, но довольно странной.

Хоть Юрию и были чужды
Забавы нежных, юных лет:
Предчувствий робкий полусвет
И сердца грусть без всякой нужды —
Но дух ему тоской свела
Картина скудная села,
Как будто вид каких развалин,
Где если есть жилец, то он печален.

Убогих изб вдоль косогора,
Соломой крытых и кривых,
Тянулся ряд — и никаких
Не представлял отрад для взора.
Казалось, сплочены чуть-чуть
Они из бревен как-нибудь,

И что кочующее племя
Случайно в них устроилось на время.

Но мы к крыльцу! село минуем.
Уж ключник старый подоспел
И руку барскую хотел
Увлажить рабским поцелуем.
Лобзанье Юрий оттолкнул;
Старик с прискорбием смекнул,
Что уж не тот расчет при сыне,
Что прежде был, при старом господине.

Вот Юрий входит в дом старинный. . .
В пустынных залах по стенам
Сквозь окон бродит здесь и там
Зари вечерней отблеск длинный.
На мебелях слинялый штоф,
Ковры из пыли сверх столов,
И воздух тот, когда с полвека
Не слышно было в доме человека.

Невольно Юрий сердца трепет
В наследном замке ощутил;
Как трудный сон, его смутил
Воспоминаний детский лепет —
О том, что было, что прошло,
Кого в могилу низвело;
А он все жив и не сломали
Досель его ни радость, ни печали.

Томим тревогой беспокойной,
По всем он комнатам идет
И постепенно узнает
Порядок их не вовсе стройный.
Вот здесь отцовский кабинет,
Где деда жирного портрет
В прическе пудреной и гладкой,
С осанкой важной и улыбкой сладкой.

А здесь в шкапах под слоем пыли —
Отведан крысами — Вольтер,
Руссо, Гельвеций. . . «Например —

К чему им книги эти были?
Они читали только встарь
Простой и адрес-календарь,
По слуху веруя, что вроде
Бесовских дел вся книга о природе». [1]

Так думал Юрий. С ним едва ли
Согласен я на этот раз:
Как и на Западе, у нас
В том веке многие блистали,
Став резко в обществе пустом,
Своим скептическим умом
Или развратом — так же точно,
Но все с какой-то примесью восточной.

Болезнь души — воспоминанье —
Проходит, был бы крепкий сон;
Заутра труд. — Уж на поклон
Идет народ, явя желанье
Увидеть барина... Зачем?
Любим он, что ль, народом тем?
За что? Как Гамлет, скептик грубый,
Я думаю: «Ну что ему Гекуба?»

Что мужикам тот миф, который
Известен тем, что дважды в год
По почте получал доход?
Да если б и в чужие горы
Не уезжал он, — все равно:
Любовь лишь inter pares. [2] — Но
Сильнее разума и знанья,
О ты! недуг наследственный преданья!

Речь Юрий вел о том, что с поля
Мужик взял хлеба, как и кто
Советовал и то, и то...
Все отвечали: «Ваша воля!»
Но Юрий на такой ответ
Сказал, сердясь, что вовсе нет!

---

[1] «Le livre de la nature», приписываемая, помнится, Гольбаху *(прим. Огарева)*.

[2] Между равными (лат.). — *Прим. Огарева*.

Их польза слушаться совета.
«Конечно! .. но все ж ваша воля это!»

Иной в таком ответе видит,
Что наш мужик отчасти туп,
А он меж тем совсем не глуп;
Он волю чтит, но ненавидит
Ваш ум, как школьник свой урок,
Хотя бы и пошел он впрок.
Заметьте, вас прошу усильно,
Что самый Петр нас просвещал насильно.

Но Юрий думал, взяв терпенье,
Что разум, как подземный крот,
Невидим вроется в народ,
И чтоб подвинуть просвещенье,
Хотя б чрез барский произвол,
Он школу тотчас же завел
(Но сам не мог учить никак он,
И потому учителем был дьякон).

Пока был Юрий мучим жаждой
Полезных дел, соседей полк
О нем завел всеобщий толк.
Воскресли барышни, и каждой
Мечталось будто бы сквозь сон:
«Уж не жениться ль хочет он?
На ком? Быть может, не на мне ли? . .»
И страх они как замуж захотели.

Но тщетен был их сон любимый!
Боялся Юрий брачных уз,
Боялся с женщиной в союз
Вступить навек и клятвой мнимой
Лишить, всю будущность губя,
Ее свободы и себя,
И, перестав любить и верить,
Терзать, скучать, хитрить и лицемерить.

«Пусть сердце было б в нашей воле
За хронометр любви признать

И в кабалу не отдавать, —
Мы, может быть, любили б доле! . .»
Так думал Юрий, а не я;
Не обвиняйте же меня,
О вы, вернейшие супруги,
Мужей унылых скучные подруги!

Соседи мужеского пола,
Равно не ведая его,
Кляли героя моего,
Насколько хватит произвола.
Но Юрий... кстати: умолчать
Намерен я, как надо звать
Его по батюшке. Признаться,
Все *ичи* стали мне смешны казаться.

И так же я — во что б ни стало —
Его фамильи не скажу.
Я выгод в том не нахожу!
У нас фамилий звучных мало,
А феодальных в них начал
И вовсе я не замечал.
(Из всех на ов, ин, ский и ейкин
Звучит недурно — капитан Копейкин.)

Но Юрий, сплетен враг старинный,
Уединенно занят был
И только старосту томил
Беседой мудрою, но длинной.
Мужик догадлив; он постиг
Своим чутьем в единый миг,
Без напряженного расчета,
Что Юрий хочет доброго чего-то.

Но, раб привычки боязливой,
Довольный грязною избой,
Пошел обычной колеей
И, озираяся пугливо,
Со страхом барина встречал
И никогда не доверял,
Чтоб с ним была возможность дружбы,
Заплатный труд считая долгом службы.

8

Шлю время. Уже пост великий
Кончался. Каялось село
И к Пасхе сладкий хлеб пекло.
Меж тем на место вьюги дикой
Весенний ветр, с полден гоним,
Повеял чем-то молодым,
И, не страшась морозов боле,
Прорезался зеленый стебель в поле.

Забился лист на ветке гибкой,
В ручье пошла звучать волна,
И улыбнулася весна
Младенца свежею улыбкой.
Вкушая отдых от труда,
Мог Юрий тоже иногда
Забыться сладко в мирной лени
Под пенье птиц, при веяньи сирени.

Но, вспомнив, что суха дорога,
Решился он изведать честь
С соседями знакомство свесть.
Хотя он радости не много
Предвидел в этом для себя,
Но думал, пользу всех любя,
Что разговор его, быть может,
Их сонный ум немного растревожит.

К тому же, в людях видя только
Их целой жизни результат,
Он многое прощать был рад,
Не презирая их нисколько,
Лишь были б несколько сносны.
«Принять, — он думал, — мы должны,
Что как бы голос ни был скверен —
Все ж можно звук найти, который верен».

Поехал. Близок дом соседний.
К крыльцу! Здесь проживает Лёв
Иванович, полковник Пнёв.

Встречает гнусный дух в передней.
Потом хозяин. Он уж стар,
Но с виду отставной гусар,
В седых усах, чуть рыжеватых,
Решительность в движеньях угловатых.

Он Юрия поочередно
С женой и дочерью своей
И с каждым из своих гостей
Знакомит, и — как странник модный,
Как монумент иль редкий зверь —
Осмотрен новый гость теперь.
Дородная супруга Пнёва,
Привстав немножко, молча села снова.

Они с супругом, очевидно,
Делили в доме барства власть,
Взяв мелкий гнет себе на часть,
Для слуг запуганных обидный.
Дочь Пнёвых, дева в двадцать лет,
Представить не могла примет
Ума или иного дара,
Но все вздыхала и звалась Варвара.

У них гостей-соседей было:
Одна вдова, мать трех девиц,
Безмолвных, но веселых лиц;
Еще с женою, с виду милой,
Советник статский Бобочкин, —
Лишенный места господин
По явном в взятках уличеньи,
За что и был оставлен в подозреньи.

В гостиной все уселись важно;
Пошли вопросы. Юрий тут
Всех общих мест изведал труд,
Часы съедающий протяжно.
«Надолго ли в деревню он?
Зачем и из каких сторон?
А мы и к батюшке езжали,
Но вы нас помнить можете едва ли».

Он точно в памяти упрямой
Их не хранил и отвечал,
Что он тогда был слишком мал.
«Да-с! малы! Помним: в год тот самый,
Когда нам Вареньку дал бог
Любви супружеской в залог,
Уехал с вами ваш родитель
И до конца все был столичный житель». —

«Покойник жил весьма богато, —
Вздохнув, заметила вдова, —
Как должен барин!.. как едва
Теперь живет кто!.. Виновата
Война с французом, что у нас
Порода бар перевелась.
У Фистулова генерала
У одного есть свой оркестр для бала.

А вот в старинные-то годы...» —
«И, матушка! какой тут бал!
По горло всякий задолжал,
Хлеб нипочем и дрянь доходы;
Да и народ другой пошел:
Бывало, барский произвол —
Святыня; нынче на работу
Насилу розга придает охоту».

Герой наш мог бы по-латыне
На это дать такой ответ,
Что tempora mutantur et[1] —
Ум прежний глуп, быть может, ныне.
Но, чуждый педантизму школ,
По-русски просто речь он вел
О том, что выгод было б боле,
Когда б народ наш вовсе жил на воле.

На лицах вспыхнула досада.
Полковник стал свой ус щипать,
Хозяйка не могла поднять
На Юрия прямого взгляда;
Сжал молча губы Бобочкин;

---

[1] Времена меняются и (лат.).

Вдова, припомнив мужний чин,
Народное освобожденье
За личное признала оскорбленье.

И вскоре стали понемногу
Все друг за другом говорить,
Что этого не может быть,
Что вольность неугодна богу
И что ведь надо ж наконец,
Чтоб барин был... ну... как отец
Своих крестьян иль пастырь стада...
Спросил их Юрий: «Почему же надо?»

Вопрос был прост, ответ был труден,
И Бобочкин, скрывая злость,
Сказал: «Вы здесь заезжий гость,
Ваш взгляд на вещи слишком чуден.
Так вы хотите, чтобы я,
Всю жизнь на службу посвятя,
Под старость не был дворянином,
Моих крестьян законным господином?» —

«О вашей службе нет и речи», —
Промолвил Юрий, но тут Пнёв
Ему докончить не дал слов:
«Так для того против картечи, —
Воскликнул он, — я ставил лоб,
Чтобы какой-нибудь холоп
Мог быть мне равный собеседник?
Нет! я дворян потомственных наследник.

Еще, пожалуй, и землею
Вы нас заставите потом
Делиться с нашим мужиком
И нашей бабой крепостною!..»
И вдруг раздался крик вдовы:
«Пожалуй, запретите вы
За недомытую рубашку
Пугнуть порядком скверную Парашку!..»

Не споря против прав дворянства,
Хоть признаваясь, что оно
Довольно плохо быть должно,

Когда лишь мелкое тиранство
И над рабами грустный гнет
Ему значение дает,
Доказывал герой наш только,
Что в рабстве выгод нет для нас нисколько;

Что, в мнимый веруя избыток,
Не ценим мы, тесня рабов,
Ни капиталов, ни трудов,
И все работаем в убыток.
Соседей Юрий раздразнил,
Но их ни в чем не убедил,
Хоть взгляд его был очень верен,
Что в прозе сам я доказать намерен.

Меж тем ударил час обеда.
Уже икры и водки вид
Щекочет русский аппетит,
И смолкла спорная беседа.
К столу ведут мужчины дам...
Но я молчу: уж прежде нам
Ряд блюд, по чину обносимых,
Бутылки вин — увы! — непроглотимых,

Соседний пир изображая,
Иной описывал поэт...[1]
И в двадцать или тридцать лет
Не изменилась Русь святая!
Державы сильной то закон:
Меж тем как в быстроте времен
Меняют люди вкус и веру —
Она все предков следует примеру.

И меж иных обрядов разных
В хозяйстве Пнёвых издавна
Была привычка введена
Обедать на тарелках грязных,
И много прочих мелочей
Из русских допотопных дней.
Но перечесть их нет терпенья...
К тому же все, уже вкусив варенья,

[1] Смотри «Онегина». — *Прим. Огарева.*

Идут в гостиную обратно.
Желудок свой обременив,
Бывает человек ленив
И склонен к сну невероятно;
И чтобы ум занять, у нас
Обычно в этот грустный час
Колоды карт и мел точеный
Приносятся на стол светлозеленый.

О карты! вас бранят, — но, боже!
Вся государства связь у нас
Без вас наверно б порвалась
(А для народа что ж дороже?),
И мы бы в разные страны
Скорей разъехаться должны,
Затем, что дома нам, на месте,
Без карт и делать нечего бы вместе!

Меж тем как с Пнёвым и вдовою
Уселся Бобочкин за стол
И каждый свой расчет повел:
Купить ли с трефовой игрою,
Иль в вист идти и записать
В свой выигрыш копеек пять, —
Остался Юрий поневоле
Оратором при юном женском поле.

Хозяйка дочери велела
Особенно занять его,
Затем, что виды на него
Уже дальнейшие имела.
Но как вести беседу он
Не вовсе был расположён,
В любезность дам сих веря мало,
То разговор неловко шел сначала.

Но Варенька решилась вскоре
Спросить, что как — в чужих краях
Зимою ездят ли в санях,
И долго ли тошнит на море,
Как папа крестится, и что
В посты за пищу принято́,

И бриты ль бороды в народе,
И что за шляпки и мантильи в моде?

Проснулось ли воспоминанье
В душе героя моего,
Вопросы ль тешили его,
Но быстро шло повествованье
О том, что вчуже видел он.
Нашли девицы, что мудрен
Его рассказ, но удивлялись
И ахали, иль просто улыбались.

Анета слушала... Казалось,
Картины чуждой стороны
Ей были более ясны,
Чем то, что вкруг нее свершалось.
Когда рассказа быстрый ход
Давать мог повод для острот,
Она, задумавшись, искала
Их смысл... и вдруг их понимала.

Что ж не сказал я, кто Анета?..
Анета — юная жена
Советника Бобочкина.
Как к ней нейдет фамилья эта!
Я признаюсь: кого едва ль,
Как этой женщины, мне жаль!
Когда ее я с мужем вижу,
Его всегда я горько ненавижу.

В пустой глуши степных селений
Безвестно вянувший цветок,
Она ни блеска, ни тревог
Не ведала, ни развлечений,
К которым женщин юных лет
Влечет так страстно модный свет,
Что порицают моралисты
И девы в сорок лет, чьи души чисты.

И если бы могла Анета
Лицом иль белизною плеч
Вниманье юношей привлечь,

Ее преследовать за это
Нашлась бы тетка где-нибудь,
Которая, безбрачный путь
Свершая, все моралью мерит,
Бьет девок крепостных и в бога верит.

Но юных радостей не знала
Анета бедная моя
(Как выше то сказал уж я)
И разве лишь во сне видала,
Что вот... является на бал,
Огнями блещет пышный зал,
Гремит оркестр с высоких хоров,
Мелькают пары, уносясь от взоров.

Она подобна фее нежной,
В одежде белой стан ея
Свободно-гибок, как змея;
Ей в русый локон ввит небрежно
Зеленый мирт; двоит уста
Улыбки ветреной черта,
И тайным светом полны очи
Мечтательно, как северные ночи.

Вот взор ее орлиным взором
Встречает юноша... и вдруг
Ланиты вспыхнули и дух
Стеснен биеньем сердца скорым.
Уж, в быстрый вальс увлечена,
В его объятиях она,
И ручка, скрытая перчаткой,
Дрожит, когда он жмет ее украдкой.

Под звуки скрипок и кларнета
Таится от чужих ушей
Влюбленный шепот их речей...
Но сон бежит, и вновь Анета
Встречает с тяжкою тоской
Фигуру мужа пред собой,
Да сел убогих вид унылый,
И скуку жизни, ей давно постылой.

Отец ее, богач когда-то,
В пирах всей жизни видел цель,
Держал для дочери «мамзель»,
Тщеславясь дорогою платой.
Но раз нечаянный валет,
Понтёра враг, на белый свет
Его пустил молить из хлеба
Довольно тщетно милосердье неба.

Случись жених во время оно,
Известный вор, тупой подлец,
И продал дочь свою отец,
Как продают с аукциона
Глупцу ничтожною ценой
Картину кисти мастерской.
Да это в свете и не ново:
Известно — дочь есть собственность отцова.

И вот в семнадцать лет Анета —
Уж госпожа Бобочкина,
Мужчины в сорок лет жена,
И с ним она, вдали от света,
Должна прожить всю жизнь в глуши
Без тени счастья для души.
Как птичка, пойманная в сетке,
Она побилась, но привыкла к клетке.

Чудовище привычка! [1] Руки
К морозу привыкают; слух —
Визг слушать; гордый дух —
Встречаться с подлостью без муки;
Вздыхали люди о тюрьме [2]
И не клеилось в их уме,
Что можно жить без тьмы и цепи...
Я сам привык к пустому виду степи!

Анете в ум не вдруг вмещалось,
Что можно на одну кровать
Идти с тем человеком спать,
Кого гнушалась и боялась,

---

[1] Гамлет. — *Прим. Огарева.*
[2] Шильонский узник. — *Прим. Огарева.*

Кто дома, деспотом явясь,
Дрался с людьми не горячась,
Лицом был ряб, в привычках грязен,
С кем взгляд и вкус у ней во всем был разен.

Потом постигла поневоле
Она, что выхода ей нет,
Что мучиться нельзя сто лет,
И покорилась божьей воле.
Зато потух блестящий взор,
Умолк веселый разговор,
Улыбка свежая слетела
С румяных уст: Анета отупела.

<Не окончено>

Письмо Юрия

Мой друг! я думал сделать много!
Я думал — здесь себе исход
В труде рассчитанном найдет
Ума немолчная тревога,
Подобно как пары, стремясь,
Для цели движут тяжесть масс,
Иначе в пустоте окружной
Разносятся бессильно и ненужно.

Бразды правленья взял я в руки,
Изгнав уныние, как грех,
С надеждой юной на успех,
С запасом мыслей и науки,
Желаньем лучшего томим,
С тем уважением прямым
К лицу, к его правам, свободе,
Которое хотел вселить в народе.

Я думал — барщины постыдной
Взамен введу я вольный труд,
И мужики легко поймут
Расчет условий безобидный.
Казалось, вызову я вдруг
Всю жажду дела, силу рук,
Весь ум, который есть и ныне,
Но как возможность, в нашем селянине.

Привычкой связанный ленивой,
Раб предрассудков вековых,
В нововведениях моих
Следы затеи прихотливой
Мужик мой только увидал
И молча мне не доверял,
И долго я на убежденье
Напрасно тратил время и терпенье.

И — как мне было это ново! —
Чтоб труд начатый продолжать,
Я должен был людей стращать!
Пойми насквозь ты это слово:
Я должен был стращать людей!
И чем же? — властию моей,
Которой от души не верю,
Которою я гадко лицемерю.

Да! гадко! Гадко и бесплодно!
Я этим верить приучу
Во власть мою, а хлопочу
Дать почву вольности народной!
И впереди моя судьба —
Увидеть прежнего раба
Там, где хотел я человека
Воспитывать для всех успехов века.

Что ж выхожу перед собою
И пред людьми я наконец?
Что? барин? подданных отец?
То есть плантатор пред толпою
Сих белых негров? Иль опять,
Как и назад тому лет пять, —
Мечтам не верящий мечтатель,
В горячке вечной подвигов искатель?

Итак, мой друг, вперед ни шагу!
Желанья тщетно пропадут, —
Я только на пустынный труд
Растрачу силу и отвагу.
Один не изменю я ход,
Который избрали — народ,

Его правительство и барство,
Всю гнусность под названьем — государство.

И выход есть один: терпенье!
Терпенье! — в этом слове, друг,
Две вещи высказаны вдруг:
Бесплодная работа и мученье!
Терпенье — выход! .. Так сносить
Среду, где довелося жить,
Насколько б ни было в ней скверно, —
Есть выход? .. О, как это лицемерно!

Так что ж? Теперь — еще покуда
Я сил запас не истощил,
Для денег денег не ценил, —
Уж не бежать ли мне отсюда?
Чтобы уйти, я мужикам
Именье все и волю дам...
Но этим, не исправив нравы,
Я послужу невеждам для забавы!

И все же жаль мне цель оставить —
Устроить в стороне родной
Хоть этот мирный угол мой
Так, чтоб в нем мог себя поздравить
С свободой прочной селянин,
Деревни вольной гражданин.
Вот все, чего ищу... Ужели
Для этого мы даже не созрели?

О! если так, то прочь терпенье!
Да будет проклят этот край,
Где я родился невзначай! —
Уйду, чтоб в каждое мгновенье
В стране чужой я мог казнить
Мою страну, где больно жить,
Все высказав, что душу гложет, —
Всю ненависть, или любовь, быть может.

Хочу, по крайней мере, чтобы
Хоть умер я на почве той,
Где любит волю род людской,
Где я глаза б закрыл без злобы,

Вдали от всех тупых рабов,
От всех властителей-глупцов,
От козней темных и злодейских
И всех смешных надзоров полицейских.

[Но до конца <*не дописано*>
Я стану в чуждой стороне
Порядок, ненавистный мне,
Клеймить изустно и печатно,
И, может, дальний голос мой,
Прокравшись к стороне родной,
Гонимый вольности шпионом,
Накличет бунт под русским небосклоном.]

<*Не окончено*>

1847, первая половина

АФРИКА

(Отрывок)

Sic transit gloria mundi! [1]

То было время грозной славы:
Междоусобием томим,
Грань расширял своей державы
И задыхался старый Рим.
Уже в коварную угоду
Или сенату, иль народу —
Вожди, заспоря меж собой,
Властолюбивою враждой
Топтали древнюю свободу.
В то время Силла казнью мстил
Своим врагам и травлей новой
Роскошно тешил Рим суровый;
А старый Марий уходил
И в дальней Африке за морем
Блуждал, несокрушимый горем.

Клонился в море знойный день,
И, блеском поздним позлащенный,
Ждал ночи берег раскаленный,
И тихо подступала тень.
Бродящего роптанья полны,
Средь колебанья дня и мглы,
Залива голубые волны
Плескались в белые скалы,

---

[1] Так проходит слава мира! (лат.).

И воздух жаркий и ленивый
На берег веял молчаливый. .

Тиха печальная страна!
Не нарушал уже полвека
Ее безвыходного сна
Ни труд, ни говор человека.
Давно в пустынный край не шли,
Стремясь как птиц крылатых стая,
По морю веслами махая,
С товаром дальним корабли;
От Нила по степям песчаным
Не приходили с караваном,
Рукой рабов навьючены,
Тяжелоступные слоны.
Давно с жестокостью безумной
Здесь пронеслась чрез город шумный
Война кровавою пятой,
Оставя пепел за собой.
Добыча смерти или плена —
Исчезли люди Карфагена;
Торговли жадной дни прошли,
Замолкли клики пышных брашен,
Обломки гордых стен и башен
Безмолвной грудою легли.
С тех пор — спаленные — истлели
Цветы садов и злаки нив,
И лавры больше не шумели,
Ни зелень томная олив;
Лишь жизни волею могучей —
Наследник рушенных дворцов —
Зеленой сетью плющ ползучий
Разросся мирно вкруг столбов,
И в час полдневного досуга
Понежиться на солнце юга
Из-под камней скользит змея
Иль резвых ящериц семья;
И вновь в томительном молчаньи
Лежит пустынная страна,
И только дышит в колыханьи
Неугомонная волна.

Но римский вождь, венчанный славой,
Среди развалин, одинок,
Скитался тенью величавой,
Как бы преступник иль пророк.
Суров был взгляд его; ланиты
И лоб морщинами изрыты,
И в кудрях черной бороды
Годов белелися следы.
Но крепость мышц не изменила, —
Все та же в жилистой руке
Плебейская дремала сила,
Как в ненатянутом луке́;
В груди, покрытой броней медной,
Таился тот же глас победный,
Перед которым вражья рать,
Смутясь, не в силах устоять.
Давно ли он с трибун народных
Громил сенат в речах свободных?
Давно ль средь боевых тревог
Он был для войска некий бог?
Смиритель кимвров и тевтонов,
Давно ль он с сонмом легионов —
Лавровенчанный в Рим вступал
И Рим ему рукоплескал?
Но втуне смолкли клики славы,
Исчезла власть!.. Пред ним возник
Соперник смелый и лукавый,
Его же дерзкий ученик;
И старый вождь унес в изгнанье,
В приют далекий от людей —
Обиды горечь и сознанье
Величья гордого скорбей.
Но не грустит орел нагорный,
Подобно горлице лесной:
Вождь терпеливый и упорный
Томился думою иной.
В себя в нем вера не уснула!
Он все ж был грозен, как судьба:
Его зарезать не дерзнула
Рука наемного раба!
И те же волновали страсти
Скитальца непреклонный ум —

Любовь к свободе, жажда власти
И жизни сильной блеск и шум;
И мыслил он: еще поспорим!
И взором Рим искал за морем.

А с неба знойного сходя,
Вечерний луч сиял, печален,
На груды тихие развалин
И образ старого вождя,
И, вечного роптанья полны,
Далеко колыхались волны.

Начало 1850-х

ЗИМНИЙ ПУТЬ
(Из дорожных воспоминаний)

Посвящено П. В. А<нненкову>

1

В дорогу я пустился в ночь.
Привычки трудно превозмочь:
Поутру я объят дремотой,
Потом, ход времени ценя,
Люблю я с мудрою заботой
Свершить обязанности дня,
То есть вкусить обед и ужин
(Всегда порядок в жизни нужен),
А в ночь свободно ехать. Вот
Уже и тройка у ворот,
И вот, скрипя, помчалась прытко
По снегу мерзлому кибитка.
Путь гладок и ярка луна,
Безмолвным светом ночь полна,
Студеный воздух сжат морозом;
Иглистый иней по березам
Повис недвижно и блестит;
Поляна снежная лежит,
Мерцая отблеском лиловым,
И веет холодом суровым, —
И взор с невольною тоской
Следит за смутною чертой,
Где небо далью бледносиней
Слилося с белою пустыней.

2

А всё знакомые места!
Все тот же скат с горы отлогой,
Сугроб у ветхого моста;
Все так же узкою дорогой
Обоз ползет издалека,
Дразня лихого ямщика.
Кругом разбросаны селенья...
И знаю я наперечет,
Где сколько душ, чьего владенья,
И где, и кто, и как живет;
Все знаю так, что даже скучно!
Но вырос в этом я краю;
Привычки детской раб послушный,
Его, быть может, я люблю.
Даруй вам, боже, сны благие,
Мои соседи дорогие!
В дыму удушливой избы
Спи крепко, труженик наш вечный —
Мужик ленивый и беспечный,
Прося не много у судьбы!
И ты, сосед, хозяин строгой,
Который грозно, в скорби многой,
Работаешь так много лет
На обязательный совет, —
И ты усни! — Во сне, пожалуй,
Доход увидишь небывалый.
Вкусите мирный сон и вы,
Соседки, барыни лихие,
Которых ручки боевые
Легко с узорчатой канвы
И от вареньем полных банок —
По неизведанным путям —
Перебираются к щекам
Своих запуганных служанок...
Да будет всем вам мирный сон!
Теперь я так расположен
Учтиво, даже, может, нежно,
Что радостно б простить хотел
И грех, по жизни неизбежный,
И придурь — общий всех удел.

3

Еще в избáх кой-где мерцает
Лучины дымный огонек,
И дева вечный свой клубок
В полудремоте напрядает.
Я живо помню, как порой
Спокойная картина эта
Своею милой простотой
Меня пленяла в прежни лета;
Но ныне девы сонный лик,
Храпящий на печи старик,
И вечно плачущий ребенок
В дырявой люльке, и теленок
Над грязным месивом — ей-ей —
Как жалкий образ жизни скудной
Тоской болезненной и трудной
Тревожат мир души моей.
Милей мне в этой деревушке
Воспоминанье об одной
Соседке, добренькой старушке,
С нехитрой, детскою душой.
Она, бывало, пред иконой
Взывает в искренней мольбе,
Чтоб бог *ему* был обороной
И пекся о *его* судьбе;
Иль молча, сидя на диване,
Гадает трепетно о *нем,*
И все о *нем,* о милом Ване,
О внуке ветреном своем.
«Ну, что ваш внук?» — «Писал недавно». —
«Чай, денег просит милый внук?» —
«Ну что ж, что просит? Вот забавно!
Ему ведь нужно для наук.
А мне? .. стара я для наряда,
И ничего самой не надо!»
И вынет дочери портрет,
В живых которой больше нет,
И смотрит с грустною отрадой,
И смотрит долго, и потом
Утрет слезу свою тайком.

4

И вот еще, близ церкви белой,
На снежном холме, при луне,
Я вижу — крест осиротелый
Стоит в печальной тишине
Над безыменною могилой...
И мужа, дышащего силой,
Опять на память мне пришло
И величавое чело,
И ум, наукою развитый,
И дух насмешки ядовитой
Над всем, что подло и смешно.
Он был когда-то мне одно,
Одно отрадное явленье
В глуши печальных деревень,
Где торжествующая лень
На ум наводит усыпленье
И ни один еще вопрос
Людей глубоко не потрёс.
Но мимо, мимо! сердцу больно!
Не вызывай теней из тьмы!
Зачем давать слезе невольной
Остыть на холоде зимы?

5

И дале в путь! Встречают взоры
Равнины, горки, косогоры,
И вдоль пути ряд глупых вех,
И всюду неподвижный снег.
Вот здесь пустырь. Была недавно
Деревня. Жили в ней исправно;
Но от нее теперь одни
Торчат обугленные пни.
В субботу в ночь оно случилось:
Проснулась баба хлебы печь
И затопила — как водилось —
Давно надтреснутую печь.
На крыше вспыхнула солома,
И, подхватив, пошла вьюга́

Носить огонь от дома к дому
С остервенением врага;
И кровли, пламенем объяты,
Треща, обрушилися в хаты.
Со сна вскочили мужики,
Стремглав пустились бабы в страхе
На улицу в одной рубахе,
За ними дети, старики...
Пожар! пожар! скорей! спешите!
Багры давайте, топоры!
Ломать!.. Да где ж их взять — багры?
Воды! вези воды! тушите!..
Крик, беготня, и вопль, и шум;
В беде исчез последний ум;
Хватились бабы за пожитки —
Спасать холсты, корыта, нитки...
А по дворам поднялся рёв
В огне покинутых коров,
В забытой люльке визг ребячий
Бессильно замер в общем плаче.
Спасенья нет! Толпа глядит,
Оцепенев, как всё горит;
Багровый блеск в мерцаньи длинном
Ложится по снегам пустынным.
Так в пору раннего утра
Я не застал уж ни двора.
Без слов, без дел, без помышлений
Бродили люди, словно тени;
С седою всклоченной косой
Старуха дряхлая сидела
У пепла и ребенка грела,
Мотая глупо головой.
Там, где околица, бывало,
В сугроб закутавшись, дремала, —
Спаленный столб печальный вид
Хранил, как старый инвалид.
Но тут (у выезда иль въезда),
В порыве бурного наезда,
Мне повстречался становой,
Приятель закадычный мой.
С пучком приятных увещаний,

По воле ревностных властей
Он торопился для стяжаний
Недовзнесенных податéй;
Но тут — хоть в нем душа окрепла
На службе — перед грудой пепла,
Как будто громом поражён,
Велел остановиться он.
Вздохнул, привстал, всплеснул руками
И вновь их опустил... Потом
Уныло щелкнул языком,
И мы разъехались...

6

Полями
Я еду долго. Скучен путь!
Но вот направо повернуть,
И виден лес в тиши глубокой.
Луна мерцает сквозь дерев,
И тени длинные стволов
По снегу стелются. Далеко
В лесную глубь уходит взор;
Уныл и гол холодный бор,
И пусто отголосок смутный
Блуждает в чаще бесприютной.
За этим лесом на горе
Высокий дом стоит, дряхлея.
Я знал его в иной поре!
К нему вела дубов аллея;
Литой решетчатый забор
Каймил его широкий двор,
Шумел прохладой сад столетний —
Приют роскошный неги летней.
И было время, каждый день
Из городов и деревень
Съезжались гости; дверь подъезда
Не умолкала от приезда,
И в дом богатый принимал
Гостей радушный генерал.
Храня времен минувших нравы,
Он жил вельможей и любил
Пиров затейливых забавы;

Свои доходы не щадил
И сотни слуг рядил, как франтов,
Держал собак и музыкантов;
Неистощим был мшистый клад
Душистых вин в его подвалах,
Достойно царственных палат
Сияла роскошь в пышных залах...
И вот к нему со всех сторон
Спешили гости на поклон:
Спешил бедняк, судьбой прижатый,
Искавший милости богатой,
Спешил и тот, кто от него
Не ждал, конечно, ничего,
Но так — лелеял вместо чести
Наклонность к бескорыстной лести, —
И среди них торжествовал
Наш, впрочем добрый, генерал.
Он находился ль в убежденьи,
Как Цезарь (что известно всем),
Что лучше первым быть в селеньи,
Чем где б то ни было ничем;
Иль о покойнице-супруге
Хотел поплакать на досуге —
Соседями не решено.
Известно только, что давно
Он прибыл жить в свое именье
И скорбь легко мог превозмочь:
При нем, ему на утешенье,
Росла единственная дочь.
И он любил ее — насколько
Любить способен человек,
Чей беззаботно-праздный век
Как непрерывный пир летел, — и только!
Он дочь обычно целовал
Поутру, с ложа сна вставая,
Еще — ко сну благословляя;
Как куклу в детстве одевал,
Потом ценою дорогою
Ей гувернантку нанимал,
Чтобы обычной чередою
Учила барышню всему,
Что не полезно никому.

Еще таилася в нем вера,
Что жениха он сыщет ей,
По крайней мере, камергера,
Из важных графов иль князей.
И так он ждал, когда ей минет
Заветный срок — семнадцать лет, —
Тогда деревню он покинет
И дочь введет в столичный свет.
Так старый садовод ревниво
В смиренный прячет уголок
Нераспустившийся цветок,
Чтоб после выставить на диво
Во всем пленительном цвету
Волшебных красок красоту.
И срок настал! Незримым ходом,
Подкравшись тихо год за годом,
Пришла пора девичьих грез,
Где дума новая мятется
В головке юной, сердце бьется
И просит счастия и слез,
И грудь младую вздох подъемлет,
И взору снится тайный лик,
И ухо жаждущее внемлет
Любви незнаемый язык,
Иль попросту: пора настала,
Где барышня, окончив класс,
Блеснуть желает в вихре бала,
Красою свежею гордясь.
Благовоспитанной девице
Тогда одно и то же: жить,
Или поклонников влачить
Вослед надменной колеснице
Победоносной красоты;
И эти гордые мечты
Ведут к прямому окончанью,
Чтоб по сердечному желанью
И без дальнейшего греха
Найти скорее жениха.
Отец в восторге умиленья
Обдумал праздник и наряд,
И в день дочернего рожденья
Назначил бал и маскарад.

Ко всем соседям, близким, дальним,
К властям уездных городов
И к лицам меньше подначальным
От генерала послан зов.
Сам губернатор приглашенье
Почел за честь, и было мненье,
Что только архирей спроста
Отрекся близостью поста.
Я был тогда в поре блаженной
Невинных отроческих лет,
А генерал был наш сосед:
К нему нас, помню, неизменно
Возили по воскресным дням;
Привык я к людям и садам,
Но в этот раз меня смущала
Мне чуждая тревога бала.
Оркестр ударил, и тотчас
Все в залу ринулись, теснясь.
И я с подножия колонны,
Как будто в сказочный удел
Внезапным чудом занесенный,
Привстав на цыпочки, глядел.
Все юное воображенье
Прельщало: и толпа людей,
И музыка, и блеск свечей,
И масок пестрое движенье.
Чего тут не было, мой бог!
Паяцы, рыцари, цыганки,
Маркиз напудренный, турчанки —
Все нарядилось кто как мог.
Тут был судья одет матросом,
И скромный стряпчий — казаком,
Тут был исправник с красным носом
Одет индейским петухом;
И даже Дарья Тимофевна,
Годов тяжелый груз забыв,
Какою-то морской царевной
Явилась, плечи обнажив.
Шумело все. Старушки хором
За дочками следили взором,
И старички, очки надев,
Степенно наблюдали дев.

Но вот среди толпы предстала
Сама она, царица бала,
И гул сорвавшихся похвал
По зале дружно пробежал.
В кругу наперсниц суетливых,
Девиц жеманных и болтливых,
Она в безмолвьи тихом шла
Самодовольно и несмело, —
С венцом из листьев вкруг чела,
Как Норма — вся в одежде белой...
Все в ней в гармонию слилось:
Движений мягкая небрежность,
Лица мечтательная нежность,
И лоск волнистый русых кос,
И взор, томящей ласки полный,
Уста, раскрытые едва,
Как бы таящие слова
Для слуха сладкие, как волны,
Когда, сокрытый от лучей,
В тени журча, скользит ручей...
И вдруг с улыбкой добродушной
Она, презрев толпою скучной,
Ко мне, ребенку, подошла
И тихо в польский увела.
Ее руки прикосновенье
На трепетной моей руке
Незримое напечатленье
Оставило. Так вдалеке
Знакомой песни голос милый
Тревожит долго слух унылый...
И после много, много лет,
Средь жарких снов, в чаду томленья,
Ловил мой отроческий бред
Черты знакомого виденья.
Но к делу! В сей юдоли слез
Есть люди вне беды и гроз,
Которых жгучие печали
Бог весть как в жизни миновали;
Легко, без долгого труда,
Цель добывалась их желаний
И застигала без страданий
Их смерти срочной череда.

Покинув сельскую свободу,
По ожиданию точь-в-точь,
В столице не прожив и году,
Наш генерал сосватал дочь
За юношу породы барской,
Которому господь послал
Богатства тьму и предстоял
Блестящий путь на службе царской.
Была ль довольна дочь иль нет,
По нраву ль был ей высший свет
Иль сердцу жить в нем было тесно
И жаль ей было то село,
Где мирно детство протекло, —
Мне это вовсе неизвестно.
Но знаю то, что генерал,
Довольный тем, что жил недаром,
Допив за ужином бокал,
Апоплексическим ударом
На лоно праотцов своих
Перескочил в единый миг.
За гробом важные шли лицы;
Дочь плакала. Тоскуя, зять
Наследство должен был принять;
Но, вечный баловень столицы,
Деревни он не посетил;
Сюда ж по воле барской был
Какой-то прислан плут наемный
Сбирать и доставлять доход;
А барин сам здесь не живет.
Дом опустел. Сквозь ставень темный
Не улыбнется луч дневной,
Не взглянет грустно месяц томный,
И человеческой ногой
Не нарушаем мрак сырой;
И только ветер в дни метели,
Врываясь в трубы или щели,
Тоскует жалобно, один,
Безлюдных комнат властелин;
Да ночью сторож бесполезный
Печально бродит до утра
Вокруг пустынного двора
И сторожит замок железный. . .

И, право, жаль мне иногда,
Что, видно, в память дней бывалых,
Мне не придется никогда
Блуждать в давно знакомых залах
И снова видеть по стенам
В прическах странных те же лицы
Старинных бар и прежних дам,
Давно сошедших в тьму гробницы.
И, право, жаль, что никогда
Не доведется мне лениво
Сидеть на берегу пруда
Под старою плакучей ивой,
Глядеть, как тихо с высоты
Она зеленые листы,
Склоняя, медленно купает...
Недвижен пруд; хоть бы слегка
Пронесся шелест ветерка,
И вечер ясный догорает,
Сливая мирно ночь и день
В одну задумчивую тень;
И ловит чуткое вниманье
Мгновенных звуков трепетанье
Над полусонною водой:
Шум крыльев птицы мимолетной
И под разбрызгнутой волной
Плесканье рыбки беззаботной.

7

Пошел! В ночи как днем светло,
Мой путь лежит через село
Огромное; в нем даже школа
Есть для детей мужского пола.
Тут жил учитель. С ним я был
Давно знаком. Мы в юны лета,
Под кровом университета,
Учились вместе. Я шалил.
А он, неловкий и смиренный,
Душою в бездну погруженный
Метафизических начал,
Прилежно Шеллинга читал.
И в годы те, когда стыдливо

Ус пробивается едва,
Он *душу мира* горделиво
Хотел понять как дважды-два;
Но только смутное сомненье
Ему навеяло ученье.
Он стал де Местра изучать
И верх премудрости искать
Там, где — пиров пустые дети, —
Не попадаясь в оны сети,
Мы видели, махнув рукой,
Туманный бред души больной.
Так в жизнь игрушкою случайной
Товарищ юности моей
Вошел, своей заветной тайны
Не разрешив и чужд путей
Ко счастью. Вечно недовольный
И миром и собой самим
И тяжкой бедностью томим,
Пошел он как учитель школьный
В наш край печальный, и готов
Был с добросовестностью милой
Учить читать тупых птенцов
И по складам и без складов.
Но тщетно! Сила изменила:
Он стал грустить, потом спился
И помешался. Я в то время,
Влача беспечно жизни бремя,
Под голубые небеса
Иной страны благоуханной
Свободно путь держал желанный.
Когда же из чужих сторон
Вернулся я в родные степи
Принять обычной жизни цепи,
Я поспешил к нему, и он
Был страшно рад мне, жал мне руку
И, тайную скрывая муку,
Мне говорил, что он спасен,
Что душу мира видит он,
Но окруженную толпами
Каких-то гаденьких детей,
Должно быть, маленьких чертей,
Горбатых, подленьких, с хвостами,

Его дразнящих языками.
Но этот жизни жалкий сон
Был скоро смертью пресечен.
Я друга схоронил. Но сухо
На сердце было; на глаза
Не пробивалася слеза,
И в голове бродило глухо,
Что даже лучше для него,
Чтоб вовсе не было его.

8

Я с похорон спешил. Желалось
Домой, скорей бы лечь в постель,
Заснуть и позабыть... Смеркалось,
Была сердитая метель.
След занесло. Ямщик крестился,
Глядя с боязнию кругом;
Ступали лошади с трудом,
А снег валил и ветер злился...
Дрожь пробирала, и тоской
Томилась мысль, и сердце ныло...
И вдруг мне память воскресила
Иное время, путь иной:
Я уезжал — то было летом, —
Сияла пышная луна,
Была прозрачным полусветом
И свежей влагой ночь полна.
Мне расставаться было трудно,
Но как-то молодо и чудно
На сердце было! А кругом
Шептался в роще лист с листом,
И тихо веял воздух сонный
Какой-то негой благовонной,
И звонко пел во мгле ветвей
Печаль и счастье соловей.

9

Но стой! Вот станция! Встречает
Смотритель с заспанным лицом,
Мундир потертый надевает,

Стоит у двери, и потом
Выходит вон, ворча сквозь зубы.
А я, освободясь от шубы,
Томим зевотой и ленив,
Сажусь, сигару закурив.
Пока со сна ямщик впрягает,
Пока, колеблясь и треща,
Уныло сальная свеча
Передо мною нагорает —
Часы стенные в тишине
Одно и то же сипло, глухо
Лепечут в мерной болтовне,
Как сумасшедшая старуха.
И как-то жутко! Дух в груди
Теснится; думы смутно бродят.
То будто горе впереди,
То будто призраки проходят
Людей минувших, и опять
Судьба готова повторять
Все жизни тяжкие мгновенья,
Ошибки, скорби и волненья...
Но полно! Звякнула дуга;
Нет времени для грусти праздной
Под звук часов однообразный:
Теперь минута дорога —
Ведь я в уездный город еду
По тяжбе дать отпор соседу...
В уездном городе собор...
Но я спешу во весь опор
В иное каменное зданье,
Где на алтарь иным богам
Несут иное воздаянье:
То правосудья грязный храм.
По грязным лестницам в большие
Взойду я комнаты — и там
Увижу лицы испитые
Вокруг запачканных столов;
Там руки грязные писцов
Скользят в бессмысленной отваге
Пером скрипучим по бумаге,
И заменяют все права
Одни продажные слова.

И вот судьбы моей отчизны!
И сколько жизней и умов
Тут гибнут, — высказать нет слов,
Хотите — совершайте тризны.

10

Но кони мчатся на восток.
Луна потухла. Понемногу
Рассвета трепетный поток
Ясней ложится на дорогу,
И, светом пурпурным горя,
Встает студеная заря,
И солнце в выси бледносиней
Блестит над белою пустыней. . .

1854, март — 1855, весна

НОЧЬ

(Посвящено Г<ерцен>у и Н<атали>и)

Per me si va tra la perduta gente...
Dante[1]

1

По скату длинному дороги
Я шел задумчивой стопой
Томимый грозною тоской
И скорбью внутренней тревоги.
По лону низменной земли,
Окутан дымкою седою,
Тянулся город и вдали
Терялся слитый с поздней мглою.
Уже я смутно различал
И труб и кровель лес дремучий;
Над ними ветер бушевал
И серые бродили тучи.
Неслышным шагом кралась ночь
И — стогны в сумрак поглощая —
Пришла туманная, сырая;
Ее дыханье превозмочь
Не в состояньи было тело
И, содрогаясь, холодело.
Уже зажглися фонари
И в небе, в мгле сырого пара,

[1] Я увожу к погибшим поколеньям. *Данте* (итал., *«Ад»*, *песнь 3*).

Блеснули трепетом зари
Иль дальним заревом пожара;
И эта ночь и этот свет
Казались полны духом бед.

2

Пошел я улицею длинной;
Дома дремали в тишине,
И было в городе пустынно...
Но с каждым шагом стали мне
Встречаться чаще пешеходы,
Трещал все ближе стук карет,
Блеснул из лавок яркий свет,
И, как колеблемые воды,
Задвигались толпы людей,
Ряды колес и лошадей,
И стук и говор поминутный
Слилися в гул враждебно-смутный.
И шел я медленной стопой
В разгаре бешеном столицы,
И с беспокойною душой
Невольно вглядывался в лицы,
Меж тем как быстро тень по ним
Менялась с блеском огневым.

И вот мне, с ясностью бесплодной
Мелькнув среди бродящих дум,
Мучительно пришло на ум,
Неотразимо, безотходно —
Сознанье, что я всем чужой,
Что между нами есть преграда
И что — не только что со мной —
Они чужие меж собой
И связаны привычкой стада...

Вот дом огромный. У дверей
Стоит швейцар в ливрее странной,
Пузатый, пудреный, жеманный,
И держит с важностью царей,
Храня надменно вид свирепый,
Над глупой тростью шар нелепый.

А в окнах бродит блеск огней
И тени шаткие гостей,
Снуясь, блуждают. Пир исправен,
Гостям хозяин саном равен:
Ему подобно, искони
Земли властители они
И не уступят, величаво
Держась за вековое право,
Клочка пустого ни на шаг,
Где отдохнуть бы мог бедняк,
Взглянуть — усталый — хоть ошибкой
На жизнь с доверчивой улыбкой.
Лакеи служат. Меж гостей,
Нарядных, важных и недружных,
Несется трескотня речей,
Неоткровенных и ненужных.
И между тем, страшна, как мгла
В ночи глухой, ночи беззвездной,
Бездонно, холодно легла
Меж ними внутренняя бездна!
Ее — дни, месяцы, года —
До самого конца их века
Не переступит никогда
Живое чувство человека!
Сошлись, — их вместе держит ложь,
Лакейство с жадностию льстивой
И чванства дух сребролюбивый;
А втайне зависть точит нож,
И клевета в норе сокрытой
Шипит змеею ядовитой...
И связи между ними нет!
Все это шутка или бред!

А этот нищий, тощий, бледный,
Оборванный, чей злобный взгляд
Тайком следит прохожих ряд,
Забывших дома грош свой медный?
А этот жирный адвокат,
Своих клиентов вор законный?..
Один, в трактире, полусонный
Сидит, едва вращая взгляд
С довольным видом равнодушья,

Один — наевшись до удушья,
Напившись так, что жар с ланит
Красно-синеющих палит...
А этот пастырь, заточенный
В свой белый галстук?.. Он несет
Под мышкой том позолоченный;
Он завтра в нем строку найдет, —
У черни с высшей точки зренья
Отнимет сладость воскресенья...
Нет, нет! клянусь: тут связи нет!
Тут только шутка или бред!
Тут труп общественного зданья
В дырявой мантии преданья!

8

Вот улица, где блеск и шум
Пугают удивленный ум.
Сорвавшись с цепи злых печалей,
Сюда со всех концов земли
На пир безумных вакханалий
Толпы несметные пришли.
Здесь юноша отважно-праздный
Спешит растратить свежесть сил,
И старец дряблый приютил
Разврат бессильный, безобразный.
Кипит, тревожный жар тая,
Страстей подземная струя,
И в этой улице без меры
Державно царствуют гетеры
И увлекают за собой
Небрежной легкостью нарядов,
Движеньем поступи лихой,
И плеч нагою белизной,
И томным сладострастьем взглядов.

Кого в проулке близ угла
Ты ждешь, красотка молодая?
Кого, улыбкою лаская,
Ты нынче на ночь зазвала?
Как?.. Этот остов?.. Тень мужчины?..

Я знаю, на челе его
Остались редкие седины,
Лицо худое у него
Изрыли ранние морщины;
Но — бедная! Он зол и глуп,
В разврате холоден и груб.
Да!.. но как хлеб тебе он нужен!..
Ты с ним идешь. Ваш буйный ужин
Встревожен розовой зарей...
Довольно! Шутки площадной
Наслушалась до отвращенья;
С тобой он пил до одуренья,
Теперь вези его домой!
Вот спальня. В ней царит молчанье,
Скрывают сторы дня набег,
И длится ночь, и жарких нег
Таится робкое дыханье.
Теперь он как бы счастлив был!
Но голова его повисла!
Едва ль он — пьяный — сохранил
Для наслажденья каплю смысла!
И после тягостного сна
Вы расстаетесь... Он уходит,
И остаешься ты одна.
Печальный луч сквозь сторы бродит;
Все пусто! С скукой и тоской
Ты привстаешь и ручкой нежной
Играешь длинною косой,
На грудь упавшею небрежно;
Твой взор рассеян и уныл,
Улыбку на устах сменил
Неясной думы след печальный...
На память край приходит дальной,
Твой бедный, мирный городок,
Земли укромный уголок,
Приют весны первоначальной.
Ты помнишь сад и поздний час,
И робкий ропот старой ивы,
И юношу, и в первый раз
Слова любви, любви стыдливой,
Так простодушной, как потом
Тебе не встретилось ни в ком.

Ты плачешь? Юных грез утрата
Невольно сердце шевелит;
Но в страхе мысль твоя спешит
Забыться в образах разврата...
А знаешь что?.. Умри скорей!
Умри пораньше! Не жалей!
Смерть — слово горькое для слуха,
Да разве лучше жизни нить?
И знаешь ли, как гадко жить
Голодной, брошенной старухой!

4

Но дале улицы пустей,
Карет слабее отголосок,
Туман становится густей.
Тут льется Темза. Берег плосок,
Река с свинцовым блеском вод,
Через нее мостов намёт;
Кой-где гнездясь, людские тени
Чернеют в смраде испарений;
К ним страшно близко подойти:
Зловещие, тупые рожи!
Спешит испуганный прохожий
По запоздалому пути,
Почуя в мраке без движенья
Глухие тайны преступленья.

А завтра прозвенит звонок,
Пойдут свистки со всех дорог,
Пойдет вседневная работа;
Торговли гордая забота
Товар громадный двинет свой,
Облитый нищенской слезой
И градом трудового пота.
Все призраки воскреснут вдруг;
Над бедным миром вспрянут власти —
Храня общественный недуг,
И вновь помчится вихрь несчастий...
О род людской! О род людской!
Куда спешишь ты в этом шуме?
Где отдохнет твой мозг больной
На жалком поприще безумий?..

5

И вот в далекие края
Меня влечет воспоминанье,
К тебе, о родина моя!
Где ранней жизни трепетанье
Я детским слухом понимал,
Где я любил, где я страдал,
Где, заглушая все, что больно,
Я тратил юность своевольно,
Как будто мне была она
На веки вечные дана;
Страна, в которой так невольно,
С годами всасываясь в кровь,
Привычкой стала мне любовь
И где оставил я унылых
Немногих близких, сердцу милых,
И множество ненужных лиц,
Да несколько родных гробниц.

Печальной родины природа
Со мной дружна, давно своя...
Привык я долгие дни года
Смотреть на белые поля,
Когда от стужи не трепещет
Морозный воздух, день без туч,
И, рассыпаясь, яркий луч
По снегу искристому блещет,
Иль даль, белеясь при луне,
Мерцает в грустной тишине...
И длится, длится вечер длинный,
Печально бродит отблеск свеч,
И сердцу памятную речь,
Томяся, шепчет дух пустынный.

Но вот смягчен зимы набег
И, тихо грея, солнце пышет,
Теплом дремотный воздух дышит
И тает пожелтевший снег,
И речка, взламывая льдины,
Бурлит и брызжет у плотины.

Вот почернел знакомый путь,
Пробилась робко зелень в поле,
Душистый лист на свежей воле
Спешат деревья развернуть,
И песни вечером веселым
Далеко слышатся по селам;
Перекликанья соловьев
Всю ночь тревожат сумрак сада,
С зарей пастух выводит стадо
На склон прибережных дубров;
Береза свиснувшею сенью
Качается под говор вод;
Пастух объят блаженной ленью
И песню звонкую поет;
Звучит, теряясь безотзывно,
Напев протяжный, заунывный,
А плакать, слушая, легко,
Куда-то смутно мысль несется
И между тем внутри живется
Так бесконечно широко!

6

Но, ближе в жизнь людей вступая,
На томный мир родного края
Иначе взглянешь. Станет жаль;
Все ненавистно, все так больно,
Тяжелый ужас и печаль
Охватят холодом невольно.
Как их безбрежные поля,
Безгласны люди. *От Китая*
До стен недвижного Кремля,
Под диким гнетом изнывая,
Томится русская земля.
Живут и мрут среди смиренья
В молчаньи вялом поколенья.
Молчит запуганный мужик
Под розгой маленьких владык;
Его чиновник грабит смело;
В труде проходит жизнь его
И не приносит ничего,

Проходит тускло... После тело
Кладут, как ветошь, в темный гроб,
Над ним бормочет пьяный поп,
Да бабы вópят... Жизнь бесцветна,
Безрадостна и неприветна;
Смерть равнодушна и дика,
И скорбь на сердце велика!
И тот из нас, кому наука
Раздвинула границы дум,
На привязи свой держит ум,
Снедаем праздностью и скукой.
Кругом помещики-глупцы,
Рабы, нахалы, подлецы,
Попы, мундиры голубые,
Воров казенные полки,
Да меры к лучшему тупые,
Да плеть, да ссылки, да штыки;
И чья-то воля будто правит,
И сверху вниз все давит, давит.
И тесно, тяжело дышать,
И хочется бежать, бежать,
Куда-нибудь уйти скорее
От этой жизни, пытки злее,
Из этой грязи вековой,
От этой родины святой!

7

Уйти? .. Куда? .. В юдоли шумной,
Где люди бéсятся и мрут,
Найдется где-нибудь приют
Свободно-мирный и разумный,
Где жизнь, светла и глубока,
Как величавая река,
Могла б путем несвоенравным
Широко течь в движеньи плавном?
Нет, нет! Нигде приюта нет!
И всюду рабства тощий бред!
Иди чрез снежные вершины
Вечно-величественных гор,
Спустися в свежие долины,
Иль, вырываясь на простор, —

Переплыви в тревоге рьяной
Разлив немолчный океана, —
Везде найдешь один ответ:
Приюта нет! Приюта нет!
Живи под тяжестью терпенья
И с чувством горького презренья
И равнодушием бойца
Жди неизбежного конца.

Да! Смерти строгие картины
В воображении моем
Проходят чередою длинной...
Но при сверканьи роковом
Косы решительного взмаха
Нет ни смущения, ни страха.
Людей предсмертные черты
Теснятся в мир моей мечты:
Ее ль внезапное созданье,
Иль где-то виденного сна
Знакомое припоминанье, —
Но смертью мысль моя полна,
И слышит робкое вниманье
Предсмертной поступи шатанье...

8

Я помню образ молодой —
Борьбы и страсти отпечаток;
В нем бился с внутренней тоской
Могучей юности остаток.
И человек сказал себе:
«Оставим мир его судьбе!
Страданья тягостны и лживы,
И жертвы тщетные смешны:
Мы неги сладостные сны
Осуществим, пока мы живы,
Пока могила не взяла
Холодно-бледного чела».

И наслажденье молодое
На юге дальнем он искал,
Где у подножья желтых скал

Ликует море голубое,
И день сияющ и пышна
Над ночью синею луна.
Лежит на мраморных колоннах
Спокойно замка пышный кров;
Там лики мраморных богов,
Картины в рамках золоченых
И веет запахом цветов.
Кругом зеленый трепет сада;
Снотворно льется в летний зной
Мерно-урчащею струей
Фонтанов свежая прохлада;
С террасы видно — лоно вод
В даль бесконечную идет.

Там — сын неугомонной воли,
Беглец полезного труда,
В который он не верит боле, —
На передсмертные года
Себе причудливо устроил
Приют, где любовался взор
На гармонический простор.
Хоть он и тут не успокоил
Дух затаенной жажды дел,
И тут забыть он не умел
Всей злобы дум непримиримых
Противу зол неисцелимых,
И тут, как безотвязный друг,
Тоски подавленной недуг
Не раз владел его душою,
Не раз за трапезой немою
Бесплодной пеной отшипал
Его нетронутый бокал;
Но он упорно с страстью жадной
Минуты счастия ловил,
И жизни каждый звук отрадный
Ему глубоко внятен был.
Он сладко пел, когда лениво
По зыби трепетной — луной
Посеребренного залива —
Ладья, укачивая, шла
Под плеск нырявшего весла.

Порой в огнях блистала зала,
Гремел оркестр в вечерний час, —
То извиваясь, то резвясь,
Вакханка гибкая плясала...
А он любил. Он торопливо,
Прощаясь с жизнью прихотливой,
Пил с жгучей жаждою в крови
Струи последние любви.
При свете лампы одинокой
В тиши таинственных ночей
Ловил он мягкий шелк кудрей
И ласки девы черноокой,
Дрожанье персей, вздох глубокой
И шепот вкрадчивых речей;
Любовь несытая хотела
Волненья молодого тела,
Чтоб, замирая, близ него
Дыханье жаркое горело,
Чтоб жилка каждая его
И трепетала бы и млела,
И он впадал бы в смутный сон,
Весь упоеньем истомлен.

Он отжил быстро. В час урочный
Он знал, что средства беспомóщны,
Что скоро тайной боли гнет
Натугу тела разобьет.
Ему венком главу обвили,
Его на берег положили,
Откуда видно — лоно вод
В даль бесконечную идет.
Была пора вечеровая,
И мирно погасавший день
Прозрачная сменяла тень;
Ложилась ночь, благоухая.
Склонясь, зеленый дуб шумел,
И звонкий голос песни пел,
И с ними вод морских волненье
В одно сливалось песнопенье;
Ему внимая, замер слух,
Остыла жизнь и взор потух.
Над телом, дремлющим без муки,

Торжественно носились звуки
И пролетела без следа,
Мелькнув, падучая звезда.

9

Но, пропадая в сумрак черный,
Сокрылся юный призрак мой,
И помню образ я иной:
То был спокойный, но упорный
И гордый муж. Уже седой
По бороде сребрился волос,
Но было тихо и светло
Его высокое чело.
Подобья лжи строптивый голос
Со дня рожденья не изрёк;
Печальный взор его был строг
И, ярко в душу проникая,
Казнил, в злодействе уличая.
Он был похож на тех людей
Уже давно минувших дней,
На тех отступников Зевеса
И непоклонников Христа,
Которых строгие уста
В словах простых, но полных веса
Служили только одному
Простому, здравому уму.
Носитель неподкупных истин,
Он не ходил за общий пир,
Ему равно был ненавистен
Прошедший и грядущий мир,
И середь племени чужого
Он ничего не знал родного.
Он видел, как сквозь тьму веков,
Чуждаясь дико мыслей здравых,
Стремится с яростью волков
Толпа мучителей кровавых
И с ними, не глядя куда,
Народов жалкие стада.
И вот уж некуда бежать,
И в бездну упадут народы,

И соберутся бушевать
Все силы дикие природы
С потопом и огнем своим
Над диким племенем людским.
Взойдет на берег новозданный,
Быть может, новый Девкальон,
И новый мир наполнит он
Породою не меньше странной,
И повторять грядущий род
Безумство старое начнет.

Но, видя общее паденье,
Как одинокое явленье
Поодаль гордый муж стоял
И ясность взгляда сохранял,
И ждал в печали величавой,
Чтобы подземных сил привал
Жерло мгновенно разорвал
И мир засыпал жгучей лавой...

10

Но ночь уходит. Фонари
Бледнеют с про́светом зари,
И утро в тягостном покое
Идет туманное, сырое...
Душа устала — и рассвет
Все так же полон духом бед.

1857

СНЫ

Часы старинные в столовой
Пробили полночь. Старый князь,
Всем телом к отдыху готовый,
Стал раздеваться, спать ложась.
С лицом, исполненным боязни,
Как будто ждал заутра казни,
Вокруг заботился слуга
В ливрее, вышитой гербами.
Уже была его перстами
Разута барская нога;
Он волю барскую пугливо
Читал во взгляде, и привык
Ходить на цыпочках, но живо,
И преклоняться молчаливо,
Внимая брань иль грозный крик.
Но вечер весь шел тих и мирен;
Князь в этот раз был вовсе смирен,
И гладко-голое чело
Сияло важно и светло;
Князь чувством счастья был подавлен,
Что утром к ленте был представлен.

В богатой спальне в ту же ночь,
В тот самый час, уже лежала
Под мягким шелком одеяла
Его молоденькая дочь,
На ложе медленно вздыхая,
От тайных дум не засыпая.

И тут же у стены другой,
В постели мягкой гувернантка,
Времен минувших парижанка,
С своей девической душой,
С лицом морщинистым и старым,
С главой, повязанной фуляром,
Жалела, что пора пресечь
Неистощаемую речь.
Все было тихо в этой спальне...
Едва мог долетать до ней,
Как отголосок смутно-дальний,
С морозных улиц скрип саней.
Лампада томная дрожала
И круглый отблеск колебала
На потолке, а снизу тьма
Была докучна и нема.
Сквозь щель опущенной гардины,
Упавшей на две половины,
Насу́против был виден дом,
И кровля длинная на нем
Белелась холодно, уныло;
По ней, печальна и ясна,
Мерцала кроткая луна,
И так все тихо, тихо было,
Что безотчетно сердце ныло.

О чем же думала княжна?
С беды ль прямой иль с небылицы
Так долго медлила она
Сомкнуть усталые ресницы
И по лбу белому порой
Водила медленно рукой?
Зачем тихонько грудь вздыхала,
Зачем нередко выступала
На темносиние глаза
Тоски невольная слеза?
В ее лета воспоминанья
Не шевелят еще страданья,
Легко бы жизнь идти должна...
И где сыскать завидней долю?
И юность, и богатства вволю,
Да и красавица она!

Все это так, княжна не знала,
Чего ей надо, но скучала.
Едва десятки школьных книг —
Забвенья ради — склав на полку,
Она про мертвый их язык,
В котором не добилась толку,
Без муки вспомнить не могла,
И ум ребячески-пытливый
Сгорал в тоске нетерпеливой,
И книг живых она ждала,
И в мгле загадочных стремлений
Искала чудных откровений.
Но не с кем было слова ей
О думе вымолвить своей.
Понять душевную тревогу
Едва ль могла мамзель Приве —
И только шила по канве,
Болтала и молилась богу.
А между тем княжна сама
Не находила тайной битве
Исхода ни в одной молитве;
С отцом она была нема,
Князь вечно сух был и серьезен,
Но вовсе сам не религьезен.
Недавно Мери привезли
Из тишины деревни дальней,
И в шум столичный, говор бальный
Ее — стыдливую — ввели.
Ей было жаль деревни милой,
Ее лесов, ее полей,
И сада липовых аллей,
И речки тихой и унылой;
Была там старой няни дочь
Ее подругой простодушной,
В затеях жизни мирно-скучной
Умела весело помочь;
Хоть Мери с ней не говорила
Про все, но от души любила.
А здесь, между чужих, княжна
Так бесприютна, так одна...
Она любить бы так хотела —
И не любила никого,

А втайне жаждала так смело
Всей жаждой сердца своего
И мысли новой и обильной,
И страсти пламенной и сильной.
Вот отчего ночной порой
На ложе медленной тоской
Томилась Мери, и не знала,
Чего ей надо, но скучала.
А усталь стала брать свое:
Тускнели помыслы девицы
И навевалось забытье,
Сомкнулись длинные ресницы
И неподвижно — как была —
Осталась ручка близ чела;
Сквозь трепет тайного броженья
Подкрались тихо сновиденья
С толпою образов своих,
Бесплотных, странных, но живых.

Ей снилось — теплою струею
Пахнуло воздухом весны,
Долина спит под синей мглою
В сияньи дремлющем луны.
В ночном серебряном покое
Ручья падение живое
Ласкает ухо шумом вод,
Звучат неведомые струны,
И голос сладкий, голос юный,
Весь в душу льющийся, поет:

Роза девственная дремлет
В свежей зелени листов
И в ночи спокойно внемлет
Звуку робких голосов.
Но под утренним приветом,
Под живым лобзаньем дня
Развернется пышным цветом
Роза юная моя,
И в душистом пробужденьи,
В блеске жизни и красы
Заколеблет в упоеньи
Капли светлые росы.

Сбрось, дитя, дремоту ночи,
Чутким сердцем оживи,
Тихо вызови на очи
Слезы счастья и любви!..

Но голос смолк. Долина скрылась,
И быстро в сумраке луна
Дрожит и гаснет... Вдруг княжна
На шумном бале очутилась.
Светло, как днем. Толпа гостей,
Усы, мундиры, фраки, шпоры,
Цветы, перчатки, блеск очей,
Волос роскошные уборы;
Белее томных жемчугов
Красавиц выпуклые плечи;
Все веет запахом духов,
Сквозь общий гул мелькают речи,
И звуки музыки полны
Волшебной негой и стремленьем...
Княжна танцует с увлеченьем;
Вот на нее обращены
Лорнеты, и она невольно
Краснеет и собой довольна.
Но кончен вальс. Княжна глядит
С неясным чувством утомленья.
Madame [1] N. N. вблизи сидит
И с гордостью пренебреженья
На Мери и ее наряд
Завистливый бросает взгляд
И — улыбаясь — вновь отводит
И с кем-то злую речь заводит.
Неловко Мери. К ней подсел
Столичный франт — и надоел;
Несносен говор, воздух душен,
И бал становится ей скучен.
Но вот — мечта, иль тайный звук,
Или предчувствие мелькнуло
И сердце ей пошевельнуло, —
Но Мери встрепенулась вдруг
И смотрит... Из толпы шумливой
Выходит юноша красивый.

---

[1] Мадам (франц.).

Ей кажется, что с нею он
Знаком с младенческих времен...
И где она его встречала?..
И не во сне ль его видала?..
Чело открытое хранит
И смелость дум и гордый вид;
Во взоре ясное сознанье
Какой-то силы молодой,
В себе носящей ключ живой
Прямой любви и состраданья.
Он к ней подходит, говорит,
И в голосе его звучит
Любимой песни или сказки
Знакомый лепет, полный ласки,
И отголосок юных снов
Она внимает в звуке слов:

«Я знаю вас. Я с умиленьем
Следил за вами с детских лет,
На жизни розовый рассвет
Смотрел с безмолвным восхищеньем.
Вы расцветали, как цветок,
Налюбоваться я не мог!
Я все люблю в вас, все движенья,
И цвет волос, и стройность рук,
Улыбки грусть и примиренье,
И вашей речи милый звук;
Глаза... В них столько страсти нежной
И столько кроткой тишины,
Они так сини и темны,
Как небо ночью безмятежной.
Я ваше сердце и ваш ум,
Весь тайный жар и чувств и дум,
Все ваши чистые стремленья,
Все мысли, жгучие сомненья,
Я все в вас знаю, все люблю,
Я вам всю душу отдаю.
Пойдемте вместе дружным ходом;
Как для меня, для вас святы
Мои надежды и мечты;
Вы сердцем связаны с народом;
С отцовской волею борьба

В вас не страшила дух упорный,
Вы заступались за раба,
Встречая власти гнет позорный...
При вас мне на сердце тепло,
Я понимаю так светло
Всю прелесть нежности природной
И силу воли благородной.
И что грядущие года
Для нас готовят в этом мире —
Работу ль, полную плода,
Иль горечь тщетного труда,
Затишье жизни, даль Сибири...
Что б ни было — в чаду тревог,
В глуши безрадостной пустыни —
Любовь нам счастия залог,
И мы найдем в ее святыне
Для сердца теплый уголок».

Ее рука уже лежала
В его руке и крепко жала,
И, чувства больше не тая,
Она шепнула: «Я твоя!»
Кругом в толпе недоуменье,
Шептанье, странное волненье,
Все смотрят точно на пожар,
И Мери страшно и обидно.
Но вот зовет ее гусар
На польку; отказаться стыдно, —
Идет с тревожностью лица,
Но не танцует до конца,
На место прежнее уходит
И... никого там не находит.
Исчез ее желанный друг...
Она дрожит, она бледнеет,
Она собою не владеет,
Глядит с отчаяньем, — и вдруг
Бежит, бежит искать по зале...
Все лицы прежние на бале,
Родных встречает кой-кого,
Но нет его, все нет его!
Вот дева зрелая, недавно
Знакомая, проходит плавно...

«Его вы видели?» — «Кого?» —
«Ах, боже мой! Его, его,
Кого люблю, кого желаю...» —
«Ах, Мери! я его не знаю».
И Мери дале. У дверей
Стоит затянутый лакей;
Ее вопрос его тревожит.
«Вам нужно папеньку, быть может?» —
Он отвечает, и княжна
Уходит прочь, огорчена.
Хозяйка дома ей навстречу:
«Позвольте, Мери, я с трудом
Сама решаюсь, но замечу,
Что вы позорите мой дом».
Но Мери мимо, все печальней...
В диванной старики втроем
Сидят за карточным столом;
Один из них ей сродник дальний,
С губами тонкими старик,
Худой и дерзкий на язык.
Старик держал валет бубновый;
Вдруг Мери, за руку его
Схватив, спросила у него:
«Его вы видели?» — «Да что вы,
Княжна? помилуйте, кого?» —
«Как вам не знать! .. Он благороден,
Так прост в движеньях и свободен,
Так сердцем чист, так в мыслях смел...»
Старик, прищурясь, поглядел
И карты отложил направо,
И улыбнулся так лукаво,
Так губы сжав, что вместо рта
Осталась злостная черта;
Взял табатерку золотую,
Открыл, понюхал и сказал:
«Я, право, в вас не ожидал
Найти проказницу такую.
Его, княжна, я не видал;
Здесь никого нет в этом роде,
И даже, если б было в моде,
Чтобы такие господа
Сюда являлись иногда, —

Вы им не верьте. В них, ей-богу,
Играет кровь на миг один,
А там остынет понемногу,
И хуже тряпки господин
Такой выходит барин смирный —
Ничтожней двойки некозырной».
Едва дослушав до конца
Холодной речи смысл суровый,
Княжна бежит на поиск новый...
Вдруг видит пред собой отца.
Он с кем-то, щегольски одетым,
Чьи бесполезно бровь и глаз
Обеспокоены лорнетом.
«А! отыскали в добрый час!» —
Промолвил старый князь протяжно;
Звезда сияла, и чело
Сияло голо и светло,
И он, взглянув на Мери важно,
Сказал, торжественен и тих:
«Вот это, Мери, твой жених!»
У бедной Мери грудь стеснилась
И закружилась голова,
Она стоять могла едва,
И сердце билось, билось, билось...

А между тем мамзель Приве
Уснула в свой черед недаром,
И в этой старой голове,
Тепло повязанной фуляром,
Свои перебегали сны,
Воспоминания полны.
Сначала снилось ей — сбиралась
Куда-то на вечер она
И перед зеркалом одна
Своим нарядом занималась.
Какая страшная тоска —
Седых волос и невесть сколько!
Их выщипать — дрожит рука!
Ну — просто больно да и только!
Взяла румяны. Боже мой!
О годы! вы неумолимы!
Худые щеки, нос большой,

Следы морщин неисправимы...
Хлопочет, щиплет, мажет, трет,
А дело все нейдет вперед,
И все морщинка уцелела,
И все серебряной игрой
Мелькает волосок седой...
Она задумалась и села.
Уже давно своим трудом,
Твердя Ноэля и Шапсаля,
Она живет — детей печаля,
И не один российский дом
Ей благодарен за уменье
С раскатцем R произносить,
Цветистым слогом говорить
И вздору придавать значенье.
Что ж? Сколотила капитал,
Но он, к несчастию, так мал,
Что, как ни действуй осторожно, —
Жить на проценты невозможно.
А завтра замуж выдь княжна,
Она останется одна,
Без места, без друзей, без крова...
Куда подчас судьба сурова!
«О! где же годы те, когда
Была я тоже молода?..»
И перед ней воспоминанья
Так ясно начали сквозь сон
Вставать из тусклого молчанья,
Что образы иных времен
Совсем воскресли, как живые;
Все люди близкие, родные,
И каждый стул, окно иль дверь —
Все живо вот как бы теперь;
И, видя прежние предметы,
Она сама перед собой
Опять является такой,
Какой была в иные леты.

Вот близ столицы, ей родной,
Дряхлеет монастырь святой
С своей оградой невеселой,
И коридорами, и школой.

Монахинь неослабный взор
За юным женским поколеньем
Здесь держит бдительный надзор;
В саду играет с увлеченьем
Девчонок маленький народ,
И бродят взрослые девицы;
Mam'selle Privé [1] их узнает —
Давно знакомые ей лицы...
Меж ними и сама она;
Она собою недурна,
И стан довольно схвачен ловко,
И очень милая головка
С глазами черными, с косой,
Как ворон черной и густой,
С улыбкой милою, но строгой,
И носом, сгорбленным немного.
Она не прочь бы разделить
Затеи шалости невинной,
Но наперед решилась быть
Всегда послушною и чинной;
К тому ж с подругами она
Не хочет слишком быть дружна,
Хотя и есть в ней непонятный
Избыток нежности к одной
Блондинке рослой и прямой, —
Ну! та породы очень знатной.
Mam'selle Privé ведет себя
Со всеми очень благонравно;
Она и учится исправно,
Напрасно время не губя;
Хотя варьяции и шибки,
Она бренчит их без ошибки;
В науке верует всему,
Чему прикажут, не желая
Навлечь сомнения уму;
Она довольствуется, зная,
Что в небе троица святая,
А в Риме папа, что народ,
Державно милуя, пасет
Король законный — Карл Десятый.

---

[1] Мадмуазель Приве (франц.)

Отчизны истинный отец,
Но смертный; должен наконец
Таким отцом быть Генрих Пятый...
Она, изгнав из сердца грусть,
Все это знает наизусть.
К монастырю, его покою,
Однообразию вещей,
Одежд, занятий и речей —
Хотя и скучно ей порою —
Она привыкла, как в тюрьме
Привыкнуть можно год от году,
Глаз привыкает к полутьме,
Иль ухо к часовому ходу.
И вот ей колокола звон
Звучит сквозь трепет сновиденья...
То час вечернего моленья!
Готовясь на грядущий сон,
Монахини чредою чинной
Вступают в коридор пустынный;
Перед мадонною святой
Горит свеча, и отблеск длинный
Печально борется со тьмой,
И сестры, жертвуя святыне,
Поют (и все немножко в нос,
Как по привычке завелось)
Свою молитву по-латыне.
Но между сестрами одна,
В душе нося любовь святую,
К mam'selle Privé привлечена,
Ей заменяет мать родную,
Ей посвящает каждый труд
Мольбой не занятых минут.
Сестра Тереза ей предстала
Под сенью белой покрывала.
Она в том возрасте, когда
Тревожной юности года,
Разбив души невинной целость,
Уныло переходят в зрелость.
Сосредоточенна, бледна,
В движеньях медленных достойна,
Среди сестер была она
Всегда печальна, но спокойна.

Хоть толки шли в монастыре,
Что, предаваяся хандре,
Она старается напрасно
Забыть обман любви несчастной;
Но никому до этих пор,
В миг откровенности случайной,
Не доверял заветной тайны
Ее нешумный разговор
Или раздумья полный взор.
И если в ней к кому пристрастье
Рождало нежное участье, —
Так это к голубю, давно
К ней прилетавшему в окно.
Святого ль духа образ вечный,
Занятье ль праздности сердечной
Ей были милы, — но его
Она, как друга своего,
Любила, холила, кормила...
И умер он! Она грустила
Сестре подобно иль вдове,
Потом внезапно полюбила —
Как голубя — mam'selle Privé.
И видит дева пожилая,
Лелея отроческий сон
Давно утраченных времен, —
Сестра Тереза, как живая,
Все той же ласковой рукой
Ее уводит за собой.
Мерцает лампа, тихо в келье;
Сестра Тереза речь ведет
О душ загробном новоселье,
О том, как ангелов полет
На крыльях радужных прекрасен,
Как лик их светел, взор их ясен
И сладок голос, как душа
В жилищах горних хороша...
Сестра Тереза бы желала,
Чтобы любимица ее
Заботу мира променяла
На монастырское житье,
Вдали житейского волненья
Нашла бы верный путь спасенья.

В душе mam'selle Privé самой
К сестре Терезе на мгновенье
Мелькает тайное влеченье,
Подобье дружбе молодой
С ее привязанностью нежной,
Как проблеск утра безмятежной;
Но чаще в ней перед сестрой
Иное чувство обладает,
И дружба место уступает
Одной покорности тупой,
Наружно доброй, но сухой.
Ей странны в инокине милой
Усталый и спокойный вид
И лик мечтательно-унылый;
Ей странно, что она глядит
Так грустно, грустно говорит:
«Одна святая вера в бога
Душе способна дать покой.
Ты молода еще, друг мой,
Ты ждешь от жизни очень много...
О! выходя за наш порог,
Ты ждешь и счастья и тревог
Все чрезвычайных и безмерных,
Неслыханных и беспримерных —
А жизнь скупа; ни сильных бед,
Ни счастья сильного в ней нет.
Как лучше объяснить бы это?
Тебе случалось ли одной
Сидеть и слушать... Слышен где-то
Далеко в тишине ночной
Напев, мечтаемый тобой...
И вдруг продребезжит карета,
Спеша по темной мостовой...
Ну что ж? Кареты шум случайный
Не есть же признак грозных бед;
А смолк блаженства голос тайный,
Исчез, исчез, простыл и след!..
Дитя, поверь мне, в жизни света
Найдешь ты именно вот это,
Увидишь — как ни тяжело, —
Что вечно крошечное зло
Настолько счастью помешает,

Что счастья вовсе не бывает,
А зло не важно... Жизнь мелка,
И только скука велика.
Когда же отдаешься богу,
Душа светлеет понемногу...»
Монахине mam'selle Privé,
Вперив недвижный взор, внимает
И ничего не понимает.
У ней все смутно в голове:
Молитва, папа, бог распятый,
Афины, Credo,[1] Рим, символ,
Лагарп, неправильный глагол,
Души бессмертье, Карл Десятый, —
Все это истины; она
Им век останется верна...
Но отчего же постоянно
Сестра Тереза так грустна?
Чего же ждет еще она?
Все это как-то очень странно!
Но вот полгода наконец
Пройдут же — время небольшое —
И в фьякре явится отец
И увезет дитя родное
Из школы скучной и святой
По шумным улицам домой.
Ей платье новое готово,
Она людей увидит снова,
Начнутся танцы, говор, смех...
Ах! может быть, все это грех!..

Но вдруг в монастыре смятенье,
Всех разом охватил испуг:
От города пронесся вдруг
Какой-то гул. Борьба? сраженье?..
Как грома дальнего раскат,
Слышна пальба, трещит набат;
Сестра Люси сама слыхала —
Над садом пуля просвистала;
Весь бледный, сторож прибежал
И весть принес, что Карл Десятый,

[1] Верую (лат., начало символа веры).

Народной силою прижатый,
С престола в Англию бежал;
Все в страхе вытянулись лицы,
Дрожат и сестры и девицы...
Mam'selle Privé сама в бреду
Перевернулась, помычала,
И сны иные грезить стала,
Ловя былое на ходу.

И видит — вот ее отец,
Опрятный, толстенький купец
Со взглядом мило-плутоватым
И носом бойко-крючковатым,
Контору запер и идет,
К обеду весело зовет;
Спешат домашние, теснятся,
И вот за стол они садятся:
Отец, она, еще сестра
Madame Privé, давно покойной —
Она глуха да и стара, —
Еще monsieur Ragout, достойный,
Хотя и юный адвокат,
Еще приказчик и... «Но вряд
Еще кто будет ли?.. Так что же?
Горячий суп всего дороже!
Займемтесь!..» И monsieur Privé
И разливает, и болтает,
Смеется, шутит, угощает;
Хоть крепко помнит в голове
Légion,[1] продетую в петлицу,
Но режет жареную птицу
Отменно быстро и умно...
Вдруг злость в глазах его блеснула:
«Опять на скатерти пятно!»
Mam'selle Privé с ним заодно,
Вскочила с резкостью со стула —
Оскорблена, возмущена,
И позвала слугу она,
И показала, и сказала,
Что раз уж вычет сделан был
За то, что он стакан разбил,

[1] Легион (франц., орден почетного легиона).

Но что вперед, во что б ни стало,
Хоть будь проступок невелик,
Его прогонят в тот же миг.
Monsieur Ragout сидит, вздыхает —
Ее он любит и страдает...
Он демократ! — Ему была
Вся эта сцена как пила
По сердцу...

Но к концу обеда
Живей становится беседа;
Monsieur Privé подать велел
Бордо — и вновь повеселел.
Не ведая сердечной муки,
Самодовольством озарясь,
Себе он потирает руки
И говорит полусмеясь:
«Да, не совсем-то нашу веру
Хранит моя родная дочь;
Но феодальную химеру
Поможет опыт превозмочь.
Пока пускай себе мечтает,
Пускай глядит себе в окно,
Какой виконт там проезжает
Иль дюк... Мне дорого одно:
Она к хозяйству привыкает!
Поверьте мне, mon cher Ragout, [1] —
Я опытен и я не лгу, —
Все это вздор, все это бредни —
Все их Шамборы и обедни;
И славный наш тридцатый год,
Наш коренной переворот —
Он вечность всю переживет!
Была бы собственность священна,
Порядок был бы сохранен,
И будет быстро излечен
Недуг народный совершенно».
Ragout весь вспыхнул и вскочил,
Потом ступил назад три шага
И шаг вперед; в лице отвага;
Он руки на груди скрестил,

---

[1] Мой дорогой Рагу (франц.).

Закинул голову, глазами
Повел восторженно кругом
И начал тихо, но местами
Все голос возвышал потом:
«Клянусь святою тенью Брута
И тенью матери моей,
Прискорбней тысячи смертей
Мне жизни каждая минута!
Нет! нет! Еще не спас народ
Мещанский ваш переворот.
Предвижу ваше я паденье,
Народа новое житье,
Где, сделав общее именье,
Отделят каждому свое.
Была б любовь — и мир свободный
Создаст союз международный;
Вдобавок гильотина есть:
Она ваш узкий беспорядок
В день, в два (положим, в шесть)
В священный приведет порядок.
Недолго Франции народ
Потерпит мнимую свободу, —
Поверьте, не пройдет и году,
И будет вновь переворот!»
Старик вспылил, возникли споры,
И дело чуть нейдет до ссоры,
Кричат, кричат, бранятся... Но
Потом играют в домино,
И вечер дружно, тихо млеет...

Но вот старик Приве бледнеет
И падает... Что, что?.. Глядят,
А он уж мертвый!.. Все молчат.
Ну! мертвый, мертвый совершенно,
Уже и холоден, как лед;
Всех разом ужас обдает,
Стоят, оцепенев мгновенно.
Но вот, жалея и любя,
Mam'selle Privé пришла в себя
И плачет. Вносят гроб дубовый,
И положили старика;
Его отвислая щека

И нос горбатый — вид суровый
Лицу тупому придают.
Проходит несколько минут...
Вослед одетой в траур свите
Священник входит пожилой;
Старуха машет им рукой:
«Тс! тише! — шепчет, — не ходите —
Разбудите! Подите прочь!»
Все шепотом жалеют дочь.
Какой-то господин высокой
Вошел с бумагой и сказал:
«Долгов покойника далеко
Не превышает капитал».
Как? остается волей неба
Mam'selle Privé совсем без хлеба?
Всплеснув руками, тихо к ней
Идет Ragout и шепчет ей:
«Вы сирота и без именья;
Молю любовию святой —
Не отрицайте предложенья
И будьте вы моей женой».
Но, подавляя скорбь и муку,
Она спешит сообразить:
«Виконт предложит, может быть,
Свою породистую руку...»
И вот monsieur Ragout как раз
Она учтиво отклоняет
И, извиняя свой отказ,
Его до двери провожает...

Дверь распахнулась. На дворе
Метель, и снег летит клоками,
Исчезли улицы с домами,
И все темно в ночной поре.
Кругом лежит пустое поле
Под снегом белым, и над ним
Тоскует голосом глухим
Бездомный вихрь, носясь по воле.
Mam'selle Privé одна, в тоске,
Усевшись на свои пожитки,
Дрожит от холода в кибитке.
Сидит ямщик на облучке,

И рядом с ним, качаясь, дремлет
В тулупе, скорчившись, слуга;
Они всё едут, всё вьюга́
Знобит лице и вой подъемлет.
Но наконец — село и дом.
Ямщик к воротам — и въезжает,
Лакей мамзель перед крыльцом
Из-под рогожек вынимает.
Уже в передней от сеней,
Клубясь в пару оледенелом,
Докучный запах вслед за ней
Идет и пахнет в доме целом;
Навстречу барин, весь седой,
В седых усах (он отставной —
В отставку вышел капитаном);
Вот барыня с дебелым станом,
С лицом широким, как луна...
«А где же Варя?.. Вот она!
Вот наша дочка. Что? Лихая?
У вас там встретится ль такая?
Ну, ты, мадам, ее учи,
А бить не смей и не кричи!»
Но звуков языка чужого
Mam'selle Privé не поняла,
А по-французски ни полслова
От них добиться не могла.
И дни проходят... О, страданье!
Mam'selle Privé осуждена
На бесконечное молчанье;
А хочет поболтать она
Хоть с кем-нибудь, хоть бы с соседом...
Уж не бежать ли ей отсель?..
И видит бедная мамзель —
Ее обносят за обедом,
Жалея лакомый кусок;
При ней (о! где терпенью мера!),
Чтоб знала Варенька урок,
Секут Аксютку для примера!
И надо видеть день за днем
В постыдной жизни вечно то же,
И то, что чувствуешь при том,
С морской болезнью как-то схоже!

Но сон таинственной рукой
Меняет скорбную картину
И кажет мирную долину:
Село большое, дом большой
Весь убран на большую ногу;
В нем веет барской стариной.
Mam'selle Privé здесь, слава богу,
Находит роскошь и покой.
Здесь с нею Мери молодая
И бабушка ее больная,
Старушка добрая; она
Приветлива, хоть и больна,
И лучше может по-французски
Вести беседу, чем по-русски.
Породу барскую любя,
Mam'selle Privé здесь совершенно
Как дома чувствует себя
И предается постепенно
Беспрерывной суете,
Девичьей старости черте;
Она всегда гостей встречает,
Хозяйку заменив собой,
И, не смолкая, день-деньской
С утра до вечера болтает
О том о сем, о прошлых днях,
Погоде, кушанье, чепцах,
Грехе, молитве сердобольной...
Перерываяся едва,
Как бисер нижутся слова.
Порою Мери как-то больно
Звучит вся эта болтовня,
И все несносней день от дня,
И говорит она невольно,
С досады внутренней дрожа:
«Mam'selle Privé, побойтесь бога!
Мне голос ваш и вся тревога
Как по тарелке скрип ножа!»
Mam'selle Privé не отвечает
И барский дом не оставляет.
Но вот приехал старый князь;
С больной старушкой согласясь —

Как ей ни жаль, — он дочь девицу
С mam'selle Privé везет в столицу.
Внезапно у mam'selle Privé
Мечта мелькнула в голове,
Что ей бы надо потрудиться
И в князя старого влюбиться,
Что он не стар и что она,
Хотя в летах, но недурна.
И вот она хлопочет страстно,
И притворяется несчастной,
И все вертится вкруг него,
Но князь не видит ничего;
Едва-едва сухим ответом
Почтит ее вопрос пустой,
Иль покивает головой,
Иль с гордым и немым приветом
Из табатерки золотой
С алмазной, яркою каймой
И императорским портретом —
В безмолвьи, сродном старику,
Понюхать даст ей табаку.
И, князя собственной особой
Прельстить нисколько не успев,
Mam'selle Privé притихла с злобой,
Обычной сердцу старых дев.

Но вдруг из двери потаенной
Выходит мальчик молодой,
За ним и дядька пожилой,
Наружности весьма почтенной,
В простом, но чистом сюртуке,
В очках и черном парике.
Mam'selle Privé глядит, дивится...
«Неужто! Как могло случиться?
Monsieur Ragout? Какой судьбой?..»
Француз протягивает руку
И говорит, скрывая муку:
«Как видите, — удел такой!» —
«Но двадцать лет, как мы расстались!» —
«Да, да! С тех пор как не видались
Мы с вами, — многое прошло,
И в Франции есть перемена!..

Но верьте мне, чем больше зло,
Тем чище выйдем мы из плена,
И гильотина наконец
Положит дерзостям конец.
Уж в эмиграции свободной
Начат союз международный,
Поверьте — году не пройдет,
И будет вновь переворот».
Но погрузилась в размышленье
Mam'selle Privé. Прошло мгновенье —
Она французу говорит:
«Да! мне теперь все стало ясно!
Нас друг для друга бог хранит, —
Женитесь! Я теперь согласна».
Француз оторопел — и вдруг
Бежать пустился во весь дух;
Она за ним быстрее птицы,
С парадной лестницы и в дверь,
Бегут с крыльца, бегут теперь
Уже по улицам столицы...
Навстречу ветер им свистит,
С monsieur Ragout парик летит,
С самой mam'selle Privé — как тряпка
Свалилась шаль, упала шляпка.
Она бежит, она спешит,
Пять, шесть шагов, — чуть не догнала,
Но сердце в грудь стучит, стучит,
Дыханье давит и теснит,
И шаг еще — она б упала...

Но тут проснулась и привстала.
На тощий локоть оперлась,
Глядит: княжна приподнялась,
И обе смотрят друг на друга.
«Что с вами, Мери? Вы больны?» —
«Нет, ничего... во сне... с испуга...» —
«И! спите с богом! что за сны!» —
И в лихорадке от волненья
Ложатся обе и молчат
И друг от друга сновиденья
В бессонном ужасе таят.

И снова все затихло в спальне...
Уже не долетал до ней,
Как отголосок смутно-дальний,
С пустынных улиц скрип саней.
Лампада томная дрожала
И круглый отблеск колебала
На потолке, а снизу тьма
Была докучна и нема.
Сквозь щель опущенной гардины,
Упавшей на две половины,
Опять был виден тот же дом,
И кровля снежная на нем
Белелась холодно, уныло;
По ней, печальна и ясна,
Мерцала кроткая луна,
И все так тихо, тихо было,
Что безотчетно сердце ныло.

<1857>

РОВЕСНИКИ

Предисловие

В часы, когда над сонною землей
Безмолвия летает ангел мирный, —
Во мне еще не дремлет голос лирный;
Таинственно я слышу в тьме ночной
И ритма звук, и мерное паденье,
И звонких рифм согласное движенье.
Я образы стараюсь подстеречь
Сквозь легкий пар прозрачного тумана.
Но как начать? Я не придумал плана...
Единством я намерен пренебречь
И чувствую, что́ рассержу всю школу,
Но наобум пишу — по произволу.
Единства я и в жизни нахожу
Не больше, чем в картинной галерее,
Где невзначай иль по своей затее
В унынии я медленно брожу
От блудных нимф к мадоннам кротко-строгим,
От грустных жертв к сатирам козлоногим.
Кто собрал их недружные черты
Под длинный свод безвыходного зданья?
Что нужды в том? Отстать от созерцанья
Я не могу. А скорбные мечты
Раздумьем мне всё портят поневоле...
Но от него уйти не в нашей воле,
Оно внутри и требует язык.

Но к предисловиям я не привык —
И потому без церемоний сразу
Я приступлю торжественно к рассказу.

Глава первая

1

Числа и дня, когда был мой герой
Рожден на свет в Москве первопрестольной, —
Не помню я... Я сам был той порой
Иль очень мал, иль вовсе произвольно
Существовал — не в качестве лица,
А в помыслах у моего отца,
Мечтавшего о сыне небывалом,
Что вырастет он штатским генералом.

2

Наверно я скажу, что мой герой
Уже весной тринадцатого года
Мог с молоком мещанки молодой
Всосать всю славу русского народа.
Достойный год! Сам немец, ободрясь,
Выглядывал героем из-за нас,
И солнце первого Наполеона
Скрывалося за тучностью Бурбона.

3

Насчет крестин героя моего
Предание подробное хранится [1]
Отчасти в метриках — и из того,
Что мог я сам узнать от очевидца;
А оный муж приходским был дьячком
И сам тогда купель доставил в дом,
И сам ревел со всей басовой силой —
«Аминь», «подаждь» и «господи помилуй».

4

Родильница лежала в день крестин
В постели пышной, так сказать парадной,

[1] Читай: хранитца. — *Прим. Огарева*

Под сенью желтой шелковых гардин,
Была бледна отчасти, но нарядна.
Все гости ей дарили на зубок —
Кто золотой, кто только пятачок,
И под подушку каждый, друг преданью,
Сложил свой дар, смотря по состоянью.

5

Ровнехонько перед обедом в час
Купель была поставлена в столовой,
Где сонм гостей, в волнении теснясь,
Рассматривал обряд не вовсе новый.
Воспринимали же (и тут родство —
А не каприз — решило кумовство)
Лет под сорок девица и мужчина,
Иван Фомич и тетушка Арина.

6

Три раза поп проворно в святость влаг
Младенца окунул. Кричал ребенок
И морщился, и красен был как рак,
И, мокрый весь, дрожал, — так что с пеленок
Как бы ручей иль некий дождик шел
Святой воды на тетушкин подол,
Хоть мне дьячок, ребячью зная прыткость,
Упоминал и про иную жидкость.

7

Но как назвать героя моего,
Отец и мать решали три недели;
Ну! Как назвать? В честь именно кого?
Отец хотел его назвать Савелий
В честь своего отца, но думал — тесть,
Того гляди, обидится как есть,
И наконец был сын с большим усильем
В святом крещеньи наречен Васильем.

8

Но тетушка, стараясь быть мила,
Хоть молодость исчезла невозвратно, —
Смеялася и плюнуть не могла,
От дьявола отрекшись троекратно,
И думали иные не шутя,
Что черт смутит со временем дитя;
Иван Фомич, напротив, вот как дунул,
Что даже свистнул и серьезно плюнул.

9

Отец был рад; старался доказать,
Что весь в него младенец первородный,
Потом нашел, что он похож на мать;
Но мой дьячок, как скептик благородный,
Нашел, что он почти что без волос,
Слюноточив, подслеповат, курнос,
Ну, словом, так, как все бывают дети
После рожденья в день второй иль третий.

10

Обряду вслед крестинный был обед
Со стерлядью, шампанским и желеем;
Но сведений у нас подробных нет,
Нам ничего (и мы весьма жалеем)
Не сообщил дьячок о пире том:
Конечно, поп обедал за столом,
Но сам дьячок, чин чина почитая,
В буфете ел и пил, не унывая.

11

Василий! да! Фамилья же громка,
Сказать ее — поступок неприличен,
А выдумать — задача нелегка:
Как быть? Герой мой мелодраматичен;
На *ов* — боюсь — все пошлы имена,
На *ский* — взойдешь в чужие племена;
Оставить же нельзя мне без фамильи:
Рассердятся все прочие Васильи.

12

Конец на *ин* мне кажется нежней
Всех остальных; ну, например: Понурин?
Отличное название, ей-ей!
И звук его в стихе весьма недурен.
Да! я забыл: герой мой не один,
Я многих звал принять геройский чин.
Враги! Друзья! сбирайтесь понемногу,
Всем укажу приличную дорогу.

13

Но полно! мне наскучил этот тон,
И шутка, вдруг испуганная думой,
Бежит, бежит за дальний небосклон,
Где облака сбираются угрюмо,
Всё серые, сырые облака;
В их очерках ищу издалека
Я смутное подобие с чертами
Знакомых лиц, тускнеющих с годами.

14

И образы, чьи помню я черты,
Еще так полные живых движений, —
Колеблются и вялы и пусты,
Как призраки унылых сновидений.
Мне кажется, я холодно брожу
Между могил и мертвецов бужу,
И вот они, задорны и кичливы,
Опять встают и лгут, что будто живы.

15

Зачем ты лжешь, знакомый мне мертвец?
Давно растратил ты живые силы.
Взгляни, иль сам пощупай наконец —
Твой мозг заглох, не бьются кровью жилы...
Застыла мысль в понятиях тупых,
Ты хвастаешь сознаньем чувств живых,
Ты отжил век неясный и бесплодный,
Умей понять, что ты мертвец холодный!

16

Я чувствую кругом себя одно:
Предвечный нуль мне веет пустотою
В том, что прошло недавно иль давно,
В том, что пройдет своею чередою,
И тщетно я на дне души моей
Поверить бы хотел в живых людей, —
Невольно в них я вижу только тени
Минующих, ненужных поколений.

17

Но, признаюсь, — рассказ мой о нуле
Не новое, а только повторенье;
Уже о нем в какой-то поздней мгле
Я говорил... Но к черту извиненье,
Я знаю, что, сердяся иль любя,
Давно привык я повторять себя...
Естественно — все мысль одна и та же
Мне давит мозг — и с каждым днем все гаже.

18

А иногда от мысли роковой
Способен я широко оторваться,
И хочется или в глуши степной,
Или в лесу беспечно затеряться;
Без рассуждений там бы все глядел
И наслаждался бы, иль даже б пел
Про тишину, любовь или свободу —
Все потому, что я люблю природу.

19

Но перейдем теперь к иной судьбе:
В тот год, в тот день, в губернии далекой,
В простой, гнилой, бревенчатой избе
Рожден на свет был мальчик одинской;
Отец с утра отправился пахать;
Без помощи родя, томилась мать,
Пока на крик соседка-старушонка
Взошла, крестясь, и приняла ребенка.

20

Все счастливо. Старушка сгоряча,
Ни гроша взять за труд не помышляя,
Без устали болтала, хлопоча:
«Аксиньюшка! Ложись, ложись, родная!
Я вымою, и в люльку уложу,
И люльку возле на шест привяжу...»
И, прослезясь в волнении веселом,
Глаза отерла масленым подолом.

21

Приехал муж; казалося, был рад,
Пошел к попу и долго торговался,
И долго поп никак не шел на лад
И на двугривенный не соглашался:
Дай четвертак! и дал мужик, кряхтя.
Поп окрестил, не утопив дитя,
Хоть и пришел он в церковь полупьяным;
Младенец же был наречен Иваном.

22

Мужик жене сказал: «Спасибо сын,
То есть в дому у нас теперь работник;
Господня воля! Был я все один,
А он у нас, пожалуй, выйдет плотник».
Но мужика раздумие брало:
Пока сын мал — кормить-то тяжело;
А делать нечего — купил косушку,
И выпил сам, и угостил старушку.

23

И вот они так ясны предо мной,
Знакомые две эти колыбели;
В одной дитя свободно день-деньской
Кричит себе близ шелковой постели;
Другая же, повиснув с потолка,
Безжалостно качаема — пока
Младенец тощий смолкнет без движенья,
Впадая в сон от качки с одуренья.

24

Вкруг первой нянек глупая семья,
А близ другой, в раздольи грязноватом,
Спросонок хрюкая, дает свинья
Себя сосать голодным поросятам.
А жизнь и тут и там одна и та ж,
И у ребят одна и та же блажь,
И как пойдут два ровные начала
Вперед и врознь — понять бы не мешало.

25

Но кончу тут я первую главу:
Рожденье есть болезнь, а детство тупо,
И долго длить начальную канву,
Я думаю, что даже было б глупо.
Пускай крестит или хоронит поп,
Родятся ли или идут во гроб, —
Но я займусь вот этим колебаньем
Меж первым голодом и издыханьем.

26

Не знаю я, куда пойдут они,
Новорожденные мои герои,
Коротки их иль долги будут дни,
Полна ли жизнь иль так себе — пустое,
И кто из них иль прытче, иль смирней...
Но вот теперь что мне всего страшней:
Что наслажденье (кто к нему не падок?) —
Уже само болезненный припадок.

27

И я боюсь за этих двух детей!
Я вызвал их: куда ж толкнет волненье
Порывов чистых и слепых страстей,
И ясных дум, и смутного броженья?
Куда б ни шло, я не солгу ни в чем,
Как мне ни жаль, что жизненным путем
Меж люлькою и гробом колебанье
Шутя идет, как тяжкое страданье.

Глава вторая

1

В глуши степной, когда посыплет снег
И белое кругом замерзнет поле, —
Помещику, рожденному средь нег,
Становится уныло поневоле.
Что занесло его в пустую дичь?
Долги, долги — господской жизни бич!
Хозяйничать помещик уезжает
И думает, что честь свою спасает.

2

Так поступил и Васенькин отец;
А маменька... как имя?.. Лизавета...
По батюшке — не вспомню наконец,
Да кажется, что и не нужно это.
По матушке — у нас выходит брань,
По батюшке — все тоже как-то дрянь:
Васильевна, Федотьевна, Сергевна —
Нехорошо, хоть будь она царевна.

3

То был октябрь. Ужасная пора!
Замерзнет вдруг, потом опять растает;
В чем выехать не знаешь со двора —
В коляске ли, в санях ли — черт их знает.
Но барин все ж поехал по полям,
Все обозреть он лично хочет сам,
Все веря в мощь помещичьего взора;
А озими растут и без надзора.

<Не окончено>

1857

NOCTURNO[1]

Das Tragische in Leben ist
das Gefühl des Nichts.

(Brief eines Reisenden)[2]

Уже и за полночь давно!
Домой иду я одиноко —
Безмолвно, пусто и темно
На нашей улице широкой...
И длинной... так что днем иди —
Конца не видно впереди.
Теперь не встретишь ни собаки!
И даже самый альгвазил,
Наемный друг гнетущих сил,
Враг бедняка, смиритель драки,
Прогулкой не тревожа слух,
Таится, как незримый дух.
И даже нищий мой, который
Здесь негу сна вкушать любил,
Занять ночлег не приходил
На тротуаре у забора.
Есть фонари, но так бледны,
Как будто только зажжены,
Чтоб показать, какой глухою
Вкруг них все веет темнотою;
Да звезды сверху между крыш
Дивятся на ночную тишь.

---

[1] Ноктюрн

[2] Трагическое в жизни есть ощущение небытия. Письмо одного путешественника (нем.).

Звучит мой шаг во тьме унылой,
И этот звук так пуст и дик,
Что если б я себе на миг
Дал волю — мне бы страшно было.
Стоят высокие дома,
По окнам странный лоск блуждает,
Как будто в них мерцает тьма, —
И этот лоск напоминает
Взгляд незакрытых, мертвых глаз,
Где жизни луч уже погас,
А что-то чудится живое,
Но неприязненно немое.

Вот виден свет в одном окне;
Свеча в печальной тишине
Сквозь стору трепетно мерцает;
По сторе чья-то тень блуждает.
Кто ты, безвестный мой сосед?
Зачем не спишь ты в эту пору?
Какое чувство горьких бед
Мешает сном сомкнуться взору?
А про меня, быть может, ты
Подумал: «Что там за скиталец,
Какой непрошенный страдалец
Протяжным шагом о плиты
Нарушил мир моей мечты?»
Кто ж говорит, что я страдаю?..
Мне весело. Иду домой
С беседы милой и живой.
Там были шумны разговоры;
О важных лицах и делах,
О самых выспренних вещах
Велися ревностные споры.
Мне было весело! Со мной
Один философ записной
Проспорил целый час о боге.
Он сам далек от той мечты,
Чтоб средь небесной пустоты,
Где по затверженной дороге
Блуждает мерно хор светил, —
Вообразить себе, чтоб жил
Какой-то барин, учредитель,

Мирских напастей управитель;
Но говорит весьма умно,
Что все есть что-то, что должно
Признать за бога, что украдкой
На дне всего живет в тиши —
Что это нужно для порядка
И для бессмертия души.
А я, ни в мир не веря вышний,
Ни в дно вещей, — я отрицал;
Я попросту ему сказал,
Что это что-то вовсе лишне.
Он спорил рьяно, мудрено,
Я спорил холодно и сухо;
Его понятье — мне смешно,
Мое — ему шло мимо уха,
Так что могли б мы без труда
С ним и не спорить никогда;
Но было весело! — А дамы
Решили, что всего страшней
Касаться до святых вещей,
Что установленной программы
Держаться лучше потому,
Что с ней покойнее уму,
Приятней сердцу, без сомненья,
Да и полезно для спасенья.
Исполнен внутренних тревог,
Меж дам, которых тут я встретил,
Одну внезапно я заметил
И глаз отвесть с нее не мог.
Улыбки кроткой безмятежность
И взора вкрадчивая нежность
Напоминала мне тот лик,
Который я любить привык
Когда-то, в молодые годы,
В дни поэтической свободы...
Мне было весело, и вдруг
Мной страшный овладел недуг;
Я чувствовал, что жизни сила,
Что сердца жизнь во мне остыла,
Что сердце выдохлось давно,
Как незамкнутое вино...
Так что ж? Пускай! Есть жизнь иная,

Иная цель передо мной,
И, труд достойный совершая,
Я занят мыслию иной —
Все — благо общее и дело...
Тут юноша подсел ко мне,
Глядит так бодро и так смело,
Пророчит в жгучей болтовне,
Не спотыкаясь о сомненье,
Народов юное движенье...
А я ему сказал в ответ,
Что это вздор — надежды нет,
Чтоб ехал он в глухие степи
Искать иные племена;
Для тех, на ком преданий цепи,
Жизнь кончена, порешена...
И самому мне стало больно,
Как я убил его невольно!
Но занял нас иной предмет —
Потом — за позднею бутылкой:
Что́ лучше, спрашивалось пылко,
Clos de Vougeot [1] или Моэт?
Я предпочел неукоснело
Бургундское; огонь его
Мне кажется дружней всего
С печалью гордой мысли зрелой...

Но речь идет не обо мне:
Ты что, сосед неугомонный,
Свечи не гасишь в тишине,
Томим тревогою бессонной?
Что ты — жалеешь или ждешь?
Грустишь о прошлом или веришь?
Или упорно лицемеришь
И мир особый создаешь?
Быть может, не прожив с полвека,
Ты хоронил уже не раз
Душе родного человека
И сна не знаешь в поздний час?
Напрасно! Никакою силой
Не воскресишь; не спи ночей,

---

[1] Кло де Вужо (франц., сорт вина).

Ворочай в памяти своей
Любимый образ, голос милый, —
Все невозвратно, и могила,
Землей засыпав темный свод,
Безмолвных жертв не отдает.

А может, в возраст тот завидный
Едва вступая, где слегка
На верхней гу́бе пух чуть видный
Крутит надменная рука, —
Ты так влюблен, что спать не можешь,
Огнем трепещешь и горишь,
И имя милое твердишь,
И воздух дремлющий тревожишь!
Как знать? Она ль начнет черед,
Иль ты разлюбишь наперед,
Иль страсть в сожитьи охладеет
И скука жизнью свладеет? . .
Но что-нибудь из этих бед
Придет же, бедный мой сосед,
Хоть ты теперь и полный веры
Не спишь, блаженствуя без меры.
А может быть, ты нелюбим?
И только страстью одинокой,
Тоской и ревностью томим,
И о красавице жестокой
Упорно думая всю ночь,
Сна врачеванье гонишь прочь?
Да! эта страсть продлится годы;
Таков закон ее природы.
Затем, что человек упрям
И жадно льнет к своим мечтам,
И любит с тайным напряженьем
Дразнить себя пустым волненьем.
Увидишь после многих лет,
Что страсть была ненужный бред.

Но я с чего ж воображенью
Дал ход, как мальчик иль хвастун?
С чего я взял, что ты так юн?
А ты, назло такому мненью,

Муж достославный по всему,
И по летам, и по уму:
И брови с проседью нависли,
И опыт дал здоровость мысли,
И ночь безмолвная без сна
Тобой труду посвящена —
Ты пишешь новое творенье,
Где есть загадке разрешенье,
Где ты откроешь нам пути,
Как человечество спасти.
Трудись, спеши, спасай скорее,
Недуг все с каждым днем страшнее!
Над книгой ночь не станет спать
Со временем твой почитатель,
Завета нового искатель,
Чтобы наш мир пересоздать,
И сам, от горя изнывая,
Умрет, тебя благословляя.

А может, ты, подобно мне,
Трудиться любишь в тишине
Над рифмой, и, с немым вниманьем
Занявшись строчек окончаньем,
Грызешь с досады до утра
Конец усталого пера?..
Все для того, чтоб как-то чудно
Сказать без нужды кой-кому —
Как в жизни тяжело уму,
Как сердцу горестно и трудно!
Чтоб тот, кто примется читать
Уныло-звучную тетрадь,
Едва вкусив самозабвенье,
Опять почувствовал мученье,
Опять бы в сердце мог начать
Живые раны растравлять!
Занятье истинно благое
И стоит, чтоб ночей не спать.

А если ты совсем иное?
Ты, может быть, больной старик
И, морщась, сдерживаешь крик?

Ценя терпение тупое —
Скучаешь так, как не скучал
Никто из нравственных начал?..
И ждешь: науки представитель,
Приедет доктор, твой спаситель...
Не верь ему, не жди его,
Наука только для того,
Чтоб нерв ощупать уязвлённый —
Коснуться пальцем до него,
Понять болезни ход законный —
И только, больше ничего!
Пора, старик неугомонный,
Чтоб напоследок понял ты
Всю власть бездонной пустоты,
В которой тени жизни бродят,
Родятся люди, люди мрут,
Народы в битвах век проводят
И гибнут... новые растут.
Пойми, следя всех дел теченье,
Нуля предвечного движенье,
И в этой мысли ты, друг мой,
Сыщи незыблемый покой,
Чтоб ни болезни, ни печали
Уже твой ум не возмущали.

Но вдруг он погасил свечу, —
И остаюсь я одинокой
На нашей улице широкой...
Чего я жду? чего хочу?
Зари ль улыбки жду целебной?
Но все темно, но все враждебно...
Пойду домой — тревожный нрав
Спокоить в усыпленном теле...
А может быть, сосед был прав —
И я страдаю в самом деле!

1857

МАТВЕЙ РАДАЕВ

Посвящение

И день прошел! Я наконец один,
Моей мечты бесспорный господин.
Какую цель ей в тьме ночной поставлю?
Куда полет задумчивый направлю?
О! знаю, знаю! .. Как ни отучай,
К гнезду летит затерянная птица
На родину! Как будто чуждый край —
Просторная, но грустная темница!
Нет, нет! Тебе с тоскующей мечтой
Не совладать, изгнанник добровольный!
Ей нужды нет, легко тебе иль больно,
Вспорхнет себе и полетит домой.
И там, бродя в кругу воспоминаний,
Упрямая, отыскивать начнет
Картины тусклые — народный гнет,
Унынье лиц, безмолвие страданий...
А сердце — сердце глухо задрожит,
Холодный зноб по телу пробежит.
Иль вдруг мечта, вниманье напрягая,
Подслушает внутри родного края
Живую жизнь, и с вестию весны
Над родиной с лазурной вышины
В сияньи утра крыльями забьется
И песнию серебряной зальется;
А сердце, веруя, на звук живой
Откликнется тревогой молодой.

Продержит ли, озарена денницей,
Моя мечта свой радостный полет,
Иль с высоты подстреленною птицей
Она на степь безмолвную падет,
И сердце с всей горячею любовью
Заглохнет вовсе, обливаясь кровью:
Что б ни было — придется ль отпевать
Умерших заживо, у их постели
Весь пошлый хлам их жизни поднимать,
Иль песни петь у новой колыбели, —
Что б ни было — за чуждые края
На родину лети, мечта моя,
И с трепетом надежды и кручины
Отыскивай знакомые картины...

Часть первая

ПРЕДАНИЕ

1

Вдоль снежной улицы забор,
За ним широкий белый двор;
Между людскими и сараем,
До окон снегом заметаем,
Приземистый господский дом;
Навес дощатый над крыльцом.
В передней свечка нагорела;
На койке, прислонясь к стене,
Без развлечений и без дела
Лакей храпит в неровном сне.
В столовой пусто; втихомолку
Блуждает лампы тощий свет,
Часы стенные без умолку
Снотворно стукают: да — нет...
В гостиной пусто и печально:
Перед диваном стол овальный,
Горят две свечи на столе;
Уныло креслы в полумгле,
Пустые ручки простирая,

Кругом стоят, как бы взывая —
Когда же кто, о небеса!
Одушевляя круг наш тесный,
В объятья наши полновесно
Опустит тучные мяса! —
Но их взыванье безответно...
Один, свидетель тишины,
Какой-то барин со стены,
Вперед склонясь едва заметно,
Недвижен в раме золотой,
Лукаво смотрит, как живой,
С улыбкой черствой, желчно-важен,
Во фраке, чопорно приглажен,
И в белом галстуке с узлом
Под красной лентою с крестом.
Но возле, в комнате угольной,
По взгляду первому невольно
Узнает каждый этот лик:
Высокий сгорбленный старик —
Да, это он! Хоть старей много,
Но тот же взгляд лукаво-строгой.
Немало, знать, мелькнуло лет
С тех пор, как писан был портрет!
Теперь и голова седая,
Улыбка, съежась, стала злая,
Наморщен лоб, нависла бровь,
И вместо фрака, пригревая
Уже дряхлеющую кровь,
Надет пальто, да потеплее;
Одно как прежде — крест на шее.
Старик за письменным столом
Сидит, в расчеты погруженный;
Пред ним бумаги лист, кругом
Исписанный и разграфленный;
Следит за цифрой зоркий взгляд,
По счетам пальцами сухими
Рука, скользя из ряду в ряд,
Стучит кружками костяными.
Хотя б один сторонний звук!..
И слышно в тишине суровой
Все только счетов беглый стук
Да ровный ход часов в столовой.

И время крадется вперед...
Старик проверил свой приход,
Рука притихла, смолкли счеты;
Часы в столовой, из дремоты
С внезапным шипом пробудясь,
Пробили звонко девять раз,
И снова с мерностью упорной
Пошли постукивать снотворно.
Морщины жесткого чела
Старик, насупясь, грозно сдвинул
И счеты в сторону откинул,
Взял колокольчик со стола,
Звонит... звонит... Но нет ответа;
Трепещет гневная рука...
Вдруг, будто пущен из лука́
Иль выстрелен из пистолета,
Лакей бежит, стучит, бежит —
И стал в дверях у кабинета.
Старик в лицо ему глядит,
И у лакея дрожь-злодейка
Прошла по телу беглой змейкой.
«А ты ходи, да не стучи!
Добром вас, видно, не учи!
Все спишь, мошенник! Розгу знаешь?
Иль ты ее позабываешь?
Напомнить, что ли? Говори:
Напомнить?.. То-то же — смотри!
Позвать бурмистра!» — Вслед урока
Лакей на цыпочках ушел,
Как бы боясь попортить пол,
И было слышно издалека,
Как взвизгнул блок во весь размах
И дверью скрипнуло в сенях.
Старик встает, как тень сухая,
И, ровно, медленно шагая
По комнатам взад и вперед,
В углах свершая поворот,
Блуждает, точно дух пустынный
В тиши обители старинной,
И вторит шороху шагов
Глухое стуканье часов.
Пришел бурмистр и стал в столовой,

А барин ходит и молчит;
Всегда грозы боязя новой,
Мужик опасливо глядит,
То робко ноги переставит,
Погладит бороду, вздохнет,
Иль кашлянет, кушак поправит,
Или, бледнея, пальцы мнет.
Соскучившись прогулкой мерной,
Подходит барин наконец:
«Ну что? Приехал твой купец?» —
«Ждем с часу на час. Будет верно». —
«Ты у меня смотри, подлец,
Надуть меня с ним хочешь вместе? ..» —
«Как можно-с! Провались на месте. . .» —
«Задаток в руки, — и смотри,
Чтоб было у всего обоза
Зерно получше сверху воза,
А дрянь, что ни на есть, внутри;
Да улучай и день приема,
Когда купца не будет дома». —
«Кузьма просился на базар. . .» —
«Забыл, чем пахнет полугар?
Али он сечен не был сроду?
Не сметь! Назначь его в подводу.
Пошел!» — И вышел вон мужик.
Опять молчанье дом объемлет,
Опять лакей на койке дремлет,
Опять по комнатам старик
Пошел бродить, как дух пустынный
В тиши обители старинной,
И снова шорханье шагов,
И снова стуканье часов,
И в вечер зимний, вечер длинный
Вас так и давит и гнетет
Глухое чувство тайной муки,
Тоски подавленной и скуки,
И время крадется вперед.
А на дворе свое молчанье,
На небе месяц и светло,
По снегу робкое мерцанье,
Морозно, пусто и бело.
В саду деревья седы, голы,

Стоят недвижные их стволы,
Все сучья кверху устремив,
Как будто и у них порыв
Какой-то был, покуда жили,
Да тут же навек и застыли.
И ни вблизи, ни сдалека,
Среди безмолвия глухого,
Не чуешь ничего живого,
И давит страшная тоска.

Так жизнь тянулась годы, годы,
Сегодня так же, как вчера, —
Старик считал свои приходы,
Все так же длились вечера.
Из службы выгнанный когда-то,
Но верный цели всех трудов —
Копил он постоянно злато
В деревне, купленной с торгов.
Все прочее считал за шалость;
В хозяйстве видя идеал,
Он к мужику не ведал жалость,
Давил работою и драл;
В замену взяток, с страстью новой
Он полюбил обман торговый,
Любил процессы по судам
Вести кривой дорогой сам;
С своим соседом и соседкой
Не ладя — он видался редко;
Из слабостей мирских к одной
Благоговение питая,
На шее крест носил он свой,
В уединеньи выжидая:
Заедет ли купец какой
В недружелюбную трущобу, —
Чтобы тотча́с перед собой,
Взглянув, почувствовал особу;
Иль навернется как-нибудь
Судья ли, член ли непременный, —
Не преминул бы униженно
«Превосходительство» ввернуть;
Но эта слабость мимоходом
Шла, не вредя любви к доходам.

Кому старик и для чего
Копил с безумием недуга?
Бог весть! Ни сродника, ни друга
Не появлялось у него.
Хотя в ребячестве когда-то
Он знал двоюродного брата,
Но жизнь их врозь пошла давно,
И что с ним сталось — все равно.
Одно живое наслажденье —
Что год, то прикупить именье,
Одна томительная страсть —
Нажив и мелочная власть...
И жил старик, как дух пустынный,
В тиши обители старинной,
И все дряхлел из году в год,
И напоследок в свой черед
Он умер как-то незаметно,
Скупую жизнь дожив бездетно.
И долго после грустный дом
Между людскими и сараем,
До окон снегом заметаем,
Стоял в забвении глухом.
Лишь месяц, по небу гуляя,
Сквозь сучья голые блеснув
И робко в окна заглянув,
Лучом по комнатам блуждая,
Бросал безмолвно мертвый свет
На неколеблемый портрет.
Часы молчат, свеча задута,
Лакей ушел, и дверь замкнута,
В дому нигде не шелохнет,
И время крадется вперед...

2

Раз у околицы, зимою,
В пустую даль через ухаб
Седой мужик глядел и зяб,
И слушал с робкою тоскою —
Кого с утра господь сулит?..
А колокольчик все звенит,

То притихая по сугробью,
То заливаясь мелкой дробью,
Все громче, громче... Вот вдали,
По следу узкому, как свора,
Теснится тройка, с косогора
Катя в серебряной пыли.
Вот съехала, вот близко, близко...
И вот, в ухаб ударясь низко,
Кибитка, вымахнув с прыжка,
Мелькнула мимо мужика,
Его оставив без движенья
С раскрытым ртом от удивленья,
Летит селом во весь опор;
Вот перед ней рябит забор,
И вот, качнувшись с поворота,
Она в скрипящие ворота
Нырнула на господский двор,
И колокольчик, замирая,
Смолк у крыльца. Слуга спрыгнул
И, полость мерзлую стряхая,
Ее проворно отстегнул;
И что-то там внутри кибитки,
Вглубь, под рогоженный навес
Совсем ушедшее в пожитки,
Закопошилось, и полез
Тяжелым зверем из берлоги,
С трудом выпутывая ноги,
Какой-то барин, или груз,
Где только шуба, да картуз, —
И в дом пошел. Его впуская,
Отверзлась с визгом дверь сенная;
Лакей, вкушавший негу сна
На койке в оны времена,
Воскрес опять; с заботой новой
Часы опомнились в столовой,
Портрет безмолвно со стены
Встречал движенье новизны.
Но кто же гость неприглашенный?
С какого горя вздумал он
Нарушить многолетний сон,
И вносит в дом неблагосклонный
Заботу чуждую свою?

Не хочет ли для перемены
Вдохнуть в замолкнувшие стены
Он жизни резвую струю?
Или, покойнику подобно,
Найдет, что и ему удобно
Здесь молча жить из года в год,
И все попрежнему пойдет,
И в жизни все одно и то же
Потянется, на смерть похоже?

Приезжий снял не без труда
Одежду зимнюю в передней,
И вышел барин хоть куда —
В пальто коротком, ростом средний,
Ни худ, ни толст, и в тех годах,
Когда седин мороз осенний
Не серебрится в волосах,
А нежный цвет поры весенней
Уже навек сбежал с лица,
Достигла юность до конца;
Черты все резки, нет уж боле
В глазах веселости живой,
В улыбке мягкости родной,
И втайне спросишь поневоле,
Пред человеком становясь:
Что это сердце — скорбно ль, пусто ль?
Что тут — раздумье или усталь?
Как жизни ломка пронеслась?
Здоровость сил ли в нем созрела
И ринется в живое дело;
Иль только жизнью дан ему
Бесплодный холод ко всему?

Слуга приезжего спокойно
С ним обращался и достойно,
Покорно звал: Матвей Ильич;
Но все ж стремглав, дрожа заране,
Не бегал на господский клич.
На принесенном чемодане,
На медной маленькой доске,
В мудреных буквах чуждых краев,

Хотя на русском языке,
Читалось явственно: Радаев.

Радаев наскоро спросил
(Что сделал всякий бы с дороги,
Устав от грязи и тревоги)
Умыться и белье сменил,
Напился чаю, сну предался
И за обедом доказал,
Что бурь житейских грозный шквал
Его желудка не касался
И свято человек хранит
В юдоли бед свой аппетит.
Удобств желание имея,
Радаев пересилил лень —
Взяв в помощь старого лакея,
Свой дом устроил в тот же день:
Столы и стулья переставил,
Слуге приезжему убрать
Велел пожитки и кровать,
И книг запас в тот шкаф прибавил,
Где молча жил из году в год
Законов многотомный свод —
Покойника в уединеньи
Одно усидчивое чтенье.
Потом по ящикам в столах
Радаев стал, порядка ради,
Раскладывать свои тетради
И письма в связках и листах,
Где почерк мелок, буквы дружно
Толпятся, жмутся в тесноте,
И много сердцу было нужно
Сказать на маленьком листе.

Но рано день склонился томный,
Настал и вечер длинный, темный.
Была, как в прежни времена,
В столовой лампа зажжена,
В гостиной свечи. Дом устроен,
Радаев мог уж быть спокоен
И отпустил усталых слуг,
Чтоб дать им отдых и досуг;

Иль, может быть, хоть тут уж мало
Людолюбивого начала,
Хотелось наконец ему
Остаться просто одному.

Какая тишь! Как одиноко!..
Как близко ждешь ударов рока!
Почти что страшно — эта тьма,
В окно глядящая докучно,
В углах бродящая беззвучно...
Весь этот дом... Что он? Тюрьма?
И где исход из заточенья?
Где звук хоть дальний искупленья?
Здесь даже прошлым не могло
Повеять как-нибудь тепло...
Портрет двоюродного дяди!
Старик век прожил не любя,
Глядел на одного себя...
И вот, наследственности ради,
Закона странного путем
Попал Радаев в этот дом.
Он дяди не знавал и сроду,
Ему старик, и дом его,
И жизнь его вся год от году
Не представляла ничего.
Здесь не было воспоминаний, —
Того знакомого следа
Былых людей, живых преданий,
Неизгладимых никогда.
Здесь тихо детскому веселью
Ничей не радовался глаз;
Никто, с любовию склонясь,
Не пел над детской колыбелью,
Никто здесь по полу порой
Шагов знакомых не направил;
Никто на вещи ни одной
Прикосновенья не оставил;
На что ни взглянет он — ему
Чужое все во всем дому́.
И только то ему известно,
Что дядя нажил грабежом

И что наследовать по нем
Почти что даже и нечестно.

Тоска, тоска! Невольно тут
Радаев стал искать приют
Среди иных воспоминаний,
Среди своих родных преданий,
И образы тут вспомнил он
Иных людей, иных сторон.
Он вспомнил, как во дни забавы,
Когда он мальчик был кудрявый,
Чтоб слабый возраст охранять,
Ему сопутствовала мать,
Высокая, со станом стройным,
С лицом задумчиво-спокойным
И лаской в голосе самом.
Он вспомнил, как она сидела,
Он на коленях перед ней,
Не отводил с нее очей,
Часы глядел бы, день бы целый;
Пускай не мог он понимать,
Но взоры детские искали
На кротком лике разгадать
Значенье думы и печали.
Раз он застал ее в слезах;
Отец его, веселый малый,
На этот раз, как полинялый,
Стоял с газетою в руках.
Они тревожно разговоры
Вели всё шепотом, как воры.
Речь шла, как месяц уж тому
Горячкой умер царь в Крыму,
А в Петербурге в день присяги
Был бунт, исполненный отваги.
Полк вышел чуть не на заре
И стал на площади в каре —
Готов на смерть и жаждет воли.
Не надо больше рабской доли!
Ребята! Стойте в добрый час,
Святая Русь помянет вас!
Царь пушки выдвинул. Солдату,
Казалось, грех стрелять по брату.

Но дан приказ, свистит картечь,
Телам на снег пришлося лечь.
Сомкнись! Каре, привычный к строю,
Сомкнулся суженной стеною.
Ребята! Стойте в добрый час,
Святая Русь помянет вас!
Залп, залп — и сила одолела,
Шатнулися, погибло дело.

Мать плакала, отец умолк.
Ребенок, сам не понимая,
Шептал: помянет Русь святая! . .
Потом что день, то больше толк
Ходил в народе боязливо;
Жандармов шлют без перерыва:
Тот в крепости, тот ночью взят;
Вот матери любимый брат
Захвачен был в Украйне дальней,
И дома день от дня печальней.
Ребенок ужасом объят,
С ума нейдет все этот дядя,
Он к ним недавно приезжал
В мундире, с саблей; тихо гладя
По голове, его ласкал:
«Будь, милый мальчик, друг народа,
А там уж, что ни суждено,
Погибнешь, нет ли — все равно;
Благослови тебя свобода!»
А при гостях — он так кричал,
Так как-то резко выражался,
Старик с звездой его боялся
И, втайне злясь, при нем молчал.

Потом прошло еще с полгода,
Цвела зеленая природа,
И было лето, и дитя
В саду резвилося шутя.
Вдруг весть достигла дальним слухом:
Окончен суд — и пятерых
Повесили, всех сильных духом,
Повесили тихонько их,

Так, знаете, чуть рассветало,
Чтоб говора не возбуждало.
Других в цепях в Сибирь везут,
И дядя с ними тоже тут.
Ребенка обдал тайный трепет,
Кругом он слышал робкий лепет:
Повесили... Сибирь... в цепях...
Везут... и дядя в рудниках.
А сердце женское изныло,
И мать не вынесла беду,
Она слегла: звала в бреду
Свое дитя и говорила:
«Мой сын, мой сын, храни, храни,
Храни завет страдальцев сильных,
Людей повешенных и ссыльных —
Сыны отечества они...
Дитя мое, храни, храни!..»
Смолк голос, сила упадала,
В девятый день ее не стало...
Лицо как мрамор, бледный лоб,
Попы и пенье, свечи, гроб...
Радаев вскрикнул. Все, что было,
Так ярко память воскресила.
Душа его потрясена,
Живая дрогнула струна:
Так вот оно — его преданье!
Вот праотцы! Вот завещанье!
О! Тут с былым святая связь
Внутри его не порвалась.
Пусть все вокруг пока чужое,
Внутри преданье есть живое,
Ему в дни скорби и труда
Не изменял он никогда.
Пусть тьма ночная глухо бродит,
Метель тоскливо песнь заводит, —
Он чувствует, что сохранил
Упорство воли, бодрость сил;
А много в жизни шумнокрылой
Прошло и мыслей и страстей,
Ошибок, слабостей, скорбей,
Падений горьких взмахов силы,

И все ж еще, назло судьбе,
Не утомился он в борьбе.

Он вспоминал про годы школы,
И резвых мальчиков семью,
И про латинские глаголы,
Про дружбу первую свою,
Про безотчетное стремленье
И юной мысли пробужденье,
И как, сквозь школьный хлам теснясь,
На свежий путь она рвалась.
Сначала в школе шло свободно
И обращались благородно,
Без оскорблений, и с детьми
Учтивы были, как с людьми.
Но хуже было год от году,
И юных помыслов свободу
Покрой казармы вытеснял.
Пошли предательство, нахальство,
Дух чести голову склонял
Перед понятием начальства.
И много отроков тогда,
В года надежд и ожиданий,
Почти что в детские года,
Вдались в тоску без упований,
И только кто в душе подлец —
Был мира счастливый жилец.
И где друзья общины школьной,
Товарищи весны привольной,
Делившие между собой
Порывы жизни молодой,
И первый пыл негодованья,
И робкой мысли начинанья,
Восторги, скорбь, надежды, труд
И прелесть искренних минут?
Все разбрелися как попало,
Их жизнь по свету разметала...
Блаженны те, кого уж нет,
Кто в гроб сошел во цвете лет
Без грязных пятен, сердца жара
Не заглушив в чаду угара,
И не торгуя, как иной,

Своей душевной чистотой
За деньги, барство, блеск столицы,
За блюдо царской чечевицы.
Кто ж уцелел? Да, редкий тот,
Кто мог в себе сквозь скорбь и гнет
Спасти завет страдальцев сильных,
Людей повешенных и ссыльных.
И все оно, везде оно —
Преданье чистое одно.

Радаев вспомнил, как, в угоду
Отцу, служил он больше году
В блестящем городе Петра,
В одном из зданий многолюдных,
В одном из заведений чудных,
Где пишут с самого утра,
Спешат без смысла и без срока
С неугомонностью потока
Справлять дела, дела, дела,
Решения добра и зла,
Свершенные по воле царской
Порядком дури канцелярской.
Радаеву навеял сплин
Ход государственных пружин...
Царя он видел на параде
В тугом воинственном наряде;
Огромный рост и зверский взгляд,
И лоб, откинутый назад,
Все, что могла создать казарма,
Все дико выразилось в нем,
Совокупив в одно с царем
России главного жандарма.
Царь на параде всех распек
За беспокойство конских ног
И ускакал так гордо, смело,
Как бы свершил святое дело.
Радаев ясно мог понять,
Что тут нельзя спасенья ждать,
«Боюсь свободы» — надпись эта
На знамя царское надета;
Как прежде в школе, так везде
Он видел — в войске и везде

Росло предательство, нахальство,
Тупела мысль и мозг дичал,
Дух чести голову склонял
Перед понятием начальства.
И Русь жила в суровой тьме,
И было душно, как в тюрьме.

Радаев с жизнью не свыкался;
Весь чад тревоги городской,
Бездушной, дикой и пустой,
Его томил, он задыхался,
Рвался на волю, и уйти
Хотел с служебного пути.
Но чувство увлекло иное
Его в те памятные дни:
Искало сердце молодое
Любви и счастья, — и они,
Они пришли тепло и ясно,
Со всей мечтательностью страстной,
С всем мягким воздухом весны,
Где мирно слиты жизнь и сны.

Радаев вспомнил утро мая:
Прогулку раннюю свершая
В садах лицея вместе с ней,
Он шел под сению ветвей.
Как солнце весело вставало
И блеском розовым сияло,
И как светла была вода
Спокойно-гладкого пруда,
В студеной влаге отражая
И вглубь отрадно погружая
Верхи деревьев и кустов,
Как пахло свежестью листов,
Густая зелень чуть шептала,
Роса блестела и дрожала,
А в сердце что за полнота!
Любовь просилась на уста,
И пролетел как бы украдкой
Влюбленной речи лепет сладкой.
Радаев помнил... <*не дописано*>

Пожатье беленькой руки
И личко, полное участья,
Улыбку счастья, слезы счастья.
О! как хорош, как чист был он,
Сердечной жизни первый сон.
И все надежды, все страданье,
Свое заветное преданье,
Весь мир своих любимых грез
В свою любовь Радаев внес,
И сердце девичье, казалось,
На все созвучно отзывалось,
И силы вызвала любовь,
И в жизнь поверилося вновь.
И чем же кончилось все это?
Жениться — рано, там и тут
Отцы согласья не дадут...
В мечтах любви промчалось лето,
Нашелся в Питере зимой
У Вареньки жених другой,
Три года старше и богаче;
Радаев близок был ему
По направленью и уму, —
Но Варя разочла иначе
И к другу сердца в пять-шесть дней
Заметно стала холодней.
О дружбе говорила только,
А о любви уже нисколько,
И стала требовать совет:
Идти ей замуж или нет?
Удар был дан по самой ране;
Радаев помнил, как в тумане, —
Он, сам не зная как, тогда
Пролепетал: конечно, — да!
Потом он помнил: вкруг налоя,
Взяв роль шута или героя,
Венец над милой головой
Носил он собственной рукой;
Потом в санях скакал он прытко
По темным улицам в метель,
И дома, изнуренный пыткой,
Рыдая, бросился в постель.
У! вдруг как пусто в жизни стало,

Как будто умер кто и он
Вернулся с чьих-то похорон.
Иль это что-то умирало
Внутри его, и в цвете сил
Свое он сердце хоронил?
Как все предметы стали бледны!
Как все надежды стали бедны!
Да и на чем он строил их
В мечтах восторженных своих?
Кругом осталось все как было,
Все так же пóшло, так же гнило,
Все так же канцелярский ход
Вертел уродливой машины
Самодержавные пружины,
Карал за мысль, душил народ.
Все так же точно в адской пляске
Перед глазами вдаль и вблизь
Фигуры дикие неслись.
И дикий царь в античной каске,
И в каске дикий генерал,
Квартальный, князь, фурьер придворный, —
Все в касках мчались наповал:
Всё римляне, народ задорный;
Их жизни жизнь, их цель, их честь —
Простого смертного заесть;
А тут директор в вицмундире,
Наглец и раб во всей красе.
Ну! где ж спасенье в этом мире?
Все надоело, всё и все.
И даже тот, как бишь, писатель,
Сухой учености искатель,
Молчалин родом, но нахал,
Который важно утверждал,
Что нам нужны, как драгоценность,
Умеренность и постепенность.

Радаев службу наконец
Оставил, жаждал воли, воли. . .
Куда? — в Москву уехать, что ли?
Там жил тогда его отец,
В своем вдовстве давно утешен
Тем, что был сильно многогрешен.

Он сыну нехотя урок
Прочел слегка и не в упрек
Сказал, что он не одобряет
Отставки, что поступок глуп,
Но, впрочем, жил бы сам как знает, —
И, засмеясь, поехал в клуб,
Где ставил мазы на валета
От ранней ночи до рассвета.

Но из среды воспоминанья
На миг Радаев отвлечен
Был мыслью странного свиданья...
Да! Вареньку увидит он:
Она теперь его соседка,
В деревне с мужем здесь живет,
Верст за десять, — уж пятый год —
С детьми... чай, стала, как наседка,
И хлопотлива и жирна...
А будет встреча их смешна!
Но он насмешкою презренья
Не омрачит прошедших дней
И взглянет с чувством примиренья
На грезы юности своей.
Так в полдень душный, в вечер мглистый
Отрадно вспомнить про рассвет,
Про утро с свежестью душистой,
Про теплый солнечный привет.
Не все ж на женскую измену
Досаду детскую питать,
Когда он сам... Но тут опять,
Уставя взор в пустую стену,
Радаев начал проводить
Былого прерванную нить.

В Москве его ждала иная
Беда, безумная, тупая...
Удар судьбы! Беды страстей,
Как ни жестоки, но сносней;
Их ждешь, как молнии с грозою,
А тут, как ни бери в расчет
Причин и следствий стройный ход,
А все ж судьба перед тобою —

Топор слепого палача,
Безумно рубящий сплеча.
Радаев доблестного друга,
Товарища <*не дописано*>
И мыслью сильного бойца
Застал под властию недуга
В чахотке — месяц жить навряд...
Чуть внятный шепот, мутный взгляд,
Лица и тела исхудалость,
И беспокойство и усталость, —
Страшна она, страшна, дика
Людей предсмертная тоска!
Все кончилось... еще могила!
Так молод, а уже идти
Пришлось на жизненном пути
Как по кладбищу, и уныло,
В туман и мглу глядя вперед,
Считать, кого недостает.
Что ж это? Вот не стало друга,
Мечта любви унесена,
Как в тень юркну́вшая волна,
И средь безвыходного круга —
Где жизнь лепечет жалкий бред —
Оплот потерян, веры нет...
Свободы гордое призванье,
Его заветное преданье —
Оно не нужно никому,
Все придышалися к ярму.
Он чувствовал, что траур носит
И по своим и по чужим,
Равно по мертвым и живым,
Тоска души покоя просит;
В Москве не по себе ему
В ленивом, легоньком шуму.
И с наступившею весною
Он в путь пустился поскорей
В деревню, где он рос дитею,
К приюту мирных, кротких дней,
К могиле матери своей...

<*Не окончено*>

1856—1858

ТЮРЬМА

(Отрывок из моих воспоминаний)

1

Мне было двадцать лет едва,
Кровь горячо текла по жилам,
Трудилась пылко голова
И все казалося по силам:
Жизнь мира, будущность людей —
Все было тут... Но в мысли каждой
Свободы благородной жаждой
Я был проникнут до ногтей.
Враг угнетателей бездарных
И просветителей коварных, —
Я верил здравому уму,
Но не завету ничьему.
И было в доблестном безверьи,
В бесстрашьи мысли молодой —
Поболее любви живой,
Чем в их холодном лицемерьи.

2

Широкий, плоский двор. Кругом
Забор с решеткою железной,
Середь двора высокий дом,
Где век проводят бесполезно
Полки замученных солдат,
Всю жизнь готовясь на парад.

Покои — точно коридоры —
Темны и длинны; тускло взоры
Кроватей видят два ряда;
На каждой войлок безобразный,
В ночи унылой отдых грязный
За днем бесплодного труда,
А воздух там и сперт и смраден...
Нет! век солдата не отраден! —
Бывало, утром, на заре —
Глядишь в окно на двор широкий,
А уж ученье на дворе,
То есть один дурак высокий
В ряд ставит двадцать дураков
И, под рычанье глупых слов,
Шагать их учит, чтоб не смели
Пошевельнуться головой,
Ну! чтобы так ходить умели —
Как и не ходит род людской.
С какою радостью приятной,
С какою злобой непонятной —
Противной даже во враге —
Он бил солдата по ноге!
И я глядел с немой тоскою,
И скорбно думал той порою —
Точь-в-точь как думаю теперь, —
Что человек — ужасный зверь.

8

Но возле комнат этих длинных,
Там было комнат пять едва
В длину шести-семиаршинных,
А в ширину, быть может, в два.
В одну из них меня квартальный
Привез в полночи час печальный.
Зачем не днем? Как это знать?
Так... все таинственности ради,
Чтоб арестанта запугать,
Признаний выманить тетради;
Но никакой расчет пройдох
Не мог застать меня врасплох.
По воле предписаний диких,

В одной из комнат невеликих
Я очутился взаперти.
Кровать да стол, да стул убогий,
Да, чтобы я не мог уйти,
Был часовой поставлен строгий
У двери, запертой на ключ,
Как будто я был так могуч,
Что мог бы вырваться оттуда
Без сверхъестественного чуда.
Но тут не все: в двери окно,
И часовому знать дано,
Чтоб он смотрел — зачем, не знаю, —
Что я в тюрьме предпринимаю,
И он в окно смотрел не раз,
Безумно веруя в приказ.

Но не имели впечатленья
На жизнь мою в тюрьме моей
Все эти мелкие гоненья
Моих невинных палачей.
Мой сторож стал мне добрым другом;
Привычный властвовать испугом,
Перед смотрителем он лгал, —
Я все имел, чего желал.
Из угля делал я чернилы;
Писал на что хватало силы;
Скажу себе я не в укор:
Писал я, вероятно, вздор;
Но я — поклонник Сен-Симона —
Тогда грядущего закона
От всей душевной полноты
Чертил отважные черты.
Писал — не с тем, чтобы таиться,
Нет! перед подленьким судом
Я вдохновенным языком
Безумно думал обличиться,
Всю мысль был высказать готов
Пред сонмом хитрых пошлецов.
Порой среди ночного бденья,
Глухого полный вдохновенья —
Я в старой библии гадал
И только жаждал и мечтал,

Чтоб вышли мне по воле рока —
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.
Мне не забыть во век веков
Безумно-сладостных часов,
Когда царя тупая сила
Во мне живую жизнь будила.

4

Среди восторга тайных дум
Порой я чувствовал глубоко —
Как тяжело жить одиноко,
И становился я угрюм.
Но мне отрады луч в неволе
Блеснул: в неделю раз, не боле,
Ко мне мой дядя ездить стал;
Его я вправду уважал.
Свободы был бы он оратор
В иной, не рабской стороне;
У нас он только был сенатор,
Был враг душевной кривизне,
А все же прожил век бесплодно,
В борьбе средь мелкого труда, —
Как то бывает завсегда
Там, где и мыслить несвободно.
Мир праху твоему, старик!
Успех был мал, а труд велик.
Когда тебе в воспоминанье
Из глаз моих слеза текла,
Невольной скорби воздаянье,
Поверь — она всегда была
И откровенна и тепла.

5

Еще я помню посещенье...
У нас гусарский полк стоял;
Бывало конное ученье,
И часто средь двора кричал,
Забавно, голосом пискливым,
Красуясь на коне ретивом,
Огромный, толстый генерал.

Раз, недовольный эскадроном,
С отчаянья, почти со стоном
Взглянул он кверху — к небесам,
Но до небес на полдороге,
Взор останавливая строгий
На окнах, — у одной из рам
Он, арестанта наблюдая,
Дивяся, вдруг узнал меня.
С отцом знакомство вспоминая
И долг приличия ценя,
Он тотчас до́был позволенье
И посетил мою тюрьму.
Пришлось его благоволенье
Прискорбным сердцу моему!
Он был, конечно, малый честный,
По кавалерии известный,
Но долгом счел он мне урок
Прочесть, похожий на упрек.
Бранил и очень оскорблялся —
Зачем в тюрьму я так попался,
Зачем любил моих друзей,
Зачем не понял жизни всей,
К чему весь образ мыслей вольный?..
Вот он — знакомств имел довольно,
Знакомства почитал за честь,
А друга не хотел завесть;
Зато — как доблести ни малы —
А вышел скоро в генералы,
И если б был я не простак —
И мне бы надо делать так.
Я ж молча думал: «Без участья,
Без чувств, без мыслей и без счастья,
И даже, может, без похвал —
Помрешь ты, глупый генерал!»

6

Приходит (хоть не очень чинно)
В воспоминание мое —
Как бабы на веревке длинной
Сушили мокрое белье.

Одна из них мое вниманье
Влекла, не знаю почему:
Волос ли русых колебанье
Пришлось по нраву моему,
Иль глаз лазурных взгляд унылой,
Смотревших грустно на меня,
Иль тихий свет улыбки милой,
Как утро радостного дня, —
Но что-то к ней меня манило...
То были ль призраки любви,
Иль просто жар бродил в крови, —
Но часто ночью мне мечталось,
Что дверь тихонько отворялась
И робко шла ко мне она —
Голубоокая жена,
И вдруг бросалась мне на шею,
Я счастлив, я дохнуть не смею...
И, увидав, что это сон,
Я был глубоко удручен.
Свечу печально зажигая,
С постели трепетно вставая,
Я строгость мысли призывал
И снова в библии гадал,
Чтоб вышли мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

7

Но капитан, казарм смотритель,
Порою друг, порой гонитель,
С меня немного взятки взяв,
Вдруг возымел приятный нрав,
К себе стал в гости звать нередко,
Поил недорогим вином;
Его супруга, как наседка,
Сидела с нами вечерком,
Кудахтая о чем-то сложно,
О том, что жить едва возможно,
Все дорого... Чтоб лучше жить,
Мне им бы надо пособить...
Четы уныло гарнизонной
Я не хочу винить никак:

Все ж капитан мой благосклонный
Был малый добрый, но бедняк.
Но, боже мой, как скучно было
К нему ходить! И как меня
Его присутствие томило —
Грустней печальнейшего дня,
Как с ними час побыв, ей-богу,
Стремился я в свою берлогу,
Чтоб о грядущем, одинок,
Я вновь свободно думать мог.

8

Шли дни за днями следом скучным;
Уже за летом пыльно-душным
Дожди осенние пошли;
Потом, остынув, с неба тучи
Накинули поверх земли
В холодных хлопьях снег сыпучий,
И побелел широкий двор.
Все стало пусто, молчаливо,
И только редко видел взор,
Как офицер нетерпеливый
В санях к подъезду сквозь метель
Спешил, закутавшись в шинель.
Терялось время в скуке дикой,
Хоть и трудилась голова...
Но праздник наступал великой —
И вот канун был Рождества.
Вдруг входит сторож в час полночный...
«Как? — говорит, — ты, барин мой,
И в праздник будешь так же точно —
Один, как каторжный какой?
Вздор, вздор! Никто мешать не смеет,
Пойдем в казарму... Нипочем
Нам часовой. Пойдем вдвоем
Так просто, смелым бог владеет.
Поверь, в казарме всяк солдат
Тебе, как другу, будет рад».
Вот пропустил, хоть и заметил,
Нас часовой, так раза два
Тревожно кашлянув едва.

Солдат меня в казарме встретил
И обнял, а потом другой,
И сам фельдфебель обнял братски...
Я был им брат, был им родной.
Да! это праздник был солдатский
И праздник истинный был мой!
В казарме длинной колебались
Лучи лампады, чуть блестя,
Со мной солдаты обнимались,
А я — я плакал, как дитя!

Хотя порой фельдфебель грозный
В побоях видит долг серьезный,
Хоть косо смотрит часовой
На узника, боясь побой,
Но все ж солдат наш и незлобен,
Да и к шпионству неспособен,
Не смотрят братья мужика
На угнетенных свысока.
Пускай француз, поклонник власти,
Народ рабочий рвет на части,
Пусть немец, воин-патриот,
Бездушно душит свой народ
Из чувства дисциплины глупой;
Но все вы, генералы от —
Чего угодно, — свой расчет
У нас ведете очень тупо:
Рожден солдат наш добряком,
Не встанет брат противу брата,
И не удастся палачом
Вам сделать русского солдата!

9

Когда ж вернулся я в тюрьму
И мне пришлось быть одному
В ночи безмолвной и унылой —
Не пал я духом. Новой силой
Я был исполнен... Миг святой!
То было тайное сознанье,

Что я народу не чужой! —
Что мне тюрьма и что изгнанье? . .
Весь этот пошлый вздор пройдет,
И час придет, и час пробьет —
Мы свергнем рабской жизни муку —
И мне мужик протянет руку.
Вот что мне надо! Для того
Готов стерпеть я без печали
Тюрьму и ссылку в страшной дали,
И все мне это ничего.

Но спать не мог я от волненья
И стал в раздумьи у окна:
Какой мороз и тишина!
Широкий двор средь запустенья
Лежал весь белый, и луна
Над ним светилася, бледна.
Могилой веяло. . . Шагая,
Один метался, как живой,
Себя упорно согревая,
Пред воротами часовой.
Я с тайным чувством содроганья
Смотрел на снег, на лунный свет, —
Как будто нет нам упованья,
Как будто выхода нам нет!
Мы на людском пиру не гости,
Кровь наша стынет, мерзнут кости,
И гробовая тишина
Судьбою нам обречена.

Не ночь одну в тоске глубокой,
Без сна глядя на двор широкой,
На мертвый снег, на лунный свет, —
Я думал, что надежды нет!
Но чтоб разрушить власть могилы,
Сбирал все внутренние силы
И в старой библии гадал,
И снова жаждал и мечтал,
Чтоб вышли мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

С тех пор прошло так много лет,
Царь Николай — как был — в мундире
И не лишенный эполет,
Гниет себе в подземном мире;
Давно мой толстый генерал
Прилично богу дух отдал,
И капитан мой, при кончине,
Чай, в гроб сошел в майорском чине.
А я, выносливый певец,
Тружусь посильно издалека,
Уже без гордости пророка,
Но тот же искренний боец,
Тружусь, чтоб стали наконец
И правосудье и свобода —
Уделом русского народа.

1857—1858

РАССКАЗ ЭТАПНОГО ОФИЦЕРА

1

Да! право, бедность лишь одна
Заставить может службу эту,
Кряхтя, вычерпывать до дна,
Не изведя себя со свету;
Не хуже каторги она.
А как тут быть? Чуть из пеленок,
Совсем дурак, совсем ребенок, —
А мать кричит: «Ступай служить,
Мы нищие, нам надо жить! . .»
Ну! и пошел. Пять лет в тревоге
Хожу все по одной дороге.
Я малый добрый, господа!
Готов кутнуть... А иногда
У нас дела такого сорту,
Что все бы бросил, ну их к черту!

Вот хоть недавно: на ночлег
Пригнал я партию. Ей-богу,
Устал. Прошел, хоть и не в бег,
А все ж не малую дорогу.
Прилег. Вдруг слышу — меж собой,
Прикованных рука с рукой,
Бранятся двое — хоть до драки.
Вскочил, кричу: «Ах вы, собаки!
Молчать! Вот я вас, дураки!
Чуть пикнете — скую вас строже,
В такие завинчу тиски...

Эй! свечку! Дай взглянуть им в рожи!»
Пришел и сторож со свечой;
Смотрю — сидят передо мной,
Молчат. Один — пожалуй, молод,
Но ряб и рыж; зато кулак
Здоровый — что железный молот...
Другой пожиже — так, мозгляк.
«С чего вы, чертово отродье?»
А рыжий мне: «Я — ничего,
Я смирен, ваше благородье;
Все это он, — приструнь его». —
«Ты что, пострел? Вишь, прыть какая!
Кажись, фигура небольшая,
Силенки, чай-то, ни на грош,
Туда же в драку лезет тож!
Чего тебе?» Мозгляк сварливый
Приподнял голову лениво,
И на меня он посмотрел
Так как-то грустно, так уныло,
Что индо сердце защемило
И словно я оторопел.
«Чего тебе?» — его я снова
Хотел спросить весьма сурово,
Но чувствую, что голос мой
Стал будто мягче сам собой.
А он в ответ: «К кому хотите
Меня прикуйте, хоть к двоим;
Но с ним меня вы развяжите,
Мне страшно — я не свыкнусь с ним».
Тут рыжий, рот скосив, нагнулся
И мелким смехом усмехнулся.
А я стою — совсем дурак —
Гляжу и, сам не знаю как,
Сказал: «Эх, братец, жаль мне, право,
Но сам я не имею права;
Пожди до города, скажу
Полковнику — и развяжу».

Поутру, выспавшись обычно,
Подумал: это неспроста;
Кажись, я человек привычный —
С чего ж напала доброта?

Достойно ль это офицера?
Чего я им смотрел в глаза
И не отвесил, для примера,
Им ни единого туза?
Все это странно... «Эй, ребята!
У кабака вас угощу;
Но даром не бывает трата,
За это вот что с вас взыщу:
Рассказывай смотри — как было,
Все без утайки, черт возьми!
За что в Сибирь вас угодило?
За что наказаны плетьми?»

2

Вот рыжий начал: «Что же, барин!
За водку буду благодарен,
Да и корысти нет скрывать:
Своей судьбы не миновать,
Стыдиться тоже мне несродно, —
Так расскажу вам что угодно.
Я у отца был старший сын;
Отец мой, родом мещанин,
Торговлю вел чем ни попало —
Веревки, деготь, мыло, сало, —
Так в городишке небольшом
Лавчонку содержал с трудом.
Мы всё бедняли с каждым годом;
Не то чтоб чай водился с медом,
Спасибо скажешь, не взыщи,
За хлеб да за пустые щи.
Мы, дети, оставались босы;
Отец придет из кабака,
Да мать почнет таскать за косы
И нам, не то чтобы слегка,
Даст мимоходом тумака.
Я рос в нужде, в тревоге дикой,
Завистлив, зол и плут великой,
И думал: скоро ты большой,
Такую жизнь себе устрой —
Чего ни спросишь, тут и было б
Всего бы вволю, ешь да пей!

Тебя тронуть никто не смей,
А сам других, пожалуй, бей,
Все нипочем, все с рук сходило б.
Вина захочешь — наливай!
Пей до упаду, дна не знай!
Закуску надо? — не хлопочешь,
Идешь к купцу, берешь что хочешь,
Звенишь тяжелою мошной —
Все золотой да золотой!
А у купца есть дочь-девица,
Кровь с молоком и круглолица
И с темнорусою косой...
Позвал — иди! и без запинки —
Повязку прочь, долой косынки,
Чтоб были плечи наголо!
Гляди умильно и светло,
Люби меня во что б ни стало,
С утра и до другого дня
Ласкай меня, целуй меня, —
Она б меня и целовала
Так, что всего бы в жар бросало.
Вот жизнь так жизнь! А это что?
Чепан дырявый да побои...
Добро! поплакал, но зато
Добьюсь же, понатешусь вдвое!..

Но как начать? В пятнадцать лет
Ни силы, ни уменья нет.
Эге! подумал, — клад готовый!
В день улучу часок-другой
И шмыг — то к станции почтовой,
То к церкви. Грязный да босой
Начну с слезами и рыданьем
Копить деньжонку подаяньем.
Кто незнаком — тому как знать?..
Подаст затем, что видит — нищий;
А кто знаком — подаст опять:
Знать, у семьи, мол, нету пищи,
Должно быть, пакостный отец
Спился-де с кругу наконец.
Расчет недурен, промышляю;

Когда ж, случится, запоздаю —
Отцу и матери солгу;
Сестре и братьям ни гу-гу!
Прах их возьми! В судьбе убогой
Ползи они своей дорогой.
И стал я грошики на двор
Таскать и прятать под забор.
Недели шли, а толку мало,
Казны не много прибывало.
Путь длинен... Как беде помочь?..
Вот и купец просватал дочь...
Что, думаю, ушла невеста,
А с горстью меди ты ни с места?
Нет! видно, надобно, друг мой,
Придумать промысел иной.

У нас в то время, под горою,
Жил Сидор Карпыч — старовер,
С седой и длинной бородою;
Крестился на иной манер.
Бывало, лоб наморщит лысый,
Очки натиснет и сидит,
Листами за полночь шурстит
В старинных книгах, словно крысы.
Чего от этих книг он ждал,
Какую правду в них сыскал?
Бог весть! Ему оно нимало
С утра до ночи круглый год
Обмеривать честных господ
И брать с них втрое — не мешало.
Где можно взять — не проронит
Копейки даром, истый жид.
Подбился я к нему искусно:
Я, Сидор Карпыч, говорю,
И крест по-вашему творю;
А мне на белом свете грустно,
Попам не верю, а отец
Все бьет и разорил вконец.
Возьмите в лавку! Я вам буду
Служить как пес, куда ни шлю б,
За корм да обувь, — и по гроб
Благодеянья не забуду.

Ну! и разжалобил. Купец
В сидельцы принял наконец.
Торгую славно на почине
И тоже слушаю порой
Рассказ, как черт кого в пустыне
Смущает бабой иль казной.
А тут же с стороны другой
Спешит напутствовать святой.
Старик, в чаду благоговенья,
Иной раз плакал — и потом,
Крестяся, оземь бился лбом;
Я тоже с видом умиленья,
А сам смотрю: у старика
Как ключ добыть от сундука?
Но как ни думал — нет, опасно!
Должно быть, будет труд напрасный,
А надо с ловкостью смекнуть —
Из лавки как бы что стянуть.
Вот я и начал понемногу
(Конечно, помоляся богу)
Что день — с продажи кое-как
Утаивать хоть четвертак.
Подметил лысый черт, да в зубы:
«И ты, мол, лезешь в душегубы! . .»
Да за ворот, да в часть привел:
«Сечь, сечь тебя! А там пошел —
Сиди хоть двадцать лет в остроге».
А я ему бултых да в ноги:
«Эй, Сидор Карпыч, пощади!
Хоть пожалей лета младые,
Еще исправлюсь, погоди,
Авось помилуют святые!»
Старик молчит, но с виду зол;
А тут исправник подошел,
Да так взглянул, что так вот в душу
Насквозь и смотрит, как в стекло,
Иному б просто дух свело;
Но он смекнул, что я не трушу,
И молвил: «Карпыч, не замай!
Ты лучше мне его отдай;
Исправлю, не шути со мною,
А парень выйдет с головою».

Старик махнул себе рукой
Да плюнул — и пошел домой.
Исправник дал мне в поученье
Пинка — и принял в услуженье.

Живу и грамоте учусь,
Не устаю себе, тружусь,
Какая ни была бы скука;
И скоро мне далась наука:
Пишу — хоть тотчас в писаря
Годился б даже у царя.
Исправник начал брать в разъезды;
Известно — дело хоть куда:
У нас огромные уезды,
Так деньгу зашибешь всегда.
Идешь в кабак — берешь все даром,
Исправнику приводишь баб;
По селам наша прыть могла б
Сравниться разве что с пожаром;
Исправник важный человек,
Пил, грабил, ел и сек.
А ты при нем весь день хлопочешь,
Зато и пользуйся чем хочешь.
Я ж был усерден да и лих,
И с мужиков и с становых —
Не брезгал — брал рубли и гривны...
Но девки были мне противны:
Такую дай — была б точь-в-точь,
Как та купеческая дочь,
Что замуж отдали в ту пору,
Как я был парень без призору.
Так вот она с ума нейдет...
Терпи, мол, думаю, — ты малый
Оно не то что безудалый,
Терпи — придет и твой черед.

Ну! так годов прошло немало,
Живу... всего бы доставало,
А скучно что-то. Но сам бог
Распорядился и помог.
Из волости, у нас с уездом
Почти что смежной, к нам в обед

Купец заехал мимоездом,
Приятель с самых давних лет.
Народ скупой, дорогой бойкой
Сам правит собственною тройкой,
Один как шиш, чтоб как-нибудь
Копейки лишней не смахнуть.
Со стужи ль думал подкрепиться,
Или хотел повеселиться, —
Но он подвыпил... ну болтать;
Исправник начал подливать,
Знай подавай за фляжкой фляжку;
Гляжу, купец мой нараспашку —
Расхвастался про то, про се,
Что он как барин, что другого
Нет по губернии такого
И что плевать ему на все;
Что у него пятнадцать лавок
И денег куры не клюют,
Что он на ярмарку вдобавок
С собой теперь везет, вот тут
(Рукой пощелкал по карману)
Запас немалый чистогану
И скупит все, на чем тотчас
Он рубль на рубль возьмет как раз.

Смекнул исправник. Тут-де ближе
Дорога есть, — и мне сказал:
«Ты хорошенько проводи же,
Чтоб он пути не потерял».
А сам мигнул. Я понял четко.
По делу, говорю, схожу,
А там их милость погожу
У рва за городской слободкой.
Жду. Смерклось. Таяло слегка,
И месяц чуть сквозь облака
Виднелся, и несло погодкой,
И как нарочно ночь была
Ни тьма, ни свет — а только мгла.
Вот и бубенчик звякнул в поле,
Ползет кибитка наконец,
И подъезжает мой купец...
«Постойте ж, захватите, что ли!.. —

И я вскочил на облучок. —
Давайте вожжи, спите с богом;
Известен здесь по всем дорогам
Мне каждый пень или сучок».
Он тут же завалился спьяну
И по ухабам стал, соннóй,
Бить о рогожу головой,
Как по какому барабану.
Въезжаем в лес. Нет ни души;
Все только ельник длиннорукий
Кой-где сучком тряхнет в глуши
И ссыплет снег... Опять ни звука.
Пустил я шагом. Тот все спит.
Я тише, тише... Тройка стала.
Он и не чует, все храпит,
Не пошевéльнется нимало.
Я слез, и — кажется, не трус,
А все чего-то я боюсь.
Вот, шеей потною махая,
Вдруг зазвенела пристяжная
И пар кругом пошел как дым...
Я вздрогнул — и середь ухаба
Стоял с минуту недвижим...
Да что же, думаю, бог с ним —
Он мне не сродник, я не баба,
Взялся — кончай! И вот я вмиг
Ему распутал и откинул
У шубы лисий воротник,
Свой нож из-под рубахи вынул,
Да так по горлу им черкнул,
Что он не пикнул, не вздохнул,
Я опростал ему карманы,
Бумажник кожаный нашел,
Еще мешочек полотняный —
Он был и звонок и тяжел.
От сапога и до косынки
Себя потом я осмотрел;
Все ладно, полушубок цел
И ни на чем нет ни кровинки;
Нож вымыл начисто о снег
И до дому пустился в бег.
А тройка?.. Пусть бредет со скуки;

Наткнется на кого-нибудь:
Украдет — с богом, добрый путь!
Не то доставит нам же в руки.
Теперь уйти б мне одному
Подальше с кладом... Да боюся,
Исправник ловок — попадуся...
Нет! лучше все отдам ему.
Домой пришел я до рассвета,
Никто меня и не видал, —
Ну! стало, крыто дело это...
Исправник деньги сосчитал:
Вот, молвил, лучше всяких взяток, —
И дал тысчонок мне с десяток.
Потом он следствие завел,
Ну! ничего и не нашел;
Таскались мы по всем селеньям
И драли тоже не слегка,
В остроге даже мужика
Держали с год под подозреньем,
Но, не дознавшись ничего,
Мы отпустили и его.
Потом исправник взял отставку,
Купил деревню, сам большой;
А я в губернии другой
Открыл себе спокойно лавку,
И никогда меня никто
Не заподозрил ни за что.

И шло бы дело по порядку —
Я торговал, и с барышом, —
Как вдруг одним беспутным днем
Встречаю бабу я — солдатку.
Судьба! Она была точь-в-точь,
Как та купеческая дочь.
Я обомлел. Знакомлюсь с нею
И в лавку привожу с собой,
Кажу товар: бери любой,
Все рад отдать; не пожалею.
Поладить невелик был труд,
И не прошло и двух минут —
Она мне бросилась на шею.
Ну! пир пошел во все концы...

Добро, коль раз середь недели
Заглянешь в лавку; молодцы
Там торговали как хотели;
У нас всё песни да вино...
А пожил — хорошо оно!
Пируешь за полночь с обеда
И спи, пожалуй, до полдня;
Там гости, смехи да беседа...
Она, бывало, у меня
Подвыпьет, разгорятся щеки,
Затеет пляску, руки в боки,
Распустит косы из-под лент,
На сарафане позумент
Горит, как искры, издалече,
Рубашка белая дрожит,
Так все и ходит — грудь и плечи,
И только пол под ней трещит.
Когда же гости разойдутся...
Да что об этом толковать!..
Вот как припомнишь все опять —
Так вот все жилки и забьются,
На волю хочется рвануться.
А как же княжески тогда
Я разодел ее, злодейку,
Припас ей к зиме душегрейку —
Все шелк да соболь — хоть куда!
Да как пустились на буланой
На тройке с сбруей серебряной,
Пошли по городу катать
Да звонко песни распевать —
Так индо барин раз, усатый,
Остановился, шапку снял,
Да так-то ею замахал,
Кричит: знай наших! ай да хваты!

Да! хорошо, а пожил я...
Как прах по ветру, все пропало, —
В год не хватило капитала,
И лавка рухнулась моя.
А как она лишь увидала,
Что у меня нет ничего,
Она тотчас и убежала,

И я остался без всего:
Без денег, без вина, без бабы...
Глядел сердито, сам не свой,
Подумал думу день-другой;
А силы, чувствую, не слабы,
Взял нож, да в лес, да и давай —
Будь кто пешком иль в экипаже,
А от меня не ускользай
И поплатись-ка всей поклажей.
В Сибирь и угодил теперь,
Иду в цепях, как лютый зверь;
Но расшибу еще я цепи,
Урвусь — в леса ли или в степи,
А вам меня не удержать...
И бабу отыщу опять
И заживу, во что б ни стало,
Опять не хуже генерала.
Ну! вот и все — поверь на честь;
Теперь и надобно поднесть».

8

Покончил рыжий. Два-три раза
Он оживал в пылу рассказа,
Сжимал кулак и станом рос,
Широко раздувался нос,
Глазенки дерзкие сверкали,
Бледнели губы и дрожали;
А тут — гляжу я на него —
Опять молчит лицо рябое,
Не разгадаешь ничего;
Что в нем сидит? что он такое?
Лукав и скрытен, или так —
Не то умен, не то простак?
«Поднесть, — я говорю, — признаться,
Я поднесу, хоть и не рад;
А сдам тебя охотно, брат,
И дай бог больше не встречаться.

Ну! ты, мозгляк, не бось, вперед!
Рассказывай, знай свой черед».

Мозгляк поникнул головою
И начал тихо, будто он
Какой-то длинный, страшный сон
Припоминает сам с собою:

4

«В господской дворне я рожден.
Середь села наш флигель старый
Доселе — низенький, поджарый —
Стоит, подперт со всех сторон.
Отца не помню. Помню смутно,
Как умер он, как бесприютна
Осталась наша вся семья.
А там и мать пошла к покою,
И я остался сиротою.
Вот барыня велела взять
В хоромы — с ба́рченком играть.
В ту пору мне лет восемь было,
Меня одели казачком,
И мне, мальчишке, сильно льстило,
Что поступил в господский дом.
А барыня была богата;
Зачем в деревне все жила —
Как знать! Скупа ль она была,
Пугала ль городская трата,
Иль наших мест, глухих сторон,
Затем покинуть не хотела,
Что муж ее тут схоронен, —
Не знаю хорошенько дела.
А думаю — пришлося ей
Так по нутру: живет, хлопочет,
Заводит тысячу затей
И делает себе что хочет;
Чего же больше? Лучше встарь,
Пожалуй, не жил самый царь.
А ба́рченка она любила...
Уж сколько было с ним тревог!
Бывало, дня не проходило —
Все няньки пособьются с ног.
То не тепло его одели,
То напоили холодно,

То дать варенья пожалели,
То окормить его хотели,
Все сговоряся заодно, —
И то не так, и то некстати,
И крик, и брань, и беготня,
То есть покою нет ни дня.
А вскочит прыщик у дитяти —
Беда! За доктором скорей!
Шлют в город барских лошадей
Да через час, боясь погоды,
Чтоб доктор запоздать не мог,
Плутая в ночь середь дорог,
Шлют две мужицкие подводы.
А ба́рченок со мной, меж тем
Как барыня ворчит и плачет,
По стульям беззаботно скачет
Да и смеется надо всем.

Почти мы были однолетки,
И хоть я чувствовал порой,
Что все ж он властен надо мной,
Но ссоры между нами редки
Бывали в детские года́;
Всё заодно мы с ним шалили,
И, признаюся я, тогда
Друг друга даже мы любили.
Прошло без малого лет пять,
Решила барыня, что нужно
Сынка наукам обучать,
А что самой ей недосужно
И мало учена притом...
И вот француза взяли в дом.
Француз был просто плут, пройдоха;
Учился барин больно плохо,
А он твердит полушутя:
«Ваш сын чудесное дитя!»
А сам все вьется вкруг застолен
За девками взамен наук...
И так был барин своеволен,
Тут вовсе выбился из рук;
Такой стал мальчик прихотливый,
Не зол, а как-то свысока,

И мне подчас нетерпеливо
Не в шутку скажет дурака.
Ну! .. наше дело подневольно,
А все же... вместе мы росли —
И становилось индо больно.
А годы исподволь всё шли,
Шестнадцать лет подкрались тихо,
Велик стал барин, смотрит лихо;
Хочу-де в полк, пора служить...
Старуха барыня тужить:
У нас-де он такой смиренный,
А там убьют-де непременно...
Но ни слезами, ни мольбой
Растроган не был барин мой.
За что терять младые леты?
Давай коня да эполеты!
Мундиром бредит наяву.
Смирилась мать. «Хоть годы стары —
Для сына, говорит, живу».
Француз отправился в Москву,
А мы отправились в гусары.

Служил мой барин года два,
Но службой занят был едва.
Кутил все время; денег много —
Ну, жил, как всякий, например,
Живет богатый офицер.
Солдат своих держал не строго,
То их поит и вместе пьет,
То раскричится и побьет,
Так — сдуру, только для угрозы,
Чтоб знали: властен-де и я!
Случалось — треснет и меня,
А там обнимет, да и в слезы:
«Алеша! я и сам не рад,
Прости меня, я виноват».
Как ни досадно, как ни стыдно,
Смолчишь, простишь — хоть и обидно.

Но вот случись — старуха мать
В Успенье ездила к обедне;
Вернулась — ни души в передней.

Ну! и пошла она кричать.
Дворецкий прибежал в испуге...
«А! ты мирволить стал прислуге!..»
Да так взвела себя во гнев,
Что, покраснев и посинев,
Упала на пол, растянулась
Да вечным сном и задохнулась.
Приказчик тотчас пишет к нам:
«Знать, богу так угодно стало —
Скончалась маменька. Но вам
Приехать к нам бы не мешало;
Я рад служить вам до конца,
Но жить нельзя нам без отца».
А барин мне кричит: «Алеша!
Пиши на почту поскорей:
Спустил всё в карты, нет ни гроша,
Пусть денег вышлет мне, злодей!..»
Пождали денег три недели,
Там и поехали домой.
Ну! по приезде барин мой
Спёрва о маменьке жалели,
Потом соскучились они,
Нашли, что долго идут дни,
И в полк вернуться захотели.
Да нрав-то шаток был у них...
Сосед подбился к нам в ту пору
И продал барину — борзых
Собаки три, да гончих свору.
Пошла охота целый день;
С утра мой барин в поле чистом
Верхом чрез кочку, ров и пень
Летят с атуканьем и свистом.
А там известно — вечерком
Пошел кутеж, и к нам, бывало,
Гостей сбиралось полон дом,
Все ело, пило, ночевало.
А там, гляжу я, барин мой
Совсем в деревне обжилися
И волокитством занялися —
Потешить возраст молодой...
Я до собак был не пристрастен,
Ни до гостей, ни до проказ —

Но что же делать? Я подвластен
И воле барской не указ;
Велят посводничать — работай
Равно неволей иль охотой.
Сперва — обычно у господ —
Дворовых девок шел черед;
А там — как все понадоело —
Пошло смелей: мужик-де раб,
Все стерпит молча; ну! так дело
Дошло и до крестьянских баб.
А я-то барину в подмогу —
По глупости (а то с чего б?) —
Народу в скорбь, в противность богу,
Служил с усердьем, как холоп!..

Но вот и отпуск был просрочен,
И мысль на барина нашла,
Что в полк им хочется не очень,
Да не пускают и дела;
Хозяйства не швырнешь под лавку,
И что за служба, что за спесь?..
И лучше уж остаться здесь...
Ну, мы и подали в отставку,
И можно было угадать,
Что нам в деревне вековать.

Одна из девушек успела
От барской прихоти уйти;
Из дворни, изо всей почти,
Она одна и уцелела.
По случаю: ее отец —
Дворецкий барыни покойной —
Просил, как милость наконец,
Оставить девку жить пристойно,
И тронул барина слегка,
И пощадил он старика.
И то спасибо — без печали
Хоть дни девичьи миновали!..
И девка — впрямь — умна, мила,
Не хуже барышни была;
Домашний быт вела исправно,
Одета скромно, ходит плавно,

И песни — то есть так поет,
До слез всю душу надорвет.
В нее я подлинно влюбился
Да вижу — и она не прочь,
Согласны и отец и дочь;
Пошел я к барину, спросился,
И барин, к радости моей,
Тотчас мне свадьбу разрешили,
И подарили сто рублей,
И образом благословили.
И был я счастлив, счастлив... да!
Как не бывает никогда
Наш брат... Хоть мы и не злодеи,
А все же низкие лакеи —
Не надо б чувствовать совсем;
Знать, рождены мы не затем!..

Зима прошла быстрей минуты,
И снег сошел, пришла весна,
Но и сыра и холодна.
Вдруг занемог отец Анюты,
Все боль стояла в голове,
Помаялся недельки две —
И умер. Плакали мы много,
Старик хороший был у нас,
И сердцем добр, и жизни строгой,
И за обедней каждый раз,
И по постам, и в воскресенье,
Протяжно — всем на удивленье —
Апостола, надев очки,
Читал получше, чем дьячки.
И так по нем нам горько стало,
Так нам его недоставало,
Как будто что-то с ним ушло,
Как будто счастье все прошло.
И впрямь прошло! Случился к лету
В судьбе на худо поворот:
Меня стал барин гнать со свету,
Бранится, только что не бьет;
Пошло все на иную ногу, —
Что день, сердитей барин мой...
Вот замечаю понемногу —

Смеются люди надо мной,
За что, про что — и сам не знаю,
И ничего не понимаю.
И вижу я — моя жена
Со мною странно холодна;
Приходишь днем — она уходит
И даже речи не заводит,
Приходишь ночью — все молчит
Или прикинется, что спит.
Частенько плачет втихомолку,
Худеет так, что страх взглянуть;
А спросишь — не добьешься толку:
Я-де не плакала ничуть...

Мне становилось не в терпенье,
Дай — разом порешу сомненье,
И говорю, пришед домой:
«Анюта! что ты — бог с тобой —
За что меня ты будто гонишь
И от себя меня сторонишь?
Повинен в чем — я не солгу,
А этак жить я не могу».
Она мне бросилась на шею:
«Алеша! и сказать не смею!
Ты знаешь, как тебя люблю, —
Оставь, оставь меня, мой милый!
Боюсь, тебя я погублю...
Меня взял барин, взял он силой
(В ту ночь ты — помнишь — уезжал,
Тебя он в город посылал...)
Да говорит: смотри, Анютка,
Не смей ты быть женой его;
Но чтоб не знал он ничего,
А сведает — да хоть бы шуткой
С сердцов перечить мне начнет,
Ну! это знай ты наперед,
И плачь не плачь, а жди тогда ты —
Как раз отдам его в солдаты
Иль в дом рабочий упеку,
Иль вовсе насмерть засеку. —
Алеша! я его, злодея,
Смерть ненавижу — ты поверь,

И мне противен он, как зверь;
Но, каплю жалости имея
К моей судьбе, молю тебя —
Не погуби ты сам себя!»

Стою я — точно как испугом
К земле прикован. Боже мой!
Так голова и ходит кругом...
Смотрю: Анюта предо мной
Бледна, как мертвая какая,
И плачет, изредка рыдая.
Я крепко вдруг ее прижал
К моей груди — и побежал...
И чувствую, что весь сгораю...
Тоска, и злоба, и печаль
Так вот меня и гонят вдаль.
Иду — куда, и сам не знаю.
Прошел село. Вот в стороне
Кладбище в поздней тишине.
Иду — как Каин окаянный...
Вот знаю место — крест стоит
Полусогнивший, деревянный:
Тут мой отец в гробу зарыт,
А возле мать. Я поклонился,
Задумался, перекрестился,
На землю у креста припал
И горько, горько зарыдал.
Отец родной и мать родная!
Простите мне — с ума схожу!
Я ль виноват, иль доля злая —
Но я его не пощажу:
Убью его, не пожалея,
Как вошь, как гадину, как змея.
Молитесь за душу мою!
Мое невольно преступленье —
Молитесь за душу мою!
Авось, господь пошлет прощенье.
Не помню, долго ли лежал
Я над могилами родными,
Но помню, что, когда я встал,
В последний раз простился с ними
И огляделся, — ночь была

И молчалива и светла,
И стало на сердце потише,
Как будто, сжалясь, кто-то мне
Благословенье подал свыше,
И я забылся как во сне...
Но вдруг опять, как зверь, очнулся, —
Нет! говорю, уж так и быть,
Судьбы никак не изменить —
И быстрым шагом вспять пустился.

Вхожу на кухню. Вдоль стола
Наш повар спит точь-в-точь убитый,
Полштоф тут возле недопитый.
Я допил. С печки из угла
Достал, пошарив, нож забытый.
И робко поглядел кругом —
И побежал в господский дом.
Всё спит. Иду по тусклой зале,
Две половицы затрещали;
Дрожит в гостиной свет, и тень
И месяц ясен, словно день.
Иду, как вор. Вот спальня. Ноги
В коленях гнутся от тревоги,
И сердце бьется и стучит,
Едва дышу, в ушах шумит...
Я отпер дверь: лежит, сердечный,
И разметался, спит беспечно.
Свеча горит. Из сонных рук
Упал черешневый чубук...
Кажись, что ус пошевельнулся.
Боюсь я, как бы не проснулся —
И вдруг, с разбегу, что есть сил,
Я в брюхо нож ему всадил.
Он страшно вскрикнул — дикий голос —
Привстал весь бледный, дыбом волос,
И что-то он хотел сказать,
Но покатился на кровать,
Вздохнул и умер. В доме целом
Все спало тем же крепким сном,
А я, как вкопанный, с ножом
Один стоял над мертвым телом.

Еще красна, еще тепла
Кровь на ноже моем была,
Гляжу — все смутно в мыслях бродит,
Всего так знобом и поводит;
Я нож мой на пол отшвырнул
И вышел из дому. Светало,
Навстречу воздух мне пахнул,
И в голове яснее стало...
Куда идти?.. Э! все равно,
Так, видно, богом решено.
Пошел к приказчику всех мимо:
«Вставай!» — «Что, что?» — «Да ничего,
Сейчас зарезал я его». —
«Кого?» — «Да барина, вестимо».—
«Алеша! что ты! что с тобой?
В уме ли ты? Беги скорее!» —
«Не убегу я, братец мой,
Останусь мертвого смирнее.
Теперь и дело не о том,
Теперь мне всё уж нипочем;
На прочих не было б гоненья, —
За становым без замедленья
Сейчас же ехать прикажи.
А обо мне ты не тужи!
Я кончил. Жизнь мне не отрада,
Пусть будет то, чему быть надо».

Сижу. Совсем уж рассвело,
Все так красиво и светло...
А в доме поднялись тревоги,
Как? что?.. и все ко мне спешат
И как на чучелу глядят.
Жена пришла. Упала в ноги:
«Алеша! — говорит, — любя,
Совсем сгубила я тебя!»
Ее я обнял. Сердце ныло.
Заплакал я. «Что б там ни было,
А ты иди себе домой,
Прости меня, господь с тобой!»

Приехал становой. Сурово
Распорядился всем, как мог;

Потом свезли меня в острог...
А остальное вам не ново.
Подчас и барина мне жаль,
Как вспомнишь, как детьми мы были,
Резвились вместе и шалили...
А пуще все томит печаль:
Жена ко мне придет ли в ссылку?
Иль я один сойду в могилку?..
А впрочем — пусть другой возьмет,
Авось ей счастье бог пошлет!»

5

Мозгляк замолк. Я вижу — слезы;
Конечно, тут не до угрозы!
Что мне еще его терзать?
И приказал я расковать.
Авось ли сам за сострнаданье
Не попадусь под наказанье!
И средство есть: придешь — отдай
С харчей полковнику свой пай, —
И помиримся с ним на этом.

Полковник, точно, деньги взял,
Подернул левым эполетом
И дружелюбно мне сказал:
«Ты молод, на уме все шалость,
А поживешь — забудешь жалость».
И был попрежнему хорош...
Мне, вправду, дорог каждый грош,
Но тут дела такого сорту,
Что все бы отдал, — ну их к черту!
Да бедность, бедность — вот беда...
Ну — так кутнемте, господа!

1857—1858

С ТОГО БЕРЕГА

> Молчат. Топор блеснул с размаху,
> И отскочила голова.
> Все поле охнуло. Другая
> Катится вслед за ней, мигая.
>
> *Пушкин («Полтава»)*

На утесе на твердом сижу я и слушаю:
Море темное плещет, колышется;
И хорош его шум и безрадостен,
Не наводит на помыслы светлые.
Погляжу я на берег на западный —
И тоска берет, отвращение;
Погляжу я на дальний на восток —
Сердце бьется со страхом и трепетом.
Голова так и клонится на руки,
И я слушаю, слушаю волны — да думаю,
А что думаю — говорится вслух,
Не то оно песня, не то сказание.

Погляжу я на берег на западный, —
Вот что было там, что случилося.
Мерзлым утром рано-ранехонько
Выступали полки, шли по улице;
Громко конница шла, стуча копытами,
Мерно пехота шла, раз в раз, не сбиваяся;
Гул тяжелый несся от поступи.
Барабаны трещали без умолку,
Впереди несли знамя военное,
А на знамени орел сидит,
А орел — птица кровожадная!

И пришли полки, стали на площадь,
Середь улицы плаха воздвигнута.
За полками народу тьма-тьмущая;
Все на плаху глядят и безмолвствуют,
Тишина была страшная, гробовая.
Вот на площадь ввели двух колодников,
Что задумали подорвать кесаря;
Не хотели они орла кровожадного,
Али ястреба, падалью сытого.
Вот ввели их, двух колодников,
А ввели их со солдатами,
А солдаты со саблями с обнаженными, —
Для двух скованных сила грозная!
И пришли они, два колодника,
По морозцу пришли босоногие;
Два попа им лгали милость божию.
И пришли они, два колодника,
А затылки у них острижены,
Топору чтоб помехи не было.
И надели на них, на колодников,
Покрывало черное на каждого:
За отцеубийство казнить их велено.

Да отец-то где ж, вы скажите мне?
Разве тот отец, кто казнить велит,
Кто казнить велит, а не миловать?
Ах, лжецы вы, лжецы окаянные!
Погляжу на вас да послушаю —
Так с отчаянья индо смех берет.

И пошли на плаху колодники,
Шли спокойно они и безропотно,
Перед смертью только воскликнули:
«Эх! да здравствует наша родина
И другая страна, столь любимая,
Где теперь мы слагаем головы,
А в любви к ней не раскаялись!»
И попадали обе головы.
И палач склал обе головы в мешок,
А безглавые тела повалил на телегу,
Повезли спозаранку к ночлегу.

И безмолвный народ по домам пошел,
Кто понурясь пошел с горькой горестью,
А иной был рад, что бог милость дал
Увидать на веку дело редкое.
Постояли полки, — делать нечего,
И пошли опять стройной выстройкой,
Только гул стонал от их поступи;
Впереди несли знамя военное,
А на знамени орел сидит,
А орел — птица кровожадная!

Кровожадная она и не новая:
В стары годы ее на знамени
Гордо-лютые носили римляне.
И у них был Брут, убил кесаря,
И была ему слава великая.
Да не впрок пошло убиение, —
Сам народ был раб, по душе был раб,
И пошли всё кесари да кесари;
Много крови лилось человеческой...
Сказка старая, невеселая!

Погляжу я на дальний на восток:
Там мое племя живет, племя доброе.
Кесарь хочет ему сам свободу дать,
Хочет сам, да побаивается.
Если кесарь сам нам свободу даст,
Он не кесарь — новый дух святой!
Ну! да как же кесарю нам свободу дать?
У него все ж орел на знамени:
Дух святой являлся в виде голубя, —
А орел — птица кровожадная!
Верить хочется и не верится,
С думы сердце в груди надрывается.

И все жаль мне их — этих двух людей,
Что сложили свои головы
Так спокойно и так доблестно,
Перед смертью только воскликнули:
«Эх! да здравствует наша родина
И другая страна, столь любимая,

Где теперь мы слагаем головы,
А в любви к ней не раскаялись!»

Моя песня — не просто сказание.
Моя песня — надгробное рыдание
По людям, убиенным за родину,
За любовь к воле человеческой,
По мученикам по праведным,
Святой вольности угодникам.
Моя песня — не просто сказание,
Моя песня — надгробное рыдание:
Из груди она с болью вырвалась,
От глубокой тоски сказалася...
Ты лети ж, моя песня скорбная,
Через море, море шумное,
Долетай до людских ушей,
Пусть их слушают хотя-нехотя.
Кто в душе грешон — тот пусть бесится,
До него мне и дела нет;
А прямая душа — пусть прочувствует,
Горькой думою призадумается.
А не тронешь из них ни единого, —
Лучше ж, песня ты моя скорбная,
Потони ты в плеске волн морских,
Без следа развейся по ветру.

1858, март—апрель

* * *

За столом сидел седой дедушка,
Да сидела седая бабушка,
Да молодка, млада красавица,
Да прохожий мужик, неизвестно кто,
Коренаст, и бородка жидкая.
А Иван пришел со двора барского.
«Что, Иван ты наш, пригорюнился?
Аль на барском дворе-то высекли?» —
«Нет, — Иван говорит, — не высекли;
А вы лучше меня послушайте:
Прихожу вот я на господский двор,
Подхожу к дверям ко стеклянным,
Двери расперты, вижу, в комнате
Сидит барин сам, сидит барыня,
Дети малые у окошечка
Всё глядят молодыми глазками,
Так глядят, ничего не делают.
Вижу, барыня сидит гневная,
Говорит она, слышу, барину:
«Сударь, муж ты мой, Лука Федорыч,
Ну скажи теперь ты на милость мне,
Что наделал ты да напакостил?
Как нам быть да жить, что нам есть да пить?
Всё именьишко, что осталося,
Что осталося да последнее
От богатых сел, от больших домов,
Крепостных людей наших собственных,
И оно уйдет, с молотка пойдет,
По одной твоей, сударь, милости.

Сударь! бога ты побоялся бы!
На детей взгляни, всё подросточки,
Воспитать, сударь, нужно-надобно,
По-французскому, по-немецкому
И по-всякому надо выучить.
И сама-то я — что я барыня,
Разъезжала я с малолетных лет
Четверней, сударь, со форейтором,
Со двумя, сударь, со лакеями,
Галуны на них гербом шитые,
А колясочка так и катится,
Как качается, и не чувствуешь;
А теперь, сударь Лука Федорыч,
Что, пешком мне, что ль, идти по грязи?
На пирах в гостях являлася —
Не графиней, а царицею!
Настоящею императрицею!
Наряжалася в перья-жемчуги,
Одевалася в блонды-бархаты;
А теперь, сударь Лука Федорыч,
Не прикажешь ли нарядиться мне
В юбку толстую, затрапезную,
Вот как носят здесь босоногие
Наши девушки судомоечки?
А скажи-ка, кто протранжирил всё?
Это ты, сударь Лука Федорыч,
Со друзьями всё, с забубенными,
Да за картами за игрецкими,
Да с блудницами низкородными,
А жену свою ты законную
Из дворянского роду-племени —
Ни во грош не счел, ни в копеечку.
Ох! куда пойду, горемычная?
Ох! заел, сударь Лука Федорыч,
Ох! заел ты всю мою молодость,
Поседеть велел прежде старости,
Народил со мной деток малыих,
Да пускаешь нас, сударь, по миру».
Взвыла барыня воем с привзвизгом,
Понахмурился Лука Федорыч,
Стал свой ус щипать черный с проседью
И тихонько так ей вымолвил:

«Ядовитые речи женские!
Пожалела б ты, Марья Дмитревна,
Хоть бы детушек-недоросточков.
Пощадила бы их младенчество,
Да при них меня не корила бы,
Не скребла бы ты языком своим,
Как ножом каким меня пó сердцу,
Грязью в рожу мне не кидала бы.
Да скажи-ка ты, как по-твоему —
Самому, небось, жить мне весело?
Доконать меня, что ль, ты вздумала,
Баба-барыня ядовитая?
Как подумаешь, да подумаешь. . .»
Тут как взбесится Лука Федорыч,
Да как со стула вскочит на ноги,
Кулаком своим треснет по столу,
Индо окны все зашаталися,
Дети малые испужалися.
Возопил он тут, Лука Федорыч,
Громким голосом да и жалобным:
«А что скажет, мол, моя тетушка,
Пересмешница Анна Павловна?
А что скажет, мол, генерал крутой,
Андрей Павлович, родной дядюшка!
Да сестрица моя бесталанная
С моим зятюшком завидущиим?
Все начнут кричать одним голосом —
Поделом ему, поделом ему,
И женился он, не спросясь родных,
Все дела свои вел по-своему,
Вишь, умнее был своих сродников;
Ну! так вот ему и разор пришел,
Дураку судьба и дурацкая! —
Да не то чтобы одни сродники
(Чтобы черт их всех на хвосте испек), —
Все, сударыня Марья Дмитревна,
Все знакомые, незнакомые,
Все ругать начнут, не жалеючи,
Сколько сраму-то и невидимо!
Уж чего сказать — вон подлец Михей
Сапогов моих уж не вычистил,
Тож, чай, думает: мы-де вольные,

А у барина спесь дворянская,
А башка-то, знать, все ж дурацкая.
Ведь, сударыня Марья Дмитревна,
Всякий в рожу мне наплюет теперь;
А виной тому, Марья Дмитревна,
Твое чванство да твои важности,
Разъезжала ты четверней лихой,
Наряжалася в перья-жемчуги,
Одевалася в блонды-бархаты,
Все хотела быть везде первая,
Модным баринкам в утешение,
Модным барыням в позавидливость.
Разорила ты, Марья Дмитревна,
Вовсе в лоск меня положила ты,
А теперь меня при детях корить,
При малюточках при невинныих?
Нет, возьми укор себе на душу,
На своих плечах его вынеси,
Подавись ты им, Марья Дмитревна!»
Побледнела со злости барыня,
Все лицо у ней вкось задвигалось,
Индо дух у ней в горле приперло,
Долго слова не могла вымолвить,
А уж там зато пошла косить:
«Так вы так-то, мол, Лука Федорыч,
Меня в грязь топтать вы задумали,
Как с кухаркой обращаетесь!
Не позволю, сударь, вам этого,
Я пойду, сударь, от вас к батюшке,
Просьбу в суд, сударь, он на вас подаст,
Вас с безумными запереть велят!
Ну! пойдемте, — говорит, — детушки,
Ваш отец, он совсем с ума сошел,
Непристойно вам на него глядеть,
Оставаться с ним в одной комнате».
И взяла она деток малыих,
И взяла она их за рученьки,
Повела она их, испуганных,
Гордой поступью вон из комнаты,
Оглянулася, усмехнулася,
И дверьми за собою захлопнула.
Призадумался Лука Федорыч

Да головушку склонил на руки,
Закачал ею во все стороны.
Я и сам — таить греха нечего —
Поглядел, братцы, опечалился.
Чай, теперь до меня им дела нет,
Приходить велят в ино времечко.
Почесал себе я в затылке-то
Да надел шляпу и пошел домой,
Только вымолвил: прости, господи!»

Призадумался старый дедушка:
«Уж на что, — говорит, — он лих у нас,
А все жаль как-то его, барина».
Призадумалась тож и бабушка:
«Уж на что, — говорит, — лиха она,
А все жаль как-то ее, барыньку».
А молодка, молода красавица,
Слезы девичьи рукой вытерла:
«Жаль мне, жаль, — говорит, — их детушек,
Что глядят молодыми глазками».
А прохожий мужик-от взял рукой
Да погладил бородку жидкую:
«Ах! ты, дедушка, ты неопытный,
Ах! ты, бабушка, ты сердечная,
И с чего, — говорит, — вы бьетеся?
Хорошо было нам тогда тужить,
Когда купит кто хуже прежнего,
А теперь-то что? Да кто хошь купи —
Только знай: наше дело вольное.
А тебе, молода красавица,
О господскиих о детенышах
Плакать нечего, ни кручиниться.
Что ж, что слабые, бесприютные? —
Нужда-матушка силу вырастит!»

1859

МАРИЯ МАГДАЛИНА

В дни печали, дни гонений
За святыню убеждений,
Новой веры правоту —
Умирал спаситель света,
Плотник, житель Назарета,
Пригвожденный ко кресту.
И сказал он: «Совершилось!»
И чело его склонилось —
И остался мертвый лик,
Как при жизни, тих и ясен,
Так же благостью прекрасен,
Так же помыслом велик.

Солнце мирно, пред закатом,
Над зелено-мягким скатом
И гранитами хребта
Шло в пути златоподобном
И, блестя на месте лобном,
Озаряло три креста:
Двух воров, с Христом распятых,
Палача в железных латах,
Грозном шлеме и с копьем,
И людей, на казнь взиравших,
И трех женщин, близ стоявших
В безутешии своем.

Две старухи: мать рыдала,
И сестра ее шептала —
Что вот распят наш Христос...

Третья с ними, молодая,
Стала, взор на крест вперяя,
Неподвижна и без слез,
С опущёнными руками,
С распущёнными власами,
Бледным ужасом лица,
Вся — безмолвное рыданье
Иль немое изваянье
Скорби, скорби без конца.

К ночи площадь опустела,
И два друга сняли тело;
Мать с сестрой была при них
И прощалась с трупом сына;
И Мария Магдалина
Для лобзанья уст святых
Наклонилась и припала,
Сердце мягче биться стало,
И заплакала она.
И лились и орошали
Слезы тихие печали
Мертвый лик и рамена.

Труп покрыли пеленою;
Двое медленной стопою
На носилках понесли
Без напевов погребальных, —
И три женщины печальных
За покойником пошли.
Шла она и вспоминала,
Что подобных не бывало
В этом мире никогда...
Вспоминала все былое,
Быстро ей пережитое
В эти краткие года.

Как по торжищам Магдалы,
Выставляя в дни бывалы
Свежесть персей молодых,
Знала в вихре шуток сальных
Только юношей нахальных
Да бесстыдников седых;

И вот встретила случайно
Взгляд, смиривший силой тайной
Бред желаний, пыл в крови,
И ей слышать было ново
Человеческое слово
Всепрощенья и любви.

Как ему омыла ноги,
Запыленные с дороги,
Умягчила жесткий зной
Маслом мирры благовонной,
Осушила распущённой
Светлорусою косой...
Как у ног его садилась
И внимала и молилась,
Не сводя с него зениц,
Очищалась покаяньем,
Вырастала пониманьем
И любила без границ...

Близ олив в саду тенистом,
Под утесом каменистым,
С фонарем во тьме ночной,
Тело в гроб они сложили,
К гробу камень привалили
И, скорбя, пошли домой.
Но чуть ранняя прохлада
Пронеслась по листьям сада
Перед брезжущей зарей,
А Мария шла из дому
Хоть бы к камню гробовому
Преклониться головой.

Видит — гроб отверзтый снова,
Голос, точно у живого,
Звал по имени ее...
Оглянулась... Сон блаженный!
Это сам он, вожделенный,
Навестил дитя свое.
И она его узнала.
Перед ним она стояла
В обожании немом;

И он рек, благословляя:
«Им скажи, душа родная,
О видении твоем!»

Светлый образ, дух привета,
Потонул в лучах рассвета.
И она на сход друзей
В путь пошла, благоговея
И едва поверить смея,
Что он ей явился — ей,
Шедшей грешною дорогой...
Но любить умевшей много,
Но чья мысль была чиста,
Почва сердца благодатна,
Чьей простой душе понятна
Правды ширь и простота.

1859—1860(?)

ЗАБЫТЬЕ

Я сплю иль нет?.. Чтó это — ночь иль день?
Пора ли встать? Иль медленная лень
Даст мне понежиться и члены порасправить
И полусонный мозг на волю грез оставить?..
День без утра, иль утро без зари...
Опять туман! Куда ни посмотри —
Сырое реянье в протяжном колебаньи...
Все зыбь — как на море. Я, точно наяву,
Куда-то вдаль на корабле плыву —
С волны и нá волну в размеренном качаньи.
Исчезли берега, в тумане небеса,
И только плеск кругом, все только плеск бессвязный,
Безостановочный, глухой, однообразный,
Да ветер свищет в паруса.

Куда плыву? С чего сердечный трепет?
Не близки ли знакомые края?
И ты не лжешь — надежды тайный лепет?
Чу — в воздухе морозная струя!
Туман упал под ледяным дыханьем,
И ярко блещет день ликующим сияньем.
Передо мной лежит и искрится вдали
Равнина белая в серебряной пыли;
По ней, где кучками, а где поодиночке,
Чернеются рассеянные точки —
Дома, деревни, города,
И люди жмутся, как стада.

Прощай, пловучий дом с свободным красным
флагом!..
На лед прибережный ступил я скользким шагом
И, пробираяся утоптанной тропой,
Я миновал сугроб, метелью нанесенный,
И выхожу на путь, санями улощенный...
Печален плоский край с замерзшею рекой!
Безвестным странником вхожу я в город людный,
Прямые улицы, высокие дома...
Знакомый мне дворец, знакомая тюрьма,
И медный богатырь в посадке многотрудной,
Сто лет уже взмощенный на гранит,
На медной лошади безмолвие хранит.
А люди около мелькают постоянно:
Курьеры вскачь спешат, как на пожар,
Летит жандарм — архангел царских кар;
Чернильный мученик — чиновник бесталанный,
Пешком усердствует со связкою бумаг;
Идут ряды солдат — сто ног в единый шаг,
И всюду суета да грохот барабанный...
Лишь редкий гость — брадатый раб, мужик —
Сторонится и головой поник,
Глядя в унынии на город чужестранный.
Бывало, тоже гость, невольный иль незваный,
Тоскуя, проклинал я бледный небосклон,
Мундиры и гранит, весь новый Вавилон,
И мерил с ужасом его тупую силу...
Теперь я знаю, он — торопится в могилу.

Толпа стоит без шляп — и в санках проскакал,
В шинели до ушей, какой-то генерал —
Вид озабоченный, военная посадка,
И зыбкость помысла, и робкая оглядка...
Знакомым призраком он показался мне,
Его, мне помнится, я видел — но во сне.
То было в ночь, темно сошедшую в молчаньи,
Над целою страной, томившейся в страданьи,
То было в ночь вослед за незабвенным днем,
Когда все в трауре, с торжественным пеньём,
Огромного венчанного злодея
Похоронили, не жалея, —
В ту ночь, во сне, передо мной стоял,

В порфире и венце, вот этот генерал...
Ступай себе пока!.. А мне своя дорога.

И я на тройке быстроногой
Скачу по скатам и холмам,
Да по бревенчатым мостам,
То полем безрубежно-белым,
То бором мрачно-поседелым.
По глади снежной тройка мчит,
Через ухаб, нырнув, летит,
Метет и жмется по сугробью,
И колокольчик мелкой дробью
И замирает и звенит.

И гаснет день, и звезды ночи —
Небес бесчисленные очи —
Сквозь тьму глядят на белый путь.
Но мне не время отдохнуть.
Пусть дни и ночи, свет со тьмою,
Бегут, чредуясь меж собою, —
Не успокоюсь до конца,
С упорством вечного гонца;
Пренебрегу, покуда можно,
Пока не слег в тиши гробов,
Дороги усталью тревожной,
Седою усталью годов.

И идут дни, и следом идут ночи,
Уж холод сдал, и слышу я весну;
Посыпал дождь в замену мокрых клочий,
И рыхлый снег утратил белизну.
Полозья в земь ударились с упором...
Седлай коня! И дальше в путь!
И в топь и вплавь, по кочкам и зажорам —
Я проберуся как-нибудь!
Чернеет почва из-под снегу,
Ручьи сбегают в глубь долин,
И речка мутная с разбегу
Уносит вдаль обломки льдин.
Уже поля рядиться стали
В зеленый полог озимей,

Листом по роще зашептали
Побеги свежие ветвей;
Уж первый гром затих с раскатом,
Облекся вечер мирным златом;
При лунном трепете лучей
Защелкал первый соловей.

О! как баюкает томленьем сладострастья
Весенней неги мягкий звук!
Но мне не до него! я вырос вон из счастья,
Мне нужен толк да сила рук.
Мой путь с утра идет дремучим бором...
А вот и ночь, и скат береговой,
Река — что море — не окинешь взором,
И месяц всплыл над синей мглой.
Внизу у отмели пологой
Стоит бурлак с ладьей убогой.
Бурлак, вези! Пора пришла!
Ладья скользит, и волны мчатся,
И брызги искрами дробятся
Под взмахом мощного весла.
Плыву, молчу от ожиданья,
От нетерпенья и желанья,
А тут и волны, и луна,
И плеск, и блеск, и тишина...

Свежеет воздух, ночь бледнеет,
И сумрак трепетный редеет.
Заря! заря! Я различить могу
Кусты на дальнем берегу.
И вижу я: стоит толпа народа,
Кричат: «Скорей! сюда! сюда! свобода!»
И голос, точно дальний зов,
Поет... и песня так знакома!
И подхватили с силой грома
Ее сто тысяч голосов:

«Из-за матушки за Волги,
Со широкого раздолья,
Поднялась толпой-народом
Сила русская, сплошная.

Поднялась спокойным строем
Да как кликнет громким кличем:
Добры молодцы, идите,
Добры молодцы, сбирайтесь —
С Бела-моря ледяного,
Со степного Черноморья,
По родной великой Руси,
По Украйне по казацкой,
Отстоим мы нашу землю,
Отстоим мы нашу волю,
Чтоб земля нам да осталась,
Воля вольная сложилась,
Барской злобы не пугалась,
Властью царской не томилась!..»

Ладья причалила, я выпрыгнул на берег...

1862, первая половина

СТРАННИК

Сего ради не являйся ты, орле, и криле твоя грозныя, и перийца твоя строптивая, и главы твоя лукавыя, и ногти твоя злейшие, и все тело твое суетное. Яко да прохладится вся земля, и обратится свободна от твоея силы, и уповает на суд и милосердие того, иже сотвори ю.

Ездры книга третья
(или, правильней, четвертая),
глава одиннадцатая

1

В глухом бору, удалена
От шумнолюдного поселья,
Стоит пуста, стоит одна
Моя бревенчатая келья.
Вернусь ли я в нее иль нет?
Во имя истины бродяга —
Найду ль свой кров под старость лет?
Замру ль в метель середь оврага?
Не знаю. Смерть везде тиха! ..

От зла мирского и греха
Бежал я молод в лес сосновый,
Бежал неторною тропой,
И прорубал мой просек новый
И ставил сруб семивенцовый
Своею собственной рукой.
Топор звенел, щепа летела,

Удары вторил гул лесной,
И птица близко сесть не смела...
Не ведал устали мой труд —
Я созидал себе приют,
Душа алкала врачеванья,
И строгих дум, и покаянья.

2

Богатый торгом, мой отец
Хотел, чтоб был и сын купец.
Бывало, брань ввернет сурово
В свое напутственное слово,
Так что сгораешь от стыда,
И пустит парня молодого
На прибыль — в села, в города...
И буйно шли мои года!
Удалый нрав да денег кипа —
Гуляй и празднуй без просыпа!
Раз — еду. Месяц, ночь светла,
Длинна дорога, степь бела,
Мороз пробрал сквозь полушубок...
Вот дотащились до села...
Держи у первого угла —
К избе! — Вхожу... Сквозь дым от трубок
Горит огарок в полумгле,
Исправник с барином-соседом
Проводят ночь обычным следом —
Полштоф заветный на столе.
«Купец знакомый не помеха!
Садись!» — сажусь, пошла потеха,
Кто выпьет чарку похмельней,
Кто скажет слово посрамней,
Тому и слава! Хохот, песни...
«Рассыльный Митька! ты хоть тресни, —
Кричат лихие господа, —
А девок нам веди сюда!»
Вот их и вводят, в дверь толкая...
Красоток пара молодая!
Гляжу сквозь хмель: из них одна
Дрожит как лист, как смерть бледна;

Другая только плачет, плачет,
В рукав лицо тихонько прячет.
Как взноет сердце! Я вскочил,
Со злости задрожали губы,
Кричу: «Злодеи! душегубы!»
Да кулаком, что было сил,
Хватил исправника по роже,
И барину досталось тоже,
Обоих на пол повалил...
Догнать погоня не сумела,
Отец дал денег, скрыли дело.

8

Но в эту зиму я притих,
Смирился и кутеж оставил,
Дичился встречных и своих,
И свет постыл и не забавил.
Стал думать. Из ума не шло —
Отколь страдание и зло?
Зачем повсюду плач и горе?
Зачем народ живет в позоре, —
И зол и жалок род людской?
Зачем я сам на зло способен,
Развратен, дик, скотоподобен?
Где слово правды? Где покой?..
И слышу шепот над собой:
«Спасайся!» — Холодом объяло
При этой мысли, дух сперся,
И дыбом стали волоса,
И будто к полу приковало —
Так в этот заповедный миг
Восторг и ужас был велик.
Отец стал сильно недоволен,
Ругал: «Ты пес, а не торгаш», —
Сбирался сечь, но лекарь наш
Сказал, что я, должно быть, болен;
Гадать ходили на бобы,
Но не разведали судьбы.
Пришла весна, снега сбежали,
Я говорю отцу: «Прощай!

Не злобствуй на мои печали
И денег мне не припасай;
Промаюсь помыслом нешумным
Да подаянием мирским...»
Отец почел меня безумным,
Народ почел меня святым.

4

Как я вздохнул свободным вздохом,
Когда над кельею покрыл
Я кровлю хворостом и мохом
Да печь нехитрую сложил...
Блажен достигший мирной цели!..
Я жил один. К концу недели
Был приносим в обычный день
В дупло знакомой старой ели
Посильный дар из деревень,
И благостынною крупицей
Делился я с лесною птицей.
Близ кельи, у корней древес,
Чуть слышно сквозь обрыв песчаный
Сочился змейкой ключ студяный,
Был тих и шумен древний лес
И веял влагою смолистой.
Я сквозь навес его иглистый
Глядел далеко в глубь небес:
Зачем же в людях плач и горе
И бури на житейском море?..

Я жил один. Весне вослед
Томило сушью жарких лет,
И вслед за осенью глухою
Шли зимы белой чередою, —
Святую книгу я читал
И духа истины искал.
Изведал много дум палящих,
Молитв сердечных, слез скорбящих,
И сколько прожил зим и лет —
Не в силах дать себе ответ;

Я не считал зари восходы,
Я не видал, как длились годы, —
Теперь я знаю, что седа
И голова и борода.

5

В последний год в тиши дремучей
Мне трижды снился сон могучий,
Пророческий! ! . Я помню ночь —
В бору носилась тьма сырая,
Лил дождь, и ветер во всю мочь
Рвался, свистя и завывая,
А сосны бьются и трещат,
И шишки сыплются как град,
А я, коленопреклоненный,
В безмолвной келии моей
Стоял над книгою священной,
То тайный смысл гадая в ней,
То взор вперив с немой отрадой
На озаренную лампадой
Ко мне склоненную с креста
Главу Спасителя Христа.
Раскрылись вещие страницы,
И сон смежил мои ресницы.
И вижу я — все степь кругом,
И на земле знсепалимой,
Среди степи необозримой
Спит человек тяжелым сном;
В тяжелом сне дрожит от муки,
Раскинув немощные руки.
На нем сидит орел степной
И вкруг поводит головой,
Сверкая дико, как огнями,
Желто-багровыми глазами,
И топчется из боку в бок,
Вонзает когти жестких ног,
И шея горбится, клоняся,
И жесткий клюв теребит мясо,
И крылья темные простер
Орел над сонным, как шатер;

И из-под перьев, в взмах крылатый,
Свалились хищные орляты, —
И злее старого врага
Клюет и топчет мелюзга;
Их жадный хрип и посвист дикий
В степи гласят про пир великий.
А с человека льется кровь,
Но тело зарастает вновь,
И спит он, спит, дрожа от муки,
Раскинув немощные руки,
И не волён ни глаз поднять,
Ни рта раскрыть, ни простонать.

Чело я в ужасе понурил
И в самом сне глаза зажмурил,
Но с уст невидимых исшел
Ко мне торжественный глагол:
«Восстань, силен, как лев косматый,
И, духа истины глашатый,
В житейский мир опять иди
И человека разбуди,
Чтоб он открыл живые очи
И после долгой, долгой ночи
В единый взмах спугнул орла,
И разлетелись бы орляты,
Живой святыни супостаты,
Зане земле пора пришла —
С отлетом птицы плотоядной —
Дышать свободно и прохладно».

Проснулся. Ночь! Лампады блеск,
В лесу все дождь, и гул, и треск...
Я думал — это дух гордыни
Смущает мир моей пустыни,
И я ли — кающийся дух —
На звук греховный столько глух,
Чтоб быть орудием святыни?..

6

Вторая ночь была зимой,
Пришла с такою тишиной,

Что по лесу во тьме глубокой
Был слышен каждый робкий звук —
Ломился ль обветшалый сук
Иль падал снег с сосны высокой.
Перед лампадой и крестом
Листы ворочал я перстом:
Разверзлись вещие страницы,
И сон смежил мои ресницы...
Все ту же птицу вижу вновь,
Все та же степь, и солнце пышет,
И с человека льется кровь,
И он во сне тяжелом дышит.
И тот же голос рек: «Иди
И человека разбуди».
И вера дух мой охватила,
Мысль крепла в грозной тишине,
И я почуял, что во мне
Растет восторженная сила.
На третью ночь был лес душист,
Весенний месяц серебрист.
Раскрылись вещие страницы,
И сон смежил мои ресницы...
Я внял виденью моему,
И взял я посох и суму,
Пошел, исполнен светом чудным,
Бродить по селам многолюдным
Неутомимою стопой,
Доколе хватит сил и века,
Вещая виденное мной
И пробуждая человека.

7

А там, в бору, удалена
От шумнолюдного поселья,
Моя бревенчатая келья
Стоит пуста, стоит одна...
Засну ль в ее тиши священной
Кончиной мирной, несмущенной?
Не знаю! .. Но прожитых в ней
Ночей несчитанных и дней,

Безмолвных дум, и слез скорбящих,
И снов, грядущее гласящих,
Поста, восторга и труда —
Я не забуду никогда.

1862, 5(17) сентября

ИСПОВЕДЬ ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Сцена 1

Улица в Веве. Две девочки и мальчик.

1-я девочка. Не шуми, Леля, дома все слышно; мамаша не велела шуметь. Папаша очень болен и станет сердиться. Мамаша велела, чтобы мы были очень смирны.

2-я девочка. Да ведь я отсюда ему не мешаю, папаше. И когда же он сердится? Он только стал какой-то странный. Не любит ласкать. Подзовет на минуту да и прогонит. А шумлю я на улице или нет — ему все равно.

1-я девочка. Ах, какая ты! Сказано — не шуметь, ну и не шуми.

Мальчик. А нет ли чего поесть, Надя? Я голоден.

1-я девочка. Погоди, сейчас будет ветчина. Мамаша сама пошла в лавочку.

Мальчик. Ну хорошо — подожду. Только уж как есть-то хочется!

2-я девочка. И мне хочется, а я все же ничего не говорю.

1-я девочка. А вот и мамаша.

Дама *(в шляпке и с корзиной в руке)*. Пойдемте, дети.

Все входят в дом.

Сцена 2

Комната. Больной в постели (полулежа на высоко за спину заложенных подушках) и доктор.

Больной. Что? Плохо, доктор? А и то плохо, что я вам ничего не могу заплатить за труды.

Доктор. Полноте об этом говорить; на то я и соотечественник. Лучше покажите еще раз ноги. . . Гм! . . Дайте еще послушать. Я вам просто всю правду скажу; чай, вы не трус. Плохо, Николай Петрович! Болезнь сердца ощутительная. Ожирение ткани, гипертрофия левого ушка. Недолго поживете, будьте храбры. Тут помочь мудрено, болезнь органическая.

Больной. А как вы думаете, доктор, дня два еще проживу?

Доктор. Может быть, и проживете. . . Не знаю.

Больной. Спасибо вам за откровенность. Я не хотел бы умереть неожиданно; оно как-то глупо. . .

Доктор. Я так и думал, что у вас такая идея, оттого и говорю прямо. А в сущности, я с вами несогласен: то ли дело свалиться нежданно-негаданно. Смерть — такая вещь: чем незаметнее придет, тем легче. Но все же я вам советую держаться как можно спокойнее — без тревожных дум: может, лишний день и проживете. Что вы улыбаетесь? . .

Больной. Постараюсь, доктор.

Доктор. Я вам пропишу кое-что успокоительное. *(Отворяет дверь в другую комнату)*. Варвара Ивановна, дайте-ка бумаги и чернил.

Варенька. Взойдите сюда.

Доктор. Ну! так прощайте пока, Николай Петрович. Ужо опять приду *(Exit)*.[1]

Больной. Прощайте, доктор. *(Думает)*.

Да! избегать тревожных размышлений —
Легко сказать, а выполнить нельзя.
Не то чтоб смерть меня пугала слишком,
А мысль о том, что дети и жена
Останутся без хлеба, без приюта —
Бросает вдруг в тупой, холодный ужас,
И позабыть бывает свыше сил.

Да, жизнь моя прошла довольно странно,
Или промчалася. . . И под конец
Ни одного не остается друга,
Которому я мог бы поручить

---

[1] Выходит (лат.).

Мою семью с той полной, полной верой,
Что он ее не бросит никогда
И трудовой свой рубль не пожалеет
На корм, на кров, на воспитанье их...
Ни одного не остается друга!..
Кто виноват? друзья ль мои ушли,
Почувствовав весьма практичный холод,
Или я сам их дико разогнал
Заносчивым, бесплодным самолюбьем?
Как это знать!.. Мне ясно лишь одно,
Что я уж вовсе не религиозен —
А покаяние перед собой,
Предсмертное, мне дорого и нужно

Варенька *(входя)*. Тебе, должно быть очень больно, друг мой, — ты бледен. Что сказал тебе доктор? Мне он ничего не хотел сказать, только почмокал губами, пожал мне руку и ушел.

Больной. Да и зачем спрашивать, Варя, — успеешь горевать, когда придет время. Мне одно жаль, что твою молодую жизнь сгубил ни за что. Счастья я тебе не принес. Моя любовь, может быть, поволновала тебя ненадолго, а счастья, настоящего счастья, спокойного счастья я тебе не принес... А оставляю тебя на горе...

Варенька. Полно, полно! Слыхала я все это не раз. Ты только меня мучаешь по пустякам, а самому становится хуже. Я детей накормила и послала опять играть на улицу, а то шумят.

Больной. Ты все же их ужо приведи ко мне взглянуть на них... хоть на минуту.

Варенька. Как же!.. Только ты не жалей обо мне и старайся быть спокойным. Бог даст — станет лучше. Я вот здесь сяду белье чинить, а ты постарайся уснуть. Ты ночью так страдал...

Больной. Да, Варя, постараюсь.

Варенька *(садясь)*. Вот и хорошо.

Больной *(закрывает глаза и продолжает думать)*

Как много сил, растраченных без цели!
Чего хотел, к чему стремился я?
С чего была восторженная вера

В свой гений собственный, в свой страшный ум,
Которому доступны были мысли
Громадные — не впору никому?
С чего во мне так жарко билось сердце,
Желания не ведали границ?
С чего себя великим человеком
Я чувствовал? И что же сделал я?
Везде, куда перстом я прикоснулся,
Я людям сделал зло — невольное,
Ничуть не думая о том, что делал.
И тем пошлей! Я, стало, просто был
Игрушкой призраков — отнюдь не больше.
Так что дошел теперь до убежденья,
Что человек не может отвечать
Ни в чем нисколько за свои поступки.
Поступок — следствие своих причин...
Но где же прок и в этой верной мысли?
Она вредна. Скажи ее глупцу —
Он мерзость всякую себе позволит...

Варенька. А ведь ты не спишь и как-то тяжело дышишь?

Больной. Ничего, Варя, немножко тяжело, но это не помешает уснуть. Работай себе спокойно.

Варенька. Что это лекарство долго не несут?

Больной. Все равно, Варя, не много поможет. *(Закрывает глаза и продолжает думать).*

Невольно мысль стремится к прошлым дням
И в дальние идет воспоминанья.
Чем далее, тем лучше, тем свежей...
Ребячество и юность... дом отцовский...

Дверь тихо отворяется.

Служанка *(кличет шепотом)*. Madame, madame!

Варенька *(встает и спрашивает в дверях шепотом)*. Qu'y a-t-il, Marie?

Служанка. Le pharmacien ne fait pas crédit.[1]

---

[1] — Мадам, мадам.
— Что случилось, Мария?
— Аптекарь не дает в кредит (франц.).

Варенька. Mon dieu, Marie, voilà ma bague, portez la au mont de piété. Je suis sûre que vous arrangerez tout cela parfaitement bien.

Служанка. O! certainement, madame. [1]

Больной. Что ты с ней такое шепчешь, Варя? Ничего не слышу.

Варенька. Ничего, ничего, дело домашнее, нечего и слушать. Спи себе.

Больной *(закрывает глаза и продолжает думать)*

Богатый дом и сад! оранжереи...
Полсотня слуг... С нелепым немцем брат,
Сестра с своей мадамой безотлучной...
И сам отец, который с нами в день
Беседовал три раза очень важно
И коротко, а в полночь подходил
К постелям — дать свое благословенье,
И исчезал, как царственная тень.
Знакомый, но какой холодный образ!

Весенним днем (мне было восемь лет, —
За мной еще присматривала нянька)
В саду, в траве, я рвал и ел щавель,
И стало мне невыносимо скучно.
В платке, в очках, старуха свой чулок
Вязала и считала тихо петли, —
И мне она до смерти надоела.
Я чувствовал — я как-то всем чужой
И сам не знал, чего мне было надо.
Мне было жаль старуху, но меня
Присутствие ее томило страшно.
И начался какой-то переход
От детского беспечного снованья
К сознанию или к пустой мечте.
К чему-то новому...

---

[1] — Боже мой, Мария. Вот мое кольцо; отнесите его в ломбард: я уверена, что вы устроите все это отлично.
— О, конечно, мадам (франц.).

С л у ж а н к а *(в дверях, шепотом)*. Madame! Voici la médecine — 1 fr. 50, deux francs d'intérêts et 2 pièces d'or qui voilà et le reçu.

В а р е н ь к а. Bien, Marie, je vous donnerai 1 fr., dès que j'aurai du change.

С л у ж а н к а. Merci, madame, vous n'êtes pas riche, mais toujours bonne, que dieu vous bénisse. [1]

Б о л ь н о й. Что такое, Варя?

В а р е н ь к а. Принесли лекарство. Три раза в день по ложке. Прими же ложку.

Б о л ь н о й. Давай, пожалуй!

Варенька подает лекарство и смотрит на больного

Б о л ь н о й. Не жалей, Варя. Что тебя обманывать? Я, вероятно, скоро умру. Не жалей меня слишком. Встретишь человека доброго — выходи за него замуж. Он и детей пригреет. Да и ты, может, будешь счастливее, чем со мной.

В а р е н ь к а. Полно говорить все такое! Душе больно. Лежи спокойно и старайся уснуть.

Б о л ь н о й. Прости, Варя, — так с языка срывается. А кажется, начинает смеркаться?

В а р е н ь к а. Да, я зажгу лампу да пойду ворочу детей и усажу их внизу, у хозяйки, за лото или что-нибудь такое. А ты постарайся успокоиться.

Б о л ь н о й. Хорошо, Варя.

Варенька зажигает лампу с абажуром, опускает сторы и уходит.

Б о л ь н о й *(продолжает думать)*

Ох! это мне ненужное лекарство!
О чем, бишь, я хотел припоминать? . .
Да! няньку я почти что ненавидел,
Отца боялся я. И (разность лет)
Чуждался я равно сестры и брата,
О прочих нечего и говорить.
Сама мадам и даже рыжий немец

[1] Мадам вот лекарство — 1 фр. 50 сант., 2 фр. проценты и вот две золотые монеты и квитанция.
— Хорошо, Мария, я дам вам франк, как только разменяю.
— Благодарю вас, мадам, вы не богаты, но всегда добры, да благословит вас бог (франц.).

Меня всегда щадили свысока...
Добра со мной бывала разве дворня,
Вся дворня без различия чинов, —
Лакей, стопник, буфетчик, кучер, прачка,
Все думали — вот маленький барчук,
И ласково со мной подчас играли.
Я к ним привык, и мне их было жаль,
Мне думалось, что жить им очень жутко,
Мне думалось, что кто-то был неправ;
А кто — тогда сообразить не мог я.
Так я и рос. Меня всему учили.
В младенчестве я страшно был ленив —
До дерзости. Раз (живо помню) немца
Схватил я за ноги и чуть не сшиб,
И в угол стал — наказанный, но гордый...
А все ж болтал на разных языках...

Но отроком я к чтенью стал прилежен,
С упорностью. Из классов уходил
И все читал такие книги, книги,
Которые мне памятны теперь, —
И каждый раз все больше ненавидел
Я этих всех моих учителей,
И думал — подрасту, такую книгу
Я напишу, что их повергну в прах.
Не замечал никто моих стремлений —
Ни ближние, ни немцы, ни мадам...
И выросло во мне высокомерье,
Как в схимнике. Я думал — я рожден
На подвиги великие, святые...
Куда уйти? От ближних как спастись?
Ни сил, ни средств, а жизнь все давит, давит...
Неужто ж был я отроком несчастлив?

О нет! Я помню, помню те года,
Я счастлив был и скорбию, и верой,
И помыслом, растущим каждый день,
И чувством, каждый день кипевшим жарче.
И все тогда влекло меня вперед:
И жажда знать законы общей жизни,
Судьбы великие людского рода,
В которые не верю я теперь,

И двигала меня еще живая память...
О пятерых, которых Николай,
Испуганный, замучил и повесил.
По их следам слагалась жизнь моя,
Я призван был работать для свободы
И победить иль величаво пасть...

Когда отец, свершив ночной обход,
Ложился спать и дом стихал глубоко,
Я подходил к лампадке и писал,
Писал стихи (плохие, вероятно),
Но с трепетом, но крадучись, как вор,
Но внутренним исполненный блаженством,
И жизнь мою, живую жизнь
От них от всех я прятал с наслажденьем.

Вдруг от стихов я перешел к науке.
В моем уме невольной чередой
Теснилися вопросы за вопросом,
Без отдыха, без страха, без конца...
Бесплодные, но страстные попытки!
А тут пришла действительная жизнь
И обстановку всю перевернула.
Брат лихо в полк уехал в Петербург,
Потом сестра приятно вышла замуж;
Исчезло все — и немец и мадам,
И я один с моим отцом остался.
(Я матери не помню; дважды в год
Отец меня возил к ней на могилу).
Я выпросил, с великою борьбой,
Чтоб он позволил мне идти в студенты;
Он наконец согласье дал, а сам
Уехал жить в далекую деревню.
Вот я один... Усердный математик!
(Да и теперь, да и всегда, всегда
Стремилась мысль к своей заветной цели,
И я в рядах событий и вещей
Следил их формулу... Иного знанья
Без вымыслов признать не может ум...)

Гм! Я совсем ведь не об этом думал,
Я думал о давно прошедших днях

Доверчивых надежд и юной дружбы...
Здесь началась она так горячо,
Казалось, ей конца не будет вовсе.
Я помню раз — тогда была весна,
И талый снег едва кой-где белелся,
И мутные ручьи текли вдоль улиц...
Я с другом шел куда-то далеко —
Край города... там третий жил товарищ.
Мы бодро шли, толкуя меж собой
И шлепая калошами по грязи.
Я помню комнатку аршинов в пять,
Кровать да стул, да стол с свечою сальной...
И тут втроем мы — дети декабристов
И мира нового ученики,
Ученики Фурье и Сен-Симона —
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью,
Основою положим соцьялизм,
И чтоб достичь священной нашей цели,
Мы общество должны составить втайне
И втайне шаг за шаг распространять.
Товарищ наш, глубоко религьозный,
Торжественно пред нами развернул
Большую книгу в буром переплете
Со сдёржками... И мы клялись над ней,
И бросились друг другу мы на шею,
И плакали в восторге молодом...
И в жизни слез я не припомню чище!..

И что ж потом? что ж вышло? — Ничего!
Один в Сибирь отправился на службу;
Сперва писал, потом все реже, реже...
Я также, и — вот скоро десять лет —
Я слышал раз о нем, и то случайно.
Уроками печально жил другой...
Я как-то навестил его проездом;
Он сердцем чист остался, как и был,
И с радостью меня безмерной встретил;
Но рано он обзавелся семьей
И уходил угрюмо в религьозность,
А этому на помощь нищета...

Он показался мне каким-то пошлым...
Он умер молод и семью оставил...
А я, а я — великий человек —
Я, сверху вниз взирая на страдальца,
К нему уже потом не заезжал,
А в городе бывал-таки нередко.
Он, говорят, меня перед концом
Тоскливо звал и плакал, что нейду я,
А я, а я — я об его семье
Не справился!.. Как это гадко, гадко!
То был мой первый грех!..

Как в сердце стукнуло... Что это?
Нет, отошло... Чай, испугал ее?..
Ах, да! Она внизу с детьми. Тем лучше! —
Но вот она. Я притворюсь, что сплю.

Варенька входит на цыпочках, смотрит на больного и молча садится у стола за работу.

Больной *(продолжает думать)*
Нет, нет! то был уже не первый грех!
И как же я не сразу это вспомнил?
Иль суд внутри — за давностию лет —
Кончает, как гражданская палата?
Иль что прошло — скользнуло, как волна,
По памяти и холодно забылось?
Как ты легка, недремлющая совесть!..

Едва усы пробилися как пух,
А я уже безумно сделал мерзость.
Подруга бедная беспечных дней,
Забытая, несчастная Анюта,
Приходит же, однако, образ твой
Тревожить мне конец бесплодной жизни...
А я любил, как любят в первый раз, —
Когда конца любви и не предвидишь.
Позабывал я свой научный труд
И проводил с тобой и дни и ночи,
Час без тебя мне был невыносим...
Но мысль одна и тут держалась цело

И даже в страсть вносила жизнь свою —
Мысль о борьбе за общую свободу...
И помню я — бывали сны и ночи
Про будущий переворот народный;
И я будил тебя и говорил
О том, как мир быть должен перестроен
И как собой я жертвовать готов...
Ты слушала — не знаю, понимала ль.
В сочувствие я веровал охотно.
Да! Я любил в мальчишеском бреду, —
Любил с полгода, да потом и бросил.
За что? зачем?.. Соскучился любить?
Ты ж из простых была — легко и бросить.
А впрочем, нет! расчета подлого
Я не имел, а сам не знал, что делать...

Взялся опять за свой научный труд,
Но с этих пор я как-то дико, разом
Внутри себя дух стоика носил,
И жажду дел мог заменять разгулом —
Карикатурою эпикурейца.
Я б мог сказать, как многие, — среда!
Среда... И я — великий человек —
Сил не имел в ней удержаться чистым.

Я помню раз — на улице я встретил
Студента одного... из плохоньких,
Так, дурачка, и подлого вдобавок.
«А знаете вы новость, — говорит, —
Ведь родила на днях Анюта ваша,
Но мальчик ваш не прожил даже дня;
Я от ее знакомой это слышал,
Которую сбираюсь бросить сам:
Она мне тоже больно надоела».
Я думал, я совсем схожу с ума,
Все вспыхнуло — раскаянье и жалость,
И даже стыд, что с этаким скотом
Я становлюсь теперь на ту же доску...
Дух гордости и тут не изменил!
Нет, не среда — я, человек, был гадок.

А! (*Вскрикивает, приподнимается и опять опускается на подушки*).

Варенька *(подбегая к нему)*. Что с тобой?

Больной *(переводя дух)*. Ничего, ничего, Варя. Я только хотел сказать, что после курса я вступил в военную академию.

Варенька. Ты что-нибудь во сне видел, друг мой, и еще бредишь. Может — испугался?

Больной. Нет, не испугался; а точно что-то во сне видел — про старое время, должно быть. Ничего, теперь легче.

Варенька. Ты так необычайно вскрикнул...

Больной. Да, что-то вдруг больно стало; теперь ничего. Да уж не поздно ли, Варя? Ты бы привела ко мне детей проститься.

Варенька. Сейчас, то есть скоро... Подожди с четверть часа; их приход тебя всегда волнует. Лучше подожди немного.

Больной. Как хочешь.

Варенька *(идет к двери и кличет вполголоса)*. Marie, Marie!

Служанка. Plaît-il, madame?

Варенька. Courez vite chez le docteur; dites-lui de venir tout de suite.

Служанка. Bien, madame.[1]

Больной. Что ты там, Варя? Кажется, посылаешь за Андрей Лукичом?

Варенька. Да, друг мой.

Больной. Испугал я тебя? Да что ж он сделает?

Варенька. Все лучше. И мне, да и тебе самому спокойнее.

Больной. А впрочем — пусть придет. Он хороший человек, я его люблю, и пока еще есть сколько-нибудь сил, я рад буду с ним повидаться. *(Закрывает глаза)*.

Варенька стоит и смотрит на него.

Больной *(думает)*

А я не зол, я даже сердцем добр, —
Откуда же бралась вся эта жесткость?

---

[1] — Мария, Мария.
— Что прикажете, мадам?
— Бегите поскорее к доктору; скажите ему, чтобы сейчас же пришел.
— Хорошо, мадам (франц.).

Как объяснить?.. Среда да организм...
Безвольное движение поступков!
А там пришло сознание греха...
Сознание! — да и оно невольно.

Раскрывает глаза; Варенька в том же положении стоит и смотрит

Больной. Тебе жаль меня, Варя? Ты мне прощаешь, что я тебя довольно помучил в этот почти десяток лет нашей жизни вместе?

Варенька. Если уж на то пошло, то не тебе, а мне приходится просить прощенья. Я об этом часто думаю. Я тебя не всегда понимала и часто оскорбляла моим упорным противоречием...

Больной. Да и я всегда ли требовал правды, или был только раздражителен? Не знаю, Варя, может, оно и глупо, что мы стали снисходительны друг к другу и нежны — только когда поняли, что мне недолго жить. Если тебе нужно мое прощенье — я его даю искренно и кроме любви к тебе ничего не имею в мысли... *(Протягивает ей руку)*. А себе я прошу прощенье по праву умирающего. Я не жду ни прощений, ни магарычей на том свете, поэтому мне нужно, пока еще жив, прощение людей, мне близких... Оно мне нужно, Варя, глубоко нужно.

Варенька наклоняется и нежно целует его в лоб.

Больной. Да, это так, теперь мне легче. А если бы и те могли простить меня?.. Варя, ты напоминай детям обо мне; говори им, что я их любил... больше даже, чем они думают. Мне не хочется, чтоб они меня забыли... Неужто и это с моей стороны слабость?..

Варенька *(сквозь слезы)*. Перестань, ради бога, ты себя только волнуешь...

Ручка у двери тихо повертывается, входит доктор.

Варенька. Вот он!

Доктор. Ну что, что?..

Больной. Потревожили вас, доктор?

Доктор. Какой потревожили — я и без того к вам шел и встретился с вашей Marie по дороге.

Варенька. Он так вскрикнул...

Больной. Да ничего — отошло.

Д о к т о р *(садится на постель)*. Разумеется — в лице усталь. Должно быть, боль схватила шибко. *(Щупает пульс.)* Ну, а теперь как?

Б о л ь н о й. Эх, Андрей Лукич, не удалось нам с вами поработать. Хоть поговоримте еще раз, насколько голосу хватит...

Д о к т о р. Эге! да вы вот как! голова-то осталась свежёхонька. Поговоримте, Николай Петрович. Оно даже, может быть, и хорошо подействует. Наука — дело спокойное, светлей всего остального.

Б о л ь н о й. Нам бы с вами хорошо было работать, доктор; во мнениях, кажется, расходиться не случалось — хоть даже и в том, что мы оба не верим в медицину...

Д о к т о р. Что и говорить, Николай Петрович! Когда-то еще леченье будет наукою, — а покамест только исследование болезни, или, лучше сказать, — жизни, сколько-нибудь подходит под значение науки. Варвара Ивановна смотрит на меня, как будто сказать хочет: да зачем же ты, дурень этакий, лечишь? — Лечу, Варвара Ивановна, потому что это мой хлеб насущный. Но на сто случаев — может, раз лечу сознательно, а то все по традиции-с, немногим умней деревенской знахарки. И интересует-то меня больше процесс болезни, чем леченье. Ведь только в болезни и поймешь сколько-нибудь самый процесс жизни. Помните, Николай Петрович, как вы мне предложили вместе начать ряд исследований?..

Б о л ь н о й. Вчера еще об этом думал, доктор. Взять бы хоть какую эпидемическую болезнь, самую простую — оно нагляднее — да исследовать ее дотла... ну — хоть корь, например.

Д о к т о р. Да! ведь что вы называете дотла — то дело нешуточное. Сколько способов придумать надо...

Б о л ь н о й. Это было бы ваше дело. Я бы вам посильно помогал в наблюдениях, а главное — помогал бы в неупущении ни одного вопроса, ни одного сведéния сложных явлений жизни на простой физический, или, лучше, механический процесс, который можно привести в математическую формулу, то есть прийти в самом деле к научному пониманию...

Д о к т о р. Ну хорошо — возьмите хоть корь. С чего же бы вы начали исследование?

Б о л ь н о й. Лишь бы сил хватило, доктор, дайте

досказать. Мы не выбьемся из двух координат — среда и организм. Начнемте с среды. Наблюдение воздуха — микроскопическое (потому что тут не обойдется без живого заразительного материала), химическое (потому что живой материал из чего-нибудь да возник), физическое (потому что самый организм человека — только особый вид движения). При этом все нужно знать: электромагнитное напряжение, и самое направление хода заразительного материала, образование температуры.

Доктор. Милый мой Николай Петрович, вот вы будто и повеселели. Зачем это вы давно не посвятили себя науке?

Больной. Зачем? Мало ли зачем, доктор. Зачем я весь век во всем человечески-хорошем был аматёр, а во всем ненужном — maestro! [1] Опять среда и организм... От этого я и отжил свой век лишним человеком...

Доктор. Только вам говорить-то трудно. Отдохните немного; уж лучше я поболтаю и займу вас...

Варенька *(тихо доктору)*. Я думаю, теперь можно привести детей?

Доктор *(задумчиво)*. Приведите, Варвара Ивановна.

Варенька. Я пойду за детьми, друг мой.

Больной. Хорошо, Варя.

Доктор *(думает)*. Странный человек! Сколько еще силы. Да не ошибся ли я? Не принял ли какую-нибудь иную компликацию за... Пожалуй, и ухо иной раз обманет?.. Зачем же я его встревожил? Впрочем, мудрено ошибиться. Будь я немножко похладнокровнее — что за интересный субъект для изучения. — Я вот что вам хотел сказать, Николай Петрович: уж одно наблюдение воздуха потребовало целой ассоциации ученых, да еще каких! А как же вы их сведете вместе? Подите-ка! Даже и у хороших людей, и у тех столько личных целей, что не соберете вы их вокруг одного предмета, на общую работу...

Больной. И не надо их много, доктор, довольно трех-четырех человек, ярко понимающих вопрос и искренно преданных делу...

Варенька *(вводит детей)*. Ну — подите, проститесь с отцом.

---

[1] Маэстро (итал.)

Больной. Надя! Надя! Моя белокурая Надя! Доктор, пустите ее ко мне на постель. Надя! Дай посмотреть на твои добрые серые глаза. Ты уж большая, Надя, скоро девять лет. Люби сестру и брата, будь им другом, учи их...

Надя *(держа его за руку)*. Как у тебя голос дрожит, папа. Зачем ты так печально глядишь на меня?

Больной. Я не печально, Надя, а так уж очень люблю тебя и мне тебя жаль... Ну! А ты, Соня? Нарезвилась? И ты, Ваня? Что вы делали?

Мальчик. Играл, папа.

Соня. А я, папа, уж в книжке читаю.

Больной. Вот как! Ну, а ты, Ваня?

Ваня. Я, папа, картинки смотреть умею.

Больной *(молча смотрит то на того, то на другого)*. Ну, поцелуйте меня, дети, и пора вам спать. Может, не скоро увидимся. *(Целует их судорожно и закрывает глаза рукою; Варенька уводит детей)*.

Надя *(в дверях шепотом)*. Отчего папе меня жаль и отчего он говорит, что мы не скоро увидимся? Разве он куда едет?

Варенька. Нет, Надя, это он так говорит.

Мальчик. Какой он бледный стал.

Соня. Мама, ты вели ему завтра меня читать заставить. Он еще не слыхал, как я читаю.

Варенька. Ну, идите, идите. *(Уходит с ними и затворяет дверь.)*

Доктор *(хочет что-то сказать, но не может придумать, что сказать, и думает про себя)*. Чем же я его утешу? Ничем не утешу! Что ни придумывай — все вздор! Мешать его горю? да только нужно ли мешать-то? А если и нужно, так можно ли? Детям я как-нибудь пособлю, чем в силах. Разве люди станут болтать, что с чего-либо он чужую семью содержит, верно недаром. Я уж подумывал — да не жениться ли мне после на Варваре Ивановне?.. Да нет! куда! И она-то захочет ли? Да и сам-то я... куда мне жениться? Только от науки отобьешься. Пожалуй, и сам выйдешь лишним человеком... Ну! а как и со всей наукой-то выйдешь лишним человеком?.. Нет... все же нет! Я с семейной жизнью не совладаю. *(Смотрит на больного)*. — Николай Петрович, не унывайте, друг

мой. Уж вы послушайте меня, право не унывайте. (*Берет его за руку.*)

Больной. Страшно за них, доктор. Что ж тут делать — не всегда храбрость на себя натянешь. А впрочем, тут уже не пособишь. Лучше говорить о другом чем-нибудь.

Доктор. Да вы вот что, Николай Петрович, вы уж положитесь на меня. Все сделаю для них, что только могу...

Больной. Вы, Андрей Лукич? Стало, вы меня в самом деле любите?..

Варенька входит.

Доктор. Ну! Перестаньте говорить об этом. А вот что, Варвара Ивановна, я сегодня здесь ночевать останусь, домой не пойду. Вот здесь где-нибудь вздремну...

Больной. За что ж вы-то еще себя мучить хотите?

Варенька. Лучше ступайте домой, Андрей Лукич. Я сама здесь на диване прилягу. Marie останется с детьми; если уже очень устану, или если нужно, я за вами пошлю.

Доктор. Нет, Варвара Ивановна, вы, пожалуй, вздремните здесь на диване, а я все ж не уйду. У меня дома сна не будет. Нет! уж я здесь останусь.

Больной. Ну! Как хотите, доктор. Спасибо вам за дружбу. Кажется, мне самому вздремнуть хочется.

Доктор. И хорошо бы. Это бы вас успокоило. Лекарство только раз принимали? Примите еще теперь.

Варенька подает лекарство. Доктор садится в кресло. Варенька садится к столу и продолжает работать. Больной в самом деле дремлет.

Доктор (*шепотом*). Уснул, кажется, Варвара Иванова, прилегли бы и вы. Ночью придется проснуться; он, верно, спросит чего-нибудь, долго не поспит.

Варенька (*шепотом*). Не знаю, Андрей Лукич. Тоска томит. Все думается — может, и я виновата, что он так болен.

Доктор. Это еще что, Варвара Ивановна, теперь вы начнете себя терзать небывальщиной.

Варенька. Нет, Андрей Лукич, не небывальщиной; а я думаю — я ему жизнь не облегчала, а затрудняла много и много...

Доктор. Полноте, Варвара Ивановна, нравственное страдание тут мало имело влияния. Болезнь выросла из других, чисто материальных причин. Перестаньте себя тревожить. Говорю вам — сберегите силы на то, чтобы в самом деле пособить ему, может что ночью будет нужно. Вы посмотрите на себя, вы сами исхудали в это время, а тут нужны силы да твердость.

Варенька. Да, я, пожалуй, вас послушаю, Андрей Лукич. Прилягу. Только уж вы меня не переуверите в том, что я так страшно чувствую. Я тут много виновата. Я вам говорю это, потому что мне надо это сказать. *(Тихо плачет)*.

Доктор. Бросьте фантазии. Положите работу в сторону *(берет у ней из рук работу)* и лягте.

Варенька ложится на диван и продолжает тихо плакать.

Доктор *(садится в кресло и думает)*. Как посмотришь — к этой всеобщей тьме понимания еще всегда примыкает какая-нибудь трагедия иная, домашняя, ненужная. А он, Николай Петрович-то, — один из самых светлых умов... Кажется, иная бы доля должна была выпасть в жизни!.. Черт знает, что такое. Попробую сам уснуть. Хорошего ничего не надумаешь. Да и устал-таки, день-деньской была работа... Насмотрелся я на все этакое, привык, кажется, а тут как-то сердце не на месте, и чувствую, что на этот раз я знанием наказан. *(Потягивается. Наступает совершенная тишина.)*

Больной раскрывает глаза, пересиливает боль и продолжает думать.

<Не окончено>

1864(?)

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС В ПАНОРАМЕ

Мужичок с ямщиком по ярмарке похаживает,
Разные картинки в стеклышко показывает.

1

Не бось, не бось! мои боярыни и баре,
В стеклышко смотрите, подходите по паре;
Вам, чай, приятна и ектенья на амвоне,
Вы попривыкли ко всякой царской вони.
Мужик вот нейдет — ему неинтересно,
Земля-то широкая, только жить тесно;
И что, мол, мне до восточного вопроса,
Коли дома ни ржи, ни пшеницы, ни проса.
А у вас, господа мои, боярыни и баре,
Все же кое-что да сбереглося в амбаре;
Вы на комедью восточного заката
Приходите взглянуть по копеечке с брата.

2

Вот первое стеклышко — тем и обидно —
Кажется, когда темно, так ничего не видно.
В прочих стеклышках идет иллюминация,
В каждом стеклышке особая нация.

3

Первая — Франция — Наполеон Третий,
Человек первый из девятнадцати столетий;
Речь говорит — уж нельзя превосходней,
«Француза, говорит, прижать — тем он и
свободней,

Я, говорит, не просто король аль император,
Человек, говорит, штатский и больше оратор.
Хожу, говорит, не в мундире, а во фраке я,
Что мне их Крит а либо Фракия?
Я, говорит, человек мирный — даже по платию,
Между Турцией и Грецией учрежду симпатию.
Конфедерацию строю из плюса да минуса,
Да затем дальше всех вперед и подвинуся.
Войско для миру держу, даже денег не жáлится
(Они ж не свои), а иначе мир провалится.
Франция меня любит, у меня жена Евгения,
И все рукоплещут, в принце узрев гения».
Видите, господа, у него речи звонкие,
Мысли всё благие и усы тонкие.

4

А вот тут на него граф Бисмарк смотрит косо,
«Я, говорит, за Рейном ему дам хлопштоса,
У меня, говорит, совсем новая Пруссия,
Стало — в восточном вопросе упрусь и я,
Правда, нас не обдает оттолева страхом;
Мое дело — князьков немецких швырнуть прахом,
Да кто б и Австрию хватил, кабы да не я?
У меня в комочек свернулась и Дания.
У меня король Фридрих вошел в леты,
А носит всегда енеральские эполеты.
А сам я, хоть и граф, но настоящий король;
Богатейшая, говорит, моя на сем свете роль».

5

А вот Австрия — император Франц-Осип,
По-венгерски Карл — такой уж у них способ:
Надо, говорит, чтоб имен была троица,
Потому что без троицы дом не строится.
А сам он сидит бедный да печалится.
«Того гляди, говорит, Австрия провалится;
Друзей в самом деле нету, потерял святого Марку,
А Берлина, говорит, боюсь и его Бисмарку.

Славяне к России тянут, и Чехия, и Галиция
(Я, говорит, немец — не люблю их лицы я),
Да им и к нам притянутым время соскучиться,
Куда им к России? .. Все врозь хотят скучиться.
Того гляди, говорит, не Франц-Осипом имперским,
А придется остаться мне только Карлом венгерским».
Но фон Бейст говорит: «Не беспокойтесь, обделаю,
Уж такую господь в меня вложил душу смелую».
Франц-Осип фон Бейсту на шею повалился,
От избытка чувствия — слезами залился.

6

А вот Виктор-Иммануил, веселый любитель,
А по-русски значит: избранный победитель,
«У меня, говорит, богатырские и усы и талия,
И королевство теплое — имя ему Италия.
Всякие строгости хотел бы ослабить,
Да с министрами пришлось только народ грабить,
А народ от евтова тянет к республике,
А мне бы, говорит, только поплясать в публике.
А тут ничего не поделаешь и с папою,
Он все загребает священною лапою;
Рад бы поплясал на его гробе я,
Да у него всё французские пособия.
Какое, говорит, мне дело до восточного дела,
Лишь бы своя голова-то на плечах уцелела».

7

А вот Англия — в восточный вопрос-то
Вступаться не желает, говорит просто.
«Мне, говорит, чтоб у народа прошел глад и стон,
Только и нужно, и министр у меня Гладстон,
Человек, мол, крепкий, да и сама королева
Ездит себе в коляске безо всякого гнева».

8

А вот, господа, стеклышко большое самое,
Это наша Россия, племя неупрямое.
Александр Николаевич, всех дел вершитель,

«Я, говорит, ввожу всякие реформы,
А сам, говорит, знаю, что это для проформы.
Войны, говорит, не хочу, хотя мы и хватики,
А рекрутов, говорит, надо — поиграть в солдатики.
Грекам обещаний надам выше тополя,
А сам, говорит, и прочь — не забыл Севастополя.
Мужичкам любезным поберегу розги,
Пусть дворяне секут — это в их мозге.
А сам к обедне схожу для божьего оплоту,
Да позабавиться и съезжу на охоту».
Так у нас, господа, дело и варганится,
Куда нам тут восточным вопросом чваниться?

9

А вот греческий король сидит да все плачет:
«Все, говорит, христианство ко гробу скачет.
Мне бы, говорит, хорошо — и в салате настурция,
Сам я греков не ем, ест нас Турция.
Но надо мириться, когда кто не сможет,
Все, говорит, нас надуют, никто не поможет».
Да вот и Султан: «Я, говорит, лыс, без волоса,
Но с Грецией смирюсь — мы оба без голоса.
Голос, говорит, у Краевского, с ним и оболванится».
Затем, господа, прощайте! Друзьям просим кланяться.

1869

* * *

Гой, ребята, люди русские!
Голь крестьянская, рабочая!
Наступает время грозное!
Пора страдная, горячая.
Подымайтесь наши головы,
От печалей преклоненные!
Разминайтесь наши рученьки,
От работы притомленные!
Мы расправу учинить должны,
Суд мирской злодеям-ворогам.
А злодеи эти вороги:
Все дворяне, все чиновники,
Люди царские, попы, купцы,
Монастырские, пузатые —
Все они нас поедом едят,
Поедом едят — судом судят,
Обложили нас оброками,
Мы за всё про всё платить должны:
Про их брюхо ненасытное
Работаем с утра до ночи,
Сами наги, сами голодны,
На Руси мы как в аду живем!
Подмененный царь Александрушка,
С головой пустой, со немецкою,
Только пиво пьет да командует
Палачам своим толстой гвардии,
Чтоб стреляли нас, чтоб нас вешали,
Чтоб в Сибирь вели людей умных.

Видно, с глупыми легче справиться, —
Как ни мучай их, всё «ура» кричат.
А отродье-то его царское,
Дети, внучата, сестры, братчики —
В золотых дворцах потешаются,
Только пьянствуют да распутствуют;
А мы, глупые, неразумные,
За них молимся, «много лет» кричим.
От нужды-горя от крестьянскова
Как бы стон стоит по земле русской;
В деревнях печаль ветром носится,
Сердце рвет у всех, зубы скоркают.
Услыхал о том Стенька Разин сам,
Во горах что спал лет поболе ста.
Он, заступник наш, просыпается,
На помогу к нам собирается.
Подымайтесь наши головы,
От печалей преклоненные!
Разминайтесь наши рученьки,
От работы притомленные!
Мы расправу учинить должны,
Суд мирской царю да ворогам.
Припасайте петли крепкие
На дворянские шеи тонкие!
Добывайте ножи вострые
На поповские груди белые!
Подымайтесь, добры молодцы,
На разбой — дело великое!
Мы отплатим нашим недругам
Все злодейства, все мучения;
От рук наших умираючи,
Пусть помянут годы тяжкие,
Как тиранили народ простой,
Как поборами нас грабили!
Будут плакать, будут сетовать
Жены их и дети малые;
Не должно для них пощады быть,
Надо всех их нам со света сжить,
Города, дворцы огнем спалить,
Чтоб не знали, где главы склонить.
И очистим мы землю русскую
От всех ворогов да бездельников.

Что наш хлеб едят да нам зло творят.
От попов, купцов, от чиновников,
От дворян, от бар, что кровь нашу пьют.
Мироедам всем карачун дадим;
Все дома их пустим по ветру.
Подставному царю-батюшке,
Александрушке подмененному,
Мы скрутим руки немецкие,
Поведем на площадь Красную,
На московскую площадь Красную,
Пред мужичий люд, им обманутый;
Там судить его станем миром всем,
Мы допрос ему учиним такой:
«Подмененный царь, Александрушка,
Лиходей земли нашей русския,
А зачем ты нас обманул-надул,
Вместо волюшки в кабалу отдал?
Ты зачем велел нас рубить-стрелять,
Как хотели мы себе землю брать?
Ты за что про что мучил пытками
Вожаков наших да заступников?
Ты за что рубил, ты за что секал
Их разумные, буйны головы?
Подымалися под Архангельском
Мы от голоду от великого,
Наги, босы, отощалые,
В Питер-город шли шестьсот тысячей;
Ты послал на нас свою гвардию,
С генералом своим плутом Треповым,
Свою гвардию откормленную,
Откормленную, подпоенную;
Ты велел нас бить, да без милости,
Без разбору безо всякого
Палить залпами да картечами,
На штыки сажать, конем топтать.
От тоё ли, от картечи от поганые
Полегло нас много тысячей,
Потекла ручьем кровь мужицкая
По лицу земли нашей русския.
Мы теперь с тобой, подмененный царь,
Поквитаемся, рассчитаемся!

Мы теперь тебя разорвем в куски,
Разбросаем их во все стороны».
Подымайтеся наши головы,
От печалей преклоненные!
Разминайтеся наши рученьки,
От работы притомленные!
Мы расправу учинить должны,
Суд мирской царю да ворогам,
Без пощады им поделом воздать,
Чтоб добыть себе *волю вольную*.

1869

ПЕРЕВОДЫ

ПЕСНИ ОФЕЛИИ

I

Средь толпы — кем я любима,
Как узнать бы мне того?
По одежде ль пилигрима,
По сандалиям его?

Ведь он умер — вы не знали?
Ведь ушел, ведь умер он:
В головах всё дерн настлали,
В ноги камень положен.

Саван бел, как снег нагорный,
Сам он убран весь в цветах;
Так он лег в могиле черной,
А любовь по нем в слезах.

II

День святого Валентина!
С раннею зарей
Этот день пришла девица
Праздновать с тобой.

Он проснулся и оделся;
Дверь ей отворил,
От себя ж ее девицей
Он не отпустил.

Ах, святая Катерина!
Дурно ведь оно.
Вот мужчины! все такие, —
Право, им грешно.

«Ты меня ведь обещался
Взять себе женой?»
Он отвечает:
«Я и взял бы, да напрасно
Ты спала со мной».

III

В гробу его открыто проносили,
Гей но нонни! нонни, гей нонни!
И много слез в могилу уронили.

IV

Ужель он не вернется?
Ужель он не вернется?
Нет! уж умер он,
Лег на долгий сон,
Он больше не вернется!

Был он с белой бородой,
Мягок локон завитой:
Он ушел в свой темный дом.
Что ж и плакать нам по нем?
Боже, душу упокой!

1840(?)

ПЕСНЯ МОГИЛЬЩИКА

Я смолоду любил, любил,
Мне сладко было это,
Я чудно время проводил:
Да тут и дива нету.

А старость и пришла тайком,
Да в когти и забрала,
Да в даль и увезла потом —
Меня как не бывало.

Лопату взяли б, заступ, лом,
Да крышкой бы накрыли,
Да яму вырыли б потом,
Вот гостя б угостили.

1840(?)

<ПЕСНЯ ДЕЗДЕМОНЫ>

I

В тени сикомора бедняжка сидела, вздыхала,
Пойте про иву зеленую!
Рука на груди, голова на коленях лежала,
Пойте про иву, про иву, про иву!
Струи свежих вод перед ней ее пени роптали,
Пойте про иву, про иву, про иву!
Горючие капали слезы и камни смягчали,
Пойте про иву, про иву, про иву!
Пойте: должна быть венком мне зеленая ива!

II

Его не браните, презренье его справедливо, —
. . . . :
Любовь мою как-то притворной любовью звала я, —
И что ж он сказал мне?
Пойте про иву, про иву, про иву...
Чем больше он женщин возьмет, тем с мужчинами
больше б спала я.

1843, 6 апреля

CHORUS MYSTICUS[1]

Все проходящее —
Только сравнение;
Недостижимому
Здесь выполнение;
Невыразимое
Здесь совершается,
А вечно женственным
Душа пленяется.

Конец 1830-х(?)

ИЗ „ФАУСТА“

Тюрьма. В стене образ всескорбящей божией матери. Перед ним кружка с цветами.

Гретхен

(ставит свежие цветы в кружку)

Воззри ты,
О всескорбящая,
На скорби сердца моего!

С сердечной мукой
В тоске взираешь
На смерть ты сына твоего.

[1] Священный хор (лат.).

К отцу взираешь,
И все вздыхаешь
И за себя и за него.

Кто поймет,
Как жжет
Все тело мне тоской?

Как сердце бедное страдает,
О чем трепещет, как желает —
Открыто для тебя одной.

Куда ни иду — тоскою,
Тоской, тоской одною
Вся грудь моя полна;

Останусь ли одна —
Слеза все льется, льется, льется,
А сердце так и рвется.

Я стеклы у окошка
Слезами орошала,
Когда поутру рано
Цветы тебе срывала.

Когда лучи дневные
В окно мне заблестели,
Уж я, полна мучений,
Сидела на постели.

Спаси! не дай мне смерть! не дай позор!
Склони ты,
О всескорбящая,
На скорбь мою пречистый взор!

Конец 1830-х — начало 1840-х

ИЗ „ФАУСТА“

Церковь. Служба; орган; хор. Гретхен в толпе. Злой дух позади Гретхен.

Злой дух

О, так ли, Гретхен, прежде
Невинная стояла
Ты здесь пред алтарем?
По старой книжечке молитвы
Ты лепетала —
Порой забавы,
Порой бог в сердце.

Гретхен!
Где голова твоя?
А в сердце скрыто
Какое преступленье?
Ты молишься ль за душу матери,
Что ты для долгой, долгой муки усыпила,
Чьей кровью твой порог облит?
И у тебя под сердцем
Не движется ли что?
Не мучит ли тебя, себя
Пророческим присутствием?

Гретхен

О, горе мне!
Как отогнать мне думы,
Что бродят в голове
Невольно?

Хор

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla. [1]

Орган звучит.

Злой дух

О, горе тебе!
Глас трубный несется,
И гробы трясутся!

---

[1] В тот день гнева, в тот день страха
Станет вечность горстью праха (лат.).

И сердце твое,
Из пепла возникнув
На вечное пламя,
Трепещет.

Гретхен

О, как бы уйти!
Орган этот будто
Дышать мне мешает;
От пения сердце
В груди замирает.

Хор

Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet adparebit,
Nil inultum remanebit. [1]

Гретхен

О, душно мне!
Колонны эти
Теснят меня,
Тяжелый свод
Гнетет меня. . .
На воздух!

Злой дух

Сокройся! Грех и стыд
Не остаются втайне.
Как? — воздух? свет?
О, горе тебе!

Хор

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus?
Cum vir justus sit securus. [2]

---

[1] Чтоб творить свой суд нелживый,
Тайна станет на виду,
Все свою получит мзду (лат.).

[2] Что тогда ему скажу я,
Где заступника найду я,
Если праведник — и тот
От суда едва уйдет (лат.).

Злой дух

От грешницы лицом
Святые отвращаются,
И руку дать тебе
Пречистые гнушаются.
О, горе!

Хор

Quid sum miser tunc dicturus?

Гретхен

Соседка! вашу скляночку!
(Падает в обморок.)

Конец 1830-х — начало 1840-х

<ИЗ „ФАУСТА“>

Кабинет.

Фауст, Мефистофель.

Фауст

Стучат? Войди! Кто там опять?

Мефистофель

Я.

Фауст

Ну, войди!

Мефистофель

Три раза должен ты сказать.

Фауст

Да ну — войди!

Мефистофель

Так нравишься мне ты!
Поладим мы, надеюсь, меж собою!
Чтоб разогнать твои мечты,
Являюсь я перед тобою —

Одет природным дворянином:
В фуфайке красной с золотой каймой,
В плаще из ткани шелковой,
С пером на шляпе петушиным
И с длинной заостренной шпагой.
Прими ж совет ты от меня:
Скорей оденься так, как я, —
Потом, исполненный отвагой,
Со мною отправляйся в путь —
Значенье жизни развернуть.

Фауст

Во всяком платье, кажется, страданье
Я жизни узкой стану ощущать;
Я слишком стар, чтоб только мне играть,
И слишком молод, чтоб не знать желанья.
Что может этот мир мне дать?
Терпеть ты должен и страдать!
Вот эта песня ввек поется,
И в уши каждому одна
Всю жизнь звучит, звучит она
И все хриплее раздается.
Я с ужасом поутру пробужден,
Готов заплакать горько от страданья,
Что новый день я видеть осужден
И что не выполнит мне он
Ни одного, ни одного желанья;
Что даже мне испортит он скорей
И самое предчувствье наслажденья
И кучею разрушит мелочей
В живой груди возникшее творенье.
А ночь придет — все так же я
Взволнован на постель кидаюсь,
И тут покой бежит меня:
Я снами дикими пугаюсь.
Тот бог, который жив в моей груди,
Меня порою глубоко тревожит,
Он властвует над силами души,
Но в внешность их вдохнуть не может,
И мне существовать — тоска,
Отрадна смерть, а жизнь горька.

Мефистофель

А все ж, как смерть нас посещает,
Отрады в этой гостье нет.

Фауст

Блажен, кому она среди побед
Чело кровавым лавром осеняет,
Иль после пляски резвой свой привет
В объятьях девы посылает.
О, если б мог пред силой духа я
Упасть в восторге без дыханья!

Мефистофель

А кто-то, ночью, темный сок
Недавно проглотить не мог.

Фауст

Подсмотрщик ты, я замечаю.

Мефистофель

Не все, но многое я знаю.

Фауст

О! Ежели знакомый, сладкий звук
Меня исторг из тяжкого страданья
И обольстил прекрасный дней отзвук —
Остаток детского воспоминанья:
Я проклинаю силу грез,
Что душу блеском обольщают,
И лестью в эту бездну слез
Ее безвыходно ввергают!
Проклятие возвышенному мненью,
Что дух имеет о себе самом!
Проклятие явленьям, что кругом
На чувства нам наводят ослепленье!
Проклятье лицемерным снам
И славолюбия мечтам!
Всему, что нас в владении прельщает, —
Жене и детям, плугу и рабу!
Маммоне, что богатую судьбу
Сулит и к смелым подвигам толкает,
Иль ложе расстилает нам,
Где ждет нас лености отрада!

Проклятье соку винограда!
Любви нежнейшей сладким снам!
Надежде! вере! К довершенью,
Проклятье пущее терпенью!

Конец 1830-х — начало 1840-х

* * *

Сатурн по прихоти, не боле,
Своих детей сжирает
И без горчицы и без соли,
Как знаете, глотает.
С Шекспиром точно то же.
И Полифем твердил:
«Вы дайте мне его же,
Чтоб им я закусил».

1841

* * *

И направо и налево,
На горе и в середине,
И стоят и заседают
Здесь и там по половине.
Но на целое взирай ты
И вотируй, как ты знаешь;
Замечай, кого откинешь,
Чувствуй тех, кого желаешь.

1841

ДЯДЕ КРОНОСУ

Ну, скорей, Кронос!
Шумною рысью вперед!
Вниз по горе все дорога.
Что ж? Голова у меня
С тихой езды закружилась.
Живо, хоть тряско, вперед,
Рысью по камням и кочкам
В жизнь поскорей выезжай!

Ну! уж опять ты
Шагом несносным с трудом
В гору поехал, ленивый!
Ну же, проснись и пошел
Кверху, стремясь и надеясь!

Взгляд необъятный, но чудный,
Взгляд, открывающий жизнь —
Вдаль, вниз и вверх через горы
Вечный проносится дух
С предчувствием вечныя жизни.

В сторону манит тебя
Тень под навесом,
Манит живительный взор
Девы, что тут у порога.
Здесь наслаждайся — о, мне,
Дева, шипящий напиток!
Мне жизни исполненный взор! . .

Вниз поскорее поедем —
Солнце садится, смотри!
Едем, пока меня, старца,
Холод не обдал болот,
Кости дрожать не заставил,
Зубы об зубы стучать.

Ты меня, светом последним
Дня упоенным, вези;
Море огня перед взором
Мутным моим ты разлей —
Пусть ослепленный доеду
К тартара мрачным вратам.

Дядя! труби же ты в рог свой,
Громкую рысь протруби,
Оркус чтоб слышал: мы едем,
Тотчас у двери бы нас
Принял, радушный хозяин.

1842

* * *

Звезды с ножками златыми
Ходят робкою стопой,
Разбудить боятся землю,
Что заснула в тьме ночной.

Лес стоит, вниманья полный,
Чутко лист зеленый спит;
От горы, как будто призрак,
Тень угрюмая лежит.

Но что слышу, что за звуки
Отдались в душе моей?
Голос ли то девы милой
Или только соловей?

1840

РЫБАЧКА

Прекрасная рыбачка,
Причаль свою ладью,
Приди и сядь со мною,
Дай руку мне свою.
Не бойся, и головкой
Склонись на сердце мне,
Ты ж на море беспечно
Вверяешься волне.

Что море, мое сердце —
То тихо, то кипит,
И светлых в нем немало
Жемчужинок лежит.

1840

ЕЕ ПОРТРЕТ

Стоял я в мрачной думе
И на портрет глядел,
И милый лик, казалось,
Жизнь тайную имел.
Чудесная улыбка
Явилась на устах,
И грустно две слезинки
Блеснули на глазах.
И слезы по ланитам
Лилися у меня,
И не могу я верить,
Что потерял тебя.

1840

ЖЕЛАНИЕ

Дева с свежими устами,
С тихой ясностью очей,
Ты, младенец мой прелестный,
Ты живешь в мечте моей.
Длинен этот зимний вечер,
Быть хотел бы я с тобой
И болтать весь длинный вечер
В тихой комнатке с тобой.
Я к устам моим прижал бы
Ручку белую твою,
И слезами обливал бы
Ручку белую твою.

1840

ГОРОД

Под дальним небосклоном
Чернеет город мой,
Туманный образ словно
Покрыт вечерней мглой.
Сырой вздувает ветер
Седую пену вод,
Рыбак однообразно
В ладье моей гребет.
Еще раз вспыхнул запад
И грустно озарил
То место, где оставил
Я все, что я любил.

1840

ДВОЙНИК

Тихо все ночью, и стогны в покое,
В доме здесь прежде живала она,
Город покинут ей давней порою,
Дом же остался, как в те времена.
Кто-то стоит тут и кверху взирает,
Руки ломает, измучен тоской.
Страшно мне! Месяц его озаряет —
Боже! то сам я стою пред собой.
Ты — мой двойник, ты — товарищ мой бледный,
Что передразнивать вздумал меня,
Так же томиться, как некогда, бедный,
В долгие ночи томился и я.

1840

АТЛАС

О бедный, бедный Атлас! Целый мир
Страданий, целый мир носить я должен;
Ношу невыносимое, и сердце
Готово разорваться.

Ты, сердце гордое! Блаженствовать,
Блаженствовать хотело ты без меры,
Или страдать без меры. Что же, сердце?
Теперь ты и страдаешь!

1840

У МОРЯ

Над морем позднею порой
Еще лучи блестели,
А мы близ хижины с тобой
В безмолвии сидели.
Туман вставал, росла волна,
И чайка пролетала,
А у тебя, любви полна,
Из глаз слеза упала.
Катилась по руке твоей —
И на колени пал я,
И медленно с руки твоей
Твою слезу спивал я.
С тех пор сгораю телом я,
Душа в тоске изныла —
Ах, эта женщина меня
Слезою отравила!

<1840>

* * *

В старинных сказках — за́мки золотые,
Где звуки арф, да пляски стройных дев,
Да пышный блеск нарядов и прислуги,
Да запах роз, и мирта, и ясмина, —
И вдруг одно такое слово — и
Все рушится в одно мгновенье ока,
И снова тлен и темный прах развалин,
Да крики сов полночных, да болото.
Вот так и я — одним зловещим словом
Все чары снял с сияющей природы;
Лежит она безжизненна, ледя́на,
Как царский труп, положенный в гробу:

Ему скулы́ румянами натерли
И в руку всунули державный скипетр,
А губы-то поблеклы и желты́
(Забыли, знать, их тоже подрумянить),
И мыши шмыгают над царским носом
И нагло смотрят на державный скипетр.

1863

* * *

Во сне мне приснилась она,
И робкий, встревоженный образ имела;
Худое и дряблое стало у ней
Когда-то роскошное тело.

Ребенка несла одного на руках,
Другого вела за собою за руку;
Одежда, и поступь, и взор у нее
Являли и бедность и муку.

И так она шла, вся дрожа, через рынок —
И тут повстречалась со мной,
Взглянула... Тогда ей спокойно
Сказал я с глубокой тоской:

«Пойдем ты со мною, ко мне на квартиру,
Затем, что ведь ты и худа и больна,
А я же работой моей и стараньем
Достану тебе и обед и вина.

А также, увидишь, вскормлю, воспитаю
Вот этих двоих я детенок,
А пуще всего я тебя успокою,
Мой бедный, несчастный ребенок.

Я даже тебе никогда не скажу,
С какою любил тебя страстною силой,
А если помрешь — то я плакать пойду
Над тихой твоею могилой».

1869, начало ноября

В. МЮЛЛЕР

ВОДОПАД

Не одну слезу из глаз я
В снег холодный уронил,
И видал уже не раз я,
Как тоску мою он пил.

Хочет травка выйти в поле —
Ветер теплый зашумит,
Тает лед, и снег по воле
Шумной речкой побежит.

Знает снег мое стремленье,
И куда же ты потек?..
За слезой направь теченье —
С ней вольешься в ручеек.

В город он тебя потянет,
С ним ты в улицы войдешь, —
Где слеза теплее станет —
Домик милой ты найдешь.

1840

SÉRÉNADE

Песнь моя летит с мольбою
Тихо в час ночной.
В рощу легкою стопою
Ты приди, друг мой.
При луне шумят уныло
Листья в поздний час,
И никто, о друг мой милый,
Не услышит нас.
Слышишь, в роще зазвучали
Песни соловья;
Звуки их, полны печали,
Молят за меня.
В них понятно все томленье,
Вся тоска любви,
И наводят умиленье
На душу они.
Дай же доступ их призванью
Ты душе своей
И на тайное свиданье
Ты приди скорей!

1840

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВОИНА

Кругом весь лагерь в тишине,
Объят глубоким сном;
А на сердце так тяжко мне,
Так много грусти в нем.

Я на груди у ней мечтал
Когда-то в тихом сне,
Очаг радушно так пылал,
И было сладко мне.
А здесь, где пламень роковой
Сверкает на мечах,
Я грустен, одинок душой,
И слезы на глазах.
Но есть еще надежда мне —
Мне скоро в бой идти,
И я забудусь в вечном сне,
Мой милый друг, прости.

<1842>

СЛОВА СТАРЦА

Ко мне, мое дитя, ты жизнь моя...
Нет, нет! ко мне, дитя, моя ты смерть.
Ведь все, что горько, жизнию зову я,
И все, что сладко, называю смертью.

1843(?)

ЗАСОХШИЙ ЛИСТ

У меня живет старая тетка,
И у ней книга старая есть,
И в ее старой книге положен
Также старый, засохший листок.

И сорвавшая лист тот весною —
Ныне старая, верно, рука...
Но что ж это такое с старухой?
Она плачет при виде листка.

1841

СТАНСЫ

Ни одна не станет в споре
    Красота с тобой,
И, как музыка на море,
    Сладок голос твой.
Море шумное смирилось —
Будто звукам покорилось;
Тихо лоно вод блестит,
Убаюкан, ветер спит.

На морском дрожит просторе
    Луч луны, блестя,
Тихо грудь вздымает море,
    Как во сне дитя.
Так душа, полна вниманья,
Пред тобой в очарованьи —
Тихо все, но полно в ней,
Будто летом зыбь морей.

<1841>

РАЗГОВОР

Мой друг, для нас что могут разговоры значить?
Что я так чувствую — к чему мне говорить?
Когда нельзя всю душу в душу перелить,
К чему в словах ее дробить и тратить?
Еще до слуха и до сердца не касаясь,
Слова уже остынут, с уст моих сдыхаясь.

Люблю, люблю тебя! сто раз я повторяю;
Ты сердишься, и хочешь ты бранить
Меня, что я любви моей совсем не знаю,
Ни высказать, ни выразить, ни в песнь излить,
И, будто в летаргии, не имею силу
Иной дать признак жизни, как сойти в могилу.

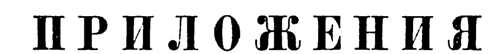
Мой друг, уста скучают тщетным излияньем,
А я хочу мои уста с твоими слить,
Хочу с тобой биеньем сердца говорить,
Да вздохом только, да лобзаньем,
И так проговорю часы, и дни, и лета,
И до скончания, и по скончаньи света.

<1843>

РУССКИМ ДРУЗЬЯМ

Вы помните ль меня? А я моих друзей —
Казненных, сосланных, по тюрьмам заточенных, —
Как вспомню, — вспомню вас! Храню в мечте моей
Права граждан для вас, людей иноплеменных. . .

1859



ПРИЛОЖЕНИЯ

ДРУЖЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ, СТИХОТВОРЕНИЯ НА СЛУЧАЙ И СТИХОТВОРНЫЕ ШУТКИ

* * *

Вот Новый год — а я больной,
И заперт дома, как пустынник,
Вчера был Боткин именинник,
А я был с болию зубной.
Там все поэты ликовали,
Которые хоть только раз
Краевского в плохом журнале
Свои фамильи выставляли
И от издателей подчас
Похвал немало получали,
И все весьма известны стали:
Поэт на русский лад Кольцов,
Феос, не признанный глупцами,
И Красов — смесь бессвязных слов,
И друг мой с шаткими ногами.
Там был профессор молодой
И Кетчер — переводчик в прозе,
Лишь не был тот в беседе той,
Чей лик за нашей круговой
Краснеет, будто на морозе.
Меня пиявицы сосали,
Глаза мои, устав, дремали;
Любовью, грустию полна,
Смотрела на меня жена.
Как грустно Новый год я встретил!
Как глуп я был на этот раз!
И даже полночь не заметил!..

А нынче — нынче каждый час
Я — верить медику готовый
(Всё потому, что друг мне он) —
Весь день микстуру осужден
По ложке принимать столовой.

1841, 2 января

* * *

Когда я был в Италии
У пышных берегов,
Не знал я валеталии,
Наследия отцов.

И вдруг с пути я скорого
Попался в круг дворовых,
В страну Петра Викто́рова,
В соседстве Вешняковых.

1841(?), 23 марта

* * *

Buono giorno! [1] мне опять
Захотелось к вам писать.
Ну! скажите: как вы? что вы?
Вы больны или здоровы?
Веселы ли или нет?
Получили ль мой привет?
Говорили ль на досуге
О больном далеком друге?
Пожалели ли, что он
Жить в пустыне осужден?
Или вместо сожаленья
Вы подумали, что мне
Жить среди уединенья,
В деревенской тишине,
Есть спасительное дело
И для духа и для тела?

---

[1] Добрый день (итал.).

Может быть — не спорю я,
Сами знаете, друзья.
Ясновидящего оком
Вижу я в краю далеком,
Как теперь сидит барон
За столом перед тетрадкой,
На челе очки и складки;
Из-под них-то погружен
Взор угрюмый в лексикон.
Что за дерево green holly? [1]
Ты нашел его там, что ли?
Я ж не знаю — и прости!
Не умел перевести:
Да потом на́ Розалинда
Рифм не сыщешь, кроме Инда;
Индо я вошел во гнев,
Их придумать не умев,
И сказал стихам с угрозой:
Переводят пусть вас прозой!
Ну! а ты, ученый друг, —
Что? тебе все недосуг?
Все сидишь за фолиантом,
Над покойным Луитпрандтом?
И людей былых веков
И дела чужих отцов
Средь безмолвной полуночи
Вызываешь перед очи?

Я все тот же, все ленивый,
Все в бесплодных снах ищу
Сердцу бедному отзывы,
И бог весть о чем грущу.
Иногда, в виденьи странном,
Вслед испуганных врагов
На коне лечу я бранном,
С буйным взводом казаков;
Раскален сыпучий берег
Солнца знойного лучом,
Дико плещет злобный Терек,
Горы снежные кругом.

---

[1] Остролистник (англ.).

И какое-то раздолье
Наполняет грудь мою,
Сердцу любо своеволье
В вечно бешеном бою;
И отраден после драки
Сон и отдых — и, порой,
Пьяный смех на бивуаке
С необузданной толпой.

Но не все ж подобно гуннам
(Нашим предкам) — о войне
У меня мечты одне.
Иногда я по лагунам
Проезжаю при луне.
Быстро катится гондола;
По разбрызгнутой волне
Плеск весла отраден мне,
Сладки звуки баркаролы...
Вот Palazzo [1] — пуст, угрюм,
Полный старых, мрачных дум,
На могильный склеп похожий,
Где гуляют тени дожей...

Вот и Ponto dei sospiri, [2]
И подземные тюрьмы,
Полны ужаса и тьмы.
Славой, смолкнувшею в мире,
Веет здесь в тиши ночной;
И насмешливой толпой
В белом стянутый мундире,
Бродит сонный часовой, —
Лев низвержен с пьедестала...
Еду в узкие каналы,
Тише плещется волна;
Ручка белая спустилась,
И головка наклонилась
Из раскрытого окна,
И, как звезды, в полуночи
Блещут пламенные очи.

[1] Дворец (итал.).
[2] Мост вздохов (итал.).

Но всего же чаще я
Ночью поздней, одиноко
(Носов спит уже глубоко
В коридоре, близ меня), —
Растворяю двери в залу
И гляжу в тревожный мрак...
Пол трещит... а вот, никак,
Мышь тихонько пробежала...
Что-то стукнуло в окно...
Видно, ветер... все равно!
Я ведь, кажется, не трушу,
Но тоска объемлет душу,
На лице холодный пот,
И по телу дрожь идет.

После к звукам привыкаю,
И уж ночь мне не страшна;
Я ложусь... но все нет сна, —
Все о чем-то я мечтаю,
И тоскую, и желаю,
Сердце рвется — но все тщетно,
Жажда счастья безответна, —
А судьбы безмолвный ход
Глухо движется вперед...

Начало 1842(?)

LIVORNO

Подъезжая под Livorno,
Видел я, как Апеннины
Цепью длинной и узорной
Растянулись вкруг равнины.

Выезжая из Livorno
С сигаретами в кармане,
Был обыскан я позорно
На предательской догане.

Экой дьявол ты проворный!
Экой ты мошенник скверный,
Возле города Livorno
Надзиратель доганьерный!

1843, весна

ШВАЛЬБАХ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА[1]

Хоть велел поэта лозою
Высечь Зевс за стих докучный,
Но писать посланья прозою,
Признаюсь, до смерти скучно.
Где вы? В Питере иль в Азии?..
Все равно! все я стихами
При вернейшей сей оказии[2]
Поболтать намерен с вами.
Мне скучна жизнь заграничная;
Но все ж долго (это грустно!)
Не увижусь с вами лично я,
Не промолвлюся изустно;
По пути ли отверделому,
По морскому ли то лону —
Долго мне по свету белому
Развозить мою персону.
Но, оставив край Немеции, —
С мира древнего завесу
Я сниму весною в Греции
И вернусь через Одессу.
Там у южного прибрежия
Мы в краю России новом
Устриц две-три сотни свежия
Поразделим с Сок<оловым>;
А потом чрез степь печальную,
Как же весело оттуда
Наконец в отчизну дальнюю
Я помчуся!.. Но покуда...

Теперь я в Швальбахе, друзья!
Живу один, ни с кем не знаюсь,
Но не подумайте, что я
Затем людских бесед чуждаюсь,
Что я неловок, что меня,
Когда я с дамами встречаюсь,
Бросает в трепет, и тогда
Едва могу я молвить: да?

---

[1] Прошу извинения, что форма украдена из «Journal des débats» старого издания. — *Прим. Огарева.*

[2] Почта. — *Прим. Огарева.*

Вы клеветам не верьте сим,
Я homme du monde [1] и не скрываюсь:
Блеснуть желанием томим,
В халат поутру одеваюсь
И ногти чищу я, как Гримм,
И, как Ч<адаев>, умываюсь,
Усы и бороду ношу
И гребнем голову чешу.

Сюртук, конечно, у меня
Не очень нов... Но это в моде:
Небрежность гордую храня,
Заметен tory [2] ей в народе.
Еще всегда имею я
Перчатки желтые (в комоде)
И тож костей за table d'hôte [3]
Я не кладу руками в рот. [4]

Все это значит, что я лев,
По крайней мере б мог быть оным...
Но от германских дам и дев
Их сахарно-жеманным тоном
И разговором нараспев
Я отвращен... Моим поклоном
Их не встречаю (дело в том,
Что с ними я и незнаком).

Но есть из них лицо одно...
Оно в моем воспоминаньи
Так много разбудило... Но
Свести знакомство нет желанья,
Мне было б тягостно оно,
И только вечер весь в молчаньи
Я перед тем лицом сижу
И в этом время провожу.

«Да это глупо!»... Нет и да!
Друзья мои, как вам угодно!

---

[1] Светский человек (франц.).
[2] Тори (англ., консервативная партия).
[3] Общий стол (франц.).
[4] Солгал! Случается. — *Прим. Огарева.*

К тому же день мой, господа,
Идет не в праздности бесплодной.
Вот, например: со сна всегда
Купаюсь в ванне я холодной
И должен зябнуть, рад не рад, —
Потом пью скверный шоколад.

Antiquus orbis[1] разложив,
Читаю я о том, что винды,
Бог весть как дальний путь свершив,
Явились в Балтике из Инда
И были сеятели нив;
Янтарь драгой возили индо
До самой Греции. А финн
То враг, то друг был их дружин.

Но винды, венды, анты тож —
Славяне все, ваш род начальный.
Увы! на них я не похож!
Я просто скиф: потомок дальний
Златой орды — скуластых рож
Я образ сохранил печальный,
Ленивый нрав и дикий вкус,
Взяв от славян лишь рыжий ус.

Потом!.. Потом, друзья мои,
Я в мире мой обед съедаю;
Увы! теперь с вином струи
Воды колодезной мешаю!..
А там часа на два иль три
Я сном глубоким засыпаю;
Хоть Иппократа ученик
В том видит вред, — да я привык!

Но будит музыка меня:
О страх! не ладят с басом вторы,
Кларнет пищит, шипя, звеня...
Я к небесам подъемлю взоры,
Встаю — и мигом на коня,
И уезжаю в лес и горы.

---

[1] См. примечание на стр. 867.

День гаснет. В светлой тишине
Я возвращаюсь при луне.

Когда я лесом при луне
Безмолвно еду на коне
И проблеск трепетных лучей
Мелькает робко сквозь ветвей, —
Какой-то страх в душе моей,
И вместе жажда тайных снов;
В тени и шорохе листов,
Не знаю сам, чего ищу,
Какую тайну знать хочу.
Вот что-то белое луной
Озарено передо мной.
Быть может, призрак мертвеца?
Быть может, это тень отца!
Иль образ матери моей
Шепнуть мне хочет в мгле ветвей
Слова любви или угроз?..
Нет! это белый ствол берез;
Нет! это бледно-лунный луч
Блеснул между древесных куч;
Нет! то грозой разбитый пень
На светлый путь набросил тень...
Чу! тише! точно слышал я —
Какой-то голос звал меня!
Он что-то сладко мне сказал
И после страшно замолчал...
Нет! это лист шептал с листом,
Колеблясь в воздухе ночном;
Нет! это дальнего ручья
Перекатилася струя;
Нет! это птица, пробудясь,
С куста на куст перенеслась;
Нет! то от топота копыт
По лесу глухо гул бежит
И молкнет, молкнет, — и потом
Опять безмолвие кругом.

Так мне ничто в лесной глуши
Не явится на зов души?

Ко мне не придут из гробов
Родные тени мертвецов?
Какой же тайной веет мне
В лесу, почившем при луне? ..

Потом и ужин. Боже мой!
Желудок плох, и ем я мало;
С рулеткой тож разлад большой:
Хотя я игрывал сначала,
Да счастья нет... Иду домой
Стопой ленивой и усталой.
Пора бы спать! Но в поздний час
Не хочет сон сомкнуть мне глаз.

Тревожна мысль, душа в тоске,
В душе какой-то жар и трепет,
И смутно, будто вдалеке,
Мне слышен рифмы тайный лепет...
Хочу писать... (но в языке
У нас нет больше рифм на эпет.
Гм! Разве стрепет? .. Стрепет? Да!
Да он никак нейдет сюда).

Но я пишу. Бегут часы,
Звезда последняя бледнеет,
И ночи темные красы
Разбродятся. Восток алеет,
Долина влагою росы
Блестит, и ранний холод веет.
Глава устала. Нужен сон.
Ложусь. Но как тревожен он!

И то не сон, а разве бред —
То кровь кипит, то грезы бродят...
Мечта не спит и прежних лет
Картины дальние выводит,
Зовет людей, которых нет,
И в смутных очерках приводит
Виденья грешной суеты
Или сердечной полноты.

О чем пишу в ночной тиши?
О том, о сем... Мечты, желанья,

Все, что живит меня в глуши,
Порой спокойные созданья,
А чаще скорбь моей души —
Все тут! Но я в мое призванье,
Увы! не много верить стал:
Созданья смутны, стих мой вял.

И это мучит не шутя:
Когда б я, вняв судьбы уроки,
Не верил в призрак, как дитя, —
Мои размеренные строки
И звуки рифм забыл бы я,
Увидя ясно их пороки,
С мечтой простился бы навек
И был бы дельный человек.

Я всюду пользы бы искал,
Как прадед мой, почивший в бозе,
Приход с расходом бы сверял,
Предпочитал бы свеклу розе,
В агрономический журнал
Писать статьи бы начал в прозе
И, уважая светский круг,
Остался б доблестный супруг.

Но над собою суд иной
Внутри души свершил я строго,
И жизнь моя пошла другой,
Но столь же трудною дорогой.
Пусть, презирая суд людской,
Я внемлю тайный голос бога;
Но не уверен, чтоб вздохнуть
Спокойно мог когда-нибудь.

Еще во мне есть жажда жить,
К блаженству жгучее стремленье:
Я не отвык порок любить,
Меня томит страстей волненье, —
И очень, очень — может быть —
Далеко время примиренья,
Когда сознание с душой
Сдружит незыблемый покой.

Оно придет ли?.. Но пока
Еще гнетет неумолимо
Меня тяжелая тоска;
Отрадный звук несется мимо,
А плач нисходит с языка...
Вчера бродил я нелюдимо
В лесу. Вдруг плакать стал! — с чего?
Так, ни с того и ни с сего!

Есть слезы! Слезы те невольно
Из глаз себе находят путь
В те дни, когда душе так больно,
Что разорваться хочет грудь;
И никого, кто б подал руку!
Кому я высказать бы мог
И сердца жар, и сердца муку,
И горечь внутренних тревог.

То слезы ль тщетного стремленья,
Иль одиночества тоски,
Или пустого сожаленья?..
Что б ни было — они горьки.
Но им пробиться было надо:
Мук не вмещала грудь моя!
Так с чаши полной капли яда
Перетекают за края.

Быть может, ветер свеет слезы,
Иль знойный полдень запечет;
Души мучительные грезы
Забота жизни разнесет.
Но слезы вечный след в морщине
Вкруг уст иль щек пророют мне,
И скорбь страдания в пустыне
Осядет на душевном дне.

Покой, что сменит все волненья,
Похож он будет — тот покой —
На равнодушное смиренье
Пред равнодушною судьбой.
Есть слезы! Ветер их развеет,
Иль знойный полдень запечет, —

Но с ними сердце устареет,
По капле жизнь души уйдет.

1843, сентябрь

* * *

О ты, которого вчера
Ушиб я больно очень,
О чем я с самого утра
Премного озабочен.
Пришли мне с сим посланником
Табак и щетки три,
Три гребня и подштанники,
И только. Да смотри
Сходи теперь немедленно, —
Купи что нужно мне
И принеси, мне в 9 часов будет нужно.

1842—1843(?)

* * *

Завидуя, что несколько стихов
Здесь пишет друг ученый,
Carissimo,[1] я и своих готов
В пакет прибавить оный.
Стихи сии (другим путь до Москвы)
Шлю к берегам Невы я,
Где будете читать их точно вы,
Хотя их пишете не вы — я.
Как Сат<ин>, в них скажу, что пред судьбой
Еще не гнется выя,
Хотя давно с проклятою хандрой
Мы все знакомы — вы, я.
Знаком с ней тож Григорьич Виссарьон,
И Г<ерцен>, и профессор
(Желательно, чтоб поскорей, барон,
У них с души сей слез сор!)
Знаком с ней русский и нерусский люд
И женщины иныя,

[1] Дражайший (итал.).

Хоть должен я признаться вам, что тут
Не вижу их вины я.
Зато душой люблю все вина я,
И тож не враг коньяка,
И с ними в жизни сердцем не остыну я
И буду бодр, конь яко.
Пусть нам извне судьба печали шлет,
Внутри быть надо стойку...
А правда ли, что Г<ерцен> нынче пьет
Бальзам или настойку?
Бальзам и херес вздор. Пить надо джин,
Еще пить можно Porto;[1]
Раз после них я не пошел один,
А требовал транспорта.
Бывало, даже после Romanée[2]
Терял я в счастье веру;
Но все же пил я после ром, а не
Противную мадеру.
Но ныне, боже! Цитман мой герой,
И как-то духом пал я;
Не знаю, что начать с самим собой.
Читать уже устал я,
Хотел бы даже послужить в полку,
А книги скласть на полку,
Но только жизнь я мыслью натолку,
А все в ней мало толку.
Засим прощай! На, вот тебе рука,
И ты свою дай руку;
Рожь смелется — и выйдет, брат, мука,
Пока потерпим муку!

1844, май

* * *

Город Берлин
Наводит сплин.
Жить в нем без причин
Может немец один,
А русский дворянин
Унижает свой чин.

1844, 13 сентября

---

[1] **Порто** (португ., портвейн).
[2] **Романея** (настойка на заграничных винах).

* * *

Air: «Allons, enfants de la patrie. . .»[1]

Илья Васильич Селиванов
Без Фавстовны, своей жены,
И без мальчишки из болванов,
И без сияния луны,
К нам из Мореева нежданный
Приехал, жаждущий Москвы,
И рассказал, что дочку с раной
Покинул он среди мордвы.

Его вассалы жили мирно,
Но с той поры клянут судьбу,
Как вдруг он с выставки всемирной
Добыл клистирную трубу.
С тех пор, когда ему досужно,
Собственноручно, без препон,
Кому и нужно и не нужно
Клистиры смело ставит он.

Как либерал, презрев утраты,
Как враг всех барщинных трудов,
Он по найму́ без всякой платы
Пахать заставил мужиков.
Он их распродал половину,
Чтоб свергнуть рабственный ярём,
И, выгадав на рубль полтину,
Купил весьма доходный дом.

Ручаюсь я: он не за взятки,
Не по познаньям иль уму,
Но ссыльным жил недавно в Вятке,
Не знаю, право, почему.
Там гордый мученик гонений,
Пробыв полгода с Середой,
Без всяких дальних приключений
Обратно в дом приехал свой.

1851—1852

[1] На голос: «Идем, сыны отечества. . .» (франц., «Марсельеза»).

* * *

Что за дикая картина —
Вязнут лошади с коляской!
Неужели, Natalina,
Мы поедем к m-me Враской?

Неужели с горем новым,
Недовольные прогулкой,
Мы поедем к Ушаковым
Кушать чай со сдобной булкой?

В гаме бабьем и дочернем,
Назевавшися украдкой,
Неужель путем вечерним
Мы вернемся с лихорадкой?

Начало 1850-х(?)

* * *

Хоть с отвращением на фабрику мою
Гляжу, дрожу и проклинаю,
Но все же паровик я сучьями топлю
И краски желтой не смываю.

1855, 27 мая

* * *

Зайдете ль вы, зайду ли я —
Не знаю я. Стезя господня
Осталась тайной для меня
Вчера, и завтра, и сегодня.
Но вместе выпить завтра нам
Не худо было бы нисколько,
Назло всем выспренним судьбам
Хотя бы. Ну и только!

1856(?)

* * *

Давно я не писал в альбомах,
Но на листах надеюсь сих
Найтись в кругу моих знакомых,
В кругу соотчичей моих.

Отчизны дым для нас приятен,
Но слава русская — увы! —
Подобно солнцу, не без пятен,
И нет бсседы без молвы.

И я в волнении сугубом
Боюсь, как кислого бордо,
Что встречусь с графом Соллогубом
Или графинею Додо.

Хоть на запятках тарантаса,
Кой-где по мелочи заняв,
С камер-жандармского Парнаса
В Мордасы б скрылся камер-граф!

1857

* * *

Не обвиняй меня без нужды
В разврате лености моей,
Еще далеко мне не чужды
Корреспонденции друзей.

1860, 12 августа

* * *

Сбрось тоску, на юность глядя,
Оживись и улыбнись,
И, как старый, добрый дядя,
С благодушием явись.

1860, 12 августа

* * *

Назвать Петраркой Данта —
Смешно для дилетанта;
Но жалким будешь франтом,
Назвав Петрарку Дантом!

1860, 29 ноября

* * *

День воскресный когда наступает,
Все хвораем мы, точно с заразы;
Бесконечно Боке повторяет
О Камбрее все те же рассказы.

И Девиль, горячась, рассуждает
С видом бешенства или азарта, —
Как везде социализм побеждает,
А он внутренно друг Бонапарта.

А Чернецкий с Тхоржевским. . .

<Не окончено>

1859—1860(?)

<А. А. ГЕРЦЕНУ>

Лжет наш век, везде личины,
Сердце шатко, ум лукав,
Под ударами судьбины,
Саша, *доктор медицины,*
Будь всегда мой *доктор прав.*

1861, март

* * *

Ты в Люцерне или в Бале?
Чем в уме твоем полно?
Ты в каком избрал подвале
Многолетнее вино?

1868, 23 июня

* * *

И дождь и буря — день ужасный!
Развеселиться — труд напрасный.
Все приняло суровый взгляд:
Салёв, и улица, и сад;
Не знает Мери, томно струся,
Как к завтраму достать ей гуся;
Тхоржевский хмурится слегка
И кажет пальцем сверх пупка; [1]
Я сам хоть занят, но немножко
Коснеет мозг, хворает ножка. . .

1868, 12 декабря

* * *

Чудная страна —
Город наш Женева!
Светит мне луна
Справа да и слева.
И не в труд нисколько
Сладить штуку эту;
Обращайся только
Разным боком к свету.

1869, 16 января

* * *

В день отъезда пана
Для купанья в море —
Утром, но не рано,
Я пишу о вздоре.

1869, 1 апреля

---

[1] Я на него клевещу; он ест рюбарбер и чувствует себя здоровым, кланяется тебе, ждет от тебя ответа и готовит отчет к новому году». — *Прим. Огарева.*

* * *

...Собранье в первой из столиц
Все важных, хоть не мудрых лиц...
Тут много русских из тевтонов,
Иерусалимский дворянин...
Шумит совет, творец законов,
Но чин все ж почитает чин.
Великий князь, как председатель,
Во всем порядка наблюдатель,
Крутя свой желтопрусский ус
И доказать желая вкус,
Лишь к государственным предметам
Качает толстым эполетом...

<Не окончено>

Конец 1860-х

* * *

Безлунною ночью плыл труп по реке.
Увяз, зацепившись в подводном песке,
И годы лежал он на этом погосте,
Покуда осталися голые кости.
Я знаю, чей плыл это труп молодой, —
Труп женщины, рушенной горькой бедой...
Не выдержал мозг — столько жизнь нелегка, —
Ее утопила любовь да тоска.
А вытащил остов не друг, не родной,
А просто квартальный, шпион площадной.

1870, 19 июня

СОВРЕМЕННОЕ

(Посвящено русским школьникам)

Париж сдался, и прусский император
Наполеонствует и забирает.
Да! Немец — воин, а француз — оратор.
Да! Немец грабит, а француз болтает...
И род людской останется под палкой,
Что выйдет вещью и смешной и жалкой,
И будет мир, иль снова подерутся —
Какое тут общественное дело?..
Все помыслы от этого мятутся —
Я не могу вопроса решить смело.
Мне, как солдат, весь этот мир наскучил,
Как мещанин, как барин, как король,
Довольно он уже народ помучил.
Пора б ему гнилую кончить роль.
Не выждет он почтенного Мессию...
Я верую еще в мою Россию!
У нас мужик и даже школьник русской
Заговорят про общинную долю,
И, ложь презрев литературы узкой,
Все встанут враз за землю и за волю.
Тогда, как прах, слетят у нас злодеи —
Цари, бояре, лиходеи.

1871, январь—февраль

ВОЙНА

(Разговор двух мужиков)

«Я вас побью, я большой генерал,
Вы мне за это платите дороже...» —
Это, знашь, немец французу сказал. —
«Ну!» — «А француз отвечает: «Так что же!
Мы и заплатим — еще не беда!
Главное дело — была бы свобода...
Будет — мы вас и прогоним тогда».
Вот тебе, братец, как есть два народа...» —
«Ну! А наш царь-то, что он-то сказал?» —

«Я, мол, сказал, на войну не отважусь,
Есть, мол, попы да мирной генерал,
Так, мол, уж просто с народом и слажусь».

1871

* * *

Сегодня настроен мой мозг музыкально,
Всё слышатся звуки, да звуки, да звуки;
Не то бы на стуле вздремнулось печально
От горьких вспоминок и скуки.
Какая тут музыка, милый ты мой,
То в пильне машина заводит свой строй,
Да в школе мальчишки, во славу творца,
Одну ту же ноту поют без конца,
И с улицы, в помощь им, голос подвел
Усталый, забитый осел.
Не любо мальчишкам, не любо ослам,
Не любо работнику с пильной машиной,
Откуда ты музыку выдумал там?
Напев целой жизни расстроен кручиной.

<1870—1871(?)>

СТАРОСТЬ

Состарился, а целей хоть и много,
Но мудрена к ним длинная дорога,
Добьешься ли хоть до чего-нибудь?
Иль в реку броситься и утонуть?
Вопрос решается по воле рока;
Но утону иль доживу до срока,
Все ж смерть сама утехи не сулит,
А, как и жизнь, — тревожит и казнит.

1872

ЭПИГРАФ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ

(На голос: «Вниз по матушке по Волге»)

Воскресает в людях дружных
Бодрость воли, свежесть сил —
На погибель тех ненужных,
Кто народа не щадил.

Двинем, братья, наши силы —
Не для праздной болтовни. . .

<Не окончено>

1871—1872(?)

В САДУ

В саду две кошки подрались,
Испортив множество растений,
Мы кошек не казним за дикость прений,
Но разогнали их, чтоб разошлись.

Как быть — тут все закон природы,
Вот хоть в Испании — одна черта —
Два короля, не кошкам же чета,
Дерутся, будут драться годы.

1872—1873(?)

* * *

Странное, странное дело —
Жить мне давно надоело;
Смерть же как будто беда,
Нет в ней нужды никогда.

Я же в бессмертье не верю;
Где тут бессмертие зверю —
Будь он, пожалуй, двурог
Или хоть просто двуног.

Я же не верю и в бога.
Мне, знать, иная дорога —

Как бы к свободе людской
Шаг хоть подвинуть какой.

Хватит иль нет до могилы
Нужной для этого силы?
Тут вот и смерть-то страшна,
Тут вот и жизнь-то скучна.

1872—1873(?)

ES KOMMT MIR SPANISCH VOR[1]

Кого же я люблю? Как это странно!
На целый мир гляжу я иностранно,
Доверия не знаю ни к кому,
Ни даже и к ученому уму,
Не верю я, чтоб бог был или черти,
Одно доверие осталось только к смерти.

Быть может, я люблю мою Россию,
Но не хочу сложить там мою выю,
И жить уже нельзя там никогда,
И в целом мире скучно, господа!

До 1874

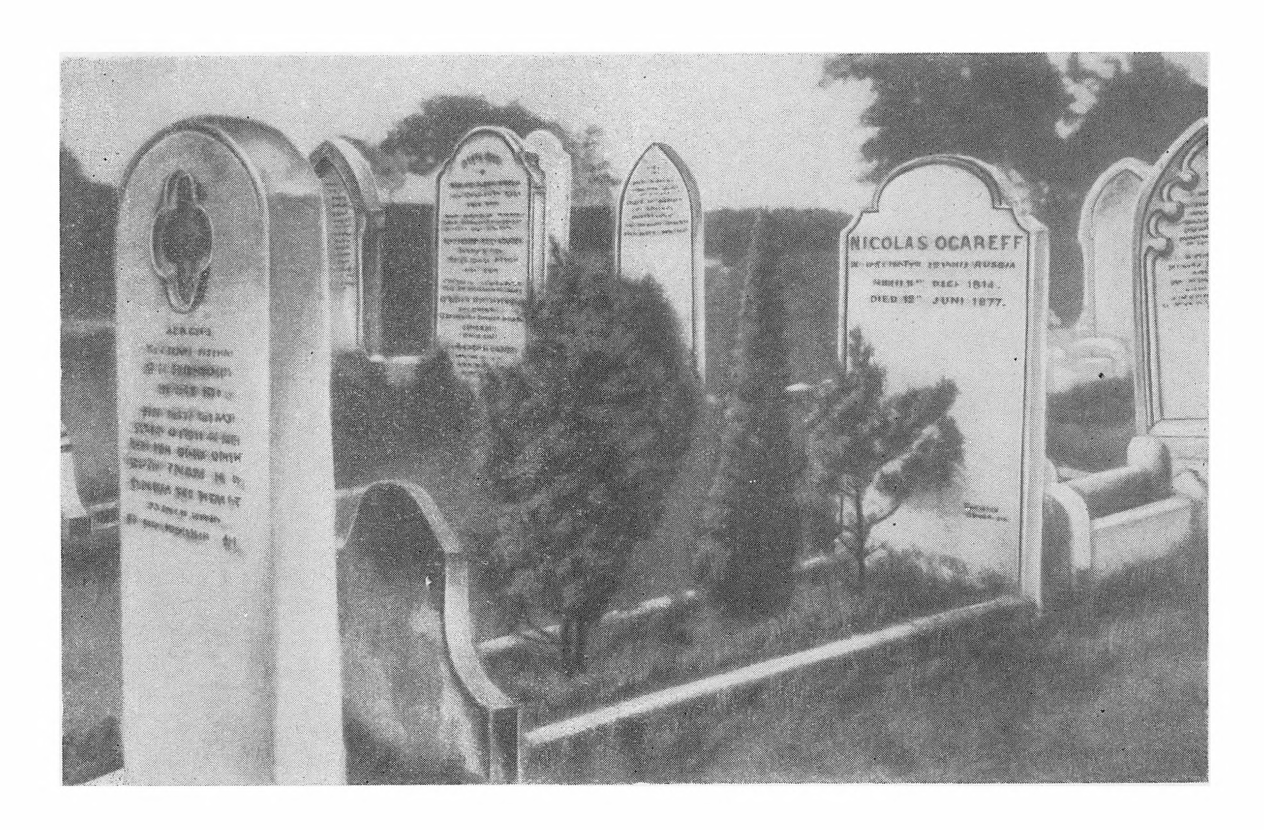
ИСТОРИЯ

Собака — друг человека, но кусается;
Лошадь — друг человека, но лягается;
Корова — друг человека, но бодается;
Человек — друг животных, но режет и колет,
Колотит бичами и жарит и солит;
Человек — друг человека, но грабит и бьет, —
И так все спокон века целый мир идет.

1874

---

[1] Это представляется мне непонятным, странным (нем.).


NICOLAS OGAREFF
JUNI 1877.

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ 1876 г.

Сегодня снег напомнил мне отчизну,
И на него приветно я взглянул:
Он так былое сердцу помянул,
Что по родным я совершаю тризну.

1875, 25 декабря

ПОСЛАНИЕ К СОСЕДНЕМУ ПСУ

С утра ты лаешь, бедный пес, до ночи,
Так что внимать тебе нет вовсе мочи.
С чего ж ты зол? И кто тебя теснит?
И кто твой враг? И что тебя томит?
А знаю я, хоть ты и не наказан,
Томит тебя, что ты всегда привязан,
А потому и лаешь все на что-то,
И есть вражда ко всем или к кому-то.

Да слышу я еще в воскресный день
С утра и до́ ночи все звон церковный,
Все тот же пошленький, все тот же ровный;
И как звонить их не берет хоть лень?
А бог для них — всевышним музыкантом
Является в небесной вышине,
Хоть не поет ни басом, ни дискантом,
Не слышен ни в малейшей болтовне,
Но как же звон ему поднесть в отраду,
Не видя в нем особенного чаду?
Соседний бедный пес, не мучь себя,
Ведь у людей тож в мозге плоховато,
Будь тверд и смел и, время не губя,
Сорвись с цепи и убеги куда-то.

1875

МЕРТВОМУ ДРУГУ

Переживаем часто мы друг друга,
Но жизнь перебивается вперед,
Колеблясь средь обыденного круга,
Слабеет горе и тоска не жмет.

Оно так мелко, что совсем ничтожно,
Но так естественно, что наконец,
Должно быть, жить иначе невозможно,
И вот вам, люди, доблестный венец.

1875

НА УЛИЦЕ

Играл котенок — так себе дитя, —
Валяясь и резвяся с наслажденьем,
А взрослый кот, уж вовсе не шутя,
Его царапал с озлобленьем.

То ж у людей... Невинный теша взор,
Играют дети с глупостью великой,
А люди взрослые свершают вздор
Без пониманья, но со злобой дикой.

1875

АНГЛИЙСКИЕ ЖУРНАЛЫ

Журнал говорит: королева
С принцессой, хотя и без гнева,
Но гуляли в коляске и правили сами,
И гуляли пешком, как обычно, ногами.
Уж надо б писать и о наших и всех,
Что гулять, мол, ходили без всяких помех.
И куда, мол, ходили, когда, мол, и как —
Заходя, мол, — все трезво — в известный кабак.
И выйдет все то же, — читателям оно
Нисколько не мило; скорее смешно.

1875

МОЯ ПРЕДСМЕРТНАЯ БИОГРАФИЯ

Живу давно и жизнь прошла тревожно,
Но дурно ль, хорошо ль, решить не можно;
Страдал за правду и страдал за вздор,
Корил других, себе давал укор,

Скорее пошло все сходило с рук
И, в сущности, без счастья и без мук,
Но все ж я в жизни жертвовал довольно,
Чтоб умереть хотя б не слишком больно,
Ни другом, ни врагом не доконаем,
А так себе, как следует скончаем.

1875

* * *

Взвизгнул пар с тоской безумной,
Треск пошел по колесам,
И помчался поезд шумный
По железным бороздам.

1875

* * *

Друзья покинули меня,
А может, их покинул я,
Кто виноват, не знаю, право,
И кто на что имеет право.

Середина 1870-х

ПРОКЛЯТИЕ

Бессмысленный хохот и тщетные слезы —
Вот жизни людской безотрадные грезы,
Наука и труд не спасают нисколько;
Всё в жизни нелепо, нелепо и только.

Подругу ль иль друга — разлюбишь невольно;
И кто виноват, как бы ни было больно,
Ты ль сам виноват — все не легче для дела,
Выходит одно, что жить надо, а жить надоело.

Середина 1870-х

В ПРЕКЛОННЫХ ЛЕТАХ

Не мучь себя ты близостью могилы,
Не сожалей утраченные силы,
А гордо веру в юность сохраня,
    Вскочи на дикого коня
И покори себе не силою гнетучей,
А ласкою и смелой и могучей.

Середина 1870-х

* * *

Поздравляю с днем рожденья,
И на русском языке, —
Будь работником движенья,
Не забудь о старике.

Середина 1870-х

* * *

Во сне я дома был, в постели спал приветно,
И вдруг ко мне пришел двоюродный мой брат,
Он генералом был в полиции секретной,
А в юном возрасте свободы был солдат.

И он сказал мне: «Ты меня прозвал шпионом,
Уж не подраться ли на смерть в возмездьи оном?»
А я сказал ему: «С шпионом не пойду
На смерть ли драться я иль только на вражду,

И все равно мои дни вышли, может, худы, —
Умру ль от болтовни, умру ли от простуды,
К тому ж пораньше ли, или попозже сколько,
Выходит все равно, всё до конца, и только.

Все, если хочешь, что теперь могу свершить,
Так взять да просто так — до смерти пришибить».

1876, 13 января

ПЕСНЯ ПОНОМАРЯ

(Под звон церковный)

Дребедень, дребедень!
А звонить мне не лень
Почитай целый день.
И звоню я для мира:
«Не сотвори себе кумира».
Всё ко славе господней:
Но быть нам в преисподней.
В небесах господь не глух,
Уж такой у него слух,
Что мой звон ему приятен,
Хотя смыслом и невнятен.
А я сам по сим причинам
Награжден пономарским чином.
Дребедень, дребедень,
Я звоню целый день...

1876, 20 июня

ПУСТЫННИК

(Старческая дума)

Я жить хочу один, не нужно никого,
Жизнь устает, и больше ничего.
Людей я не люблю. Любил я их когда-то,
И ждал участия: все сердцу было свято,
Во что-то верилось, казалося полно
Надеждой на успех... Но это уж давно,
Теперь утрачено раздором иль смертями,
Немногие еще останутся друзьями
В привете искреннем без сплетней и клевет.
И то надолго ли? С недуга или с бед
Кто наперед помрет, хоть любопытна штука, —
Догадка не решит и не решит наука.
Года протянутся, придется, может быть,
В толпе для всех чужим немало лет прожить.
Одно утехою и остается ныне —
Покончить праздный век в неведомой пустыне,

Но где ее найти? В какой избрать стране?
Природа, как и всё, надоедает мне.
Едва ли веселит весеннее дыханье,
Иль молний яркий блеск и грома грохотанье,
Иль лето жаркое, когда усталый слух
Томим жужжанием неотгонимых мух.
Я даже встарь любил осенние туманы
И снега белого морозные поляны,
Теперь и свет луны наводит на мечты
Одно уныние тяжелой пустоты.
И где б я ни нашел приют пустыни новой —
На юге дальнем иль на родине суровой —
Мне это все равно, лишь жизнь бы кончить мне
В невозмущаемой, безмолвной тишине.
Ведь дело странное: стремление людское
К всемирной общине, а все для нас живое
Нам счастливо свершить возможно лишь на том,
Чтобы между собой нам не мешать ни в чем.
На враждолюбии основана свобода
Живущего людского иль иного рода.
Куда идет наш путь — в туман погружено,
Понять хотелось бы, но только мудрено.
И всё являются века резни кровавой.
А силы до сих пор не взял рассудок здравый:
Едением друг друга живо все живое
И властвует страстьми влеченье роковое.

1876, июль

ВОЙНА

Странное, странное дело,
Людям жить, должно быть, надоело,
Войны, говорят, хотим, да как-то не прямо,
То перемирьем кончать, то больше упрямо.
Правительства говорят — мы по себе сами,
Учредим и между господами и рабами.
Поскорей бы все передрались между собою —
Это им нужно по теперешнему слою,
Народы очнулись бы да и свалили бы их в шею,
Тогда бы новый мир возник, без просьбы к Прометею.

Но пусть скорей дерутся, пора, пора, пора,
Не то жизнь останется глупа и стара,
Из многолетних перемирий не выйдет плода.
Мы всё потеряем, господа.

1876, до августа

* * *

Посланник русский и султан
Условились при посещеньи,
Не нанося друг другу ран,
На безусловное смиренье
В шесть месяцев. Смотрели
Друг другу дружески в глаза
И перебраночек в помине не имели,
А в море Черном веяла гроза.

1876, начало ноября

* * *

Вот сон: въезжаю с Мери в край родной,
Дней юных ссылки старый город мой,
И мы идем на площадь, где был сад, —
Все голых лип двойной унылый ряд,
Насу́против — дома́, живут там баре,
А я узнал на грязном тротуаре
Знакомца прежних лет в солдате старом,

С метлою нищего. Он был ударом
Пришиблен; мел, качаясь дряхло, он,
С удара нищ иль нищетой сгублен...

Я ров, как юноша, перепрыгнул
И подошел, и руку протянул...
И он меня узнал, как друг былой;
Смотрел печально и поник главой.
И молвил: «Да, ты обошелся дружно,
И миру, знать, перемениться нужно!»

А я сказал: «Не станет же весь век
Стоять, как гниль, на месте человек».
Тут я проснулся... Сон мой был мне странен,
А мир все так же длинен и туманен.

1876, декабрь

НАЧАЛО КОНЦА МОЕЙ БИОГРАФИИ

Теперь я за границей двадцать лет,
Кой-что писал и прожил много бед,
Ослабла память от годов и пьянства,
Все ж не от петербургского тиранства...
Его, чтоб дать отместку палачу,
Я перед смертию еще хвачу
Анапестом иль просто старым ямбом,
Но, без сомнения, не дифирамбом.

1876

* * *

Вопрос крестьянский тщетный потому,
Что там дана свобода без свободы —
Наперекор народному уму,
Из хвастовства и напоказ из моды.

Самарский голод тоже приведет
В величьи царском сильный недочет.
И наконец увидят люди ясно,
Что дать владеть собой совсем напрасно.

1876

* * *

Его любил я так, как любят брата,
А дочь его, как бы родную дочь,
И умер он, и для меня утрата —
Всю жизнь в ничто обрушило точь-в-точь.

1875—1876

* * *

Вот с ним я сорок лет жила,
И все же не видала зла;
Он ни полсловом, ни намеком
Не оскорбил меня упреком
За юных дней моих разгул
(О чем иной бы помянул).

1876(?)

СУДЬБЫ

Много чудес от начала века —
Бог-отец в виде старого человека,
Бог-сын истерзанный мученик является
(Одно это на правду и сбивается),
Дух святой явился как голубица,
А голубь остался глупая птица.
Все и пошло, не только что вздорно,
А отвратительно, то есть позорно.

В жизни людской появилася мука,
На помощь призвалася темная наука.
Создавались цари и суды и законы,
Раздавались в народах всё стоны да стоны,
И хотелось бы нам, не теряя слово,
Отдохнуть, перестроясь наново. . .
Отдыха в жизни до сих пор не находится,
Один отдых в жизни — смерть на то и сводится.

1876(?)

ПОД СТАРОСТЬ ЛЕТ

(К Рождеству Христову)

Несмотря на все припадки,
Я исполнен аппетита
И страстей, что вечно сладки,
И насмешек Демокрита.

Эка мощь еще какая,
И здоровье воловое,
И нужда-то жить пустая,
И томление пустое!

1876(?)

* * *

На Гринвич облако нашло
Тускло-истасканного цвета,
И мне на память привело
Санкт-петербургского привета
Неблагосклонные черты
В дни жизни юной суеты.
Но я страдал во оны годы
Не столько просто от погоды,
Как от мудрейшего царя.
Он, как все люди говоря,
Конечно, до ума не дожил,
А уж сошел с ума и прожил.

1877, 20 февраля

В ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ

Другу Лаврову

Гринвич

Пишу к вам в день, когда народ былого века
Казнил свирепой казнию гвоздей
Безумного, но доброго же человека,
Которого еще все помнит мир людей.
Здесь, в парке, в оный день катается без гнева,
Спесиво, медленно в коляске королева,
И пляшут девочки с безумием вослед,
Какая ж память тут смертям минувших лет?
Такое празднество выходит только тупо,
Воспоминание такое просто глупо.
Пожалуй, дело дышит религьозно,
Но уж отнюдь не может быть серьозно.

1876 или 1877, апрель

ВСТРЕЧА

1-й старик

Вот, старый друг, мы сведены судьбою,
Сошлися после долгих лет разлуки!
Поговорим о прошлом мы с тобою,
О будущем не стоит безо скуки,
Недолго жить уже на белом свете,
Да ведь и он скорей не бел, а темен,
И чтобы не постигло все во тщете,
Конец придет не радостен, а томен.

2-й старик

Да, старый друг, быть может, правда это,
И в жизни нет сердечного привета;
А все же как-нибудь дожить да надо —
Не одному, а средь людского стада;
Прискорбно иль невесело оно,
То грустно, то уродливо-смешно,
А надо же покончить начинанья,
Не вызвав только пущего страданья.

1-й старик

Эх! друг, дожить уж надо как-нибудь!
И довершить полупечальный путь, —
Ведь все же жить приходится не вечно,
Конец придет в свой срок себе, конечно,
Одно и то же, как бы ни пришел,
Но надо же, чтоб каждый дело свел.
Тут и вопрос, как быть или не быть,
И ни людей, ни мыслей не губить.

1876—1877

ОТВЕТ

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О днях былых в краю родном,
Где я любил, где отчий дом —
И как, навек я с ним простясь,
Твой слышал звон в последний раз.
(Из стихотворений, кажется, Козлова)

А мне всегда церковный звон,
Вечерний, утренний ли он,

Будь он равно в краю родном
Или в краю совсем чужом,
Вгоняет в мирный помысл мой
Печаль над глупостью людской.
Но не могу проститься с ним
Затем, что он неумолчим...

1876—1877

СТАРАЯ ПЕСНЯ О ТЩЕТЕ МИРА СЕГО

Не томит меня беда,
Ни мудреная наука,
Ни любовь и ни вражда —
Просто жизненная скука.

И со скукой проживу
Лет хоть десять или дольше.
До чего же доживу? —
Всё до смерти и не больше.

1876—1877

ПЕТЕРБУРГСКОМУ ИМПЕРАТОРСТВУ

Ах, вы! в драку суясь не умеючи
И народ солдатский не жалеючи!
Скоро минет ваше царство в прах
И в чужих и в своих сторонах!
Отдохнут же от неволи —
Люди, жаждав лучшей доли.

1876—1877

1 АПРЕЛЯ

Осталось жить уже недолго мне,
Похоронят меня в чужой стороне.

1876—1877

МОЕЙ КОШКЕ

Моя черная кошка с рылом белым,
Остался я твоим другом поседелым,
На колени мне вспрыгнешь, махая хвостом,
И поешь мне сердечные песни потом.

А за что мы друг друга любим, наконец,
Не поможет сказать ни единый мудрец,
Да задачу решить только тем и сподручно,
Человеку и кошке жить на свете скучно.

1876—1877

СИМФОНИЯ

Allegro[1]

«Вот слышишь, — она мне сказала, —
Какой тут и крик и стон,
Как будто кто гибнет сначала
И кто-то потом схоронен».

Adagio[2]

А после торжественно, стройно
Широкая песня идет —
И все в ней спокойно, спокойно,
Но мало надежд принесет.

Presto[3]

А тут начинается бремя,
Раздор и тревога, и гнет...
И миру разрушиться время,
И все, что живое, замрет.

1870-е

---

[1] Аллегро — быстро (итал., муз. термин).
[2] Адажио — медленно, спокойно (итал., муз. термин).
[3] Престо — очень быстро (итал., муз. термин).

В ПАМЯТЬ ПРЕЖНЕМУ ДРУГУ НЕКРАСОВУ

У нас мужики подбривают затылок,
И наше правительство бреет им лоб,
Совсем человек и выходит гунявый —
Солдат или просто холоп.

Дана, вишь, свобода, а нужны всё палки,
Без них, вишь, испортился целый бы свет.
Ну! знаешь что, братец? Ведь люди-то жалки —
Без палок и помощи нет!

Взялися бы сами за ум да за волю,
Пришлось и без палок бы сладиться им;
С царями за землю да лучшую долю
Ненужных совсем схоронил.

1870-е

РАЗДУМЬЕ

Да! я состарился, вошел в такие леты,
Где интерес прошел едва не ко всему.
Я ль выжил из ума, иль пищи нет уму?
Читаю ль не весьма почтенные газеты,
Иль слушаю порой болтливый разговор,
И чуется везде — совсем бесплодный вздор.

1870-е

НОВОЕ РАЗДУМЬЕ

Шибко мысль коренится в мозгу —
Я ее позабыть не могу, —
Что привольнее было бы мне
Умереть на родной стороне.

Хоть в траве на речном берегу,
Иль зимой на блестящем снегу...
Умирая, узнал бы я тут
Старый, детский, любимый приют.

Все же старость трудна для меня,
Близость смерти видней день от дня,
А уж надо по правде сказать —
Все равно, где придись умирать.

1870-е

* * *

На старость лет себе не сотворю кумира!
Какой бы жар еще и ни бродил в крови,
Ждет равнодушие насчет людского мира,
Ни ненависти он не стоит, ни любви,
И в сердце для любви найдется жизнь едва ли,
А разве ненависть останется с печали.

1870-е

* * *

Северное сияние
Показалось на Руси;
Оказалось туманное,
Света не проси.

Это сияние было
Названо— мужицкой волей.
А осталось попрежнему
Тоже мертвою долей.

Нет, братцы, нет! — так не справиться,
Надо самим взяться за топор,
Только тогда мы царям да боярам
Можем дать дельный отпор.

1870-е

ПРОКЛЯТИЕ

Кого же в жизни я любил?
Для сердца мне вопрос великой!
Я ль человеку изменил,
Иль он мой враг стал в злобе дикой?

И вот я дожил до чего.
Сам нахожу в сужденьях строгих,
Что не любил я никого,
А разлюбил я всех иль многих.

1870-е

* * *

Все, что было, что пропало;
Все, что вышло, все, что стало —
Все так дрянно, хоть и ново,
Но не то, что ждется снова.

1870-е

* * *

Длинная дорога
До людской свободы
Тянется уныло
Годы, годы, годы.

1870-е



ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БП — Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы, т. I—II. Редакция и примечания С. А. Рейсера и Н. П. Суриной. Л., 1937—1938 («Библиотека поэта», Большая серия).

«Бюлл», V — Б. Н. Капелюш. Рукописи и переписка Н. П. Огарева. В изд.: «Бюллетени рукописного отдела Пушкинского дома», вып. V. Л., 1955, стр. 5—44.

ВЕ — «Вестник Европы».

Герцен — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. Под редакцией М. К. Лемке, т. I — XXII. Пг., 1915—Л., 1925.

Герш. — Н. П. Огарев. Стихотворения. Под редакцией М. О. Гершензона, т. I—II. М., 1904.

Герш. — «Образы. . .» — М. О. Гершензон. Образы прошлого. М., 1912.

ГЛМ — Государственный литературный музей.

ГПБ — Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

«Звенья» — «Звенья». Сборники материалов и документов. . . Под редакцией В. Д. Бонч-Бруевича, вып. II — М., 1932; вып. III—IV — М., 1934; вып. VI — М., 1936.

Избр. произв. — Н. П. Огарев. Избранные произведения в двух томах. Вступительная статья В. А. Путинцева. Подготовка текста и примечания Н. М. Гайденкова. М., 1956.

ИМЛ — Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом — ПД) Академии наук СССР.

ЛБ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина.

ЛГ — «Литературная газета».

ЛН — «Литературное наследство».

Лонд. изд. — Н. П. Огарев. Стихотворения. Лондон, 1858.

ОЗ — «Отечественные записки».

«Оп. рук.» — А. В. Аскарянц. Описание рукописей Н. П. Огарева. Под редакцией Я. З. Черняка. М., Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, 1952.

Переселенков — С. А. Переселенков. Литературное наследие Н. П. Огарева. В сб.: «Литература», вып. I. Труды Института новой русской литературы. Под редакцией А. В. Луначарского. Л., 1931, стр. 179—194.

ПЗ — «Полярная звезда».
РВ — «Русский вестник».
РМ — «Русская мысль».
РП — «Русские пропилеи».
РС — «Русская старина».
«Совр.» — «Современник».
Солд. — Н. П. Огарев. Стихотворения. М., изд. К. Т. Солдатенкова, 1856.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.[1]
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив. Москва.
ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.
Черн. — Н. П. Огарев. Избранные стихотворения и поэмы. Под редакцией Я. З. Черняка. М., 1938.

Стихотворения Огарева при его жизни вышли отдельными изданиями два раза: первое издание было осуществлено К. Т. Солдатенковым в Москве в 1856 г., второе появилось в Лондоне в 1858 г. Кроме того, при жизни поэта отдельными изданиями вышли поэмы «Юмор» (Лондон, 1857) и «Восточный вопрос в панораме» (Женева, 1869). Этим (не считая нескольких листовок) исчерпывается список прижизненных отдельных изданий стихотворений и поэм Огарева.[2]

История издания 1856 г. вкратце такова. В середине марта 1856 г. Огарев выехал за границу, и наблюдение за изданием поручил своему другу, поэту Н. М. Сатину. Отбор материала был произведен самим Огаревым до отъезда, однако Сатин дополнительно включил в издание несколько стихотворений, бывших к этому времени в его распоряжении. Этот поступок вызвал недовольство со стороны Огарева (см. РМ, 1902, № 11, стр. 162).

Вскоре после приезда в Англию Огарев приступил к подготовке нового издания. Под его непосредственным наблюдением оно вышло в свет, вероятно, в сентябре 1858 г.

Материал обоих изданий был расположен хронологически. Огарева не смущало, что поэма вклинивалась между двумя стихотворениями или небольшое стихотворение оказывалось стиснутым поэмами. Переводные и оригинальные произведения шли подряд.

В основу настоящего издания также положено хронологическое размещение материала. Однако, в соответствии с принципами советской текстологии и издательской практикой, в него внесены некото-

[1] Так называемый «Пражский архив» (фонд № 5770), в составе которого находится ряд автографов стихотворений Огарева, в настоящее время передан в ЦГАЛИ и составляет фонд № 2197.

[2] Сборник 1856 г. вышел без каких-либо изменений двумя повторными изданиями в Москве в 1859 и 1863 гг., когда автор уже находился за границей на положении политического эмигранта.

рые поправки. Поэмы отделены от стихотворений. Кроме основного корпуса стихотворений, в отдельные группы выделены эпиграммы, переводы, дружеские послания, стихотворения на случай и стихотворные шутки и наконец, старческие наброски.

В это издание включены все написанные на русском языке стихотворные произведения Огарева, представляющие художественную ценность или интерес для современного читателя. В издание не вошло 123 стихотворения, по преимуществу последнего десятилетия жизни Огарева; издание их — дело будущего, в полном собрании сочинений академического типа. Не введены в издание и два незаконченных драматических наброска. Перечень всех не вошедших в издание материалов приложен в конце книги (стр. 902—905). Этот список, не претендуя на полноту, является (как и напечатанный в БП, т. II, стр. 489—490) предварительным. Фонды, хранящиеся в ЦГАЛИ, в ЦГАОР (Пражская коллекция) и находящиеся в Академии наук СССР в оригиналах или микрофильмокопиях Софийская и Амстердамская коллекции еще далеко не изучены, и в них возможны находки неизвестных пока стихотворений. В заключение приложен список стихотворений, относящихся к разряду dubia, и перечень не принадлежащих Огареву произведений, ошибочно приписывавшихся ему в разное время.

В Солдатенковское издание 1856 г. вошло 83 стихотворения, в Лондонское 1858 г. — 106, в издание М. О. Гершензона 1904 г.[1] — 274, в издание Гослитиздата 1938 г. под редакцией Я. З. Черняка — 187, в недавно вышедшее двухтомное издание Гослитиздата 1956 г., подготовленное Н. М. Гайденковым, — 335, в первое издание БП 1937—1938 г. — 466 наконец, в настоящем издании напечатано 518 стихотворений. Таким образом, оно, не будучи исчерпывающим, является все же наиболее полным из существующих.

Значительную помощь в работе оказали научные описания литературного наследия Огарева хранящиеся в ЛБ (сост. А. В. Аскарянц) и в ИРЛИ (сост. Б. Н. Капелюш). В частности, с помощью этих описаний пересмотрены датировки первого издания БП, и многие уточнены или изменены. Во всех случаях, когда в примечаниях не указаны основания датировок, имеются в виду даты, установленные в названных работах. Ряд стихотворений Огарева находится в его письмах. Стихи обычно посылались друзьям тотчас по написании. В издании даты соответствующих писем приняты как даты стихотворений; ошибки (порою в несколько дней) возможны лишь в немногих случаях. И все же даты ряда стихотворений остаются не установленными и определены предположительно. В угловые скобки заключены даты первой публикации, заменяющие неизвестные даты написания.

Для настоящего издания все стихотворения и поэмы наново сверены с автографами авторитетными копиями, первопечатными публикациями и перепечатками. В основу текста, как правило, взяты последние прижизненные издания, а для не напечатанных при жизни — автографы и списки. Если в примечаниях отсутствуют указа-

---

[1] Это издание встретило некоторые цензурные затруднения и прошло не без труда. ЦГИАЛ, дело главного управления по делам печати, ф. 776, оп. 21, № 5, 1904 г.

ния на автограф, значит он неизвестен. Варианты, как правило, не указываются.

Для примечаний к стихотворениям и поэмам 1833—1856 гг. отчасти использован материал, собранный Н. П. Суриной для издания БП; в тринадцати случаях перепечатаны в сокращенном и переработанном виде и самые примечания (они отмечены звездочкой).

Воспроизведенные в тексте стихотворений примечания Огарева соответственно оговорены; все остальные принадлежат редактору.

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Они торжественны, минуты вдохновенья» (стр. 39). Впервые — РМ, 1887, № 7, стр. 6. Печатаются по автографу ЛБ — в письме к Герцену от 7 июня 1833 г. (ЛН, № 61, 1953, стр. 714). Стихи написаны раньше этой даты, так как Огарев сопровождает текст словами: «Вот тебе, кстати, еще старинные мои стихи...» Во всех предшествующих публикациях текст неполон, 6 последних строк ошибочно отнесены к стихотворению «Когда в часы святого размышленья» (см. «Оп. рук.», стр. 35).

«Огонь, огонь в душе горит» (стр. 39). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 711—712. Печатается по автографу ЦГИА (ф. III отд., I экспед., прилож. № 84 к д. № 239, л. 141—142) — в письме к Герцену от 9 сентября 1832 г. Огарев сообщает эти стихи в качестве тут же написанного экспромта.

«В душе столпился ряд видений» (стр. 40). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 717. Печатается по автографу ЦГИА (ф. III отд., I экспед., прилож. № 84 к д. № 239, л. 137—138) — в письме к Герцену от 30 июля 1833 г.

«Когда в часы святого размышленья» (стр. 41). Впервые — РМ, 1888, № 7, стр. 5. Печатается по автографу ЛБ — в письме к Герцену от 7 июня 1833 г. (ЛН, № 61, 1953, стр. 713). Ср. прим. к стихотворению: «Они торжественны, минуты вдохновенья».

«Где вы, святые вдохновенья» (стр. 41). Впервые — РМ, 1888, № 7, стр. 8. Печатается по автографу ЛБ — в письме к Герцену от 23 июля 1883 г. В БП ошибочно напечатано двумя отдельными стихотворениями (т. I, стр. 4, т. II, стр. 348).

Другу Герцену (стр. 42). Впервые — «Мир божий», 1906, № 2, стр. 123. Печатается по автографу ИРЛИ (факсимиле — БП, т. I, стр. 7).

Размолвка с миром (стр. 42). Впервые — «Былое», 1906, № 2, стр. 272—274. Печатается по копии ИРЛИ, сделанной неизвестной рукой (водяной знак — 1826, подпись в конце — «М. Огарева»). В строфе 2-й после стиха 16-го — многоточие в рукописи. Датируется предположительно. М. К. Лемке, впервые опуб-

ликовавший это стихотворение, предполагал, что во второй половине 2-й строфы (машины и хозяин) — намек на Николая I.

А. Герцену (стр. 44). Впервые (по копии Герцена) — «Лит. вестник», 1901, № 8, стр. 314—315. Копия, принадлежавшая С. А. Переселенкову, в настоящее время неизвестна. Датируется предположительно.

I tempi (стр. 46). Впервые — РС, 1888, № 11, стр. 480. Печатается по копии Н. А. Герцен (Захарьиной) с поправками Огарева и указанием даты (ИРЛИ). Другая копия (ее же) — в ЛБ.

Алхимик (стр. 49). Впервые — РС, 1888, № 11, стр. 470. Печатается по автографу ИРЛИ. Датируется предположительно.

Аллея (стр. 50). Впервые — РС, 1888, № 11, стр. 476. Печатается по автографу ИРЛИ. Датируется предположительно.

Иисус (стр. 51). Впервые неточно — РС, 1888, № 11, стр. 485. Исправления — там же, № 12, стр. 616. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева и указанием даты (ИРЛИ). Христос был для Огарева не только создателем новой религии, но и социальным реформатором.

Crescendo aus der Symphonie meines Ichs in Verhältnisse zu seinen Freunden (стр. 52). Впервые — «Записки отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. XII, М., 1951, стр. 179—183. Основания датировки — там же, стр. 175. Печатается по автографу ЛБ. Начало стихотворного письма к Герцену — ответ на обвинение друзей в стремлении Огарева к узкому личному счастью.

«Проходит день и ночь проходит» (стр. 56). Впервые — РС, 1888, № 11, стр. 484. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева и указанием даты (ИРЛИ). В ЛБ — копия Н. А. Герцен (Захарьиной).

На смерть поэта (стр. 57). Впервые — «Красная газета», вечерний выпуск, 1931, 6 апреля, № 81 (2748), стр. 3. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева (ЛБ). Стихотворение написано на смерть Пушкина. Огарев находился в это время в имении отца Старое Акшено, Пензенской губ. К сентябрю 1837 г., когда было написано стихотворение, Огарев, очевидно, уже знал стихи Лермонтова (С. Спивак. Гибель Пушкина и коварство царя. О стихах Лермонтова и Огарева. «Лит. обозрение», 1940, № 18, стр. 55—57). *А тот, чья дерзкая рука* — Николай I. *Мундир лакейский* — о назначении Пушкина камер-юнкером.

Удел поэта (стр. 59). Впервые — РС, 1888, № 11, стр. 486. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева и с указанием даты (ИРЛИ). Другие автографы (заглавие — «Жизнь поэта») — в ЛБ (отдельный листок и копия — в письме к Н. Х. Кетчеру от октября 1838 г.).

«С моей измученной душою» (стр. 59). Впервые — Герш., т. I, стр. 206. Печатается по автографу ЛБ. На автографе М. Л. Огаревой проставлена дата: «1837, octobre à la fin».

К друзьям (стр. 60). Впервые — PC, 1888, № 11, стр. 486. Печатается по автографу ЛБ — в письме к Н. X. Кетчеру от октября 1838 г. Сохранились также копии М. Л. Огаревой (ПД) и Н. А. Герцен (Захарьиной) (ЛБ), последняя с датой: «Декабрь, 1837».

Моя лампада (стр. 61). Впервые — PC, 1888, № 11, стр. 487. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева и с указанием даты (ИРЛИ). Более ранний текст — в письме Огарева к Н. X. Кетчеру от октября 1838 г. (ЛБ). В ЛБ есть также копия Н. А. Герцен (Захарьиной) с пометкой: «Февраль 1838. Пенза». Цитируя стихотворение Огарева в своей статье «Идеалисты 30-х годов» (ВЕ, 1883, № 3, стр. 167), П. В. Анненков указывает, что оно было где-то напечатано в 1830-х гг. Однако розыски в журналах 1830-х гг., произведенные Н. П. Суриной, остались безрезультатными.

А. С. Б........ъ (стр. 63). Впервые — PC, 1888, № 11, стр. 490. Печатается по копии М. Л. Огаревой с указанием даты (ИРЛИ). Первоначальное заглавие густо зачеркнуто чернилами и предположительно читается: «К Александру Г<????>ну» (может быть, «К Александру Герцену»?).

«Смутные мгновенья» (стр. 64). Впервые — PC 1888, № 11, стр. 489. Печатается по копии М. Л. Огаревой (ИРЛИ) с поправками и датой Огарева. Более ранний автограф — в ЛБ. На нем М. Л. Огаревой (?) также проставлена дата: «Mars 1838».

Шекспир (стр. 64). Впервые — PC, 1888, № 11, стр. 490. Печатается по копии М. Л. Огаревой (ИРЛИ). Более ранний получерновой автограф — в ЛБ; в нем дата («3 avril») и заглавие («Shakespeare») проставлены М. Л. Огаревой. Имеется также копия Н. А. Герцен (Захарьиной) с заглавием «Шекспир» и датой: «Апрель 1838» (ЛБ).

Ночь (стр. 65). Впервые — PC, 1888, № 12, стр. 602. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева и с указанием даты (ИРЛИ). В копии Н. А. Герцен (Захарьиной) в ЛБ дата — июль.

Эолова арфа (стр. 67). Впервые — PC, 1888, № 12, стр. 606. Печатается по автографу ЛБ. Тот же текст с той же датой в ИРЛИ в копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева и в копии Н. А. Герцен (Захарьиной) с пометкой: «Пятигорск 1838. Июль».

Христианин (стр. 68). Впервые — PC, № 12, стр. 604. Печатается по автографу ИРЛИ.

*«Я видел вас, пришельцы дальних стран» (стр. 71). Впервые — РМ, 1902, № 3, стр. 2, с произвольным заглавием «К декабристам». Печатается по автографу ЛБ. Стихотворение посвящено декабристам (М. М. Нарышкину, В. Н. Лихареву, Н. И. Лореру, А. Е. Розену, М. А. Назимову), но прежде всего А. И. Одоевскому, с которым Огарев встретился во время поездки на Кавказ летом 1838 г. К этой встрече оставившей глубокий след в памяти Огарева, относится его отрывок в прозе «Кавказские воды» (ПЗ на 1861 г.). Огарев видел в Одоевском те черты героя-мученика, которые были созвучны его собственному представлению того времени о борце за свободу и благо людей. О непосредственном влиянии Одоевского на свое мировоззрение Огарев неоднократно писал. К воспоминаниям о декабристах Огарев возвратился в 1870-х гг. — см. его стихотворение «Героическая симфония Бетговена». Воспоминания о декабристах отражены, между прочим в черновой записи Огарева в одной из тетрадей 1870-х гг., оставшейся до сих пор не расшифрованной, — «ПРМБК» (см. «Оп. рук.», стр. 106, № 8). Надо думать, что это значит: «Пестель, Рылеев, Муравьев, Бестужев, Каховский. *Как прах жены вы предали снегам.* — Жена декабриста — А. Г. Муравьева скончалась в Сибири в 1832 г.

Больной отец (стр. 72). Впервые — РС, 1888, № 12, стр. 609. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева и с указанием даты (ИРЛИ). Стихи 40—47 в этой копии зачеркнуты, может быть, Огаревым. В более ранней копии Н. А. Герцен (Захарьиной) в ЛБ они не зачеркнуты (заглавия в этой копии нет). *Платон Богданович Огарев* с 1830-х гг. жил почти безвыездно в Пензенской губ., в своем имении Старое Акшено. Все это время был болен (ум. 2 ноября 1838 г.). Огарев был выслан под надзор отца, опеку которого он выносил с трудом. Отец резко расходился с сыном в самых основных убеждениях. Между ними завязывается борьба: отец, несогласный со вкусами и занятиями сына, на каждом шагу подавляет его волю, а сын уступает из любви к нему (РМ 1888, № 9, стр. 3—4. Письма Огарева к Герцену). В Пензе Огарев был зачислен на службу по настоянию отца, который прилагал все усилия, чтобы отвлечь сына от занятий наукой и литературой, и старался втянуть его в круг «светской» жизни губернского города. *Скажи там матери моей.* — Мать Огарева Елизавета Ивановна (ур. Баскакова) умерла в 1815 г., когда сыну было два года. Огарев неоднократно упоминает ее в стихах и в автобиографических записках.

Моя молитва (стр. 74). Впервые — РС 1888, № 12, стр. 608. Печатается по копии М. Л. Огаревой (ИРЛИ) и тождественной копии Н. А. Герцен (Захарьиной) (ЛБ) — с указанием даты. Осенью 1838 г. Огарева вызвали с Кавказа в Старое Акшено к умирающему отцу (см. выше).

«Среди могил я в час ночной» (стр. 75). Впервые — РМ, 1888, № 10, стр. 7, и РС, 1888, № 12, стр. 610. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева и с указанием даты

(ИРЛИ). Это авторизованная копия, более поздняя, чем автограф Огарева, — письмо к Герцену от 7 ноября 1838 г. (ЛБ).

Новый год (стр. 76). Впервые — РС, 1888, № 12, стр. 612. Печатается по автографу ЛБ (без заглавия). Дата — рукой М. Л. Огаревой. Уточнение даты и заглавие — по копии М. Л. Огаревой в ИРЛИ. Так как копия М. Л. Огаревой находится в тетради с многочисленными поправками Огарева, сохраняем заглавие. В копии Н. А. Герцен (Захарьиной) в ЛБ заглавие также имеется. *Недавний труп.* — Незадолго до того скончался отец Огарева (см. стр. 795).

«О, возвратись, любви прекрасное мгновенье» (стр. 77). Впервые неточно — РС, 1888, № 12, стр. 613. Печатается по автографу ЛБ. Дата — рукой М. Л. Огаревой.

К ней (стр. 77). Впервые — РС, 1888, № 12, стр. 612. Печатается по автографу ЛБ. Дата — рукой М. Л. Огаревой. Та же дата в копии Н. А. Герцен (Захарьиной) в ЛБ.

К И. П. Г. Г<алахову> (стр. 78). Впервые — РС, 1888, № 12, стр. 613. Печатается по автографу ЛБ. Заглавие и дата — рукой М. Л. Огаревой Стихотворение обращено к одному из участников кружка Герцена — Огарева в 1840-х гг., Ивану Павловичу Галахову (1809—1849), который цитирует его в своем неизданном письме к М. Л. Огаревой от 5 февраля 1839 г. (ИРЛИ).

Дорожное впечатление (стр. 78). Впервые — РС, 1888, № 12, стр. 615. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева и с указанием даты (ИРЛИ).

Станция (стр. 79). Впервые — РС, 1888, № 12, стр. 614. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева и с указанием даты (ИРЛИ). Стихотворение обращено к М. Л. Огаревой. Другая копия, Н. А. Герцен (Захарьиной) — в ЛБ.

Марии, Александру и Наташе (стр. 80). Впервые — РС, 1889, № 2, стр. 336. Печатается по автографу ЛБ. Дата уточняется копией Н. А. Герцен (Захарьиной) в ИРЛИ. Стихотворение написано по поводу свидания Огаревых и Герцена в марте 1839 г. во Владимире, впервые после женитьбы друзей и после длительной разлуки, последовавшей за арестом и ссылкой. Свидание во Владимире описано Огаревым в третьей части «стихотворения в прозе» — «Три мгновенья Трилогия моей жизни. Посвящено любви и дружбе». (РМ, 1902, № 11, стр. 146—147).

«Когда творец в себе к творению» (стр. 81). Впервые — Герш., «Образы. . .», стр. 353—354. Печатается по автографу ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 21 марта 1839 г.

Е. Г. Л<евашевой> (стр. 82). Впервые — РС, 1888, № 12, стр. 615. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Ога-

рева и с указанием даты (ИРЛИ). Автографы (видимо, более ранние) — ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 40) и ЛБ; в последнем заглавие — «Памяти Е. Г. Левашевой» с подзаголовками: «Посвящено М. Д. Х<овриной>». Это посвящение зачеркнуто и надписано «Н. Х. К<етчеру>». *Екатерина Гавриловна Левашева* (ум. в марте 1839) — двоюродная сестра декабриста И. Д. Якушкина, близкий друг П. Я. Чаадаева, хозяйка одного из видных московских салонов 1830-х гг. Е. Г. Левашева принимала участие в судьбе Герцена и Огарева после их ареста. Герцен в 1851 г. называл ее «святой женщиной» (Герцен, т. VI, Пг., 1919, стр. 477).

«Итак, с тобой я буду снова» (стр. 83). Впервые — БП, т. I, стр. 51—52. Печатается по автографу ИРЛИ — в письме к М. Л. Огаревой от 29 марта 1839 г.

Песня (стр. 84). Впервые — PC, 1890, № 4, стр. 199. Печатается по автографу ИРЛИ. Дата указана в копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева (ИРЛИ).

«Скрылося солнце, и небо темнело» (стр. 86). Впервые — БП, т. I, стр. 52—53. Печатается по автографу ИРЛИ — в письме к М. Л. Огаревой от 5 апреля 1839 г.

«Ну, лейся ж, вино, огнёвой струей» (стр. 87). Впервые — БП, т. I, стр. 53—54. Печатается по автографу ИРЛИ — в письме к М. Л. Огаревой от 11 апреля 1839 г.

Gelzeminum (стр. 87). Впервые — PC, 1889, № 2, стр. 354. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева и указанием даты (ИРЛИ).

Отцу (стр. 88). Впервые — PC, 1889, № 3, стр. 524. Печатается по копии М. Л. Огаревой с поправками Огарева (ИРЛИ). Там же указана и дата. Кроме того, имеется более ранний автограф ЛБ.

«С полуночи ветер холодный подул» (стр. 90). Впервые — PC, 1889, № 6, стр. 682. Печатается по копии М. Л. Огаревой с указанием даты (ИРЛИ).

На могиле друга (стр. 90). Впервые — PC, 1889, № 5, стр. 388. Печатается по автографу ЛБ. Дата указана в копиях М. Л. Огаревой (ИРЛИ и ЛБ). Стихотворение написано на смерть *Алексея Кузьмича Лахтина* (ум. 9 сентября 1838 г), университетского товарища Герцена и Огарева, который был привлечен по делу их кружка и выслан в Саратовскую губернию («в страну бесплодную степей»). Огарев, проездом на Кавказ в 1838 г., навестил Лахтина. Кто такой иерей Михаил — не установлено.

Осеннее чувство (стр. 91). Впервые — PC, 1889, № 4, стр. 134. Печатается по автографу ИРЛИ. Дата — в копии М. Л. Огаревой в ИРЛИ.

«В тюрьму я был брошен, отослан в изгнанье» (стр. 92). Впервые — PC, 1889, № 7, стр. 128. Печатается по копии М. Л. Огаревой с указанием даты (ИРЛИ). *В тюрьму я был брошен, отослан в изгнанье* — об аресте Огарева и его друзей в 1834 и ссылке Огарева в 1835 г. в Пензенскую губ.

«Тяжела голова моя» (стр. 92). Впервые неточно — PC, 1889, № 6, стр. 682. Печатается по автографу ИРЛИ. Дата указана в копии М. Л. Огаревой (ИРЛИ). Стихотворение обращено к М. Л. Огаревой.

Ночь (стр. 93). Впервые — PC, 1888. № 11, стр. 476. Печатается по автографу ИРЛИ (первые 12 строк) и по копии М. Л. Огаревой с указанием даты (ИРЛИ).

Светлое воскресенье (стр. 94). Впервые — PC, 1889, № 2 стр. 372. Печатается по копии М. Л. Огаревой с указанием даты (ИРЛИ).

Мгновение (стр. 94). Впервые — PC, 1889 № 6, стр. 724 (заглавие в копии М. Л. Огаревой в ИРЛИ — «Augenblick»). Печатается по беловому автографу ИРЛИ (факсимиле — «Весы», 1907, № 2, стр. 5).

Желание покоя (стр. 94). Впервые неточно — PC, 1889, № 7, стр. 210. Печатается по автографу ИРЛИ. Дата — в копии М. Л. Огаревой (ИРЛИ).

* <А. А.> Тучкову (стр. 95). Впервые — PC, 1889, № 3, стр. 644. Печатается по беловому автографу ЛБ (там же и черновик). *Алексей Алексеевич Тучков* (1800—1879) — отец второй жены Огарева. Арестованный в связи с восстанием декабристов, вскоре был освобожден и навсегда поселился в своем имении Яхонтово (Долгоруково), Пензенской губ. С середины 1830-х гг. в течение 15 лет состоял Инсарским уездным предводителем дворянства. После вторичного ареста в 1850 г. (одновременно с Огаревым и Сатиным) по обвинению в принадлежности к «коммунистической секте» был лишен этой должности. А. А. Тучков — сосед Огарева по имению; во время пребывания последнего за границей в 1841—1846 гг. управлял его имениями. Впоследствии их связывали дружеские и деловые отношения: Тучков постоянно помогал Огареву советами в его промышленной деятельности. Стихотворение написано по поводу смерти в 1838 г. матери Тучкова Каролины Ивановны, (ур. Ивановской). *Я матери лишился с детских лет.* — Мать Огарева умерла, когда ему было два года.

Молдаваны (стр. 96). Впервые — PC, 1889, № 7, стр. 162. Печатается по автографу ИРЛИ. Дата указана в копии М. Л. Огаревой в ИРЛИ. *Молдаваны* — подразумеваются цыгане.

Старый дом (стр. 97). Впервые — ОЗ. 1840, № 5, стр. 99—100. Печатается по Лонд. изд., стр. 2—3. Автографы — ЛБ: ранний

вариант — в письме к Герцену (РМ, 1888, № 11, стр. 5—6), более поздний — на отдельном листке. Ранняя редакция подверглась значительной переработке. Предпоследнюю строфу Герцен цитирует во вступлении к «Запискам одного молодого человека» (Герцен, т. II. Пг., 1919, стр. 382) уже в окончательной редакции, с одним незначительным вариантом. Первое появившееся в печати стихотворение Огарева. Белинский отметил его в письме к В. П. Боткину 16 мая 1840 г. (Письма, т. II. СПб., 1914, стр. 127). Чернышевский полностью процитировал это стихотворение в рецензии на издание 1856 г. и чрезвычайно высоко оценил его, указав, что «Старый дом» будет повторяться, когда «быть может, забудутся все те стихотворения, которым пишем и читаем мы похвалы». Чернышевский отмечал, что стихотворение принадлежит истории, «как принадлежат ей вообще жизнь и произведения г. Огарева», — этими словами великий критик намекал на политическую роль Герцена и Огарева («Совр.», 1856, № 9, стр. 2, Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III. М., 1947, стр. 562—563). *Старый дом* — дом отца Герцена, И. А. Яковлева, на Б. Власьевском переулке в Москве, где Герцен жил до 1830 г. *Здесь ворчал недовольный старик* — И. А. Яковлев. *Вот и комнатка.* — О разговорах в этой комнате (в частности, о декабристах) Огарев вспоминает в «Моей исповеди» (ЛН, № 61, 1953, стр. 692—693).

Gute Gesellschaft (стр. 98). Впервые — Солд., стр. 10. Печатается по Лонд. изд., стр. 8. Дата — в копии М. Л. Огаревой в ИРЛИ. В этой копии рифмы 1-й и 3-й строк переменены местами. В этом и ряде других стихотворений («Fashionable», «Мне было скучно в разговоре») выразилось враждебное отношение Огарева к светскому обществу, с которым он был связан через первую жену и некоторых московских друзей.

«Что ты вдали готовишь предо мною» (стр. 99). Впервые — РП, т. II. М., 1916, стр. 169. Печатается по БП, т. I, стр. 63. Автограф, ранее находившийся в ГЛМ, ныне неизвестен. Датируется предположительно.

«В прогулке поздней видел я» (стр. 99). Впервые — РС, 1888, № 11, стр. 483. Печатается по автографу ИРЛИ. Датируется предположительно.

«Я в гости поеду, мне весело будет» (стр. 99). Впервые (?) — БП, т. I, стр. 39. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Датируется предположительно. Стихотворение обращено, повидимому, к М. Л. Огаревой.

Слава (стр. 100). Впервые (по копии Герцена) — «Литературный вестник», 1901, № 8, стр. 314—315. Копия, принадлежавшая С. А. Переселенкову, в настоящее время неизвестна. Датируется предположительно.

Путь солнца (стр. 100). Впервые — БП, т. I, стр. 10—11. Печатается по автографу ЛБ. Датируется предположительно.

«Улыбкой — уст моих не осквернил я» (стр. 101). Впервые — БП, т. I, стр. 62. Печатается по автографу ЛБ. Датируется предположительно.

Город (стр. 101). Впервые — РП, т. II, М., 1916, стр. 167. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Датируется предположительно.

Разлад (стр. 102). Впервые — РС, 1889, № 8, стр. 300. Печатается по автографу ИРЛИ, где указаны месяц и день. Год указан в копии М. Л. Огаревой в ИРЛИ.

«Мне было скучно в разговоре» (стр. 102). Впервые — РП, т. II, М., 1916, стр. 170. Печатается по автографам ИРЛИ (в письме к М. Л. Огаревой от 3 июня 1840 г.) и ЦГАЛИ.

«Туман над тусклою рекой» (стр. 103). Впервые—РМ, 1889, № 4, стр. 5. Печатается по автографу ЛБ — в письме к Герцену от 20 октября 1840 г.

<К М. Л. Огаревой> («Хочу еще письмо писать») (стр. 104). Впервые (строки 1—28) ЛН, № 61, 1953, стр. 602. Факсимиле — там же, стр. 605. Полностью печатается впервые по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. I, № 42, л. 21—22). В публикации ЛН стихотворение правильно связано с неопубликованным письмом Огарева к М. Л. Огаревой от 14—15 и 18 декабря 1840 г. (ИРЛИ); ср. первую строку «Хочу *еще* письмо писать», очевидно, продолжающую текст письма.

<К М. Л. Огаревой> («Дай расскажу тебе, мой друг») (стр. 105). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 602—603. Факсимиле — там же, стр. 605. Печатается по тому же автографу ЦГАОР. Написано одновременно с предыдущим стихотворением (на автографе пометка: «попозже»).

«Когда в тебе встает воспоминанье» (стр. 105). Впервые — БП, т. I, стр. 41—42. Печатается по автографу ЛБ. А. В. Аскарянц предполагает, что стихотворение обращено к Т. Н. Грановскому в связи со смертью Н. В. Станкевича («Оп. рук.», стр. 24). Соответственно определяется дата стихотворения.

Деревенский сторож (стр. 106). Впервые — ОЗ, 1840, № 10, стр. 225. Печатается по Лонд. изд., стр. 6. Автограф — в ГПБ. Дата — в копии М. Л. Огаревой в ИРЛИ. Стихотворение было положено на музыку А. Алябьевым. В письме к В. П. Боткину от 25 октября 1840 г. Белинский писал об этом стихотворении. «Ночной сторож» Огарева — прелесть. В душе этого человека есть поэзия» (Письма, т. II, СПб., 1914, стр. 173).

«Постой, не рви цветка, дитя» (стр. 107). Впервые — Герш., т. I, стр. 244. Печатается по БП, т. I, стр. 80—81. Автограф, находившийся у М. О. Гершензона, а потом в ГЛМ, ныне неизвестен. Копия — в ЦГАЛИ. Обоснование датировки см. Герш., т. I, стр. 401.

Похороны (стр. 109). Печатается по РМ, 1911, № 1, стр. 148—149, где было опубликовано впервые. Автограф, находившийся у М. О. Гершензона, а потом в ГЛМ, ныне неизвестен. Список — в ЦГАЛИ. Стихотворение написано на одном листке с «Постой, не рви цветка, дитя» и также относится к 1840 г.

«Там на улице холодом веет» (стр. 110). Впервые — PC, 1889, № 8, стр. 300. Печатается по копии М. Л. Огаревой.

Зимняя ночь (стр. 110). Впервые — PC, 1889, № 8, стр. 438. Печатается по копии М. Л. Огаревой (ИРЛИ).

Прощанье с краем, откуда я не уезжал (стр. 111). Впервые неточно — PC, 1889, № 8, стр. 386. Под заглавием «Прощание с Россией» — в книге Т. П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания, т. III. СПб., 1889, стр. 130—131 (и то же, изд. 2-е, т. III, СПб., 1906, стр. 121). Печатается по автографу ЛБ. Дата указана в копии М. Л. Огаревой в ИРЛИ. Стихотворение Огарева написано под очевидным влиянием напечатанного в том же 1840 г. стихотворения Лермонтова «Благодарность». Оно сходно с ним по композиции и интонациям.

Путник (стр. 112). Впервые — ОЗ, 1841, № 3, стр. 49. Печатается по Лонд. изд., стр. 5. Автографы — в ИРЛИ и ЛБ. Датируется 1840 г.; 6—8 строки этого стихотворения Огарев цитирует в письме к Герцену в январе 1841 г. (РМ, 1889, № 4, стр. 15).

Nocturno («Как пуст мой деревенский дом») (стр. 112). Впервые — ОЗ, 1841, № I, стр. 46. Печатается по Лонд. изд., стр. 22. Автограф — ЛБ. Написано в один из приездов Огарева в Старое Акшено после смерти отца. Это стихотворение отмечено Белинским в качестве «прекрасной пьесы» (ОЗ, 1843, № 8, стр. 103, или Полное собрание сочинений, т. VII, 1907, стр. 103).

Nocturno («Волна течет, волна шумит») (стр. 113). Впервые — PC, 1888, № 11, стр. 475. Печатается по автографу ЛБ. Стихотворение представляет собою вольную композицию на тему баллады Гете «Der Fischer» и должно быть ближайшим образом сопоставлено с переводом Жуковского.

Кремль (стр. 114). Впервые — ОЗ, 1840, № 5, стр. 100. Перепечатано Солд., стр. 122. Печатается по Лонд. изд., стр. 4.

«Я много плакал. Тяжкое страданье» (стр. 115). Впервые — Герш., «Образы. . .», стр. 377—378. Печатается по автографу ЛБ. Датируется предположительно (ср. «Оп. рук.», стр. 57).

Осень (стр. 115). Впервые — Герш., т. I, стр. 247. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Датируется предположительно.

«Ночь туманная темна» (стр. 116). Впервые — PC, 1890, № 7, стр. 222, и то же — № 12, стр. 224. Печатается по автографу

ИРЛИ. Датируется предположительно. Во второй строфе — пропуск последнего стиха.

Седая голова (стр. 117). Впервые — РС, 1889, № 9, стр. 518. Печатается по черновому автографу ИРЛИ; 6-я строка зачеркнута, но не заменена другим текстом.

<Т. Н. Грановскому> («Как жадно слушал я признанья») (стр. 117). Впервые — «Новый мир», 1931, № 5, стр. 174. Печатается по автографу ЛБ — в письме к Т. Н. Грановскому (весны 1841), к которому стихотворение и обращено.

«Я молод был, была весна» (стр. 118). Впервые — Герш., «Образы. . .», стр. 408. Печатается по автографу ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой лета 1841 г.

На смерть Л<ермонтов>а (стр. 118). Впервые — БП, т. I, стр. 118—121. Печатается по автографу ЛБ. Смерть Лермонтова (15 июля 1841) стала известна за границей со значительным запозданием; см., например, письмо Огарева к М. Л. Огаревой, относящееся, вероятно, к августу или началу сентября 1841 г. (Герш., «Образы. . .», стр. 498).

Характер (стр. 121). Впервые — ОЗ, 1842, № 1, стр. 128. Печатается по автографу ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 14—15 января 1842 г. Это стихотворение вызвало положительную оценку Белинского в письме к В. П. Боткину в марте 1842 г. (Письма, т. II., СПб., 1914, стр. 282). Я. З. Черняк сопоставил некоторые мотивы этого стихотворения с «Думой» Лермонтова и указал принятую нами дату стихотворения (Черн., стр. 370—371).

«Когда тревогою бесплодной» (стр. 121). Впервые — ОЗ, 1842, № 8, стр. 287. Печатается по Лонд. изд., стр. 13. Автограф ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 3 декабря 1841 г. (Герш., «Образы. . .», стр. 432—435).

«Тебе я счастья не давал довольно» (стр. 122). Впервые — Герш., т. I, стр. 257. Печатается по копии М. Л. Огаревой в ЛБ с датой «5 decem. 1841». Стихотворение обращено к М. Л. Огаревой накануне расставания с ней.

Le cauchemar (стр. 123). Впервые — Герш., т. 1, стр. 272. Печатается по автографу ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 6 декабря 1841 г. (Герш., «Образы. . .», стр. 421—424).

Поэзия (стр. 124). Впервые — Герш., «Образы. . .», стр. 431. Печатается по автографу ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 14 декабря 1841 г.

Тоска (стр. 124). Впервые — Герш., «Образы. . .», стр. 431. Печатается по автографу ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 14 декабря 1841 г.

Дорога (стр. 125). Впервые — ОЗ, 1842, № 10, стр. 174. Печатается по Лонд. изд., стр. 164. Автограф ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 15 (27) декабря 1841 г. (Герш., «Образы...», стр. 442—445). Автопереложение этого стихотворения на музыку хранится в ЦГАЛИ.

Кабак (стр. 125). Впервые — ОЗ, 1842, № 3, стр. 2. Печатается по Лонд. изд., стр. 21. Автограф ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 15 (27) декабря 1841 г. (Герш., «Образы...», стр. 442—445). Огарев сам так комментировал это стихотворение: «Да, мне многое и многое хочется схватить из поэтической грусти и жизни России. Наша народность довольно оригинальна и содержит довольно глубокий поэтический элемент, чтоб трудиться представлять ее в поэтических образах. И именно надо спуститься в низший слой общества. Тут-то истинная народность, всегда трагическая. Высший и средний слой, довольно уродливо проникнутый европейской жизнью, имеет больше комического элемента...» В 1863 г. (?) Огарев вернулся к этой же теме, трактуя ее, однако, уже иначе. См. стихотворение «Выпьем, что ли, Ваня». Белинский в письме к Боткину в марте 1842 г. писал, что «Кабак» «вообще недурен, но концом подгулял» (Письма, т. II. СПб., 1914, стр. 282). Стихотворение было положено на музыку А. Алябьевым.

Gasthaus zur Stadt Rom (стр. 126). Впервые — ОЗ, 1843, № 2, стр. 364—366. Печатается по Лонд. изд., стр. 153—156, Автограф ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой из Берлина от 19 декабря 1841 г. (1 января 1842 г.) (Герш., «Образы...», стр. 448—450. Заглавие — «Дрезден»). Это стихотворение, трижды напечатанное при жизни Огарева в качестве отдельного произведения, на самом деле является частью незаконченной поэмы «Юмор». В письме к М. Л. Огаревой «Gasthaus» характеризуется как «стихи, написанные в очень скорбную минуту<...> Они войдут в целое» (Герш., «Образы...», стр. 450). Этим целым мог быть только «Юмор», над которым Огарев в то время работал. В том же убеждает, не говоря о размере, и система рифмовки a b a b a b c c, больше ни в одной поэме (кроме «Царицы моря») Огаревым не примененная. Тем не менее стихотворению не нашлось места ни в одной из частей поэмы. *Очень скорбная минута,* о которой Огарев говорит в письме к жене и которой посвящено все стихотворение, — сложный психологический и бытовой комплекс, связанный с последними фазами отношений к М. Л. Огаревой, окончившийся вскоре разрывом. *Qual cuor tradisti* — слова из заключительной арии оперы В. Беллини «Норма».

«Туман упал на снег полей» (стр. 128). Впервые — Герш., т. I, стр. 258. Печатается по автографу ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 1 (13) января 1842 г. (Герш., «Образы...», стр. 459—460).

«Как звук, замолкнувший бесследно» (стр. 129). Впервые — Герш., т. I, стр. 274. Печатается по автографу ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 22 декабря 1841 г. (3 января 1842) (Герш., «Образы...», стр. 451—455).

«Встреча» (стр. 129). Впервые — ОЗ, 1842, № 4, стр. 269. Печатается по Лонд. изд., стр. 14. Автограф — в ЛБ.

Младенец (стр. 129). Впервые — ОЗ, 1842, № 3, стр. 102 (без заглавия). Печатается по Лонд. изд., стр. 26. Автограф — в ЛБ.

Много грусти! (стр. 130). Впервые — ОЗ, 1841, № 5, стр. 134. Печатается по Лонд. изд., стр. 12. Автограф — в ИРЛИ.

Полдень (стр. 131). Впервые — ОЗ, 1841, № 11, стр. 64. Печатается по Лонд. изд., стр. 20.

Звуки (стр. 131). Впервые — ОЗ, 1841, № 8, стр. 159 (заглавие — «Внутренняя музыка»). Печатается по Лонд. изд., стр. 18.

Вечер (стр. 131). Впервые (без заглавия) — ОЗ, 1841, № 5, стр. 91. Печатается по Лонд. изд., стр. 10.

Прометей (стр. 132). Впервые — ОЗ, 1841, № 10, стр. 161. Печатается по Лонд. изд., стр. 28.

Тантал (стр. 133). Впервые — Герш., т. I, стр. 270. Печатается по автографу ЛБ. Датируется предположительно.

Фантазия (стр. 135). Впервые (без заглавия) — ОЗ, 1841, № 7, стр. 90. Перепечатано Солд., стр. 15 (с заглавием). Печатается по Лонд. изд., стр. 16. Автограф — в ИРЛИ.

К <Е. В. Салиас> (стр. 136). Впервые — ОЗ, 1841, № 8, стр. 158. Печатается по Лонд. изд., стр. 19. Стихотворение посвящено Елиз. Вас. Салиас де Турнемир (1815—1892), ур. Сухово-Кобылиной, лит. псевдоним — Евг. Тур. В стихах 7-ми след. Огарев имеет в виду неудачный роман Салиас с Н. И. Надеждиным в 1834—1836 гг.: семья Сухово-Кобылиных решительно воспротивилась браку с поповичем-семинаристом. Очерк отношений Огарева с Е. В. Салиас см. в статье Б. П. Козьмина (ЛН, № 61, 1953, стр. 797—806). В 1841 г. Огарев цитирует в письме к М. Л. Огаревой две строки этого стихотворения, написанного скорее всего в 1839—1841 гг., когда Огарев часто встречался с Е. В. Салиас в Москве (Герш., «Образы. . .», стр. 410 и 471. Автограф (заглавие — «Гр. С . . . .ъ») — в ЦГАОР (ф. 5770, оп. I, № 40).

Друзьям (стр. 136). Впервые — Солд., стр. 5. Печатается по Лонд. изд., стр. 1. Стихотворение полностью приведено Чернышевским в его рецензии на издание 1856 г. Чернышевский особенно подчеркивал политический смысл этих стихов и их значение для последующих поколений, когда «энтузиазм», как осторожно выражается Чернышевский, «был очень сильным деятелем в нравственном развитии нашего общества» («Совр.», 1856, № 9, стр. 2; или Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III, М., 1947, стр. 564). И. И. Панаев написал пародию на это стихотворение (см «Собрание стихотворений Нового Поэта». СПб., 1855, стр. 6 — «К друзьям»).

«Что мне в сей жизни скучной?» (стр. 137). Впервые — РП, т. II. М., 1916, стр. 170—171. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Датируется предположительно.

На сон грядущий (стр. 137). Печатается по Лонд. изд., стр. 181, где было опубликовано впервые. Автограф в ЛБ. Стихотворение, повидимому, относится к началу 1840-х гг.; на том же листке — черновой автограф стихотворения «Хандра», относящийся к этому времени. *Покоя тело просит.* — Реминисценция пушкинской строки «Покоя сердце просит».

Хандра (стр. 138). Впервые — ОЗ, 1844, № 6, стр. 160. Печатается по Лонд. изд., стр. 184. Первоначальный набросок первых четырех строк — в ЛБ.

«Да, я люблю! О, дивное созданье» (стр. 138). Впервые — ЛН, № 4—6, 1932, стр. 672—676. Печатается по автографу ЛБ. Этот набросок представляет собою не перевод из «Фауста», а оригинальное произведение Огарева, написанное на мотивы и в духе произведения Гете.

«Когда среди людей стою я одинок» (стр. 143). Впервые — Герш., т. I, стр. 259. Печатается по автографу ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 10 (22) января 1842 г. (Герш., «Образы...», стр. 460—464). Стихотворение непосредственно связано с упоминанием в письме знаменитой танцовщицы Марии Тальони (1804—1884), которую Огарев смотрел в балете за день до того.

Америка (стр. 143). Впервые — БП, т. I, стр. 107—108. Печатается по автографу ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 14—15 (26—27) января 1842 г.

«Я помню хорошо, как ты была мила» (стр. 144). Впервые — БП., т. I, стр. 109. Печатается по автографу ЛБ — в письме к М. Л. Огаревой от 14—15 (26—27) января 1842 г.

Соседке (стр. 144). Впервые — ОЗ, 1842, № 8, стр. 159. Печатается по Лонд. изд., стр. 161. Автограф — в письме к М. Л. Огаревой от 12 февраля 1842 г. (ЛБ. Герш., «Образы...», стр. 472—473). Посылая стихи, Огарев писал: «Это писано девице Фоминой, с которой я встретился в дилижансе; мы расстались, когда ей было года два или три, а мне лет семь. Ну! Я ей этих стихов не показал, да и не покажу».

«Я помню робкое желанье» (стр. 145). Впервые — ОЗ, 1842, № 12, стр. 1. Печатается по Лонд. изд., стр. 167. Автограф — в письме к М. Л. Огаревой от 24 февраля ст. ст. 1842 г. (Герш., «Образы...», стр. 477). В стихотворении — реминисценции Пушкинского «Я помню чудное мгновенье».

«Небо да море. Волна за волной» (стр. 146). Впервые — Герш., т. I, стр. 310. Печатается по черновому автографу ЛБ. *Немолчно* в строке 4-й — чтение предположительное.

На море (стр. 146). Впервые — Солд., стр. 68. Печатается по Лонд. изд., стр. 178. Автограф — в ЛБ. К датировке стихотворения см. Черн., стр. 376.

Исповедь (стр. 147). Впервые — ОЗ, 1842, № 10, стр. 175. Печатается по Лонд. изд., стр. 174. В ЛБ — копия Н. А. Герцен (Захарьиной). Последние 4 строки этого стихотворения Огарев цитирует в письме к Е. В. Сухово-Кобылиной от 17 июня 1842 г. (ЛН, № 61, 1953, стр. 864).

«Гуляю я в великом божьем мире» (стр. 147). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 867. Печатается по автографу ИРЛИ — в письме к Е. В. Сухово-Кобылиной от 10 (22) июля 1842 г.

Рейн (стр. 148). Впервые — в сб. «Литературный вечер». М., 1844, стр. 31—32. Печатается по автографу ЛБ. К датировке см. РМ, 1889, № 11, стр. 14.

Эмс (стр. 148). Печатается по сб. «Литературный вечер», М., 1844, стр. 31, где было опубликовано впервые. Автограф — в ЛБ. Это стихотворение, посланное московским друзьям в письме от 21 января (2 февраля) 1843 г., и три следующих были, вероятно, написаны в 1842 г. (РМ, 1889, № 12, стр. 5).

Пустой дом (стр. 149). Печатается по сб. «Литературный вечер». М., 1844, стр. 29—30, где было опубликовано впервые. Автограф — в ЛБ. См. прим. к стихотворению «Эмс».

«Он уж был испытан» (стр. 150). Печатается по сб. «Литературный вечер». М., 1844, стр. 33, где было опубликовано впервые. Автограф — в ЛБ. См. прим. к стихотворению «Эмс».

Ожидание (стр. 150). Печатается по сб. «Литературный вечер». М., 1844, стр. 33—34, где было опубликовано впервые. Автограф — в ЛБ. См. прим. к стихотворению «Эмс».

Обыкновенная повесть (стр. 151). Впервые — ОЗ, 1843, № 2, стр. 255. Печатается по Лонд. изд., стр. 31. Белинский (?) в статье «Взгляд на главнейшие явления русской литературы в 1843 году» особо отметил это стихотворение Огарева (ЛГ, 1844, 1 января, № 1, или Полное собрание сочинений, т. 13. Л., 1948, стр. 141). За полтора года до этого в письме к В. П. Боткину в марте 1842 г. стихотворение отмечено как удачное. Белинский пишет о стихотворении «Была пора», очевидно имея в виду именно «Обыкновенную повесть» (Письма, т. II. СПб., 1914, стр. 282).

«Она никогда его не любила» (стр. 152). Впервые — ОЗ, 1842, № 3, стр. 270. Печатается по Лонд. изд., стр. 15. Автограф — в ИРЛИ.

Изба (стр. 153). Впервые — ОЗ, 1842, № 5, стр. 2. Печатается по Лонд. изд., стр. 143. Стихотворение неоднократно перепечатывалось в школьных хрестоматиях.

Дилижанс (стр. 153). Впервые — ОЗ, 1842, № 7, стр. 128. Печатается по Лонд. изд., стр. 159.

«К подъезду! — Сильно за звонок рванул я» (стр. 154). Впервые — ОЗ, 1842, № 9, стр. 42. Печатается по Лонд. изд., стр. 171. Стихотворение имеет в виду Машеньку Наумову, дальнюю родственницу, в конце 1820-х гг. жившую у Огаревых. Об этом романе Огарев пишет в «Моей исповеди» (ЛН, № 61, 1953, стр. 696—700) и в автобиографических «Записках русского помещика» (ПЗ на 1881 г., № 3, стр. 73—75). Ср. Т. П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания, т. II. СПб., 1879, стр. 5, или изд. 2-е, т. II, СПб., 1906, стр. 8. Вероятно, ей же посвящен ряд стихов в поэме «Матвей Радаев» и в «Исповеди лишнего человека». Стихотворение отмечено Белинским (?) как удачное (ЛГ, 1844, 1 января, № 1, или Полное собрание сочинений, т. 13. Под ред. В. С. Спиридонова, Л., 1948, стр. 141).

«Когда встречаются со мной» (стр. 155). Впервые — ОЗ, 1842, № 11, стр. 70. Печатается по Лонд. изд., стр. 177. Это стихотворение отмечено Белинским (?) как удачное (ЛГ, 1844, 1 января, № I, или Полное собрание сочинений, т. 13. Под ред. В. С. Спиридонова, Л., 1948, стр. 141).

«На севере туманном и печальном» (стр. 156). Впервые — ОЗ, 1842, № 12, стр. 185. Печатается по Лонд. изд., стр. 165. В ЛБ — копия Н. А. Герцен (Захарьиной). *Увидеть взор спокойный, русый локон.* — Речь идет о Евд. В. Сухово-Кобылиной.

Весна (стр. 156). Впервые — ОЗ, 1843, № 1, стр. 1—2. Печатается по Лонд. изд., стр. 168.

В альбом (стр. 157). Впервые — Солд., стр. 23. Печатается по Лонд. изд., стр. 24. Автограф — в ЛБ. Датируется по связи с напечатанным в № 4 ОЗ за 1842 г. стихотворением «Младенец», на обороте автографа которого написано это стихотворение.

Разорванность (стр. 158). Впервые — факсимиле, «Весы», 1907, № 2, стр. 6. Печатается по автографу ИРЛИ. Датируется предположительно.

<Т. Н. Грановскому> («Твое печальное посланье») (стр. 159). Впервые — РМ, 1889, № 12, стр. 12—18. Печатается по автографу ЛБ — в письме к Т. Н. Грановскому от 6 апреля 1843 г. *Твое печальное посланье* — письмо Грановского неизвестно. *Im Allgemeinen* — термин гегельянской философии, частый в переписке Огарева и его друзей в 1840-х гг. *Но ты, в столице философской | Учившись с молодых годов* — в Берлине, где Грановский провел 1836—1839 гг. *Я только матери моей | Глубоко чув-*

ствую утрату. — Е. И. Огарева скончалась, когда сыну было лишь два года. *Случайно рану | То в жизни сердцу нанесло.* — Огарев имеет в виду переживания, связанные с отношениями с М. Л. Огаревой. *И наших кунцевских скитаний* — споры с Грановским летом 1840 г. в Кунцеве под Москвой. *Любимый наш поэт* — Пушкин; следующая и ряд других строк — цитаты, перефразировки или реминисценции из стихов Пушкина. *Говорить* <...> *с женой* — Е. Б. Мюльгаузен, жена Грановского с конца 1841 г. *Таня* — Татьяна Ларина в «Евгении Онегине» Пушкина.

Крейцнах. 8 августа (стр. 166). Впервые — БП, т. I, стр. 128. Печатается по копии Н. А. Тучковой-Огаревой — в письме Е. С. Некрасовой в 1895 г. (?). Огарев жил в Крейцнахе около месяца (июль — август) в 1843 г. одновременно с Сатиным во время развязки отношений с М. Л. Огаревой.

Барону (стр. 167). Печатается впервые по автографу ЛБ. *Барон* — дружеское прозвище Н. X. Кетчера. Датировано в рукописи. Стих 8 в рукописи дефектен.

Паук (стр. 168). Впервые — РП, т. II. М., 1916, стр. 172—173. Печатается по автографу ЛБ.

«Длинный день проходит вяло» (стр. 168). Впервые — РП, т. II, М., 1916, стр. 172. Печатается по автографу ЛБ.

Миннезингер (стр. 169). Впервые — РП, т. II, М., 1916, стр. 171—172. Печатается по автографу ЛБ.

«Тускло сквозь сереньких тучек» (стр. 169). Впервые — РП, т. II, М., 1916, стр. 173. Печатается по автографу ЛБ.

«Стучу — мне двери отпер ключник старый» (стр. 170). Впервые — ОЗ, 1843, № 9, стр. 90. Печатается по Лонд. изд., стр. 163.

Aurora-Walzer (стр. 170). Впервые — ОЗ, 1844, № 2, стр. 47. Печатается по Лонд. изд., стр. 166. В ЛБ — текст, в котором первые 3 строки написаны рукою Н. А. Тучковой-Огаревой, остальные — автограф Огарева. Вальс «Аврора» — очень популярный в XIX веке немецкий вальс; он упоминается и в «Набеге» Л. Н. Толстого (1852).

Прощание с Италией (стр. 171). Впервые — РВ, 1856, июль, кн. I, стр. 237. Печатается по Солд., стр. 72. Датируется предположительно 1843 г. — временем пребывания Огарева в Италии. *Иная сторона* — вероятно, Франция.

«Печальный мученик сомненья» (стр. 173). Впервые — БП, т. II, стр. 384. Печатается по автографу ЛБ — письму к М. Л. Огаревой 1843 г. (?) Окончание письма и стихотворения утрачено.

К <М. Л. Огаревой> («Расстались мы — то, может, нужно») (стр. 173). Впервые — РВ. 1856, июнь, кн. I, стр. 600. Печатается по Лонд. изд., стр. 187. Автограф — в ЛБ. Стихотворение написано накануне разрыва с М. Л. Огаревой в конце 1844 г.

Buch der Liebe (стр. 175). Цикл посвящен известной московской красавице, сестре знаменитого русского драматурга А. В. Сухово-Кобылина, Евд. Вас. Сухово-Кобылиной (1819—1896, в замужестве с 1848 г. Петрово-Соловово). Знакомство с Е. В. Сухово-Кобылиной («Душенькой») относится, повидимому, к началу 1830-х гг. Оно было продолжено по возвращении в Москву в 1839 г. Стихотворения писались в 1841—1844 гг. Примечательно, что адресат стихотворений узнал об этом цикле Огарева не ранее 1877 г., т. е. после смерти поэта, когда самой Е. В. Петрово-Соловово было уже около 60 лет. Основания, по которым поэт сделал эти стихи «утаёнными», не ясны. После смерти Огарева семь стихотворений были сообщены (семьей Герцена?) Т. П. Пассек, и она опубликовала их в 1881 г. Все стихотворения переписывались Огаревым с черновиков в подаренную ему Герценом 1 января 1842 г. в Новгороде тетрадь; сюда же переписаны и два более ранних стихотворения 1841 г. Книга, озаглавленная самим поэтом «Buch der Liebe», заполнялась до июня 1844 г. включительно. Впрочем, предпоследнее послание из Берлина, написанное в июне 1844 г., свидетельствует уже об остывшем чувстве. Эпиграф — из «Песни Океанид» («Der Gesang der Okeaniden») Гейне. Нумерация стихов, расположенных Огаревым в рукописи в хронологическом порядке (цикл впервые воспроизводится полностью), принадлежит редактору.

I (стр. 175). Впервые — ОЗ, 1841, № 7, стр. 233. Печатается по Лонд. изд., стр. 11. Автограф с указанием даты — в ИРЛИ.

II (стр. 176). Впервые — Избр. произв., т. I, стр. 193. Печатается по автографу ИРЛИ.

III (стр. 176). Впервые — ПЗ., 1881, № 5, стр. 137. Это стихотворение отсутствует в сохранившейся рукописи: несколько страниц из нее вырезано. Однако и содержание и факт публикации Т. П. Пассек свидетельствуют о принадлежности его к тому же циклу. Место стихотворения определено предположительно. Стих 6-й снизу дефектен.

IV (стр. 177). Впервые — ОЗ. 1843, № 12, стр. 192. Печатается по Лонд. изд., стр. 176. На основании сопоставления с письмом к М. Л. Огаревой от 21 марта 1842 г. ст. ст. (Герш., «Образы...» стр. 480) в изд. Черн. (стр. 376) стихотворение весьма правдоподобно датировано мартом 1842 г.

V (стр. 178). Впервые — Избр. произв., т. I, стр. 194. Это и все следующие стихотворения данного цикла печатаются по автографам ИРЛИ.

VI (стр. 178). Впервые — ПЗ, 1881, № 5, стр. 137—139.

VII (стр. 179). То же, стр. 138.

VIII (стр. 180). То же, стр. 139.

IX (стр. 180). То же, стр. 140—141.

X (стр. 181). То же, стр. 140.

XI (стр. 181). То же, стр. 141.

XII (стр. 182). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 604.

XIII (стр. 183). То же, стр. 604—606.
XIV (стр. 184). Впервые — ПЗ, 1881, № 5, стр. 142.
XV (стр. 185). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 606—607.
XVI (стр. 186). Впервые — ПЗ, 1881, № 5, стр. 142—143.
XVII (стр. 187). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 607—608.
XVIII (стр. 188). Впервые — ПЗ, 1881, № 5, стр. 143. Стихотворение начинается нотной цитатой, непосредственным продолжением которой оно является: в таком виде печатается впервые.
XIX (стр. 188). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 608.
XX (стр. 190). То же.
XXI (стр. 190). Печатается впервые.
XXII (стр. 191). То же.
XXIII (стр. 191). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 608—609.
XXIV (стр. 192). То же, стр. 609—610.
XXV (стр. 193). То же, стр. 610.
XXVI (стр. 193). То же, стр. 610—611. Последняя строка — сокращенная цитата двух стихов Шиллера: «Doch das Herz von seinem Grame nicht genesen kann» («Ritter Toggenburg»).
XXVII (стр. 194). То же, стр. 612.
XXVIII (стр. 194). То же, стр. 612—613.
XXIX (стр. 195). То же, стр. 613—614. *Пигмалион* — кипрский царь (IX—VIII вв. до н. э.), по преданию, влюбившийся в созданную им статую женщины. Статуя была одушевлена, и Пигмалион женился на ней.
XXX (стр. 196). То же, стр. 614 и 616.
XXXI (стр. 197). Впервые — «Избр. произв.», т. I, стр. 210—211. *Альбано* и *Кастель Гандольфо* — города близ Рима.
XXXII (стр. 198). Полностью печатается впервые. Последние 12 строк как отдельное стихотворение (!) впервые — «Избр. произв.», т. I, стр. 211.

XXXIII (стр. 199). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 616. Стихотворение начинается нотной цитатой, непосредственным продолжением которой оно является. В таком виде печатается впервые. *Клара Новелло* (1818—1908) — известная оперная певица, пение которой Огарев очень ценил (см. РМ, 1889, № 12, стр. 18 и ЛН, № 61, 1953, стр. 877). Нотная цитата, вероятно, из оперы В. Беллини «Пуритане», в которой пела Клара Новелло.

XXXIV (стр. 200). Печатается впервые.
XXXV (стр. 200). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 616—617. *Певица эта* — Клара Новелло.
XXXVI (стр. 201). То же, стр. 617—618.
XXXVII (стр. 202). То же, стр. 618.
XXXVIII (стр. 203). То же, стр. 620—621. *Villa Reale* — парк в Неаполе.
XXXIX (стр. 205). То же, стр. 621.
XL (стр. 206). То же, стр. 621—622. *Швальбах* — город в Пруссии.
XLI (стр. 206). Печатается впервые.
XLII (стр. 207). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 622—623.
XLIII (стр. 208). Впервые — Избр. произв., т. I, стр. 218.
XLIV (стр. 209). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 623—627.
XLV (стр. 214). То же, стр. 627—628.

Ночь («Когда во тьме ночной, в мучительной тиши») (стр. 215). Впервые (без заглавия) — ОЗ, 1844, № 3, стр. 1. Печатается по Лонд. изд., стр. 180.

Праздник (стр. 215). Впервые (без заглавия) — ОЗ, 1844, № 3, стр. 196. Печатается по Солд., стр. 69. Стихотворение написано во время пребывания Огарева за границей после окончательного разрыва с М. Л. Огаревой.

«Еще любви безумно сердце просит» (стр. 216). Впервые — ОЗ, 1844, № 5, стр. 1, с искаженной по цензурным причинам предпоследней строкой («Лепечутся надгробные страницы»). То же в перепечатке в Солд., стр. 62. Печатается по Лонд. изд., стр. 170.

Сатину (стр. 216). Печатается впервые по черновому автографу ЛБ.

Искандеру («Я ехал по полю пустому») (стр. 217). Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 150. Печатается по Лонд. изд., стр. 202. В ЛБ — копия рукой Герцена. Поводом к написанию стихотворения послужила размолвка между Огаревым и Герценом, с одной стороны, Грановским — с другой. Подробно об этой размолвке см. главу XXXII «Былого и дум». Она произошла летом 1846 г. во время совместной жизни на даче в Соколово (под Москвой).

Совершеннолетие (стр. 218). Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 167. Печатается по Лонд. изд., стр. 200. Автограф — в ЛБ. На автографе подзаголовок: «Посвящено Грановскому».

«Бываю часто я смущен внутри души» (стр. 218). Впервые — «Совр.», 1847, № 1, стр. 88. Печатается по Лонд. изд., стр. 195.

Отъезд (стр. 219). Впервые — «Совр.», 1847, № 2, стр. 196. Печатается по Солд., стр. 132.

«Тучи серые бродят в поднéбесье» (стр. 220). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 628. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 40, л. 1а). Датируется концом 1846—началом 1847 — временем отъезда Герцена за границу («Едет друг на чужбину далекую»).

Монологи (стр. 220) Впервые (стихотворения I, II, IV) — «Совр.», 1847, № 6, стр. 204—206. Впервые полностью — Солд., стр. 80—86. Печатается по Лонд. изд., стр. 189—193. Стихотворение III цикла не было напечатано, может быть по цензурным причинам (см. «Новые пропилеи». М., 1923, стр. 17, и вступ. статью к наст. изд., стр. 16—18). В стихотворении I в тексте «Совр.» после строки:

А правду высказать еще трудней

следовало:

Саиса юноше толпа жрецов вещала,
Чтоб снять покрова он дерзнуть не мог,

Но он пошел, глупец, и сдернул покрывало

. . . .

. . . .

И впереди лежит пустынная дорога
Да тщетный жар еще горит в крови.

Возникновение замысла этого цикла относится, повидимому, к 1844 г. (см. письмо Огарева к Герцену от 17/29 декабря 1844 г. — РМ, 1891, № 6, стр. 16). Однако стихотворение было закончено только в конце 1846, начале 1847 г. (см. письмо Огарева к Т. Н. Грановскому от 17 января 1847 г. — «Звенья», вып. I, 1932, стр. 116). «Монологи» были напечатаны в «Совр.» после некоторой внутриредакционной борьбы. Белинский увидел в них ненавистное ему «гамлетовское» (безвольное) направление и протестовал против их печатания. См. письмо Белинского к В. П. Боткину от 29 января 1847 г. (Письма, т. II. СПб., 1914, стр. 161—162) и письмо Некрасова к Тургеневу от 15 февраля 1847 г. (Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X. М., 1952, стр. 62). «Рефлектирующая» поэзия уже не была в это время для Белинского выражением социального протеста. Последние 8 строк стихотворения IV (от слов: «Теперь товарищ мне иной дух отрицанья») должны быть ближайшим образом сопоставлены с соответствующим местом известной статьи Белинского о стихотворениях Баратынского (ОЗ, 1842, № 12 или Полное собрание сочинений, т. 6. Л., 1955, стр. 476—478), в которой критик писал о «демоне» и раздоре «мысли с чувством». Несомненно, что эти строки были в памяти Огарева, когда он писал «Монологи» (указано Э. Э. Найдичем и Л. Е. Шепелевым; см. «Литературный архив», вып. IV, 1953, стр. 170). В 1856 г. Чернышевский полностью перепечатал «Монологи» из издания 1856 г. в своей рецензии в № 9 «Совр.» и высоко оценил их, ибо в поэзии Огарева, по его мнению, нашло выражение «важного момента в развитии нашего общества», в них отразились «мысли и чувства лица типического». (Полное собрание сочинений, т. III, М., 1947, стр. 565). «Монологи» вошли впоследствии в русскую революционную поэзию как стихи, выражающие тревогу за «смысл существующего» (М. И. Калинин. Сб. его статей: «Славный путь комсомола». М., 1945, стр. 8—9. Ср. письмо Н. И. Утина Огареву 1863 г. — ЛН, № 62, 1955, стр. 625), и неоднократно перепечатывались и перекладывались на музыку. Второе стихотворение вызвало в свое время пародию И. И. Панаева; см. «Собрание стихотворений Нового Поэта». СПб., 1855, стр. 19. Стихи 18—20 III стихотворения — реминисценция из «Чаши жизни» Лермонтова (1831).

Упование. Год 1848 (стр. 224). Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 151 (заглавие — «Упование. Год 1848»). Печатается по Лонд. изд., стр. 203 (в тексте заглавие — «Год 1848», в оглавлении — «Упование»). Автограф ЛБ (заглавие — «Упование»). Эпиграф в ПЗ и в Лонд. изд. с опечаткой — morbis. Стихотворение является поэтическим отголоском революционного движения в Германии и Италии в 1848 г., накануне революционных вспышек во всей Европе.

Лелеет слух внезапным колыханьем и следующие 7 строк имеют в виду начало революционных событий в Италии. *От долгих грез очнулся тих, но страшен* и следующие строки касаются политического положения в Германии перед мартовским восстанием 1848 г.

Современное стихотворение (стр. 225). Печатается по тексту газеты: «Ведомости С.-Петербургской городской полиции», 1848, 12 июля, № 151, стр. 3, где было опубликовано впервые. Снова, в качестве неизданного: PC, 1887, № 11, стр. 477 (Заглавие: «1848 г.»). Стихотворение написано по поводу эпидемии холеры в России в 1847—1848 гг.

«В пирах безумно молодость проходит» (стр. 226). Первые 6 строк впервые (?) — «Совр.», 1850, № 2, стр. 167, полностью — Солд., стр. 63. Печатается по Лонд. изд., стр. 173.

Fatum (стр. 226). Впервые — «Совр.», 1850, № 1, стр. 52. Печатается по Лонд. изд., стр. 196.

Забыто (стр. 227). Впервые — «Совр.», 1850, № 1, стр. 52—53. Печатается по Лонд. изд., стр. 198.

*1849 год (стр. 228). Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 172. Печатается по Лонд. изд., стр. 206. Стихотворение является отголоском на европейские события 1849 г. — жестокую реакцию, охватившую европейские страны после поражения революции 1848 г. Если Маркс и Энгельс, разобравшись в коренных причинах революционного движения 1848 г., считали эту реакцию временной и не видели в ней свидетельства гибели западной культуры, то многие представители европейской интеллигенции впали в состояние крайнего пессимизма. Пессимизм Огарева был того же происхождения, что и Герцена. Причины этого глубокого скептицизма вскрыты В. И. Лениным в его статье «Памяти Герцена»: «Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848-го года был крахом *буржуазных иллюзий* в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии *уже* умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата *еще не* созрела». (Соч., т. 18, стр. 10.)

Арестант (стр. 229). Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 173—174. Печатается по Лонд. изд., стр. 209. По свидетельству Н. А. Тучковой-Огаревой, стихотворение было написано Огаревым в 1850 г., между 24 февраля и 20 марта, во время заключения в III отделении, и было передано при первом свидании или сразу по освобождении его из-под ареста. (Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания. Л., 1929, стр. 137, ср. «Оп. рук.», стр. 53.) Стихотворение было широко известно как народная и солдатская песня в разных концах дореволюционной России и было особенно распространено в Пензенской и Саратовской губ. (А. Пругавин, Песня о часовом и барине. Нижегородский сборник. СПб., 1905, стр. 276—282). Первый ставший известным вариант этой песни, записанный

А. Пругавиным в Петровске, Саратовской губ., представляет собой значительную переработку текста. Второй вариант, более исправный (напечатан там же), записан П. Н. Будищевым. Последняя переработка записана в 1934 г. (см. Н. П. Андреев. Русский фольклор. Хрестоматия для высших педагогических учебных заведений. Изд. 2-е. Л., 1938, стр. 560).

К Н. <А. Тучковой> (стр. 230). Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 175. Печатается по Лонд. изд., стр. 211. Датируется предположительно. Обращено к Н. А. Тучковой; написано, как видно из текста, до их брака в 1853 г.

Другу (стр. 230). Впервые — Герш., т. I, стр. 306. Печатается по автографу ЛБ. *Друг* — повидимому, Т. Н. Грановский.

«Я виноват, быть может, в многом» (стр. 231). Впервые — Герш., т. I, стр. 373. Черновой автограф в ЛБ. Датируется предположительно.

«Труп ребенка, весь разбитый» (стр. 231). Впервые — БП, т. I, стр. 174—175. Печатается по копии Н. А. Тучковой-Огаревой в ЛБ. Датируется предположительно.

«Сатирик, как прежде, в час привычный» (стр. 233). Впервые — ОЗ, 1853, № 9, стр. 28. Печатается по Лонд. изд., стр. 216. Автограф — в ЛБ. Огарев считал это стихотворение удачным — см. письмо к П. В. Анненкову от 9 февраля 1854 г. («П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 642).

Купанье (стр. 234). Впервые — РВ, 1856, июнь, кн. II, стр. 771. Печатается по Лонд. изд., стр. 218. Автограф в ЛБ и ИРЛИ (второй — в письме к П. В. Анненкову от 9 февраля 1854 г. См. «П. А. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 642).

Сплин (стр. 235). Впервые — РВ, 1856, июль, кн. II, стр. 419. Печатается по Лонд. изд., стр. 221. Датируется предположительно по упоминанию Крымской кампании. *Уж не заняться ль нам делами Крыма* — т. е. Крымской кампании 1854—1855 гг. *Вот мрет старик, сердяся и кряхтя* — отец Огарева, скончавшийся 2 ноября 1838 г. *Вот друг погиб с чахоточным ознобом* — Н. И. Астраков (1809—1842) или В. В. Пассек (1808—1842). *В волнах морских умолкнуло дитя* и след. — малолетний сын Герцена Николай и мать Герцена Луиза Гааг, погибшие при кораблекрушении 16 ноября 1851 г.

Aurora musae amica (стр. 237). Впервые — РВ, 1856, июнь, кн. II, стр. 769. Печатается по Лонд. изд., стр. 214. Судя по упоминанию о «звонке и работе обыденной» и «смете всех дел», стихотворение написано во время жизни на Тальской фабрике (в Корсунском уезде Симбирской губернии). *Нам принесут печальную газету* — известия о ходе Крымской кампании 1854—1855 гг.

Сон (стр. 238). Печатается по ПЗ на 1861 г., стр. 325, где было опубликовано впервые, с указанием даты.

«Полно, братцы, не смотрите» (стр. 238). Печатается по тексту: «Песня. Слова и музыка Н. Огарева» (№ 3, серия «Романсы и песни Н. Огарева», изд. Битнера. СПб., 1854, где было опубликовано впервые.)

Первая любовь (стр. 239). Впервые — РВ, 1856, январь, кн. I, стр. 328—329. Печатается по Лонд. изд., стр. 233. Автограф — в письме к П. В. Анненкову от 3 июня 1855 г. («П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 649—651, — в ИРЛИ), другой автограф — в ЛБ.

«Тот жалок, кто под молотом судьбы» (стр. 239). Впервые — РС, 1890, № 1, стр. 222. Печатается по автографу ИРЛИ — в письме к П. В. Анненкову от 24 июня 1855 г. («П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 651).

Кокетке (стр. 240). Впервые — РВ, 1856, январь, кн. I, стр. 329. Печатается по Лонд. изд., стр. 235. Автограф — в ЛБ.

«Домой я воротился очень поздно» (стр. 241). Впервые — Солд., стр. 65. Печатается по Лонд. изд., стр. 175

Бегство (стр. 241). Впервые — Солд., стр. 126. Печатается по Лонд. изд., стр. 230.

И<сканде>ру («О! если б ты подумать только мог») (стр. 242). Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 177. Печатается по Лонд. изд., стр. 213. Датируется предположительно. Стихотворение относится ко времени пребывания Огарева в России. Вероятно, оно является откликом на получение от Герцена какого-то известия.

Немногим (стр. 242). Впервые — Солд., стр. 167. Печатается по Лонд. изд., стр. 265. Автограф ЛБ — письмо к Н. М. Сатину от 14 марта 1856 г. (полный текст письма см. Т. П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания, т. III. СПб., 1889, стр. 130 или изд. 2-е, т. III. СПб., 1906, стр. 121). Сатину поручено было наблюдение за изданием первого сборника стихотворений Огарева, куда он и включил присланные ему стихи.

Fashionable (стр. 243). Впервые — Солд., стр. 11. Печатается по Лонд. изд., стр. 9.

Старик («Еще я бодр! Еще, тоскуя») (стр. 243). Впервые — РВ, 1856, апрель, кн. I, стр. 665. Печатается по Лонд. изд., стр. 234.

Весною (стр. 244). Впервые — РВ, 1856, апрель, кн. I, стр. 666. Печатается по Лонд. изд., стр. 241.

«Ты сетуешь, что после долгих лет» (стр. 245). Впервые — РВ, 1856, апрель, кн. I, стр. 667. Печатается по Лонд. изд., стр. 242.

К Лидии (стр. 245). Впервые — РВ, 1856, апрель, кн. I, стр. 667. Перепечатано Солд., стр. 143, с вымышленным подзаголовком: «Из Лукреция». Печатается по Лонд. изд., стр. 240. Автограф — в ЦГАОР (ф. 5770, оп. I, № 42).

Барышня (стр. 245). Впервые — РВ, 1856, апрель, кн. I, стр. 668. Печатается по Лонд. изд., стр. 237.

На мосту (стр. 246). Впервые — РВ, 1856, апрель, кн. I, стр. 670, под заглавием Nocturno. Печатается по Лонд. изд., стр. 239.

«Проклясть бы мог свою судьбу» (стр. 247). Строфы 1-я, 3-я, 4-я впервые — РВ, 1856, май, кн. I, стр. 184, полностью — Солд., стр. 99. Печатается по Лонд. изд., стр. 232. Автограф — в ЛБ.

Die Geschichte (стр. 248). Впервые (без заглавия) — РВ, 1856, июнь, кн. II, стр. 768. Печатается по Лонд. изд., стр. 208.

Портреты (стр. 248). Впервые — РВ, 1856, июнь, кн. II, стр. 768 (с пропуском последнего стиха). Печатается по Лонд. изд., стр. 207. Из круга старых друзей Огарева к этому времени уже не было в живых Т. Н. Грановского, И. П. Галахова, А. К. Лахтина, В. В. Пассека.

«Опять знакомый дом, опять знакомый сад» (стр. 249). Впервые — РВ, 1856, июнь, кн. II, стр. 770. Печатается по Лонд. изд., стр. 224. На автографе ЛБ надпись рукой Огарева: «Vielleicht aristokratisch» («Может быть, аристократично»).

«Я наконец оставил город шумный» (стр. 249). Впервые — РВ, 1856, июль, кн. I, стр. 192. Печатается по Лонд. изд., стр. 185. Автограф — в ЦГАЛИ.

* <Е. Ф.> Коршу (стр. 250). Впервые — сб. «Помощь голодающим». М., 1892, стр. 525—527. Печатается по автографу ЛБ. *Корш Е. Ф.* (1810—1897) — журналист, переводчик, редактор газеты «Московские ведомости» (1843—1848) и журнала «Атеней» (1858—1859). Близкий друг Герцена и Огарева, Грановского и Белинского, Корш в 1840-х гг. примыкал к «западникам». С конца 1850-х гг. он вместе с Н. Х. Кетчером, Б. Н. Чичериным, Н. Ф. Павловым и др. оказывается в оппозиции к Герцену, резко осуждая его эмигрантскую деятельность и поддерживая выступления Б. Н. Чичерина против Герцена: намечается расхождение Герцена и Огарева с прежними друзьями в оценке русской и европейской действительности. Герцен подтверждает окончательный разрыв с Кетчером и Коршем в письме к Н. М. Сатину в сентябре 1862 г.: «Для меня Кетчер, Корш — это догнивающие трупы чего-то

близкого, клевреты Чичерина, приятели Павлова, абсолютисты, они заставляют меня краснеть за былое» (Герцен, т. XV. Пг., 1920, стр. 473).

И<скандe>ру («В уныньи медленном недуга и леченья») (стр. 251). Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 205. Печатается по Лонд. изд., стр. 371. Автограф — ЛБ (заглавие в нем полностью: «Искандеру»). Стихотворение адресовано Герцену и находится в записной книжке, на первом листке которой надпись Герцена от 6 декабря 1856 г. Эпиграфом к стихотворению взята строка из сочинения *Курта Шпренгеля* (Sprengel, 1766—1833), известного врача и естествоиспытателя. Вопросами медицины и фармакологии Огарев усиленно занимался во время десятилетнего (с 1846 по 1856) пребывания в имении. Начало стихотворения имеет в виду болезнь Огарева, припадки эпилепсии.

Sehnsucht (стр. 253). Впервые — Герш., I, стр. 307. Печатается по копии Н. А. Тучковой-Огаревой в ЛБ.

Ворцель (стр. 253). Впервые — РМ, 1902, № 3, стр. 12. Печатается по автографу ЛБ. Заглавие написано, может быть, рукою Герцена. Стихотворение в рукописи зачеркнуто. Стих 6-й может быть прочитан и как «волнений», но, конечно, не «комиссий», как читал М. О. Гершензон (Герш., т. I, стр 319). Отклик на смерть графа Станислава-Габриэля Ворцеля (Worcell р. в 1799, ум. в Лондоне 3 февраля 1857). Стихотворение написано вскоре после этой даты. Вождь демократической группы польской эмиграции, Ворцель был одним из наиболее близких к Герцену людей. Именно Ворцелю Герцен был неизменно благодарен за то бескорыстие, с каким он отдавался организации Вольной русской типографии. Эмигрировав и разойдясь с аристократической группой поляков-эмигрантов, последовательно высылаемый из Франции и из Бельгии, брошенный женой, совершенно обнищавший, но неизменно верный своему идеалу польской демократической крестьянской республики, Ворцель с 1849 г. жил в Лондоне, поддерживая самую близкую связь с Герценом. Последнее время он существовал, в сущности, на средства его и Тэйлора. Лично Огарев не мог близко знать Ворцеля, так как приехал в Лондон в апреле 1856 г., т. е. незадолго до его смерти; облик его сложился, очевидно, под влиянием рассказов Герцена и, может быть, Мейзенбуг. В ее воспоминаниях находим описание обстановки, в которой умер Ворцель, повторяющее текст Огарева: «Я вошла в дом и направилась в открытую комнату в нижнем этаже, где стоял гроб. Он был еще открыт, и все могли еще раз взглянуть на благородный лик. Черты его были классической простоты. С ясного, не испещренного морщинами чела, окруженного седыми волосами, как бы исходило победное сияние» («Воспоминания идеалистки», 1933, стр. 397). Последняя строка стихотворения («Да, умер ты от затаенной муки»), кроме разлуки с родиной, намекает еще на личную драму Ворцеля; о ней читаем у Герцена:

«Жена его <Саломея Кашовская. — *С. Р.*> не только не поехала с ним, но порвала с ним все сношения и за то получила

обратно какую-то часть <конфискованного. — *С. Р.*> имения. У них было двое детей... на первый случай она их выучила забыть отца <...>. Дня за два до своей кончины он диктовал Маццини свое завещание — совет Польше, поклон ей, привет друзьям...

— Теперь все, — сказал умирающий; Маццини не покидал пера.

— Подумайте, — говорил он, — не хотите ли вы в эту минуту...

Ворцель молчал.

— Нет ли еще лиц, которым бы вы имели что-нибудь сказать?

Ворцель понял. Лицо его подернулось тучей, и он ответил:

— Мне им нечего сказать (разрядка Герцена. — *С. Р.*). Я не знаю проклятия, которое ужаснее звучало бы и тяжелее бы ложилось этих простых слов» («Былое и думы», ч. 6, гл. LVI).

Предисловие к «Колоколу» (стр. 254). Впервые — «Колокол», л. 1, 19 июня (1 июля) 1857 (заглавие — «Предисловие»), и Лонд. изд., стр. 390 — 391 (заглавие — «Предисловие к «Колоколу»). Автографы в ИРЛИ и ЛБ (в ЛБ три автографа — один беловой и два черновых — разных стадий обработки; факсимиле одного из них — в «Оп. рук.» после стр. 40). Стихотворение было написано незадолго до выхода первого листа «Колокола», т. е. не позднее мая — июня 1857 г. *Тупоумный капрал* — Николай I. *Глас вопиющего в пустыне | Один раздался на чужбине.* — Огарев имеет в виду издания Вольной русской типографии, предшествовавшие «Колоколу».

Сушь и дождь (стр. 255). Впервые — ПЗ на 1858 г., стр. 108—109. Печатается по Лонд. изд., стр. 383—385. Беловой и черновой автографы — в ЛБ. Дата — в рукописи.

Нравоучение (стр. 256). Впервые — Герш., т. I, стр. 371. Печатается по более позднему автографу ЛБ (там же ранний — он дан в публикации Герш. Оба автографа зачеркнуты).

Отступнице (стр. 257). Впервые — ПЗ на 1858 г., стр. 316—319. Печатается по Лонд. изд., стр. 392—396. Беловой и черновой автографы — в ЛБ. Литературная деятельность гр. Евдокии Петровны Ростопчиной (1811—1858) в конце 1850-х гг., носила явно реакционный характер, но некоторое время имя ее было популярно в передовых кругах общества. Поводом к этому послужила поэма «Насильный брак», написанная в Риме в 1846 г. В поэме Ростопчина в довольно резких тонах восставала против угнетения Польши и «насильного» брака ее с Россией. Знакомство Огарева с Ростопчиной относится примерно к 1830 г. Вторая встреча «в поре печальных зрелых лет» могла произойти за границей, вероятнее всего в Париже в 1845 г. (Огарев пробыл за границей с мая 1842 до начала 1846. Ростопчина — с весны 1845 до осени 1847). С. П. Сушков ошибается, относя эту встречу к 1847 г. Ту же ошибку повторяет и Л. А. Ростопчина (см. «Исторический вестник», 1904, № 3, стр. 869). «Отступнице» было написано в 1857 г., очевидно в связи с напечатанным в «Северной пчеле» в июне 1857 г. Ростопчиной «Простым обзором», в котором должны были быть 3 строфы, задевающие Герцена. Эти строфы не были пропущены цензурой, но немедленно разошлись в списках и, конечно, дошли до Герцена и Огарева. Позднее они были напечатаны в «Колоколе» от 3 (15) сен-

тября 1858 г. в заметке «Страница из графской лиры Ростопчиной» (см. Е. Ростопчина. Сочинения, т. I. СПб., 1890, стр. 234—235). В ответ на стихотворение Огарева Ростопчина в написанном весною 1858 г. «Доме сумасшедших в Москве в 1858 г.» задела Герцена и Огарева в строфах 58—60 (PC, 1885, № 3, стр. 693—694). *С порывом страстного участья,| Вы пели вольность* и т. д. — Ранний период поэтической деятельности Ростопчиной был связан с традициями декабристской поэзии. Л. А. Ростопчина свидетельствует, что ее мать «написала<...>стихотворение на декабристов, ею после сожженное» («Исторический вестник», 1904, № 3, стр. 869). Эти стихи («Послание к стрельцам») были обнаружены среди бумаг декабриста З. Г. Чернышева и опубликованы в сб. «Декабристы», Л., 1926, «Прибой», стр. 7—8, и несколько точнее: «30 дней», 1938, № 2, стр. 94—96. *Я б и Клейнмихелю простил* и т. д. — П. А. Клейнмихель (1793—1869) в бытность главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями (1842—1855) ведал, между прочим, постройкой Николаевской ж. д. Дорога обошлась правительству неслыханно дорого (64 млн. руб.); немалая часть этой суммы прилипла к рукам Клейнмихеля.

Кавказскому офицеру (стр. 260). Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 156. Печатается по Лонд изд., стр. 220. Автограф ИРЛИ. Датируется предположительно.

Будущность (стр. 260) Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 34. Печатается по Лонд. изд., стр. 286.

Современное (стр. 261). Впервые анонимно — «Колокол», 1858, 3(15) августа, л. 21, стр. 173—174. Перепечатано с обоснованием авторства Огарева — ЛН, № 61, 1953, стр. 581—582 и 594—595. Печатается по автографу ЛБ. Сатирические стихи Огарева связаны с реакционными правительственными проектами «освобождения» крестьян, разобранными Огаревым в том же листе «Колокола». *Панин* — ярый реакционер и крепостник В. Н. Панин (1801—1874).

К <В. А. Панаеву> (стр. 263). Печатается по тексту ПЗ на 1859 г., стр. 283—284, где было опубликовано впервые. Стихотворение обращено к близкому к кругу «Современника» инженеру Валериану Александровичу Панаеву (1824—1899), который посетил Герцена в конце августа 1858 и в марте 1859 г. Некоторые работы В. А. Панаева были вскоре напечатаны в «Колоколе» и в «Голосах из России», разумеется анонимно. Адресат и дата стихотворения установлены Я. З. Черняком (Черн., стр. 337—338). *Я знаю — с берега Британии туманной | Живою жилою под морем нить прошла* — об окончании прокладки телеграфного кабеля между Англией и Америкой в 1858 г. *И вижу я иные племена | Тут за морем. . . Их жажда — кровь, война.* — Имеются в виду Франция и агрессивные замыслы Наполеона III против Англии.

«Я помню — в тиши яснолунных ночей» (стр. 264). Печатается по Лонд. изд., стр. 412, где было опубликовано впервые. Черновой автограф 2-й строфы — ЛБ.

Летом (стр. 265). Печатается по Лонд. изд., стр. 413—415, где было опубликовано впервые. Автограф — в ЛБ.

Разлука (стр. 267). Впервые — ПЗ на 1858 г., стр. 322. Печатается по Лонд. изд., стр. 399. Автограф — в ЛБ.

Свобода (1858 года) (стр. 267). Впервые — ПЗ на 1858 г., стр. 324—325. Печатается по Лонд. изд., стр. 407—408. Автограф — в ЛБ. Стихотворение прочно вошло в репертуар русской революционной поэзии, став одной из наиболее популярных песен второй половины XIX в.

«Дитятко! Милость господня с тобою» (стр. 269). Печатается по тексту ПЗ на 1859 г., стр. 282, где было опубликовано впервые. В 1874 г. перепечатано как текст к романсу композитора В. Н. Пасхалова. Перепечатано (по рукописи ЛБ) — РМ, 1902, № 4, стр. 174, под заглавием «Ex profundis». Автографы — ЛБ и ИРЛИ. Тема матери с мертвым ребенком на руках очень часта в поэзии Огарева (см. «Младенец», «К Грановскому» и др.); ее следует ближайшим образом сопоставить с балладой Гете «Лесной царь». В отличие от Гете, обработка Огарева реалистична и дана на материале бедной крестьянской жизни. Ср. В. М. Жирмунский, Гете в русской литературе. Л., 1937, стр. 436—437.

Море (стр. 270). Впервые — Герш., т. I, стр. 359—360. Печатается по беловому автографу ЛБ (черновик — там же).

Франция (стр. 270). Впервые — РМ, 1902, № 3, стр. 10. Печатается по беловому автографу ЛБ (черновик — там же). Другой автограф — в ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 40). В издании Черн. (стр. 43 и 342—343) датировано 1861 г. Эта датировка опровергается данными «Оп. рук.», стр. 50, № 386. Стихотворение написано в связи с декабрьским переворотом 1852 г. и террором, последовавшим после провозглашения Луи Бонапарта императором Франции. Подробный анализ и характеристика этого исторического периода даны К. Марксом в работе «18 брюмера Луи Бонапарта». *Мне живо памятно, как умирал отец* — П. Б. Огарев скончался 2 ноября 1838 г. Огарев неоднократно вспоминал о его предсмертных часах, между прочим, и в письмах 1858 г.

«Сторона моя родимая» (стр. 271). Впервые — БП, т. I, стр. 223. Печатается по беловому автографу ИРЛИ (черновой — в ЛБ). В автографе ЛБ текст начинается следующими зачеркнутыми строками:

Часто в жизни все не вяжется,
Часто скорби накликаются,
Часто труд бесплодным кажется,
Часто руки опускаются.
В прежни годы я молитвою
Сердцу дал бы утешения,

Но теперь я перед битвою
Сам, как есть, ищу терпения.
Ночь полна благоуханием,
Сон гоню я волей гордою,
И к себе я с упованием
Обращаюсь с речью твердою...

(Впервые — Черн., стр. 48)

Didaktisch (стр. 271). Впервые — БП, т. II, стр. 395. Печатается по автографу ЛБ.

Стансы Пушкина. 1826 (стр. 272). Впервые — «Голос минувшего», 1913, № 2, стр. 230. Беловой автограф — ЛБ, черновой — ЦГАЛИ. В июле 1857 г. вышел в свет седьмой том Сочинений Пушкина в издании П. В. Анненкова. В нем впервые было напечатано стихотворение Пушкина «Стансы» («Нет, я не льстец, когда царю»). Анненков комментировал это стихотворение как патриотическое продолжение «Стансов» 1826 г. («В надежде славы и добра»). Против этого и возражает Огарев Стихотворение Пушкина, особенно в трех последних строфах, выражало либеральную программу — конституционное ограничение самодержавной власти, развитие народного просвещения и гражданское значение литературы; все это в 1850—1860-х гг. было не понято и было неприемлемо для нового поколения революционных деятелей. Впоследствии, в предисловии к сб. «Русская потаенная литература XIX столетия» (Лондон, 1861, стр. LV—LX) Огарев существенно пересмотрел свое отношение к политической лирике Пушкина. Эпиграф взят из «Резиньяции» Шиллера. *Как ни отличен стих и слог, | Как ни прекрасны выраженья.* — Анненков в названном примечании писал о глубине, изобразительности и сосредоточенном чувстве Пушкина в этом стихотворении.

Осенью (стр. 273). Впервые — ПЗ на 1858 г., стр. 308. Печатается по Лонд. изд., стр. 406. Беловой и черновой автографы — в ЛБ.

У моря («Дождь и холод! А ты все сидишь на скале») (стр. 273). Впервые — ПЗ на 1858 г., стр. 320—321. Печатается по Лонд. изд., стр. 397—398. Автограф — в ЛБ.

Изабелла (стр. 274). Впервые — РМ, 1902, № 5, стр. 172—173. Печатается по беловому автографу ЛБ (черновик — там же).

«Мне снилося, что я в гробу лежу» (стр. 275). Впервые — ПЗ на 1859 г., стр. 296—298. Автограф первых 56 строк — в ИРЛИ, другой автограф (76 строк) — в ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 40). *Ты — женщина! Вы — дети-малолетки!* — речь идет о Н. А. Тучковой и детях Герцена — Тате (Наталье) и Ольге. *И ты, о друг, товарищ верный мой* — т. е. Герцен. *Старик-поляк — муж чистый, благородный, в страданиях недавно кончил век.* — Польский эмигрант-революционер С. Ворцель умер 3 февраля 1857 г. (см. сти-

хотворение «<Ворцель>»). Таким образом, устанавливается время, не раньше которого написано стихотворение.

Напутствие (стр. 277). Впервые — Лонд. изд., стр. 409. Печатается по тексту выпущенной С. Г. Нечаевым в Женеве в 1869 г. одноименной листовки. Перепечатано ЛН, № 61, 1953, стр. 592—593. Здесь текст стихотворения отличен от Лонд. изд. лишь в рифмах 14-й и 16-й строк: ранее было «дикой» и «великой» — изменение, очевидно, произведенное самим Огаревым, жившим в это время в Женеве и связанным с Нечаевым. Беловой и два черновых автографа — в ЛБ. В тексте листовки снято указание на источник эпиграфа — евангелие, — которое было в Лонд. изд. В прозаическом тексте, предшествующем стихотворному, разъясняется, что немудрыми называются крестьяне и мещане. Огарев призывает немудрых сплотиться и совместно с солдатскою массою и передовою молодежью поднять восстание против самодержавия. В литературе отмечалось, что стихотворение использует форму пушкинского «Пророка», особенно его последнюю строфу (Черн., стр. 333).

* Мертвому другу (стр. 278). Впервые — ПЗ на 1858 г., стр. 128 (в составе «Былого и дум» Герцена). Печатается по Лонд. изд., стр. 386. Черновой и беловой автографы — в ЛБ и беловой — в ЦГАЛИ. В ПЗ и в рукописи эпиграф:

Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное, как ласка,
И дружба с ним мне памятна, как сказка...

зачеркнут рукою Герцена и им же сделана следующая надпись: «Грановский не был гоним. Перед его взглядом печального укора остановилась николаевская опричнина; он умер окруженный любовью своего поколения, сочувствием всей образованной России, признанием своих врагов. Но тем не менее я удерживаю мое выраженье, да он...» <не окончено или не сохранилось дальше>.

Стихотворение посвящено Грановскому. *Тимофей Николаевич Грановский* (1813 — 4 октября 1855 г.) — один из ближайших друзей Огарева и Герцена в начале 1840-х гг. Огарев посвятил Грановскому 8 стихотворений; в них нашли себе последовательное выражение все этапы их сложной дружбы (см. вступ. статью к наст. изд. 9).

Весною (стр. 280). Печатается по Лонд. изд., стр. 411, где было опубликовано впервые.

«И я тебя сегодня не видал» (стр. 281). Впервые — Герш., т. I, стр. 365—366 и 367 (двумя отдельными стихотворениями с неправильным расположением частей; то же — БП, т. I, стр. 221—222). Печатается по автографу ЛБ. Датируется предположительно. Стихотворение обращено к Мери Сэтерленд — «англичанке простого званья», с которой Огарев сошелся в 1858 г. В 1865 г. они поселились вместе; Мери Сэтерленд до конца жизни Огарева принимала самое близкое участие в заботах о его быте и здоровье.

Бабушка (стр. 282). Впервые — ПЗ на 1859 г., стр. 289. Автограф ИРЛИ. Стихотворение имеет в виду мать П. Б. Огарева, скончавшуюся около 1828 г. (см. «Былое и думы», ч. 1, гл. IV). Вероятно, ее же Огарев имеет в виду во второй части «Юмора»:

Старушка бабушка моя,
На кресло опершись, стояла
и т. д...

Ср. еще в «Моей исповеди» и в «Записках русского помещика»: «Помню бабушку большого роста и бабушку маленького роста<...> Одна бабушка постоянно ездила по монастырям и задавала обеды архиереям» («Былое», 1925, № 27—28, стр. 16, или ЛН, № 61, 1953, стр. 677).

«Твое письмо меня нашло» (стр. 282). Впервые — «Газета А. Гатцука», 1879, № 6, стр. 90 (подпись «Старый поэт»). Печатается по автографу ИРЛИ. Стихотворение написано Огаревым на правой половине оборота 11-го листа рукописи поэмы «Матвей Радаев». Датируется временем работы над этой поэмой, т. е. 1857—1858 гг. В первой публикации стихотворение было введено в текст второй главы поэмы с произвольным заглавием — «Письмо». В отдельном издании мемуаров Т. П. Пассек (Из дальних лет. Воспоминания, т. III. СПб., 1889, стр. 64, или изд. 2-е, т. III. СПб., 1906, стр. 61) выделено в отдельное стихотворение со столь же произвольным заглавием — «Письмо к Вареньке» (может быть, по связи с Варенькой, персонажем «Радаева»?).[1] Так же перепечатано у Герш., т. II, стр. 368—369 (после текста «Матвея Радаева»). В примечаниях Гершензон оговаривает, впрочем, измышления Пассек. В «Воспоминаниях» Пассек, напечатанных в ПЗ на 1881 г. (№ 3, стр. 66—67), текст стихотворения также неисправен: на этот раз он напечатан в виде письма к автору «Воспоминаний». «...Друг старый Таня! <следует текст стихотворения>. Письмо твое только что получил, прошедшее воскресло, и я взялся за перо». Более точна публикация PC (1886, № 11, стр. 482) — здесь стихотворение напечатано отдельно (вместо заглавия — три звездочки) с примечанием Т. П. Пассек, что «этот отрывок написан на поле одного из листков подлинной рукописи его поэмы: «Радаев». Таким образом, происхождение стихотворения не вполне ясно. Поскольку оно находится в составе получерновой рукописи «Матвея Радаева», естественнее всего думать, что отрывок должен был войти в состав этой поэмы. Однако поэма осталась незаконченной, и позднее Огарев превратил его в отдельное стихотворение, в частности использовав в качестве письма к Т. П. Пассек в ответ на

---

[1] Едва ли речь идет о племяннице Огарева — Варваре Сергеевне Плаутиной (дочери сестры Огарева Анны Платоновны). Об отношениях ее с Огаревым нет никаких сведений, кроме единственного письма к ней от начала мая 1873 или 1874 г. — ответа на неизвестное нам ее письмо к Огареву (см. «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», 1930, стр. 99).

какое-то ее письмо (ср. «Твое письмо меня нашло», «Но на меня письмо твое»).

Первого слова 3-й снизу строки нашего текста в рукописи нет: сохраняем весьма правдоподобную конъектуру Т. П. Пассек. 7-я строка с начала во всех публикациях ошибочно читается: «непроглотаемой» вместо «непроглотимою». Кроме того, во всех публикациях (кроме РС) стихотворение имеет еще 2 лишних заключительных стиха, не относящихся к письму:

С тем мягким воздухом весны,
Где мирно слиты жизнь и сны.

Происхождение этих двух строк таково: они находятся в тексте «Радаева» в начале 11-го листа. Печатая стихотворение, Т. П. Пассек неправильно перевернула страницу (с л. 11 об. на 11) и, таким образом, прочла 2 первых строки 11-го листа. На этом она произвольно закончила текст стихотворения.

«По краям дороги» (стр. 283). Впервые — Герш., т. I, стр. 317—318. Печатается по автографу ЛБ. Два черновика там же. Датируется предположительно.

Женщине-медику (стр. 284). Впервые — РМ, 1902, № 3, стр. 8, и одновременно по тексту альбома Л. П. Шелгуновой («Литературный архив», издаваемый П. А. Картавовым. СПб., 1902, стр. 97). Печатается по этому последнему тексту. Автограф (более ранний) — в ЛБ. Стихотворение посвящено переводчице и общественной деятельнице Л. П. Шелгуновой (1832—1901), в воспоминаниях которой читаем: «Огарев, узнав, что я собираюсь учиться медицине и поступила уже в клинику, очень сочувственно отнесся к этому и написал даже мне стихотворение, которое прислал в Париж, куда мы проехали из Лондона» (Л. П. Шелгунова. Из далекого прошлого. СПб., 1901, стр. 91). Так как в Лондоне Шелгуновы были приблизительно с 10 февраля 1859 г., а стихотворение послано Огаревым после того в Париж, датируем его мартом-апрелем 1859 г. (Герцен, т. IX. Пг., 1919, стр. 528, и М. Л. Михайлов, Полное собрание стихотворений. М., 1934, стр. 52).

Воспоминания детства.

I (стр. 284). Впервые — Солд., стр. 59. Это и след. 6 стихотворений печатаются по тексту ПЗ на 1861 г., стр. 331—337: там были впервые опубликованы 3—7 стихотворения. Помещаем весь цикл в начало второй половины 1859 г.: к августу этого года были написаны пять из семи стихотворений и была произведена самая циклизация. Автографы всех семи стихотворений — в ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43а).

II (стр. 285). Впервые — ПЗ на 1858 г., стр. 107 (заглавие — «Воспоминание»). Беловой и два черновых автографа — в ЛБ.

III (стр. 285). Автограф — в ЛБ. Это, два следующих и последнее стихотворение датируются примерно концом июля — началом августа 1859 г.

IV (стр. 286). Возможно, что в стихотворении речь идет об

отношениях Огарева и М. П. Наумовой (см. прим. к стих. «К подъезду! Сильно на звонок рванул я», стр. 807).

V (стр. 286). Автограф — в ЛБ. Предположение, что в стихотворении описан известный эпизод юношеской клятвы Герцена и Огарева на Воробьевых горах в 1826 или 1827 г., необоснованно. Не говоря уже о несходстве в описании наружности, Огарев не мог писать о Герцене: «Не знаю, жив ли он». Другая деталь — «Расстались мы детьми» — также не соответствует действительности: в 1846 г., когда Огарев и Герцен расстались на 10 лет, им было 33 и 34 года! Очевидно, что в стихотворении идет речь о каком-то ином, пока не установленном лице (указано Б. М. Эйхенбаумом. Ср. БП, т. I, стр. 401—402, и Избр. произв., т. I, стр. 463).

VI (стр. 287). Датировано предположительно.

VII (стр. 287). Автограф — в ЛБ. В строке 2-й исправлена опечатка: «слышно» вместо «слышны».

Юноше (стр. 288). Впервые — ПЗ на 1869 г., стр. 173—174. В автографе ЛБ есть еще одна, предпоследняя строфа, не включенная в текст ПЗ:

Но если ты воротишься домой,
Как крепкий муж, в цветущей, полной силе,
И старика меня найдешь в могиле, —
То соверши ты тризну надо мной,
За пенистым вином припомнив снова
Мою любовь и праведное слово.

Стихотворение представляет собою использование шекспировской формы напутствия (Полония Лаэрту в «Гамлете», д. I, сц. 3). В иных исторических условиях напутствие переосмыслено и обращено к молодежи, которую Огарев призывает к борьбе и подвигам.

«Осенний день был сер и сыр» (стр. 289). Впервые — РМ, 1902, № 5, стр. 170. Печатается по автографу ЛБ.

«Все превосходное» (стр. 289). Впервые — РМ, 1902, № 5. стр. 170—171. Печатается по автографу ЛБ; автограф Огаревым зачеркнут.

«Свисти ты, о ветер, с бессонною силой» (стр. 290). Впервые — РМ, 1902, № 3, стр. 5. Печатается по черновому автографу ЛБ.

Памяти Рылеева (стр. 290). Печатается по тексту посвящения к «Думам» К. Ф. Рылеева. Лондон, 1860, стр. V—VI, где было опубликовано впервые. Черновой автограф — в ЛБ. Это стихотворение Огарева прочно вошло в репертуар русской революционной поэзии и многократно переписывалось и перепечатывалось. Имя Рылеева должно быть названо в числе политических и поэтических учителей Огарева, много сделавшего для популяризации его запретного в России имени. *Пять повешенных людей* — декабристы. *Брон-*

зовые кони и Николая и Петра — памятники Николаю I и Петру I в Петербурге на Исаакиевской и Сенатской (Петровской) площадях.

Дедушка (стр. 291). Впервые — РМ, 1902, № 4, стр. 173. Печатается по черновому автографу ЛБ.

Ночью (стр. 292). Впервые неточно — РМ, 1902, № 3, стр. 5, и исправнее — Герш., т. I, стр. 321. Печатается по беловому автографу ЛБ (два черновика — там же).

Кладбище (стр. 292). Впервые — РМ, 1902, № 3, стр. 57. Печатается по беловому автографу ЛБ (два черновика — там же; один в отрывке).

«Вырос город на болоте» (стр. 294). Впервые — «Красный декабрь». Л., 1926, стр. 218. Печатается по автографу ЛБ.

Тайна (стр. 295). Печатается по тексту ПЗ на 1859 г., стр. 285—286, где было опубликовано впервые. Автограф — в ИРЛИ. Конец цитаты из «Гамлета» Шекспира (в эпиграфе) у Огарева сокращен и неточен. В подлиннике: «This not to do | So grace and mercy at gour most need help you. | Swear!» (Вот в чем клянитесь, и да будет бог ей | На помощь вам. Пер. Б. Пастернака. Д. 1, сц. 5).

Возвращение (стр. 297). Впервые — ПЗ на 1869 г., стр. 287—288. Печатается по автографу ИРЛИ.

Лизе (стр. 298). Впервые — БП, т. I, стр. 234—235. Печатается по автографу ЛБ. Другой автограф — в ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43а). *Лиза* — дочь Герцена и Н. А. Тучковой (р. 4 сентября 1858, кончила жизнь самоубийством в декабре 1875). Официально считалась дочерью Огарева, которого называла отцом; отца же звала дядей. В мае 1859 г. Н. А. Тучкова-Огарева, не выдержав тяжелой семейной обстановки, уехала из Лондона на континент с Лизой. Она прожила семь месяцев в Дрездене, Гейдельберге, Франкфурте, Меце, Лозанне, Берне и Женеве и, после примирения с Герценом и Огаревым, возвратилась в Лондон в конце декабря того же года. Вероятно, именно к этому времени (примерно к маю 1860) относится письмо Огарева к Герцену, в котором читаем. «Это чувство отца я перенес со всей возможной нежностью<...> на Лизу. И ее от меня отняли. Чорт знает, что это такое<...> Я боюсь, что моя любовь к Лизе примет фантастически-романтические размеры. Страдание по ней подстрекается препятствиями. Она становится для меня idée-fixe, и мне надо работать над собой, чтоб оторваться от тоски по ней и быть способным на это» (РП, т. IV. М., 1917, стр. 228, 230). О последующей трагической судьбе Лизы см. в «Архиве Н. А. и Н. П. Огаревых», 1930, стр. 129—247.

Музыканту (стр. 300). Печатается по тексту ПЗ на 1869 г., стр. 172, где было опубликовано впервые. Черновой автограф — в ЛБ. Датируем стихотворение предположительно 1860 г. По

крайней мере, на обороте л. 3-го, где записан черновик публикуемого стихотворения, находится текст стихотворения «Лизе», относящийся приблизительно к маю 1860 г.

«Среди сухого повторенья» (стр. 300). Впервые — Герш., т. I, стр. 368. Печатается по беловому автографу ЛБ; два черновика — там же. Слова, заключенные в тексте в скобки, зачеркнуты карандашом, но не заменены другими.

«Она со мной добра» (стр. 301). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 628—629. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770 оп. 1, № 43а, л. 6). Датируется предположительно по положению автографа. Обращено, очевидно, к Мери Сэтерленд.

Рудольфов трапп (стр. 301). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 629—630; факсимиле первых строк автографа там же, стр. 629. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43а, л. 30). *Рудольф* — музыкант, живший в 1840-х гг. в Москве, один из прототипов «Альберта» Л. Н. Толстого (1857—1858). Стихотворение посвящено Огаревым именно Л. Н. Толстому, с которым его объединяли общие музыкальные интересы. Подробности отношений Огарева с Рудольфом неизвестны. Датируется 1861 г. — временем посещения Толстым Лондона и знакомства с Герценом и Огаревым.

«И если б мне пришлось прожить еще года» (стр. 303). Печатается по тексту ПЗ на 1861 г., стр. 345, где было опубликовано впервые. Стихотворение представляет собою вставку в прозаический отрывок «Кавказские воды» *Изгнанников иных, тех первенцев свободы.* — Речь идет о декабристах, которым посвящено стихотворение. *Муж по твердости и нежный, как ребенок* — А. И. Одоевский.

Михайлову (стр. 304). Печатается по тексту «Колокола», 1862, 3(15) января, прибавление к л. 119—120, стр. 1001—1002. Автографы — в ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43а) и ЦГАЛИ (с вариантами в 1-й, 2-й и 6-й строках 2-й строфы). Вторая часть стихотворения — «Закован в железы, с тяжелою цепью» — неоднократно перепечатывалась и прочно вошла в репертуар русской революционной песни. *Михаил Ларионович Михайлов* (1829—1865) — поэт, беллетрист и публицист, друг Н. Г. Чернышевского; во время пребывания за границей бывал и даже жил у Герцена в Лондоне. Арестован в 1861 г. за прокламацию «К молодому поколению» (написана им совместно с Н. В. Шелгуновым), отпечатанную в Вольной русской типографии. По свидетельству Н. В. Шелгунова, Герцен не одобрил прокламации «К молодому поколению» (см. Н. В. Шелгунов, Воспоминания. Пг., 1923, стр. 33—34 и 141. Ср. М. К. Лемке, Дело М. Л. Михайлова в книге «Политические процессы в России 1860-х гг.». Изд. 2-е, 1923, и «Собрание стихотворений» М. Михайлова. М., 1934). Михайлов был приговорен к лишению прав и ссылке в каторжные работы на 6 лет. Приговор был объявлен М. Л. Михайлову 14 декабря (!) 1861 г. Скончался Михайлов в Кадуе 4 августа 1865 г. Герцен и Огарев узнали о его кончине в конце

сентября 1865 г. (см. Герцен, т. XVIII. Пг., 1920, стр. 223. Ср. некролог в «Колоколе», л. 205, от 19 сентября (1 октября) 1865 г. и заметки в л. 212 и 218). *Ведь ты из фрачных* — из гражданских (не военных). *Недавно брошен свежий труп | Бойца, носившего тулуп.* — Огарев имеет в виду крестьянина Антона Петрова. Он пытался внушить крестьянам сел. Бездны Спасского у. Казанской губ., что «Положение...» даровало крестьянам полную волю, которую помещики от них скрывают. Начавшиеся крестьянские беспорядки были с необычайной жестокостью подавлены вызванными войсками: расстреляно на месте несколько десятков человек. Петрова арестовали и предали военно-полевому суду, исход которого был предопределен телеграммой министра внутренних дел Ланского казанскому губернатору: «Высочайше повелено Антона Петрова судить по полевому уголовному уложению и привести приговор в исполнение немедленно» 17 апреля 1861 г. Петров был расстрелян. Об этом эпизоде и отклике Герцена см. В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 14.

Отрывки (стр. 306). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 630—631. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43а, л. 1—4). Датируется предположительно по положению в записной книжке. Стихотворение написано под влиянием тяжелых отношений с Н. А. Тучковой-Огаревой в это время.

«С какой тревогой ожиданья» (стр. 307). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 628. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43а, л. 5). Датируется предположительно по месту автографа.

«Блеснуло утро мне в окно» (стр. 307). Впервые — Герш., т. I, стр. 370. Печатается по автографу ИРЛИ. Датируется предположительно.

Бал (стр. 308). Впервые неточно — Избр. произв., т. I, стр. 361—362. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43а, л. 24). 2-я строфа в рукописи зачеркнута.

У моря (стр. 310). Печатается по тексту ПЗ на 1869 г., стр. 176, где было напечатано впервые (с датой под текстом). Автографы (беловой и черновой) — в ЛБ.

Вихрь (стр. 310). Печатается по тексту ПЗ на 1869 г., стр. 175, где было напечатано впервые. Автографы (беловой и черновой) — в ЛБ.

Тате Г<ерцен> (стр. 311). Впервые — Герш., т. I, стр. 332—333. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43б, л. 54). Стихотворение написано на отъезд дочерей Герцена Натальи и Ольги из Лондона в Италию в 1862 г. Не выдержав обстановки, созданной истеричной и раздражительной Н. А. Тучковой-Огаревой, они, с согласия и одобрения отца, решили жить отдельно. Герцен напутствовал отъезд детей большим и трогательным письмом от 5—10 декабря, врученным им 12 декабря в Лондоне при

прощании. «Я хотел, чтобы вступая в Италию, в новый отдел жизни, ты посетила нашу могилу <Н. А. Герцен>, чтобы ты привела туда Ольгу и вместе с благоговением поклонилась земле, под которой схоронена ваша мать, цветам, растущим на ней <...> Прощайте, Тата и Ольга: именем своим и именем покойной матери благословляю вас на ваш путь <...> Буду с трепетным сердцем ждать вестей, буду думать об вас, и да будет жизнь ваша в Италии полна кротости, мира и гармонии и проникнута серьезной любовью к искусству» (Герцен, т. XXI. Пг., 1923, стр. 564). *Ты едешь в светлый край, где умерла она.* — Н. А. Герцен (Захарьина) скончалась в 1852 г. и похоронена в Ницце. *В искусстве ты найдешь спасение свое.* — Тата Герцен занималась живописью.

Развратные мысли (стр. 311). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 632—633. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. I, № 43а, л. 22). Датируется предположительно.

O, lacrymarum fons!.. (стр. 312). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 632. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43а, л. 28—29). Заглавие — из латинского четверостишия английского поэта Томаса Грея (1716—1771); оно было использовано Тютчевым в качестве эпиграфа к стихотворению «Слезы» (1828) и Байроном в стихотворении «The tear» (1806). Огарев мог взять его из одного из этих стихотворений.

Настоящее и думы (стр. 319). Отрывок — «О! Ради наших прошлых дней» впервые — РП, т. II. М., 1916, стр. 174—177; полностью по черновому автографу ЦГАОР — ЛН, № 61, 1953, стр. 636—646 (факсимиле предисловия — там же, стр. 637). Печатается по указанному автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, 43б, л. 56—58. Последняя строка первого письма недоделана: 5-я строка — без рифмы, строки 6—8 — три рифмы подряд, в строке 8-й — восемь стоп). Датируется январем 1863г. — временем болезни Лизы, дочери Герцена от Н. А. Тучковой-Огаревой. Заглавие стихотворения имеет в виду, конечно, «Былое и думы» Герцена. *Две девочки забудут кров родной* — Наталья и Ольга Герцен. *Нарушены пред урной гробовой | Тобою данные обеты.* — Н. А. Тучкова-Огарева поклялась заменить мать детям Герцена после смерти Н. А. Герцен (Захарьиной). *Тревога дикая волчицы* — волчицей Н. А. Тучкова-Огарева названа и в памфлетном романе Н. А. Таль (Н. И. Утиной) «Жизнь за жизнь». ВЕ, 1885, № 4—6.

«Береза в моем стародавнем саду» (стр. 319). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 641—642. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43б, л. 84 об.). Датируется по положению в тетради.

Картины из странствия по Англии (стр. 319). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 634. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43б, л. 90). Датируется 1863 г. — временем жизни в Ричмонде. Судя по поставленной в начале цифре «1», Огаревым был задуман целый цикл, который остался, однако,

неосуществленным, кроме, может быть, относящегося сюда же стихотворения «Мчатся кони вороные» (ср. ЛН, № 61, 1953, стр. 656).

Сим победиши (стр. 320). Печатается по «Колоколу», 1863, 20 октября (1 ноября), л. 172, стр. 1413. Автографы (черновой и перебеленный) — в ЛБ. Статья, ответом на которую является настоящее стихотворение, напечатана в л. 171 «Колокола» от 19 сентября (1 октября) 1863 г. под заглавием «Братское слово. По поводу заявления московских и харьковских студентов». Статья была вызвана верноподданническим адресом, поданным Александру II от имени московских студентов в связи с польским восстанием. Подпись под статьею: «Один из многих». Заметка была послана из России в августе, но не поспела к сентябрьскому листу (см. прим. редакции «Колокола» на стр. 1406). Таким образом, ответ Огарева датируется сентябрем — октябрем 1863 г. Стихотворение было в рукописи послано Н. И. Утину, который в ответном письме от 8 октября предложил некоторые изменения; все они были приняты Огаревым (см. ЛН, № 62, 1955, стр. 625—626). Последняя строфа стихотворения была в качестве отдельного произведения Огарева приведена М. Н. Слепцовой в ее воспоминаниях «Штурманы грядущей бури» в сб. «Звенья» (вып. II. М., 1933, стр. 391) по записи, сделанной ею в 1895 г. со слов мужа — землевольца А. А. Слепцова. Текст публикации М. Н. Слепцовой, кроме одного слова, совпадает с текстом «Колокола». По словам автора воспоминаний, стихотворение было обращено к А. А. Слепцову (последний был в Лондоне дважды: летом 1860 и в январе 1863). Тем не менее мы не считаем возможным признать статью «Братское слово» принадлежащей А. А. Слепцову. Подписанная псевдонимом «Один из многих», она развивает мысли, чуждые центру «Земли и воли», насколько мы их знаем. Статья посвящена патриотическим заявлениям московских и харьковских студентов в связи с польским восстанием. Между тем в Москве землевольцы развили сравнительно слабую деятельность, и студенческие вопросы Москвы и Харькова не были в кругу их непосредственных интересов. Чуждо было «Земле и воле» — во всяком случае ее руководителям — и превознесение деятельности Зайчневского и Аргиропуло. *Один из многих* — повидимому москвич — несомненно поддерживал с «Колоколом» постоянную связь.[1] К нему обращены письма Огарева в л. 189—190 и 196 «Колокола». Трудно, однако, допустить, чтобы с 1864—1865 гг., уже после самоликвидации «Земли и воли» и начавшихся арестов отдельных ее работников, Огарев поддерживал с землевольцами настолько активную связь, что адресовал бы к ним или к одному из них свои статьи; еще меньше оснований думать, что в эти годы Слепцов, со своей стороны, поддерживал с «Колоколом» какую бы то ни было

[1] Ср. в письме Огарева к И. П. Воронцову от 18 января 1865 г.: «Все, что у меня теснится в мозгу по этой задаче, я скажу вам в мартовском номере в 3-м письме к одному из многих. Не знаю, этот один согласен со мной или нет, но этот взгляд следует выразить в непродолжительном времени» (см. публикацию Б. П. Козьмина «Неопубликованные письма Н. П. Огарева». «Красный архив», т. XXXVIII, 1930, стр. 174).

связь (он делал уже в это время служебную карьеру по II отделению собственной его имп. величества канцелярии). К кому обращено стихотворение Огарева, остается, таким образом, пока не установленным.

Мысли россиянина при чтении указа... (стр. 321). Печатается по тексту газеты «Общее вече», 1863, 3 (15) апреля, № 14, стр. 69—70, где было опубликовано впервые (с подписью — «Фирс Холмогоров»). Перепечатано с обоснованием авторства Огарева — ЛН, № 61, 1953, стр. 582—585 и 595—596. В 1869 г. стихотворение в сокращенном виде, приспособленном для целей агитации, вошло в «Вольный песенник», в вып. II. Женева, 1869. В стихотворении нашла свое выражение неудовлетворенность Огарева крестьянской реформой 1861 г. Желая приостановить участие крестьян западных губерний в польском восстании 1863 г. и привлечь их на свою сторону, правительство пошло, раньше предусмотренного срока, на ликвидацию в четырех западных губерниях «обязательных отношений крестьян к помещикам». *Испугавшись ляха* — т. е. польского восстания 1863 г. *В прусские объятия* — сближение России и Германии в конце 1860-х гг. *Я, люди добрые, именинник бываю 14 декабря* — т. е. чту день восстания декабристов.

Exil (стр. 325). Впервые — Герш., т. I, стр. 334—335. Печатается по беловому автографу ЛБ (черновик — там же). Стихи 15—18—автоцитата из стихотворения «К <М. Л. Огаревой>», посвященного расставанию с М. Л. Огаревой (см. стр. 175).

Призрак (стр. 326). Впервые — РМ, 1902, № 5, стр. 171—172. Печатается по беловому автографу ЛБ (два черновых — там же; один в отрывке).

«Мчатся кони вороные» (стр. 327). Первые 6 строф впервые, в качестве самостоятельного стихотворения, — Герш., т. I, стр. 340—341; 5 следующих строф, также в качестве отдельного стихотворения, впервые — БП, т. I, стр. 398. Автограф — в ЛБ. Необходимость объединения двух частей в одно стихотворение указана в статье Я. З. Черняка «Фонд Н. П. Огарева» — «Записки отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. XII. М., 1951, стр. 61—63. Стихотворение осталось незаконченным или конец его до нас не дошел.

«Жил на свете русский царь» (стр. 329). Печатается по тексту сб. «Свободные русские песни». Берн, 1863, стр. 10—13, где было опубликовано впервые. Перепечатано «Вольный песенник», вып. II, Женева, 1869, стр. 10—13, и с обоснованием авторства Огарева — ЛН, № 61, 1953, стр. 586—588 и 596—597.

«Выпьем, что ли, Ваня» (стр. 330). Стихи 1—16 впервые — Герш., т. I, стр. 385; полнее (стихи 1—20) — БП, т. I, стр. 237, полностью — Черн., стр. 50. Печатается по автографу ЛБ. Сохраняя ту же форму и 1-ю строфу старого стихотворения «Кабак», Огарев дает новую разработку той же темы: условий жизни крестьянина-бедняка после ликвидации крепостного права.

«Бедный князь наследник» (стр. 331). Впервые — БП, т. II, стр. 395. Печатается по автографу ЛБ. *Князь наследник* — Николай, сын Александра II, скончавшийся в 1865 г. *Бабст твой проповедник.* — Либеральный экономист И. К. Бабст (1824 — 1881) с 1862 г. был преподавателем наследника. *Лист* — знаменитый венгерский пианист и композитор Ференц Лист (1811—1886).

«Мой русский стих, живое слово» (стр. 332). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 633—634, и факсимиле, стр. 633. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 41, л. 1). Датируется предположительно 1862—1864 гг. Обращено к Мери Сэтерленд. Неотделанное 7-е четверостишие печатается в редакции, данной в публикации ЛН.

Раздумье («Дикие страсти, звериная доля») (стр. 333). Впервые — Герш., т. I, стр. 392—393. Печатается по автографу ЛБ. Тема этого стихотворения неоднократно повторяется Огаревым. Ср. «На улице», «Муха в моей комнате», «Длинная дорога», «Die Geschichte» и др.

Scherzo (стр. 333). Впервые — Герш., т. I, стр. 346. Печатается по автографу ЛБ. *Скерцо* — музыкальное произведение живого, игривого характера, с четким ритмом.

Il giorno di Dante (стр. 333). Впервые — Герш., т. I, стр. 345 (по черновику ЛБ). Печатается по тексту письма А. И. Герцена к сыну А. А. Герцену от 15 мая 1865 г. (опубликовано М. К. Лемке по подлиннику архива семьи Герцен — Герцен, т. XVIII. Пг., 1920, стр. 93). Публикуя стихотворение, М. О. Гершензон высказал предположение, что оно написано в 1865 г., в связи с 600-летней годовщиной со дня рождения Данте (т. I, стр. 409). Публикация М. К. Лемке это предположение окончательно утверждает. Выбираем для нашего издания текст письма Герцена в предположении, что он является окончательной редакцией по сравнению с текстом Герш., записанным в записной книжке и не вполне доработанным.

Из письма Герцена узнаем ряд подробностей, касающихся истории стихотворения: «Редакция «Gioventù» адресовалась к Огареву, прося русских стихов для Данте. Огарев взял да и написал. <Следует ряд поручений о связи с редакцией «Gioventù» — передачи им копии стихов и пр. Кроме того> Огар<ев> перевел стихи эти на франц<узскую> прозу; если бы ты и Бакунин умели смастерить прав<ильный> перевод, выправленный (тоже в прозе), было бы лучше» (Герцен, т. XVIII. Пг., 1920, стр. 92—93. Газету «Gioventù» нам обнаружить не удалось. На основании письма Огарева редактору «Gioventù» (ЛН, № 61, 1953, стр. 906—907) стихотворение можно довольно точно датировать 12—15 мая 1865 г.

Моцарт (стр. 334). Впервые — Герш., т. I, стр. 363—364. Печатается по автографу ЛБ. Написано, вероятно, в Женеве, в середине 1860-х гг. Строки ... *умел он забавляться | Дурного скрипача и слушать и смеяться* имеют в виду соответствующую сцену в «Моцарте и Сальери» Пушкина.

Предисловие к неизданному и недоконченному (стр. 335). Впервые — ПЗ на 1869 г., стр. 178. Автографы — черновой и беловой — в ЛБ. Дата — на беловом.

Осужденному (стр. 335). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 642—643, и факсимиле — там же, стр. 643. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 44, л. 4—5) Датируется апрелем 1866 г. — временем покушения Д. В. Каракозова на Александра II. В стихотворении была еще одна (первоначально третья) строфа:

Бестрепетный юноша думал спасти
Народ, отпущенный так скудно на волю,
Что должен за свой же участок нести
В уплату свою же последнюю долю.

Эта строфа не понравилась Герцену, В. Ф. Лугинину и Н. А. Огаревой (см. Герцен, т. XIX. Пг., 1922, стр. 46), и Огарев ее зачеркнул.

Надгробное (стр. 336). Печатается по сб. «Вольный песенник», вып. II, Женева, 1869, стр. 20—22, где было опубликовано впервые. Перепечатано с обоснованием авторства Огарева в ЛН, № 61, 1953, стр. 589 и 598. Автограф —в ЦГАОР. *Накануне царских именин* — стихотворение написано на смерть палача М. Н. Муравьева-Вешателя, скончавшегося в ночь с 28 на 29 августа 1866 г., накануне именин царя. *Есть Андрей с брильянтами* — орден Андрея Первозванного был пожалован Муравьеву в день смерти.

Натали (стр. 337). Впервые — «Литературная мысль», вып. I. Пг., 1922, стр. 232. Печатается по автографу ЛБ. Другой автограф в ЦГАЛИ с заглавием (обращением) — «Натали». Сохранилась только левая сторона перечеркнутого листка. Датируется на основании письма Огарева к Герцену от 10 февраля 1867 г. (ЛН, № 39—40, 1941, стр. 432). Обращено к Н. А. Тучковой-Огаревой по поводу болезни Лизы Герцен.

До свиданья (стр. 337). Печатается по «Колоколу», 1867, 19 июня (1 июля) л. 244—245, стр 1992. Автограф — в Пражской коллекции ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 42). Этим стихотворением заключалось издание «Колокола» перед перерывом до 1 января 1868 г. Стихотворение стоит в непосредственной связи с «Предисловием к «Колоколу», открывавшим первый лист его за десять лет до того. Ряд выражений и строк настоящего стихотворения — перифразы «Предисловия» (ср. стихи 7-й, 8-й, 17-й, 18-й, 20—24-й).

«Возвышенный дом на верху крутизны» (стр. 338). Впервые— ЛН, № 39—40, 1941, стр. 467—468. Печатается по автографу ЛБ — письму к Герцену от 2 сентября 1867 г. Другой автограф — в Пражской коллекции в ЦГАОР. Перед стихами Огаревым написано: «Стихи. (Заглавия не придумал)». В письме Герцена к Огареву от 5 сентября читаем отзыв об этом стихотворении: «Тема твоей баллады больно допотопна. От «Бедной Лизы» Карамз<ина> до Ниобы и Шарлотты она была высказана во всех формах. Но это не резон, и все вместе недурно» (Герцен, т. XX. Пг., 1923, стр. 2).

«Надежды падают, и рушатся мечты» (стр. 339). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 643—644. Печатается по автографу ЦГАЛИ с датой: «10 ноября 1867 г.». Черновой автограф — в ЦГАОР. Тема стихотворения — план Н. А. Тучковой-Огаревой уехать в Россию вместе с Лизой Герцен.

Наташе (стр. 339). Печатается по РП, т. II. М., 1916, стр. 177—178, где было опубликовано впервые. Рукопись (по описанию М. О. Гершензона) — была вклеена Н. А. Тучковой-Огаревой в ее дневник (записи между 5 и 11 1867). Местонахождение автографа в настоящее время неизвестно. Датируем стихотворение ноябрем 1867 г. по положению в дневнике Н. А. Тучковой, в предположении, что стихотворение вклеено в дневник вскоре по получении, а написано, в свою очередь, незадолго до того. *Люби меня, люби его* — т. е. Герцена. *Ты наш союз благослови* — быть может, имеется в виду связь Огарева с Мери Сэтерленд (с 1865 г. Огарев окончательно поселился вместе с ней в Женеве).

De mortuis aut nihil aut bene (стр. 340). Впервые — ВЕ, 1907, № 5, стр. 275 — письмо к Герцену от 20 декабря 1867 (1 января 1868). Автограф — в ЛБ и в Пражской коллекции ЦГАОР. Стихотворение вызвано смертью *Виктора Ивановича Касаткина* (р. ок. 1831 — ум. 10 декабря 1867), сотрудника «Библиографических записок» и других изданий, участника нелегальных московских кружков. Замешанный в процессе «32-х», он в июне 1862 г. отказался возвратиться в Россию и стал эмигрантом. Ссора Огарева с Касаткиным произошла в 1866 г. — по крайней мере в 1865 г,. судя по письмам Герцена к Огареву, некоторые отношения еще сохранялись (см. Герцен, т. XIX. Пг., 1922, стр. 181). Причина ссоры нам неизвестна. Вероятнее всего, она произошла из-за мелочного характера Касаткина, о котором свидетельствуют современники.

Предисловие (стр. 341). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 644. Реконструкция текста чернового автографа принадлежит Я. З. Черняку. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 44, л. 2). Датируется предположительно, на основании указаний ЛН—1866—1867 гг. — временем подготовки реформы гимназий. *Немецким критикам на зло* — т. е. представителям теории «чистого» искусства (напр., так наз. мюнхенской школы). *Георгики* — стихотворения римского поэта Вергилия (70—19 до н. э.), воспевающие земледелие.

«Пора, пора детей других» (стр. 342). Печатается по автографу Амстердамской коллекции Академии наук СССР — письму к А. А. Герцену от 1 (13) июля 1868 г. Черновой автограф (с некоторыми отличиями) в Пражской коллекции ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 44, л. 109 — опубликован в ЛН, № 61, 1953, стр. 657).

Студент (стр. 342). Печатается по тексту изданной в 1869 г. в типографии Л. Чернецкого листовки, где было опублико-

вано впервые. Стихотворение имеет длинную и примечательную историю. Написанное, повидимому, в 1868 г., оно было Огаревым посвящено памяти скончавшегося 24 декабря 1866 г. приятеля *Сергея Ивановича Астракова* (этот подзаголовок мы и восстанавливаем). Перепечатывая стихотворение в 1896 г., М. Драгоманов имел перед собою его оригинал с посвящением С. И. Астракову. Однако на оригинале стихотворения Бакунин написал: «Великолепно, а лучше бы, полезнее для дела (разрядка Бакунина. — *С. Р.)* было бы, если бы, заместо памяти Астракова, ты посвятил это стихотворение молодому другу Нечаеву» («Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Женева, 1896, стр. 373). Огарев согласился с этим предложением, и стихотворение с посвящением «Молодому другу Нечаеву» было отпечатано в Женеве отдельными листами. С. Серебренников прямо утверждает, что Нечаев находит «у Огарева заброшенное стихотворение, подправляет последнее прилично случаю, что Нечаев погиб на каторге после ужасных пыток, печатает это стихотворение с именем Огарева и пускает в свет как средство агитации» («Брошюра о Нечаеве» — см. «Каторга и ссылка», 1934, № 3, стр. 36).

Любопытно, что В. Д. Спасович в речи по нечаевскому делу (он был защитником Алексея Кузнецова) интерпретирует это стихотворение как посвященное Огаревым именно Нечаеву. Впрочем, он склонен был отрицать авторство Огарева («...стихи эти до такой степени слабы и плохи<...> они скорее суздальское изделие, отпечатанное подпольно <...> в Москве, СПбурге<...>» и т. д.). См. «Правительственный вестник», 1871, № 156 и след., или В. Д. Спасович, Сочинения, т. V. СПб., 1913, стр. 144. Не менее интересна и дальнейшая история стихотворения. Отдельное издание (листовка) с посвящением Нечаеву стало известно Достоевскому и было использовано им в «Бесах». В главе VI ч. 2 Петр Верховенский читает стихотворение «Светлая личность» — очень тонкую пародию огаревского «Студента». Тексту стихотворения в романе Достоевского сопутствует ряд намеков о «прокламации, очевидно, заграничной печати», о «светлой личности» и о некоем «студенте». Текст «Светлой личности», так же как и текст «Студента», неожиданно оказался использованным революционерами для своих целей, и это вызвало в конце 1874 г. обращение начальника III отделения Потапова к министру внутренних дел Тимашеву. Последний в своем ответе Потапову (16 декабря 1874) резонно замечал, «что на означенное стихотворение <Достоевского. — *С.Р.*> не было обращено цензурой особого внимания<...> потому что оно было напечатано в «Русском вестнике» не отдельно, — в каковом виде оно действительно не могло быть терпимо в русской печати, а помещено в романе «Бесы» как документ, характеризующий образ мыслей и приемы зловредных пропагандистов. В романе этом изображается, с обличительною, вполне похвальною и полезною целью, кружок революционных агитаторов в одном губернском городе, распространявших, между прочим, возмутительные листки, и приведен как образчик один из таких листков заграничного издания, заключавший означенное стихотворение». См. статью Ю. Г. Оксмана «Судьба одной пародии Достоевского. «Красный архив», т. III, 1923, стр. 301—303. Это стихотворение Огарева было известно Марксу и

Энгельсу. См. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. IV. М., 1929, стр. 383.

Грановскому («Вспомнил я, товарищ») (стр. 343). Печатается по тексту ПЗ на 1869 г., стр. 177, где было опубликовано впервые. Автограф — в ЦГАОР.

Молитва русского чиновника богородице (стр. 343). Впервые — ЛН, № 39—40, стр. 536. Печатается по автографу ЛБ — в письме к Герцену от 17 марта 1869 г. В ответном письме Герцена от 20 марта читаем следующий отзыв: «Молитву получил. Конечно, смешно, но per ché <зачем — итал.>. Т. е. как Талейрана спрашивали: mais que gagnetu à cela?» <Но что ты от этого выиграешь? — франц.>. Нов будет старый напев, а мотив и пародия не новы. Мне кажется, это не наш род и не наш аж <возраст — франц.> (Герцен, т. XXI. Пг., 1923, стр. 329).

Мужичкам (стр. 344). Печатается по тексту анонимной листовки, выпущенной в 1869 г. (в Женеве?). Перепечатано с обоснованием авторства Огарева — ЛН, № 61, 1953, стр. 590 и 598 (фототипия — там же, стр. 587).

Встреча (стр. 345). Печатается по тексту анонимной листовки, выпущенной в 1869 г. (в Женеве?), где опубликовано впервые. Автограф — в ЦГАОР. Перепечатано с обоснованием авторства Огарева и датировки ЛН, № 61, 1953, стр. 590—592 (факсимиле л. 1 рукописи — там же, стр. 591).

Размышления русского унтер-офицера перед походом (стр. 346). Печатается по тексту листовки, отпечатанной в 1869 г. в Женеве в типографии Л. Чернецкого, где было опубликовано впервые. Экземпляр этой листовки находится в Москве в ЦГИА (2-й секр. архив, 1869—1870, № 85, л. 320). В донесении от 12 ч. дня 13 (25 октября) 1870 г. из Женевы заграничный агент III отделения К. А. Роман (Н. В. Постников), посылая названную листовку, писал: «Имею честь представить при сем один экземпляр стихов, написанных Огаревым, о которых я вас предупреждал. Они только что отпечатаны и на днях будут из типографии переданы Огареву <...> Стихи отпечатаны в количестве 1000 экз. <...> Я обязываюсь просить распоряжения по поводу сих стихов, как можно секретнее, чтобы не догадались здесь. А. Р.» (указ. дело, л. 319).

Царские указы (стр. 347). Печатается по сб. «Вольный песенник», вып. II, Женева, 1869, стр. 22—23, где было опубликовано впервые без подписи. Перепечатано с обоснованием авторства Огарева — ЛН, № 61, 1953, стр. 589 и 598. Форма лермонтовских стихотворений неоднократно использовалась Огаревым («Спи, потомок благородья» и др.).

С утра до ночи (стр. 348). I—IV. Впервые — Переселенков, стр. 229—230, 234—236. Третье стихотворение до того — Герш.,

т. I, стр. 352. Печатается по автографам ЛБ. Все 4 стихотворения выделены из незаконченного прозаического отрывка «С утра до ночи», 1872—1873 гг., в который Огарев включил стихи, относящиеся к 1869 г.

Современное («Вот и войны наступила невзгода») (стр. 350). Впервые — Переселенков, стр. 189. Печатается по черновому автографу ЛБ. На обороте неизвестной рукой: «Vieux manuscrits de choses en partie pubiées» («Старые рукописи, частично опубликованные»). Проверить это указание не удалось. Стихотворение написано в связи с франко-прусской войной 1870 г.

Памяти друга (стр. 351). Стихотворение дважды — оба раза неисправно — напечатано Т. П. Пассек в книге «Из дальних лет. Воспоминания», т. I. СПб., 1878, стр. 259, и ПЗ на 1881 г., № 5, стр. 135. В основу принят более исправный текст ПЗ. В стихе 5-м вместо «сердце лопнуло» принимаем чтение воспоминаний «замерло», как эстетически более вероятное, а фактически более точное. Стихотворение посвящено памяти Герцена, скончавшегося 9 (21) января 1870 г.

Картинка очевидца (стр. 351). Впервые не вполне точно — Герш., т. I, стр. 351, который слово «неутральном» в стихе 4-м читал как «неутешном», что менее вероятно (ср. Герш., т. I, стр. 410). Печатается по автографу ЛБ. *Генерал Шарль Бурбаки* — командующий несколькими соединенными корпусами французских войск — безуспешно пытался в конце декабря 1870 г. спасти положение Франции, но, оттесненный германскими войсками, 1 февраля 1871 г. вынужден был у Вериера перейти в Швейцарию, где и был интернирован. Очевидно, солдат этого корпуса и имеет в виду Огарев. Судя по словам «покончив войну» (стих 2-й), стихотворение написано не раньше начала марта 1871 г.

Песня русской няньки у постели барского ребенка (стр. 351). Впервые (с пропуском по цензурным причинам стихов 9—12 и 25—32) — Герш., т. I, стр. 385—386, полностью — БП, т. I, стр. 261—265. Печатается по автографу ЛБ. Другой автограф — ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 42, заглавие — «Песня барской няньки»). Я. З. Черняк сообщает, что стихотворение было в середине 1870 г. отпечатано в Петербурге в виде листовки (Чер., стр. 354); ср. ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 76, № 7309, 1878 г., упоминание листовки в числе вещественных доказательств по делу Лаговских. Колыбельная песня Лермонтова неоднократно была пародически использована и нередко с политическими заданиями: особенно известна напечатанная в 1846 г. пародия Некрасова. Мотивы пародии Огарева те же, что у Некрасова, но не связанный цензурными запретами текст значительно резче.

Дворянин (стр. 352). Впервые — Переселенков, стр. 187. Печатается по автографу ЛБ.

Памяти Л. Чернецкого (стр. 353). Печатается по тексту газеты «Свобода» (Сан-Франциско), 1872, 28 сентября, л. 2,

стр. 4, где было опубликовано впервые. Единственный в СССР экземпляр имеется в Москве, в библиотеке ИМЛ. Беловой и черновой автографы — в ЛБ. *Людвиг Чернецкий* (Czerniecki) — польский эмигрант, участник движения 1848 г. Скончался 6 (18) июня 1872 г. Он заведовал Вольной русской типографией с ее основания. В 1865 г. переехал в Женеву вместе с Герценом. Вскоре Герцен передал ему в дар перевезенную в Швейцарию типографию. Дела типографии шли, однако, скверно, и после смерти Герцена Чернецкий в 1872 г. типографию продал. Герцен завещал Чернецкому 10 000 франков из так называемого «бахметевского фонда», но Чернецкий этих денег не принял. Скромный и незаметный работник, он был одним из наиболее верных и преданных Герцену и идее революции людей. В предисловии к сб. «Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне» (Лондон, 1863) Герцен писал: «Дайте вашу руку на новое десятилетие<...> Помощь, которую вы мне сделали упорной, неусыпной, всегдашней работой, страшно мне облегчила весь труд. Братская вам благодарность за это» (Герцен, т. XVI. Пг., 1920, стр. 130).

Издателю «Свободы» в Сан-Франциско (стр. 353). Печатается по тексту газеты «Свобода» (Сан-Франциско), 1872, л. 2, стр. 2, где было опубликовано впервые. Беловой и черновой автографы — в ЛБ. Издатель-редактор *Агапий (Андрей) Гончаренко* родился в начале 30-х годов в Киевской губ. Примерно с 1857 по 1860 г. служил дьяконом при русской посольской церкви в Афинах; корреспондент «Колокола» (написанные на основании его писем Герценом заметки см. в т. X. Пг, 1919, стр. 211, 262—263, 315). Некоторое время он работал наборщиком в Вольной русской типографии и был, видимо, одним из лучших работников (Герцен, т. X, стр. 481), но не ужился в Лондоне и в сентябре 1861 г. уехал куда-то на Восток (по некоторым сведениям, обратно в Грецию, там же, стр. 240; ср. В. Кельсиев, Исповедь, ЛН, № 41—42, 1941, стр. 284). В середине 1860-х годов Гончаренко появился в Америке, в Сан-Франциско, в качестве священнослужителя. («Голос, 1865, 9 мая, № 127, стр. 2). Эпиграф — из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву». *Хотя я стих переменил немного* — у Пушкина: «Звезда пленительного счастья» и «Напишут наши имена».

Раздумье («Тихая могила») стр. 353. Печатается по тексту «Общего дела», 1878, № 8, стр. 15, где было опубликовано впервые. В качестве неизданного — ПЗ на 1881 г., № 5, стр. 135. Автографы в частном собрании (Саратов) — письмо к Т. П. Пассек от 26 января 1873 г., письмо к В. С. Плаутиной от 8 (20) июня 1873 г. («Звенья», т. VI, 1936, стр. 401); 6 черновых и беловых автографов — в ЛБ. Первые 5 строк, кроме того, в ЦГАЛИ. Заглавия: «Раздумье», «Могила» и «Старому другу. Раздумье». Кроме того, среди бумаг Огарева сохранился еще ряд набросков автоперевода этого стихотворения на английский язык.

Моя биография (стр. 354). Эпиграф впервые в качестве отдельного стихотворения — ПЗ на 1881 г., № 4, стр. 131 (перепечатано ЛН, № 39—40, 1941, стр. 605 — письмо к Т. П. Пассек от

13 июля 1874 г.) и БП, т. I, стр. 261. Последняя строфа впервые по черновому автографу ЛБ — БП, т. II, стр. 418. Полностью впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 646—647. Печатается по получерновому автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 294, л. 2—4), другие наброски — в ЛБ. В заключение стихотворения — обращение к Н. А. Герцен, которой рукопись была послана: «поправить придется многое, но сегодня посылаю как есть».

Улица (стр. 356). Впервые — Герш., т. I, стр. 374. Печатается по автографу ЛБ. Датируется по составу тетради № 32.2, в которой записано стихотворение («Оп. рук.», стр. 121).

Героическая симфония Бетговена (стр. 357). Впервые (с пропуском строфы 2-й) — РМ, 1902, № 3, стр. 3—4. Полностью — БП, т. I, стр. 274. Печатается по двум автографам ЛБ. С А. И. Одоевским Огарев встречался на Кавказе в 1838 г.

Свидание (стр. 357). Печатается по тексту газеты «Вперед» от 1 июня 1875 г., № 10, стр. 298, где было опубликовано впервые. Автограф — в ЛБ. В газете «Вперед» стихотворение было напечатано со следующим редакционным примечанием П. Л. Лаврова: «Это стихотворение прислано нам Николаем Платоновичем Огаревым. С удовольствием помещаем в нашей газете строки друга и товарища Герцена, одного из основателей первой Вольной русской типографии». Стихотворение посвящено свиданию Александра II с Францем-Иосифом и Вильгельмом I в Берлине в конце апреля 1875 г. Это свидание было вызвано вопросом о сохранении мира в Европе в связи с новым обострением отношений Германии и Франции под влиянием Бисмарка.

По чигиринскому делу (стр. 358). Впервые — БП, т. II, стр. 407. Печатается по автографу ГПБ. Первоначальное заглавие — «Русскому правительству». «По чигиринскому делу» — первоначальный подзаголовок. Стихотворение вызвано так называемым «первым чигиринским бунтом» — отказом крестьян от тяглового надела и требованием введения общинного землепользования. «Бунт» произошел весною 1875 г. Он был организован группой Я. В. Стефановича, Л. Г. Дейча, И. В. Бохановского и др. Описание подавления «бунта» и ареста (в ноябре 1876) главного «зачинщика» Ф. Д. Прядко появилось почти во всех современных газетах. Возможно, что стихотворение Огарева предназначалось для газеты П. Л. Лаврова «Вперед».

Лишай (стр. 358). Впервые — БП, т. I, стр. 270—271. Печатается по автографу ЛБ.

Моей старухе (стр. 359). Впервые — Герш., т. I, стр. 375. Печатается по автографу ИМЛ. Черновой автограф — в ЛБ. *Старуха* — Мери Сэтерленд.

К моей биографии (стр. 359). Впервые — БП, т. I, стр. 270. Печатается по черновому автографу ЛБ.

<П. Л. Лаврову> («Поздравляю с Новым годом») (стр. 360). Впервые — «Звенья», т. VI. М., 1936, стр. 395. Печатается по автографу ЛБ. Личное знакомство Огарева с Лавровым произошло в мае 1875 г. (ЛН, № 39—40, 1941, стр. 574, 576), но переписка, возможно, имела место и раньше, может быть, вскоре после эмиграции Лаврова в 1870 г. По крайней мере, в июле 1870 г. обсуждался вопрос о прекращении «Колокола» и об издании нового журнала «Русская община» или «Социалист». В редакцию должны были войти Бакунин, Огарев и Лавров. См. донесение агента III отделения Карла Арвида Романа (Постникова) в книге Р. М. Кантора «В погоне за Нечаевым», изд. 2-е. Л., 1925, стр. 86; письмо Бакунина к Лаврову от 15 июля 1870 г. в статье М. Неттлау в «Archiv für die Geschichte des Socialismus und Arbeiterbewegung», Bd. V. Leipzig, 1915, S. 403—405. Ср. И. С. Книжник, П. Л. Лавров, изд. 2-е. М., 1930, стр. 37.

Из записок сумасшедшего (стр. 360). Впервые — «Совр.», 1913, № 11, стр. 227—230. Факсимиле стихотворения — там же. Печатается по автографу ИРЛИ. На 1-й странице дата: 9 июня. Судя по почерку, относится к 1876 г.

На Новый год (стр. 361). Впервые — Герш., т. I, стр. 357 (по копии С. А. Венгерова). Печатается по автографу ИРЛИ. Другой автограф, с небольшими вариантами, в строках 7-й, 9-й, 13-й, 15-й — в Софийской коллекции Академии наук СССР. Стихотворение Огарева, повидимому, ответ на обращенные к нему стихи П. Л. Лаврова «Н. П. Огареву» от 12 ноября 1876 г. (текст их см. ЛН, № 62, 1955, стр. 294). Лавров напечатал это стихотворение спустя 23 года в редактированном им «Новом сборнике революционных песен и стихотворений» (Париж, 1899, стр. 104—105), снабдив его подзаголовком «Неизданное» и подписав буквой «Л». Стихотворение было послано Лаврову 30 ноября 1876 г. при следующем письме: «29 ноября. Среда. — Вот, друг Лавров, вам стихи. Не знаю, понравятся или нет, но напишите ваше мнение. Мне они покамест по сердцу, и я к ним подлаживаю музыку, которую не знаю откуда взял. Но с этим не знаю, насколько слажу, только работа меня занимает страстно. Здоровье плохо, и 64 год звучит судорожно. Весь ваш Огарев. 63 года по-здешнему стукнет 6 декабря. P. S. Посылаю 30-го ноября (четверг). Вчера опоздал. Напишите, что — могу поправить или надо бросить?..» (Герш., т. I, стр. 411).

Моя улица в Гринвиче (стр. 361). Впервые — «Вольное слово» (Женева), 1881, № 2, стр. 6—7. Печатается по тексту письма к А. А. Герцену от 11 (23) апреля 1877 г. (Амстердамская коллекция Академии наук СССР). Другой автограф (первых трех строф) — в письме к П. Л. Лаврову от 10 (22) апреля 1877 г. — ЛБ (см. ЛН, № 39—40, 1941, стр. 597).

ЭПИГРАММЫ

* «Длинный Панин повалился» (стр. 363). Впервые — БП, т. II, стр. 345. Печатается по беловому автографу ЛБ (черновой — в ЦГАЛИ). Упоминание о назначении графа Алексея

Уварова на должность помощника попечителя Московского учебного округа дает возможность датировать стихотворение 1858 г. Эпиграмма связана с положением русских университетов в 1830—1850-х гг., во время сурового режима, свидетелем которого был сам Огарев, студент Московского университета с 1834 г. Назначение графа Уварова (1825—1884) рассматривалось как весть о новом, более либеральном режиме, так как Уваров пользовался репутацией прогрессивно настроенного деятеля. Однако в должности попечителя Московского учебного округа он пробыл лишь один год (1858—1859). *А. Н. Панин* (1791—1850) — в 1830 г. занял место чиновника особых поручений при попечителе Московского учебного округа кн. С. М. Голицыне. Ему был поручен надзор за университетом. В 1833 г. он получил должность помощника попечителя Харьковского учебного округа. По свидетельству современников, А. Н. Панин отличался строгим формализмом и стремился ввести воинскую дисциплину среди студентов и профессоров. *Длинный Панин повалился* — Панин отличался высоким ростом. Упоминая об А. Н. Панине, Герцен описывает его следующим образом: «У князя С. М. Голицына был по университету помощник, высочайший из смертных после своего брата и преображенского тамбур-мажора, гр. А. Панин...» («Былое и думы», ч. IV, гл. XXXI). *Д. П. Голохвастов* (1796—1849) — двоюродный брат Герцена, состоял в должности помощника попечителя Московского учебного округа в 1832—1847 гг. В 1847 г. был назначен попечителем, а в 1849 г., «устрашенный рядом мер, которые ему предписывались из Петербурга», подал в отставку. *В. Н. Муравьев* — помощник попечителя Московского учебного округа в 1852 г. Его сменил в 1853 г. директор 3-й Московской реальной гимназии *П. В. Зиновьев*. Впоследствии Зиновьев стал попечителем Харьковского учебного округа (1857—1860). Уничтожающая характеристика Зиновьева была дана в «Колоколе» и в статьях о студенческих беспорядках в Харьковском университете в 1856 г. (1858, л. 20, 22 — «Харьковская история»). *Кто ж на место сих Омаров.* — «Омар» — синоним врага просвещения: по преданию, калиф Омар-иб-Хаттаб (592—644), взяв в 642 г. штурмом Александрию, сжег знаменитую Александрийскую библиотеку.

Кн. Черкасскому (стр. 363). Впервые — Герш., т. I, стр. 412. Печатается по автографу ЛБ. Кн. *В. А. Черкасский* (1824—1878) — один из видных деятелей крестьянской реформы. В 3-й книге журнала «Сельское благоустройство» за 1858 г. Черкасский выступил с обширной статьей «Некоторые общие черты будущего сельского управления». Статья эта вызвала враждебное отношение к ее автору даже в либеральных кругах. Черкасский предлагал ввести специальные суды для крестьян: судебные функции на некоторое время остались и у бывшего владельца или его доверенного. Обе категории судов имели право телесного наказания крестьян. Именно эта часть статьи особенно возмутила современников. Черкасский на долгое время стал мишенью сатирической журналистики, розга в эпиграммах и карикатурах стала чем-то вроде его гербового отличия.

«Я не люблю попов ни наших, ни чужих» (стр. 364). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 593. Автограф — в ЛБ. Датируется предположительно.

Ростовцевская комиссия (стр. 364). Впервые — Герш., т. I, стр. 411—412. В этом и во всех последующих изданиях стих 4-й неправильно прочитан «бездарный»: та же ошибка и в Избр. произв., 1956, т. I, стр. 424, хотя в «Оп. рук»., изд. в 1952 г., стр. 46, № 343, отмечена ошибочность этого чтения. Печатается по автографу ЛБ. *Бугорный* — от франц. bougre — педераст. «Ростовцевской комиссией» Огарев называет редакционную комиссию. Общее положение по вопросу освобождения крестьян должно было составиться как свод проектов всех губернских комитетов. При главном комитете по крестьянскому делу в Петербурге (бывшем «секретном комитете о крестьянах») существовала комиссия из четырех членов для рассмотрения поступавших проектов, но справиться со всей огромной работой эта комиссия не могла, и тогда была организована так называемая редакционная комиссия. Членами редакционной комиссии были назначены: Н. А. Милютин, И. П. Арапетов, А. П. Заблоцкий-Десятовский, Е. И. Ламанский, Г. П. Галаган, М. Х. Рейтерн, Ю. Ф. Самарин, Я. А. Соловьев и др.; председателем с февраля 1859 г. был Я. И. Ростовцев (1803—1860), до того член главного комитета и многолетний начальник военноучебных заведений империи. В эпиграмме Огарев перечисляет основных деятелей комиссии: *Е. И. Ламанский* (1825—1902) — известный впоследствии экономист, в качестве деятеля комиссии особого значения не имел, точно так же как и другой рядовой ее член *И. П. Арапетов* (1811—1887). Очень злую характеристику Арапетову, не слишком далекую от действительности, дает П. Долгоруков в «Будущности» (1860, 25 декабря, № 5, стр. 39). Ср. еще совместную эпиграмму Некрасова, Тургенева и Дружинина на Арапетова — «Загадка», 1854 г. (Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. I. М., 1948, стр. 424). *Н. А. Милютин* (1818—1871) — автор ряда работ по городскому самоуправлению и статистике, председатель хозяйственного отделения редакционной комиссии; сторонник увеличения площади земельных наделов и выкупа их у помещиков при помощи кредитно-банковских операций. *Ю. Ф. Самарин* (1819—1876) — видный славянофил, сторонник освобождения крестьян с землею и сохранения общинного мирского управления. Об отношениях его и Огарева некоторый материал см. Герцен, т. XVII, 1922, стр. 290—292. За работой редакционной комиссии все время внимательно следил Огарев, систематически печатавший в «Колоколе» подробнейшие разборы действий «Комиссии для составления положений о крестьянах» (см. л. 46, 51—54, 62, 63 и т. д.). Мы предполагаем, что эпиграмма написана вскоре после назначения Ростовцева, т. е. примерно в апреле 1859 г.

Эпитафия (стр. 364). Впервые — Переселенков, стр. 191—192. Печатается по автографу ЛБ. Российский генеральный консул в Великобритании *Егор Константинович Кремер* (у Огарева — Крамер) скончался между августом и октябрем 1859 г. (Черн., стр. 410, дата неверна). Этим временем и датируется «Эпитафия». 18 августа

Кремер вызвал к себе Огарева для объявления ему вторичного повеления государя о возвращении в Россию (Герцен, т. IX. Пг., 1919, стр. 575—576). Кремер был прикосновенен к борьбе с «лондонским пропагандистом» Герценом: в 1853 г. он вел переговоры с различными лицами о доставке «зажигательных вещей и аресте их провозителей и сообщников» (Герцен, т. XXI. Пг., 1923, стр. 285). Написание «Крамер» в эпитафии Огарева вместо правильного «Кремер», очевидно, объясняется английской транскрипцией его имени (Kramer). Е. К. Кремера не следует смешивать с Крамером, упоминаемым в позднейших письмах Герцена к Огареву (Герцен, т. XXI. Пг., 1923, стр. 489, 491).

«Что за год бесчеловечий» (стр. 364). Впервые — Герш., т. I, стр. 412. Печатается по автографу ЛБ. Эпиграмма написана во второй половине 1862 г., после майских пожаров в Петербурге. Этими пожарами правительство воспользовалось для резкого изменения курса внутренней политики: был принят ряд суровых мер для «борьбы с революцией и нигилизмом», на несколько месяцев были закрыты «Совр.» и «Русское слово», были запрещены воскресные школы и шахматный клуб, значительно усилен надзор за типографиями, начались аресты и высылки. Последовавший в связи с пожарами правительственный террор значительно прояснил истинные взгляды представителей так называемого «либерализма». Отношения с Б. Н. Чичериным (1828—1904) были прерваны в 1858 г. после опубликования в «Колоколе» письма Чичерина (л. 29 от 19 ноября (1 декабря) 1858 г.) «Обвинительный акт», в котором он выдвинул против Герцена ряд обвинений.

«Палач свободы по призванью» (стр. 366). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 593—594. Автографы — в ЦГАОР и ЛБ (последних четырех строк). *Видок Тетерин* — реакционный публицист, философ и юрист Б. Н. Чичерин (1828—1904), автор вышедшей в Москве в 1862 г. книги «Несколько современных вопросов», содержащей, в частности, выпады против Герцена.

Ответ князю П. А. Вяземскому... (стр. 366). Печатается по тексту «Колокола» 20 декабря 1863 г. (1 января 1864 г.) л. 176, стр. 1450, где было опубликовано впервые. Автографы — беловой и черновой — в ЛБ. Стихотворная часть рукописи несколько полнее печатного текста и имеет ряд разночтений. Приводим текст автографа:

ОТВЕТ КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

О, не великий князь (когда-то либерал)!
От ссыльных сверстников далеко ты удрал.
В немецкую любовь — к престолу, не к народу
(С продажностью писак втесняемую в моду).
Ой, замолчи! пора! Не втесывайся в грязь
И вирши пошлые оставь-ка, старый князь.
Оставь ты Францию, оставь и нигилистов,
Умом ты стар и плох, тебе уж не до свистов,

Порадуйся, что ты у юношей на лбу
Не встретишь надписей: Катков иль Коцебу.
Не о Дантоне речь, и речь не о Марате,
А о доносчиках и внутреннем разврате.
Твой неуклюжий стих, теперь, когда попал
В потаповский (то бишь — в московский) сей журнал,
Совсем не бабочка, сидящая на розе,
А муха старая, почившая в навозе.

«Ответ» напечатан Огаревым в «Колоколе» со следующим предисловием, важным для понимания стихов: «После знаменитых стихов:

Николай,
Слушай лай,
Моря вой,
Будто пса под скалой...

мы думали, что князь Петр Андреевич почувствует, что ему пора перестать писать; но их сиятельство не только не почувствовало это, но еще ударилось в жандармствующую литературу. Вероятно, их сиятельство думало, что статью «Братское слово» писал один из издателей «Колокола», и ополчилось, припоминая Дантона и Марата, вовсе нейдущих к делу. Пусть их сиятельство разуверится: статью «Братское слово» писали не мы. Надо радоваться, что между многими пишущими и мыслящими юношами находятся люди, которые гнушаются разыгрывать роль или стать под знамя русского Коцебу. Мы заключим наш ответ стихами, приближаясь, насколько возможно, к слогу их сиятельства» (следует текст стихотворения). Поводом к написанию «Ответа» послужило реакционное стихотворение П. А. Вяземского «Одному из многих», напечатанное в «Русском вестнике» в сентябре 1863 г. (стр. 426, «Заметки») и перепечатанное в «Колоколе». *В потаповский то бишь — в катковский сей журнал* — намек на связь с III отделением. А. Л. Потапов (1818—1886) — начальник III отделения и шеф жандармов в 1861—1864 гг.

<М. Н. К а т к о в у> (стр. 366). Первые 4½ строки впервые — Герш., т. I, стр. 412. Полностью — БП, т. II, стр. 346. Печатается по автографу ЛБ. С М. Н. Катковым (1818—1887) Огарева связывало старое знакомство. В 1830—1840 гг. Катков был довольно близок с Огаревым и был одним из горячих поклонников его стихов (см. РМ, 1888, № 11, стр. 6, 11 и др.; «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Огареву». Женева, 1896, стр. 13—14 сн.; В. Г. Белинский. Письма, т. II. СПб., 1914, стр. 109). Когда в 1856 г. начал выходить РВ, Огарев сразу же был приглашен в число сотрудников журнала, и деятельно участвовал в нем стихами и поэмами во всех книжках с января до августа. РВ был в эти годы органом умеренного либерализма, сторонником английского социально-политического строя для России. С начала 1860-х гг. журнал начинает праветь. Майские пожары в Петербурге в 1862 г. и польское восстание в январе 1863 г. окончательно определяют новую позицию Каткова. Журнал становится выразителем и апологетом дворянско-монархической реакции и ярым защитником самодержавия. С 1863 г. в руки Каткова пере-

ходят «Московские ведомости». Газета начинает кампанию систематических доносов и инсинуаций на все, принадлежащее к лагерю не только радикально-демократическому, но даже и умеренно-либеральному. Начавшееся поправение РВ было сразу же замечено в Лондоне. 24 августа 1860 г. Огарев писал П. В. Анненкову: «Кстати: Долгорукий Каткова постоянно зовет Катьковым. Это мне как-то ужасно нравится» («Звенья», т. III—IV, 1934, стр. 413—414). В 1862 г. Катков выступил в июньской книжке «Современной летописи» (приложение к РВ) со статьей «Заметка для издателя «Колокола». Эта статья была первым открытым нападением на Герцена, имя которого до того не могло быть открыто называемо в русской подцензурной печати. Статья Каткова была такова, что даже «Северная пчела» напечатала статью Артура Бенни с протестом против неприличного тона катковской полемики. Бенни был поддержан «Книжным вестником» и некоторыми другими журналами. Эпиграмма Огарева написана, вероятно, в 1862 г., когда деятельность Каткова приняла открыто-реакционный характер, в частности после названной выше статьи Каткова. *Профессор — пошлец.* — В 1845—1850 гг. Катков был профессором Московского университета по кафедре философии.

«Историк будущий ценя» (стр. 367). Впервые — БП, т. I, стр. 346. Печатается по автографу ЛБ. Написано, вероятно, в конце 1862 г. (во всяком случае, не позже начала 1863). *«Наше время»* — газета политическая и литературная, издавалась в Москве Н. Ф. Павловым в 1860 и 1862—1863 гг.; далее — под названием «Русские ведомости». Ни для кого не было секретом, что «Наше время» издается на деньги министерства внутренних дел. *П. М. Леонтьев* (1822—1874) — филолог и публицист-реакционер, соредактор Каткова по «Московским ведомостям». 10 июня 1862 г. Герцен обратился к Каткову и Леонтьеву с открытым письмом (напечатано в л. 139 «Колокола»). Ввиду намеков последних в «Современной летописи» на какие-то темные детали биографии Герцена и Огарева («мы хорошо знаем, что это за люди», и т. д.) Герцен предложил им уточнить свои намеки и назвать их открыто (см. Герцен, т. XV. Пг., 1920, стр. 340—341). Примерно тогда же Герцен писал Н. А. Серно-Соловьевичу: «А какова «Современная летопись»? Вот я вам вылупил хризеиды Каткова и Леонтьева» (там же, стр. 219). Катков пространно отвечал Герцену в своей статье «Заметка для издателей «Колокола». В сентябре 1862 г. в письме к Н. М. Сатину Герцен характеризовал, между прочим, Москву и своих близких друзей (Корша, Кетчера): «Клевреты Чичерина, приятели Павлова <...> они заставляют меня краснеть за былое» (Герцен, т. XVIII, Пг., стр. 473). Последние 2 стиха эпиграммы — перифраза строк Пушкина:

Все изменилося под нашим зодиаком
и т. д.

Пример неправильных, но справедливых ударений (стр. 367). Впервые — Герш., т. I, стр. 411. Печатается по автографу ЛБ. Газета «Голос» издавалась А. А. Краевским (1810—1889) с 1863 по 1884 г. в духе умеренного либерализма. Незначительные цензурные репрессии только усиливали популярность газеты, со-

здавая ей ореол независимости и честности. На самом же деле издание газеты было обеспечено министерством внутренних дел. Подкупленность «Голоса» почти не была секретом для современников: Л. Ф. Пантелеев свидетельствует, что об этом говорилось почти открыто, даже М. Н. Катков намекнул на это в № 176 «Московских ведомостей» за 1865 г. (ср. «Речь», 1914, 8 февраля, № 38, «О субсидиях журналистам в прежнее время»). Эпиграмма написана Огаревым вскоре после начала издания газеты, т. е. в 1863 г.

Продолжение литературных наблюдений (стр. 367). Впервые — Герцен, т. XVIII. Пг., 1920, стр. 50. Печатается по автографу ЛБ. Эпиграмма служит непосредственным продолжением «Примера неправильных, но справедливых ударений». Написана в 1863 г. *В. Д. Скарятин* — реакционный публицист 1860-х гг., редактор крепостнической газеты «Весть» (1863—1870), органа крайнего правого крыла крупнопоместного дворянства, резко оппозиционного по отношению к крестьянской реформе. В 1869 г. Тютчев посвятил Скарятину известную эпиграмму: «Вы не родились поляком». Ряд других эпиграмм на Скарятина см. в книге «Поэты «Искры», т. 1—2. Л., 1955 (по указ.).

<Н. В. Поггенполю> (стр. 368). Первые 4 строки впервые — Герш., т. I, стр. 412, и неточно — у В. П. Батуринского <Маслова>, Герцен, его друзья и знакомые. СПб., 1904, стр. 65. Полностью — «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых». М., 1930, стр. 300. В 1869 г. Огарев сообщил текст эпиграммы польскому эмигранту-революционеру Ф. Вихерскому (ЛН, № 63, 1955, стр. 740). Печатается по автографу ЛБ. 2-я строфа в рукописи зачеркнута. *Н. В. Поггенполь* (1824—1894) — редактор полуофициозного правительственного органа. «Le Nord» (выходил в Брюсселе в 1863—1865 и с 1868 до 1871). Газета была основана на деньги русского правительства, хотя называла себя независимым органом. Задача газеты заключалась в обработке в нужном правительству направлении общественного мнения Запада. Правительство было явно не прочь противопоставить «Le Nord» «Колоколу». Вначале официозность газеты всячески скрывалась, а внешний либерализм ее простирался до того, что Поггенполь собирался предложить участие в газете и Герцену. «Скажи Мельгунову, чтобы он отсоветовал Поггенполю предлагать мне участие; я ему напишу в ответ дерзкое письмо. Это самый подлейший орган и с каждым номером хуже и хуже...» — писал Герцен Тургеневу 3 декабря 1856 г., т. е. вскоре после начала издания газеты (Герцен, т. VIII. Пг., 1917, стр. 362). Материальное положение «Nord'а» было плохое. Н. В. Поггенполь в особой докладной записке правительству (опубликована М. К. Лемке — см. Герцен, т. XVI. Пг., 1920, стр. 275—277) просил выплачивать ежегодную субсидию в 3420 руб., распределив эту сумму по всем министерствам «пропорционально их заинтересованности в газете». «Если «Nord» погибнет, — писал в заключение редактор, — останется «Cloche» Герцена...» Субсидия, однако, дана не была.

«Бранной лиры, бранной славы» (стр. 368). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 594. Автограф — в ЦГАОР (ф. 5770,

оп. 1, № 43а, л. 27). *Пир кровавый* — может быть, жестокая расправа царского правительства с польским восстанием 1863 г. Эпиграф — из стихотворения Пушкина «В. Л. Пушкину».

Новая полурыбица в русской литературе (стр. 368). Впервые (с цензурными пропусками) — Герш., т. I, стр. 386, полнее, но с неточностями — «Голос минувшего», 1918, № 1—3, стр. 202—203, и Герцен, т. XX. Пг., 1923, стр. 118—119; полностью — БП, т. I, стр. 248, и Черн., стр. 186. Во всех этих публикациях стих 13-й прочитан неверно: «скверноюдной» вместо «скверноплодной», хотя правильное чтение было указано Н. Л. Бродским в «Научных известиях», 1922, № 2, стр. 219. Печатается по автографу ЛБ. Стихотворение было вызвано слухами о недостойном поведении Тургенева при показаниях в сенате по так называемому процессу 32-х. Памфлет при жизни Огарева напечатан не был. В «Колоколе», 1864, 3(15) января, л. 177, появилась лишь ироническая заметка Герцена. Об этой заметке см. в статье В. И. Ленина «Памяти Герцена»: «Когда либерал Тургенев написал частное письмо Александру II с уверением в своих верноподданнических чувствах и пожертвовал два золотых на солдат, раненных при усмирении польского восстания, «Колокол» писал о «седовласой Магдалине (мужского рода), писавшей государю, что она не знает сна, мучась, что государь не знает о постигнувшем ее раскаянии». И. Тургенев сразу узнал себя». (В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 13). Стихотворение Огарева использует форму «Жил на свете рыцарь бедный» Пушкина.

Сверху вниз (стр. 369). Впервые — БП, т. II, стр. 393. Печатается по автографу ЛБ. Между первой и второй строфами наброска Огаревым поставлены одна под другой — 20 точек. В «Оп. рук.» высказано неосновательное предположение, будто бы эти точки «означают указание на существование ряда стихов такого же характера эпиграмм, написанных Огаревым» (стр. 47). *Мекленбург* (Шверин и Стрелиц) — одно из наиболее отсталых и реакционных герцогств Германии. Особенно сильна была реакция в 1850—1860-х гг. при вел. герцоге Фридрихе-Франце II (1842—1883). Смысл эпиграммы, очевидно, именно в сопоставлении Тургенева с отсталым и реакционным герцогством. Характерно, что князь П. Долгоруков, желая особенно уязвить «Московские ведомости», называл их «Мекленбургскими ведомостями» (см. его «Листок», 1863, 22 декабря, № 16, стр. 127). *Где нету датчан* — намек на германо-датскую войну 1864 г., в результате которой Дания потеряла соседние с Мекленбургом провинции Шлезвиг и Голштинию.

Т<ургене>ву (стр. 370). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 594. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 44, 39). «Дым» Тургенева был враждебно встречен также и Герценом (см. т. XIX. Пг., 1922, стр. 298, 314—315 и 321), и рядом других представителей передовой русской критики. Отношения Тургенева и Огарева никогда не были дружественными. По мнению некоторых исследователей, в «Дыме», в образе Губарева, содержится памфлетная характеристика Огарева. Это положение в столь общей форме не может

быть принято. В работе Г. А. Бялого «Дым» в ряду романов Тургенева указано, что полемика с Герценом и Огаревым имеет иной смысл и касается сближения взглядов Герцена со славянофилами («Вестник Ленинградского университета», 1947, № 9, стр. 95—97).

«Я сижу в раздумии» (стр. 370). Впервые — ВЕ, 1907, № 5, стр. 275. Печатается по автографу ЛБ — письму к Герцену от 13 декабря 1867 г., опубликованному в ЛН, № 39—40, 1941, стр. 480. Стихотворение вызвано сообщением П. В. Долгорукова о кончине митрополита московского *Филарета* Дроздова (1783 — 19 ноября ст. ст. 1867 г.). Филарет (с 1826 г. и до смерти) стоял во главе московской митрополии. Реакционер и крепостник, он был известен как проповедник и духовный писатель; его «Православный катехизис», изданный в 1823 г., был признан официальным каноном государственной религии. Книга в качестве учебного пособия просуществовала до 1917 г. О Филарете см. в «Былом и думах» (ч. I, гл. VI).

«Отцы отечества в мундирах красных» (стр. 370). Впервые — «Колокол», 1867, 3(15) апреля, л. 239, стр. 1955. Автограф — в ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 44, л. 46). Эпиграмма заключает заметку Огарева, в которой рассказывается об отмене сенатом приговора мирового судьи, осудившего квартального надзирателя, оскорбившего пришедшего к нему журналиста. *В мундирах красных* — форма сенаторов.

А. Майкову (по прочтении его стихов в № «Русского вестника») (стр. 371). Впервые — БП, т. II, стр. 364. Печатается по автографу ЛБ. Стихотворение — отклик на напечатанное в майской книге РВ за 1868 г. стихотворения Майкова «Князю Друцкому-Любецкому». Тема стихотворения — воссоединение России, Литвы и Польши; стихотворение кончалось так.

И дружно Русь, свободна и светла,
Пойдет свершать свой подвиг всенародно,
Под знаменем двуглавого орла.

Ты опять впадаешь в тон и *Хныкал* (? — наиболее вероятное, но не бесспорное чтение) *ты вслед за коляской* — намек на восхваляющее Николая I стихотворение А. Майкова «Коляска» (1854). Это стихотворение, разошедшись до напечатания в списках, вызвало в свое время немалый шум, заслужив автору его иронический псевдоним «Колыскин», прочно усвоенный за ним сатирической журналистикой 1860-х гг.

Строка 2-я строфы 3-й первоначально была написана Огаревым так:

Ты дурак или подлец

Затем 2-е и 4-е слова были надписаны в виде очевидных криптонимов; ироническая сноска оттеняет их смысл.

Телегр<амма> «Рейтера» (стр. 371). Печатается впервые по автографу ЛБ. Стихотворение Огарева почти в точности

повторяет официальное сообщение «Правительственного вестника» о путешествии Александра II, перепечатанное в русских и иностранных газетах. Александр II по приезде в Одессу «посетил собор, после чего изволил слушать литургию в институтской церкви и, произведя смотр войскам, в три часа отплыл на яхте «Ливадия» в Ялту» («Голос», 1875, 9(21) сентября, № 249, стр. 2).

Новость из «Голоса» (стр. 372). Впервые — Переселенков, стр. 191. Печатается по автографу ЛБ. В 1875 г. между Россией и Японией после длительных дипломатических переговоров состоялся обмен принадлежавших России с 1706 г. Курильских островов на южную часть Сахалина. Договор был подписан 25 апреля и ратифицирован Японией 13 августа. Этому событию в «Голосе» от 11 ноября 1875 г. (№ 312) была посвящена обширная передовая статья «Наши задачи на Сахалине». В статье, между прочим, сообщается о выезде из Японии на Сахалин и на Курильский архипелаг двух миссий для сдачи и приемки имущества и т. д. *«Двух барей»,* посланных Россией, статья не называет.

ПОЭМЫ

Дон (стр. 375). Впервые — РС, 1888, № 11, стр. 471—474 (с пропуском, по цензурным соображениям, 50 строк в IV и VI главах). Полностью впервые — в сб. «Декабристы». М., 1925, стр. 296—298. Печатается по автографу ИРЛИ. Датируется предположительно временем после кавказской поездки Огарева — 1838 г. В поэме отражены вольнолюбивые стремления донского казачества, изнывавшего в обстановке постоянных поборов, экспедиций на Кавказ и т. д., особенно с 1836 г., после введения нового «Положения об управлении Донского войска». Огарев проезжал Дон весною 1838 г. В его очерке «Кавказские воды» передано впечатление от «казацкого племени» (ПЗ на 1861 г., стр. 342—344).

Царица моря (стр. 381). Впервые — РП, т. II. М., 1916, стр. 150—165. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Датируется предположительно по палеографическим признакам. Согласно справке, полученной в июне 1955 г. в секторе фольклора Института языка и литературы Академии наук Литовской ССР, Огарев мог при писании этой поэмы знать поэму «Кролова Бальтыки» (Fr. Zatorski, Witold nad Worskla. Piesni ludu z nad dolnego Niemna. Warszawa, 1844) или одну из следующих книг, в которых описано литовское народное предание о морской царевне Юрате и рыбаке Каститисе, близкое по духу к поэме Огарева: L. A. Jucewicz, Rysy żudzi. Warszawa, 1840; L. A. Jucewicz, Wspomnienia Żudzi przez X. Ludwika Jucewicza. Wilno, 1842: Ludwik z Poniewia <L. Jucewicz>, Litwa pod względem starożytnych zabytków, obyczajów i zwyczajów. Wilno, 1846. Предположение, что поэма написана Огаревым под впечатлением «Дзяд» Мицкевича (ЛН, № 61, 1953, стр. 858), едва ли обоснованно.

Юмор (стр. 396). Первые 2 части впервые анонимно напечатаны отдельной книгой в 1857 г.: «Юмор» (De l'humeur), Лондон,

1857, Trübner and C°, 105 стр. Перепечатано — Лонд. изд., стр. 33—141. Третья часть впервые появилась в ПЗ на 1869 г. Женева, 1868, стр. 161—171. Первые три строфы главы VII третьей части впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 644—645 (по автографу ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, № 44, л. 61). Обоснование датировки 1867 г. там же. Автограф третьей части — ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 42, л. 9—19). Автограф всей поэмы, принадлежавший Н. А. Тучковой-Огаревой, на который ссылается Я. З. Черняк (Черн., стр. 411), нам не известен. Изданию 1857 г. было предпослано следующее предисловие Герцена: «Поэма, теперь издаваемая нами, была напечатана несколько прежде, но разные причины и между прочим желание сделать поправки, задержали ее в типографии. Мы обращаем особое внимание читателей на эти поправки, напечатанные нами в начале текста.[1] Поэма эта не новость; писанная в 1840 и 1841 гг., она тогда же была очень известна в кругу читателей письменной русской литературы. Мы должны в особенности потому напомнить это, чтоб читатели не искали в ней никаких применений к нашему времени. И<скандe>р. Лондон, 1 августа 1857 г.» (стр. III—IV). Очевидно, Герцен напечатал поэму по имевшейся у него неисправной рукописи или списку, а Огарев, приехав (т. е. не ранее апреля 1856 г.), внес ряд поправок (ср. Герцен, т. VIII. Пг., 1917, стр. 559). При этом следует учесть специфические трудности набора при отсутствии в то время в Вольной русской типографии хорошо знающих русский язык наборщиков. Книга вышла в свет примерно в сентябре 1858 г. (см. объявления в «Колоколе» от 1 сентября 1858 г. в приложении к л. 22. В л. 21 от 15 августа книга еще не названа). Огарев делал неоднократные попытки продолжать свою самую любимую поэму: тем не менее она осталась незаконченной. К основному тексту в виде приложений нами даны в хронологическом порядке 4 отрывка: а) Исповедь, б) Наброски из третьей части, в) Старческая песня и г) Глава предсмертная. *Министром Вронченко пока* и след. — Ф. П. Вронченко (1780—1852) в 1840 г. временно заменял министра финансов Е. Ф. Канкрина (1774—1845). Проведенная Канкриным денежная реформа — замена ассигнаций серебряным рублем — была невыгодна для держателей ассигнаций, так как лаж (плата за промен) достигал 27%. *В Москве всё проза Шевырева.* — Вероятно, статья реакционного критика и ученого С. П. Шевырева (1806—1854) «Взгляд русского на современное состояние Европы» («Москвитянин», 1841, № 1). *Дают «Парашу» Полевого* — драма «Параша-сибирячка» писателя, журналиста и критика Н. А. Полевого (1796—1846); пьеса написана в период перехода Полевого на реакционные позиции. *Пушкин стих* — Пушкин скончался 29 января 1837 г. ст. ст. *Есть поэт, /Хоть он и офицер армейской* — Лермонтов. За дуэль с Барантом был в апреле 1840 г. переведен в пехотный полк на Кавказ. *О нем писал и Виссарьон* — В. Г. Белинский писал о Лермонтове в июне 1840 г. в статье о «Герое нашего времени». *Пусть пишет Нестор, пишет Греч* — Нестор Кукольник (1809—1868) — плодовитый реакционный драматург и беллетрист. Н. И. Греч (1787—1867) — реакционный литератор и журналист, близкий к III отделению.

---

[1] Перечень пропусков и опечаток занимает 4 страницы (V—VIII), и тем не менее он неполон. — *С. Р.*

Швалье да Яр — модные в эти годы московские рестораны. *Паши три дня и будешь прав* — узаконенная при Павле I трехдневная барщина. *Монтекукулли иль Мальбруг* — граф Раймонд Монтекукулли (1609—1681) — австрийский полководец, автор многих работ на военные темы. Джон Мальборо Мальбруг (1650—1722) — английский полководец и государственный деятель. В России был широко известен перевод французской песенки о нем — «Мальбруг в поход собрался». *А жалок мне удел Китая / У Альбиона чести нет* — об англо-китайской войне 1840—1842 гг., закончившейся тяжелым поражением Китая. *Цынский* — московский полицеймейстер в 1834—1845 гг., известный своей жестокостью в подавлении «вольнодумства». В 1834 г. именно он арестовал Герцена и Огарева. *Великий прах из заточенья* и след. — Перенесение праха Наполеона I в 1840 г. в Париж с острова св. Елены. *А. С. Хомяков* (1804—1860) — поэт и публицист-славянофил, автор вызвавшего негодование «западников» стихотворения «На перенесение Наполеонова праха», напечатанного в «Москвитянине» (1841, № 1). *Сенковский все че любит Сея* — О. И. Сенковский (1800—1858) — журналист, издатель «Библиотеки для чтения». Жан-Батист Сэй (1767—1832) — популярный в 1840-х гг. французский мелкобуржуазный экономист. В журнале Сенковского встречаются против него частые выпады. Б<артене>в, *Szafi, Jean Sbogar.* — Возможно, что речь идет о Юрии Никитиче Бартеневе (1792—1866), о котором современники говорили, что это человек, «всю жизнь корчивший шута и говоривший особым шутовским языком, дававший всем прозвища <...>, человек неглупый, но скучный и неприятный» (Н. В. Берг — РС, 1891, № 2, стр. 254). Ю. Г. Оксман предполагает, что Огарев имеет в виду Ивана Дмитриевича Бартенева (1801—1879), прикосновенного к политическим движениям 1820-х гг., впоследствии знакомого Белинского, который им некоторое время увлекался. В 1847 г. в «Совр.», № 6, был напечатан рассказ И. Д. Бартенева «Из записок провинциала» (см. Белинский, Письма, т. II, 1914, стр. 307 и 314; Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. X. М., 1952, стр. 70; П. Бейсов, Общественно-политические взгляды В. Ф. Раевского, «Ученые записки Ульяновского гос. педагогического института», вып. V, 1953, стр. 464—465, 555). Кого имеет в виду Огарев под прозвищами Szafi и Jean Sbogar (герой одноименного романа Ш. Нодье) (1780—1844) — не установлено. *Робеспьер* — Максимилиан Робеспьер (1758—1794), выдающийся деятель французской буржуазной революции. Огарев имеет в виду его ненависть к дворянству и контрреволюционной буржуазии. *Убри* — С. П. Убри, знакомый Герцена и Огарева, близкий к литературным кругам. *Был немцу отдан я невежде* — о гувернере Огарева К. И. Зонненберге. В тех же выражениях Огарев пишет о нем в автобиографических «Записках русского помещика» и в «Моей исповеди». *Не режет кнут дворянских спин.* — Телесное наказание для лиц дворянского происхождения было отменено при Екатерине II. *Служить мы можем до седин / Начав с четырнадцата класса* и след. — Чины государственных служащих до революции делились на четырнадцать классов. Коллежский регистратор — самый низший чин. *«Пантеон»* — ежемесячный театральный журнал, выходивший в Петербурге в 1840—1856 гг. (названия журнала несколько раз изменялись). *Паста*

Джюдит (1798—1869) — знаменитая итальянская оперная певица, в 1840 г. гастролировавшая в Петербурге. *Беллини* Винченцо (1801—1835) — итальянский композитор, автор ряда опер, в том числе неоднократно упоминаемой Огаревым «Нормы». *Норма* — героиня оперы, верная жрица галлов в их борьбе с римлянами. Ее образ ассоциировался с национально-освободительными тенденциями. *«Жизнь за царя»* — опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (1836); в аристократических кругах ее встретили враждебно, как «кучерскую» музыку. Национальное содержание оперы осталось не понятым. *Пауком / В мундире светлоголубом* — жандармская форма. *Charles Fourier и St.-Simon* — великие социалисты-утописты Шарль Фурье (1772—1837) и Клод-Анри Сен-Симон (1760—1825), оказавшие большое влияние на формирование мировоззрения молодых Герцена и Огарева и их друзей. *В венце из роз была она.* — Вероятно, продолжение строк главы VI о Пасте. *Как тот/ Безродный странник в край из края* — Агасфер (Вечный жид). *Гегель, Штраус не успели/Внедриться в жизнь толпы людей.* — Знаменитый немецкий философ Гегель (1770—1831) оказал немалое влияние на взгляды кружка Герцена и Огарева. Герцен называл его учение «алгеброй революции». Давид Штраус (1808—1874) — немецкий философ, автор книги «Жизнь Христа» (1835), рационалистически толковавшей христианские мифы. Эта книга произвела на Огарева сильное впечатление. *Итак, мой друг, когда пять-шесть / Друзей к нам вышло на дорогу* — т. е. ближайшие друзья Герцена и Огарева в это время — Н. М. Сатин, Т. Н. Грановский, Н. Х. Кетчер, Е. Ф. Корш, Н. И. Сазонов и др. *От Карла и до Валленштейна.* — Карл — Карл Великий (742—814), знаменитый полководец, основатель Римской империи; Альберт Валленштейн (1583—1634) — известный германский полководец, герой Тридцатилетней войны 1618—1648 гг. *Поход в Иерусалим* — крестовые походы XI—XIII вв. *Друиды* — жрецы кельтских народов. *Заеду в Питер я, мой друг, / Где не бывал еще доныне.* — Огарев впервые был в Петербурге в 1841 г. *Как Магомет, султана враг* — Мухаммед-Али (1769—1849), наместник принадлежавшего Турции Египта, пытавшийся освободить страну от власти султана. Его попытка окончилась неудачей. *Писать по почте не люблю я.* — Огарев имеет в виду перлюстрацию писем, широко практиковавшуюся при Николае I. *Чтоб мне Коко какой-нибудь / Смел в жизнь и душу заглянуть.* — По предположению Я. З. Черняка (Черн., стр. 416), — петербургский почт-директор в 1819—1835 гг., Константин Яковлевич Булгаков (1782—1835). *Огромный всадник виден мне* — Медный всадник на Сенатской площади в Петербурге. *И вот дворец передо мной* — царская резиденция — Зимний дворец. *А там далеко за Невой / Еще страшней чернелось зданье* — Петропавловская крепость, до революции тюрьма для государственных преступников. *Плач надгробный* и след. — Здесь и в следующих строках речь идет о судьбе Пушкина. *Аматер* — любитель (франц.). *Люди в фризовой шинели.* — Фриз — грубая шерстяная материя. Шинели из фриза носили малообеспеченные люди, в частности мелкие чиновники. *Цицерон, который мещет в Катилину.* — Римский оратор и политический деятель Цицерон (106—43 до н. э.) выступал с рядом речей против руководителя демокра-

тического движения Катилины, (108—62 до н. э.). *Булгарин Ф. В.* (1789—1859) — реакционнейший журналист, агент III отделения, беллетрист и журналист. Его имя стало синонимом предателя и доносчика. *Элькан А. Л.* (1786—1868) — прототип Загорецкого в «Горе от ума». В Петербурге его считали шпионом III отделения. *Фибер* — шпион III отделения. Его упоминает, между прочим, Герцен в главе XXVI четвертой части «Былого и дум». *Меттерних* Клеменс-Венцель (1773—1859) — реакционный австрийский дипломат, один из организаторов и вдохновителей «Священного союза». *M-me Allan* — Луиза Аллан (1810—1856), знаменитая французская драматическая актриса; в 1837—1847 гг. играла в Михайловском театре в Петербурге. *Сии огромные сфинксы* и след. — Огарев неточно цитирует надпись на двух египетских сфинксах, поставленных в 1834 г. в Петербурге на набережной против Академии художеств. Ниже он называет их «уродами Нила». *<Страна>, где воплощался Брама*— т. е. Индия. *<Страна> сынов лукавых Авраама* — т. е. Палестина, родина древних евреев. *Происхожденьем я татарин.* — По преданию, родоначальником Огаревых был татарин Кутлу-Мамед, по прозванью Огарь. *И Теклу Шиллера* — героиня трагедии Шиллера «Смерть Валленштейна», дочь Валленштейна, образ благородной мечтательной девушки. *Есть домик старый* — домик Петра I на Петербургской стороне в Петербурге. *Здесь прежде женщина живала* — о Петергофе (ныне Петродворец), резиденции Екатерины II. *Так в Вавилоне при реках* — библейский рассказ из так называемых псалмов Давида, песня плененных вавилонянами евреев. *Von Ort zu Ort* — из стихотворения Гейне *«Es treibt dich fort von Ort zu Ort»*. *Лазёнки* — королевский парк в предместьи Варшавы. *Теперь живет враждебно в нем / Вождь подозрительный, лукавый* — И. Ф. Паскевич-Эриванский (1782—1856), наместник Царства Польского в 1831—1849 гг. *Шлезия* — Силезия. *Старый прусский генерал* — Вильгельм I (1797—1887), прусский король, а затем германский император. *Император счетом третий* — Наполеон III (1808—1873), император Франции в 1852—1870 гг. *Многоболтливый Аввакум* (1621—1682) — протопоп, сторонник раскола, противник реформ патриарха Никона. *Мы, к сожаленью моему, / Не справились с времен Батыя.* — Автоцитата из 1-й строфы первой части «Юмора». *Пара истуканных глаз.* — Современники отмечали оловянный взгляд Николая I. *Юный царь* — Александр II. *Вам друг Катков, вам друг Скарятин.* — См примечания к эпиграммам «<М. Н. Каткову>» и «Продолжение литературных наблюдений». *Фон-Комиссарова с Трепóвым.* — О. И. Комиссаров (1838—1892) — крестьянин, которого провозгласили спасителем Александра II при покушении на него Д. В. Каракозова в 1868 г. *Трепов Ф. Ф.* (1812—1882) — петербургский градоначальник в 1866—1878 гг. *В туманных тостах* — намек на стихи, прочитанные Некрасовым Муравьеву-Вешателю в 1866 г., чтобы спасти «Совр.» от закрытия. *Слово* — здесь употреблено в евангельском значении бога. *Весь «царства темного» недуг.* — Заключенные в кавычки слова — из увековеченной Добролюбовым формулы — темное царство. *Один мне друг остался цел* — А. И. Герцен. *Помнишь комнаты большие / И больного старика* — отца Огарева, скончавшегося в 1838 г. *Помнишь юное томленье* — роман с М. Л. Огаревой,

Из третьей части <«Юмора»> (стр. 464). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 645. Печатается по автографу ЦГАОР.

Наброски из третьей части <«Юмора»> (стр. 465). Впервые (с ошибками в порядке строф) — БП, т. II, стр. 94—96. Печатается по двум автографам ЛБ.

Исповедь (стр. 467). Эпиграф впервые, в качестве отдельного стихотворения — РМ, 1902, № 5, стр. 176. Все стихотворение (без последней строфы) — Герш., т. I, стр. 342—344. Последняя строфа впервые — БП, т. II, стр. 416, в виде отдельного наброска. Объединение и включение наброска в состав поэмы впервые произведено Я. З. Черняком (Черн., стр. 265—267 и 419). Печатается по четырем автографам ЛБ. Точная датировка затруднительна: скорее всего, отрывки относятся к 1863—1864 гг. В середине 1870-х гг. Огарев снова к ним обратился, но и на этот раз оставил незаконченными. *Начну ab ovo* — повторение 1-го стиха «Родословной моего героя» Пушкина («Начнем ab obo: мой Езерский»).

Старческая песня (стр. 469). Впервые — БП, т. II, стр. 406—407. Печатается по двум автографам ЛБ. Датируется по упоминанию Альфонса XII, вступившего на испанский престол 29 декабря 1874 г. *Мак Магон* Патрик (1808—1893) — французский генерал, в 1873—1879 гг. — президент республики.

Глава предсмертная (стр. 473). Впервые (с пропуском строф 1-й, 3-й и 4-й) — БП, т. II, стр. 96. С пропуском строф 3-й и 4-й и конца строфы 7-й — Черн., стр. 262—263. Полностью печатается впервые по двум автографам ЛБ.

Неаполь (стр. 473). Впервые — ОЗ, 1842, № 4, стр. 203—206. Печатается по Лонд. изд., стр. 145—152 (в нем восполнены цензурные пропуски ОЗ). Автограф — ЛБ. Датируется на основании письма к М. Л. Огаревой от 26—27 ноября (8—9 декабря) 1841 г. (Герш., «Образы. . .», стр. 425). *Chiaia* — место сборища лаццарони. *Кармелит* — монах одного из католических орденов. *Villa Reale* — *Palazzo Reale* — бывший королевский дворец в Неаполе, занятый теперь Национальной библиотекой. *Castel del ovo* — старинный дворец (XVI в.) на острове близ Неаполя, теперь казармы и военная тюрьма.

*Господин (стр. 479). Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 35—81. Печатается по Лонд. изд., стр. 288—337. Датируется предположительно на основании автобиографических деталей поэмы. Огарев в это время был всецело поглощен хозяйственной деятельностью у себя, в имении Акшено, — попыткой практически разрешить перестройку хозяйства на новых экономических началах без применения крепостного труда. Неудача этой попытки нашла отражение в ироническом тоне поэм «Деревня» и «Господин» — двух разных

вариантах одной и той же трагедии помещика-социалиста николаевского времени.

Свои планы Огарев пытался осуществить в середине и конце 1840-х гг. своей практической промышленной деятельностью в деревне. Еще до покупки Тальской писчебумажной фабрики Огарев пробует организовать суконное производство и устроить винокуренный завод. Но его промышленную деятельность постигли те же неудачи, что и попытку перестроить крепостное хозяйство на новых началах: неминуемо надвигалось разорение. Так закончилась карьера «индустриала-мученика», по собственному определению Огарева, которая привела его к сознанию бесплодности своих усилий. *Тэйр* — знаменитый немецкий агроном Альберт Тэер (1752—1828), основоположник плодосменного хозяйства. Русский перевод книги Тэера Огарев читал в 1847 г. («Звенья», т. I, 1932, стр. 133). *Сарачинское пшено* — старинное русское название риса.

Деревня (стр. 514). Впервые — Герш., т. II, стр. 113—147, с цензурными пропусками в «Письме Юрия». «Письмо Юрия» полностью — в книге М. О. Гершензона «История молодой России». М., 1908, стр. 291—294. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Последняя строфа «Письма Юрия» в рукописи зачеркнута. На основании писем Огарева к Т. Н Грановскому, Е. Ф. К<оршу> и А. И. Герцену работа над поэмой довольно точно датируется первой половиной 1847 г. (Звенья», т. I, 1932, стр. 125, сб. «Помощь голодающим». М., 1892, стр. 522—523; ЛН, № 61, 1953, стр. 748, 758, 768). Предложенная Я. З. Черняком дата 1853—1855 г. (Черн., стр. 327) ошибочна. В поэме многое несомненно автобиографично и отражает неудачные попытки Огарева по переустройству на новых, прогрессивных началах своего сельского хозяйства (см. прим. к поэме «Господин»). Характерно, что в этой поэме Огарев почти свободен от либеральных иллюзий и прямо говорит о «бунте под русским небосклоном». *Он слушал Ганса о правах* — Эдуард Ганс (1797—1839), немецкий правовед-гегельянец. *Альбион* — древнее название Англии. *Сорбонна* — с начала XIX в. здание (б. высшей богословской школы), в котором поместился Парижский университет. *Но ветер дунул, якорь снят* и след. — намек на начинавшееся в Италии освободительное движение. *Альбани* (Альбано) — город в Италии вблизи Рима на берегу озера того же названия. *Перикл* (493—429 до н. э.) — афинский государственный деятель. *Оттон* — вероятно, Огарев имеет в виду греческого короля в 1833—1862 гг. Оттона I. *Фаланстеры* — в социально-утопической системе Фурье коммуна, основанная на совместном производстве и потреблении. *Шабли* — кочковая с выбоинами дорога. *Гольбах* (1723—1789) — философ-материалист и атеист, автор анонимно изданной «Système de la nature» («Система природы», 1770); автор книги долгое время оставался неустановленным. *«Ну что ему Гекуба»* — слова Гамлета в «Гамлете» Шекспира (д. II, сц. 2). *Капитан Копейкин* — из «Мертвых душ» Гоголя (ч. 1, гл. X). *Шильонский узник* — поэма Байрона (русский перевод Жуковского), описывавшая заключение в Шильонском замке в Швейцарии в 1530—1536 гг. женевского гражданина Ф. Бонивара, боровшегося за

независимость родного города. *«Вздыхали люди о тюрьме»*. В переводе Жуковского — «Я о тюрьме своей вздохнул».

*Африка (стр. 537). Впервые — РВ, 1856, № 3, стр. 329—332. Печатается по Лонд. изд., стр. 225—229. Черновой автограф — в ЦГАЛИ, часть белового — в ЛБ. Эпиграфом к поэме взято начало латинской церковной песни, трижды произносившейся при короновании папы. *Марий* (Caius-Marius, 155—86 до н. э.) — римский полководец и политический деятель. В борьбе с Суллой за военную власть потерпел поражение и был вынужден бежать в Африку. *Сулла* или *Силла* — во французской огласовке Огарева — Луций Корнелий Сулла (*Sylla*, 138—78 до н. э.), римский полководец, установивший личную диктатуру (82 г.) и разгромивший представителей демократий. Стихи 26—63 имеют в виду падение и окончательное разрушение Карфагена в Третью пуническую войну (149—146 до н. э.). Огарев выбрал сюжетом своей поэмы наиболее трагический эпизод из жизни Мария — его соперничество с Суллой и его изгнание. Марий на развалинах Карфагена — одна из частых поэтических метафор в западной литературе начала XIX в. *Замолкли клики пышных брашен* — здесь в значении пиршеств.

*Зимний путь (стр 541). Впервые — небольшой отрывок (заглавие — «Отрывок из письма») — ОЗ, 1854, № 12, стр. 213—214; полностью, но с рядом цензурных купюр — РВ, 1856, февраль, кн. I, стр. 397—413 с эпиграфом: «Dans cette galerie je me plaisais à observer le paysage flamand, la vie flamand et le sentiment intime du peintre («Lettres d'un voyageur»)». («В этой картинной галерее я занимался изучением фламандского пейзажа, фламандской жизни и внутреннего чувства художника. (Из письма путешественника)». Часть цензурных пропусков была восстановлена в Солд., стр. 146—166. Полностью — Лонд. изд., стр. 243—264. Печатается по этому изданию. Автограф — в ЦГАЛИ. Цензурные пропуски Солд. были восстановлены, вероятно, при помощи Тургенева, специально обратившегося по этому поводу к товарищу министра народного просвещения П. А. Вяземскому (см. «Центрархив», Документы по истории литературы и общественности, вып. II. Тургенев. М., 1923, стр. 23—24). Первое упоминание о работе над этой поэмой находится в письме Огарева к Анненкову с Тальской фабрики от 16 марта 1854 г. (см. «Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 644). Вскоре после этого он снова пишет Анненкову, отправляя ему отрывок, напечатанный последним в декабрьской книжке ОЗ 1854 г.: «Этот отрывок посылаю вам, потому что он мне лично приходится по душе, и потому весьма желал бы знать о нем ваше мнение, а потом посылаю и потому, чтобы вы видели тон всего стихотворения, то есть послания к вам, и сказали бы, может ли оно быть напечатано с пользой и удовольствием для читателя. Тон русский, то есть иронически-печальный. Может, это и старо, а природно. Лица, которые хочется тут вывесть, — гадкие, добродушные, пустые и одно — порядочное, но бесполезное. Может быть, многие последнюю мысль примут за ложь, но если вы сообразите всю обстановку, то невольно убедитесь, что это правда <...> Если захотите напечатать «Охотника», то в «Отеч. зап.» (там же, стр. 646). И, наконец, уже

в июне 1855 г. Огарев сообщает Анненкову об окончании поэмы (письмо от 3 июля 1855 г. там же, стр. 650). Еще до напечатания в РВ «Зимний путь» сделался широко известен в петербургских литературных кругах и пользовался там большим успехом. Об этом свидетельствуют сам Огарев и Н. А. Тучкова-Огарева в письмах к Тучковым и Е. М. Сатиной (РП, т. IV. М., 1917, стр. 140—144. Ср. письмо Тургенева к А. В. Никитенко от 14 декабря 1855 г. «Литературный архив», вып. 4. Л., 1953, стр. 186). Тургенев в письме к Анненкову от 9 декабря 1855 г. восторженно отзывается о поэме (ЛГ, 1931, 9 марта, № 13 (112), стр. 4). Публикация в РВ вызвала отклик в литературной критике, — появилась статья А. В. Дружинина («Библиотека для чтения», 1856, № 5, Критика, стр. 19—30). Указывая на несомненный и заслуженный успех этой поэмы, отмечая, что стих в ней «удобен для чтения, удобен для памяти», Дружинин нападает на композицию и форму «лирической поэмы», характерную для Огарева. «Иронически-печальный тон», отмеченный самим Огаревым как особый жанровый признак, кажется ему крупнейшим недостатком и свидетельством «поэтической бедности» Огарева. Дружинину непонятен жанр «лирической поэмы» Огарева с ее отступлениями и отсутствием сюжета. Он воспринимает ее как незаконченную, недоделанную вещь, как ряд не связанных между собой лирических стихотворений.

По мнению М. О. Гершензона, в поэме описан путь по Инсарскому уезду Пензенской губ. из села Долгорукова (Яхонтова), где жил А. А. Тучков, в Инсар (Герш., т. II, стр. 438). В главе IV речь идет, повидимому, о соседе и друге А. А. Тучкова — *Григории Александровиче Римском-Корсакове* (ум. 1852), одном из членов Союза благоденствия, разносторонне образованном и умном человеке, отличавшемся резким и властолюбивым характером. В 1821 г. он вышел в отставку и в 1830 г поселился в своем имении Голицыно, расположенном неподалеку от имения Тучкова. *Как Норма, вся в одежде белой* — героиня оперы Беллини того же названия (1831), пользовавшейся огромным успехом в 1830-е и 1840-е годы; в этой опере в роли Нормы отличались знаменитые певицы того времени — Паста, Джулия Гризи и Малибран. *Он душу мира* — термин натурфилософии Шеллинга. *Он стал де Местра изучать.* — Граф Жозеф де Местр (1754—1821), французский философ и государственный деятель, роялист, с 1802 по 1817 г. жил в Петербурге, номинально числясь посланником лишенного владений Сардинского короля.

Ночь (стр. 557). Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 21—36. Печатается по Лонд. изд., стр. 266—285. Датируется 1857 г., временем вскоре после смерти С. Ворцеля (3 февраля). В главе VIII, возможно, речь идет о скончавшемся в 1840 г. в Италии Н. В. Станкевиче, образ которого был для современников, особенно учившихся одновременно с ним в Московском университете, идеалом нравственной чистоты. В главе IX описан польский революционер-эмигрант Станислав Ворцель (о нем см. прим. к стих. «<Ворцель>», стр. 817). *От Китая до стен недвижного Кремля* — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России». *Быть может, новый Девкальон* — сын Прометея, единственный спасшийся от потопа, устроенного Зевсом.

*Сны (стр. 571). Впервые — ПЗ на 1857 г., стр. 204—231. Печатается по Лонд. изд., стр. 338—370. *Ноэль и Шапсаль* — французская грамматика. Была очень популярна не только во Франции, где она была основным школьным пособием, но и в России, где неоднократно переиздавалась. *Карл X* (1757—1836) — французский король с 1824 по 1830 г.; вступил на французский престол после смерти своего брата Людовика XVIII; его политика отличалась крайней реакционностью. В начале французской буржуазной революции он эмигрировал в Англию и стал во главе контрреволюции. *Генрих V* (1820—1883) — последний представитель старшей бурбонской линии, внук Карла X, герцог Бордоский, более известный под именем графа Шамбора; глава роялистов-легитимистов. *Лагарп* — Жан-Франсуа де ла Гарп (1740—1803), французский критик, член Французской академии. *Все их Шамборы и обедни / И славный наш тридцатый год* — намек на пропагандистскую деятельность роялистов-легитимистов, возглавляемых Шамбором. *Приве отец, мадемуазель Приве, и Рагу* являются, по замыслу Огарева, типичными представителями борющихся классов во Франции 1840-х гг. Первый — представитель крупной буржуазии, утвердившейся вслед за Июльской революцией; последний — его идейный враг, представитель оппозиции в лице мелкой буржуазии и рабочих.

Ровесники (стр. 595). Впервые — Герш., т. II, стр. 389—403, с цензурным пропуском стиха 7-го в строфе 3-й и всей 6-й строфы. Печатается по автографу ЛБ — беловой автограф до строфы 17-й, остальное — черновик с пропуском строф 25—27.

Nocturno («Уже и за полночь давно'») (стр. 604). Впервые — ПЗ на 1858 г., стр. 102—107. Печатается по Лонд. изд., стр. 374—382. Черновой и беловой автографы — в ЛБ. *Ноктюрн* — музыкальное произведение напевного, задумчиво-мечтательного характера.

Матвей Радаев (стр. 611). Текст главы I печатается по ПЗ на 1859 г., стр. 290—295 (заглавие — «Отрывок из поэмы «Матвей Радаев»), где она была напечатана впервые. Автограф — в ИРЛИ; по этому автографу печатается и остальной текст этой, оставшейся незаконченной, поэмы. Первые страницы представляют собою перебеленный текст, но начиная с середины главы II рукопись приобретает характер получерновой, отдельные строки и страницы написаны карандашом: есть следы карандашной правки части, написанной чернилами. Конец главы I — начало главы II (стихи 211—278), кроме того, имеются в черновом виде и на отдельном листке. В 1879 г. в «Газете А. Гатцука» (№ 3, стр. 40—42, и № 6, стр. 89—90) за подписью «Старый поэт» были опубликованы «Посвящение», бóльшая часть главы II с многочисленными неоговоренными цензурными пропусками и так называемое «Письмо к Вареньке», введенное в текст главы II (см. прим. на стр. 823). Весь текст был напечатан крайне небрежно. В августе 1885 г. поэма появилась на страницах PC (1886, № 2, стр. 465—481); она напечатана здесь неисправно, также с многочисленными цензурными купюрами.

Затем Т. П. Пассек снова опубликовала поэму в т. III своих воспоминаний «Из дальних лет» (СПб., 1889, стр. 46—64 или изд. 2-е, СПб., 1906, стр. 46—62) — также весьма неисправно. Вследствие неправильного расположения листов рукописи в этой публикации есть обессмысливающие текст перестановки (см. Герш., т. II, стр. 441). «Письмо к Вареньке» выделено здесь отдельно, вслед за текстом поэмы. Купюры всех этих публикаций (до 115 стихов) были в советское время, хотя и не вполне точно, опубликованы С. А. Переселенковым в сб. «Декабристы». М., 1925, стр. 279—316. В рукописи, сбоку, следующий вариант начала главы II:

Лет пять минуло без тревоги;
Раз у околицы зимой
Стоял и зяб мужик седой
И слушал, глядя вдоль дороги,
Как колокольчик средь полей,
То притихая по сугробью,
То заливаясь мелкой дробью,
Звенел все ближе и ясней.
А вон и тройка издалека
Бежит, рысиста и бойка,
Кибитка мимо мужика,
Скользнув по улице широкой,
Селом летит во весь опор
и т. д.

Окончательный текст написан карандашом над этим вариантом и переписан чернилами на л. 5.

Стихи 729 и след. первоначально:

И тот лазурный генерал
И сам начальник отделенья
Все в каске мчатся на повал
Всё римляне <*недописано*>.

Стихи 721—744 поддаются прочтению с большим трудом. Предположение М. Гершензона о том, что в первой части поэмы описан отец Герцена И. А. Яковлев (см. Герш., т. II, стр. 442) совершенно неосновательно. Имя Радаев — вероятно, контаминация имен Радищева и Чаадаева.

Тюрьма (Отрывок из моих воспоминаний) (стр. 632). Впервые — Лонд. изд., стр. 416—428. Автограф — в ЛБ. Поэма начата, вероятно, вскоре по приезде Огарева в Лондон, то есть в 1856—1857 гг., окончена в начале 1858 г. Поэма автобиографична и является довольно точным описанием ареста и заключения Огарева с 9 июля 1834 по 9 апреля 1835 г. Рефрен *«Чтоб вышли мне по воле рока /И жизнь и смерть и скорбь пророка»* подчеркивает идею мученичества за революционный подвиг. Эти строки, по свидетельству мемуариста, были любимыми стихами Достоевского (В. В. Т-ва <О. Починковская>, год работы со зна-

менитым писателем. «Исторический вестник», 1904, № 2, стр. 531). *Ко мне мой дядя ездить стал* — сенатор Н. И. Огарев (1780—1852). *Но капитан, казарм смотритель* — В. И. Немиров, действительно хорошо относившийся к Огареву. Поэт упоминает его в «Записках русского барина» («Литература». Сб. I, «Труды Института русской литературы». Под ред. А. В. Луначарского. Л., 1931, стр. 181).

Рассказ этапного офицера (стр. 642). Впервые — ПЗ на 1859 г., стр. 260—281. Автограф — ИРЛИ и черновой — в ЛБ (строки: «Въезжаем в лес. Нет ни души» — «Не заподозрил ни за что»). В современной Огареву русской критике поэма была отмечена только однажды, да и то мельком. Достоевский, высоко ценивший поэзию Огарева, в статье «Выставка в Академии художеств в 1860—1861 гг.» («Время», 1861, № 10, стр. 150) по поводу картины Якоби «Партия арестантов на привале» писал: «Нашелся же художник, который в известной поэме «Рассказ этапного офицера» сумел в своем черством герое откопать человека...» Имя Огарева Достоевский назвать не мог. *Чепан* — крестьянский кафтан. Стих: *Но каплю жалости имея* представляет повторение пушкинского «хоть каплю жалости храня» (из письма Татьяны к Онегину). Подобные реминисценции у Огарева нередки (особенно в «Юморе»).

*С того берега (стр. 665). Впервые — «Колокол», 1858, 19 апреля (1 мая), л. 14, стр. 109—110. Печатается по Лонд. изд., стр. 401—405. Беловой автограф и два черновых (стихи 37—82 и 103—124) — в ЛБ. Поэма является откликом на казнь Орсини и Пиери (13 марта 1858), покушавшихся на Наполеона III. Покушение произошло в Париже 14 января 1858 г Датой написания поэмы следует считать март — апрель 1858 г. *Граф Феличе Орсини* (1819—1858) — один из заговорщиков, которых выдвинуло освободительное движение в Италии. Орсини опирался лишь на небольшую группу итальянских революционеров и на содействие отдельных французских эмигрантов. Мужественное поведение Орсини во время процесса и на эшафоте произвело огромное впечатление в демократических кругах Франции. Мемуары Орсини были изданы в Англии еще при жизни последнего (русск. перевод. — М., 1934), переписка — в Милане в 1861 г. Орсини был близок с Герценом в начале 1850-х гг., во время жизни в Ницце Одновременно с появлением поэмы Огарева в «Колоколе» была напечатана заметка Герцена по поводу дела Симона Бернара, одного из участников заговора Орсини, под давлением французского правительства привлеченного к суду английскими властями, но оправданного судом присяжных («Колокол», 1858, 19 апреля (1 мая), л. 14; ср. гл. LV в 6-й части «Былого и дум»). *Кесарь хочет сам ему свободу дать* и след. строки имеют в виду Александра II. В начале 1858 г. Огарев и Герцен еще допускали возможность осуществления крестьянской реформы до некоторой степени в интересах крестьянства; эти иллюзии быстро рассеялись. Поэма написана складом русского былинного стиха, характерным для Огарева конца 1850—1860-х гг. (поэмы «Странник», «Дедушка» и др.). Заглавие поэмы повторяет одноименное произведение Герцена.

«За столом сидел седой дедушка» (стр. 669). Впервые — Герш., т. II, стр. 382—388. По копии С. А. Переселенкова из Лозаннского архива семьи Герцен — БП, т. II, стр. 313—317: местонахождение этой копии в настоящее время неизвестно. Печатается по тексту БП. Более ранний автограф — в ЛБ: в нем недостает стихов 7—19.

Мария Магдалина (стр. 674). Печатается по ПЗ на 1861 г., стр. 326—330, где было опубликовано впервые. Датируется предположительно. Автограф — в ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43а).

Забытье (стр. 678). Печатается по ПЗ на 1862 г., стр. 161—166, где было опубликовано впервые. Со стиха 69-го и до конца — автограф ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43а, л. 10—14). Так как ПЗ вышла в свет в конце мая 1862 г. — поэма датируется первой половиной года. Я. З. Черняк сделал попытку связать замысел этой поэмы с проектом произвести в начале 1863 г. высадку на литовское побережье отряда революционных добровольцев-поляков (Черн., стр. 344—345). Трудно судить о правомерности такого предположения: против него говорят и хронологические несовпадения, и общий лирический тон поэмы, и все реалии. Возможно, что подготовлявшаяся экспедиция в самом общем плане отразилась на замысле поэмы. *...Вхожу я в город людный* и след. строки имеют в виду Петербург, статую Медного всадника («медный богатырь») и пр. *Огромного венчанного злодея / Похоронили, не жалея* — 18 февраля 1855 г. скончался Николай I. Заключительная песня («Из-за матушки за Волги») вошла в репертуар русской революционной поэзии и неоднократно перепечатывалась в нелегальной литературе 1860—1880-х гг. Поэма характерна как показатель страстного ожидания народного восстания и веры в революционную силу народа.

Странник (стр. 683). Печатается по газете «Общее вече», 1863. 1 января 1862. 20 декабря ст. ст.), № 8, стр. 45—47, где было опубликовано впервые. Черновой автограф (с датой) — в ЛБ. Другой автограф — в ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43б) и под заглавием «Пророк» последние 14 строк там же (№ 43а, л. 20). В поэме — ряд реминисценций пушкинских стихов: стих 209-й («Разверзлись вещие страницы») почти дословно повторяет строку «Пророка».

Исповедь лишнего человека (стр. 691). Впервые — РМ 1904, № 8, стр. 1—17. Черновой и беловой автографы — в ЛБ.

Восточный вопрос в панораме (стр. 709). Печатается по изданию: «Восточный вопрос в панораме. Рифмованные строчки». Женева, 1869, где было опубликовано впервые. Один из немногих известных нам экземпляров этой чрезвычайно редкой брошюры имеется в библиотеке ИРЛИ. Другой должен находиться среди бумаг секретного агента русского правительства Н. В. Постникова (Карла Арвида Романа), который в донесении от 22 октября (3 ноября) 1869 г. сообщал, что Огарев поднес ему в подарок названную брошюру (Р. Кантор. В погоне за Нечаевым, изд. 2-е. Л., 1927, стр. 47).

Брошюра, впрочем, печаталась в конце февраля 1869 г. (см. ЛН, № 39—40, 1941, стр. 524). Об использовании Огаревым в этой поэме формы народного раешника см. во вступ. статье к настоящему изданию. *Что мне их Крит али бо Фракия?* Спорные территории, принадлежавшие в то время Греции; в числе претендентов на них была и Франция. Поэтому эти слова и произносит Наполеон III. *У меня жена Евгения* — Евгения де Монтихо (1826—1920), жена Наполеона III. *Я, говорит, за Рейном ему дам хлопштоса* — намек на подготовлявшуюся Бисмарком франко-прусскую войну, начатую в 1870 г. *Да кто б и Австрию хватил, кабы да не я?* — Об австро-прусской войне 1866 г., закончившейся поражением Австрии. *У меня в комочек свернулась и Дания.* — Датско-прусская война 1864 г. окончилась серьезным поражением Дании, потерявшей Шлезвиг, Гольштейн и другие провинции. *У меня король Фридрих вошел в леты* — Фридрих III (1831—1888), король прусский и император германский. *А сам я хоть и граф, но настоящий король.* — Огарев имеет в виду исключительное влияние Бисмарка на дела Германии. *Император Франц-Осип* — австрийский император в 1848—1916 гг. Огарев отмечает стремление порабощенных австрийской реакцией народов отделиться от «лоскутной» империи. *Потерял святого Марку* — т. е. Венецию (по знаменитому собору св. Марка), отошедшую к Италии в 1886 г. *Славяне к России тянут* — Галиция стремилась к воссоединению с Россией, Чехия ориентировалась на Россию в путях развития своей культуры. *Фон Бейст* Фридрих (1809—1886) — министр иностранных дел и канцлер Австрии в 1866—1871 гг. *Гладстон* Вильям (1809—1898) — английский премьер-министр с конца 1868 до марта 1874 г. *Сама королева* — Виктория, королева Великобритании в 1837—1901 гг. *Александр Николаевич, всех дел вершитель* — т. е. Александр II. *Грекам обещаний надам выше тополя.* — Речь идет об обещаниях Александра II дипломатической помощи грекам в их борьбе с турками на конференции держав по греческому вопросу в Париже в 1869 г. *Не забыл Севастополя* — т. е. поражения России в Крымской кампании 1854—1855 гг. *Греческий король* — Георг I, король в 1863—1913 гг. *Да вот и султан* — Абдул-Азис, султан в 1861—1876 гг. *Голос... у Краевского.* — Игра слов: газета «Голос» издавалась А. А. Краевским в 1863—1883 гг.

«Гой, ребята, люди русские!» (стр. 713). Печатается по листовке, изданной в типографии Л. Чернецкого в Женеве в 1869 г., где было опубликовано впервые. Небольшие отрывки в легальной печати были приведены в статье К. А<лябье>ва «Шутовство русской эмиграции» — «Голос», 1870, № 154. Перепечатано БП, т. II, стр. 338—341, и в 1941 г. и в ЛН, № 41—42, стр. 129—131; в названных изданиях дано обоснование авторства Огарева. *Мы расправу учинить должны.* — Слово «расправа», употребленное здесь и дальше характерно для нечаевской группы («Комитет народной расправы», журнал «Народная расправа» и др.) *<Царь> с головой пустой, со немецкою.* — Частый мотив в русской революционной поэзии, начиная с декабристской. *Услыхал о том Стенька Разин сам.* — В народе существовало предание о том, что Разин жив и скрывается до поры до времени (см., например, М. К. Чалый. Жизнь и произведения Тараса Шевченко. Киев, 1882, стр. 100).

ПЕРЕВОДЫ

ШЕКСПИР

Песни Офелии (стр. 719). Впервые — РП, т. II. М., 1916, стр. 167—169. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Перевод из «Гамлета» Шекспира (д. IV, сц. 5). Датируется предположительно.

Песня могильщика (стр. 720). Впервые — РП, т. II. М., 1916, стр. 169. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Перевод песни первого могильщика из «Гамлета» Шекспира (д. V, сц. 1). Датируется предположительно.

Песня Дездемоны (стр. 721). Впервые неточно — РМ, 1889, № 12, стр. 20; исправно — БП, т. II, стр. 381. Печатается по автографу ЛБ — письму к Т. Н. Грановскому, В. П. Боткину и А. И. Герцену от 6(18) апреля 1843 г. Перевод из «Отелло» Шекспира (д. IV, сц. 3). Перевод был выполнен для Н. Х. Кетчера и предназначался в качестве стихотворной вставки. Огарев характеризует его в письме как «ужасно скверный». «Хлопотал <...> несколько дней, и все скверно». В печатном тексте издания Кетчера был помещен другой перевод.

ГЕТЕ

Chorus mysticus (стр. 722). Впервые — PC, 1890, № 1, стр. 222, и там же вторично, № 7, стр. 224. Печатается по автографу ИРЛИ. Датируется предположительно временем работы Огарева над переводами из «Фауста». Отрывок представляет собою перевод конца «Фауста» «Alles vergängliche...» Анализ переводов Огарева из Гете дан в работе В. М. Жирмунского «Гете в русской литературе». Л., 1937, стр. 434—438. В. М. Жирмунский указывает, что переводы Огарева «свидетельствуют о новом аспекте восприятия его поэзии, характерном для Герцена и его кружка»: «Дяде Кроносу» — выход в жизнь молодого поэта-реалиста; сцена в соборе из «Фауста» связана с тематикой социальной жалости к женской доле; перевод шуточных пародий «очень хорошо улавливает бессодержательную напыщенность и торжественно-загадочный тон некоторых старческих изречений немецкого поэта».

Из «Фауста» («Воззри, ты») (стр. 722). Впервые — ОЗ, 1841, № 9, стр. 1—2. Печатается по автографу ИРЛИ. Перевод из части I, сцены 18.

Из «Фауста» («О, так ли, Гретхен, прежде») (стр. 724). Впервые — ОЗ, 1841, № 9, стр. 2—3. Печатается по автографу ЛБ. Латинские цитаты — из гимна о страшном суде XIII в., включенного в католический реквием. Перевод из части I, сцены 20 «Фауста».

Из «Фауста» («Стучат? Войди! Кто там опять?») (стр. 726). Впервые — ЛН, № 4—6, 1932, стр. 670—677. Печатается по автографу ЛБ. Перевод так называемой «сцены условий» из «Фауста» Гете с начала сцены («Es klopft? Herein!») и кончая «Проклятием» («Und Flucht vor allem der Geduld»).

«Сатурн по прихоти, не боле» (стр. 729). Впервые — РМ, 1889, № 4, стр. 13. Печатается по хранящемуся в ЛБ письму Н. Х. Кетчера к Герцену 1841 г. Стихотворение является переводом пародии Гете: «Kronos als Kunstrichter» («Saturnus eigne Kinder frisst»). По словам Кетчера (в том же письме), этот и следующий перевод сделаны Огаревым à livre ouvert.

«И направо и налево» (стр. 729). Впервые — РМ, 1883, № 4, стр. 13. Печатается по хранящемуся в ЛБ письму Н. Х. Кетчера к Герцену 1841 г. См. примечание к предыдущему стихотворению. Перевод стихотворения Гете «National-Versammlung» («Auf der recht und lincken Seite») из цикла «Epigrammatisch».

Дяде Кроносу (стр. 729). Впервые — ОЗ, 1845, № 7, стр. 173. Печатается по Солд., стр. 130. Стихотворение является переводом из Гете «An Schwager Kronos» («Spute dich, Kronos»). Перевод сделан — стилистически и метрически — весьма близко к подлиннику. Хотя он был впервые напечатан в ОЗ в 1845 г., Белинский одобрительно упоминает о нем уже в 1842 г. (В. Г. Белинский, Письма, т. II. СПб., 1914, стр. 282). *Кронос* (миф.) — время.

ГЕЙНЕ

«Звезды с ножками златыми» (стр. 731). Впервые — РС, 1889, № 9, стр. 518. Печатается по автографу ЦГАЛИ и по копии М. Л. Огаревой с указанием даты (ИРЛИ). Перевод стихотворения Г. Гейне «Sterne mit den goldnen Füsschen».

Рыбачка (стр. 731). Печатается по ЛГ, 1840, № 63, стр. 1409, где было опубликовано впервые. Автограф — в ЦГАЛИ. Перевод стихотворения Гейне «Du, schönes Fischermädchen».

Ее портрет (стр. 732). Печатается по ЛГ, 1840, № 63, стр. 1409, где было опубликовано впервые. Автограф — в ЦГАЛИ. Перевод стихотворения Гейне «Ich stand in dunkeln Traümen».

Желание (стр. 732). Печатается по ЛГ, 1840, № 63, стр. 1409, где было опубликовано впервые. Автограф — в ЦГАЛИ. Перевод стихотворения Гейне «Mädchen mit dem roten Mündchen».

Город (стр. 733). Печатается по ЛГ, 1840, № 63, стр. 1409, где было опубликовано впервые. Автограф — в ЦГАЛИ. Перевод стихотворения Гейне «Am fernen Horizonte».

Двойник (стр. 733). Печатается по ЛГ, 1840, № 63, стр. 1409, где было опубликовано впервые. Автограф — в ЦГАЛИ. Перевод стихотворения Гейне «Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen».

Атлас (стр. 733). Печатается по ЛГ, 1840, № 63, стр. 1409, где было опубликовано впервые. В ЦГАЛИ автографы — беловой и подстрочный черновой. Перевод стихотворения Гейне «Ich, unglückseli'ger Atlas! Eine Welt».

У моря (стр. 734). Впервые — ЛГ, 1840, № 63, стр. 1409. Печатается по Лонд. изд., стр. 183. Автограф ИРЛИ. Перевод стихотворения Гейне «Das Meer ergänzte weit hinaus».

«В старинных сказках замки золотые» (стр. 734). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 641. Печатается по автографу ЦГАОР. Стихотворение представляет собой перевод стихотворного отрывка, вставленного в прозаический текст главы II «Buch le grand».

«Во сне мне приснилась она» (стр. 735). Впервые — ВЕ, 1907, № 5, стр. 274, письмо к Герцену от 9 ноября н. ст. 1869 г. Автограф — в Пражской коллекции ЦГАОР. Стихотворение представляет собою перевод из Гейне: «Im Traum sah ich die Geliebte».

В. МЮЛЛЕР

Водопад (стр. 736). Впервые — РС, 1889, № 8, стр. 446. Печатается по копии М. Л. Огаревой с указанием даты (ИРЛИ). Вильгельм Мюллер (1794—1827) — немецкий поэт-романтик. Заглавие оригинала — «Wasserfluth» («Manche Thrän' aus meinen Augen).

Л. РЕЛЬШТАБ

Sérénade (стр. 737). Печатается по ОЗ, 1842, № 1, стр. 44, в составе повести И. И. Панаева «Актеон» (без заглавия), где было опубликовано впервые. Автограф — в ЛБ; в нем заглавие и первые 2 стиха написаны М. Л. Огаревой. На автографе рукою М. Л. Огаревой написано: «Musique de Schubert». Восстанавливаем (как и в изданиях Герш. и БП) заглавие, вероятно снятое в тексте повести. Датируется по упоминанию в письме к Герцену о переводе шубертовского романса «Ständchen» (РМ, 1888, № 11, стр. 15). Дата письма — 1840 г. — установлена М. О. Гершензоном (Герш., т. I, стр. 401). Стихотворение представляет собой перевод из немецкого поэта Людвига Рельштаба (1779—1860) «Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir». Романс Шуберта исполняется до сих пор на слова Огарева.

Предчувствие воина (стр. 737). Печатается по тексту романса к музыке Шуберта. «Предчувствие воина» («Préssentiment d'un soldat»). Слова Л. Рельштаба. Перевод с немецкого Н. Огарева (ценз. разр. 2 октября 1842). (По неизд. работе Б. В. Саитова «Огарев в музыке». Архив ЛН).

Л. УЛАНД

Слова старца (стр. 739). Впервые — ОЗ, 1843, № 5, стр. 26. Печатается по Солд., стр. 108. Автограф — в ИРЛИ. Датируется предположительно временем печатания и упоминанием имени Уланда в письме к Герцену от 18 (30) сентября 1843 г. — РМ, 1890, № 8, стр. 11. *Л. Уланд* (1787—1862) — немецкий поэт, автор песен и баллад, проникнутых демократическими тенденциями. Стихотворение — перевод 2-й строфы из «Greisenworte».

А. ГРЮН

Засохший лист (стр. 740). Впервые — БП, т. I, стр. 92. Печатается по автографу ЛБ — письму к М. Л. Огаревой от 19 декабря 1841 г. Стихотворение — перевод из немецкого поэта Анастасия Грюна (1806—1876) «Das Blatt im Buche».

БАЙРОН

Стансы (стр. 741). Впервые — ОЗ, 1841, № 12, стр. 183. Печатается по Лонд. изд., стр. 182. Стихотворение было в 1875 г. перепечатано в книге Н. Гербеля «Английские поэты в биографиях и образцах», но по требованию цензуры имя Н. П. Огарева было снято и соответствующие места книги были перепечатаны (дело канц. Гл. управления по делам печати, 1875, № 44а, в ЦГИАЛ). Автограф — в ИРЛИ. Датируется предположительно временем публикации. Стихотворение — перевод из Байрона «Stanzas for music».

А. МИЦКЕВИЧ

Разговор (стр. 742). Впервые — ОЗ, 1843, № 4, стр. 228 (без упоминания имени Мицкевича). Печатается по Лонд. изд., стр. 194. Перевод стихотворения А. Мицкевича «Rozmova». Первое упоминание о Мицкевиче встречается в письмах Огарева к М. Л. Огаревой — 1839 г. (Неопубликованные письма Огарева к М. Л. Огаревой, ИРЛИ). «Дзяды» Мицкевича Огарев ставит в один ряд с «Фаустом» Гете и «Манфредом» Байрона (Герш., «Образы...», стр. 415). О нем же — в неопубликованном письме к А. Н. Майкову, 1843 г. (ИРЛИ).

Русским друзьям (стр. 742). Впервые — БП, т. II, стр. 381. Печатается по автографу ЛБ (зачеркнутому Огаревым). Набросок представляет собой начало перевода стихотворения А. Мицкевича «Do przyjaciol moskal». Прозаический перевод этого стихотворения был приложен к Лондонскому изданию «Дум» К. Рылеева (1860). О настоящем наброске в предисловии Огарева читаем: «Мы помещаем польский подлинник с русским переводом в прозе. Стихотворный перевод, который у нас есть, слишком неудовлетворителен. Я тоже пробовал перевести, но не сладил. Лучше верный перевод в прозе, чем вялый в стихах».

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДРУЖЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ, СТИХОТВОРЕНИЯ НА СЛУЧАЙ И СТИХОТВОРНЫЕ ШУТКИ

*«Вот новый год — а я больной» (стр. 745). Впервые — БП, т. II, стр. 348—349. Печатается по автографу ЛБ. *В. П. Боткин* — именинник 1 января. *Феос, не признанный глупцами* — поэт И. П. Клюшников (1811—1895); подписывал свои стихотворения буквой Ө. Эта подпись — первая буква греческого слова бог. Так прозвали Клюшникова в шутку его друзья. *В. И. Красов* (1810—

1855) печатал свои стихи и переводы иностранных поэтов в журналах конца 1830-х и начала 1840-х гг. *Друг мой с шаткими ногами* — Н. М. Сатин, болевший острым ревматизмом ног. *Профессор молодой* — Т. Н. Грановский, начавший читать в Московском университете курс всеобщей истории с 1839 г *Лишь не был тот в беседе той* и след. — Герцен, находившийся в это время в Петербурге. *Медик-друг* — относится к Н. Х. Кетчеру, врачу по образованию, оказывавшему медицинскую помощь друзьям.

«Когда я был в Италии» (стр. 746). Впервые — БП, т. II, стр. 349. Печатается по автографу ЦГАЛИ. *Вешняковы* — соседи Огарева по имению в Пензенской губ. Упоминание о них встречается в письме Огарева к М. Л. Огаревой от 8 апреля 1842 г. (Герш., «Образы. . .», стр. 488). Политический смысл стихотворения — в противопоставлении свободной Италии — валеталии (valetaille — холопство, франц.) России.

Buono giorno! Мне опять (стр. 746). Впервые — БП, т. II, стр. 358—361. Печатается по копии Н. А. Тучковой-Огаревой в ЛБ. Стихотворное послание обращено к друзьям: переводчику Н. Х. Кетчеру («барон») и историку, ученику и другу Т. Н. Грановского, П. Н. Кудрявцеву («ученый друг»). Стихи 24—35 имеют в виду работу Кетчера по переводу драм Шекспира. Кетчер переводил Шекспира прозой, а стихотворные вставки сделаны А. И. Кронебергом и А. В. Дружининым. Пробовал помогать Кетчеру в этой работе и Огарев. *Розалинда* — героиня пьесы Шекспира «Как вам угодно». *Луитпранд*, король лангобардский (712—744) — фигурирует в изданной лишь в 1850 г. работе Кудрявцева «Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом». *Иногда по лагунам* и след. — описание Венеции. *Носов* — слуга Огарева.

Livorno (стр. 749). Впервые — Солд., стр. 71. Печатается по Лонд. изд., стр. 179. В Ливорно Огарев был весной 1843 г. *Догана* — таможня.

Швальбах в разные времена (стр. 750). Впервые — РМ, 1890, № 8, стр. 2—8. Печатается по автографу ЛБ — письму к А. И. Герцену, Т. Н. Грановскому, Н. Х. Кетчеру и Н. А. Герцен (Захарьиной) от 17 сентября — 28 октября 1843 г. *Хоть велел поэта лозою /Высечь Зевс.* — Огарев имеет в виду стихотворение Пушкина «Мальчишка Фебу гимн поднес». *Долго мне по свету белому /Развозить мою персону.* — Огарев имеет в виду пушкинское стихотворение «Дорожные жалобы» («Долго ль мне гулять по свету»). *Поразделим с Сок<оловым>.* — А. И. Соколов — писатель и заведующий репертуаром Одесского театра. *И ногти чищу я, как Гримм.* — Ср. в главе I «Евгения Онегина»

Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Гримм
Смел чистить ногти перед ним. . .

Барон Фридрих Мельхиор Гримм (1723—1807) — публицист и дипломат, корреспондент Екатерины II. *Antiquus orbis разложив* —

изображение карты земного шара (лат.). Огарев имеет в виду популярную в это время книгу известного чешского славяноведа П. Шафарика «Славянские древности» (М., 1837). Эту книгу Огарев упоминает в том же письме. В книге находится рассказ о *виндах, вендах, антах* — общее название славян у германских народов.

«О ты, которого вчера» (стр. 757). Впервые — РП, т. II. М., 1916, стр. 171. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Записка обращена к А. Н. Майкову или к художнику С. М. Воробьеву (1817—1888), жившим в Риме одновременно с Огаревым.

«Завидуя, что несколько стихов» (стр. 757). Печатается по РМ, 1892, № 9, стр. 7—8, где было опубликовано впервые по письму Кетчера к Герцену от июня 1844 г. Автограф неизвестен. *Друг ученый* — П. Н. Кудрявцев или Н. М. Сатин (РМ, 1890, № 10, стр. 9). *Григорьич Виссарьон* — Белинский. *Профессор* — Грановский. *Женщины иныя* — вероятно, Н. А. Герцен (Захарьина). *Цитман* — декокт (отвар) Цигмана, лечебное средство, распространенное в 1840-х гг., требовавшее при употреблении строгого режима и соблюдения диеты (РМ, 1890, № 9, стр. 10, и «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 571).

«Город Берлин» (стр. 758). Печатается впервые по автографу ЛБ — письму к Н. Х. Кетчеру от 13 сентября 1844 г.

*«Илья Васильич Селиванов» (стр. 759). Впервые — РП, т. II. М., 1916, стр. 173—174. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Стихотворение является пародией на стихотворную шутку И. С. Тургенева, которую приводит Н. А. Тучкова-Огарева в своих записках. Она пишет: «В 48 году мы виделись с ним <Селивановым> часто в Париже. Тургенев уверял, что С<еливанову> опасно ехать в Россию, потому что он был в Париже во время баррикад. Тургенев сочинил песню на голос марсельезы:

Илья Васильич Селиванов
И Фастовна, его жена,
Мальчишка Митька из болванов
И гувернантка со слона.

Дальше не помню...» (РП, т. IV. М., 1917, стр. 106). М. К. Лемке приписывает эту шутку Герцену. *И. В. Селиванов* (1810—1882) — пензенский помещик, второстепенный беллетрист и мемуарист. В 1850 г. Селиванов подвергся аресту вместе с Тучковым, Огаревым и Сатиным. Этот арест был отголоском дела петрашевцев и был вызван доносом пензенского губернатора Панчулидзева и Л. С. Рославлева, отца первой жены Огарева. Стихотворение относится к 1851 или 1852 г. — ко времени возвращения Селиванова из короткой ссылки в Вятку, куда он был отправлен после ареста (ср. первую и последнюю строфы стихотворения). Вторая строфа подтверждается и «Записками дворянина-помещика» (РС, 1880, № 6, стр. 309—310). Из «Записок...» видно, что Селиванов незадолго до ареста отпустил своих крестьян на оброк, в неурожайный 1849 г. *Купил весьма до-*

ходный дом. — В 1850 г. он действительно купил дом в Москве (там же, стр. 312). *Мареево* — имение Селиванова. *С выставки всемирной.* — В 1851 г. в Лондоне была организована первая Всемирная выставка. *Середа* — А. И. Середа (ум. 1852), вятский губернатор в 1843—1851 гг.

«Что за дикая картина» (стр. 760). Впервые — БП, т. II, стр. 362. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Датируется предположительно началом 1850-х гг. *Natalina* — Н. А. Тучкова. *Ушаковы и Враские* — соседи Огарева по Тальской фабрике.

«Хоть с отвращением на фабрику мою» (стр. 760). Печатается по БП, т. II, стр. 362, где было опубликовано впервые. Автограф, находившийся ранее в ГЛМ, ныне неизвестен. Четверостишие — из письма к Н. М. Сатину от 27 мая 1855 г. — пародия на четвертую строфу «Воспоминания» Пушкина. Огарев жил в это время на Тальской писчебумажной фабрике в Симбирской губернии.

«Давно я не писал в альбомах» (стр. 761). Впервые — «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 652. Печатается по автографу ИРЛИ — письму к П. В. Анненкову. Датируется 1856 г., когда Огарев был в Петербурге перед отъездом за границу.

«Давно я не писал в альбомах» (стр. 761). Впервые — Герш., т. I, стр. 362. Печатается по автографу ЛБ. Для чьего альбома предназначены стихи — неизвестно. *Графиня Додо* — Е. П. Ростопчина (см. прим. к стих. «Отступнице»). С гр. В. А. Соллогубом (1814—1882) Огарев встречался летом 1842 г. в Павловске у М. А. Языкова. И. И. Панаев отмечает недоброжелательное отношение к нему Огарева уже в то время: «Соллогуб, может быть, очень хороший человек, — говорил Огарев, — но бог с ним, он не наш, мне с такими господами неловко, я при них и говорить не умею» (И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., 1950, стр. 273). *Мордасы* — имение в Казанской губ. одного из героев повести Соллогуба «Тарантас», Василия Ивановича.

«Не обвиняй меня без нужды» (стр. 761). Впервые — «Звенья», т. III—IV, 1934, стр. 413. Печатается по автографу ИРЛИ — письму к П. В. Анненкову от 12 (24) августа 1860 г. Четверостишие — пародия на стихотворение Е. А. Баратынского «Разуверение» («Не искушай меня без нужды»), известное в качестве популярного романса М. И. Глинки.

«Сбрось тоску, на юность глядя» (стр. 761). Впервые — «Звенья», т. III—IV, 1934, стр. 414. Печатается по автографу ИРЛИ — письму к П. В. Анненкову от 12 (24) августа 1860 г. Четверостишие заканчивает абзац письма, посвященный дочери Герцена Тате; для понимания стихов необходимо иметь в виду предшествующие строки письма: «Посмотри на Тату — какая она стала славная; посмотри на ее рисунки, у ней есть несомненный талант. Вдобавок она сохранила прелесть детскости. Ты при встрече с ней...» (следуют стихи).

«Назвать Петраркой Данта» (стр. 762). Впервые — БП, т. II, стр. 365. Печатается по автографу ИРЛИ — письму к П. В. Анненкову от 29 ноября (11 декабря) 1860 г. («Звенья», т. III—IV, 1934, стр. 421—423). Верхняя часть л. 2 оборвана. История четверостишия следующая: Огарев в своем письме между прочим писал: «Моя квартира — просто наслаждение. Наш дом с брюхом, а перед ним церковь; мне кажется, что я дома в деревне. Nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo felice. Право, соврал Петрарка, какой тут dolore!» Приведенные строки на самом деле принадлежат не Петрарке, а Данте и представляют собой слова Франчески да Римини в V песне «Ада». Точная цитата такова:

Ed ella a me: nessun maggior dolore,
Che ricordarsi del tempo felice...

В переводе М. Л. Лозинского эти строки звучат так:

Тот страждет высшей мукой,
Кто радостные помнит времена.

В конце письма — следующая приписка Герцена: «Это я, доблестный П<авел> В<асильевич>, отодрал конец письма, испортивши его под влиянием того, что пиита Ог<арев> называет Данта — Петраркой, — я хоть и не педант, но этого вынести не могу» (разрядка Герцена. — *С. Р.*) Еще ниже — четверостишие Огарева, завершившее шуточную полемику друзей.

«День воскресный когда наступает» (стр. 762). Впервые — БП, т. II, стр. 392—393. Печатается по автографу ЛБ. Воскресные собрания у Герцена неоднократно описаны в воспоминаниях современников. «В воскресенье знакомые Emilie (Герцена. — *С. Р.*) собираются, больше вечером — это довольно скучно... О<гарев> тоже скучает по воскресеньям...» — свидетельствует Н. А. Тучкова в письме к родителям 25 апреля ст. ст. 1856 г. (РП, т. IV. М., 1917, стр. 155. Ср. в ее же «Воспоминаниях». Л., 1929, стр. 174). *Боке* (Bocquet), Жан-Батист — французский эмигрант, республиканец, деятель революции 1848 г. «Все эмигранты собирались к Герцену по воскресеньям, иные, как Боке например, являлись с раннего утра» (Н. А. Тучкова-Огарева. «Воспоминания», стр. 151); ср. еще в письме Огарева к Герцену в октябре 1859 г. (РП, т. IV. М., 1917, стр. 217). В «Письмах из Франции и Италии» Герцен приводит свой разговор с Боке, тогда мэром XII округа (9-е письмо, т. VI. Пг., 1919, стр. 57—58). Вероятно, его же Герцен называет Анной Батистовной в письме к М. К. Рейхель от 8 февраля 1853 г.; ср. в письме к ней же от 14 июня 1859 г.: «У нас по воскресеньям травля: Девиль работает с Мюллером, Боке помогает, крик, шум и всякое такое; такой Мак-Магон поднимают, что ужасти» (Герцен, т. X. Пг., 1919, стр. 30); ср. о том же — сыну 1 июля 1859 г. (там же, стр. 50). *Камбрея* (Камбрэ) — город во Франции. В городском соборе находится гробница Фенелона; название города употребляется также и в переносном смысле для обозначения его имени (ср. фернеец — Вольтер). *Девиль* — французский революционер, эмигрант, домашний врач семьи Герцена. *Л. Чернецкий* — см. прим. к стих.

«Памяти Л. Чернецкого» (стр. 837—838). *С. Тхоржевский* — польский эмигрант, помощник Герцена в его издательской деятельности.

<А. А. Герцену> (стр. 762). Печатается по изд. Герцена, т. XI. Пг., 1919, стр. 56, где было опубликовано впервые. Автограф — письмо Герцена к А. А. Герцену от марта 1861 г. — неизвестен. Как раз в это время А. А. Герцен окончил Бернский университет и получил степень доктора медицины.

«Ты в Люцерне или в Бале?» (стр. 762). Впервые — в «Отчете Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1906 г.». М., 1907, стр. 41—42. Печатается по автографу ЛБ — письму к Герцену от 23 июня (5 июля) 1868 г. (текст письма — ЛН, № 39—40, 1941, стр. 489). Четверостишие заканчивает собою абзац названного письма Огарева: «Где ты, мой милый Герцен, мстящий мне за то, что мне некогда и мозготягостно и что я потому редко пишу, а вследствие этого мщения я не знаю даже, куда писать, и не знаю» (следует четверостишие). *Бал* — Базель.

«И дождь и буря — день ужасный!» (стр. 763). Впервые — ВЕ, 1907, № 5, стр. 276. Печатается по автографу ЛБ — письму к Герцену от 12 (24) декабря 1868 г. (полный текст — ЛН, № 39—40, 1941, стр. 497—498). *Салев* — гора в районе Женевы. *Мери* — Сэтерленд.

«Чудная страна» (стр. 763). Впервые — ВЕ, 1907, № 5, стр. 276. Печатается по автографу ЛБ — письму к Герцену от 16 (28) января 1869 г. Полный текст письма — ЛН, № 39—40, 1941, стр. 509—511.

«В день отъезда пана» (стр. 763). Впервые — ВЕ, 1907, № 5, стр. 276. Печатается по автографу ЛБ — письму к Герцену от 1 (13) апреля 1869 г. Полный текст письма — ЛН, № 39—40, 1941, стр. 550—551. *Пан* — С. Тхоржевский.

СТАРЧЕСКИЕ НАБРОСКИ

«...Собранье в первой из столиц» (стр. 764). Впервые — БП, т. II, стр. 396. Печатается по автографу ЛБ. Внизу надпись: «записано после сновидения». *Великий князь* — Константин Николаевич (1827—1892), сын Николая I. В 1857—1861 гг. Константин принимал деятельное участие в разработке проекта крестьянской реформы, являясь сторонником преобразования русского государственного строя по западному образцу. В л. 14 «Колокола» от 19 апреля (1 мая) 1858 г. Огарев напечатал свой проект «Еще об освобождении крестьян». Из этого проекта следует, что он был представлен Константину до напечатания. В общественном мнении 1860-х гг. Константин считался главою группы либеральной дворянской бюрократии.

«Безлунною ночью плыл труп по реке» (стр. 764). Впервые — РП, т. II. М., 1916, стр. 172, по копии Н. А. Тучковой-

Огаревой. Печатается по РП с исправлениями по черновому наброску ЛБ. Другой автограф — в неизданном письме к А. А. Герцену от 19 июня 1870 г. (Амстердамская коллекция Академии наук СССР). Труп *Шарлотты Гетсон* (Huttson) был найден в середине июня 1870 г. Этим временем и датируем стихотворение. Шарлотта Гетсон была в связи с сыном Герцена Александром в начале 1860-х гг. В самом конце 1863 г. у них родился сын, также названный Александром (так называемый «Тутц» или «Александр III»). В судьбе ребенка, кроме А. А. Герцена, принял участие (прежде всего материально) и дед; начиная с 1864 г., его письма к сыну, дочери Тате, Огареву и Тучковой пестрят упоминаниями о внуке. Ребенок и мать первоначально находились на попечении Чернецкого, а затем (с марта 1867 г.) жили у Огарева вместе с Мери Сэтерленд и ее сыном Генри. Отношения Шарлотты и Мери сразу же стали очень тяжелыми. В письме Герцена к Огареву 10 марта 1867 г. читаем: «Насчет Шарлотты — делай, как знаешь. Жить с двумя женщинами — ребенком и полуребенком — это такой андреевский крест, который нести я бы себя не считал способным» (Герцен, т. XIX. Пг., 1922, стр. 239). В начале июня 1867 г. Шарлотта под влиянием очередного столкновения с Мери убежала из дому и бросилась в Женевское озеро (она жила в это время вместе с Огаревым в Ланси). Труп всплыл три года спустя на берегу Роны у Аарских островов.

Современное (стр. 765). Впервые — БП, т. II, стр. 399. Печатается по автографу ЛБ. Написано после падения Парижа (29 января 1871 г.), но до заключения мира (28 февраля; ср. строку «Но будет мир иль снова подерутся»).

Война (стр. 765). Первые 8 строк впервые — Переселенков, стр. 190. Полностью — Черн., стр. 59—60. Печатается по черновому автографу ЛБ. Стихотворение непосредственно связано с франко-прусской войной 1870 г.

«Сегодня настроен мой мозг музыкально» (стр. 766). Впервые — ЛН, № 61, 1953, стр. 645. Печатается по автографу ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 42, л. 28). Датируется предположительно.

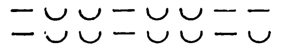
Старость (стр. 766). Впервые не вполне точно — ПЗ, 1881, № 5, стр. 136, в тексте воспоминаний Т. П. Пассек. Печатается по автографу ЛБ. Из текста воспоминаний Пассек и приводимых ею писем Огарева следует, что стихотворение написано в 1872 г.

Эпиграф к новому изданию (стр. 767). Впервые — БП, т. II, стр. 401. Печатается по автографу ЛБ. Сведений о подготовке нового издания произведений Огарева в 1870-е гг. у нас нет никаких, кроме глухого намека в письме Н. А. Тучковой к Огареву от 16 ноября 1871 г.: «Merci за стихи, они очень хороши. Как же они выйдут отдельно?» («Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», М., 1930, стр. 84).

В саду (стр. 767). Впервые — БП, т. II, стр. 402. Печатается по автографу ЛБ. *Два короля... дерутся.* — Борьба сторонников

Амадея, сына итальянского короля Виктора-Эммануила, избранного в 1870 г. на испанский престол, и «карлистов» — сторонников с 1869 г. Карла VII, внука Карла V. Так как в феврале 1873 г. Амадей отрекся от престола, стихотворение не могло быть написано позже этого времени.

«Странное, странное дело» (стр. 767). Впервые неточно — Т. П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания, т. III. СПб., 1889, стр. 21—22, с заглавием «Вопрос»; полностью — «30 дней», 1937, № 7, стр. 88, с тем же заглавием (по черновому автографу ЛБ), и ЛН, № 39—40, 1941, стр. 599. Автограф — в ЦГИА — письмо к Т. П. Пассек от 12 (24) февраля 1873 г. — печатается по этому автографу. На листе, предшествующем тексту стихотворения, Огаревым написан размер:



Такого рода пометки нередки в стихах 1870-х гг. Они помогали Огареву, уже начинавшему утрачивать чувство ритма, не сбиваться в размере. Порой же — в попытках имитации народных размеров — они служили ему для ориентировки в непривычных и новых ему ритмах. Первая строфа этого стихотворения была буквально повторена Огаревым в неоконченном наброске «При взгляде на издание «Дело». Дальше стихотворение продолжается так:

В чем же нужда-то? Ни в жизни, ни в смерти...
Хотя бы мир разрушить отыскались черти.
Но нигде не найдется ни чертей, ни бога,
И все же не веселее длинная дорога.

1874(?) (См. Черн., стр. 399)

Es kommt mir spanisch vor (стр. 768). Впервые — Переселенков, стр. 188 (с вариантом в стихе 8-м). Печатается по автографам ЛБ — в тетради 1874 г. и в черновом письме к Бакунину от 21 ноября 1874 г. В письме стихи характеризуются, как «старые» («Записки отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. XII, 1951, стр. 170—171).

История (стр. 768). Впервые не вполне точно — Переселенков, стр. 184. Печатается по автографу ЛБ.

Четверг, 6 января 1876 г. (стр. 769). Впервые — РМ, 1902, № 5, стр. 176. Печатается по автографу ЛБ. Дата в заглавии приведена Огаревым по новому стилю.

Послание к соседнему псу (стр. 769). Впервые — БП, т. II, стр. 408—409. Печатается по автографу ЛБ.

Мертвому другу (стр. 769). Впервые — БП, т. II, стр. 409. Печатается по автографу ЛБ. Стихотворение посвящено памяти Герцена.

На улице (стр. 770). Впервые — БП, т. II, стр. 409. Печатается по черновому автографу ЛБ.

Английские журналы (стр. 770). Впервые — БП, т. II, стр. 410. Печатается по автографу ЛБ. Стихотворение вызвано, очевидно, какой-то заметкой, касающейся придворной хроники королевы Виктории.

Моя предсмертная биография (стр. 770). Впервые — БП, т. II, стр. 405. Печатается по автографу ЛБ.

«Взвизгнул пар с тоской безумной» (стр. 771). Впервые — БП, т. II, стр. 418. Печатается по автографу ЛБ.

«Друзья покинули меня» (стр. 771). Впервые — БП, т. II, стр. 417. Печатается по автографу ЛБ.

Проклятие («Бессмысленный хохот и тщетные слезы») (стр. 771). Впервые — Переселенков, стр. 183—184. Печатается по автографу ЛБ.

В преклонных летах (стр. 772). Впервые — Герш., т. I, стр. 372. Печатается по автографу ЛБ.

«Поздравляю с днем рожденья» (стр. 772). Впервые — Переселенков, стр. 190. Печатается по автографу ЛБ. Рядом с русским текстом стихотворения — английский перевод в прозе. Стихотворение обращено к Генри Сэтерленду (р. 16 (28) июля 1841 г.), в воспитании и судьбе которого Огарев принимал ближайшее участие. В 1873 г. он был приглашен учителем в школу для крестьянских детей помещика Янковского в сел. Хлодове, Каневского уезда, Киевской губ., в конце 1870-х гг. был гувернером в каком-то русском семействе в Варшаве. Перед тем он занимался изучением химии и имел диплом учителя («Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», 1930, стр. 99; ЛН, № 62, 1955, стр. 422; «Звенья», т. VI, 1936, стр. 400—401, и РМ, 1902, № 5 стр. 214). Наконец, известно, что Генри принимал участие в деятельности I Интернационала. Он был близок к М. А. Бакунину, Н. И. Жуковскому и издателю журнала «L'Égalité» Шарлю Перрону и был вместе с ним 16 апреля 1870 г. конгрессом в Ла Шо де Фоне исключен из женевской секции Интернационала.

«Во сне я дома был, в постели спал приветно» (стр. 772). Впервые — «30 дней», 1937, № 7, стр. 88. Печатается по автографу ЛБ и отдельному листку в Амстердамской коллекции Академии наук СССР (в этом автографе заглавие — «Сон. 13 января»). *Двоюродный мой брат... в юном возрасте свободы был солдат* — Г. Д. Колокольцов (р. 1802, ум. после 1870), двоюродный брат Огарева (его мать, А. Б. Огарева,— сестра отца Н. П. Огарева), корнет лейб-гвардии гусарского полка; в ноябре 1825 г. был введен в число членов Северного общества Александром Муравьевым, однако «участия в делах общества не принимал и о намерениях на 14 декабря предварен не был» («Восстание декабристов», т. VIII, «Алфавит декабристов», Л., 1925, стр. 96). Некоторое время состоял под секретным надзором, но уже в сентябре 1829 г. был принят на

службу в корпус жандармов в чине капитана. О жандарме Колокольцове Огарев упоминает в «Моей исповеди» (ЛН, № 61, 1953, стр. 695), его же, вероятно, имеет в виду и в «Моей биографии» («становится жандармским генералом»). Впрочем, генералом Колокольцов не стал, а был уволен в отставку в чине майора в 1832 г. (назв. изд., стр. 327. Ср. также показания Огарева в следственной комиссии в 1834 г.— Герцен, т. XII. Пг., 1919, стр. 338). См. примечание Огарева к стихотворению «Моя биография» (ЛН, № 61, 1953, стр. 646). Я. З. Черняк неправильно отнес это стихотворение к родственнику Огарева, ген.-адъютанту Н. А. Огареву (1811—1867; см. Черн., стр. 399).

Песня пономаря (стр. 773). Впервые неточно — БП, т. II, стр. 411. Печатается по черновому автографу ЛБ с датой — число и месяц. Строки автографа настолько перепутаны, что последовательность их не всюду ясна. Возможно, что строки 5-я и 6-я должны читаться не в том месте, где они помещены, а после строки «но быть вам в преисподней». В письме к П. Л. Лаврову от 29 апреля (11 мая) 1876 г. Огарев упоминает о мотивах церковного звона гринвичского пономаря в словах, близких к тексту стихотворения (ЛН, № 39—40, 1941, стр. 592—593).

Пустынник (стр. 773). Впервые — Переселенков, стр. 185—186. Печатается по автографу ЛБ. Стих 8-й читается еще и так: «Немногие еще остались друзьями». Окончания «лись» и «нутся» не зачеркнуты. Предпочитаем более исправное и ритмически правильное чтение — «останутся». Датируется по упоминанию в письме к П. Л. Лаврову от 7(19) июля 1876 г. (ЛН, № 39—40, 1941, стр. 594). Первоначально Огарев хотел посвятить стихотворение памяти М. А. Бакунина, скончавшегося 19 июня (1 июля) 1876 г. (ЛН, № 39—40, 1941, стр. 594).

Война («Странное, странное дело») (стр. 774). Впервые — БП, т. II, стр. 398—399. Автографы — черновой в ЛБ и ИМЛ — письмо к П. Л. Лаврову от 5(17) августа 1876 г. (ЛН, № 39—40, 1941, стр. 596). Посылая эти стихи, Огарев сопроводил их словами: «должно быть, придется их исправить».

«Посланник русский и султан» (стр. 775). Печатается по факсимиле, напечатанному в газете «Речь», 1913, 24 июля, № 322, стр. 4, где было опубликовано впервые. Местонахождение автографа неизвестно. Тексту восьмистишия предшествуют следующие слова: «Странные новости по морскому телеграфу (30 октября из Константинополя) в английских журналах». Поводом к стихотворению послужил следующий эпизод, предшествовавший русско-турецкой войне 1877 г. Чтобы дать возможность России и Англии договориться по спорным вопросам политики в Турции, канцлер А. М. Горчаков предложил последней перемирие в войне с Сербией и Черногорией сроком на шесть недель. Турция, из стратегических соображений, соглашалась на перемирие, но не менее, чем на шесть месяцев, т. е. до весны 1877 г. Только после ультиматума 19 октября 1876 г., переданного русским послом гр. Н. П. Игнатьевым султану Абдул-Га-

миду. Турция немедленно же (с 20 октября) приняла русское предложение. Огарев спутал русское и турецкое предложения, приняв шестимесячный срок вместо шестинедельного за окончательное решение, к которому пришли обе стороны. Переговоры, как известно, ни к чему не привели, и 12 апреля 1877 г. Россией была объявлена война Турции; впрочем, мобилизация военных и морских сил и сосредоточение их вблизи Черного моря (*«а в море Черном веяла гроза»*) начались еще в сентябре 1876 г.

«Вот сон: въезжаю с Мери в край родной» (стр. 775). Впервые — отрывки в РМ, 1902, № 5, стр. 212; полностью — Переселенков, стр. 193. Печатается по автографу ЛБ. Другие автографы: в письме к А. А. Герцену от 24 декабря 1876 г. (5 января 1877 г.) — Амстердамская коллекция Академии наук СССР; к П. Л. Лаврову от 30 декабря 1876 г. (11 января 1877 г.) — (ЛН, № 39—40, 1941, стр. 597); к сестре, А. П. Плаутиной, 31 декабря 1876 г. (12 января 1877 г.) — «Звенья», т. VI. М., 1936, стр. 405. *Старый город мой* — Пенза, место ссылки Огарева в 1835 г.

Начало конца моей биографии (стр. 776). Впервые — Переселенков, стр. 186—187. Печатается по автографу ЛБ. Датируется по содержанию

«Вопрос крестьянский, тщетный потому...» (стр. 776). Впервые — Переселенков, стр. 191. Печатается по автографу ЛБ. *Самарский голод* — неурожай 1873 г. Однако по положению в тетради стихотворение скорее относится к 1876 г. *Что там дана свобода без свободы* — вскоре после обнародования положения 19 февраля 1861 г. Огарев в ряде статей в «Колоколе» сформулировал свои тезисы о новом крепостном праве: «Старое крепостное право заменено новым. Вообще крепостное право не отменено. Народ царем обманут».

«Его любил я так, как любят брата...» (стр. 776). Впервые — БП, т. II, стр. 409. Печатается по автографу ЛБ. *Его любил я...* — т. е. Герцена. *Дочь* — скорее всего речь идет о Лизе — дочери Герцена и Н. А. Тучковой; номинально ее отцом считался Огарев.

«Вот с ним я сорок лет жила...» (стр. 777). Впервые — Герш., т. I, стр. 413. Печатается по автографу ЛБ. Отрывок написан как бы от имени Мери Сэтерленд.

Судьбы (стр. 777). Впервые — БП, т. II, стр. 401. Печатается по автографам ЛБ и ИМЛ.

Под старость лет (стр. 777). Впервые — БП, т. II, стр. 411—412. Печатается по автографу ЛБ.

«На Гринвич облако нашло» (стр. 778). Впервые — «Вольное слово» (Женева), 1881, № 2, стр. 6—7. Печатается по тексту письма к А. А. Герцену от 11 (23) апреля 1877 г. (Амстердамская

коллекция Академии наук СССР). Другой автограф (первых трех строф) — в письме к П. Л. Лаврову от 10 (22) апреля 1877 г. (ИМЛ, см. ЛН, № 39—40, 1941, стр. 597).

В великую пятницу (стр. 778). Впервые — БП, т. II, стр. 366. Печатается по автографу ЛБ. Датируется 1876 или 1877 г. и соответственно («великая пятница», предполагая, что речь идет о православной Пасхе) 2 апреля 1876 или 25 марта 1877. При расчете католических праздников даты будут: 16 апреля 1876 и 1 апреля 1877 г.

Встреча (стр. 779). Впервые — БП, т. I, стр. 277. Печатается по автографу ЛБ.

Ответ (стр. 779). Впервые — Переселенков, стр. 189. Печатается по автографу ЛБ. На предыдущем листке той же тетради следующая запись рукой Огарева: «Постороннее примечание в воскресенье. В музыке даже нет такого пятисложного размера, как в церковном звоне». Ср. еще те же темы в стихотворении «Песня пономаря». Стихотворение И. И. Козлова (1779—1840) приведено Огаревым не точно; точный текст последних строк:

И как я с ним, навек простясь,
Там слушал звон в последний раз.

Старая песня о тщете мира сего (стр. 780). Впервые — Переселенков, стр. 187—188. Печатается по черновому автографу ЛБ.

Петербургскому императорству (стр. 780). Впервые неточно — БП, т. II, стр. 414. Печатается по автографу ЛБ. Написано, вероятно, в связи с русско-турецкой войной 1877 г.

1 апреля (стр. 780). Впервые — БП, т. II, стр. 418. Печатается по автографу ЛБ. *1 апреля* — день именин М. Л. Огаревой, первой жены Огарева. *Похоронят меня в чужой стороне.* — Огарев похоронен в Гринвиче на средства семьи Герцена. Последние минуты жизни Огарева рассказаны Н. А. Герцен (Татой) в письме к Н. А. Тучковой от 2 (14) июня 1877 г. («Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», 1930, стр. 246—247).

Моей кошке (стр. 781). Впервые — Переселенков, стр. 184. Печатается по автографу ЛБ. Об этой кошке, «которая меня любит с человеческой привязанностью», см. упоминание в письме к А. П. Плаутиной, 1877 г. (ЛН, № 39—40, 1941, стр. 609).

Симфония (стр. 781). Впервые — Переселенков, стр. 182—183. Печатается по автографу ЛБ. Три части стихотворения — Allegro, Adagio, Presto — соответствуют отдельным частям обычного построения симфонии. Ср. аналогичное использование музыкальной формы в стихотворениях «I tempi», «Бал» и др.

В память прежнему другу Некрасову (стр. 782). Впервые — БП, т. I, стр. 273—274. Печатается по черновому автографу ЛБ. Отношения Огарева с Некрасовым были прерваны в середине 1850-х гг. на почве сложных счетов в связи с устройством денежных дел Огарева и М. Л. Огаревой. *Гунявый* — здесь употреблено в смысле плешивый.

Раздумье («Да! я состарился, вошел в такие леты») (стр. 782). Впервые — Герш., т. I, стр. 355. Печатается по автографу ЛБ.

Новое раздумье (стр. 782). Впервые (строки 1—8) — РМ, 1902, № 5, стр. 214; полностью — Герш., т. I, стр. 411. Печатается по автографу ЛБ.

«На старость лет себе не сотворю кумира!» (стр. 783). Впервые — Пересёленков, стр. 188. Печатается по автографу ЛБ. Датируется на основании состава записной книжки № 25, в которой помещено стихотворение (см. «Оп. рук.», стр. 31 и 123).

«Северное сияние» (стр. 783). Впервые — БП, т. II, стр. 403. Печатается по автографу ЛБ. Строка 6-я первоначально звучала: «Названо воля мужицкая». Затем два последних слова Огарев переставил, исправив падеж в слове «воля», но забыв сделать это в слове «мужицкая»: исправляем эту описку поэта.

Проклятие («Кого же в жизни я любил») (стр. 783). Впервые — Герш., т. I, стр. 373. Печатается по автографу ЛБ, нижняя часть листа отсутствует.

«Все, что было, что пропало» (стр. 784). Впервые — РМ, 1902, № 5, стр. 176. Печатается по автографу ЛБ.

«Длинная дорога» (стр. 784). Впервые — Герш., т. I, стр. 393. Печатается по автографу ЛБ.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

В указатель включены все вошедшие в издание стихотворения и поэмы Н. П. Огарева. Все произведения введены по заглавию, подзаголовку (где он есть) и по первому стиху.

Перечень не включенных в издание произведений см. на стр. 899—902.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ И НАБРОСКОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ИЗДАНИЕ

Неопубликованные стихотворения снабжены ссылками на места хранения автографов; изданные — ссылками на соответствующие издания.

1. «Блуждал народ в безверьи и сомненьи» — БП, т. I, стр. 50—51
2. «В память Кашперову» — БП, т. II, стр. 405
3. В память Лермонтова («Что страсти? Их сладкий и горький недуг») — Переселенков, стр. 192
4. В прошедшее. Наталье Алексеевне («Я вас любил и разлюбил вас тоже») — БП, т. II, стр. 403—404
5. «В селениях горних, над сонмом людей» — БП, т. I, стр. 37—38
6. В степи («По степи зеленой») — ЛН, № 61, 1953, стр. 631—632
7. В старости («Я перечитывал свои стихи») — БП, т. II, стр. 410—411
8. «Вдова кормит детей» — БП, т. I, стр. 404; ср. ЛН, № 39—40, 1941, стр. 588
9. Век человеческий. Посвящено женщине («Расстаньтесь просто. Что друг к другу тяготеет») — БП, т. II, стр. 410
10. «Весною пахнет, тело лень объемлет» — Амстердамская коллекция Академии наук СССР
11. «Вообще, жизнь людская идет на баловство» — БП, т. II, стр. 410
12. Воспоминание («Любил он тоже выпить иногда») — Авт. ЛБ, Герш., т. I, стр. 399
13. «Вот, друг Владимир» — «Звенья», т. VI, стр. 407
14. «Все в жизни тóлько ложь и больше ничего» — Авт. ЛБ
15. «Все, если хочешь, что теперь могу свершить» — Авт. ЛБ
16. «Все кончено! Тяжелое сомненье» — РС, 1888, № 11, стр. 483
17. «Всякий человек чувствует себя чем-нибудь» — Авт. ЛБ
18. «Где же они, где же границы» — Авт. ЛБ
19. Гений («Как сладостно ночной порой») — БП, т. I, стр. 12
20. «Да и тут что делать; мир хоть и безбрежен» — Авт. ЛБ
21. «Давно совсем было я стих» — «Звенья», т. VI, стр. 405
22. «Два слова для тебя». А. И. Герцен. Новые материалы. К печати приготовил Н. Мендельсон. Труды Публичной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1928, стр. 90

23. 29 мая («Я в королеве видел не злодейку») — Авт. ИМЛ
24. День из царской жизни. <Незаконченный драматический набросок> — БП, т. II, стр. 385—392
25. «Детей взлелеял он, хотя б три штуки только» — БП, т. II, стр. 417
26. Для человека — Переселенков, стр. 183
27. «Другой с унылою душою» — БП, т. I, стр. 11—12
28. Дума («Всякая животная жизнь есть скотина») — Авт. ЛБ и ИМЛ
29. «Жить человеку и скучно и грустно» — Авт. ЛБ
30. Жужжащая муха («И человек болтливый») — Авт. ЛБ
31. «За что все люди меня любят» — Авт. ЛБ
32. «Заметна в жизни скоротечность» — Черн., стр. 175—176
33. «И все еще никак мы не поймем» — Авт. ЛБ
34. «И жизнь звучит однообразно слуху» — Авт. ЛБ
34а. «И люди на людей здесь непохожи» — РМ, 1888, № 7, стр. 8 и БП, т. II, стр. 348
35. «Из бездн скорбей, из бездн мученья» — РП, т. II, стр. 166
36. «Историю нас просят уважать» — БП, т. II, стр. 405
37. К ней («Что подаришь мне — ты сказала») — РС, 1888, № 12, стр. 601 и БП, т. II, стр. 348
38. «Как падший ангел, боже, боже!» — БП, т. II, стр. 384
39. Клопы («Голодные клопы, мне говорила Мери») — Переселенков, стр. 193
40. «Когда я читал гренадеров» — БП, т. II, стр. 418
41. Конец («Надо же поесть чего-нибудь») — Авт. ЛБ
42. Конец февраля («Здешний край в весенней неге») — Переселенков, стр. 184—185
43. «Кто б тебя ни разобидел» — БП, т. II, стр. 417
44. «Куда же выйти нам из ложной болтовни» — Авт. ЛБ
45. «Люблю я дичь болотную или лесную» — Авт. ЛБ
46. «Мало ли что слез вызывает из глаз» — Авт. ЛБ
47. «Мало-помалу унылы» — Авт. ЛБ
48. Марии («О, как хорошо это небо над нами») — РС, 1883, № 4, стр. 160
49. Мартовская песня («По небу звезды безвестно летающие») — БП, т. II, стр. 405
50. «Мелкий дождь, что-то вроде метели» — «Оп. рук.», стр. 27, № 178
51. «Мой Генри, теперь в твоем сердце амур» — Авт. ЛБ
52. «Мне так пахнуло моей Русью бедной» — БП, т. II, стр. 417
53. «Мой херес весь, а я перед прогулкой» — Авт. ЛБ
54. Монолог в нужнике («Ну! Как хватит паралич») — Авт. ЛБ и ЦГАОР
55. «Моя жизнь проходит так» — Первые 2 строки — Переселенков, стр. 187, 2 следующих — авт. ЛБ
56. Муха в моей комнате («Жужжащую муху к окну привлекло») — БП, т. II, стр. 410
57. «Мы памятник иной тебе поставим». Эпиграф листовки «Будущность», 1870 — См. ЛН, № 41—42, 1941, стр. 145—147; «Оп. рук.», стр. 30, № 207

58. «На праздник Рождества Христова» — Авт. ЛБ
59. «На твоего я смотрю Галилея» — БП, т. II, стр. 402
60. На улице («С телегою лошадь в ворота вошла») — «Звенья», т. VI, стр. 407
61. «На этот раз Россия действует исправно» — Авт. ЛБ
62. Начало конца моей биографии («Теперь я за границей двадцать лет») — Переселенков, стр. 186; «Звенья», т. VI, стр. 387
63. «Не может» — Авт. ЦГАОР
64. «Неверно то, что» — БП, т. II, стр. 416
65. «Но грязен в жизни человек» — Авт. ЛБ
66. «Но я взволнован. В поздний час» — «Оп. рук.», стр. 33, № 233
67. Новое вероисповедание («Вот вам новая строка») — Авт. ЛБ
68. «Нужды же мы вовсе в ненужных не ищем» — Авт. ЛБ
69. Ожидание («Скачи, скачи, дребезжащая телега») — Т. П. Пассек. Из дальних лет, изд. 2, т. III. СПб., 1906, стр. 24. Автограф — в Софийской коллекции Академии наук СССР
70. Отголоски из России («Мы с удовольствием вас извещаем») — Авт. ЛБ
71. «Офицер в мундире» — Авт. ЛБ
72. Перед концом («Под старость лет, конечно, что не шутка») — Авт. ЛБ
73. «Пир бесконечный, весна без исхода» — РС, 1889, № 4, стр. 160; БП, т. II, стр. 416
74. «Племя людское тешится сплетнями» — Авт. ЛБ
75. По прочтении телеграфских депеш 13 марта в журнале... — БП, т. II, стр. 402
76. Подмосковная <Незаконченный драматический набросок> — БП, т. II, стр. 396—397
77. Подражание давнопрошедшему («Белый снег, старый друг, увидал я») — БП, т. II, стр. 404
78. Подражание Мятлеву («Между туристами господствует поныне») — БП, т. II, стр. 392
79. Подражание Пушкину («Люблю народ, любовь моя не может») — Герш., т. I, стр. 387
80. Подражание Пушкину («Я вас любил! Будь счастье, будь кручины») — БП, т. II, стр. 409
81. Подражание Пушкину («Я всех любил, любовь еще, быть может» (Герш., т. I, стр. 387)
82. Подражания «Шильонскому узнику» Жуковского:
   а) «Я стар и сед | Уже от хилости и лет» — Переселенков, стр. 185
   б) «Я стар и сед | Не потому, что много лет» — Авт. ЛБ
   в) «Взгляните на меня: я сед» — Авт. ЛБ
83. Предсмертные монологи («Меня здесь люди дружелюбно любят») — Авт. ЛБ и Амстердамской коллекции Академии наук СССР
84. При взгляде на издание «Дело». Посвящено прогрессу («Странное, странное дело») — Авт. ЛБ
85. «Признаться, друг мой, люди надоели» — Авт. ЛБ
86. Прогресс («Когда перестанем мы вздор говорить») — Переселенков, стр. 184; БП, т. II, стр. 413

87. Проклятие («Бессмысленный хохот и тщетные слезы») — Авт. ЛБ
88. Проклятие («В г. . . ., да в с. . . . . юность проходила») — Авт. ЛБ
89. «Работаю не сосводя с стола» — Герш., т. I, стр. 410
90. «Расплетайтесь, мои кудерьки» — БП, т. II, стр. 384
91. «Расстались мы, но еще в сновиденьи» — БП, т. II, стр. 384
92. «Род же людской и не раз возворотится к году» — Авт. ЛБ; строки 4—15 — Черн., стр. 454
93. Русская песня («Была душе душою») — РС, 1888, № 12, стр. 608
94. «Русский император в силе словотолчия» — Авт. ЛБ и ИМЛ
95. «С мертвыми бродить мертво» — Авт. ЛБ
96. «С чего меня любят, не знаю я, право» — Авт. ЛБ; строки 1—4 — Переселенков, стр. 188
97. «Сегодня что весел ты, Кетчер, Кетчер» — Авт. ЛБ
98. «Собралася дружина на войну» — Авт. ЛБ
99. «Соседка мне в речах своих» — Авт. ЛБ
100. Соседу («Позвольте одному мне на диван присесть») — БП, т. II, стр. 412
101. «Стар, но живу довольно здорово, или» — БП, т. II, стр. 366
102. Старой деве («Твой лик») — Авт. ЛБ
103. Старому работнику («Сморкаешься ты во два пальца») — Авт. ЛБ и ИМЛ
104. «Стоял я у моря, сменялись волны» — Авт. ЦГАОР
105. Странствия Чильд-Гарольда. Песнь четвертая. Отрывок перевода из Байрона — БП, т. II, стр. 381
106. «У нас говорят, что все время могучее» — Авт. ЛБ
107. Утро («Порою под вечер угрюмый») — РС, 1889, № 2, стр. 430
108. Фантазия («Тихо склонилось вечернее солнце») — Избр. произв., т. I, стр. 363
109. Философия («Жить скучно, умирать тревожно») — Авт. ЛБ
110. «Характеров много различных» — Авт. ЛБ
111. «Хороша моя дорожка» — Авт. ЛБ
112. «Хочешь быть со мною вместии». <Перевод из Гете> — РМ, 1889, № 4, стр. 13
113. «Христос воскрес, да на кресте распятый» — Авт. ЛБ
114. «Человек только любит себя» — Авт. ЛБ
115. Человечество («Напиваться гадко, ...тоже гадко») — Авт. ЛБ
116. «Читать же Краевского даже не стоит труда» — Герш., т. I, стр. 387
117. «Что ж я вам скажу, друзья мои родные» — Авт. ЦГАЛИ
118. «Чтоб кончить век как есть уединенней» — Авт. ЛБ
119. «Чудное наше славянское племя» — Авт. ЦГАОР
120. Эпиграф странен («С улыбкою гляжу я на добро») — Авт. ЛБ
121. «Я вас обидел, это жаль» — Авт. ЛБ
122. «Я жажду одиночества» — «Оп. рук.», стр. 61, № 490
123. «Я к вам пишу взволнованный, взбешенный» — Авт. ЦГАОР

Следует иметь в виду, что включенные в «Оп. рук.» под № 454 и 461 наброски представляют собою прозу, а не стихи. № 469 и 481 того же описания ошибочно разбиты на два отрывка: они представляют собою одно целое.

DUBIA

1. «Едет мимо лодочка» — РМ, 1891, № 7, стр. 19.
Четверостишие в письме к Герцену 1844 г. Нет достаточных оснований приписывать Огареву авторство этих ходовых стихов. В «Оп. рук.», № 90, они приписаны Огареву без оговорок.

2. «Со мной рассталась вся в печали»
Неизданное стихотворение (40 строк) в частном собрании в Москве. Авторство Огарева, судя по стилю, вероятно, но не бесспорно.

3. К генералу Гарибальди («Вождь убежденный, муж призванья») — «Будущность», 1861, 27 ноября, № 21, стр. 176
Перепечатано без обоснования авторства Огарева В. Львовым-Рогачевским в сб. «Революционные мотивы в русской поэзии», 1921, стр. 46, и Черн., стр. 43—44. Ср. БП, т. I, стр. 403, сноска. Приписывать это стихотворение Огареву нет достаточных оснований. Стилистически стихотворение далеко от манеры Огарева.

4. Разговор в 1849 году. — «Русская потаенная литература», т. I, Лондон, 1861 стр. 370—374.
Авторство Огарева возможно по связи с предыдущим стихотворением. См. указ. прим. Я. З. Черняка.

5. Раскольничья песня («Ты куда идешь, добрый молодец»). Не издано. 1862 г. (?) Автографы — в ЛБ (Г.-О. VII. 77) и ЦГАОР (ф. 5770, оп. 1, № 43а).
На обороте автографа ЛБ записка Огарева к Герцену (?): «Черт знает, как пропустил в старых бумагах; на клочке скверно написано, так что переписал. Жаль, что не попалось Кельсиеву <1 слово не разобрано> раскольников федосеевск<ого> толку. Мне нравится. Как думаешь — насколько genuine[1] и печатать ли». Эти строки не дают основания считать Огарева автором стихотворения, как это сделано в «Оп. рук.», № 336 (стр. 45), скорее из записи следует, что автор стихов не Огарев.

6. «Царь — отечества отец» — ЛН, № 61, 1953, стр. 588. Первоначально: «Вольный песенник». Вып. II, Женева, 1869, стр. 30. Авторство Огарева предположительно обосновано Я. З. Черняком в цит. томе ЛН, стр. 597—598. Вопрос требует дальнейшего изучения.

7. «Я жду тебя, когда зефир игривый» — ЛН, № 39—40, 1941, стр. 555
Автограф — в письме Огарева к Герцену от 5 мая 1869 г. (ЛБ)
Процитировав эти стихи, Огарев приписал: «Старый романс в воспоминание Марьи Павловны». Первые 2 строки Огарев снова процитировал в недатированном письме к А. А. Герцену. (Не издано. Амстердамская коллекция Академии наук СССР). Ту же

---

[1] Подлинно, неподдельно, искренно (англ.).

цитату см. в письме к Т. П. Пассек, вероятно, 1873 года. Т. П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания, изд. 2-е, т. III. СПб., 1906, стр. 17; «Невский альманах», вып. II. Пг., 1917, стр. 197.

8. «Бог карьеры слишком быстрой» — «Колокол», 1857, 19 июня (1 июля), лист 1, стр. 8.
Вероятно, именно Огареву принадлежит это пародическое окончание известного стихотворения П. А. Вяземского «Русский бог».

ОШИБОЧНО ПРИПИСЫВАВШИЕСЯ ОГАРЕВУ СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Россия и ее враги («Не мир и тишина Европы» — «Русский инвалид», 1854, 13 февраля, № 36—37, стр. 151, и то же с пометкой в конце «Сообщено» — «Московские ведомости», 1854, 18 февраля, № 21, стр. 82. Подпись в обоих случаях — «Николай Огарев». Стихотворение приписано Н. П. Огареву в «Библиографических записках», 1859, № 20, стлб. 634, П. Е<фремовым>. Поправку см. там же, 1861, № 20, стлб. 674. Ср. также письмо Огарева к П. В. Анненкову от 16 марта 1854 г. («П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 643—644). Автор стихотворения — однофамилец поэта.

2. Море жизни («Жизни море») — «Русский инвалид», 1854, 17 сентября, № 208, стр. 967. Подпись — «Н. Огарев».
См. предыдущее примечание. Под этим стихотворением подписано: «Киев. Июль 1854 г.»

3. «Не тот отчизны верный сын» — «Оп. рук.», стр. 32, № 227 (с датой 1876!)
Набросок представляет собою записанное Огаревым четверостишие — начало думы Рылеева «Волынский».

4. Essence d'Ogarev. Суть Огарева. Сборник наилучших запрещенных стихотворений Огарева. Издание под редакцией государственного преступника <В. П.> Сидорацкого. Париж, 18??, 16 стр.
В этом издании напечатаны под произвольными заглавиями отрывки из некоторых произведений Огарева; одновременно включены различные стихотворения, не имеющие к Огареву никакого отношения. Все издание осуществлялось полубезумным графоманом и не имеет никакого, ни научного, ни исторического, значения.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

СТИХОТВОРЕНИЯ

[1] Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

ЭПИГРАММЫ

ПОЭМЫ

ПЕРЕВОДЫ

ШЕКСПИР

ГЕТЕ

ГЕЙНЕ

В. МЮЛЛЕР

Л. РЕЛЬШТАБ

Л. УЛАНД

А. ГРЮН

БАЙРОН

А. МИЦКЕВИЧ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДРУЖЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ, СТИХОТВОРЕНИЯ НА СЛУЧАЙ И СТИХОТВОРНЫЕ ШУТКИ

СТАРЧЕСКИЕ НАБРОСКИ

Огарев Николай Платонович

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Редактор *В. В. Жданов*

Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *З. Н. Петрова*

Сдано в набор 3/IX 1956 г. Подписано в печать 24/XII 1956 г. Бумага 84×108/32. Печ. л. $57^1/_2$+3 вкл. (47,46). Уч.-изд. л 48,33. Тираж 25 000. Зак. № 832 Цена 16 р. 15 к.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., д. 28.

Типография № 3
Управления культуры Ленгорисполкома
Ленинград, Красная ул., д. 1/3.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
52	2 св.	Verhälinisse	Verhältnisse
348	9—12 св.	Толпились в нем враждующие лицы, Мешаяся друг с другом заодно, Знакомые недавно и давно, — И жизни прошлой путались страницы.	Толпились в нем враждующие лицы, Знакомые недавно и давно, — И жизни прошлой путались страницы, Мешаяся друг с другом заодно.
752	1 сн.	на стр. 867	на стр. 865—866.
794	17 св.	К И. П. Г. Г<алахову>	К И. П. Г<алахову>
801	10 сн.	окончившийся	окончившихся
802	21 »	В стихах 7-ми след.	В стихах 7-м и след.
847	8 »	Žudzi	Zmudzi
847	9 »	Žudzi	Żmudzi
888	9 »	не влажен	не внятен
892	20 св.	влажен»	внятен»

